ДЕНЬ и НОЧЬ

литературный журнал для семейного чтения

№ 3 2010

Илья Иослович
Университет и ящик

Дина Рубина, Ольга Таир
Искусство не юриспруденция

Людмила Коль
Сколько праздников в году?

Артём Яковлев
Кавказский дневник

воспоминания Александра Астраханцева о поэте Зории Яхнине читайте на с. 6

ДЕНЬ и НОЧЬ

литературный журнал для семейного чтения

№ 3 (77) | май–июнь | 2010

«Болящий дух врачует песнопенье.
Гармонии таинственная власть
Тяжёлое искупит заблужденье
И усмирит бунтующую страсть».

Е. А. Баратынский

В номере

ДиН память

Нонна Слепакова

3 **Запах Победы**

ДиН мемуары

Александр Астраханцев

6 **Зорий Яхнин**

Илья Иослович

13 **Университет и ящик**

ДиН стихи

Ирина Четвергова

34 **Майское лето**

Анатолий Третьяков

35 **Встречные поезда**

Борис Туров

37 **Мир неохватен и изменчив**

Сергей Подгорнов

38 **После грозы**

Светлана Ермолаева

40 **Перелетая в свет из света**

Сергей Ставер

42 **Голосов любви колокола**

Александр Дьячков

44 **Прыщавая рябина**

Вера Панченко

66 **Совпадение с реальностью**

Евгения Виленская

89 **Мне надо знать**

Дарья Серенко

126 **Выгружаемся, кто живой!**

Дмитрий Щедровицкий

132 **Ржаная корочка**

Страницы Международного сообщества писательских союзов

Ринат Мухамадиев

46 **Свои люди**

Наталья Лайдинен

62 **Солнечные стрелы**

Павел Ширшов

67 **Вечер у Пушкино близ Москвы**

Максим Замшев

70 **Клавиши в снегу**

Александр Окороков

75 **«Дорога Бимини» и Колодец смерти**

Евгения Манфановская

88 **Грибной дождь**

ДиН поэма

Владимир Крюков

90 **Прогулки**

ДиН юбилей

Сергей Хомутов

92 **За кромкою закатного прилива**

Библиотека современного рассказа

Алексей Васильев

94 **С Богом на Вы**

Александр Егоров

96 **Шок**

Вячеслав Войлоков

100 **Моя прекрасная ведьма**

Людмила Коль

112 **Сколько праздников в году?**

Михаил Зырянов

124 **Её телефон не отвечал**

Мария Песковская

127 **Суп из бабочек**

Марат Валеев

133 **Михалыч и Митяй**

Евгений Орлов

139 **Первая любовь Агнии**

Александр Шлёнский

150 **Старуха**

Марина Эшли

153 **Из жизни Деда Мороза**

Евгений Ткаченко

160 **Уточка**

ДиН публицистика

Артём Яковлев

163 **Кавказский дневник**

Владимир Яранцев

199 **«Вот и пойми, что за человек был Зазубрин!..»**

Айрат Бик-Булатов

227 **Блог поэта**

ДиН отклик

Галина Кудрявская

230 **Путь страдающей души**

ДиН диалог

Дина Рубина, Ольга Таир

184 **Искусство не юриспруденция**

ДиН мегалит

Александр Петрушкин

187 **Три дабл-ю как начало диалога культур**

Александр Евдокимов

188 **Горы, всадники, февраль**

Борис Кутенков

189 **О нулевые, ролевые…**

Денис Липатов

191 **Поэтика лестничных клеток**

Елена Миронова

193 **Неосторожный звук**

Михаил Свищёв

195 **Монгольское танго**

Елена Оболикшта

196 **Акустический уральский дневник**

ДиН дебют

Алина Дадаева

74 **Две весны**

Валентина Бунева

123 **Родное окно**

Дмитрий Шабанов

183 **Мой тихий памятник**

ДиН антология

Вероника Тушнова

61 **Не отрекаются, любя…**

Ольга Берггольц

95 **Мы не могли иначе**

Александр Твардовский

99 **Речь не о том, но всё же…**

Давид Самойлов

152 **Ирония судьбы, ирония природы…**

Евгений Долматовский

186 **Старый барабанщик**

ДиН детям

Алефтина Иванищева

232 **Рыжий кот, Ванька и Налим**

244 **Синяя тетрадь**

247 **Авторы**

главный редактор
Марина Саввиных

заместители главного редактора
Эдуард Русаков
Александр Астраханцев
Сергей Кузнечихин

ответственный секретарь
Михаил Стрельцов

секретарь
Наталья Слинкова

дизайнер-верстальщик
Олег Наумов

корректоры
Екатерина Волкова
Александр Мазур

редакционная коллегия
Николай Алешков
Набережные Челны
Алексей Бабий
Красноярск
Юрий Беликов
Пермь
Светлана Василенко
Москва
Михаил Гундарин
Барнаул
Дмитрий Мурзин
Кемерово
Валентин Курбатов
Псков
Александр Лейфер
Омск
Евгений Мамонтов
Владивосток
Марина Переяслова
Москва
Евгений Попов
Москва
Лев Роднов
Ижевск
Анна Сафонова
Южно-Сахалинск
Илья Фоняков
Санкт-Петербург
Вероника Шелленберг
Омск

издательский совет
П. И. Пимашков
Глава города Красноярска
В. М. Ярошевская
директор Красноярского краеведческого музея
М. С. Невмержицкая
директор Красноярского библиотечного коллектора
Т. Л. Савельева
директор Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края

В оформлении обложки использованы картины Валерия Кудринского.

издатель
ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“».

инн
246 304 27 49

Расчётный счёт
407 028 105 006 000 001 86
в Красноярском филиале «Банка Москвы» в г. Красноярске.

бик
040 407 967

Корреспондентский счёт
301 018 100 000 000 967

Адрес редакции:
ул. Ладо Кецховели, д. 75а,
офис «День и ночь»
Телефон редакции:
(391) 2 43 06 38

В создании журнала принимал участие В. П. Астафьев. Первым Главным редактором его с 1993 по 2007 гг. был Р. Х. Солнцев. Впервые журнал был зарегистрирован как частное издание в Восточно-Сибирском региональном управлении регистрации и контроля за соблюдением законодательства о средствах массовой информации в 1993 г. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № 77–7176 от 22 мая 2001 г. выдано Министерством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Издание осуществляется при поддержке Агенства печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

Редакция благодарит за сотрудничество Международное Сообщество Писательских Союзов.

Рукописи принимаются по адресу: 66 00 28, Красноярск, а/я 11 937, редакция журнала «День и ночь».

Желателен диск с набором, фотография, краткие биографические сведения.
e-mail: kras_spr@mail.ru

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнения авторов могут не совпадать с мнением редакции. При перепечатке материалов ссылка на журнал «День и ночь» обязательна.

Интернет-версия журнала www.krasdin.ru поддерживается ООО «КИТ»

Подписано к печати: 15.06.2010
Тираж: 1500 экз.

Отпечатано с готового оригинала в типографии ООО ИПЦ «КАСС»

Адрес: 66 00 48, г. Красноярск,
ул. Маерчака, д. 65, стр. 23

Нонна Слепакова

Запах Победы

Она не только писала самобытные, сильные стихи — она и блистательно переводила поэзию. И сочиняла горькую, насмешливую прозу. Но лучшее её произведение — роман «Дым без огня, или последняя в девятом-первом» так и не был при её жизни полностью напечатан (в нашем журнале опубликованы несколько глав. См. № 3 за 1996 г.). За неделю до операции Нонна прислала нам два рассказа, которые будут предложены вниманию читателей в первом номере «ДиН» за 1999 год. Надо сказать, Нонна с первого дня издания «Дня и ночи» весьма серьёзно относилась к обязанностям члена редколлегии — несколько раз мы печатали яркие стихи молодых питерских поэтов именно с её благословения… А в последнее время, следя за событиями в Сибири, она тревожилась за судьбу нашего молодого журнала… Что будет, то будет, Нонна! Но главное — мы *были!* А значит — мы *есть!*

Роман Солнцев, 1999 г.

Не то что на полу под шкапом, а были в тогдашних славянских шкапах такие поддоны под нижними ящиками, где на всякий случай хранилось многое не очень нужное. Потом оно становилось и вовсе ненужным и выкидывалось. А сейчас, когда оно сделалось исторической драгоценностью, о старом хламе можно лишь смутно и горестно вспомнить.

Там клубилась путаница заплесневелой портупейной сбруи, ремней с медной пятиконечной звездой на пряжке, планшетов с желтоватым мутным плексигласом, полевых сумок, компасов с фосфоресцирующим циферблатом, штабных карт, испещрённых аккуратными и даже аппетитными топографическими значками и обозначениями высоток и огневых точек. Там же пластами желтели и ветшали вороха отцовских писем с фронта, фотографий, военных отцовских документов, орденских книжек. От всего этого исходил лежалый, но какой-то жаркий запах — копчёный, потный, солдатский.

Тайно вытаскивая нижние ящики, я рылась в поддонах, недоумевая и не смея расспрашивать отца.

Это ведь был незнакомый взрослый дядька, которого только к концу 1945 года я научилась называть на «ты». Четырёхлетняя разлука войны, видимо, пала на такой детский период, когда у ребёнка и формируется самое-то ощущение: «Это мой отец». Всё своё послевоенное детство я провела в скрытом отчуждении от него. А когда в 1951 году его разбил паралич (следствие тяжёлого фронтового ранения), отчуждение ещё и возросло: отец почти лишился речи и до самой своей смерти мог произносить только необходимые, путаные, исковерканные слова. По детской дурости я стеснялась его болезни, которая, вдобавок, сделала его придирчивым и подозрительным. Стыдилась выходить с ним на улицу, показывать его подругам.

А он ещё и до болезни был строг и требователен. Когда он вдруг бросался меня «воспитывать» и, задрав юбчонку, драл меня ремнём по заднице, мне казалось — ничего не может быть постыднее и катастрофичнее: от получужого-то дядьки! Мало он меня драл. Но спасибо и на том.

Заметив мою склонность к стихам, он заставил меня, третьеклассницу, выдолбить наизусть первую главу «Евгения Онегина». Ежедневно я «отвечала» ему по 3–4 пушкинских строфы, мало что в них понимая.

Напрасно я допытывалась у отца, кто такие «месье ль'Аббе, француз убогий», Адам Смит и Гомер, Ювенал и Феокрит — он и сам того не знал: не шибко был образован, принадлежал к тому поколению, которое хотело, да не успело приобщиться к гуманитарному образованию, к искусству, занятое строительством «светлого будущего» и его защитой. Установка отца была непререкаемо проста: хочешь быть культурным человеком, интересуешься поэзией — знай наизусть «Евгения Онегина». А попугайское задалбливание пушкинского текста меж тем давало мне понять, что передо мной закрытая сокровищница, до тайн которой мне когда-нибудь предстоит докопаться, и западала в меня музыка этих строф — с той поры я и пишу. Спасибо.

Однажды, вскоре после войны, он повёл меня в Эрмитаж. По какому-то странному послевоенному легкомыслию в те дни начальство ещё держало открытым для посетителей третий этаж с французской живописью от импрессионистов до Пикассо (потом он был закрыт до самой хрущёвской «оттепели»).

Помню, отец подвёл меня вплотную к какой-то картине, и я увидала шероховатую, неразборчивую и грубую сине-зелёную мазню. Затем, торжествуя, отец отвёл меня на другой конец зала и заставил взглянуть оттуда. Передо мной был летний куст, полный росы, просветов неба, птиц и живого шевеления листвы. Так отец открыл мне чудо Ван Гога. Спасибо.

Думаю, что отец по-настоящему искусства не понимал, но у него был несомненный интерес

к его фокусам, затеям, чудесам, которые и мне, восьмилетней, оказались вполне доступны и драгоценны. Он вообще любил выдумки, фокусы. Ещё до войны, любительски занимаясь фотографией, он снял наш никелированный электрический чайник, в котором отражалась вся комната и он сам за треногой с аппаратом.

Инженер-текстильщик по образованию, он работал до войны на фабрике «Красный ткач» (комбинат им. Тельмана), а после войны стал там же директором ФЗУ.

На войну он ушёл в конце июня 1941 г. Мы жили в то лето на даче в Мельничном Ручье и вдруг нежданно переехали в город. Смутно помню дурацкую радость переезда, возвращения домой среди лета. А вернулись мы для того, чтобы проводить отца на фронт и уехать с матерью в эвакуацию, в Узбекистан. Бабушка осталась в Ленинграде на всю блокаду, чудом выжила и приехала к нам в Узбекистан только к концу войны.

Она рассказывала, что в блокадном Ленинграде было до того тихо, что к ней на Петроградскую долетали звуки боя с Невской Дубровки: стрельба и крик «ура». Уже полуживая от голода, бабушка вслушивалась, стараясь различить в этом «ура» голос своего зятя, моего отца. Именно там он и начал войну. Среди страшной блокадной зимы отец внезапно пришёл к бабушке пешком с Невской Дубровки, сумел как-то добраться через все препятствия и опасности и принёс ей свой солдатский паёк — хлеб, консервы, махорку. Растягивая это по миллиграммам, она сумела перенести первую зиму блокады.

Мало мне известно об отце и его войне. Документы не сохранились. Письма тоже. Пока он был здоров, говорил он со мной о войне мало, а потом речь потерял. Матери и бабушки, которые знали обо всём его пути от Невской Дубровки до Германии, уже нет. Чисто официальные сведения об отце можно уложить в несколько строк:

Мендель Цалевич Слепаков (1907–1956), уроженец местечка Семёновка под Черниговом, прошёл всю войну пехотинцем, начав её младшим лейтенантом и окончив капитаном. Был несколько раз ранен. Награждён орденом Великой Отечественной Войны, трижды — орденом Красной Звезды и медалями за оборону Ленинграда и за победу над Германией.

Судя по наградам, сражался он храбро, но в рассказах его о войне преобладали занятные байки, анекдоты (а может, такое мне лучше запоминалось). Чаще всего он рассказывал о ней, когда в скудные послевоенные вечера мы всей семьёй наклеивали в альбом его военные фотографии. Он сидел на всегдашнем своём месте, у левого валика дивана, я — у торца стола. Меж нами был угол стола, покрытого скучной жёлтой клеёнкой с выцветшими ромбиками, — роковой угол моего детства, за которым я «отвечала» «Евгения Онегина», на который, трепеща, выкладывала дневники и тетрадки с парами, возле которого отец меня и драл. Но в минуты, когда клеили в громоздкий старый альбом фотографии, этот же угол становился островком тепла, уюта, заинтересованной тяги к отцу и его прошлому. Покажет он, бывало, какой-нибудь групповой солдатский снимок и скажет:

— А вот эти ребята больше всего боялись, что в нашу часть приедет Вася Тёркин.

— Как так приедет?

— Штука в том, Глупундури (моя кличка в мирные минуты), что им казалось, будто Вася существует на самом деле, где-то сражается и мне, их командиру, стоит только ему написать — и он приедет, взгреет их за все провинности и подтянет как следует. Стыдно-то как перед ним будет! Ну, я тем и пользовался, нет-нет да и постращаю, что Васю приглашу. Больше всех смотров и ревизий они его боялись.

Отец продолжал заниматься фотографией всю войну. Конечно, так и остался любителем, но, без сомнения, умел выбрать удачный, выразительный момент, кадр, теперь становящийся историческим свидетельством. Какое-то горящее селение в Польше. Восторженная встреча солдат-освободителей в Праге. Совестно было разглядывать эти кадры в 1968 (!) году. Я тогда об этом писала:

…Ещё не бросили мечей
Бойцы — носители Свободы,
И их не ждут ещё народы
Обратно — в роли палачей…

Отец часто фотографировался и сам: наводил аппарат и давал кому-нибудь «щёлкнуть». Снимется где-нибудь этаким воякой — щёголем в шикарном кожаном пальто, а на обороте честно напишет: «Пальто не моё». Вообще, эти надписи на оборотах были удивительно интересны, часто значительны, остроумны. Наклеивая фотографии, мать порой переписывала некоторые из них под карточками в альбоме. Вот групповой снимок: ночь с 8 на 9 мая 1945 года — празднование победы в Вальденбурге, офицерское застолье. А на обороте: «Пиво в бочке немецкое, вино — итальянское, пьют славяне-победители». Не дрогнула у Менделя Цалевича рука написать это «славяне». Да он и был в те поры чистокровным русаком, иначе себя и не мыслил. Ни разу ни от него, ни от его друзей-евреев, прошедших войну и собиравшихся у нас на праздниках, я не слышала о каком-либо случае антисемитизма или другой национальной розни в армии. Наверное, они вообще возмутились бы, что я об этом пишу. Им такое и в голову бы не могло прийти. Они были русскими и, насколько я понимаю, любой шовинизм отрицали хотя бы потому, что он был идеологией врага.

Интересно, что отголоски этого безусловного военного братства мы с мужем встретили в 1989 г. в Израиле, в семье очень дальних — седьмая вода на киселе — родичей отца, дяди Миши и тёти Раи Райзманов. Они эмигрировали очень давно, в 1958 году, и, говоря на иврите, имея своё маленькое дело, приняв все законы нового государства, остались русскими. Нас они почти не знали, слышали только от другой родни о нашем существовании. Но приняли как ближайших родных: напоили-накормили на убой, спать уложили и русскую сказку на ночь рассказали — поставили на видик фильм

«Служебный роман». Больше всего, сказала тётя Рая, она скучает без русских книг. И говорили они оба с нами только о России и о своей недавней — после стольких лет — поездке туда.

Но вернусь к фотографиям. Есть среди них одна, бывшая предметом многих шутливых издевательств матери. На ней отец где-то в Германии стоит под цветущей яблоней, держа на руках маленькую чёрно-белую собачку. А держать её ему помогает совсем молоденькая девушка в гимнастёрке, русоволосая связистка какая-то. Мать подписала под фотографией «ппж» (походно-полевая жена), хотя, как мне известно, и сама не верила, чтобы отец мог ей с кем-либо изменить. Я тоже в это не верю. Дело в том, что в отце было что-то, неодолимо привлекавшее молоденьких девчонок. Его ученицами в ФЗУ на комбинате им. Тельмана были тоже совсем юные девушки 15–16 лет, и все они преданно обожали его. Это были в основном девчонки, оставшиеся без отцов, на той грани детства и девичества, когда поиск отца неприметно сливается с тягой к любви. Они видели в нём и то, и другое — интересного мужчину, который по возрасту и отношению был им, скорее, отцом — человек, наиболее подходящий для обожания.

Учитель — и ещё далеко не старик. Он тоже видел в них дочек, и я ревниво удивлялась, что он так добр к ним и так строг ко мне, своей родной дочери. Наверняка потому и был строг, что я приходилась ему родной — уж так, характерно для своего времени, он понимал отцовство.

После начала отцовской болезни пять лет моего отрочества — это бесконечная цепь комиссий ВТЭК, пересматривающих его первую группу инвалидности и каждый раз заставляющих семью дрожать в ожидании понижения пенсии; вереница больниц, в которых он лежал, — нищенских, бесчеловечных, с переполненными палатами, с хамящими и вымогающими «сестричками», где щедрым было одно солнце, а честными — только, и то слава Богу, врачи.

В день, когда отца отправляли в последнюю его больницу, где он умер, к нам домой вдруг пришла незнакомая женщина с кошёлкой и попросилась повидать отца. К нему тогда многие приходили с работы — понимали, что обречён, и мать впустила гостью к отцу. Не знаю уж, как и о чём она говорила с ним, лишённым речи, ослабевшим после очередного сердечного приступа, но скоро она выскочила к нам, заливаясь слезами и повторяя:

— А весёлый-то был какой, свойский…

Она объяснила, что служила в его части, что прознала от других однополчан о его болезни, и представилась. Это была «ппж», конечно, и никакая не ппж, а обожающая подчинённая. Так она в последний раз повидала своего командира. В расстройстве она уронила кошёлку — по полу рассыпались тёмные сочные вишни, притащенные отцу. А в дом уже входили санитары с носилками — за отцом. Вишни и над ними — навсегда уносимый из дому отец — для меня образ 1956 года.

А уж если я рассказала, как мы с «ппж» Тоней Ковалевой провожали его, расскажу и о том, как встречали его мы с матерью летом 1945. Встречали в три приёма. 9 мая, конечно, мы понимали, что ему не добраться до нас из немецкого города, вывесившего из каждого окна белую простыню или скатёрку (сделал отец и такой снимок с подписью «Вальденбург капитулирует»). Но весь этот день, обильно залитый солнцем, курившийся синим туманом в концах улиц, где стояли толпы с лозунгами «Да здравствует Первое мая», ещё не спрятанными после недавней демонстрации, день, озвученный торжествующий безднами левитановского голоса, — мы таили слабую надежду: вдруг всё же сегодня? Что если — на самолёте? Но отца не было.

Потом, уже совсем летом, был день, когда в Ленинград входили войска. Они шли по Кировскому проспекту. Под ногами солдат и гусеницами танков превращались в кашу букеты цветов, которые бросали ленинградцы, выстроившиеся по обе стороны на тротуарах. Было жарко, и магазины выставили столики с лимонадом для победителей. Они выходили из шеренг и пили, и я впервые почуяла тот потный, копчёный солдатский запах, что потом сгустился в поддонах нашего шкапа. Но отца не было и в этот день.

Однажды, ближе к концу лета, — я уже перестала ждать — мать велела мне прийти к ней на работу и повела меня к себе в столовую, покормить обедом на лишний талон. Едва мы с ней сели за пустой столовский борщ, как вдруг в полутёмный зальчик влетела запыхавшаяся бабушка. Она заглянула к нам в тарелки и сердито заорала:

— Вот вы тут борщ едите — а отец вернулся!

Когда мы вбежали домой, комната наша была полна тем самым копчёным запахом, а у левого валика дивана, под полочкой с фарфоровым зайцем, сидел отец.

Царство ему Небесное. Это — там, в непостижимом и неизвестном. Но царство Небесное есть и на земле. Оно — во мне, пока я жива, пока целы хоть эти жалкие обрывки, пока живут другие люди, знавшие отца.

А в моём царстве Небесном отец всегда сидит у левого валика дивана, наклеивает фотокарточки, вспоминает войну, проверяет мои тетрадки и дневники и грозно поднимается, чтобы меня выпороть. И стоит в моём царстве Небесном жаркий, копчёный, прокопчённый запах Победы.

Рукопись любезно предоставлена Николаем Кавиным.

Александр Астраханцев

Зорий Яхнин

У шведской писательницы Сельмы Лагерлёф (1858–1940) есть роман «Сага о Йёсте Берлинге», который я очень любил в молодости. Почему любил? Во-первых, это книга поэтичная, написанная с огромной любовью к героям, к народу и природе, среди которых герои живут. Во-вторых, действие в романе происходит в северной Швеции, очень похожей на Сибирь: там много камня, воды и диких мрачных лесов, зимы там длинные, холодные и снежные, а люди — суровые. Но основным достоянием романа был для меня главный герой, привлекательный молодой человек по имени Йёста Берлинг, за беспутство выгнанный с должности пастора поэт, написавший в жизни всего одно-единственное стихотворение. Причём он не притворялся, не играл в поэта — а в самом деле был им, то есть человеком мятежным, бесшабашным и беспутным, обладавшим в то же время нежной, чуткой, чувствительной душой и красивой, вдохновенной внешностью.

Красноярский поэт Зорий Яковлевич Яхнин (1930–1997), с которым я коротко познакомился уже в зрелом возрасте, своей статью и внешностью очень напоминал мне этого Йёсту Берлинга, хотя, в отличие от романного героя, написал и опубликовал в своей жизни немало стихов и поэм и издал более десятка поэтических книжек. Правда (по моему мнению, сугубо субъективному), стихи его не пережили его самого — умерли вместе с ним, а сам поэт практически забыт. Но что делать — это судьба почти каждого литератора: известно, что к концу XX века в России насчитывалось около 10 000 живых профессиональных писателей, а ведь от всей второй половины XX века в истории российской литературы лет через 100 едва ли останутся 3–4 имени, и что за имена останутся — никто, даже самые прозорливые специалисты, предсказать сейчас не в состоянии. Может, то будут имена, никому ныне неизвестные? Остальное «вечности жерлом пожрётся» (по Г. Державину). А ведь каждый профессиональный писатель, даже забытый тотчас после смерти, вносит в копилку национальной культуры свою капельку труда, мук и своих маленьких творческих открытий…

Да, Зорий Яхнин был поэтом второго ряда. Ну и что? Его поэтическое имя было довольно популярно в Красноярске и Красноярском крае в 60–70-е годы XX в.; у него был свой круг читателей, даже почитателей, которых он радовал своими стихами. Кстати, зачастую стихи (как и самодеятельные песни) лучше всего воспринимаются при устном авторском исполнении: тут важны уместность исполнения, подготовленность слушателей, ожидание встречи, внешность автора, волнение его, переданное слушателям, модуляции его живого голоса, точность интонаций и т. д. и т. п.; Зорий Яковлевич очень любил и ценил эти творческие встречи глаза в глаза и радовался им — они его возбуждали. Думаю, эти встречи приносили радость и другой стороне: слушателям и слушательницам. Так что не будем иронизировать по поводу его забытости, а отдадим должное его творческому потенциалу, какой есть, и расскажем о том, каким поэт был в жизни.

В Союз писателей я вступил, будучи лично едва знакомым с одним-единственным профессиональным писателем, так что знакомиться со своими новыми коллегами и составлять своё мнение о каждом из них и обо всех вместе пришлось, уже имея за плечами серьёзный жизненный опыт. И вот что скажу об этой братии (если — обобщённо): более интересными в общении для меня оказались прозаики (может, оттого что сам пишу прозу?) — они больше читают, больше знают и размышляют, интересуются довольно широким кругом проблем. Поэтов же, в отличие от прозаиков, чаще всего ничего, кроме поэзии, не интересует; зато они бывают хорошими знатоками классической и современной поэзии и теории стиха и внимательно — даже, я бы сказал, ревниво — следят за публикациями своих собратьев по цеху; с упорством маньяков они могут часами читать друг другу стихи, свои и чужие, и спорить о гениальных достоинствах какого-нибудь одного стихотворения, а то и отдельной строфы или стихотворной фразы. Прозаик увидит в этом лишь признак незрелой юношеской экзальтации, которая непременно покажется ему с высоты его познаний утомительно скучной; поэтому у прозаика с поэтом продуктивного диалога не получается. А поэты, в свою очередь, поглядывают на прозаиков чуть свысока (словно этакие аристократы духа — на плебеев, «в поте пишущих, в поте пашущих»)…

Приблизительно такое вот мнение сложилось у меня и о поэте Яхнине после шапочного знакомства с ним. Кроме одной индивидуальной особенности: он оказался ещё и крепко пьющим человеком. И через некоторое время после нашего с ним знакомства он недвусмысленно подтвердил мне эту свою особенность.

Дело было так: трое крепенько «поддатых» моих новых знакомых-писателей, в том числе и Зорий Яковлевич, с бутылкой водки нежданно заявились однажды вечером ко мне домой — «для

закрепления знакомства». Мы с женой, обычно встречая гостей по принципу: «всё, что есть в печи, на стол мечи»,—наскоро накрыли для них стол и выставили из заначки ещё бутылку водки… «Закрепление знакомства» затянулось за полночь. Двое гостей ушли на своих ногах, а Зорий Яковлевич оказался настолько «тяжёл», что уснул за столом. Мне пришлось (хоть он и был на полголовы выше меня ростом) доставлять его домой на себе, благо, как оказалось, жил он неподалёку, и за время нашего с ним ночного путешествия он так и не проснулся… Между тем от «закрепления знакомства» осталось в одной из бутылок немного водки, и я собственноручно вернул её в холодильник, а дня через два вспомнил о ней, полез туда—а её там нет. Спрашиваю жену, куда она делась,—та недоуменно пожимает плечами. И тут вносит ясность по поводу злополучной бутылки дочь-подросток:

— Вот тот дяденька, которого ты позавчера унёс, пришёл вчера днём и сказал: «Милая девочка! Там вчера осталось в бутылочке немножко водочки—так ты, пожалуйста, отдай её мне!»—я и отдала.

Мы с женой стали было ругать её за то, что выполняет просьбы незнакомых людей, на что она ответила: «Но он так просил, так умолял!..» Нам с женой оставалось лишь переглянуться и рассмеяться…

А через много лет мы с Зорием Яковлевичем—оба уже одинокие люди—оказались в очень близком соседстве: наши с ним квартиры разделяли всего несколько этажей в одном и том же подъезде. К тому времени ему оставалось жить всего четыре года, однако он был бодр тогда и ни о какой смерти не помышлял; в течение этих лет мы с ним чисто по-соседски коротко сошлись, и постепенно мне начали открываться в нём некоторые потаённые стороны его натуры.

Нас сводили вместе холостяцкие нужды: чаще всего я или он поздно вечером спохватывались: нет хлеба на ужин,—звонили, просили выручить и шли за краюшкой хлеба, а зайдя, слово за словом вступали в разговор, который затягивался на час, на два, затем ужинали вместе «чем Бог послал» и заканчивали разговор глубоко за полночь.

Как раз в то время у него была серьёзная «ломка»: он бросил пить и одновременно—курить, мучился, иногда срывался, и когда срывался—вёл потаённый, ночной образ жизни, стараясь во время срывов ни с кем не общаться. А когда справившись наконец с собой, отходил—то бывал снова бодр и весел, много работал и вёл активный образ жизни. Я, регулярно посещая по утрам лес возле Академгородка ради спортивных пробежек, частенько видел его там в любое время года, в том числе и зимой, одиноко бредущим по тропинке или сидящим на пеньке с неизменным блокнотом в руке. При таких встречах я старался ему не мешать, лишь издали махнув рукой в знак приветствия.

Надо сказать, в начале нашего соседства он отнёсся ко мне настороженно, боясь, видимо, что я, пользуясь соседством, буду соблазнять его выпивкой. Но я, зная уже эту его слабость, к своей чести, не позволил себе выпить с ним ни единого раза, так что его настороженность через некоторое время прошла, мы с ним с определённой долей искренности и доверия стали вполне по-приятельски общаться, и круг тем нашего общения постепенно начал расширяться.

Так, я довольно неожиданно для себя обнаружил у него два хобби, или, попросту говоря, увлечения для души, которыми он тогда истово занимался в свободное от литературных занятий время — чтобы, видимо, отвлечься от пагубных привычек. А неожиданными для меня они оказались потому, что не вязались с его обликом рафинированного поэта-белоручки, этакого баловня судьбы. Но о его увлечениях — чуть ниже…

Каждое очередное наше общение, начавшись с какой-нибудь литературной новости, быстро пускалось затем в свободное плавание… Он, в отличие от меня, имел большой стаж литератора-профессионала, накопил множество литературной информации, той, которую невозможно нигде вычитать, и охотно ею со мной делился. Причём информация эта при устной передаче, как правило, преображалась им в смешные, грустные или чудовищные по своей нелепости анекдоты по поводу частной жизни известных писателей, их столкновений друг с другом, с властями, с издательствами, и он частенько смешил меня своими рассказами.

Кроме того, он любил чувствовать себя человеком свободным, легко снимавшимся с места, не привязанным ни к какой «службе». При этом, родившись и выросши в Москве, он так и не сумел по-настоящему привыкнуть к сибирскому климату. Особенно его удручала сибирская весна, мучительно долгая и холодная. В результате он почти каждый год в середине или конце марта уезжал в Крым, в Коктебельский дом творчества писателей — «встречать крымскую весну», заезжал затем в Москву, останавливаясь там у родственников или в доме творчества «Переделкино», и возвращался домой к середине мая, как раз к тому времени, когда в Красноярск наконец приходит настоящее весеннее тепло. Приезжал он загорелым, с новыми стихами, со свежими впечатлениями от крымской весны и от московских встреч и со свежими литературными вестями и анекдотами.

Но привозил он ещё один продукт своего творчества — кипы собственноручно написанных акварелей с видами Крыма и Подмосковья. Я даже помню, как он привёз их впервые: то были совсем небольшие размером, неумело раскрашенные, однако трогательные своей робкой искренностью альбомные листки ватмана, на которых угадывались виды Коктебельской бухты и гор Карадага, опоясывающих Коктебель.

— Откуда это у тебя? — спросил я, навестив его по приезде и удивлённо рассматривая множество этих листков, развешанных по стенам.

— Сам нарисовал! — с гордостью ответил он.

Я попросил у него тогда один из рисунков, и листок этот, оправленный в рамку под стеклом, и поныне висит у меня на стене. «Это второй в моей жизни рисунок!» — сказал Зорий Яковлевич, отдавая его. Мне он дорог тем, что, во-первых, сделан он ещё неумелой рукой Зория Яковлевича, во-вторых, рисунок напоминает мне о том, как я сам в свои лучшие годы не раз бывал в тех местах, и, в-третьих, на рисунке изображён своего рода символ Коктебеля: знаменитая карадагская скала над морем, в силуэте которой угадывается профиль лица самого основателя Коктебельского дома творчества, Максимилиана Волошина. Вот как писал Волошин об этой скале в своей небольшой поэме «Дом поэта»:

Вон там — за профилем прибрежных скал,
Запечатлевшим некое подобье
(Мой лоб, мой нос, ощёчье и подлобье), —
Как рухнувший готический собор,
Торчащий непокорными зубцами,
Как сказочный базальтовый костёр,
Широ́ко вздувший каменное пламя,
Из сизой мглы, над морем вдалеке
Встаёт стена… Но сказ о Карадаге
Не выцветить ни кистью на бумаге,
Не высловить на скудном языке…

Тогда же Зорий Яковлевич рассказал мне, как случилось его приобщение к акварельной живописи: в тот год апрель в Коктебеле был страшно холодным, дом творчества был полупуст, и — ни одного знакомого лица. Спасаясь от скуки, З. Я. познакомился с безвестным московским художником-акварелистом, приехавшим в Крым писать весенние этюды, и таскался за ним, развлекая его разговорами. Однако художнику эти разговоры, видимо, надоели, и он, чтобы занять З. Я., дал ему в руки лист бумаги, акварельную кисть и показал, как её держать и как ею работать.

Зорий Яковлевич, в шестьдесят с лишним лет впервые в жизни, причём с большой неохотой, взявши в руку эту кисть и боясь запачкаться краской, начал осторожно мазать ею по бумаге… и вдруг это занятие ему понравилось! В тот же день он пошёл в магазин, купил себе краски, кисти, альбом, с головой окунулся в рисование и с тех пор, где бы ни был: в Крыму, в Подмосковье, в Красноярске — он, не переставая, мазал и мазал красками…

Найдя во мне заинтересованного зрителя, многое из нарисованного он старался показать мне, внимательно выслушивал мои замечания и мои похвалы и даже, узнав, что я в детстве и юности увлекался рисованием, — долго и страстно уговаривал меня вновь начать рисовать, чтобы ходить вместе на «пленэры». Правда, я категорически отказался от этой затеи — у меня для этого совершенно не было времени. А он, благодаря своей увлечённости, терпению и явно врождённому вкусу, делал поразительно быстрые успехи; если простодушная неумелость его первых акварелей вызывала у меня невольную улыбку, то уже года через два лучшие его работы восхищали меня точностью мазка, «вкусным» колоритом, сюжетной законченностью.

Неожиданно для себя став акварельным живописцем, он при этом удивлённо и внимательно осмотрелся вокруг и вдруг увидел, как всё, что окружает его, живописно, ярко, красиво — и прямо-таки неистово бросился зарисовывать всё подряд: лесные и горные пейзажи, церкви, деревенские и дачные домики, цветущие кусты и деревья, овощи, фрукты, цветы в букетах, пушистые весенние вербы в стаканах, какие-то скамейки, стулья, интерьеры комнат… Однажды изобразил

даже собственные старые зимние ботинки и сам удивился:
— Ты посмотри, посмотри, какие они красивые, даже стоптанные!..

А однажды устроил выставку своих работ в библиотеке Академгородка. Его, здешнего старожила, многие тут хорошо знали, и выставка получилась многолюдной. Он также пригласил на неё несколько профессиональных художников, и те были поражены его успехами: ведь он был нигде и никогда не учившимся любителем! А директор Красноярского художественного музея А. Ф. Ефимовский даже закупил с выставки несколько его акварелей для музея.

То была середина 90-х гг. XX в., трудное время — время бешеной девальвации рубля. Особенно трудным оно было для писателей: если остальным категориям работающих людей хоть что-то платили — писателям вообще никто ничего не платил, а если и платил, то — по советским расценкам, в то время как цены на всё возросли в тысячи раз, и, чтобы выжить, они искали разные возможности хоть как-то заработать. Зорий Яковлевич вышел из положения по-своему: стал продавать свои акварельные пейзажи, натюрморты из овощей и фруктов, букетов цветов и вербы, оставляя на фоне акварельного рисунка автограф соответствующего теме собственного стихотворения и оклеив затем рисунок незатейливой рамочкой из картона или соломки.

Продавал он их на вечерах своей поэзии, и почитатели его расхватывали их, как горячие пирожки. Так что, во всяком случае, на дорогие хорошие краски и хорошую же рисовальную бумагу денег ему вполне хватало.

Вторым его увлечением, ещё более удивившим меня, чем первое (поскольку был он по натуре своей рафинированным горожанином), стало… огородничество, которым он активно занялся уже на склоне своих лет.
— Понимаешь, старик, в чём дело? — объяснял он мне это своё увлечение в доверительной беседе. — С некоторых пор я вдруг почувствовал свою ущербность, что ли, оттого что я никогда не жил в деревне и никогда не было у меня активного общения с землёй, с природой, с растениями… — и, почувствовав эту ущербность, он начал интенсивно навёрстывать упущенное.

На высоком берегу Енисея недалеко от Академгородка расположена радиостанция Енисейского управления речного пароходства (ЕНУРП): поляна площадью примерно в два гектара, огороженная чисто символическим забором из рваной колючей проволоки, а за ней — белый домик самой радиостанции и несколько высоких стальных мачт. А в одном углу этой поляны приютились несколько крохотных, в две-три сотки, дачных участков с крохотными же домиками-развалюхами. Дачи, кажется, принадлежали самим же работникам радиостанции. И вот Зорий Яковлевич, узнав, что одна из этих дач продаётся, купил эту дачку — с разрешения, разумеется, руководства ЕНУРП — и начал на ней хозяйствовать.

Однажды он пригласил меня туда, и я пришёл: было интересно взглянуть на Зория-«земледельца». Была на его участке и развалюшка, настолько ветхая, что в ней, по-моему, невозможно было даже спрятаться от дождя, так что общались на улице, за неким подобием стола, вкопанного в землю. На земле его дачи росло очень многое — но в мизерных количествах: кустов десять картошки, миниатюрные грядочки моркови, свёклы, лука, салата, петрушки, сельдерея, укропа, по крупному кусту кабачков и тыквы… Осенью, когда урожай созревал, он за несколько ходок переносил его в сумке домой, что-то заготавливал на зиму в банках, что-то сушил, что-то раскладывал и развешивал по стенам на кухне и в комнате, причём так, чтобы всё это — связки лука, зелёные кабачки, оранжевые тыквы — не просто хранилось, а ещё и украшало жилище и выглядело живописными натюрмортами.

Из собственных овощей он затеивал густые наваристые борщи, приглашал меня отведать их, и я подтверждаю: борщи были отменно вкусны! А сами его дачные хлопоты — весьма трогательны.

Но ему приходилось отлучаться в длительные поездки, в том числе и летом, поэтому, чтобы за дачей летом был надлежащий уход, он пригласил в компаньоны своего старого товарища, писателя и бывшего редактора альманаха «Енисей» Ивана Владимировича Уразова. Тем более что из двух соток землевладения Зорий Яковлевич использовал не всю землю — часть её зарастала бурьяном. И. В. Уразов начал было рьяно хозяйствовать на участке, но, в конце концов, они с Зорием Яковлевичем поссорились из-за каких-то принципиальных соображений. Так что эта ссора на крохотном клочке земли лишний раз доказывает, что земля всё-таки любит единоличного хозяина.

Как-то я спросил Зория Яковлевича: а не тянет ли его с возрастом вернуться в Москву?
— Нет! — категорически ответил он. — Хотя в Москву меня, конечно, тянет и хоть раз в год я стараюсь там бывать — но только гостем. Я ведь уже сибиряк!

Однако он чуть-чуть лукавил: он стал сибиряком лишь наполовину, наполовину всё-таки оставшись москвичом, вежливым, обходительным, умеющим обаять собеседника (такого не дождёшься от нашего брата, простодушно-грубоватого сибиряка). Он умел быть радушным хозяином: давал гостю почувствовать себя комфортно, умел развлечь беседой, щедро делился информацией, которой обладал сам, непременно поил чаем, а то и кормил обедом или ужином, если гость засиделся, накрыв при этом стол с ловкостью официанта, не забыв положить перед тобой салфетку и все соответствующие приборы, и всё это — аккуратно и эстетично. При этом ты мог прекрасно понимать, что, возможно, хозяин делает это всего лишь из вежливости и привычки, что, несмотря на стопроцентное внимание к твоей персоне, его в это время, возможно, одолевают собственные заботы и проблемы — но, чёрт возьми, как приятно бывает такое гостеприимство и такое тёплое отношение!

Как они украшают жизнь и остаются в памяти на долгие-долгие годы!

При этом, несмотря на холостяцкое положение в конце жизни, он содержал своё жилище в чистоте, всё там лежало на своём месте, комнату и кухню непременно украшали букетик цветов, полевых или садовых, картинки на стенах, причём картинки не покупные, а нарисованные собственноручно или подаренные художниками.

Кроме того, он умел по-детски искренне радоваться всему, что составляло его жизнь: только что написанной собственной картинке или собственному стихотворению, хорошему чужому стихотворению, купленной или присланной ему новой книге — да, в конце концов, новой записной книжке и новой ручке или выросшим в его огороде овощам.

Он умел быть благодарным судьбе уже за то, что она, какая-никакая, у него была. Даже за то, что сумел бросить пить и из-за этого страдал навязчивой бессонницей.

— Ты знаешь, ста-гик, — говорил он своим дрожащим картавым тенорком, и в тоне его звучало удивление перед всем, о чём он говорил, словно перед необыкновенным чудом, — как это здорово — провести бессонную ночь, увидеть звёздное небо, ночные метеоры, видеть, как зарождается рассвет, как он начинается с бледного света из-за горизонта!.. А как радуются этому птицы — никто не умеет радоваться, как они! Представляешь: я бы прожил целую жизнь и ничего этого так и не узнал бы!.. — и где-то в глубине его души вслед за удивлением сквозило лёгкое сожаление о том, что так много времени он был занят чем-то не тем…

Не замеченный в горячей преданности КПСС в советское время, в постсоветское время Зорий Яковлевич довольно неожиданно для окружающих стал на удивление ревностным коммунистом.

Знаю отношение к этому кое-кого из старых коммунистов в писательском цехе; они скептически усмехались за его спиной: «Этот — предаст!» Однако Зорий Яковлевич никого не предал и до конца жизни остался активным коммунистом, в отличие от многих из этих скептиков, получивших от власти КПСС всё, что только можно получить, и пальцем не пошевеливших, чтобы активно поддержать и защитить её, когда она рушилась.

К чести Зория Яковлевича, его активное сотрудничество с коммунистами происходило именно в те годы, когда КПСС перестала быть «властной структурой», превратилась в КПРФ и ушла в оппозицию и поэт, поддерживавший её, никаких благ и преимуществ за это получать уже не мог. Однако, выступая на вечерах поэзии (в 90-е годы такие вечера ещё собирали многочисленных слушателей!), он, наряду с лирическими, читал и свои политические стихи, причём делал это демонстративно, поскольку большинство любителей стихов в те годы сочувствовало перестроечной демократии, и даже срывал при этом аплодисменты… Особенно помню одно такое стихотворение, пафосное исполнение которого я слышал от него неоднократно; в этом стихотворении автор возмущался коммунистами, которые публично сжигают свои партийные билеты.

Однако в этой демонстративной позиции З. Я. была своя подоплёка, и, рассказывая о ней, нельзя не коснуться так называемого «сальеризма», который заметно мучил З. Я. в последние годы его жизни.

Я имею в виду происхождение этого слова от имени персонажа из маленькой пушкинской трагедии «Моцарт и Сальери», композитора Сальери, с его завистью к Моцарту, своему более талантливому и удачливому товарищу: ведь пушкинский Сальери — персонаж, можно сказать, нарицательный: зависть, увы, — явление широко распространённое среди людей творческих профессий. В данном случае пусть не Моцартом, но, во всяком случае, антагонистом З. Я. оказался более удачливый на литературной ниве Роман Харисович Солнцев.

Я не был знаком с ними обоими в молодости, однако, по слухам, они очень дружили тогда, одинаково публиковали много стихов, оба были поэтами, начавшими писать прозу, и их поэтические имена были одинаково популярны среди читателей. Однако в начале 80-х гг., т. е. ко времени моего знакомства с обоими и одновременно — времени охлаждения отношений между ними, стихи и публицистика Р. Х. Солнцева стали часто появляться в столичной периодике, а З. Я. так и остался местным, красноярским автором.

Не прибавил тепла их отношениям и переезд в Красноярск В. П. Астафьева. Многие красноярские литераторы искали тогда сближения с ним. Духовно ближе всех к нему, видимо, оказался Р. Х.; кажется, именно тогда между З. Я. и Р. Х. пробежала чёрная кошка.

Их противостояние стало открытым в бурные годы перестройки, когда публицистика и драматургия Р. Х. стали особенно широко популярны и получали при этом большой общественный резонанс, по его пьесам ставились фильмы, которые шли по ТВ на всю страну, и спектакли в престижных московских театрах, а сам Р. Х., публично уничтожив свой партбилет и широко опубликовав своё заявление о демонстративном выходе из КПСС, стал одним из популяризаторов перестройки и был избран на этой волне депутатом Верховного Совета РСФСР. Именно к тому времени и относится демонстративная поддержка Зорием Яковлевичем КПСС, а после её роспуска, соответственно, КПРФ…

Однажды (да, всего лишь однажды!) мы с ним завели разговор о текущей политике: о пришедших к власти демократах, о деятельности Р. Х. Солнцева в этой власти, об ушедшей в оппозицию КПРФ, об отношении к ней и т. д. — и я, искренне желая «наставить на путь истинный» Зория Яковлевича, произнёс тогда небольшой, но довольно страстный монолог о том, что поэту противопоказано занятие политикой и злободневной политической публицистикой: как правило, такое занятие ничего поэту не приносит, кроме разочарований, потери времени и сил, что всякая политическая публицистика у поэта всегда слабее его возможностей, что политики обычно пользуются поэтами,

словно сиюминутным инструментом, что у поэта для самовыражения всегда есть набор вечных тем… и т. д. и т. п.

З. Я., как всякий хорошо воспитанный человек, внимательно меня выслушал, а потом тихо, но вдумчиво возразил мне примерно следующим монологом:

— Понимаешь, старик, ты, наверное, прав, но я не могу заниматься никакими вечными темами, потому что меня выбили из колеи. Я тебе честно скажу: никогда я не был слепым приверженцем КПСС, но в советское время я знал, что как поэт я востребован: меня печатали, мне платили гонорары, давали аудиторию для выступлений, а теперь у меня ничего этого нет, и я знаю, что сегодняшней власти как поэт я не нужен. Поэтому, насколько у меня хватит сил, я буду бороться с этой властью и защищать коммунистов. А Рому я знаю как никто другой: знаю, о чём он думает и чего хочет, поэтому должен его разоблачить!..— причём, когда З. Я. говорил о Р. Х., голос его начал звучать с негодованием, срываясь до фальцета.

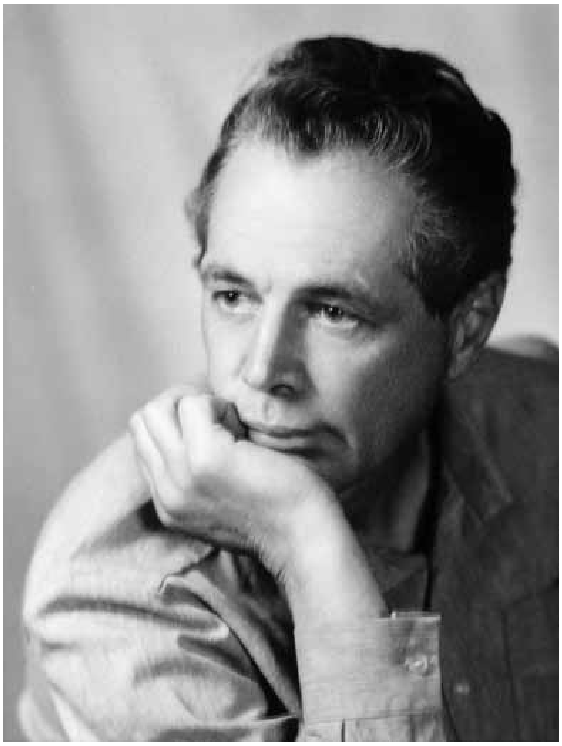
Так мы с З. Я. и остались каждый при своём мнении и больше к этой теме не возвращались, осторожно обходя её стороной.

А результат ситуации таков: и З. Я., и Р. Х. лежат вместе на Бадалыке, и обоих помнят и навещают их могилы лишь близкие да кое-кто из литераторов-ветеранов. Но нет до них обоих дела тем, ради кого они работали, каждый на выбранной им стороне. Вот ярчайший тому пример: красноярские писатели прекрасно помнят, как горячо представители властей говорили на похоронах Р. Х. Солнцева о том, что память о нём должна быть обязательно сохранена. Но через два года после смерти Р. Х., в год его семидесятилетнего юбилея в 2009 г., когда красноярские писатели предложили властям найти средства для сооружения мемориальной доски, посвящённой Р. Х.—эти власти преспокойно отказали в средствах: кризисная, мол, ситуация, нет средств… Что нет средств—это, разумеется, чистое лукавство: средств полно, судя по тому, как, невзирая на кризис, продолжает благоустраиваться город, строятся новые фонтаны, возводится весьма дорогая бронзовая уличная скульптура. Похоже, сегодняшней власти просто не нужна память о человеке, больше всех в городе положившем сил на то, чтобы эта сегодняшняя власть заняла своё место…

Старая история о чёрной неблагодарности… Хотя ничто не мешает нам надеяться на то, что законы справедливости существуют и работают, даже в наше беспамятное и свободное от всяких нравственных обязанностей время.

Хочется коротко рассказать напоследок, с каким достоинством Зорий Яковлевич уходил из жизни.

Последние месяца три он очень тяжко болел, почти не выходил из дома и не отвечал на звонки. За ним ухаживала его дочь, Марина Зориевна, и делала она это воистину подвижнически: работая учительницей, будучи загруженной в школе, имея свою семью и живя далеко от отца, она приезжала к нему ежевечерне.



Встречаясь с ней на лестнице, я расспрашивал её о состоянии отца и сетовал, что хотел бы навестить З. Я., но никак не могу до него дозвониться: никто не берёт трубку—и она объяснила мне, что он не хочет ни с кем видеться, потому что не хочет, чтобы его видели больным и беспомощным…

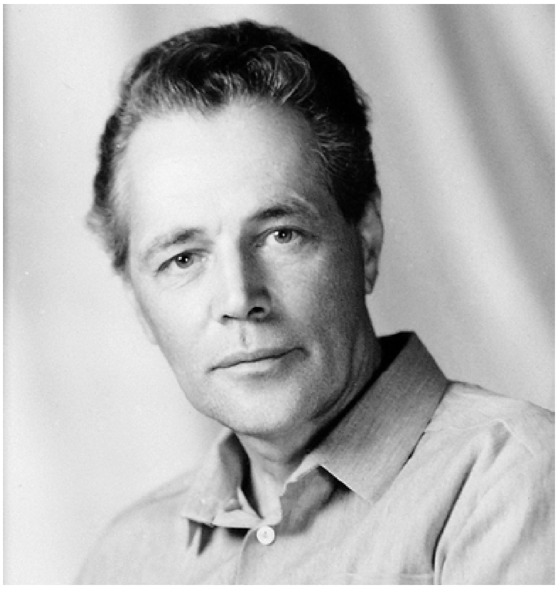
Но однажды, возвращаясь поздно вечером домой, я догнал его на лестнице: цепляясь за перила, он тяжело преодолевал лестницу в десяток ступенек на первый этаж, к лифту, и выглядел очень худым, ссутуленным, с потемневшим, осунувшимся лицом. Я хотел помочь ему, но с грустной улыбкой: «Пока ещё на своих двоих, слава Богу, сам хожу»,—он категорически отверг мою помощь и изо всех сил старался держаться с достоинством.

Поднялись на лифте на его этаж, и он пригласил меня к себе:

— Зайди, раз уж встретились—расскажешь новости.

Зайдя к нему и раздевшись в прихожей, мы прошли в комнату. Он сразу прилёг в полусидячей позе на постель, слегка прикрывшись пледом, а я сел в кресло напротив, и мы проговорили с час.

Я рассказал ему о делах в писательской организации и прочих новостях. Затем он стал рассказывать о своём состоянии. Говорил он спокойно, без драматических интонаций—как о чём-то обыденном и слегка надоевшем. О том, например, как в конфиденциальном разговоре с лечащим врачом он попросил того сказать ему точно, когда умрёт, поскольку смерти нисколько не боится—просто ему надо, не торопясь, без суеты привести в порядок свои бумаги и, может быть, даже ещё успеть сделать что-то незаконченное. И когда говорил о том, что смерти не боится, то добавил между



прочими фразами, что, если бы у него был револьвер, он, как только его покинут силы, с удовольствием бы застрелился, чтобы не тянуть агонию, не отнимать слишком много времени у ближних и не выглядеть на смертном одре слишком замученным и некрасивым (эстетическое чувство не покидало его и на смертном одре!), и рассказал историю о том, как, будучи тринадцатилетним подростком, однажды держал в руках такой револьвер и как в последнее время часто вспоминает приятную тяжесть того револьвера в ладони.

А история такая: будто бы его отец имел право на револьвер и держал его запертым в ящике своего письменного стола; Зорий, будучи подростком и узнав об этом, долго мечтал его украсть, однажды наконец подобрал ключ и утащил его на улицу, чтобы похвастаться перед дружками и хоть разик пальнуть из него, а потом вернуть на место. Но пальнуть не пришлось: один из дружков, который был постарше его, тотчас же отобрал его у него и унёс; однако Зорий догадался немедленно позвонить отцу и признаться во всём; отец тотчас приехал, и через полчаса револьвер был найден, а сам Зорий — примерно выпорот ремнём…

Когда я посетовал, что он не отвечает на мои телефонные звонки, — он сказал то же, что и его дочь: не отвечает он не потому, что разлюбил людей и не хочет ни с кем общаться, — просто у него слишком много близких друзей и подруг, которые хотели бы навестить его, однако он не хочет пугать их своим видом и портить настроение им своими проблемами — пусть навсегда запомнят его весёлым, улыбающимся и полным сил…

И под конец разговора, подводя черту под своей жизнью, сказал о себе уже в прошлом времени: «В общем-то, я хорошую жизнь прожил: писал стихи, рисовал, пил вино, любил цветы и женщин…»

И это правда, что он любил женщин и сам пользовался их благосклонным вниманием: в период нашего с ним соседства, когда он был уже человеком пожилым и нездоровым, я, забегая к нему случайно, неоднократно заставал у него в гостях дам, весьма милых и почтенных…

За несколько лет нашего соседства друзьями мы так и не стали. Думаю, что сдерживало нас несколько факторов: разница в возрасте, некоторая разница во вкусах (в первую очередь, разумеется, — литературных), разница в жанрах, которыми мы занимались; да и вообще ведь в пожилом возрасте люди сдруживаются медленно и осторожно.

Но был, думаю, ещё один немаловажный фактор нашей с ним разъединённости… Я уже где-то писал о том, что, как мне кажется, главная причина разделения людей на трудно соединимые группы (касты ли?) — не богатство или возраст, не культурная, социальная ли или национальная рознь — а разница в том, где ты родился и провёл детство: в деревне — или в городе… Горожанин по происхождению более раскован, быстрей думает и говорит, легче адаптируется и легче общается; горожанин насмешлив и ироничен; он владеет городским жаргоном, он имеет, как правило, широкий круг знакомств… Деревенский же человек, учась в детстве жить у травы и деревьев, вырастая вместе с щенками и телятами, в окружении бабочек, птиц, кузнечиков, среди неспешной смены дня, ночи и времён года, переехав в город, чувствует себя инопланетянином и учится жить заново. И как иностранца, сколько он ни живи в другой стране, почти всегда выдаёт акцент, пусть даже едва заметный, точно так же и деревенский человек в городе чувствует себя чуть-чуть иностранцем…

Я думаю, со временем мы бы с ним стали друзьями, просто у нас не хватило этого самого времени, чтобы «притереться» и хорошо привыкнуть друг к другу. Однако мы пребывали в добром приятельстве и соседстве. Поэтому я и смог беспристрастно описать, каким его видел и знал. И точно так же беспристрастно хочу описать свои ощущения восприятия своего соседа после его ухода из жизни.

Так вот, теперь, когда его нет (наверное, точно так же, как после ухода в небытие любого человека) — я почти воочию вижу, как ничем не восполнено пространство, которое он занимал собою: подходя к нашему дому, я вижу, как чернеют пустые глазницы окон, за которыми он жил, чувствую, что дом этот стал холодней и пустынней; я вижу, как более пусто стало в лесу и на полянах вокруг Академгородка, где он шагал по тропинкам и сидел на пеньках; вижу, как не хватает его долговязой фигуры дорожкам Акадегородка… Удивительно, как может наполнять человек пространство вокруг себя самим собой, аурой своего душевного света. И как грустно и уныло, должно быть, жить на свете людям, не имеющим её…

На центральной аллее кладбища Бадалык, в самой середине её, стоит высокая и узкая каменная стела серого цвета, оформленная с хорошим вкусом: на ней — лишь гравированный на камне портрет Зория Яковлевича, молодого, пышноволосого, улыбающегося, а ниже — очень лаконичная надпись: «Поэт Зорий Яхнин», — и несколько его стихотворных строк. И больше ничего.

Илья Иослович

Университет и ящик

Университет

Весной 1955 года я должен был решить, куда поступать учиться после школы. Семейных традиций было две: гуманитарная и математическая. Мама три года училась на истфаке МГУ. Папа долгое время зарабатывал на жизнь журналистикой. Он работал в журнале «За индустриализацию» и в редакции серии книг «История фабрик и заводов». В конце концов, и мама, и папа окончили мехмат МГУ, это и было естественным выбором для меня — с их точки зрения. Я очень склонялся к тому, чтобы поступить на филфак. Папа спрашивал: «Кем же ты будешь, писателем?» «Может быть», — отвечал я. «Будешь днём на диване что-нибудь сочинять, а вечерами сидеть в писательском клубе?» Я в этом не видел ничего плохого. Медицинский институт почему-то вообще не обсуждался, хотя дедушка был известным врачом. Впрочем, он обожал геометрические задачи на построения, а также публиковал в «Углетехиздате» книжки про признаки делимости на разные простые числа. Признаки делимости — это очень интересно. Правда, как правило, проще просто разделить, чем проверять признак делимости.

Мой друг и одноклассник по школе 59 в Староконюшенном переулке Витя Генкин решительно меня убеждал поступить во ВГИК. Он собирался стать кинорежиссёром, я подумывал о киноведческом отделении.

Мы съездили во ВГИК и получили материалы по творческому конкурсу. Витя написал сценарий по рассказу Чехова «В овраге» с указанием музыкальных номеров по ходу действия. Я для затравки написал рецензию на фильм «Девушка-джигит», который только что вышел на экраны. Папе как раз эта рецензия понравилась, и он меня отвёл для консультации к старому знакомому, Семёну Сергеевичу Гинзбургу, доктору искусствоведческих наук, специалисту по кукольным фильмам. Гинзбург во время своей тревожной молодости был редактором журнала «Советское кино», преподавал во ВГИКе, затем нашёл эту относительно безопасную нишу в институте истории искусств. Ещё один семейный знакомый искусствовед был Юрка Дмитриев, доктор наук в области циркового искусства. Мама ходила с ним в своё время в детский сад. Мы как-то жили рядом на даче, и Дмитриевы научили меня играть в замечательную карточную игру «Дунька», очень азартную. Гинзбург со мной поговорил очень доброжелательно и объяснил папе, что Илюше во ВГИК поступать нельзя ни под каким видом: он ничего в жизни не понимает и немедленно влипнет куда не надо. Вот Володя Дмитриев, сын Юры, как раз всё понимал, и ему ВГИК, по мнению Гинзбурга, был показан. Володя действительно окончил ВГИК и занимал долгое время важный пост зав. иностранным отделом Госфильмофонда, если не ошибаюсь.

Со вздохом я решил поступать на мехмат и стал готовиться. Витя в тот год не поступил во ВГИК и в следующем году под давлением своего отца, капитана первого ранга, будущего вице-адмирала Абрама Львовича Генкина, поступил в высшее военно-морское радиотехническое училище. В ходе дальнейшей карьеры Витя стал кандидатом технических наук, сильно укрепил военно-морскую мощь державы в области радиотехники. Одно время шла речь о его выдвижении на государственную премию, он дослужился до звания капитана второго ранга, где его с трудом и остановили силы реакции. Я думаю, что некоторые начальники и политорганы сильно жалели, что он не окончил ВГИК. На операторский факультет ВГИК поступал мой одноклассник Боря Кауфман, но его обвинили в том, что он скрытый родственник Дзиги Вертова, который, как известно, тоже был Кауфман, хотя и другой.

Я перерешал огромное количество задач. Папа подбирал мне всё новые. Под конец у папы обострился гастрит и он уехал лечиться в Кисловодск, а мне велел в случае нужды обращаться к его знакомому преподавателю Якову Абрамовичу Шифу. Это был представительный пожилой джентльмен, очень похожий на графа Сергея Юльевича Витте. Мне, как медалисту, надо было сдать два экзамена по математике: устный и письменный. Устный я сдал на пять, а с письменным вышла заминка. Мне помнится, там было четыре задачи. Три я решил довольно быстро, а с четвёртой тщетно возился всё остальное время. Нужно было сообразить формулу Декарта для расстояния между двумя точками или, по крайней мере, понять, что это сводится к теореме Пифагора. В общем, я так её и не решил. Мама в ужасе поначалу тоже её не решила. Позвонили Шифу. Он сказал, что будет решать. Позвонили маминому приятелю, большому учёному Кириллу Станюковичу. Он сказал, что подобная задача рассматривалась в одной из его статей, обещал поискать. Позвонили маминому знакомому, доценту мехмата Звереву. Он сказал, что попробует. В сущности, в этом уже не было никакого смысла: поезд ушёл. Через час мама взяла себя в руки, села и быстро решила эту задачу. Вскоре позвонил Станюкович и сказал, что он тоже решил. Ещё через полчаса с тем же сообщением позвонил Зверев. Часов в двенадцать ночи позвонил Яков Абрамович Шиф и сказал,

что он близок к решению. За письменный экзамен мне поставили четыре. Итак, у меня было девять баллов. Сначала собирались из этих претендентов с девятью баллами взять половину, как маме сказали знакомые, потом было принято решение взять всех.

Я поступил на отделение механики и был очень доволен. Я думал, что механика ближе к реальным проблемам. На самом деле математическое отделение на мехмате было гораздо сильнее, хотя и на механике были свои звёзды. Вообще, вступительные экзамены и собеседования, наверно, не дают объективной картины. Академик Павел Сергеевич Александров (Пуся) как-то справедливо заметил, что математические способности есть психическое отклонение и как таковое нуждается в определённом периоде наблюдения для правильного диагноза. Кстати говоря, мне всегда казалось, что заниматься математикой на мехмате или учиться на скрипача или пианиста в консерватории — лучший способ заработать добротный комплекс неполноценности на оставшуюся жизнь. Да и отношения между ведущими учёными порой напоминают ситуацию в отделении для острых психозов.

В этот год антисемитская политика на приёме в МГУ была прекращена, начиналась оттепель. Из нашей школы на мехмат ещё поступили Саша Олевский, сейчас он профессор математики в Тель-Авивском университете, и Лёня Новиков. Толя Жаботинский и Максим Дубах поступили на физфак. Туда же поступила наша общая знакомая Алёна Вассерберг. Несколько лет до этого Мишу Борщевского, с которым я подружился позднее в почтовом ящике, отсеяли на собеседовании и не взяли на мехмат с серебряной медалью и первой премией на московской олимпиаде. Это, в общем, было неслыханно. Он разговаривал с ректором МГУ Иваном Григорьевичем Петровским, тот смотрел в сторону. Миша поступил в МВТУ им. Баумана. Кстати сказать, через несколько лет после моего поступления ситуация с приёмом опять резко изменилась. Было признано необходимым усилить приём рабочей молодёжи от станка и людей после армии. Были разработаны методы корректировки национального состава. В стенгазете партбюро помещало статьи об успешной реформе: «Люди с жизненным опытом смогут более ответственно отнестись к учебному процессу. Уже не будет случаев, когда группы просто разваливались, так как вчерашние школьники не выдерживают нагрузки». Выпускники имели уже совершенно другой вид и другие знания. Академик Павел Сергеевич Александров говорил на собрании: «Нам удалось создать нужный социальный состав. Что же, теперь придётся соответственно изменить программу, чтобы они могли учиться». Дети из московской школы 57 с математическим уклоном уже шли на экзамен без иллюзий, зная, что дядя экзаменатор сидит не для того, чтобы объективно проверить знания, а чтобы завалить любым способом. После каждого экзамена они подавали на апелляцию. Я как-то наблюдал в знакомой семье этот процесс. После экзамена два доктора наук слушали ребёнка, которому назавтра предстояло узнать отметку и подать апелляцию. Так, тут твой ответ верный. Этот вопрос некорректный, в зависимости от дополнительных данных могут быть разные ответы, а этих данных нет. Тут он тебе сказал неверно. И так далее. Были разработаны инструкции, как сражаться на экзаменах. К примеру, по правилам, время экзамена было ограничено. Верной тактикой было тратить всё возможное время на подготовку, чтобы сделать минимальным время для дополнительных вопросов. Записывать все вопросы и ответы. Из этих испытаний получались дети с железным характером. Прежде, чем с ними вступать в противостояние, чего бы я никому не рекомендовал, надо бы было, как говорится, каши наесться.

В июле я поехал в дом отдыха под Москвой, дедушка достал путёвку. Там к одной нашей знакомой приехала подруга навестить и задержалась. Поезда уже не ходили, а в нашей комнате была свободная кровать. Мы с соседом Додиком гостеприимно предложили девушке ею воспользоваться. Не уверен, что не было каких-то задних мыслей. Однако ничего заслуживающего внимания не произошло. Не успели мы за разговорами улечься по своим кроватям, как прибежал с криком директор и нас разоблачил. Это настучали завистливые взрослые соседи. С диким скандалом нас на следующий же день выперли из дома отдыха, а дедушке сообщили на работу. В августе всех поступивших на мехмат отправили строить китайское посольство. Я работал на бетономешалке и носил бетон на носилках, работа довольно тяжёлая. Кстати, ничего не платили. Есть фотография, на ней я, Саша Якубенко, Миша Гладышев и бетономешалка.

В сентябре начались занятия. МГУ на Ленинских горах был ещё новенький, весь блестел. Было много иногородних студентов, которые жили в общежитии. Я сразу подружился с Женей Ставровским, который приехал с севера, из города Печоры. Он был перворазрядником, мне кажется, по всем видам спорта, в то время как мне никак не удавалось обзавестись значком ГТО второй ступени. Без этого значка вообще не давали спортивных разрядов и нельзя было участвовать в соревнованиях. К тому же Женя умел играть на фортепьяно. После МГУ Женя побывал в Гвинее в качестве советского преподавателя в противовес французским империалистам. Оттуда он вывез употребительное в нашем кругу выражение «говорить на сусу». Это такой гвинейский язык, на котором говорили местные товарищи, если не хотели, чтобы советские друзья понимали. Возможно, обсуждали планы перерезать всех белых. Во всяком случае, такое иногда у советских специалистов было впечатление.

Мне дали общественную нагрузку: быть агитатором в общежитии строителей. Я поехал в это общежитие. В большой кухне женщины стирали в корытах или готовили что-то на керосинках, старались делать всё тихо, мне не мешать. Я им рассказал что-то про международную политику, американские интриги, Ачесона и ООН. Было неимоверно стыдно и чудовищно неловко от этой бессмысленной ситуации. Я вернулся в комитет

комсомола и сказал, что агитатором не буду работать ни за что. Они, в общем, не настаивали.

У математиков я встретил старого знакомого, Вадика Малышева, с которым вместе раньше был в комсомольском лагере. Вадик знал латынь и был замечательным пианистом, он параллельно учился в консерватории у известного пианиста Игоря Гусельникова, ученика Генриха Нейгауза. Впоследствии Вадик стал профессором МГУ, одно время работал во Франции, в Версале, в исследовательском центре INRIA. Кстати сказать, у нас с ним была постоянная шутка. Если мы видели, как кто-то засматривался на студенток, мы говорили друг другу: «Argumentum ad oculos»,—т. е. наглядное доказательство. Никто не понимал, почему мы заливаемся детским смехом. При этом мы ощущали себя членами закрытого клуба. В Швеции, где я провёл некоторое время, примерно по тому же принципу существует клуб выпускников института военных переводчиков. В этом институте, в основном, изучают русский язык, чтобы в случае войны было кому объясняться с вероятным противником. Есть много людей из верхних слоёв общества, которые во время военной службы окончили этот институт, знают этот специализированный русский и иногда на нём между собой говорят. С этими знаниями, конечно, нельзя читать Толстого, но вполне можно сказать: «Стой, стрелять буду!»

В общежитии академик П. С. Александров устраивал фортепьянные вечера. Вообще, на мехмате была более интеллигентная атмосфера, чем в других престижных вузах, например, МФТИ, где я был потом в аспирантуре. Володя Захаров, будущий академик и директор института теоретической физики им. Ландау, учился в МЭИ в группе для особо одарённых. Он рассказывал, что эти особо одарённые закрывали локтем свои тетрадки друг от друга и вообще там была обстановка гадючника. Мехмат, как правило, в те годы выпускал образованных людей, а не «образованцев», если использовать термин Солженицына. Студенты должны были знать два иностранных языка: если в аттестате стояла отметка по английскому, то в университете надо было учить французский или немецкий. Работал студенческий театр, главным режиссёром был народный артист СССР Петров. Они там поставили пьесу «Маяковский начинается», однажды в первом акте Маяковского играл Н. Н. Черкасов, а во втором—студент химфака Юрий Овчинников. Потом они сфотографировались в обнимку. Юрий Овчинников впоследствии стал вице-президентом Академии наук СССР. По результатам деятельности Симон Эльевич Шноль в своей книге «Герои и злодеи российской науки» относит его к злодеям. Нам читали блестящие профессора: Крейнес, Курош, Бахвалов. Занятия по анализу у нас вела доцент Наталья Давыдовна Айзенштат, мамина знакомая по университету. Скидок мне она никаких не делала и имела репутацию зверя. Я учился с наслаждением, у меня были все пятёрки. На экзамене Курош меня спросил: «А ваш отец не учился на мехмате лет двадцать тому назад?» Да, он занимался в алгебраическом семинаре Куроша и делал хорошие работы, но потом ушёл преподавать в среднюю школу. Курош был разочарован. У нас есть фотография этого семинара, там Курош совсем молодой, но уже с бритой головой.

В феврале 1956 года нам прочли доклад Хрущёва на двадцатом съезде партии. До этого мне казалось, что окружающий мир находится одновременно в двух пространствах. В одном строили социализм и шли к светлому плановому будущему под знаменем и под гениальным руководством вождей. В другом существовали ссылки, тюрьмы, лагеря, расстрелы, избиения в милиции, произвол, беспризорники и голод. Эти миры казались несовместными, один из них должен был быть мнимым. Теперь эти пространства склеились. На кафедре научных основ марксизма работал доцент Шлихтер из известной семьи старых большевиков. Как-то я увидел, что в лифте студенты его обступили и спрашивали: «А как же сталинский план наступления на белых вместо предательского плана Троцкого?» «Это был коллективный план ленинского ЦК»—не моргнув глазом, отвечал Шлихтер. Некоторый поток реабилитированных уже существовал и раньше. Приехала из ссылки мамина знакомая Циля Кин, бывшая жена известного писателя Виктора Кина, и стала работать у Маршака. Кстати сказать, в знаменитом романе Кина «По ту сторону» о гражданской войне на Дальнем Востоке один из его главных героев, Безайс, говорит о Достоевском: «Столько разговоров из-за одной старухи!» Кина расстреляли в 1937 году. Циля вместе с Кином провела лет восемь в полпредствах в Париже и в Риме, где Кин был атташе по вопросам культуры. Потом она провела восемь лет в лагере для жён врагов народа в Казахстане. В своё время в Париже в неё влюбился Илья Ильф и всё время сидел около неё в полпредстве, вместо того чтобы смотреть Париж. Она ему сказала, что его с Петровым романы—дешёвые поделки. Ильф не согласился и возразил, что народ не ошибается. Выпустили Семёна Александровича Ляндресса, бывшего помощника Бухарина, отца папиного ученика Юлиана Семёнова, ещё тогда не писателя. Ляндресс сразу стал работать в издательстве и сказал, чтобы я ему приносил свои вещи, если хочу что-то напечатать, но я считал, что это бесполезно. На нашем потоке учился студент, старше нас по возрасту, которого вместе с его матерью, старой большевичкой, выпустили из казахстанской ссылки. Про него втихомолку говорили, что он сын Косарева, но сам он ничего не рассказывал. У папы были друзья, Женя и Фери Биро, с которыми он учился в институте Кагана Шабтая. Это был частный институт, где студенты учились, и одновременно работали на производстве. Он давал одновременно и теоретические, и практические знания. Потом Женя и Фери учились в МАИ. Фери был венгерский политэмигрант, он приехал в Союз из Парижа. После войны, в 1945 году, они переехали в Венгрию, где Фери занял важный пост в Министерстве авиационной промышленности. Они были у нас проездом и тихо рассказывали папе, что Густа Фучикова, вдова Юлиуса Фучика,

очень некрасиво себя вела во время процесса Сланского и других коммунистов. Я теперь думаю: с другой стороны, а чего от неё можно было ждать в этом кровавом сумасшедшем доме? Папа вступил в ВКП(б) в 1942 году на льду Ладожского озера, во время блокады Ленинграда, где стояла его рота зенитных пулемётов и охраняла Дорогу жизни. До этого он много лет пытался быть, как сформулировал Пастернак, «со всеми сообща и заодно с правопорядком». Он был из семьи мелкой буржуазии. Есть фотография 1913 года, где он стоит в кружевном воротнике и смотрит на окружающий мир с большим доверием. По правде сказать, эта буржуазия была не такой уж мелкой. Потом везде ему указывали, что он представитель побеждённых классов. Так что он считал, что партия всегда права. Если я ему говорил про какое-то несоответствие, он мне отвечал: «А откуда ты всё это знаешь? Я, например, ничего этого не знаю». То, что во всём виноват только Сталин, вызывало у меня большие сомнения. Один из друзей по секрету прочёл мне своё стихотворение: «А кто был из ангелов с ним сообща, никто об этом не сообщал».

На новые веяния откликнулся известный драматург Корнейчук. Он написал пьесу «Крылья», мне кажется, она была опубликована в журнале «Новый мир». Там, в этой пьесе, к секретарю обкома из лагеря возвращается реабилитированная жена. Следует объяснение между супругами. Оказывается, он в своё время пытался её защитить, но не смог. Дальше следует ремарка — из её груди вырываются простые и торжественные слова: «Спасибо Центральному комитету за то, что никогда больше не повторится этот страшный сон!» Пьесу поставил Малый театр, секретаря обкома играл Царёв, его жену — Гоголева.

Ну ладно, подумал я, написать можно что угодно, а вот как это можно сыграть?

Мне довелось это увидеть. Вот идёт это объяснение, а простые и торжественные слова не вырываются, пьеса катится дальше. Оказывается, есть какие-то всё же границы возможного.

На спортивной подготовке я записался в секцию бокса. Нас тренировал знаменитый заслуженный мастер спорта СССР Виктор Иванович Огуренков. Он мне показал, как сжимать кулак, держать руки, опускать голову. Моим постоянным партнёром был Заури Хухунашвили, тоже с мехмата. Мы очень вежливо вели свои спарринги. Более старшие по возрасту тяжеловесы били друг друга так, что слышно было на улице. Лет десять спустя Огуренков встретил меня на улице, подошёл и потрогал бицепсы. «Ну ты же и запустил себя», — сказал он. Вечерами я посещал школу яхтенных рулевых и сдал шестнадцать экзаменов. С нами вела занятия старший преподаватель кафедры физкультуры Марина Козинцева, чемпион СССР по парусному спорту. Она была племянницей режиссёра Григория Козинцева. Недавно меня попросили завязать морской узел, я сделал это совершенно автоматически, хотя учил пятьдесят четыре года назад. Самым сложным был экзамен по правилам вождения, его сдавали в водной инспекции. Тут были свои мнемонические правила, не вполне приличные. Какой свет в правом бакене? Правый зелёный (пз). Соответственно, левый красный. Потом я понял вернее мне объяснили добрые люди, что эта мнемоника является почти универсальной. К примеру, вы можете назвать членов группы «Освобождение труда»? А я могу, пожалуйста: Плеханов, Игнатов, Засулич, Дейч, Аксельрод. Все пять заглавных букв как в акрониме. Весной на ремонте яхт на Клязьминском водохранилище меня прикрепили в качестве третьего рулевого к опытному яхтсмену — им оказался мой свойственник Халил Атакшиев (Буба). Он направил меня на окраску палубы синей краской. Я покрасил, краски немного не хватило. Увидев плоды моих усилий, Буба рассвирепел. Оказывается, краску надо было развести олифой — кто же мог это знать? На ремонтные работы я надевал прекрасную дедушкину панаму, кремового цвета. Меня тут же прозвали «панама» и так и звали в течение всей моей парусной карьеры. Летом мы поехали в спортивный лагерь на Пестовском водохранилище. В спортивном лагере нам с Толей Жаботинским выдали одну яхту на двоих. На каких-то гонках при сильном ветре и волнах он не смог влезть обратно в яхту после того, как откренивал, вися за бортом. Я схватил его за шиворот и с трудом одной рукой втянул на место. Другой рукой я держал румпель. Так, возможно, я его спас для дальнейших научных достижений. Во всяком случае, он всегда это помнил. Последний раз мы с ним говорили во время его поездки в Израиль. Он уже был профессором университета Брандейс в Нью-Джерси, его выдвигали на Нобелевскую премию. Пока мы вспоминали былые времена, химики, как голодные волки, ходили вокруг нас кругами, чтобы не упустить момент, когда он освободится и можно будет на него накинуться со своими проблемами.

Толи уже нет, и мне его не хватает. Прах Анатолия Марковича Жаботинского захоронен в Пущине на Оке, где он долго работал в научном центре Академии наук и где получил Ленинскую премию.

Парусный спорт — редкое удовольствие. Кто не знает или не чувствует, пусть прочтёт книгу Мопассана «На воде». Последний раз я ходил под парусом на Жигулёвском море. Там, в пансионате около Тольятти, академик Н. Н. Моисеев в 1973 году проводил свою летнюю школу. Рядом находился яхт-клуб. Я участвовал в школе и негласно объявил, что готов выдать 3 рубля 62 копейки тому, кто поставит бутылку водки тренеру яхт-клуба. Один из научных сотрудников тут же сказал, что бутылку, если она имеется, он может поставить хоть министру. Так оно и вышло, на следующий день я набрал команду, включая этого умельца, и мы уже ходили по всему водохранилищу.

В августе 1956 года мы с папой поехали отдыхать в Палангу в Литве. Когда моя тётя Оля ездила на Рижское взморье в 1950 году, это было рискованная и опасная поездка, все ей советовали не ехать, лесные братья ещё действовали. Теперь, в 1956 году, Прибалтика уже замирилась. В Паланге я встретил Владимира (Диму) Арнольда с его тогдашней женой Надей Брушлинской. Арнольд тоже кончал

59-ю школу. Арнольды жили в Паланге вместе с Диминой мамой и младшей сестрой Катей. Дима в это время окончил третий курс мехмата и начал заниматься динамическими системами. Ещё на втором курсе он решил тринадцатую проблему Гилберта и был большой знаменитостью. Всё время он проводил на пляже и постоянно читал книжку Биркгофа. Он был очень доброжелателен ко всем и как бы светился изнутри. Надя была очень мила и говорила хриплым низким голосом, что только добавляло ей привлекательности. Я тут же подружился с Катей, которой было десять лет. Впоследствии она стала художницей и, как я слышал, уехала в Штаты. Арнольд быстро научил меня двум важным вещам: как правильно подмигивать и как играть в английские шарады. Подмигивать надо так: слева — на нос — на предмет. Производит в самом деле сильное впечатление. Мы с папой были озабочены проблемой обратных билетов. В Палангу ездили через Клайпеду, туда же надо было ехать за билетами. Дима мне объяснил, что билеты можно достать через начальника вокзала, но он денег не берёт, а надо с ним выпить. Так как интеллигенты пить не могут, то там есть специальный человек, который за умеренное вознаграждение берёт на себя эту ответственную миссию. К нему надо подойти и подмигнуть — он поймёт. Я уже не помню, последовали ли мы этой инструкции. Зато я помню, как в автобусе на Клайпеду кто-то стоя вёз большого угря, завёрнутого в газету. Из угря жир капал на пассажиров. Ему сказали: «Послушайте, из вашего угря капает!» Он отвечал: «Ничего, ничего». Прекрасный ответ. Копчёный угорь продавался в любом кафе и очень дёшево. Лет сорок спустя я ностальгически заказал себе угря в кафе на рыбном рынке в Стокгольме. Малюю-ю-ю-юсенький кусочек украшал собой омлет и стоил 120 крон. Вместе с нами в Паланге отдыхал известный математик Роланд (Юля) Добрушин с женой Ирой и физик-теоретик Миша Поливанов. Вечерами мы все собирались на берегу и гуляли по молу. По пляжу ходили парой два худых старика, физик Румер и филолог и историк Тагер. Обоих только недавно реабилитировали после долгих лет лагерей.

Осенью 1956 года я начал ходить на студенческий кружок Николая Гурьевича Четаева. Член-корреспондент Академии наук Четаев начал читать нам теоретическую механику. На первое занятие кружка я пришёл один, так как все остальные отправились в общежитие слушать студента из Польши, Владика Турского, который после каникул приехал из Варшавы и обещал рассказать о событиях в Познани и вообще о том, что происходит в Польше. Четаев на это сказал: «Ну и боженька с ними, с не энтузиастами». Владик Турский в дальнейшем из астрономов переквалифицировался в специалисты по теории программирования, одно время был директором Института информатики Польской академии наук. А в Польше в то время партийные деятели с оглядкой на народное возмущение передали власть Владиславу Гомулке, который совсем недавно готовился предстать перед суровым, но справедливым народно-демократическим судом. Польскому министру обороны, маршалу Рокоссовскому, пришлось вернуться в Союз. Как известно, Гомулка, в конце концов, вызвал к себе не меньше ненависти, чем прежде Болеслав Берут, полностью разочаровав поляков. В 1970 году его сменил Эдвард Герек.

В конце октября, как известно, началось восстание в Венгрии. В университете оно не вызвало особенных движений. У нас студентов из Венгрии не было совсем. Радио в основном сообщало о зверствах повстанцев. Впервые прозвучало имя советского посла Андропова. Матиас Ракоши, бывший венгерский вождь, жил в Горьком на положении не очень желательного политэмигранта. Однако венгры, включая евреев, не вполне управляемы, что с ними ни делай. Сталина он слушался, а Хрущёва не совсем. Мне рассказала Женя Биро, что какое-то заявление он отказался сделать в поддержку Яноша Кадара. Имре Надя примерно за такое же действие повесили, а Ракоши в наказание перевели в Астрахань, где климат совсем уж так себе. В июне 1957 года нарыв в советском руководстве лопнул и антипартийная группа, т. е. абсолютное большинство президиума КПСС, выступила против Хрущёва. Не совсем понятно, почему они считали, что он подчинится и уйдёт. Вроде бы все они были люди опытные, так сказать, видали виды. Слава Назаров мне рассказывал, что во время военных лагерей студенты в июне несколько дней в готовности сидели в танках. Это был вклад Жукова в партийную дискуссию. Вскоре Хрущёв его отблагодарил отставкой, но это уже никому особенно не было интересно. Весь этот опыт учёл Брежнев во время операции по смещению Хрущёва в октябре 1964 года.

В августе 1957 года в Москве состоялся Всемирный фестиваль молодёжи и студентов. Единственный раз за всю историю советской власти. Это, конечно, было возможно только в процессе ещё не оконченной оттепели. Вообще-то, студенты МГУ в массе отправились в это время убирать урожай на целине, но у меня была двойка по военной подготовке, которую я должен был осенью пересдавать, а кроме того, я записался на курсы французских переводчиков для фестиваля. Эти переводчики должны были на мероприятиях фестиваля переводить участникам, естественно, бесплатно. Всё это позволило остаться в Москве. Кстати, на этих курсах я познакомился с Алей Бряндинской, которая потом стала моей женой. Она знала французский язык гораздо лучше всех остальных, но про неё злобно говорили, что просто она те фразы, которые знает, говорит очень быстро, вот и всё. В Москве работал подготовительный комитет фестиваля, его председателем был деятель чехословацкого комсомола, президент всемирного демократического союза студентов Иржи Пеликан. Во время чешской весны, спустя 11 лет после ввода братских войск, он бежал на запад и был проклят в странах соцлагеря. Оказался примазавшимся чуждым элементом. То ли дело — новый руководитель Чехословакии Густав Гусак, бывший соратник генсека Рудольфа Сланского, повешенного после процесса 1952 года. Гусак сжал зубные протезы,

вставленные вместо выбитых на следствии 1951 года зубов, и честно стал вразумлять отпавших от социализма с нечеловеческим лицом чехов и словаков. Чтобы они твёрдо помнили народную примету: если на улице стоит танк, значит, приехал старший славянский брат.

Мой приятель, Жорик Карпунин из института восточных языков МГУ (ИВЯ), был сотрудником этого подготовительного комитета и имел соответствующий пропуск. Он или брал меня с собой, или давал мне этот пропуск, и я мог посещать разные интересные события и представления. Однажды он повёл меня на какой-то приём для персонала комитета. Иржи Пеликан не присутствовал. Международная демократическая молодёжь там быстро перепилась, в особенности какие-то прогрессивные англичанки, вокруг которых образовалась куча-мала, так как комсомольцы были очень заинтересованы их передовыми взглядами на проблемы дружбы и идейного товарищества. Мне с трудом удалось щуплого Жорика оттащить и увести прочь, пока его не помяли в этой интенсивной дискуссии. Дальнейшая его судьба была трагична. Он заболел и должен был покинуть ИВЯ. У него внезапно обнаружилось психическое расстройство, так как он на военных занятиях подошёл сзади к их подполковнику и дал ему ногой по заду. Впоследствии у меня завелось в ИВЯ много знакомых. Андрей Павленко, сын писателя, был одноклассником моей жены Али и учился в ИВЯ на отделении индонезийских языков. Он умер довольно рано, будучи первым секретарём посольства в Индонезии. Кстати, он уверенно предсказывал неизбежную массовую резню в Индонезии задолго до того, как она действительно произошла в 1965 году. О Жорике Карпунине он мне рассказывал, как об эпическом персонаже из легенды.

Вообще говоря, фестиваль, по-видимому, ощутимо увеличил население как Москвы, так и стран-участниц. Один известный поэт так отразил этот аспект в стихах, которые, мне кажется, никогда не публиковались:

Ходят помыслы тайные,
Колокольцем звеня,
Будто где-то в Италии
Будет сын у меня.

Будет спать в колыбельке,
Будет счастьем родных,
Синеглазый и беленький,
Не похожий на них.

Воды высохнут талые,
Хлынут майским дождём,
И в далёкой Италии
Будет мальчик рождён,

И в тропическом городе,
Меж подружек-девчат
Скажет женщина гордая:
— Он в России зачат!

Особенно поэт гордился тем, что если от мая отсчитать назад девять месяцев, то как раз будет период фестиваля. Точность деталей!

Вообще фестиваль вызвал большое поэтическое оживление. Кто-то написал стихотворение:

Москва — столица холода,
Там водка вёдрами,
Там негры голые
Танцуют бёдрами…

Дальше не помню. Стихотворение не публиковалось, и мне кажется, его написал Андрей Вознесенский, впрочем, не поручусь.

В процессе подготовки к фестивалю был организован студенческий клуб, который тут же провёл художественную выставку. Организовал её студент физфака Виталик Михайлин. Там были исключительно интересные картины Слепяна, Плавинского, Куклеса и Пятницкого. Ничего подобного нельзя было видеть потом лет пятнадцать. Виталик организовал также окна университетской сатиры, Окна УС, наподобие окон РОСТА. Там художниками были Володя Пятницкий, по прозвищу Зон, и Наташа Доброхотова, которая училась на химфаке. Наташа очень талантливо рисовала в духе Обри Бердслея. Потом она иллюстрировала журнал «Пионер». Я писал для этих окон стихотворные подписовки. У нас была своя комната в клубе МГУ, где мы проводили время. Темы для сатиры поставлял Виталик. Как-то я по его заказу написал подпись, бичующую поведение студентов, которые в клубе МГУ на каком-то вечере заняли места, отведённые для солдат-героев подавления восстания в Будапеште.

Их не учили мамы
Как принимать гостей,
И вот пред вами хамы
Во всей красе своей.

Надо мной долгое время смеялся весь университет. Где бы я ни появлялся, мне говорили: их не учили мамы!

Зон довольно рано умер и теперь заслуженно считается гением. У меня хранилось несколько его картонов, пока как-то папа их в моё отсутствие не выбросил на помойку, говоря, что не хочет смотреть на всякую гадость. Можно только гадать, сколько бы они сейчас стоили.

Судьба следующей выставки была менее удачной. Она должна была состояться в декабре 1957 года, когда уже начали затягивать гайки. Комиссия парткома ходила вдоль стен и одну за другой методично переворачивала картины лицом к стене. В конце концов, они перевернули все картины без исключения. В этом мрачном балетном действии было что-то от античной трагедии. Виталик Михайлин из себя выходил, но его никто не слушал. Он даже не мог выяснить, как зовут председателя комиссии. «Меня зовут товарищ из парткома» — хладнокровно ответил этот чиновник. Так что открытие выставки превратилось в её закрытие.

Другой частью студенческого клуба было литературное объединение естественных факультетов. Его организовал Митя Сахаров, аспирант биофака. Впоследствии он стал заведующим лабораторией и профессором в академическом институте и известным поэтом, членом СП СССР под псевдонимом

Сухарев. Супруги Никитины сочинили музыку ко многим его стихам и долгое время распевали эти песни. А тогда, в 1957 году, он пригласил поэта Николая Старшинова в качестве руководителя объединения. Для заседаний Митя организовал возможность вечерами использовать огромные кабинеты проректоров на девятом этаже, где стояли полированные столы, покрытые зелёным сукном. У гуманитарных факультетов было своё отдельное объединение, но часть студентов из гуманитарных факультетов ходила в наше объединение: Слава Назаров, Хамид Беретарь, Андрей Чернышев и Олег Дмитриев с факультета журналистики. Наташа Горбаневская училась на филологическом факультете. Оттуда иногда приходил со своими стихами Станислав Рассадин. С мехмата были я и Юра Манин, впоследствии академик, крупнейший математик современности, директор Института математики Макса Планка в Бонне. Он писал замечательные стихи, не все они опубликованы хотя бы в интернете.

Манин меня познакомил с художником Ильёй Глазуновым и его женой Ниной. О Глазунове тогда вышла монография в Италии, и Союз художников его всячески притеснял. Его учитель Иогансон ругал его на все корки. Тогда никто не говорил, что его картины — пошлый китч. Он жил на улице Воровского, и при встрече мы ещё долгое время обнимались. Его картины во время фестиваля хранились у Манина в общежитии МГУ.

Ещё один в будущем академик и крупнейший физик и математик, Володя Захаров, хотя и не учился в МГУ, но ходил на лекции на мехмате и тоже регулярно приходил в объединение. Когда после перестройки стало возможно печатать стихи без цензуры, он сразу стал известным поэтом. С географического факультета были Коля Карпов, Борис Пуцилло, Вера Блинова и Люда Марцинкевич, с геологического — Владимир Павлинов и Александр Пеньков. С физического факультета был Саша Кессених, с химического — Володя Костров, Юра Ямпольский и Юра Чаповский. Юре Чаповскому принадлежали очень популярные строки:

Ещё живым, а их осталось мало,
Петлёю снится стянутый канат,
И душат в диком страхе одеяло
Они, как будто это деканат.

Саша Гриб, сын известного литературоведа, не ходил на объединение, но принимал участие в наших дискуссиях. Он был неразлучный друг Чаповского. Как-то я увидел, что он совершенно бледный сидит в кресле в холле общежития химиков. «Что с тобой, Саша?» «Я взорвался», — отвечал он. Это было не редкость на химфаке. Одно время он стал отращивать бороду и обсуждалась идея, как его заставить побриться, или даже побрить насильно. В результате Горбаневская и Чаповский вдвоём написали длинную поэму «Пленный турок».

Поэма была частью по-французски. Там действовал султан, народ и пленный турок (Саша).

СУЛТАН
Ты слышишь, мой народ, ты слышишь голоса?

НАРОД *(глухо, за сценой)*
Он должен быть побрит, il faut q'il se rasât!

НАРОД *(ликуя)*
O, regardez ici, le prisonier rasé!

СУЛТАН
Как при дворе у нас всё дело на мазе!

Юра Чаповский был очень симпатичный и талантливый человек. Он погиб в горном походе в Саянах в 1967 году, где они попали в лавину. Вместе с ним погиб ещё один мой друг, известный математик Игорь Гирсанов.

Много народу пришло с биологического факультета: Ген Шангин-Березовский, внук писателя Феоктиста Березовского, Миша Гусев, Ляля Розанова, Лена Антонова. Миша Гусев был сыном известного поэта Виктора Гусева и жил в доме писателей в Лаврушинском переулке. Его отчимом был известный драматург Константин Финн. Впоследствии Миша в течение тридцати пяти лет был деканом биофака. Он мне всегда рассказывал какие-то фантастические новеллы, вроде рассказов Александра Грина. Они, казалось бы, были основаны на реальных фактах, но реальностью быть не могли, настолько были фантастичны их детали. Некоторые фразы из его историй стали у меня пословицами. Например, он рассказывал, как делал доклад о водорослях на Московском обществе испытателей природы, основанном ещё в XVIII веке. Там какая-то старушка после доклада спросила: «А как вы фильтровали?» Миша собрался объяснить, что там нечего было фильтровать, как вдруг его товарищ вскочил и громко закричал на старушку: «Кого фильтровать, зачем фильтровать! Вас самих надо фильтровать!» С тех пор на слишком интенсивных научных дискуссиях я иногда говорю коллегам: «Вас самих надо фильтровать!» Они меня не понимают. Однажды я пил у Миши дома чай, когда пришёл Константин Финн, которому Миша показывал мои стихи. Финн мне сказал: «Что это у вас всё говорится: о, как я тебя желал! Пусть это они за вами бегают». Я очень обиделся. Во-первых, таких слов у меня не было, во-вторых, эти упрёки можно было с тем же успехом предъявить большей части мировой поэзии, от Данте до Блока.

На биофаке были устоявшиеся творческие традиции, уже была сочинена и поставлена пьеса «Комарики», у которой было четыре автора: Сахаров, Шангин, Познер и Дубровский. Гарик Дубровский к этому времени в экспедиции потерял ногу и стал киносценаристом. Познер уже ушёл на радио. С остальными биологами я подружился. Миша Гусев всем вокруг читал наизусть моё стихотворение «Дон Кихот», и когда он умер, это стихотворение прочли на его похоронах.

В общем, всего со слушателями собиралось человек по двадцать-тридцать. Коля Старшинов прошёл войну, окончил литературный институт. Его женой в тот период была очень красивая поэтесса Юлия Друнина, потом она стала женой Каплера и ещё позже покончила с собой. Она тоже была бывшая фронтовичка. Мои стихи ей активно не понравились. Коля Старшинов никому

не навязывал своего мнения и был очень вежлив и терпелив. Он приводил к нам тогдашних звёзд: Слуцкого, Евтушенко, Ахмадулину, Вознесенского, Мориц, Львова, Берестова, Солоухина, Мартынова, Глазкова. Они читали нам, мы читали им. Я помню, что мне очень понравились стихи Ахмадулиной, а Костров и Кессених отнеслись к ним скептически. Я на них накинулся и заявил, что они просто алкоголики и в стихах ничего не понимают. Надо сказать, что они не обиделись на моё бестактное заявление с переходом на личности, вместо этого тут же написали на меня эпиграмму:

На ключ закрывши блок,
Стихи он сочинял.
Вина он пить не мог:
Он от него блевал.

Параллельно с литобъединением, некоторые пробовали попасть в Союз писателей, пользуясь покровительством известных и влиятельных писателей. Один будущий профессионал и член СП мне говорил снисходительно: «Какой смысл читать стихи друг другу? Надо ходить по редакциям и успешным официальным писателям». Кстати, Миша Гусев мне говорил, что один из студентов биологов ходил по писателям и читал мои стихи за свои: мол, вот какой на самом деле талант, а печатать хочу то, что подходит редакции.

В результате он быстро стал членом СП по секции детских писателей. Мне всегда было ясно, что мои стихи не для печати, советская власть в них не нуждается и никакой пользы от них видеть не может. Одним из объектов такого хождения и успешного охмурения был поэт Лев Ошанин. Он был автор гимна демократической молодёжи и разных других официальных песен: «Мира трам-пам ты хочешь, мира хочу и я, рядом со мной повсюду мира хотят друзья, мира хочет молодость, значит…» уже не помню что, на музыку, кажется, композитора Мокроусова. Он не знал, что почтительная молодёжь, выпив его же коньяку, сочинила на него же пародию:

Жопу та-та ты чешешь,
жопу чешу и я,
вместе с тобой повсюду
чешутся все друзья!

Жопу чешет молодость,
Значит, блоху найдёт,
Так заявляет миру
Римский водопровод!

Мне эту пародию исполнил Шангин, и я думаю, что он же был её автором. Он мне рассказывал, как Ошанин был доволен собственной песней и объяснял её достоинства: «Тут же всё время идёт обобщение: ты, я, друзья, молодость, всё время по восходящей!» Шангин был не только поэт, но и композитор. Он написал много биофаковских песен, которые были очень популярны. Его песня «Царевна Несмеяна» стала шлягером, и он довольно долго получал за неё какие-то деньги. Вообще Ген был совершенно харизматической личностью, ярким лидером. Он жил в Лаврушинском переулке в писательском доме, в квартире своего деда. Мне говорили, что именно Феоктиста Березовского имел в виду Архангельский, когда писал пародию: «Понюхал старик Ромуальдыч свою портянку и аж заколдобился». У Гена была очаровательная рыжая жена, Ляля Хаджи-Мурат, из тех самых Хаджи-Муратов, и два ребёнка: Никита и Ксана. Никита стал известным архитектором, он занимался реконструкцией Большого театра в Москве. Ген был аспирантом в институте генетики Академии наук. Его руководителем был профессор Н. И. Нуждин, наиболее одиозная личность из всех лысенковцев. Дело в том, что, в отличие от самого Лысенко, Нуждин был образованным учёным, знал языки, имел своё имя в генетике и никак не мог искренне верить в эту галиматью, которую проповедовал Лысенко. В книге Шнолля «Герои и злодеи российской науки» Нуждин справедливо отнесён к злодеям. Ген занимался у них радиобиологией, производил массу честных опытов, ничто не подтверждало лысенковских теорий. Так он потратил лет семь. Я бестактно его спрашивал: «А зачем вы убили Вавилова?» Известно, что сам Лысенко иногда начинал кричать: «Я не убивал Вавилова!» Тем более Ген был тут ни при чём. В конце концов, Лысенко потерпел поражение, его сторонников и учеников выгнали из института генетики, не провели по конкурсу. Ген перешёл в Ветеринарную академию, защитил там кандидатскую, а потом и докторскую диссертации. В то время он непоколебимо стоял на платформе советской власти и считал, как многие в то время, что надо лишь исправить недостатки, а в основном всё верно. В его квартире собирался интересный народ, что-то читали и обсуждали. Как-то после чтения повести Пузиса он написал стишок: «Читает Пузис повесть, кричит: «Азохен Вей! Илюшка Иослович, тоску мою развей!» Я время от времени бубню про себя одну его мелодию, которую он назвал «Немного грустно». Она как бы говорит: «Грустно, да, но ничего, надо держаться».

Однажды я написал статью для факультетской стенгазеты. Она называлась «Летучий отряд идёт по общежитию». Дело было в том, что в университете завели оперативный отряд для поддержания порядка. Это было в русле хрущёвских идей: отменить милицию, и пусть вместо неё будут народные дружины. Оперативный отряд начал заниматься общежитием: проводил ночные рейды, вламывался в комнаты, устраивал разборки по поводу морального облика студентов и аспирантов. Оперативники вели себя как супермены, которым всё позволено. Примерно такого типа личностью был Лернер в Ленинграде, который довёл Бродского до суда. При этом, как было хорошо известно, сами эти оперативники отличались довольно сомнительной моралью. На нашем курсе в этом отряде был такой красавец — брюнет Иванов. Студенты уговорили его незаконную подругу дать на него показания. Иванов, которому только что устроили торжественную комсомольскую свадьбу, был с позором разоблачён как моральный разложенец и двурушник, исключён из комсомола и из университета. Партком из себя выходил, чтобы

заставить нас исключить также и свидетельницу и соучастницу этого морального падения, но мы не поддались: девушка отделалась выговором.

В общем, я написал возмущённую статью, где напирал на конституцию, на неприкосновенность жилища: ведь нам всегда говорили, что университет наш дом! Ген тщательно переработал статью, переписал её в ироническом ключе, отчего она выиграла. Главное, он дал мне бесценный совет: найти безупречного соавтора из отличников и комсомольских активистов. Я показал её Виталику Полянскому, и мы вместе отнесли статью в стенгазету. Что тут началось! Доцент Моргунов, мрачная фигура из партбюро факультета, публично высказался: «Есть люди, которые называют университет нашим домом в кавычках!» Однако общее настроение публики, сомнительность ситуации и твёрдое поведение Полянского — всё это сработало, и статья обошлась без оргвыводов для нас. Доцент Филиппов, известный учёный, который вёл у нас дифференциальные уравнения, встретил меня в коридоре и спросил: «Это вы Иослович? Позвольте пожать вашу честную руку».

У Шангина я познакомился с Таней Литинской, которая потом работала в лаборатории академика Обреимова старшим научным сотрудником. Она потом написала замечательное предисловие к книге трудов Обреимова. Это не просто предисловие, а описание его жизни и трудов, его ареста и сопротивления палачам, борьбы за его освобождения. Таня много занималась биологическим образованием, вела очень интересный кружок, куда ходил мой сын Алёша. Сейчас она живёт в Сан-Франциско.

Ляля Розанова была тоже харизматической личностью на биофаке. Она излучала положительную энергию, все её обожали. Она умерла довольно рано, в 1969 году, но народ её помнит. Последние годы она работала в журнале «Знание — сила» и очень меня уговаривала что-нибудь для них написать. Как-то я поделился с ней своими проблемами, что у меня не слишком хорошие отметки на мехмате и плохие отношения с учебной частью. Она сказала: «Но ведь это естественно, ведь ты работаешь, ты пишешь стихи!»

Как-то на объединение пришёл с каким-то организационным вопросом Лев (Лесик) Аннинский. Он занимал тогда общественную должность на филфаке. Все его знали, главным образом, потому, что в возрасте трёх лет он играл в фильме «Подкидыш», причём его герой произносил фразу: «Я хочу быть пограничной собакой». Он подошёл к Мите Сахарову и стал энергично ему что-то говорить. Митя живописно и элегантно сидел, раскинувшись в кресле, и, обратившись к присутствующим, громко спросил: «Кто это такой?» Лесик от возмущения потерял дар речи.

Впоследствии целая группа из нашего объединения стала членами СП: Сухарев, Павлинов (он вскоре умер), Костров, Дмитриев, Пуцилло. Они там успешно взаимодействовали и использовали открывшиеся возможности. Поэт и кинооператор, бывший математик Вадим Ковда мне как-то сказал при встрече: «А твои друзья в СП неплохо окопались». Олег Дмитриев стал заведовать отделом поэзии в журнале «Юность». Вначале он был тоненьким и трогательным юным созданием, мы с ним дружили и рассказывали друг другу о своих горестях. Став штатным поэтом, он вскоре сильно распух и стал выпивать. Наше общение стало ограничиваться возгласом: «Привет, старик!» Костров мне всегда казался очень способным человеком. Он ставил на химфаке забавные капустники и сам в них играл и танцевал. Многие помнят его известные строки: «Жизнь такова, какова она есть, и больше не какова». С этим приходится согласиться. Я мало его видел после окончания университета. Как-то я встретил его в доме литераторов, где он сидел в президиуме. Он тут же провозгласил: «Тут присутствует известный математик и поэт Илья Иослович!»

Одно время я дружил с Андреем Вознесенским. Андрей бывал у меня на Молчановке. Он говорил, что держит моё стихотворение «Чего и было бито, граблено…» у себя на столе и каждый день перечитывает: это поднимает ему настроение. Действительно, стих был энергичный. Однажды они с Горбаневской сочинили письмо якобы от поклонницы и послали мне по почте. Вознесенский в это время получал такие письма ящиками, так что у него были замечательные образцы таких посланий. Там говорилось о мужественных обветренных клиперах. Вообще-то клипер — это судно, а не человек. После некоторых размышлений я всё же решил, что это розыгрыш, и не пошёл на предполагаемое свидание. Вскоре они сознались. Я не представляю, как он вынес внезапное нападение Хрущёва на встрече с писателями в 1963 году: яростный наезд малограмотного психопата, подкреплённого всей мощью армии и флота. Вскоре после этого события я повстречал его на улице, и он мне прочёл свой стих:

> Какое бешеное счастье,
> Хрипя воронкой горловой,
> Среди мучителей промчаться
> С оторванною головой.

Во время фестиваля я со своим пропуском переводчика ходил по театрам, которых приехало множество. Ничего подобного в Москве не было и быть тогда не могло. Английский театр «Воркшип» показывал очень интенсивного и параноидального Макбета в современных костюмах. Когда он спрашивал: «Кто это сделал, лорды?» — то очень был похож на Сталина. Польский студенческий театр показывал смешные и едкие миниатюры. В одной из сцен представляли бистро разных стран. В русском варианте к стойке подходил страшный казак вместе с бабой в цветном платке, зверски ударял по стойке кулаком и провозглашал заказ: «Один кефир!»

В Доме киноактёра на улице Воровского происходил конкурс джазов. Вот туда меня по пропуску не пустили. Почему? А так. Ну, хорошо, пришлось что-то придумать. Люди лезли по пожарной лестнице на четвёртый этаж, и оттуда их безжалостно скидывали вниз. А вот я увидел, что идёт группа чехословаков с инструментами. Тут же я ухватился

за их большой барабан и как якобы член группы прошёл линию охраны, сказав какое-то слово по-чешски. Мне кажется это было: «Повидло!» Джазы полностью оправдали мои усилия: было что послушать в течение шести часов.

Фестиваль окончился, и я начал учиться на третьем курсе. Разные люди просили у меня стихи и их перепечатывали. За мной стали ходить не то чтобы толпы, но всегда вокруг были почитатели. Как-то я шёл с Володей Захаровым по Кузнецкому мосту. Вдруг он быстро подошёл к своему знакомому и, указывая на меня, сказал: «Ты знаешь кто это? Это Иослович!» Наташа Светлова, очень спокойная девушка со второго курса мехмата, не ходила на объединение, но активно перепечатывала мои стихи. Впоследствии она вместе с Наташей Рычковой под руководством академика Колмогорова занималась статистическим анализом стихов. Это были очень интересные работы. Однажды я оказался на вечере в Доме литераторов, где выступал Колмогоров на тему «Поэзия и информация». Вторым выступающим был старый знакомый и однокурсник моих родителей Сергей Александрович Стебаков. В объявлении они значились так: Стебаков-математик, Колмогоров-академик. Вёл вечер писатель Василий Захарченко, поэт и редактор журнала «Техника молодёжи». Представляя Колмогорова, Захарченко сказал, что сейчас нам Колмогоров расскажет про информацию в поэзии, а то ведь как часто бывает: звону много, а информации-то поэтической и нет! Колмогоров тут же заметил, что, собственно, его доклад должен объяснить, что поэтическая информация заключается как раз в звоне. После этого конфуза Колмогоров начал свою лекцию, рассказал о достижениях математики, о том, что большие успехи есть у учёного Гаспарова по машинному сочинению музыки… Тут его прервал вопрос из зала. Какой-то толстый писатель, так сказать, инженер человеческих душ, нашёл уместным и своевременным громогласно спросить великого академика: «Гаспаров, он что же — армянин?» Колмогоров просто оторопел, видимо, не понимая, в какую аудиторию он попал. Затем с трудом произнёс: «Не знаю, м-может быть».

Зимой и весной 1957 года уцелевшие после чистки кадры КГБ под руководством Ивана Серова решили доказать свою незаменимость и завинтить гайки по новой. Хрущёв, видимо, дал добро. На истфаке была вскрыта контрреволюционная группа Краснопевцева. Читали Маркса и Ленина, вели дискуссии, сочувствовали венграм и полякам. Получили по восемь-десять лет. На филфаке поймали Терехина и Кузнецова. Их листовка гласила:

У нас идиоты в моде,
Примера какого ещё вам?
Это же видно по морде
Того же Никиты Хрущёва.

Пять лет Терехину и три года Кузнецову. Володя Кузнецов был сыном известного лингвиста с филфака, профессора Петра Саввича Кузнецова, двоюродного брата и близкого друга Колмогорова. После обсуждения ситуации на лавочке в саду, во избежание прослушки, Колмогоров и Кузнецов решили, что ничего сделать нельзя, разве только нанять хорошего адвоката. По тому же делу с филфака выгнали Горбаневскую и ещё несколько человек, в частности Иру Максимову и её мужа Виктора Сипачёва. Виктор отправился в армию на Дальний Восток. В семидесятых годах именно Виктор и Ира изготовляли «Хронику текущих событий».

Все эти события сопровождались, как водится, комсомольскими собраниями, речами, проклятиями, голосованиями. На одном собрании был задан не совсем удачный вопрос по поводу венгерских событий. С этим спрашивателем разобрались мгновенно, но долго мурыжили аспирантку, которая сидела с ним рядом и не воспрепятствовала задаванию провокационного вопроса. В начале 1958 года в клубной части МГУ на Ленинских горах выступал Евтушенко и читал своё стихотворение:

О, голосующие руки,
Который раз вы были глухи,
Когда за то голосовали,
Чтобы друзей колесовали…

В зале началась истерика. Слишком это было близко к реальности.

На мехмате начались свои неприятности. Несколько студентов стали издавать приложение к факультетской стенгазете — «Литературный бюллетень». Там они поместили самодельную рецензию на книгу Джона Рида «Десять дней, которые изменили мир». Книга была напечатана вполне официально, но как говорил в своих прокламациях в 1812 году граф Растопчин: «Читайте, а рассуждать нечего!» Партбюро тут же сформулировало свои претензии к бюллетеню: имя Ленина там упоминается буквально через запятую с именем Троцкого. Это, собственно, у Рида оно так упоминается, но зачем же так провокационно цитировать? После таких политических обвинений Колмогоров как декан счёл необходимым подчиниться партии и исключить четырёх студентов четвёртого и пятого курса. Всех не помню, но там были Эдик Стоцкий, Миша Вайнштейн и Миша Белецкий. Мехмат возмутился и забурлил. Все только и говорили с возмущением об этом безобразном случае. Колмогоров этого совершенно не ожидал. Было собрано совещание комсомольского актива, на которое я пробрался, в суматохе выдав себя за члена бюро курса, каковым отнюдь не являлся. Колмогоров был совершенно растерян и требовал от актива гарантий, что они правильно понимают, что все его действия только на благо мехмату. Как раз в этом актив сомневался. Было объявлено общее факультетское комсомольское собрание. Оно происходило в клубной части МГУ, в его театральном зале. Собрание вёл Серёжа Айвазян, сын композитора и красавец, он потом долгие годы работал в области математической статистики. Колмогоров сидел в президиуме, и было видно, что ему просто плохо.

Вначале партбюро стало нагонять страху, приклеивая испытанными приёмами политические ярлыки. Им вторил академик Александров (Пуся). Профессор Рахматуллин заявил: «Нам говорят, что

они мальчишки. Они не мальчишки, они должны отвечать!» Очень агрессивно выступил профессор Огибалов. Ректор МГУ Иван Григорьевич Петровский, известный математик и член Президиума Верховного совета СССР, с отвращением к этой процедуре сказал: «О чём мы вообще говорим? МГУ стоит государству миллион каждый день, на нас с вами лежит колоссальная ответственность, а мы с вами занимаемся какими-то глупостями». Это можно было понять по-разному. В мрачной тишине очень элегантно и бесстрашно выступил аспирант Юля Полюсук, которого обвиняли в моральном соучастии и подозревали в нём главного вражеского идеолога. Когда он в напряжённой тишине шёл к трибуне, я услышал, как у кого-то из ложи упала на ковёр пластмассовая расчёска. Какой-то студент в солдатской гимнастёрке, видимо, бывший фронтовик, заявил, что он дал слово на Днепровской переправе умирающему товарищу, что окончит мехмат, и вот, что же он видит? Враги просочились! В это время на сцену вышел Серёжа Смоляк и сказал, что подобная история произошла также на физфаке, но там партбюро во всём разобралось и всё кончилось мирно. Это решение партбюро физфака он сейчас зачитает. И он полез в карман. Не тут-то было! Раздались слова: «Секретный партийный документ!» На сцену вылетел тот самый вроде бы фронтовик и за шиворот утащил Серёжу за кулисы. Зал взревел от ярости. Всё смешалось, казалось, что партбюро с присными разорвут на куски. Уж не знаю, кто в президиуме проявил благоразумие, но была произведена смена председателя собрания, председателем выбран Володя Тихомиров, Смоляк снова вышел на трибуну и зачитал решение партбюро физфака: усилить воспитательную работу и подобная тягомотина. Никаких партийных секретов там, разумеется, не было. В результате ребят всё-таки исключили, Серёжу Смоляка тоже. Деканом назначили профессора Николая Алексеевича Слезкина, известного и авторитетного механика и, в общем, очень порядочного человека. Партбюро на время затаилось. Теперь мне кажется, что всё было затеяно, чтобы избавиться от Колмогорова в качестве декана.

Я начал ходить на занятия семинара А. Коваленкова в Литературный институт. Там было очень интересно, но тоже шли идеологические компании. Сначала выгоняли Юнну Мориц. На большом собрании её защищал Михаил Светлов, причём прочёл стихи:

Я жизни прошёл буруны,
И правда мне вся ясна:
Не столько Мориц Юнна,
Сколько Мориц юна.

Это нисколько не помогло. Потом стали выгонять Ахмадулину, Панкратова и Харабарова. Мне кажется, в вестибюле Литинститута следует установить мраморную доску и золотом выбить там имена тех, кого выгнали.

Уже не помню, кто познакомил меня со Станиславом Красовицким, который учился в Инъязе на переводческом. Красовицкий, где бы ни появлялся, сразу становился центром внимания, все ждали, что он скажет. Вокруг него группировались Валентин Хромов, Андрей Сергеев, Галя Чиркина, Саша и Ира Корсунские и другой народ. Кто-то потом писал, что часть стихов, которые ему приписывают, на самом деле сочинил Сергеев, но мне кажется, что перепутать невозможно. Он также замечательно переводил Одена:

…И длинною дорогой рельс
От смерти не сбежать в Уэльс,
И вот она ты, а это я,
И что будем делать, любовь моя?

Я часто его встречал в читальном зале библиотеки им. Ленина. Он мне рассказал, что там можно получить сборник Мандельштама «Камень».

Я ему рассказал историю народовольца Льва Тихомирова, о котором он ничего не знал, а я прочитал в старых номерах журнала Владимира Бурцева «Былое». История там примерно такая. Тихомиров был членом ЦК Народной Воли, соратником Желябова и Перовской. Он после 1 марта 1881 года уехал за границу. Там через несколько лет он решил, что они ошибались, напрасно убили государя императора. Он написал прошение, и ему разрешили вернуться. Эсеры обещали его убить, но он сказал, что не боится. Он заранее предупредил, что не собирается кого-то выдавать, но охранка сказала, что и не интересуется. В качестве некоторой мести охранка его пригласила и ему показали список агентов и провокаторов в Народной Воле. Он говорил, что глазам своим не верил, какие там были имена. Эти номера журнала «Былое» я нашёл в одной знакомой семье, их дед, известный адвокат, был в своё время членом московского городского комитета партии эсеров. У семьи было два врага: ЧК и любовница. Это отражалось в семейном эпосе:

Кто Маше поможет
В стремлениях пылких?
Супруг — он не может,
Сидит он в Бутырках,

А выйдет, свинья,
И движением первым —
Не дом и семья,
А свиданье со стервой.

Мне кажется, что большинство стихов Красовицкого — о том, что время уходит. Андрей Сергеев специально со мной встречался, чтобы выяснить, что стоит за религиозными мотивами в моих стихах. Мы гуляли вокруг Собачьей площадки, и я ему объяснял, что просто употребляю все эти слова, так сказать, всуе.

Однажды на литобъединение пришли три студента, физики-теоретики. Это были Володя Павлов, Олег Завьялов и Валя Рокотян, знакомые Красовицкого. Они стали моими близкими друзьями на долгие годы.

Красовицкий, насколько я знаю, никогда не распространял своих стихов, но Павлов тут же снабдил меня их полной подборкой. Перепечаткой стихов Красовицкого занимался в общежитии МГУ

ещё один физик, Игорь Вирко, который потом долгие годы работал редактором в издательстве «Наука».

Примерно в это время была устроена встреча между Ландау и художником Игорем Куклесом. Куклес там заявил примерно так: «Ландау, вы гений среди физиков, а я гений среди художников. Мы должны держаться вместе». Недавно я был в Третьяковской галерее и увидел там выставку работ покойного Куклеса (1937–2004).

С Серёжей Чудаковым я был знаком ещё до университета. Он учился у моего отца в школе 665. Где бы я его ни встречал, он тут же останавливался и начинал фонтанировать. Воображение и энергия его были неудержимы. Он учился на факультете журналистики, потом работал внештатником в газете «Московский комсомолец». Что-то он делал в доме литераторов, к примеру, организовал там серию просмотров из хранилища Госфильмофонда. Так я посмотрел гениальный фильм Абрама Роома по сценарию Олеши «Строгий юноша». Там играли замечательные актёры: Ольга Жизнева, Максим Штраух. Фильм никогда не был на экране, что непонятно, т. к. почти весь он сохранился. Фильм, вообще говоря, очень странный. Как будто предсмертный глоток свободы в 1936 году, в безумном предположении, что сталинская конституция не фиговый листок, а реальный закон. Там звучала замечательная фраза: «И гуманизм—чтобы не только любить, но и ненавидеть!» Я тоже помню, как Серёжа организовал вечер памяти Хармса. Помню также его реакцию на полёт Гагарина. Он меня остановил и стал рассказывать сценарий фильма на полторы минуты: акт в невесомости. В момент извержения женщина выталкивает мужчину, и в лучах света сверкающая сперма торжествующе заполняет экран. Своих замечательных стихов он мне никогда не читал, и я не знаю, как он к ним относился. В общем, с обычной жизнью он совмещался плохо. Я не верю, что он стал сутенёром, как пишут некоторые, но думаю, что сводничеством он занимался. Так мне говорили некоторые знакомые. Он пропал в конце перестройки, впрочем, тогда это было не редкость.

Я перешёл на четвёртый курс. Я помню, как после сессии мы стояли группой у лифтов в общежитии, солнце сияло, и Гена Вахрамеев развивал перед нами ксенофобские теории. «Не люблю я этих чёрных»,—говорил Гена. «За что же ты их не любишь?»—«А они нас е…ут!»—«Т. е. это что—тебя они, собственно, е…ут?»—«Меня нет, а моего товарища да!»—«Какого товарища?» Тут Гена мрачно назвал фамилию одной довольно популярной студентки. Действительно, в общежитии уже появилось некоторое количество внебрачных детей с иностранной родословной.

Я благополучно окончил мехмат летом 1960 года. Меня распределили в почтовый ящик, который должен был открыться осенью. На самом деле его потом, решили перенести в другой город. В июле у нас была военная стажировка в Батуми, в августе—отпуск. У меня образовалось свободное распределение. Тут, 2 сентября вечером, мне позвонил Валя Рокотян и спросил, читал ли я газету «Известия». Я не читал. «А ты прочти»,—сказал Валя. Там была статья Юрия Иващенко «Бездельники карабкаются на Парнас». В ней полностью приводилось моё стихотворение:

> Господь нас встретит у ворот
> И скажет: «Ай-люли!»
> И до чего паскудный сброд
> Прижился на земли.

Оно рассматривалось как наглое оскорбление советского народа, который меня кормит, поит и одевает. Наверно, имелся в виду лозунг: «Кто не работает—тот не ест!». «Ничего, кроме омерзения, не вызывают подобные откровения»,—писал этот Иващенко. Видимо, он примерил на себя определение «паскудный сброд» и поразился точному совпадению. Тираж «Известий» был 11 миллионов экземпляров. Признаться, я не мог понять, чего это они на меня напустились. В этих стихах я разбирался сам с собой, при чём тут советский народ? Статья была посвящена литературному журналу «Синтаксис», который в машинописном виде издавал Алик Гинзбург. Журнал был совершенно аполитичный. Мои стихи, как мне потом рассказала Горбаневская, должны были быть в четвёртом номере, который так и не вышел. Вместо этого при обыске выгребли все материалы. На самом деле возмутительным и опасным был сам факт, что что-то издаётся вне Главлита. Комментарии этого Юрия Иващенко звучали вполне зловеще. Он перебирал поэтов по одному и о каждом говорил какую-нибудь угрожающую гадость. Не все удостоились цитирования. Не так давно Иван Ахметьев вывесил этот литературный документ эпохи на своём сайте «Неофициальная поэзия». Что интересно, именно в этот момент я единственный раз в жизни формально был бездельником, уже не учился и ещё не работал. На следующий день мы вместе с Валей Рокотяном отправились к нашей знакомой, Майе Туровской, которая была членом Союза писателей и членом Союза кинематографистов, чтобы обсудить ситуацию. Майя в это время работала над материалами к сценарию фильма «Обыкновенный фашизм». Она сказала, что надо посмотреть, как будут развиваться события, что Юрий Иващенко, заведующий отделом культуры газеты «Известия», неплохой малый, ничего особенного, обычный алкоголик, ему сказали—он и написал.

Серёжа Чудаков и Серёжа Генкин мне порознь рассказали, что их вызывали на допрос. В Ленинграде, о чём я потом прочёл в воспоминаниях Дмитрия Бобышева, арестовали на несколько дней Иосифа Бродского, но потом отпустили. В целом, как потом выяснилось, в это время уже было принято решение процесса не затевать, ограничиться судом над Аликом Гинзбургом, причём этот суд внешне был не связан с «Синтаксисом». Между тем в лагере в Мордовии, как потом писал Борис Вайль в своей книге, они прочли этот фельетон и сказали: «Ребята скоро сюда приедут».

В 1995 году мои друзья присутствовали на передаче дела «Синтаксиса» в общество «Мемориал». Они мне подробно описали это событие. Это был

архив Александра Гинзбурга, то, что взяли при обыске и рассовали по шести большим папкам. Пять папок описали, а на шестую не хватило терпения, и там просто написали: «Том. 1, дело 46 на 624 листах». Мои стихи лежат в разделе: «Иослович», в нескольких экземплярах, вперемешку с чьими-то ещё, большей частью Ахмадулиной, судя по текстам. Если какой-нибудь литературовед будет разбираться, то у кого он будет спрашивать, хотел бы я знать. В пятой папке в таком же разделе стихи в основном мои. Пастернак в поэме «1905 год» написал, что обыск—это как вывоз реликвий в музей. Дело велось, но пришёл приказ дело закрыть, а Гинзбурга оформить как уголовника, так и сделали. При передаче дела в «Мемориал» присутствовали сам Гинзбург, Синявский с Розановой, Даниэль, Окуджава, Глоцер. Юлий Даниэль сказал сотруднику, передававшему архив: «Большая любовь к литературе и литераторам у вас была». Тот ответил: «Ну почему же? А географы, а историки, биологи. А авиаторы-то! Да одних авиаторов сколько было. Так что мы совсем не односторонние. Вы посмотрите другие дела: и строители, и мостовики… Лично я большой поклонник Булата Шалвовича». Окуджава: «Так что я могу надеяться?»—«Ну, зачем вы так, Булат Шалвович! Сейчас всё другое!»

Присутствовавшие студенты спросили Окуджаву: «Ну что в ваших стихах крамольного? Непонятно, за что вас не любили власти…» Окуджава ответил: «Это всё из-за женщин. У нас ведь как нужно было: девушка, ну ещё девчата… а у меня всё—женщина. Меня спрашивали: «Ну почему у вас героини ваших стихов все женщины. Что вы хотите этим сказать?»

Тогда, в 1960 году, ещё, видимо, не был готов конкретный план как бороться с литературой. Он оформился к 1965 году, когда последовал процесс Синявского и Даниэля, а потом Гинзбурга и Галанскова. А без плана действовать нельзя. Математик Серёжа Генкин из московского désинститута писал тогда в своих стихах:

Живу и чувствую по плану,
А если в плане есть изъян,
По плану поменяю план,
А по-другому жить не стану!

Она по плану проститутка,
А он по плану капитан,
А в промежутке, в промежутке
Им запланирован роман…

Как это говорили древние: sic transit gloria mundi. Галансков умер в лагере, Даниэль умер в Москве, Синявский и Гинзбург умерли в Париже, Серёжа Генкин умер в Америке.

В это время, в начале сентября 1960 года, я повстречал на улице Горького своего знакомого по мехмату, Вадима Ковду, второго рулевого на нашей яхте, и сказал, что ищу работу. Вадим посоветовал поговорить с Бубой Атакшиевым. Буба тут же свёл меня со своим начальником Юрием Александровичем Архангельским, руководителем лаборатории в почтовом ящике. Архангельский мне немедленно сказал: «Берём. Надо поговорить с директором, это не так просто, но я это пробью. Заполняйте бумаги». Я заполнил бумаги, через несколько дней получил допуск и ещё через неделю уже работал. Причём лаборатория при виде меня спела на какой-то мотив «Господь нас встретит у ворот…» Потом я узнал, что Архангельский говорил своим знакомым: «Знаете Иословича? Я его устраиваю к себе на работу». Надо сказать, что Архангельский, кроме прочих талантов, был административным гением и любую трудность воспринимал как личный вызов.

Началась трудовая деятельность.

Ящик

Наше предприятие почтовый ящик номер… было большим научно-исследовательским институтом. Там работало четыре члена-корреспондента Академии наук СССР, имелся свой учёный совет с правом присуждения степени кандидата технических наук. Была своя аспирантура, издавался общесоюзный научный журнал. Ящик являлся одним из базовых институтов МФТИ. Наша 106-я лаборатория математических методов должна была решать все возникающие математические проблемы. Начальник лаборатории, Юрий Александрович Архангельский, был кандидатом физ.-мат. наук, он окончил мехмат в 1952 году, был учеником известного механика Сретенского.

Сам Архангельский был прекрасным специалистом по задачам вращения твёрдого тела вокруг центра масс, впоследствии он защитил докторскую диссертацию и долгие годы был профессором кафедры теоретической механики МГУ. Сейчас он живёт в Аугсбурге. Я поступил в теоретическую группу, т.е. элиту лаборатории. Архангельский никогда не вмешивался в текущую работу, его принцип был найти подходящего человека и дать ему работать самостоятельно. В лаборатории работал Александр Исаакович Сирота, однокурсник Архангельского, крупный и разносторонний учёный. Мне казалось, что он знает о математике вообще всё. Соображал он потрясающе быстро. Его в своё время распределили в Сталинград, в пединститут. Это был редкий случай, когда москвичу после мехмата не находилось работы в Москве. Саша Сирота был яркий математический талант, и то, что его не взяли в аспирантуру, объяснялось исключительно специфической антисемитской атмосферой 1952 года. Сто следователей под энергичным личным руководством зам. министра МГБ Михаила Рюмина день и ночь лепили дело о сионистском заговоре. Из бывшего министра МГБ генерал-полковника Виктора Абакумова, которого второй год активными физическими методами следствия засовывали в этот мифический заговор, уже сделали к этому времени инвалида, который не мог самостоятельно передвигаться, но всё равно не сознавался. Архангельский употребил все свои незаурядные административные таланты, чтобы Сашу Сироту вытащить из пединститута и перевести в Москву в свою лабораторию. Консультантом был ещё один крупный математик, Александр Дмитриевич Соловьёв. Мы сами крутились как

могли, общались с заказчиками, консультировались друг с другом и со старшими сотрудниками. Три человека пришли из знаменитой на мехмате группы 502 по теории вероятности, выпуска 1957 года. У них несколько лет на мехмате был чрезвычайно популярный хор, который исполнял на вечерах оперу «Новатор и консерватор». Рыжий Эдик Кузнецов был там хормейстером. Альберт Ширяев, ныне президент международного общества Бернулли, большой математик, был там аккомпаниатором. Он сидел за роялем спиной к залу, но в решающий момент поворачивался лицом и подхватывал арию, невероятно разевая рот, наподобие бегемота. Из этой группы у нас работали Эдик Кузнецов, потом он перешёл в ИПМ АН СССР, Витя Каштанов, впоследствии декан факультета прикладной математики МИЭМ, и Олег Староверов. Олег был очень спортивный и умел с места перепрыгивать через стул со стороны спинки — смертельный номер. Михаил Чехов в своей книге «Путь актёра» рассказывает с ужасом, как в Берлине Макс Рейнхардт в своём театре заставлял его с места вскакивать на стол. Олег это делал запросто. Он потом работал в ЦЭМИ и специализировался по демографии, издал несколько монографий. Саша Сирота, Эдик, Олег и Соловьёв уже умерли, с ними ушла эта исключительная атмосфера того времени, когда профессиональная активистка Виноградова злобно говорила о нас: «Опять эта 106-я».

Однажды в лабораторию ворвался какой-то заказчик, начальник лаборатории из радиотехнического отдела, и с порога начал кричать: «Вы срываете важнейшее правительственное задание! Будете отвечать! Сами не способны решить — должны были привлечь академиков, Колмогорова, или там Соболева!» Архангельский его перехватил, увёл в свой кабинет и там привёл в чувство. Что-то ему, конечно, посчитали, но в принципе, насколько я понимаю, эта задача не решена и по сей день, сорок восемь лет спустя.

Рядом со мной работали Халил (Буба) Атакшиев, всеобщий любимец, внучатый племянник Станиславского, и Миша Борщевский. Когда я только пришёл в лабораторию, Буба мне сказал: «Обрати внимание на Мишу, он очень приятный человек и очень талантливый». Миша и по сей день работает рядом со мной в Израиле. Мы с ним за прошедшие годы написали много совместных статей, являя собой, как одно время было принято говорить, незримый коллектив. Он окончил МВТУ им. Баумана, потом работал на заводе «Динамо» и пришёл в лабораторию незадолго до меня. Миша тут же стал делиться со мной своим жизненным опытом, к примеру, сообщил мне золотое правило: «Инженер по предприятию не бегает». Он мне рассказывал, как на заводе один почтенный старый рабочий ему объяснил совершенно неожиданную истину: «Миша, пойми, мы ведь за деньги работаем».

В дополнение к институтской большой библиотеке, Архангельский завёл прекрасную библиотеку непосредственно в лаборатории. Я обнаружил там трёхтомник Лагранжа. Как выяснилось, Жозеф Луи Лагранж в конце XVIII века занимался той задачей, на которую меня поставили: как менять траекторию космического корабля. Вроде бы во времена Лагранжа это не было актуально. Отделом руководил Ходоровский, из семьи старых большевиков. В прошлом он был парторгом ЦК на большом авиационном заводе. Я полагал, что он выполняет чисто представительские функции, но после разговора с ним понял, что он прекрасно разбирается в задачах отдела, включая теоретическую механику. Однажды мы отказались выйти на какой-то трудовой субботник, и Архангельский не смог нас убедить. Пришёл Ходоровский и продемонстрировал такой уровень высококлассной демагогии, что сопротивляться оказалось бесполезно.

Внутри ящика на каждом углу стояли вооружённые бойцы охраны и проверяли пропуска. Однажды в стенной газете появилась заметка о том, как боец охраны потеряла кошелёк, а кто-то нашёл и сдал его в бюро пропусков. Заметка немного угрожающе была озаглавлена «Разумный поступок». В лаборатории царил свой собственный приятный микроклимат. Висел плакат:

> Не болтай у телефона,
> болтун — находка для шпиона.

Для внутреннего пользования его цитировали так:

> Болтун — находка для агента:
> Сболтнул — и нет интеллигента.

В группе вычислений работало много женщин среднего возраста. Мне объяснили, что это были жёны работников КГБ, которых уволили при чистке 1953–1955 годов. Если не знать, то никогда бы не подумал: женщины как женщины. Они были, как правило, по образованию школьные учительницы и не работали по специальности долгие годы. Возвращаться в школу им не хотелось. Они со страшным шумом и скрежетом считали на настольных электрических машинах «Рейнметалл». Иногда результаты их вычислений бывали довольно странными. Для верности они должны были независимо считать в две руки, но иногда жульничали и просто переписывали друг у друга. Я приноровился быстро проверять их вычисления и находить ошибки. Это не прибавило мне популярности, и они прибили к моему столу табличку с надписью «Осторожно, здесь злая собака». От руки было после слова «здесь» приписано слово «сидит».

Вычислительная машина «УРАЛ-1», быстродействие 100 операций в секунду, появилась год спустя. Эдик Кузнецов пытался увлечь меня программированием, но я был уверен, что это не интеллектуальное занятие. Лет пятнадцать спустя жизнь вынудила меня начать программировать, и я стал делать это с большим увлечением, рассматривая как личную борьбу с бессмысленной машиной, злобной, но ограниченной. Я думаю, что мои программы и сейчас день и ночь крутятся, считают и печатают документы на бескрайних просторах СНГ.

У нас работал Витя (Сюня) Ваксов, бывший геолог, ставший увлечённым и образованным

специалистом по дискретной математике. Он был прекрасный горнолыжник и во время физкультурного перерыва, когда мы все сдвигали столы и играли в пинг-понг, начинал в коридоре быстро прыгать туда-сюда, имитируя движения скоростного спуска. Его сестра была балериной кировского театра, и он мне много рассказывал о балете, о котором я только знал, что там существует 32 фуэте. Однажды я его повёл на гастроли французского современного балета. Дедушка мне достал билеты, и я хотел понять, что к чему. Комментарии Сюни были довольно кратки. Он сказал: «Я тебе не могу объяснить, но поверь, что это что-то совершенно выдающееся. Ничего подобного уже не увидим лет 20». Так всё и было.

Карл Малкин, уроженец Рязани, окончил педагогический институт и некоторое время работал по распределению преподавателем в архангельской колонии для малолетних преступников. Его жуткие рассказы об этой колонии просто не подлежат воспроизведению. Карлуша функционировал как автомат для преобразований, в особенности если требовалось преобразовывать специальные функции. Он уехал в Израиль где-то в 1970 году, и мы потом лет двадцать читали его письма и следили за перипетиями его жизни там. Я помню его письмо, описывающее драматические выборы 1977 года, когда власть от блока Маарах (социалистов) перешла к Ликуду и Менахем Бегин стал премьер-министром. Социалисты, так или иначе, держали власть в течение 29 лет и очень к ней привыкли. Но накануне выборов старая тётушка Карла, который уже именовался Ехескелем, поздно ночью разбудила всех криком: «Не отдам!»—«Что вы, тётя, не отдадите?»—спросили спросонку домашние. «Не отдам свой голос Маараху!»—сказала старушка. «Как будто это не голос, а бриллиант какой-нибудь»,—комментировал Карлуша. Это тем не менее оказалось решающим.

Лёля Штейнпресс училась на заочном отделении пединститута. Её отец был композитор и музыковед, он написал целый ряд статей, где разоблачал ложную версию о том, что Сальери якобы отравил Моцарта. Скромная Лёля обклеила свой стол понизу бумагой, чтобы не было видно её ног в короткой юбке, но Буба немедленно на этой бумаге нарисовал две ноги, причём покрытые волосами. Это был поклёп и клевета. После нашего ящика Лёля работала в издательстве «Мир». Она вышла замуж за Мишу Бронштейна, сына того Бронштейна, который вместе с Семендяевым написал известный справочник по высшей математике. Лёля уже давно уехала в Америку, жила в Нью-Джерси, потом перебралась в Калифорнию в район Лос-Анджелеса.

Лёня Сандлер, мой близкий друг, учился на вечернем отделении пединститута и пришёл в лабораторию на должность ученика лаборанта. Как-то вскоре его попросили вписать формулы в отчёт. Лёня классически испортил бесценный первый экземпляр, причём не было очевидно, что маленький мальчик способен на диверсию. Так или иначе, больше его вписывать не просили, а дали теоретическую задачу. А в наш лексикон вошло выражение «вписать отчёт». Лёня много лет потом работал со мной плечом к плечу в качестве моего заместителя, продвигая высокие технологии в народное хозяйство. Во время неоднократных атак тёмных сил мы говорили друг другу, цитируя Булгакова: «В большой компании нас можно одолеть, но пятерых вынесут вперёд ногами, прежде чем до нас доберутся». Дедушка Лёни был очень известным учёным раввином, его выпустили в Израиль ещё в 1965 году. Лёня уехал в начале 1991-го года и с тех пор много лет работает в вычислительном центре Еврейского университета в Иерусалиме.

В принципе, о деятельности таких организаций, как наш ящик, много рассказано в книге воспоминаний академика и главного конструктора некоторых систем ПРО Кисунько. У меня, однако, позднее появился собственный источник. В 1980 году я снимал дачу на станции Отдых у пожилого человека по имени Маркс, кажется, Иосифович. Его жена, впрочем, звала его Маркус. Маркус мне объяснил, что незадолго до моего появления в ящике он там был заместителем директора по общим вопросам. Он рассказал, что когда привезли из Германии оборудование, часть вагонов была занята имуществом СМЕРШа—сервизами, мебелью, коврами и прочим барахлом. Впрочем, и Маркусу досталось кое-что. А именно, пара замечательных громкоговорителей. Он их установил на балконе и говорил, что шёпот был слышен на другой стороне Москвы. «Зачем вам эти громкоговорители?»—«Что вы, такая вещь!» Из армии демобилизовали 1000 связистов и создали институт на голом месте. Куратором сверху был сам министр обороны, маршал Булганин, который говорил главным конструкторам: «Меры будем принимать самые жёсткие, сроки срывать никому не позволим. А с кем вы советуетесь по своим вопросам? Я, например, советуюсь с товарищем Сталиным».—«Нам не с кем, товарищ маршал…»—«Что ж, тем большая на вас лежит ответственность».

Я в это время жил на улице Горького, неподалёку от Бубы Атакшиева. Ночью там бродил и задумчиво смотрел на витрины нетрезвый поэт Михаил Светлов, днём по Тверскому бульвару прогуливался пенсионер Вячеслав Михайлович Молотов, «железная задница», как его называл Ленин. Утром мы с Бубой неслись на работу на его мотороллере. Работа начиналась в восемь пятнадцать, это было ужасно, я в то время был ярко выраженная сова. Утром я сломя голову бежал на улицу Немировича-Данченко, где Буба уже фырчал своим мотороллером. Я вскакивал на заднее сиденье, и мы резко стартовали. Буба стремительно лавировал между грузовиками и троллейбусами. Никаких шлемов в то время не было.

Моим непосредственным начальником назначили К., из выпуска мехмата 1956 года. К. был уже старший инженер. Он окончил вместе с Мишей Борщевским школу 73 в Серебряном переулке. Там перед войной преподавали математику мои мама и папа. Это было замечательное конструктивистское здание, на плоской крыше был расположен солярий. Эту школу снесли при строительстве

нового Арбата. У К. семейной специальностью было класть печки в загородных домах, это на самом деле большое искусство. К. в дальнейшем сделал прекрасную административную карьеру, в основном, с помощью своих дворовых друзей, которые поднялись наверх. В этих кругах, так же как в бандитских группировках, важно иметь дело с людьми, которым доверяешь, чтобы в тяжёлую минуту не сдали. В середине 70-х он был главным инженером в большом институте Минприбора. Он там появился в тот момент, когда происходила зачистка в преддверии Московской олимпиады, для которой институт делал программное обеспечение. Задание было ответственное, заранее предвкушались и делились ордена и премии, ожидались международные контакты и поездки, поэтому выгоняли всех евреев. Почему-то получилось так, что много евреев было на стенде героев и ветеранов войны. Стенд открыли к 9 Мая, там были фотографии со всеми боевыми орденами, а 25 мая их всех уже уволили по конкурсу. Интересно, что террор имеет свою логику, и вслед за ними немедленно уволили учёного секретаря, энергичную даму, которая проводила этот конкурс. Лишние свидетели никому не нужны, особенно если знают слишком много. Обстановка в институте была сложная, но оставшиеся завлабы уже прозвали К. «Лысый» и утверждали, что нашли к нему ключ. Они считали, что ему нравится, когда на него орут. Если человек орёт или даже стучит кулаком по столу, полагал К., значит уверен в своей позиции, значит ему можно доверять. Через некоторое время на К. уже орали все без исключения. Однако, когда в конце перестройки система развалилась, он не смог сориентироваться в новых обстоятельствах и вернулся к кладке печей. Зимой 1961 года я полагал, что у нас с К. прекрасные отношения, что он свой малый. Однажды мы собрались у Лёли Штейнпресс, чтобы отпраздновать её день рожденья. К. там подвыпил и внезапно решил высказать мне всё, что у него накопилось. Выяснилось, что я веду себя предельно нагло, не соблюдаю рангов, не уважаю старших, нарушаю все писаные и неписаные правила. Я был порядком изумлён таким неожиданным потоком чисто классовой ненависти. После этого я уже не удивлялся тому, что моё продвижение было надолго заморожено. Буба тоже К. недолюбливал на основе полной взаимности. По нашим с Бубой правилам, тот из нас, кто приходил утром в точку встречи последним, должен был заменить К. в кабинете его стул на сломанный, замаскировав стул его любимой подушечкой от геморроя. Если Бубе удавалось заполучить счёт из ресторана, главным образом, от своего одноклассника Васи Ливанова, будущего Шерлока Холмса, этот счёт подкладывался К. в карман пиджака, с тем чтобы жена его обнаружила и затеяла скандал.

Маминой любимой книжкой была «В маленькой лаборатории» Найджела Белчина. Она вышла в 1946 году очень маленьким тиражом. В Англии эта книжка очень популярна, по ней снят известный кинофильм. Там описывается система исследовательской работы в Англии во время войны. Самоотверженность и самопожертвование во имя обороны, интриги и проталкивание бездарностей наверх, наказание невиновных и награждение непричастных. Идиотские реорганизации. Герои, о которых никто не знает. Настоящие учёные в окружении ловких и безграмотных дутых авторитетов. Очень похоже на нашу систему, невзирая на идеологические различия.

Мне надо было разобраться в некоторых статьях из сборников «Искусственные спутники земли», которые как раз начали публиковать. Какие-то выкладки в одной из статей мне показались подозрительными, и Саша Сирота сказал, что, он думает, там ошибка. Надо съездить в Ленинград в Институт теоретической астрономии (ИТА) и разобраться с авторами. Я взял билет на поезд и отправился. ИТА стоял на набережной Мойки. Мне посчастливилось получить номер в гостинице «Европейская». Я быстро разобрался с авторами, которые признали, что у них ошибка, и стал знакомиться с ИТА. Там работало несколько молодых женщин, выпускниц ЛГУ. Как правило, они уже защитили свои диссертации и не имели ясных планов дальнейшей деятельности. В сущности, они не знали чем заняться. Из числа сотрудников я сошёлся с Виктором Брумбергом, известным астрономом. Меня интересовала его статья в Астрономическом журнале, где говорилось о двухимпульсных межорбитальных переходах. Я быстро сообразил, что ту же методику можно преобразовать для трёхимпульсных переходов. ИТА имел доступ к вычислительной машине, которая принадлежала военным морякам. Я заинтересовал сотрудниц ИТА своей проблемой, и они деятельно начали программировать. К ним присоединился капитан-лейтенат Денисов, выпускник ленинградского матмеха, о котором они мне рассказали, что он прекрасный программист и играет на фортепьяно. Когда я уезжал, Денисов у меня спросил: «Илья Вениаминович, можно я в ваше отсутствие буду вашим заместителем?» Я сказал ему, что конечно, ради бога, но ведь это всё деятельность добровольная. Они мне несколько раз писали и рассказывали, как продвигается эта работа. Однажды в нашу лабораторию в Москве ворвался капитан третьего ранга в форме и начал выяснять, кто такой Иослович. Ему показали. Он мне с криком предъявил претензию: «Кто вам позволил самовольно создавать какие-то группы и загружать офицеров посторонними работами? С кем вы это согласовали и кто вам это разрешил?» Я ему холодно ответил, что нельзя людям запретить заниматься наукой.

В один из дней в Ленинграде я созвонился со своим одноклассником Витей Генкиным, и он ко мне приехал из своего военно-морского училища, которое он оканчивал. Мы сходили в Русский музей, поужинали в ресторане гостиницы, подошли его знакомые. Мичман А., из того же военно-морского училища, пришёл со своей девушкой, они представляли собой удивительно красивую пару. Она под столом сняла туфлю, но А. это заметил, налил в эту туфлю вина и торжественно выпил, артистично выпрямившись во весь свой гвардейский рост. Эта кинематографическая сцена надолго

мне запомнилась. Потом Витя у меня переночевал, так как у меня в номере была свободная кровать. На следующий день он мне позвонил и сказал, что получилось не слишком удачно: в училище ночью была проверка, его отсутствие засекли, пришлось что-то с ходу придумывать. Частично это удалось, но его разжаловали из мичманов опять просто в курсанты. Не успел я приехать в Москву, как мне позвонил его отец, вице-адмирал Генкин, и попросил приехать, по возможности не откладывая. Я приехал. Абрам Львович встревоженно попросил рассказать, что, собственно, случилось. Я рассказал. Адмирал вышел из себя: «Я думал вы связались с девками, напились, подрались, попали в милицию. Но так вот, просто не из-за чего, пойти в музей и поужинать с товарищем, из-за этого рисковать своим будущим, всё ставить под удар! Разгильдяй, он не понимает, что на флоте есть вещи, за которые расстреливают!» Адмирал был более чем прав.

В ящике жизнь шла своим чередом. Появился приказ о том, что один из заведующих лабораториями принёс из дома карманный радиоприёмник, чтобы незаконно его настроить на рабочем месте, используя казённое оборудование. Ему ставили на вид. Не надо было быть слишком проницательным, чтобы сообразить, что приёмник, конечно, не был принесён из дома, а сделан на месте из казённых и довольно дорогих деталей, и завлаб был пойман охраной при попытке его вынести.

Обедать мы ходили на фабрику-кухню, реликт конструктивистских идей, под лозунгом: «Долой кухонное рабство, даёшь новый быт!» В народе её заслуженно называли «травилка». Впоследствии мне доводилось обедать в столовой Госплана, в спецстоловой для руководства Роспотребсоюза, а однажды даже в буфете МК КПСС. На «травилку» эти заведения общественного питания были совершенно не похожи, страшно далеки они были от народа. Буба был обладателем заграничной игрушки — искусственного червяка, которого он мастерски подкладывал кому-нибудь в салат. Когда червяк обнаруживался, Буба разыгрывал возмущение, собирал толпу, а между делом червяка похищал и складировал для следующего представления. Конец этой игрушки был трагический. Однажды Буба подложил червяка Карлу, но тот не стал возмущаться, как нормальный человек, а схватил тарелку и, прежде чем Буба мог что-то сделать, быстро-быстро побежал с ней в дирекцию кухни. Всё выяснилось, и Бубе осталось только сделать вид, что он тут совершенно ни при чём.

Как-то летом мы оказались в командировке в Ленинграде вместе с Мишей Борщевским. В субботу мы устроили поход — отправились с палаткой на взморье в район Репино. Я сварил на костре своё коронное блюдо — манную кашу со сгущёнкой. Ночевали в сосновом лесу на самом берегу. Красное солнце опускалось в море. Через несколько дней приехал Буба. Я жил в гостинице «Астория». Он позвонил мне утром в номер и сказал голосом администратора, что приехали иностранцы и номер нужно срочно освободить. Не успел я от него отделаться, как позвонил администратор и слово в слово повторил его текст. Как говорится, сон в руку. Бубин знакомый, литератор и переводчик Метальников, устроил для нас экскурсию по Эрмитажу. Указывая на скульптуру Лаокоона в вестибюле, рядом с Венерой Милосской, он нам сообщил соответствующий каламбур по-французски: «C'est la Vénus, et cela au con». Т.е. вот Венера, а вот она с… (неприличное слово). На следующий день другая Бубина знакомая, юная блондинка, завлит театра Акимова, показывала нам Царское Село и Павловск. Как писал Мандельштам:

> Поедем в Царское Село,
> Там улыбаются крестьянки,
> Когда гусары после пьянки
> Садятся в крепкое седло…

Буба был знаком с юной талантливой актрисой М. Меня он тоже познакомил с этим симпатичным созданием, и я ещё потом лет двадцать ходил на её спектакли. Она была тогда в связи с другим нашим знакомым, неким В. Он тогда считался талантливым поэтом. В. был очень приятным малым, вместе они составляли прекрасную пару. Однако нельзя сказать, что они были друг другом довольны, в их отношениях каждый тащил одеяло на себя. Однажды они поссорились, и В. ей дал, как кто-то элегантно сказал, по мордасам. Он утверждал, что она сама его довела. Очень даже может быть, но так, однако же, не делают, он сам это понимал не хуже других. Бедная М.пожаловалась всем знакомым, в особенности красочно она это описала Бубе. Буба в гостях у общих знакомых при всех В. спросил: «А ты зачем ударил М. по лицу, как же это так?» В. отвечал в духе Достоевского: «Я понимаю, Буба, как тебе было трудно задать этот вопрос». Буба сказал: «Конечно, трудно, но, наверно, не так трудно, как тебе было трудно ударить бедную М. по лицу».

Между тем я написал несколько статей и опубликовал их в научном журнале, который издавался в нашем институте. Собственно, по молодости мне казалось, что мои результаты — примитивная ерунда, позднее я убедился, что они вызывают большой интерес. Многое так и осталось неопубликованным. К. со скрипом писал свою диссертацию про допплеровский эффект, перемножал синусы и косинусы и с удивлением меня спрашивал, подписывая мои отчёты: «Ты что, не собираешься это публиковать?»

В 1963 году я услышал доклад Вадима Фёдоровича Кротова на семинаре Понтрягина в математическом институте АН СССР. Он рассказывал о всюду разрывных решениях вариационных задач. Кротов был небольшого роста, крепкого сложения и с яркими синими глазами, старше меня лет на пять. Рассказывал он очень увлекательно. Зал был плотно набит. Мы стали общаться и быстро подружились. Он мне рассказал, что читает курс лекций в МАИ по своим новым результатам. Туда ходило много народу из разных ящков, в том числе, офицеры из академии им. Жуковского и сотрудники ЦАГИ. Я представил К. свои резоны, что такой редкий случай нельзя упускать и что мне надо ходить на эти лекции. К. мне холодно ответил классической административной формулой: «Нет, тебе не надо». Ну что же, я и без лекций прочёл

статьи Кротова и увидел, что их можно применить в моих задачах. У Кротова был семинар в МАИ, он начинался часов в 6 вечера, я мог ходить туда после работы. Там было очень интересно, каждый доклад был событием. Я там познакомился с Гурманом, Букреевым, Хрусталевым, Григорьевым, Кузьминым, Подиновским, Розенбергом, Фельдманом, Сергеевым, Пиявским. С сожалением вспоминаю эту атмосферу. Все были очень молоды, и наука делалась у нас на глазах. Профессор МАИ А. М. Летов тогда был президентом Международной федерации автоматического управления (ИФАК) и тоже появлялся на этом семинаре. В 1967 году Летов и Кротов были оппонентами на моей защите в МФТИ. Защита прошла единогласно, и я устроил весёлый банкет в ресторане «Славянский базар», там, где в своё время Станиславский и Немирович-Данченко за обедом приняли решение открыть Художественный театр.

Так как зарплата была довольно скромная, а у меня была семья, я старался себе подыскать другую работу. На семинаре В. Ф. Кротова в МАИ я познакомился с молодыми офицерами, и они мне предложили перейти в их фирму и заниматься исследованием операций. Говорили, что там отличная внутренняя атмосфера, свобода исследований, грамотное начальство, свободное посещение и вообще лучше, чем в Академии наук. Я согласился, и меня свели с их начальником в чине подполковника. Мы с ним встретились где-то на улице и, прогуливаясь, обсудили научную проблематику. Он был в восторге и, казалось, всё решено и согласовано. Тут по ходу разговора я произнёс фразу: «Я, как еврей…» Он резко остановился и спросил меня: «А разве вы не серб?» Было ясно, что вопрос исчерпан. Он был так расстроен, что впору было его утешать.

Иногда в сентябре мы ходили на праздник Симхат Тора к синагоге на улицу Архипова. Лёня сообщал, когда конкретно по календарю приходится этот праздник, Миша и Карл присоединялись, и мы ехали до площади Ногина, а оттуда ручей народа вёл к синагоге. Туда было не протолкнуться, но на улице народ танцевал и пел: «Хавейну шолом, шолом, шолом алейхем!» Милиция не вмешивалась.

Начиная с 1959 года раз в два года в июле проводился Московский кинофестиваль. Это нас сильно развлекало. Где-то в 1961 году я попал в кинотеатре «Космос» около ВДНХ на израильский фестивальный фильм. Это была комедия о приключениях резервистов, которых со сборов отпустили в отпуск на конец недели. Прямо скажем, не бог весть что. Рядом со мной в кинотеатре сидел слепой, которого специально привели посмотреть израильский фильм и шёпотом ему читали титры и рассказывали, что происходит на экране, а он благоговейно слушал. Когда я порой слышу, что больше миллиона евреев уехало из Союза после 1988 года в Израиль за колбасой, из чисто экономических побуждений, я пытаюсь рассказать про этого слепого, если есть кому слушать.

В ящике было много молодёжи, все они стремились сделать карьеру. В принципе было два пути: или удумать чего-то совершенно новое и выйти в главные конструкторы, что было очень непросто, или проявить общественную суперактивность, что было, конечно, проще. Это было вроде лотереи, но кое-кто из активистов попадал потом в райком комсомола, в инструкторы, в секретари и дальше, вперёд и выше. Примером такой активистки была Аня Суровцева, симпатичная и приветливая девушка, жена нашего инженера Юры Суровцева. Юра звёзд с неба не хватал, работал вместе с Бубой и отличался странным пристрастием к сальным и несмешным анекдотам. Если мы с Бубой слышали что-то такое, то сразу говорили друг другу: «Ну, это Суровцев!» Аня, мне кажется, потом была секретарём то ли в райкоме КПСС, то ли даже в МК, уже не помню. Вообще такая привлекательность и коммуникабельность были типичны для комсомольских активистов. Где-то в 1967 году меня пригласили на международный конгресс по астронавтике в Дубровнике, в Югославии, и я прошёл все сопутствующие процедуры. Для инструктажа нас водили в горком комсомола. Он был набит этими привлекательными созданиями, как будто сошедшими с плаката «Витаминами богатый, свеж и вкусен сок томатный!» Инструктор нас учил, как отвечать на возможные вопросы. «Не надо говорить неправду, надо просто по-доброму немного фантазировать. К примеру, вас спросят — а как у вас с молодёжной преступностью? Некоторые так прямо тупо и говорят — её у нас нет. Это неправильно. Можно сказать: она есть, но небольшая. И рассказать про дворовые клубы, про спортивные секции. Немного пофантазировать». К сожалению, эта поездка совпала по срокам с моей защитой диссертации и от участия в конгрессе пришлось отказаться.

Некоторые пытались двигаться по двум маршрутам сразу. Желающих вступить в партию тогда было не так много. На фоне недавних откровений Хрущёва это считалось не слишком приличным. Один мой знакомый, который внезапно вступил в КПСС, битый час мне объяснял этот поступок: мол, вдруг предложили стажировку в Лондоне, но сказали, что обязательно надо быть членом партии. В партию он вступил, а стажировка как-то рассосалась. Общепринятый взгляд на партбилет как на хлебную карточку был усвоен только спустя какое-то время. Тогда же был установлен лимит для интеллигенции и управленцев — партия всё-таки пролетариата и беднейшего крестьянства. Из нашего ящика происходил тот секретарь райкома КПСС, который отказался подписать письмо с просьбой госпитализировать моего папу в больницу для старых большевиков. У папы был сорокалетний партстаж, и он тяжело заболел. Письмо было чистой формальностью, никто на эти письма не обращал внимания. В больницу его готовы были взять мои знакомые, но нужен был официальный запрос. Лет через пять Ельцин занял пост первого секретаря Московского горкома и начал трясти партийные кадры. Этого секретаря райкома он во время одной из перетасовок снял с должности, и тот в отчаянии выпрыгнул из окна.

Как-то активисты решили одного из молодых сотрудников исключить с шумом из ВЛКСМ за неуплату членских взносов. Думали, что наверху это

понравится. Собрали общее собрание, и зачитали обвинение. Все уныло молчали. Мне собственно, не было дела до этого неплательщика и его неприятностей, но уж очень противно было наблюдать весь этот балет. Я выступил в том духе, что исключение — это крайняя мера, надо же выяснить сначала, как он дошёл до жизни такой, а может это случайность, как же он будет вне молодёжного коллектива, что же с ним будет, всё же наш товарищ, я вижу, что он хочет исправиться. Массы стали поддакивать. В общем, я им поломал этот бизнес. Что смешно, активисты не могли понять, это я искренне такой идиот или специально валяю дурака. Своё недовольство, во всяком случае, они выражали очень аккуратно, полагая, что с таким искренним демагогом лучше не связываться.

В общем, во времена Хрущёва приветствовались всякие наступательные инициативы, не вполне законные. Нападали на верующих во время крестных ходов. У владельцев дач требовали оправдательные документы. У тёщи была дача, её построили после того, как её муж, Герой Советского союза Александр Матвеевич Бряндинский, разбился в 1939 году при поиске экипажа самолёта Марины Расковой. Александра Григорьевна стала искать документы, нашла пачку накладных на доски из северных лагерей. Некоторые дачи действительно отобрали.

Популярной мерой было изготовление пропусков нарушителей трудовой дисциплины и алкоголиков. Это были большие транспаранты с фотографиями, с ними виновные должны были ходить по своим предприятиям. Так что не нужно было никаких хунвейбинов, сами с усами. В нашем ящике Борис Иванович Викторов, зам. по режиму и бывший большой чин из КГБ, решил включиться в эту инициативу. Распространилась информация, что такой пропуск нарушителя дисциплины выдадут моему другу Мише Борщевскому. Тут, однако, важно правильно определить круг участников. Миша отнюдь не испугался, а заявил, ни к кому в особенности не обращаясь, что если это совершенно незаконное действие будет произведено, то он перестанет выходить на работу, а в бухгалтерию сообщит номер своего счёта в сберкассе. И как только зарплата не поступит на счёт, подаст в народный суд на родное предприятие. Умного и опытного руководителя отличает умение пользоваться сигналами обратной связи: услышав об этом плане обороны, Викторов дал задний ход, и мероприятие отменилось в зародыше.

Иногда мы вчетвером: я, Саша Сирота, Миша и Сюня — заходили в кафе при гостинице «Украина» и проводили там время за бутылкой вина «Твиши», глядя через окно на Кутузовский проспект. В 1962 году Саша защитил диссертацию и устроил банкет в ресторане «Армения». Было безумное веселье. Мы знали, что у Саши идёт негласное соревнование с каким-то американским китайцем по имени Ян-Чи-Та, который тоже занимался нильпотентными группами Ли. На этом банкете мы вывесили плакат:

Наш Сирота не чета
Нильпотенту Ян-Чи-Та!

Миша Борщевский был сыном известного литературоведа и текстолога Соломона Самойловича Борщевского, специалиста по Салтыкову-Щедрину и Достоевскому, они жили в кооперативном доме писателей на Красноармейской улице около метро «Аэропорт». У них часто бывал Герман Моисеевич Абрамович, поэт и переводчик с украинского, шумный и весёлый человек, большой знаток украинской литературы. Он также писал часто отзывы на украинскую прозу и поэзию, не всегда положительные. Как-то один из украинских писателей написал ему возмущённое письмо и послал по адресу: Москва, агенту американского империализма и международного сионизма, Абрамовичу. Письмо доставили прямо Абрамовичу в руки. Видимо, проконсультировались в Союзе писателей.

Мне запомнилась одна из историй, которые Абрамович рассказывал, сидя у Миши на кухне. В 1938 году Абрамович работал в одной из центральных газет и был в командировке в Хабаровске. С ним в номере обкомовской гостиницы жил районный деятель, бывший красный партизан времён Гражданской войны.

Однажды рано утром, часов в пять, он разбудил Абрамовича и сказал, что дело плохо: гостиница окружена НКВД, надо быстро уходить по крышам. «Так мы же ни в чём не виноваты!» — казал Абрамович. Партизан посмотрел на него как на идиота: какое это имеет значение. Он сказал Абрамовичу пробираться на вокзал и уезжать первым поездом. «А как ты?» — спросил Абрамович. «А я в сопках отсижусь», — сказал партизан. Так они и сделали, и Абрамович молчал об этом эпизоде 20 лет.

Много раз мы с Мишей ходили в походы, тогда это было общее увлечение. Мы вчетвером: Миша, Витя Каштанов, я и Сюня Ваксов — на двух байдарках пошли в поход по реке Пра. Доехали до Рязани, спустились на воду и поплыли. Пра несётся очень быстро, главное — быстро наклоняться, чтобы пройти под мостиками. Очень красиво, но комары заедают. В конце маршрута сели на маленький самолётик и вернулись в Рязань. С моим сокурсником Женей Ставровским мы ходили по Угре, как-то легли спать прямо на берегу без палатки, и я проснулся от того, что прямо надо мной в лучах раннего солнца стояла корова. Коровье стадо набрело на наш лужок. Там я нашёл старую немецкую каску, её отчистил от ржавчины и привёз домой. Население сильно ворчало: «Ишь, нашёл какую гадость…» В этой каске каждый казался убийцей и преступником. В особенности устрашающе выглядел добродушный и близорукий Валя Рокотян. В другой раз мы с Мишей под вечер спустились с плотины около Дубны в Иваньковское море (водохранилище). План был заночевать на острове посреди водохранилища. Однако, как только вышли на открытую воду, поднялся ветер, волны, байдарку стало захлёстывать. Если править носом к волне, то уходишь дальше в море, там уж точно перевернёт. Если становиться к волне бортом и идти на остров, то, скорее всего, перевернёт тут же. К тому же и шнур к рулю порвался. Страха не было, но ясное ощущение, что утопнем прямо сейчас, присутствовало. Так или

иначе, мы выбрались на остров. Миша в походах вёл себя как профессиональный руководитель: надо быстро сообразить план, принять решение и железной рукой добиваться его выполнения. Что это за план и насколько он соответствует обстоятельствам — это не обсуждается. В нашем ящике продвинутые туристы Левитин и Киневский организовали школу инструкторов водного туризма, я её окончил, сдал экзамены, получил удостоверение. Могу, наверное, собрать плот из брёвен.

Однажды мы с Мишей были вместе в Гаграх и зашли высоко в горы. Там мы встретили старика Бендиашвили, который подстригал виноградные кусты, сидя на высокой стремянке. Произошёл такой диалог. «А давно здесь живёте, дедушка?» — спросил его Миша. «Раньше жил на Тереке», — сказал Бендиашвили. «А почему переехали?» — «Там неинтересно». «Неинтересно? Скучно?» — «Нет, не скучно. Сегодня жив, завтра нет. Неинтересно».

Миша меня познакомил с одной девушкой в нашем ящике, за ней ухаживал его знакомый походник-турист. Девушка была вполне приятная, но ещё у неё было достоинство — её мама работала в Доме литераторов и часто стояла на входе. Так образовалась возможность ходить в Дом литераторов смотреть кино или пить кофе в буфете, где стены были расписаны назидательными надписями. Я помню, там было написано: «Запомни истину одну, коль в клуб идёшь, бери жену, не подражай буржую, свою, а не чужую». Однажды перед входом в ресторан ЦДЛ я встретил знаменитого советского писателя Валентина Петровича Катаева, который предлагал своей знакомой зайти туда и закусить чем бог послал и вообще приятно провести время. Эта дама жеманилась и говорила, что не голодна. Прекрасно поставленным голосом Катаев звучно произнёс явно на публику: «А сюда, милочка, голодных вообще не пускают!»

Как-то мы с Мишей пошли в ЦДЛ на вечер литературного архива — ЦГАЛИ. Там выступал Константин Симонов и печально высказал такую мысль: «Говорят, что есть разные правды, правда для всех и правда для узкого круга. Но это неправда, а вся правда заключается в том, что есть документы и они хранятся в ЦГАЛИ. И то, что написано в этих документах, тоже неправда, но правда то, что документы есть и они хранятся в ЦГАЛИ».

В 1962 году мы с Мишей поступили в заочную аспирантуру нашего ящика. Проштудировали примерно 800 страниц книжки Солодовникова по теории автоматического регулирования и сдали экзамен доценту Гиттису, консультанту соседней лаборатории. Про него ходил такой стишок:

Нам сказал товарищ Гиттис:
«Я пошёл, а вы е…итесь».

Имелось в виду, что когда начинались проблемы и неприятные разборки, он всегда почему-то отсутствовал. Наверно, мы ещё сдавали какой-нибудь марксизм, но я этого не припоминаю. За три года этой аспирантуры я сдал кандидатские экзамены по английскому языку и по диалектическому материализму. Лекции по материализму нам читал Герман из института Гнесиных. Он потом нам рассказал, что был раньше на кафедре в МГУ, но там они подняли мятеж против замшелого руководства и с ними стал разбираться сам Шепилов. В ослепительном белом костюме он принял на Старой площади бунтующих философов и сказал им, что они по сути правы, но нельзя не уважать начальство, надо действовать тоньше. Им предложили каждому выбрать место работы по вкусу, и Герман выбрал институт Гнесиных. В общем и целом, я был осведомлён о составных чертах и источниках марксизма, но никак не мог собраться с духом и прочесть гениальный труд Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». Кстати о философии, я лишь случайно узнал из газетной статьи Валентина Фердинандовича Асмуса в «Комсомольской правде», как надо понимать высказывание «Свобода есть осознанная необходимость». Оказывается, это необходимость, которую вы сами для себя осознаёте, а не кто-то вам её спускает сверху в порядке директивы. Перед экзаменом я поехал на конференцию в Ригу и думал, что там на пляже разберусь с Лениным, как он разобрался с Махом и Авенариусом. Увы, взморье не способствовало этим усилиям, и я приехал на экзамен в исходном состоянии. По закону подлости я вытащил как раз этот эмпириокритицизм. «Ну, — начал я пудрить Герману мозги, — гениальная работа Ленина вышла в 1908 году. В это время русское общество находилось в глубоком моральном упадке после разгрома революции 1905 года. Богданов и Луначарский занялись богостроительством и богоискательством. Получили широкое распространение порнографические писания Арцыбашева, в частности его известный роман «Санин». В этом романе…» «Достаточно», — сказал Герман. Всего аспирантов тогда собралось человек десять. После экзамена мы повели Германа в ресторан, где он нам поведал много внутрипартийных историй. Пользуясь случаем, я его спросил, как ему понравился мой ответ? «Ответ прекрасный, — сказал Герман, — но почему вы всё время стараетесь показать, что вы такой умный?» Видит бог, как он был далёк от истины, это было последнее, что я хотел ему продемонстрировать.

Как аспирантам нам полагался свободный день в неделю и лишний месяц отпуска. В этот свободный день я ходил в МГУ, где Дмитрий Евгеньевич Охоцимский читал курс механики космического полёта. В аудитории яблоку негде было упасть. Охоцимский заведовал отделом в ИПМ, который делал все основные механические расчёты для Королёва, и на полставки заведовал кафедрой теоретической механики в МГУ. Архангельский меня познакомил с Севой (Всеволодом Александровичем) Егоровым, старшим научным сотрудником в отделе Охоцимского. Они с Архангельским были однокурсниками. Охоцимский подобрал в свой отдел исключительно сильную команду, соображали они мгновенно и работали не покладая рук. Сева был уже очень известный учёный, его статьи о траекториях полёта к Луне были напечатаны в знаменитом выпуске журнала «Успехи физических наук» в 1957 году, по-видимому, первой открытой

публикации на тему космонавтики. Сева был небольшого роста и всегда готов к отпору, но со мной он был предельно благожелателен. На меня его работы, его манера общаться, быстрота его реакции, разносторонние знания, его подход к разным проблемам — всё это произвело сильное впечатление. Кроме прочего, я тщетно старался ему подражать в отсутствии обратной связи на внешние негативные воздействия. Короче говоря, любые атаки он просто игнорировал. Меня это сильно впечатляло, а нападавших совершенно дезориентировало. Он в прошлом был любимый аспирант Келдыша и каждый день начинал с того, что звонил Келдышу и говорил секретарше: «Передайте, что звонил Егоров».

Всеволод Александрович Егоров, профессор МГУ, старший научный сотрудник Института им. Келдыша, лауреат Ленинской премии, известный учёный, пропал в Сочи, где у него был садовый участок, осенью 2001 года. Должен был приехать в Москву к началу учебного года, но не приехал. Пропал. Позднее на его участке было найдено изуродованное тело, и его не удалось опознать. В то время это не было чем-то из ряда вон выходящим. У меня это не укладывается в голове. Иногда мне снится, что мы что-то с ним обсуждаем и он, как всегда, называет меня Илья Вениаминович.

У Севы был семинар на мехмате, который я стал посещать. На одном из докладов обсуждалась ситуация с задачей о максимальном по расстоянию полёте ракеты с заданным количеством топлива. Было две статьи, где эта задача решалась, причём давались разные решения. Одна статья принадлежала Юрию Горелову из какого-то провинциального ящика, вторая — известному американскому учёному Джорджу Лейтманну из университета Беркли. Ошибок не могли найти ни в одной из этих статей. В чём же дело? Сева просил участников семинара разобраться. Меня это заинтересовало. Я просмотрел внимательно решение Горелова и увидел, что там на самом деле есть первый интеграл, т. е. такое выражение, которое не меняется со временем. Если вместо него подставить константу, то всё сильно упрощается и можно показать, что два решения совпадают, как это и должно было быть. Однако усмотреть этот первый интеграл было совсем не тривиально. К тому времени к этой задаче подключился известный механик Анатолий Исаакович Лурье, зав. кафедрой в ленинградском политехническом институте. Он предложил записать уравнения задачи в векторном виде, что сильно упрощало выкладки, но не отвечало на вопрос, какое из решений правильное. Это было уже третья публикация на данную тему. Моё выступление на семинаре произвело некоторую сенсацию. Сева предложил мне выступить на большом семинаре Охоцимского. Охоцимский тоже был доволен, что тут мистики нет, и сказал, что надо написать статью для журнала «Прикладная математика и механика». Я написал короткую статью, и Володя Павлов мне её отпечатал на своей портативной печатной машинке. Лурье, по-видимому, не был особенно счастлив, что проблема решилась без него, и написал массу замечаний, вроде того что надо писать не «принцип максимума Понтрягина», как все это называли, а «метод Понтрягина». Знаменитый одноногий редактор журнала Талицких мне сказал: «Тут Лурье вас разделал», — но это ему так только казалось. Я внёс эти мелкие изменения, и статья была напечатана. Спустя 45 лет мне в Израиле понадобились научные рекомендации, желательно из Штатов, и я написал Лейтманну. Он прекрасно помнил эту историю и с готовностью написал мне отзыв.

В это время я уже перестал распространять свои стихи и писал довольно редко. Общественное настроение было довольно сумрачное после процесса Синявского и Даниэля. Мало энтузиазма добавила речь Шолохова на сьезде писателей, где он призвал их расстрелять. Кстати, не могу понять, почему Шолохову установили памятник на бульваре Гоголя, около клуба шахматистов. Он что, современный Гоголь с невидимыми миру слезами? Или играл в шахматы? Вечерами я иногда ходил с моим другом Митей Авалиани на литературное обьединение «Магистраль» при Доме культуры железнодорожников, где руководителем был Григорий Левин. Там я ничего не читал, а только слушал. Наибольшее впечатление на меня производил Саша Аронов. В прежние годы там читал и Булат Окуджава. С Ароновым я впоследствии близко познакомился, и мне всегда очень нравилась его песня «Досматривать кино не очень хочется…»

Я знал, что ИПМ тоже был базовым институтом МФТИ и у них были свои аспиранты. От четырёхлетней заочной аспирантуры мне оставался один год. Я спросил Севу, не возьмётся ли он мною руководить, он выразил полное согласие. Потом выяснилось, что вместе со Славой Ивашкиным я стал его первым аспирантом. Сева подписал письмо у руководства ИПМ, и я поехал в Долгопрудную переводиться. Как раз незадолго до этого я встретил Раису Исаеву из лаборатории академика Обреимова, и она мне рассказала, что в МФТИ увеличили аспирантскую стипендию, так что она стала лишь не намного меньше моей зарплаты в ящике. Итак, формально речь шла о переводе из аспирантуры одного базового института в аспирантуру другого базового института. К тому же я увидел, что там заведует аспирантурой человек, вместе с которым я незадолго до того жил в гостинице в Ташкенте, где была конференция по нелинейным колебаниям. Во время этой конференции, в октябре 1964 года, в Ташкенте ждали Хрущёва, который должен был приехать на празднование сорокалетия Узбекской ССР. Уже покрасили все заборы в центре Ташкента. Как-то утром я вышел из гостиницы и увидел, что народ возбуждённо толпится около стендов с центральными газетами. Это было совершенно необычно. Я подошёл посмотреть. В газете было сообщение об освобождении Хрущёва от должности первого секретаря ЦК КПСС и председателя Совета министров.

Не всегда мы тратили аспирантский день на занятия науками по специальности. Как-то мне позвонил Буба и сообщил, что во ВГИКе начинается научная конференция «Против формализма

в буржуазном киноискусстве». Как выяснилось, она была задумана очень рационально: приглашённым кинокритикам показывался известный, как правило, новый западный фильм. Они тут же под стенограмму его ругали изо всех сил. На следующий день показывали ещё фильм. Кто не ругал — брался на заметку и лишался приглашения. Так что это была саморегулирующаяся система. Стенограмма потом дорабатывалась и публиковалась. Мы вскочили на Бубин мотороллер и помчались. Уже не помню, что мы сочинили на входе. Критикам и киноведам заранее было несколько тошно. Председатель открыл конференцию словами: «Мы, собравшись на тайную вечерю против формализма в буржуазном киноискусстве…» «А кто здесь Иуда?» — тут же спросили его из зала.

Володя Павлов познакомил меня с физиком Серёжей Хоружим. Он потом стал доктором физ.-мат. наук, работал вместе с Володей в математическом институте Академии наук. Серёжа был сыном героини белорусского народа, подпольщицы и партизанки Веры Хоружей. Её повесили немцы в Витебске в 1942 году. До этого она успела два года провести в советской тюрьме по ложному обвинению. Серёжа позднее прекрасно перевёл книгу Д. Джойса «Улисс». Он был женат на англичанке, её звали, помнится, Кейт, она работала на радио. Кейт мне рассказала, что в фойе гостиницы «Москва» в киоске продают английские газеты, но не всем, а тем, кто выгладит, как англичанин. «Мне они не продают», — сказала мне Кейт, — «а вам, конечно, продадут». Не знаю, я никогда этого не проверял.

Во время последнего аспирантского отпуска, лёжа на пляже в международном молодёжном лагере под Туапсе, я решил задачу об оптимальной стабилизации вращения спутника около центра масс. Там была целая группа из нашего ящика. Вечерами какой-то симпатичный студент из Африки нас учил строиться в шеренгу и танцевать модный новый танец мэдисон. Вернувшись в Москву, я дал Лёне Сандлеру проверить свои вычисления. Всё было верно. Диссертация практически была готова, осталось только её написать. Меня перевели в очную аспирантуру МФТИ в сентябре 1965 года. Так я покинул свой ящик, проработав там пять лет.

ДиН стихи

Ирина Четвергова

Майское лето

Я рукою август приподниму —
Там трепещут, мерцая, звёзды —
Потому, что хватит играть в войну
И стихи забивать, как гвозди,

В ткань реальности, за которой — твердь
Или требованье тверди;
Потому, что устала я боль терпеть,
То есть тайно бояться смерти.

Мне сказали: дерево у стены
Отвечает быстрей и легче,
Потому что с рождения не видны
Ему смысл и порядок речи.

Но по глупости старой я всё ждала
Человеческого ответа
И гортань твоим именем — пережгла,
Тёмный август открыл мне это.

Ночью: ветка в окно, фонарь —
Увеличивают глубину
Слова, вдоха. Скажу я: дай! —
И сторицей потом верну.

Дай мне слово — и будет жизнь.
Дай мне нежность — и будет дом.
С тёмной ветки сорвался лист —
Поздоровался с фонарём.

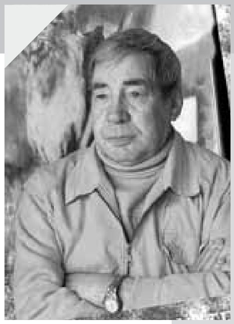
Скамейки заняты вдоль пешеходной зоны,
На дне фонтанов светятся монеты.
И может быть *уютным* и *бездонным*
Майское лето…

И если встретимся, я буду только рада.
Пари: кто говорить закончит… первый.
А для дешёвых фруктов слишком рано —
Ещё поспеют…

Рука потянется к листу,
Листа не помня.
И голубь бродит по песку —
Паломник…

Когда я раскаялся — дождь пошёл
И лил дни и ночи, не переставая.
Я понял: в земле растворяется боль,
А после — цветы прорастают.

И сам я расплакался от глубины
Всей мысли, постигнутой мною.
Тогда из шершавой бетонной стены
Цветок мне кивнул головою.



Анатолий Третьяков

Встречные поезда

Степь

Шатрами ханов—в степи курганы
Стоят безмолвно века подряд…
Под облаками орлы кругами—
Как будто те же—всю жизнь парят.
А время словно остановилось.
И те же травы в степи растут.
За что—не ясно? Но Божья милость
С времён древнейших являлась тут.
Здесь с быстрым ветром играют кони,
Овец отары как тени туч.
Ночное небо звезду уронит
В степное море с небесных круч,
В степи курганы полны преданий,
А то, что было, для нас—темно…
И как прекрасно, что первозданной
Нам степь увидеть ещё дано!

Королевский шут

Едва король отверз уста—
Тут, как стрела, острота!
И не позорна роль шута,
И уж не так она проста,
И не для идиота…

А если сам умён король—
И если сам умён король!—
Шут быть умнее должен
И крайне осторожен,
Свою играя роль!

Он, если короля не злит,
Язвит ли безотчётно,
И если так судьба велит,
Шут попадает в короли,
Король шутов—почётно!

Порой случается, что он—
Фортуны лик изменчив!
Шут может даже сесть на трон!
И вот к нему со всех сторон
Прибудут те, кто мельче

Себе он кажется велик,
Одет он всех пышнее…
Но шут на троне—так безлик,
Но шут на троне—пусть на миг!—
Трагедий нет страшнее…

Дорога домой

С пригорка—опять на пригорок!
По старой дороге иду.
Такие открыты просторы—
Поистине: всё на виду!
Далёкие горы в тумане,
Сверкает озёрная гладь.
И, видимо, я не устану,
Пусть сам для себя—повторять,
Что сердце любить не устало,
Что здесь я с открытой душой,
Что всё же без родины малой,
Наверное, нету большой!
Как всё мне здесь с детства знакомо…
Под солнышком летнего дня
Скажу себе: «Снова я дома,
И нету счастливей меня».

Рыбак

Он возвышается над лодкой,
И видно мне издалека,
Что он веслом, как чайной ложкой,
Помешивает облака.
Вот лодку к берегу направил…
Он будет долго говорить,
Что нужно ждать
(Одно из правил уметь ловить)
И что удача—
Есть терпенье,
Что нужно смирным быть везде.
И капли солнца, как репейник,
В его толстовской бороде.
На станцию пора. Под вечер—
В вагон, к окну, не спать, пока
Не зачеркнёт мне поезд встречный
И озеро, и старика.

Куртуазное

На В. П. Астафьева.

Живи Астафьев даже в Англии,
Где воздух от туманов сер…
Ему с утра напоминали бы
О Родине: «Овсянка, сэр!»

Снова осень небо журавлями крестит.
И в полях пустынных—тихая печаль.
Лишь берёзы—словно царские невесты,
И горит на каждой золотая шаль.
Только скоро ветер унесёт наряды,
Но пока деревья—все в листве густой.
Для души и сердца лучшей нет отрады,
Чем прогулка в этой роще золотой.
По утрам бодрящий и прозрачный воздух
Скоро будет влажным от дождей сплошных.
И всё чаще тучи смотрят с неба в воды
И озёр, и речек, отражаясь в них.
У меня настанет тоже осень. Знаю,
Что пространство будет всё в полях пустых.
Пусть ко мне выходит роща лишь такая:
Царские невесты в платьях золотых.

Дверь

За дверью, за этою дверью,
Где света полоска легла,
Не верю, я всё же не верю,
Что ты здесь когда-то жила…
Здесь больше не быть вдохновенью,
Любовь не появится здесь.
Пройдёшь ты неслышною тенью,
Как самая страшная месть.
Я все мои клятвы нарушил—
Да вот не сумел их забыть.
И лишь появляюсь снаружи,
А дверь мне твою не открыть!
Как счастье, мелькнёт только это—
И тут уж жалей—не жалей!—
Полоска неяркого света
Под дверью закрытой твоей.

Памяти Бориса Корнилова

Жизнь не пряником кормила—
Норовила наказать!
Был убит Борис Корнилов,
Враг народа—так сказать…
Только песне нет преграды!
Над страной плыла строка,
Где кудрявая не рада
Пенью раннего гудка.
Не один поэт Корнилов
Был убит за звонкий стих…
Революции горнило!
Сколько там сгорело их—
Неучёных и учёных,
И певцов, и работяг?
Стал, наверное, бы чёрным
Пресловутый красный стяг.
Что теперь судить об этом…
Из Кремля всегда видней!
А Россия для поэтов—мать,
Но мачехи страшней.

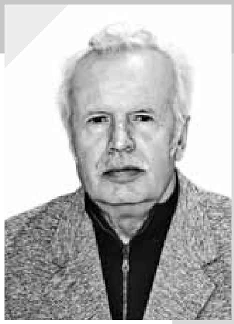
Только сердце памятью я трону
И опять увижу, как во сне:
Избы, словно серые вороны,
Дружно сели на февральский снег.
Крыши их, как сложенные крылья,
Опустились к срубам—не поднять!—
Избы к снегу белому пристыли.
Помните ли, избы, вы меня?
…Может, вас давно в помине нету,
Может быть, многоэтажки там?
Слишком долго я бродил по свету,
И отнюдь не по святым местам…
Я вернусь. Увижу, как со склона
Все тропинки к избам там бегут.
А они, как серые вороны,
В два ряда уселись на снегу.

Приглашение к путешествиям

Словно мелом, за собой
Лайнер след свой чертит в небе.
Ну, давай, моя любовь,
Улетим или уедем!
Вон машины рядом мчат
И грохочут электрички.
Умотаем хоть сейчас,
Ну, хоть к чёрту на кулички!
Где Макар телят не пас,
Мы поедем! Кто тут крайний?
Хорошо, где нету нас!
А вот мы туда нагрянем!
Денег нету—не беда!
Нам с тобой и горя мало!
Мы всегда примчим туда,
Где лишь нас и не хватало!

Встречные поезда

Когда с оглушительным воем,
Встречаясь, летят поезда—
Потом, торопясь, беспокойно
Колёса стучат, как всегда.
И ты, оказавшись меж ними,
Лежишь, оглушённый, ничком!
Боясь, что тебя приподнимет,
Что вихрь закрутит волчком…
Но это всего лишь минута!
А после опять тишина:
Но пыль ещё вертит и крутит,
И сор разметает волна
Воздушная—это не важно—
Ты вовсе не будешь готов
Опять оказаться однажды—
меж мчащихся двух поездов!
Бывает: со свистом и воем—
Но только никак не молчком!
Судьба разминётся с судьбою…
И кто между ними ничком?



Борис Туров

Мир неохватен и изменчив

Старый Скит

С годами Скит оброс быльём и слухами.
Бывали службы в нём и кутежи.
Здесь по ночам когда-то совы ухали
И бражный дух с молитвами кружил.

За долгий век кого здесь только не было:
От Филарета с братией до нас—
Художников, где сущее и небыли
Сосуществуют и ласкают глаз.

Стареет мир. Уходят поколения.
Струю надежды вносит молодёжь.
Всегда присущи—вера и сомнения,
Где в вечном споре—истина и ложь.

А Скит стоит, задумавшись, под тополем,
Уставив взор на зимнюю пургу.
И кажется ему, что кони по полю,
А не машины дымные бегут.

* * *

Дымится степь, напитанная влагой.
Простор теплом и радостью объят.
Пьянят ветра. С лугов дохнуло брагой.
И манит вдаль весны лукавый взгляд.

Шалит апрель.
          В мальчишеском азарте
Бегут ручьи с покатых берегов.
В лощине снег, как отголосок марта,
Ещё лежит—вот-вот сойти готов.

Последний снег…
          Я с ним пришёл проститься.
Вот лёгкий вздох—и нет его уже.
Но знаю я—останется частица
Глухой тоски опять в моей душе.

* * *

Впадать в уныние не хочется,
Хоть все пути предрешены.
Я верю в мудрость одиночества
И в добродетель тишины.

Когда в безмолвии берёзовом
Гостят любовь и благодать,
Я предаюсь желанью позднему—
Хвалу Всевышнему воздать.

За то, что каюсь и не сетую
На время, скверное вполне.
За то, что свыше мысли светлые
Порой являются ко мне.

* * *

Весна берёт унылых на прицел.
И даже у сапожника в оконце
Оттаяла улыбка на лице
От озорного мартовского солнца.

Ворона с колокольни—сверху вниз—
На грешный мир насмешливо глазеет.
Набрякший снег, сползая на карниз,
Высматривает праздных ротозеев.

А с ледоходом белые мосты
Взломало, и упорствовать посмей-ка.
От прошлогодних сплетен не остыв,
Опять судачат бабки на скамейках.

Мы слепо ждём чего-то впереди,
Порой от жизни требуя не в меру.
Весна приходит, чтобы пробудить
Уснувший дух, восторженность и веру.

* * *

Куст рябины—лисий всполох,
В лёгкой проседи—луга,
Сено смётано в стога.
Листопад. Мышиный шорох.

Я в лесу привычный гость—
Здесь лечу свою усталость.
Мне от осени осталась
Кружевной рябины гроздь.

Я возьму её с собой,
Как минувшего частицу.
Мне зимою будет сниться
Под рябиной образ твой!

* * *

Взоры тянутся к небу.
Ищет света душа.
Нет пристанища, где бы
В жизни мрак не мешал.

Искру Божию высек
В блеске стынущих слёз
Звёзд рождественский высев
И крещенский мороз

Миром правят невежды.
Их святейшество—Бес.
Остаётся надежда
Лишь на волю Небес.

Сергей Подгорнов

После грозы

Картошка

Вот здесь, за домом, для картошки место,
девятый год сажу её сюда.
С утра нежарко, ясен день воскресный,
лишь наточу лопату и — айда!

Ложись, картошка, исчезай с концами,
пуская корни, становись золой,
где токи между мёртвыми жильцами
из края в край гуляют под землёй.

Их — Вавилон! Пусть хода нет обратно
тем, кто лежит и растворился в ней,
но шёпот их, чуть слышный и невнятный,
столетия струится меж корней…

Я зуб даю — за то, что, несомненно,
однажды — пусть на миг, на полчаса
ростки твои, как чуткие антенны,
родных моих уловят голоса.

И если так, то обо мне там, в грядке,
не говори: валяю дурака,
а передай, что, в общем, всё в порядке,
что, в общем, поживу ещё пока.

Утренняя прогулка

Заря в окне, как в раме. И окно
из края в край украшено зарёю.
Цвет крови — он приличнее герою.
Мне больше нравится, когда темно,
поскольку тьма рождает миражи
и все предметы выглядят двояко…

Худая беспризорная собака
вдоль по Кирпичной рядышком бежит.
Нам по сердцу с утра житьё-бытьё,
ни от кого сейчас мы не зависим
и хоть и рядом, но теченье мыслей
у нас двоих у каждого своё.
А мир вокруг назойливо един
и приукрашен новою зарёю…

Цвет крови — он приличнее герою,
но мы-то никого не победим,
мы морду никому не разобьём,
не покусаем. Перед небом чистым
мы ранние такие пацифисты —
на том стоим. И движемся вдвоём.

В начале сентября

Я слышал: вновь оплакали Россию
и, сопли растирая по мордам,
пошли толпою квасить от бессилья…
Сочувствую я этим господам.
От их стенаний, от слезы горячей —
слезы почти ребёнка! — день что ночь.
И пусть поплачут. Пусть они поплачут.
Как ни крути, а горю не помочь.
…А тут картошка подоспела к сроку,
и урожай предвидится хорош!
Айда, жена, а то, темнея боком,
за школой туча скапливает дождь.
Ботву — долой, берём царапки в руки,
и клубни в вёдра:
дон-дон-дон-дон-дон!
Из огородов слышится в округе
весёлый повторяющийся звон.
Денёк что надо: сухо и не жарко…
Когда народ копается в земле,
а уголь к холодам готов в углярках —
перезимуем сыты и в тепле.

В стране пока что скорби и разрухи
как и всегда. Во всех её веках
есть женщины в селеньях, есть и шлюхи,
и кто-то угорает в кабаках,
и мёртво встал заводик обречённый,
и честность здесь пока что не в цене…
Но счастье снится пацану с девчонкой
не где-нибудь, а в этой вот стране,
в стране, моримой голодом и битой,
где можно быть и в славе, и в говне,
где большинство делишек шито-крыто;
и всё-таки — в единственной стране,
в стране с её теплом, её покоем,
в который глянешь и — заворожит.
И что бы нам ни каркали такое —
мы будем жить.

Тот день

30 января 1956 года

(У Пастернака)

…Всё, что я помню, — день ледяной,
голос, звучащий на грани рыданий,
рой оправданий, преданий, страданий,
день, меня смявший и сделавший мной.
Лев Лосев

Нет, я не помню тот день — ну ещё б!

Может быть, вьюга скакала по крышам,
может быть, кто-то, оделся и вышел,
и завалился по пьяни в сугроб.
И пока снегом его занесло,
и пока он превращался в ледышку,
и пока ангелов хор не услышал —
может, и помнил про это число.
А может, лишь руки себе отморозил,
и кто-то тёр об них тающий снег…
У Пастернака сидел человек,
правда, ещё без фамилии Лосев.

Это не то, что какой-нибудь знак.
Рядом всегда и бутылка, и книга —
мечется в пьяном бреду забулдыга,
и о высоком твердит Пастернак.
Вьюга бросается в окна жилья…

А из живой тесноватой пещерки
в руки подставленные акушерки
выдрался в этот день маленький я.
Всё впереди, ещё всё впереди,
все мои радости и тревоги,
все мои разные тропки-дороги…

Мама меня прижимает к груди.

И снова май горячий, прыткий.
Черёмуха в который раз
в двух метрах — сразу за калиткой —
кипеньем белым режет глаз.
Над терриконом, парком, лугом,
над городком с людьми его
гоняют годы друг за другом,
не изменяя ни-че-го —
ну, хоть бы штрих иль мелочь даже!
И только лишь кадровики
работникам клепают стажи
одним движением руки.
…А в небе заприметить можно
того размытые черты,
кто время с дырочками ложкой
помешивает с высоты…
Не повелительно, не властно,
не медленно, впадая в сон,
не отстранённо-безучастно,
а так — мешает, вот и всё.
Век промелькнёт, а этот с ложкой
не разберётся в простоте:
внизу там эти — кто, возможно…
или всё те же — те, те, те?

После грозы

У горизонта засверкало,
потом придвинулось сюда.
Забухало, загрохотало,
у края туч сошлась вода
и хлынула. Дома пригнулись,
и ливень взялся за своё:
швы переулков, складки улиц,
окраин серое рваньё —
всё начал мыть, и мять, и шоркать.
И мял, и шоркал ровно час.
В низинки, по канавам с горок
потоком побежала грязь…
Убрались тучи. Солнце нежит
и ближний, и неближний край.
И Асинск выстиранный, свежий
и высушенный — примеряй!
Бери его рукой беспечной,
бери, бери, не будь дурак!
Накидывай его на плечи
да повертись вокруг. Ну как?
Весь нижний парк, бульвар Шахтёров,
окраин драный шевиот —
всё чуть подсело. Впрочем, впору —
потом обтянется, сойдёт.

Иду, вальяжный и свободный,
любуюсь заблиставшим днём.
— Мадам, чего вам?
— Что угодно!
— А может, за город махнём?

Карась

Отыщем тебя мы, отыщем,
я знаю — ты там, в омутке.
Не зря я стою с удилищем
в слегка онемевшей руке,
ну — долго мне ждать ещё? Живо,
давай, не упрямься, вылазь!..
Я ж тоже клюю на наживу
и съеден бываю не раз.
А здесь я, укрывшись в тумане
и с сумкою через плечо,
уверен: меня не достанет
ничей хитроумный крючок.
Но лишь замашу плавниками,
из зарослей выплыву я —
зацепистыми крючками
дорога встречает моя.
Будь ты хоть неистов, хоть кроток —
поймаешься наверняка;
от пышущих сковородок
болят нестерпимо бока…
Пожалуй, сиди себе в тине.
А я погляжу на часы
и вечером в магазине
на ужин куплю колбасы.

Светлана Ермолаева

Перелетая в свет из света

Ты думал: музыка добра.
Но в ней совсем не стало смысла.
Чернёной строчкой серебра
Слова построились и числа.

И ноты, отлетав своё,
Бессильно падают сквозь прутья.
Очнись, прорвись сквозь забытьё,
Тебя настигло перепутье

В который раз. А мир таков,
Каким он был всегда и всюду:
В нём слишком много пустяков,
В нём слишком мало места чуду.

Оно ютится на краю,
Почти не веря, что заметят.
Я у гнезда его стою,
Куда заглядывают дети.

Глазеют мудро и светло,
Но не решаются потрогать.
Чернеют слово и число,
А ноты снегом занесло,
И с ними — нотную дорогу.

Петербург, Петербург,
Тосковать я уже разучилась.
Я у неба в долгу,
И дыханье от вздохов нежней.
Это милость небес,
что в ладонь бессловесно скатилась,
это милость небес,
потому я склонилась над ней.

Мойку держит гранит,
И душа её сжата мостами.
Лодкам тесно дышать
И взлетать над водой ледяной.
Даже небо в плену,
Небо стянуто в купол холстами,
Но художник наутро
Коснётся их краской иной.

На перилах моста расстаёмся,
И ты улетаешь,
И прозрачные перья
пронизаны солнцем насквозь.
И тебя подхватила
твоих соплеменников стая,
потому что нельзя вам
летать друг без друга —
поврозь.

Нас было двое: дождь и я.
Нам город был чужой подарен
С деревьями и проводами,
И весело в оконной раме
Плескалось чудо бытия.

Мы лужи наполняли смыслом,
Поскольку в них отражены
Осколки лиц, слова, и числа,
И небо раннее весны,
Что опустилось и повисло.

Мне было грустно и легко,
Поскольку опыт жизни учит,
Что каждый — музыка и случай,
А смерть всегда недалеко.

Здесь, за углом, за поворотом.
Невольно к ней ты сам идёшь.
А дождь — с тобой, в ладонях, вот он,
Весёлый дождь, весенний дождь,
Взахлёб разбрасывает ноты.
И в каждой — ледяная дрожь.

От нежности до созерцанья,
От белых стен до чёрных плит
Неуловимое мерцанье
Живые губы холодит.

И ты, гармоника губная,
Беспечной жизни кутерьма,
Ты заберёшь меня, я знаю,
Туда, где кончилась зима.

Сыграй мне простенькое соло,
Судьбы не тронув, не задев.
Мы все потом уходим к молу
Морской почувствовать напев.

Его солёные глубины
Трубе задумчивой сродни.
Но волны выгибают спины
Не только в солнечные дни.

В любые дни деревья держат
Небесный свод на кромке крон.
Ты тоже так живёшь, ты между
Землёй и небом пригвождён.

В тебе ветра чужие бродят.
Твоя морская глубина
Взлетает разом к небосводу,
И небо падает до дна.

Спасибо, музыка. Ты помнишь обо мне.
Ты ждёшь меня за каждым поворотом.
Ты, может быть, звучишь ещё вчерне,
И вздрагивают медленные ноты.

Ищу тебя при свете фонарей,
Ищу тебя среди снегов вчерашних.
Надеюсь: меж ворон и сизарей
И ангелы парят над синей башней.

Молчанье скрипки тише тишины,
Нежнее крыльев ангельских, и всё же
Коснёшься нарисованной струны,
И музыка останется на коже.

И след её парящий не затих
Под сводами гудящими вокзала.
Средь одиночеств горестных людских
Мне ближе «Одиночество» Шагала.

Где музыка печальная молчит,
Где взгляд бессилен, небо потемнело,
Звезда-полынь пылает и горчит,
И время ждёт, и скрипка онемела.

Я верю музыке, поскольку жизнь одна
И состоит из музыки и пятен.
Уже весна, за окнами весна,
Но время уклоняться от объятий.

Сломай себя, тростинку на ветру—
Не обретёшь прощения вовеки.
Я тоже так когда-нибудь умру,
Поскольку смерть таится в человеке.

Ты дудочка, ты мыслящий тростник,
И время теребит твои пустоты.
И ты живёшь, поскольку ты возник
Из ничего, из пустоты и ноты.

Быть может, нас спасут колокола,
Поскольку расширяется от звона
Небесный свод, и вечность пролегла
Меж куполом и самым низким тоном.

В таких снегах останешься навеки:
Ни закричать, ни выплеснуть судьбу.
И воет ветер в чёрную трубу,
И смотрят в окна римляне и греки.

Прости себя. Ты тоже человек.
Пусти себя пожить на вольной воле.
Ветра твой город яростно вспороли
И лунный раскачали оберег.

Судьба заснежена. Сокрыты все следы.
Занесены-засыпаны дороги.
Озябли древнегреческие боги,
Рассматривая льдинки у воды.

Душа заснежена—как терпкая земля.
Хранит себя светло и молчаливо.
И засыпают ива и олива
Под белою истомой бытия…

Когда тоска по человеку
Тебе уже невмоготу
И трижды ты в чужую реку
Входил, но каждый раз—не в ту,

О чём грустить? Печальный опыт
В зрачках весёлых затая,
Прости им грохот, топот, ропот,
Послушай бездну бытия,

Как раковину, где молчанье
Хранит морскую глубину.
Ты сбылся в музыку случайно,
Попал случайно на войну,

Где маски в бой идут, и пляшут,
И смотрят в прорези для глаз.
Звучит моление о чаше
Который раз, который раз…

Всей музыкой, какая есть
На белом безнадёжном свете
(она живёт сейчас и здесь),
И лепестками всех соцветий,
И всех созвучий, и насквозь—
Дождём, промывшим наспех кроны,
Когда дышать не в силах врозь,
Смешав и синий, и зелёный…

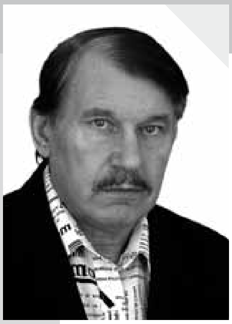
Когда устанешь горевать
И звать её горячим стоном,
Когда не хочешь выживать,
Но яростно и непреклонно
Желаешь жить—наверняка
Ты назовёшь любовью это.

Вот отчего душа легка,
Скользит над жизнью городка,
Перелетая в свет из света…

Неизменен шум дождя
Утром, вечером и ночью,
У него повадка волчья—
Оставлять от лета клочья,
Вдоль по августу идя.

Неизменен шум дождя,
Словно формула обиды:
Лето, жилистое с виду,
Беззащитно, как дитя.

Неизменен шум дождя
Днём и ночью, днём и ночью,
Дни смываются воочью,
Однозвучно и проточно,
Осень ходит полномочно,
Свежим яблоком хрустя.



Сергей Ставер

Голосов любви колокола

Ах, как было всё славно и здорово—
Спи и нежься в домашнем тепле.
За окном листья мёртвого золота
Покатились по сирой земле.

И завыли ветра задубелые,
Дети чёрных, мятущихся туч…
Ничего не смогли мы, не сделали,
Чтоб вернуть догорающий луч.

Ничего… прозябая в промозглости,
Будем жить, попивая вино…
Только жаль, в нашем старческом возрасте—
Прозябание смерти равно.

Зелёный злак разбуженной земли
Омыт дождём и тёплой почвой связан;
Пока живём, пусть торжествует разум
И песнь поют степные ковыли.

Пока живём, поднимем жизни стяг
И примем мир, взлетая по спирали…
Я не хочу, чтоб чувства умирали
И всё решал, по случаю, пустяк.

Я не хочу, чтоб свет любви погас,
Чтоб тьма навеки солнце поглотила.
Любовь к Творцу—единственная сила,
Которой нас он от забвенья спас.

Как печально, что любим—не ценим,
А теряя, исходим тоской…
И блуждаем по жизни без цели,
Пьём уныло за вечный покой.

Ах, как горько русалочка плачет,
Принц любимый себя не сберёг…
По паласу, как молния, скачет
Желтоглазый пушистый зверёк,

Хвост трубой! Взор горяч и неистов…
О, какое безумство и прыть!
А вдали покаяния пристань,
До которой уже не доплыть.

Всё непросто начинать с начала
И вершить по совести дела,
Чтоб душа достоинством звучала
И других на подвиги звала.

Трудно быть поэтом и пророком,
Предсказать и истину спасти!
Трудно быть народом и с народом
Напролом к спасению идти.

Трудно жить, растратив свет и силы
На пустых вождей и королей.
Трудно жить дерзающим в России;
Вне её—стократно тяжелей!

Сон

Ты мне снишься, мы стали чуть ближе.
Озаряя мой сон по ночам,
Жёлтый месяц катался на лыжах,
Лёгким золотом тая в лучах.

И летя по воздушным просторам
В синем шёлке волшебных небес,
Приближал к нам жемчужные горы
И зимой околдованный лес.

И манил чистотой акварели,
Удивляя величьем полей…
Мы влюблялись в рябинки и ели,
В улетевших на юг журавлей.

Мы влюблялись… влюбившись, любили!
О, как сон этот краток… прости,
Что за сказкой навек позабыли,
Как не надо гореть и цвести.

Снег слетевший сиз, немного розов,
Точно не понять… алеет мгла…
Ожидал морозец—нет мороза,
Стужу-стынь позёмка замела.

И застыла в переливах воска
На стволах, на веточках тугих.
Огненной мне кажется берёзка
Средь осинок пепельно-седых.

В самый чистый снег не окунуться.
Он остался в детстве и во сне…
Грустный свет с печалью пью из блюдца,
Не увидев милую в окне.

В пламени заката не согреться…
Зря тяну ладони к костерку.
Ах, как сладко-сладко ноет сердце,
И тоска вплетается в строку.

С небесных, голубых, воздушных звонниц
Звонят колокола, гудит густая медь…
О, как бы я хотел среди поклонниц
Одну… одну любимую иметь.

Я б песнь творил — она бы запевала…
Я б изразцы лепил — она блины пекла…
Я был бы звонарём… она бы отливала
Из голосов любви колокола!

Синий дождь апреля, жёлтый — сентября.
Нежность акварели, ропот журавля.
Не вернётся странник, дом его забыт…
Плачет конопляник у могильных плит.

Плачет конопляник, душеньку лия…
Здесь под тополями милая моя.
Здесь под тополями… как же мне сказать?
Братья молодые, старенькая мать.

Да отец, да детства золотые дни!
Господи! Любимой странника верни.

Осень

Над тоскующим плёсом тоскует паром,
Ржавый остов его неподвижен и жалок…
Осень — сплав наготы с домотканым ковром —
Разметалась по роще последним пожаром.

Осень — это итог, что зачала весна;
Скорбь, и крик, и присутствие в смерти начала.
Это знак угасанья и вестушка нам
От того, что когда-то цвело и звучало.

Это всплеск красоты и печальный покой,
Зов рыдающих птиц над родными полями…
Это ржавый паром над холодной рекой,
Это рощи багряной поблекшее пламя.

Брату

Опять рябиновым вином напоен вечер.
Давай забытое вернём, увековечим!
И будет сладостней дышать лесным озоном,
И будем женщин приглашать с весёлым взором.

И будем женщин целовать по целой ночи,
Давай не будем горевать, рыдать в платочек.
О, время — вихрь и ураган, по миру смерчем!
Я выпил день, а мой друган последний вечер

И в ночь ушёл, и скрылся в ней, и растворился!
А я в рябиновом вине с чужой забылся…
Давай забытое вернём и всех помянем,
Закат рябиновым огнём нас в вечность манит.

Зовёт, как мама, как мечта, как наше детство!
Ты под крестом! Я у креста… с разбитым сердцем.

Всё прошло. Закат. На старость
Путь лежит… за ним — исход.
Что же с нами, Катя, сталось?
Где наш белый пароход?
Где весёлые проказы,
Пляски, песни и гульба?
Ничего… одни рассказы
Под названием — судьба.

Что ж ты, жизнь, натворила?
Я теперь на мели!
Без руля и ветрила
И от милой вдали.

Без любви… но в печали…
И уныл, и безлик…
Я стою со свечами
У кладбищенских плит.

Всюду скорбные лица.
Мол, сюда не ходи!
И нельзя прислониться
К самой верной груди.

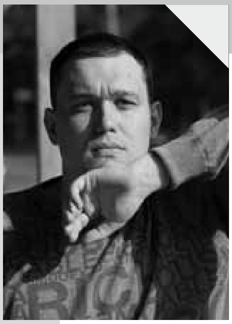
И нельзя обернуться,
И вернуться нельзя!
Перевёрнуто блюдце —
Чай допили друзья.

Чай, устали с дороги
И заснули навек…
И давно на пороге
Несеребряный век.

Раскаялся… о, Боже,
Не отмолить души!
Меж истиной и ложью —
Мильоны и гроши.

И жизнь, где всё не свято:
Раздор, разврат и блуд!
Где брат стреляет в брата,
А в силе вор и плут.

И нет нигде просвета,
Вокруг обман и тьма!
Голгофа для поэта
И горе от ума.



Александр Дьячков

Прыщавая рябина

Брату

1.

С пачкой новых фломастеров я
забираю Илью из детсада,
и жлобы окружают меня,
я шепчу им: «Не надо, не надо…»

Плачу там и заплачу сейчас,
не фломастеров жалко, а детства…
Как же всё-таки мучило нас
параллельных вселенных соседство!

Мимо тётки идут, малыши
бьют в песочницах чем-то друг друга,
а по сути вокруг ни души,
и стучит в голове от испуга.

Но выходит Илья, он одет,
у меня не выходит улыбки:
«Чем кормили тебя на обед?..»
Бей их первым, не делай ошибки!

2.

Жили мы на восьмом этаже,
мне двенадцать, а брату четыре,
и лифты запустили уже,
но мы пёхом тащились к квартире.

И прощения нет подлецу,
что я так после школы резвился:
издевался и бил по лицу,
но от крови слегка протрезвился.

…Я покаялся в этом опять,
причастился, но противоречу:
я хочу за ту кровь отвечать,
я хочу за ту кровь отвечать,
я хочу за ту кровь отвечать…
И отвечу.

Около универсама
Сашеньку забыла мама.
Саша пережил
экзистенциальный ужас.
Мама с криками вернулась.
Мальчик снова жил.

Если бы он знал, бедняга,
что подобная бодяга
не пройдёт вовек
и, томясь духовной жаждой,
это чувство знает каждый
взрослый человек…

Наш вагон зацепил человека.
По частям человека внесли.
Если выживет—будет калека.
Отмахнули флажком. Повезли.
Но пока он в вагоне хранился,
проводница пила корвалол,
я за чаем пойти постыдился,
а какой-то дедуля пошёл—
отлетала душа, отлетала
на мытарства спешила она…
На стоянке врачиха сказала:
«Чё везли-то? Он мёртвый. Хана».
И уже мертвеца—человеки
на носилках поставили в снег.
«Газвода, пирожки, чебуреки…
Не хотите один чебурек?»
И кричу я закутанной тётке:
«Ты мне водки скорей принеси.
Выпью всю, хоть и нет столько водки на Руси…»

Что-то стало со мною такое,
что-то звякнуло, дзенькнуло вдруг.
Это надобно сердце какое,
да и даже не сердце, мой друг,
освятить эти речи, и лица,
и сугробы, и холод, и кровь,
лень мента, суету проводницы,
а потом переделать в Любовь!

Поэту приходит журнал,
а там неплохая подборка,
но—что это?—вместо восторга
он, кажется, духом упал.

Когда воплощаешь мечты,
то видно в возникшем зазоре,
в какой суете и позоре,
душа, побираешься ты.

Увы, я вижу не «очаг»—
конфорку на плите
и не могу сказать «в очах»—
глаза вокруг не те.

Прости меня, высокий стиль
в классических стихах…
И я опять рифмую «пыль»
и не рифмую «прах».

* * *

Я помню Дворец пионера,
ещё—театральный кружок,
какую-то пьесу Мольера
и выход на сцену, как шок.

Там живы Мишель Сухоросов
и Птицына Ленка жива.
Ещё от проклятых вопросов
моя не болит голова.

Ещё не нуждаемся в вере,
поскольку невинны, чисты.
Стоим в круглосуточном сквере,
общаемся до темноты…

Ну, как же вы всё-таки спелись,
любимая муза и чёрт!
Диктуете всякую ересь,
а я недостаточно твёрд:

мол, что мне Христовы объятья,
небесное царство внутри,
когда не увижу опять я
расплывшиеся фонари…

* * *

Городской приезжает в деревню
повидать неродную родню,
каковая глаза утерев, ну
разумеется, колет свинью.

Но от визга и запаха смерти
городской не в тарелке сперва
(а свинина здесь даже в десерте).
—Извините, болит голова…

Но, гляди, опрокинул рюмашку,
рассказал с бородой анекдот
и берёт целлюлитную ляжку
и жуёт.

Объективный закон мирозданья:
«Чья-то жизнь для кого-то еда»,—
отрицать не имею желанья…
Но убийство—убийство всегда.

«Два мира»

В Калуге я был у друзей
и сам напросился в музей.

Иду. Натюрморты, портреты,
пейзажи, но я не про это.

На всё безнадёжно легла
печальная тень ремесла.

То—плохо, то—глупо, то—мило…
И—опа!—картина «Два мира».

Две девушки. Первая—кукла.
Красива, нарядна, припухла.

Вторая—почти замарашка.
А что вы хотели, монашка.

Стоят в проходном коридоре,
и всё… Но заметил я вскоре,

что там, за монашкой,—окошко,
в нём синего неба немножко…

Спасибо, забытый художник,
что ты не маляр, не безбожник,

не правильный авангардист…
Спасибо, что ты реалист.

Эпитет

Я взглядом двор окину,
и занесу в тетрадь
прыщавую рябину,
и стану размышлять:

от грязного истока
вовеки никогда
не потечёт далёко
прозрачная вода.

Худое око видит,
что этот мир худой.
Я вычеркну эпитет.
Но где мне взять другой?

Выпуск подготовила Марина Переяслова

Ринат Мухамадиев

Свои люди

Жук

Быть может, вы и слыхом не слыхали о некой конторе, каких немало скопилось не только в любом заштатном городишке необъятного нашего Отечества, но и в столицах. И то сказать: контора как контора, ничем не примечательна, как две капли воды похожа на сотню других, таких же мелких контор, которые незаметно и прочно угнездились среди солидных советских учреждений на многолюдных проспектах и вовсе тихих улочках. Это для вас она непримечательна, но не для Гаяна Баяновича, для которого в ней, возможно, сосредоточена вся его жизнь. Да и может ли быть иначе?

Каждое утро, хорошо выспавшийся, с гладко выбритым свежим лицом, на котором красуются аккуратнейше подстриженные усики, он размеренным шагом без полторы минуты девять приближается к парадному входу. С лёгкой натугой оттягивает на себя массивную дверь. Вот дверь поддалась, приоткрыла тяжёлые створы, пропустив в проём ладненького, среднего роста мужчину, и захлопнулась, как проглотила. А вечером, ровно в шесть, дверь снова приоткрывается, выпустив того же мужчину, который неторопливым шагом, преисполненный не то чтобы чрезвычайного достоинства, но скорее удовлетворения, отправляется домой.

Контора для серьёзного чиновника — что второй дом. И для Гаяна Баяновича тоже. Он со своей родной конторой вполне ужился. Здесь у него всё: прочный казённый стул с мягкой подушечкой, чтобы было не столь утомительно отсиживать свой восьмичасовой, стол добротный для опоры, на столе перекидной календарь и всё такое прочее… Ну что ещё нужно непьющему, некурящему, умеренному в смысле женского пола мужчине?

Итак, контора. Хотя как будто ничем не примечательна была она среди своих близняшек, однако и у неё имелось своё родимое пятнышко. Директор! А точнее, директорское кресло. И кого оно только не поддерживало на своём широком сиденье! И высоких, и худых, и маленьких, и толстых. Только привыкнешь, бывало, к представительному красавцу мужчине, при котором секретарша так и цветёт бутоньерочкой, как глядишь: и секретарша будто подвяла, губки морщит, как от кисленького, а в директорском кресле сидит этакий лысенький да плюгавенький — смотреть не на что! А месяца через три и его след простыл, как в сухом песке растворился. Другого очередь наступила, а через год и этот исчезнет бесследно, следующий очередник в кресло усаживается. И так далее — деловито, без суеты, без задержки крутится конторская карусель: один поднимается, другой опускается… Только с конторой самой ничего не случается: все чиновники на прежних местах, будто навечно приписались к своим стульям. Сидит и Гаян Баянович, и стул под ним не качается. А чего ему качаться, спрашивается? После института молодого специалиста направили сюда, встретили, отвели место, назначили оклад — не большой, не маленький — в три стипендии. Вот с тех пор и сидит молодой специалист за персональным столом, на персональном стуле. И всё хорошо. Правда, звание «молодой специалист» бывает порой обременительным. Надо куда-то сбегать, принести, достать, кого-то вызвать — взоры окружающих тут же к нему, молодому специалисту. И не пикнешь, бежишь, достаёшь, несёшь, обеспечиваешь, потому как по рангу положено. Он ведь действительно здесь самый молодой. Никто при нём не увольнялся, никто новый не прибывал. Исключая, конечно, директоров. Это директора меняются, как листва на дереве, осень наступила, ветер подул, ну и сорвало листок, и понесло, а рядовые чиновники всегда при хорошей погоде, они, как говорится, вечнозелёные.

У каждого смертного имеются свои пристрастия, маленькие увлечения, праздники сердца — хобби, как нынче говорят. Само собой и у Гаяна Баяновича. Его хобби — чай. Он прямо-таки обожает чай. Да, да, и не усмехайтесь, это у него ещё до указа. Никаких других напитков он не признаёт. Вот чай — да! Не какой-то там в местном буфете или соседней забегаловке, разве мутная тёплая водица в столовском стакане может стать праздником души?!

Испить хорошего чая для Гаяна Баяновича настоящий ритуал. Часу в одиннадцатом, когда обмен информацией уже закончен, обсуждены детали потрясающего наряда секретарши, записаны подробнейше новые рецепты пирогов собственных бабушек, а также составы и пропорции уникальных тортов соседей по площадке, новейшие иностранные диеты для похудания, в комнате воцаряется тоскливая тишина, нарушаемая изредка шорохом перебираемых бумаг, шарканьем ног под столами, сдавленными вздохами и зевками притомившихся сотрудников, Гаян Баянович, не глядя на часы, уже знает: пора!

Неторопливым движением достаёт маленькую расчёску из нагрудного кармана, аккуратно причёсывает усы, приглаживает височки и, поместив расчёску обратно в карман, приступает к священному действу. Вода в тонком стакане

закипает быстро. Как только мелкие пузырики обволакивают спираль маленького кипятильничка, Гаян Баянович выдвигает два ящика своего стола, в которых у него хранится заварка в красивой жестяной баночке, сахар в коробке и ещё баночки и коробочки разных калибров с душистыми травами и вареньями разных сортов, регулярно привозимыми летом из деревни.

В третьем же ящике у него хранится тоненькая зелёная тетрадь и ручка… Гаян Баянович ловким движением открывает коробочки и баночки, крышки которых весело перещёлкиваются, сыплет в стакан щепотку только ему известной травки, добавляет щепоть побольше грузинского чая и, наконец, опускает на дно кусочек сахара. Лишь при таких пропорциях и неукоснительной последовательности вожделенный чай приобретает, как говорится, специфический вкус. Чему-чему, а этому ритуалу местные женщины, долгожительницы отдела, обучили его в совершенстве. Потомив свежезаваренный чай под вчетверо сложенным чистым листом бумаги, Гаян Баянович достаёт из коробки ещё один квадратик сахара и, не спеша похрустывая им, приступает к чаепитию — с величайшим наслаждением и умиротворением души, точно деревенская эби перед самоваром.

Но не дали сегодня вдоволь насладиться чаем. Не успел он вдохнуть волнующий аромат напитка, как открылась дверь и вездесущая профсоюзная активистка торжественно объявила:

— Товарищи! Все на собрание!

По комнате прокатился недовольный говорок. Сразу шумно зашаркали ногами, сердито задвигали ящиками, заскрипели стульями. «Какое собрание?.. Что там ещё стряслось?» А уверенный голос активистки призывал уже в соседней комнате.

— Не иначе как пожар… — бурчала рассерженная старожилка, не успевшая завершить помадно-маникюрный комплекс упражнений перед вечно занятым зеркалом. Её досаду разделили ещё несколько женщин.

Только Гаян Баянович помалкивает, хотя и его оторвали от любимого занятия. Поспешно убрал в ящики предметы чайной церемонии, открыл третий ящик, достал тетрадь с ручкой — распоряжения сверху Гаян Баянович выполняет беспрекословно.

Минут через десять красный уголок заполнился инженерами, младшими сотрудниками. Чуть попозже, согласно служебной иерархии, прибыли замы, завы, активисты, представители и заняли соответствующие места.

— Товарищи, — начал наибольший представитель и сделал многозначительную паузу, обведя присутствующих строгим взором. — Сегодня мы представляем вам нового директора…

Не успел представитель договорить, как его заглушили бурные аплодисменты. Так было заведено в конторе. Здесь знали, как встречать директоров. Не первый, авось не последний. Новый директор поспешил встать и раскланяться:

— Постараюсь оправдать ваше доверие, товарищи.

Только Гаян Баянович не хлопал. Руки были заняты. Раскрыв девятую страницу тетрадки, он торопливо записывал данные директора. Это тоже была привычка. Каждому очередному директору в тетрадке была отведена отдельная страница, где фиксировались фамилия, имя-отчество, даты прихода и ухода и кое-какие другие важные сведения. Записывалось не по приказу, обязанности или по причине какой-либо выгоды иль расчёта, а просто так, из любопытства, невинной прихоти, тоже вроде как маленький ритуал. Итак, на сегодня девятый директор на счету молодого специалиста Гаяна Баяновича. Сведения пока скудные, но со временем страничка заполнится. Здесь много кое-чего записано о директорах. К примеру, кто из коллег может вспомнить больше, чем об одном-двух? Вот то-то и оно. А тетрадочка — она всё помнит, всё фиксирует. Жалко, что тоненькая, ведь что такое двенадцать страниц для такой солидной конторы? Через год-два придётся заводить новую тетрадь. От мысли этой лёгкая грусть пала на сердце Гаяна Баяновича, всегда аккуратного, исполнительного, вполне интеллигентного, весьма сообразительного, выработавшего полезную привычку заглянуть вперёд, предусмотреть обстоятельства, варианты… А вот с тетрадкой просчитался, надо было сразу завести о двадцати четырёх, а лучше о девяноста страницах. Но увы, локоть не укусить…

— А вы, товарищ, почему задержались?

Гаян Баянович вздрогнул от неожиданного вопроса, огляделся. Оказывается, пока он сидел, уткнувшись в свою тетрадку, собрание кончилось и все разошлись. Сие обстоятельство привело Гаяна Баяновича в полное замешательство, тем более что окликнул его не кто иной, как сам… новый директор! Уместно вставить, что Гаян Баянович имел крайне ничтожный опыт общения с лицами подобного ранга. От растерянности бедняга совсем потерял дар речи.

— А… а, это… о… охота… охота была… — заикаясь, начал было он, безуспешно пытаясь объяснить начальству, что «охота была поработать одному в тишине, потому как в отделе много народу», но так ничего вразумительного не сумел сказать.

Однако директор, в силу своей должности привыкший выслушивать заикания оробевших подчинённых и понимать их с полуслова даже по нечленораздельному мычанию, поспешил на помощь вконец сконфузившемуся молодому специалисту.

— Как вы сказали — охота? Так вы охотник? Очень приятно, знаете ли. Я тоже, представьте, обожаю охоту. Хобби!

И Гаяну Баяновичу ничего не оставалось, как пожать протянутую для приветствия директорскую руку. Директорскую!

— Значит, охотник… Вот ведь как неожиданно… Я, признаться, новичок в ваших краях… А не возьмёте ли и меня с собой, когда соберётесь на охоту? Как?.. Вы вот что, заходите ко мне в кабинет в конце недели. Договорились? — Директор дружески похлопал Гаяна Баяновича по плечу, пожал руку и удалился.

— Н-н-на… охоту?.. — прошептал ему вслед вконец перепуганный младший сотрудник.

Стиснув в руках зелёную тетрадку, не понимая — радоваться ему или горевать, Гаян Баянович

побрёл в сторону своего многолюдного отдела в полной потерянности. Под ложечкой тоскливо ныло, перед глазами прыгали, подмигивая, малиновые зайчики. Он вспомнил свой недопитый чай с чудодейственной травкой — и обречённо вздохнул. Но тут послышался за спиной озорной перестук женских каблучков импортного производства. Гаян Баянович хотел было посторониться, как почувствовал: его рукав вкрадчиво и нежно обвила женская рука. О Аллах, кто бы мог подумать — то был локоток профсоюзной активистки! Вдохнув аромат тончайших духов «Ещё не вечер», молодой специалист ощутил крупную дрожь в коленках.

— Извините, Гаян Баянович, — лучезарно улыбнулась активистка, — можно я пойду рядом?

Помня полное профсоюзное безразличие к своей персоне, Гаян Баянович внутренне съёжился, и не решился поднять глаза на нечаянную спутницу, и продолжал идти, стыдливо опустив голову, ощущая всё разраставшуюся тоску в области желудка. Где уж там, он и думать не смел, чтобы освободить свой локоть от цепкой женской руки.

— Можно, — продолжала симпатичная из себя активистка, — я буду звать вас просто Гаяном? Ведь мы с вами здесь самые молодые сотрудники. А?

Первый раз в жизни Гаян Баянович взглянул ей в глаза. В них играли кокетливые огоньки, лицо сияло ласковой, чарующей улыбкой, на щеках цвёл нежный румянец… Надо же…

Она коснулась его плеча розовыми блестящими ноготками и проворковала:

— Ой, Гаян, чуть не забыла! Я же тебе путёвку хотела предложить. Есть одна путёвка в Карпаты. Хочешь?.. Представляешь: лето, солнце, горы и… лыжи! Экзотика!

Обескураженный коллега не нашёлся что ответить, только и успел втянуть голову в плечи, как обворожительная активистка — ах, срочное дело! — исчезла, оставив Гаяна в благоуханно-парфюмерном облачке… Молодой специалист потоптался малость, вдохнул ещё разок аромат под названием «Ещё не вечер», опасливо оглянулся по сторонам и двинулся восвояси.

— Ба, смотрите-ка, уж и не признаёт нас Гаян Баянович! — с какой-то подозрительной приятцей заулыбался ему навстречу один из чиновников, транспортирующий на себе из одного отдела в другой объёмистую груду папок.

До него ли было сейчас молодому специалисту!.. Пригладив усы и одёрнув рукава, сосредоточив внутреннее внимание на своих коленках, в которых ещё не унялась дрожь, стараясь не споткнуться, не обнаружить крайнюю растерянность духа, он приоткрыл дверь своего густонаселённого отдела, где, быть может, ещё не успел остыть его чай…

Но события вспять не повернёшь. Не успел Гаян Баянович перевести дух на своём рабочем месте, как заведующий отделом вызвал его к себе за перегородку.

— Гаян Баянович, — обратился он к молодому специалисту, — который день собираюсь побеседовать с вами, так сказать, с глазу на глаз… — И артистично так наклонил седеющую голову, широким жестом приглашая сесть. — Ближе, ближе, Гаян Баянович…

Молодой специалист, понятно, обомлел, прямо-таки растаял от такого непривычно ласкового обращения к нему начальства.

— Нда, время движется… движется, Гаян Баянович, — тихо и доверительно, точно посвящая собеседника в некую тайну, заговорил он. (По всему видно, издалека заходит, каналья!) — Время словно птица, не заметишь, как улетит… Нда… Как говаривал идеалист Мах, каждый хотел бы отсчитывать время по-своему! Ан нет! Ни Гегель, ни Кант, ни тот же Мах не могли изменить течения времени…

Завотделом был кандидатом каких-то наук, но явно не философских, а потому питал особое пристрастие к философскому осмыслению действительности. Любил при случае порассуждать о борьбе направлений, о теориях, категориях и прочих субстанциях, ввёртывая где надо и не надо фамилии и термины иностранного происхождения. Особенно въедался в идеализм, тут он мог барахтаться сколько угодно… Выражая беспомощность человека перед неумолимым течением времени, шеф покорно развёл пухлыми ручками и продолжал:

— Мы — материалисты, Гаян Баянович. Поэтому относительно категории времени вынуждены признать лишь одностороннее движение вперёд, как единственный для всех отсчёт этой субстанции. Мы не можем, так сказать, понимаете ли, сбежать или спрятаться от времени и пространства.

Молодой специалист почтительно слушал, опустив глаза, и деликатно-рассеянным взором водил по бумагам, обильно рассыпанным на широком столе. Глаза невольно натолкнулись на листок с текстом отнюдь не служебного характера, Гаян Баянович, конечно, понимал, что читать чужие записки нехорошо, но был не в силах побороть любопытство. Будто вскользь он прочитал: «Не вздумай опоздать! По пути домой забери ребёнка. Не забудь купить молока. Почисти картошку. Смотри, если хоть на полчаса опоздаешь!»

Понятно теперь, почему так тянет шефа к философскому осмыслению времени. Видать, потому упражняется на своих сотрудниках, что никак не удаётся мужику убедить свою жёнушку. Ха, милый, женщину умными речами не проведёшь, будь ты хоть трижды кандидат или доктор, философ ли, филолог ли…

— Впрочем, не подумайте, коллега, что я учу вас уму-разуму, — спохватился наконец зав. (будто прочитал тайные мысли своего подшефного), — я, собственно, хотел о другом, более для вас важном… Мда… Вы, Гаян Баянович, у нас ведь, так сказать, давно работаете? Кажется, года три-четыре уже?

— Восьмой год, — скромно поправил молодой специалист.

— Восьмой? Да, время летит, так сказать, понимаете ли. А мы стареем… Время — категория… — хотел было вновь пуститься в философские экскурсы доморощенный философ, но вовремя спохватился, запечатлев на лице крайнюю степень удивления и задумчивости.

— Восьмой… — нерешительно подтвердил терпеливый молодой сотрудник.

— Да, да, именно поэтому я вас и вызвал, так сказать, понимаете ли, — медленно выходя из задумчивости, отозвался шеф и сделал многозначительную паузу, весьма выразительно посмотрев на молодого человека, будто что-то подсчитывал в уме… — Я думаю, не пора ли вам повысить оклад. Ну, не намного, конечно! Для начала, скажем, рублей на пять-десять…

Всю ночь Гаяну Баяновичу не спалось. Казалось, и жизни не хватит, чтоб осмыслить значение вчерашних событий, возмутивших тихую, ровную гладь его бытия. Вопросы, вопросы, как рой мух, кружились над подушкой, не давая бедняге забыться. Он вспомнил ласковое воркование активисточки, её розовые ноготки на его сером рукаве и даже втянул ноздрями воздух, точно пытаясь уловить нежнейший аромат её духов — с какой стати она устремила свои проницательные глазки на его скромную персону, ведь до вчерашнего дня она не только не удостаивала его своим вниманием, а както вовсе обидно скользила рассеянным взглядом мимо, будто он не молодой сотрудник с красивыми усиками, а вроде как трухлявый пенёк или, к примеру, полинялый плащ на вешалке? Неужто так переменилась сообразительная активистка, что сам директор пожал ему руку? Вспомнилось и то, что во время разговора с директором дверь красного уголка вибрировала, будто крышка кипящей кастрюли. Подслушивали, подглядывали, черти, а ещё инженеры с высшим образованием — нехорошо, неэтично. Однако и понять можно дорогих коллег: они и представить не могли, чтоб скромнейший, тишайший Гаян Баянович тряс руку новому директору, эдак запросто, по-свойски перекидываясь с ним словами. Вот такие мысли колготились в голове младшего сотрудника, страдающего производственной бессонницей.

В ту особенную ночь вспомнил Гаян Баянович заодно и всю свою прошлую жизнь. Полусиротское деревенское детство. Кроме матери, никого: ни отца, ни брата, ни любимой бабушки. Обиды терпел, никому не мстил, никого не задевал. В школе был середнячком, сидел в среднем ряду, ходил в средних учениках, от других не отставал, но и не выделялся, девчонок за косицы не дёргал, с драчунами не связывался, кнопки на учительский стул не подкладывал, взрослым не перечил. Всегда чего-то не то чтобы боялся, но остерегался, был смирным. Словом, детские и отроческие годы ничего интересного в памяти не оставили.

Были, правда, и приятные моменты. Любил, например, в летний полдень в огороде поваляться. Лежишь себе на картофельной борозде, земля мягкая, приятно холодит спину. Лежишь, смотришь вверх и не то чтобы мечтаешь, а удивляешься: где-то в вышине птицы мелькают, парят, самолёт пролетит — далеко, как в потустороннем мире. А здесь, внизу, совсем иная жизнь: по земле, по стеблям ботвы, по листьям ползают, снуют тудасюда разные жуки, червяки, букашки. Один мельче другого. У них тоже своя судьба, своя суета, свои заботы: все куда-то бегут, стремятся, и ведь что удивительно, каждая букашка-козявка со своей целью. Ну не чудно ли?! Это сейчас на картофельных полях объявились какие-то особые, заморские жуки, жирные, нахальные, прожорливые. И откуда только взялись, перелетели из Америки, что ли… Подметил он тогда у местных жучков одну особенность: все они — и зелёные, и чёрные, и коричневые — все ползут в одном направлении — наверх. Ни одна из букашек не падает вниз по своей воле. Как подует ветер посильнее, так и сыплется мелюзга мелким градом. Упадут, побарахтаются на спине кверху ножками, кое-как изловчатся, перевернутся — и опять побежали наверх. Зачем, почему? Небось и не знают, что там, наверху, но лезут, карабкаются только в одном направлении.

Но то жучки, а у Гаяна Баяновича своё мировоззрение. К примеру, выскочки и в школе, и в институте у него не вызывали душевных симпатий, по правде говоря, совсем даже наоборот: он их терпеть не мог. На словах прямо-таки батыры, а как до дела — и соломинка тяжела. А всё неймётся, лезут и лезут, как те жучки. Такие же неприхотливые, настырные. В работе — карабкаются за должностью, в потреблениях — простите за выражение, за куском пожирнее, в учёбе-образовании — и тут лезут вперёд, торопятся растолкать, обогнать. Друзей выбирают по анкетным данным, попутчиков, чтоб друг другу подсоблять лезть повыше. До чего дошло — любовь, фата, свадьба, и так далее — тоже с целью побыстрее подняться. Ох и поднаторели человеки, ох, изловчились!..

…Что касается жуков, их наш герой не жалел. Напротив, часами собирал насекомых и горстями скармливал курам. Куры их жуть как любили. Сбегутся, бывало, обступят, башками тук-тук, как маятниками, кудахчут, ещё просят. А вот нынешних «заграничных» жуков не только цыплята, дятел непривередливый и тот склевать побрезгует. Нынешний жук — это, брат, тако-ой жук! Как говорится, и в воде не тонет, и в огне не горит. И зловредная химия ему нипочём! Ходят слухи, что жуки эти даже пасеки оккупировать начали. А на днях по телевизору африканскую саранчу показывали — тучи! И нет спасения от проклятой напасти!

Он и людей-жуков не уважал, обходил стороной. Старался жить тихо-мирно, ждал своего звёздного часа, питая робкую надежду, что однажды ранним утречком всё изменится. Эх, жалко, однако, что он не охотник!

Ведь не только в роду, во всей деревне не было у них даже самого никудышного охотника. А судьба вон куда повернула. Сегодня он для директора — только охотник, для сослуживцев — приятель директора. А ну как обман раскроется? Что тогда? От трагических картин публичного позора, которые нарисовало отзывчивое воображение, его аж потом прошибло. Отчаянные мысли бешено заклокотали в голове Гаяна Баяновича, подобно перекипевшей воде в стакане, из которого забыли вынуть кипятильник. Он с тоской вспомнил деревянный наган, из которого «стрелял» по насмерть перепуганным курам, бегая по двору сопливым

мальцом. Другого оружия он в жизни не держал в руках. Какое там ружьё, с ножом не мог управиться. Курицу для городского рынка и ту, бывало, мать несёт под соседский нож. А тут предстать перед директором бывалым охотником! От жалости к себе ему хотелось забиться в лопухи и заплакать, как маленькому… Однако от судьбы не спрячешься в лопухи, надо что-то предпринимать. Не упускать же фортуну, когда она сама, можно сказать, подмигнула парню?!

На следующий день он не явился в контору без полторы минуты девять, а в девять ноль-ноль позвонил из телефонной будки своему начальнику.

— Это я, Гаян Баянович,— не без душевного трепета сообщил он, изо всех сил стараясь придать голосу спокойствие и твёрдость.

— Да, да, слушаю вас, Гаян Баянович. Может, проблемы какие возникли? Может, помощь моя требуется? Слушаю вас внимательно.

Молодой специалист крайне удивился столь душевному расположению к нему начальства и даже несколько стушевался от необычности ситуации, но усилием воли подавил в себе неуместные чувства и решительно объявил:

— Я сегодня на работу не выйду.

— Вы что, заболели?— забеспокоились на другом конце провода.— Или… или, может, на меня обиделись?

Услышав в трубке виноватые вздохи патрона, молодой специалист приободрился.

— Нет,— ответил он,— неотложные дела, знаете ли. На совещание охотников пригласили. С докладом выступить. В президиум выбрали…

— Гаян Баянович, ну какой разговор! Разумеется, пожалуйста!— с готовностью отозвалась трубка.— Не беспокойтесь ни о чём! Только не вздумайте отказываться от такой чести!— продолжал убеждать растроганный голос патрона.— Сколько потребуется, столько и…

Но молодой специалист, входя в роль, не счёл нужным дослушивать бурные излияния своего начальства и звякнул трубкой о рычаг.

Изящным движением пригладив усики, Гаян Баянович уверенно направился, само собой, не в общество охотников, не на представительное совещание с президиумом и гранёным графином, а в центральную библиотеку.

Он шёл с приятным чувством удовлетворения и самоуважения, напевая (мысленно) модный мотивчик из репертуара одной звезды советской эстрады, по причине успешного разговора со своим глуповатым шефом.

Не-ет, извините, шептал ему внутренний голос, это не случайность, а результат его, Гаяна Баяновича, решительного действия. Хоть маленькая, но большая победа! Что позволяет сделать головокружительный вывод: продуманная смелость города берёт.

Молодой специалист с восьмигодичным стажем работы не выходил из библиотеки два дня. Забыл еду и отдых, даже о любимом чае не вспоминал. Зато проштудировал десятка два книг об охоте и охотниках, начиная со словарей и кончая классиками. Наиболее ценные сведения тщательно законспектировал. На третий день рано поутру, перед работой, он отправился в общество охотников.

На дверях общества висел замок, смахивающий на заячью морду. Но оказалось, что сия контора становится гостеприимной лишь с начала охотничьего сезона. Пришлось искать охотничий магазин, дабы всесторонне приобщиться к новому хобби.

На работу Гаян Баянович опоздал, то есть, пардон, задержался. У парадного входа он чуть было не стукнулся лбом об ту самую обаятельную профсоюзную активистку, которая выпархивала из конторы с целеустремлённым взором и модной сумкой наперевес.

— Ой, Гаян Баянович!— воскликнула молодая особа, изобразив на сияющем лице пик восторга. И тут же зарделась в кокетливом смущении, взволнованно вздымая грудь, обтянутую импортным трикотажем.— Гаян Баянович…

Молодой коллега сдержанно кивнул профсоюзной деятельнице, надменно шевельнув чёрненькими усиками, и решительно устремился к двери. Не тут-то было! Проворная активистка успела ловко преградить ему путь.

— Как мне не хватало вас…— томно протянула она, закатив подрисованные глазки.— А мне сказали, что вы на важном совещании… Правда?— понизив голос до шёпота, добавила она многозначительно, обдавая его парфюмерной волной.

Хотя подъезд, прямо скажем, был не совсем подходящим местом для нежных бесед, активисточка вовсе не собиралась закруглиться. Однако и Гаян Баянович не собирался задерживаться. Он широким, уверенным жестом распахнул массивные двери, как это умеют красиво делать большие начальники, привыкшие с каким-то очаровательным шиком подъезжать к парадным дверям на персональных «Волгах». Профактивистка осталась в одиночестве, и лишь когда дверная пружина, торжествующе скрипнув, вернула дверь в исходное положение, обиженно поджала перламутровые губки и отправилась по своим неотложным общественным делам.

— Вами интересовался сам директор,— встретил его зав.

Сердце молодого сотрудника заколотилось подобно зайцу в охотничьих силках. Во встревоженном сознании молниеносно мелькнуло: «Не рано ли интересовался?.. Рано!» Ведь директор ещё наверняка не запомнил ни его имени-отчества, ни должности.

— Я сказал, что вы на совещании охотников.

Гаян Баянович задержал взгляд на шефе, пытаясь угадать, чего сулит ему неожиданный директорский интерес. Однако на лице шефа не отражалось никаких предвестий беды.

— Чем ещё интересовался директор?— Вопрос, прямо скажем, прозвучал довольно нахально, но Гаян Баянович решил идти ва-банк. Назад дороги нет!

— Только вами интересовался, Гаян Баянович. «Да?»— спросил и повесил трубку,— доложил несколько растерянный шеф.

Молодой специалист удовлетворённо подвигал усиками и направился было к своему столу, но тут его снова подозвал учтивый голос шефа.

— Одну минуту, Гаян Баянович… Чуть не забыл… Мы тут… я тут рассмотрел на днях внутренние резервы и пришёл к выводу, что можем вам повысить оклад не на пять-десять рублей, а на всё двадцать. Наверху, надеюсь, против не будут?

— Наверху?—рассеянно переспросил молодой специалист, небезуспешно делая вид, что думает совершенно о другом…—Думаю, там против не будут.

О! Так может ответить лишь беспредельно уверенный в себе специалист. Заведующий сглотнул ссохшимся горлом и с робким изумлением посмотрел на преуспевающего молодого специалиста. Ему всё ещё не верилось, что перед ним тот самый младший чиновник, который вечно был у всех на побегушках.

— Конечно, конечно, Гаян Баянович,—преувеличенно бодрым тоном заверил зав.—Насчёт «наверху» это я так… Понимаю, понимаю… В общем, будем считать вопрос решённым… Мир, как говорили древние философы…—Тут в горле у шефа почему-то запершило, и речь его несколько утратила стройность, видимо, догадался, что философия любых эпох здесь ни к селу ни к городу. И вообще, вспомнив о том, что местные чиновники за глаза зовут его «философом», вкладывая в прозвище обидный смысл, он остановил себя, но всё же постарался без ущерба для достоинства выпутаться из философских дебрей и закончить начатую фразу (не останавливаться же на полпути!).—Мир—он словно бы категория и необходимости, и случайности…

Поняв, что сморозил какую-то глупость, философ-самоучка махнул рукой и впервые в жизни обругал любимую науку:

— Да ну её к чёрту, эту философию!.. Поздравляю вас, старший инженер Гаян Баянович!

Давно бы так! И кого только не оставляла в дураках треклятая учёность, диву можно даваться!

Старший инженер проследовал к своему рабочему месту. Небрежным жестом отодвинув стул, медленно опустился на мягкую стёганую подушечку и строгим глазом окинул стол. А стол, кстати, был уже новый, двухтумбовый, и стоял несколько особняком. Перелистнув две страницы перекидного календаря, старший инженер глубокомысленно вздохнул и… невольно потянулся к своим баночкам с заварками, но вовремя спохватился. Незаметно задвинул ящики стола: что можно простому инженеру, неприлично старшему. Однако сидеть сложа руки тоже не годится. Гаян Баянович достал ту зелёную тетрадку и стал не спеша перелистывать. Один директор, другой, третий… На девятой странице взгляд задержался. Эту страницу не мешало бы изучить подробнее. Старший инженер несколько раз повторил про себя фамилию, имя-отчество нового руководителя, чтобы при обращении, упаси бог, не спутать с предшественниками. И надолго задумался, подперев щеку кулаком. Ах, какие возвышенные мысли, какие дивные фантазии, какие дерзкие проекты могут рождаться в голове скромного на вид старшего инженера среднестатистической советской конторы. Чего-чего, а помечтать с размахом мы умеем! Однако через несколько минут видения стали расползаться, терять контуры и осязаемость, а фигура молодого старшего инженера как-то неестественно завяла, осела и даже, я бы сказал, скукожилась, точно скошенный недозрелый стручок.

Скошенный горох вновь не зацветёт. Но Гаян Баянович не какой-то там горох, он быстро пришёл в себя. Последняя картинка прощально вспыхнула в ужасающем воображении и растаяла—вернулась реальность. А реальность требовала действия. Гаян Баянович сладко потянулся, затем передёрнул плечами, как цыганка в экстазе, стряхнул с себя последние дивные видения, решительно достал из кармана маленькую расчёску, привёл в идеальный порядок и без того идеальные усики, пригладил причёску и вышел из отдела, забыв за собой закрыть дверь, чего доселе не наблюдалось.

— Хи-хи, и чего это сегодня с нашим усатиком-касатиком?—стрельнула глазками вслед одна из сослуживиц.—Марафет навёл и удалился…

— Видать, дело серьёзное, раз усики прилизал,—хмыкнула её соседка.

— Интересно, а как ему без усов?—задумчиво проговорила третья, занятая тем, что рассматривала в зеркале, установленном среди папок с отчётами, подробности на своём носике.

— А может, у него бородавка под усами,—высказала предположение одна из сослуживиц предпенсионного возраста и смачно зевнула, нежно похлопав ладошкой по губам.

— Да что вы привязались к его усам!.. Усы как усы…

— Моя сестра говорит, что настоящий мужчина в наше время без усов обходится. Ну, скажи на милость, к чему ему усы?

— Для красоты!

— То-то же. Вот сестра и говорит, усы отращивают только мужчины с комплексом неполноценности.

— А что, сестра твоя специалист по этой части?—зловредно хихикнула та, что с зеркальцем.

— Может, и специалист, тебе-то что?

— А Чапаева, Будённого куда денешь?

— Сравни-и-ила. Те были настоящие мужчины, герои, а нынешние недоноски хотят равняться на них.

— Ну ты тоже… скажешь…

— Ой, девочки, сколько там набежало? Пора чайник ставить!—послышался из дальнего угла тоскливый призыв—и комната вмиг пришла в озабоченное движение.

— А ты всё же приглядись, сестра зря не скажет…—продолжала шёпотом втолковывать своей соседке противница усов, проворно выставляя на стол чайные принадлежности.

Послеобеденное чаепитие отдела разворачивалось… В приёмной директора томились в ожидании трое посетителей. Четвёртый, с остекленевшим взглядом, маятником ходил около высокой, обитой новенькой матовой кожей двери с глянцевой табличкой «Директор». Скользнув безразличным взглядом по ожидающим, Гаян Баянович подошёл к интересной моложавой секретарше, губки которой алой вишенкой горели на круглом личике. Секретарша, женщина проницательная, встретила Гаяна Баяновича как

почтенного гостя, сияя улыбкой неподдельного счастья. Да здравствует беспроволочный телефон! Он всегда работает бесперебойно.

— Шеф занят… был. Важное дело. Но вас, думаю, примет. И всё же, минуточку…— пропела она нежнейшим голоском и походкой манекенщицы местного масштаба профланировала в направлении величественной двери.

— Я сам, не надо,— остановил её почётный гость.— Не беспокойтесь, я сам.

В очереди переглянулись. Грациозная секретарша от смущения сделалась ещё кокетливее. Она эффектно подняла бровки «домиком», повернулась перед молодым посетителем так и сяк, продемонстрировав при этом несомненную привлекательность своей фигуры, и любезно-уважительно разрешила.

— Хорошо, Гаян Баянович, проходите, пожалуйста.

Проникнув в кабинет через двойные двери, Гаян Баянович увидел своего директора. Директор сидел, развалясь, в кресле с расстёгнутым воротничком, приспущенным галстуком, закинув ногу на ногу, и с наслаждением тянул из маленькой чашечки, над которой вился лёгонький парок. Старший инженер тут же уловил терпкий запах кофе.

Увидев в дверях постороннего человека, директор от неожиданности поперхнулся и отодвинул в сторону недопитый кофе. Его вид слегка напоминал нашкодившего кота Ваську, большого любителя сметаны, застигнутого на подступах к хозяйскому добру. Директору было явно не по себе. Он торопливо подтянул галстук, выпрямился в кресле и смущённо спросил:

— Извините, вы… вы кто?

Видимо, подумал, что перед ним какой-нибудь представитель, раз секретарша без доклада пропустила его. Он даже привстал, ссутулившись, и указал вошедшему на кресло рядом.

Вошедший не ответил. Потому как не знал, что ответить. Ему казалось, директор должен не только узнать его, но и принять по-свойски, как давнего приятеля, иначе чем объяснить новый двухтумбовый стол, двадцатку к окладу и вообще уважительное к себе внимание окружающих.

Однако в глазах директора старший инженер не прочёл никакой симпатии к своей особе, в них отражалось одно сплошное недоумение с оттенком лёгкой неприязни.

— Извините… Может, что-то срочное? Я вас слушаю.

Тут, надо прямо сказать, и Гаян Баянович струхнул маленько. От недавнего задора не осталось и следа. Но и тянуть молчанку было рискованно: мелкий колотун уже подбирался к коленям, пальцы и вовсе заморозило. И тогда он решился:

— Я… я ведь тот… ну… охотник, помните?

Сказал и съёжился в кресле.

Директор на мгновение застыл, будто прислушиваясь к зудению мухи в паучьих сетях, потом лицо задвигалось, заходило, и он рассмеялся добродушным, облегчённым смехом.

— А-а-а, вот оно что, охотник… А я-то подумал… Ну и напугал… Думаю, кто же это! А оказывается, свой человек… охотник… Ну и напугал ты меня, братец, будто в медвежью берлогу столкнул. Ха-ха!

Настроение директора явно поднялось. Долго он ещё похохатывал да покрякивал, приговаривая, точно каждое слово щекотало его. Тут и Гаян Баянович начал оттаивать, и колотун куда-то исчез. Стало даже жарковато. И он, само собой, значительно осмелел.Теперь нужно было улучить благоприятный момент.

— Утиный сезон на носу,— деловито сообщил он.— Вот зашёл узнать, каковы ваши планы на этот счёт?

— Утки?.. Утки-и…— потянулся в кресле директор, с явным удовольствием настраиваясь на охотницкую волну.— Ох и люблю ходить на уток! Утречком, бывало, до солнышка сидишь в камышах, и сердце этак… дрожит от нетерпения! Эх, вот бы… Так ты говоришь, и озеро, и тальник, и островки с камышом?

— Не… Да… На Каму пойдём. Места знаю, во!..— поднял большой палец «бывалый охотник».

Места в Прикамье он и в самом деле знал неплохо — как-никак его родной край. Слышал и об озёрах с островками. Раз озеро, камыши, значит, и утки водятся. Жаль только, что среди его односельчан ни одного охотника не было. Зато в соседнем, прибрежном русском селе Урай сплошь охотники и рыбаки. Это он точно знает. У него там знакомый парень есть — одноклассник Семёнов. Если заранее предупредить, выручит, наверное. Сводит на охоту, достанет и ружьё, и лодку. Там, почитай, в каждом доме свой рыбак или охотник, а уж о собаках и говорить нечего. Так что без печали можно всё обстряпать.

— Да-а, неплохо бы. На Каме, говорят, красиво…— совсем размечтался директор.

Он был не прочь обстоятельнее поболтать на увлекательную тему, но Гаян Баянович, парень сообразительный, уже успел почувствовать, как любит повторять его шеф-философ, категорию времени и пространства и поэтому решительно поднялся. Хватит на сегодня! Кстати, тот же Семёнов частенько повторял: «Главное — вовремя смыться!» Тоже, видать, был… в смысле, философом.

— Моё дело предложить, товарищ директор, остальное за вами.

— Вы торопитесь?

— Время же рабочее. Я и так вас задержал.

— Люблю деловых людей,—уважительно посмотрел на него директор.

Инженер, преисполненный достоинства, проследовал к выходу, но тут его снова задержал директорский голос:

— Извини, друг, мы ж познакомиться-то забыли.

Познакомились… И деловой старший инженер отправился к себе в отдел. А спустя некоторое время в директорском кабинете состоялся серьёзный разговор между директором и заведующим отделом.

— Гаян Баянович у вас работает?

— Да, Гаян Баянович работает у нас.

— Давно?

— Восьмой год.

— Кем?

— Старшим инженером.
— Как справляется?
— Гаян Баянович? — заведующий сделал лицо задумчивым и почесал за ухом, но, встретив требовательный директорский взгляд, поспешил заверить: — Гаян Баянович хороший специалист.
— Так ли? — решил испытать его директор.
— Извиняюсь, Гаян Баянович очень хороший специалист.
— Я не понимаю вас, заведующий! — ледяным тоном произнёс директор. — Не понимаю! — Голос директора звучал всё более угрожающе. — Прекрасный специалист, опытный профессионал своего дела восьмой год сидит старшим инженером! — продолжал накаляться директорский темперамент. — Да вы… вы… сказал бы я вам… Вы зажимаете перспективную молодёжь, вялите её, солите! Отвечайте, заведующий! — гнев директора, по всей видимости, достиг взрывоопасной точки…
— Я извиняюсь, извиняюсь… — беспомощно лепетал заведующий, безуспешно пытаясь внести ясность. — Никак нет, не зажимаем… Мы ведь… они ведь… он старший инженер, товарищ директор… — барахтался «философ», разом растеряв все философские подпорки, которые не раз, бывало, помогали ему выбраться из затруднительных положений.

Но директор прямо-таки вошёл в директорский раж, не давая и полсловечка вставить до смерти перепуганному заву. Желая окончательно сокрушить жалкое красноречие столь бестолкового заведующего, кандидата каких-то наук, он хлопнул ладонью по столу так, что телефоны подпрыгнули, жалобно затрезвонив, и рявкнул:
— Хватит! Мне ясно всё! А теперь извольте выслушать меня, зав-ведующий!

Красный как рак заведующий больше рта не раскрывал. Он только слушал и согласно кивал головой…

На следующий день Гаяну Баяновичу предложили отдельный кабинет с креслом. На доске объявлений висел приказ о переводе его на должность заведующего отделом.

Первой поздравила его красивенькая и расторопная профсоюзная активисточка.
— Поздравляю! — заглядывая в глаза, томно произнесла она с французским акцентом, приоткрыв прехорошенькие губки-зубки.

Заведующий отделом склонил голову в знак благодарности, незаметно нюхнув душистого парфюмерного облачка, и, припомнив некоторые сцены из зарубежных капфильмов, галантно приложился губами к ручке профактивистки.
— О Гаян Баянович… — простонала она, охваченная нахлынувшим чувством. — Вы — настоящий мужчина, вы — орёл, Гаян Баянович!

Довольный произведённым эффектом, новоиспечённый завотделом сдержанно улыбнулся, погладил усы и придвинул активистке кресло. Но им не дали приятно побеседовать. Поток поздравлений не убывал. Не пустело кресло, предназначенное для посетителей.

Наконец очередь дошла до зава-философа.
— Рад, рад за вас, Гаян Баянович, поздравляю! — широко улыбаясь и протягивая обе руки, приветствовал он коллегу.
— Спасибо! — ответствовал бывший подчинённый, скромно потупив взор, однако не без тайного удовольствия. Он устало опустился в кресло, как человек уже обременённый славой и почетом.
— Обид на меня, надеюсь, не держите? — осведомился несколько обеспокоенный бывший патрон. — Кстати, это я предложил, а директор одобрил, — будто невзначай заметил он и простодушно улыбнулся.

Последним визитёром оказался директор.
— Ну как дела, дружище?

Директор, по всей видимости, ждал от приятеля-охотника слова благодарности, но Гаян Баянович то ли по причине взволнованности, то ли от недостатка воспитания забыл о приличиях начисто.
— Вчера письмо получил из деревни. Зовут, — тут же приступил он к знакомой теме. — В озёрах уток — видимо-невидимо… Лодка уже засмолена, ружьё смазано, собаки, как бешеные, так и рвутся, поводки грызут…
— Поедем, поедем… — рассеянно отозвался директор, а сам как будто о своём думает. И снова спросил: — Ну, какие новости в мире?

Только не понял его Гаян Баянович. Будто не при новой должности, не в отдельном кабинете сидит.
— Новости-то? На свете, само собой, не без новостей, всё течёт, всё изменяется, — философически заметил новый зав. Тут он вспомнил одну забавную книжечку, которая недавно попалась ему в руки, и поспешил сообщить: — Двести лет назад жили морские коровы.
— Морские коровы?
— Да, были такие морские коровы. В длину до восьми метров. Вес — до четырёх тонн. Представляете?.. Обитали в мелководье и питались исключительно травой.
— Так, так… Это интересно, — оживился директор. — И где же они, твои коровы? А может, на морских коров соберёмся в следующую субботу, а? Сколько, говоришь, весу в них, четыре тонны? Многовато, конечно… Не донесём. Да и куда мясо денем… Вот задачка-то.

Директор определённо веселился. Эх, чёрт возьми, могут же иные начальники так легко и беспечно веселиться, ни о чём таком не думать, не опасаться. Да, так раскованно вести себя могут только преуспевающие начальники.
— Видите ли, товарищ директор, их мясо оказалось слишком вкусным, поэтому наши дикие предки съели их все до одной, — серьёзно объяснил причину друг-охотник, по которой они не могут немедленно отправиться на промысел. (Что поделаешь, если с юмором у парня плоховато.)
— Какая жалость… Но мы с вами не будем такими варварами, пару-другую уток оставим потомкам на расплод, а, Гаян Баянович?

Наконец и заведующий улыбнулся. Весёлое расположение директорского духа и ему развязало язык. Что же, и он не лыком шит! И так увлёкся собственным красноречием, что себя не слышал.

— А вы знаете, русский писатель Куприн был заядлым охотником,— сообщил он ошеломляющую новость и, похоже, сам удивился.
— Да?— поднял брови директор.— Куприн? А-а, читал, читал такого. Особенно любил про эту… как её — лесную красотку… Олесей, кажется, звали… Помните?
— Как не помнить… у него много было охотничьих собак, не только Олеся… Идёт, к примеру, на тетеревиную охоту, а сам спрячется за дерево и наблюдает. Надо же, на охоту без ружья ходил… Странный народ эти писатели!
— С Олесей, что ли, ходил?— поинтересовался директор.
— Не, с другой. Про Олесю я ещё не прочитал. Между прочим, такие знаменитые писатели, как Толстой, Тургенев, Некрасов, Бунин, Пришвин, были большими специалистами по собакам.
— Вот как? Интересно. С тобой не соскучишься, дружок. Ты, я вижу, очень эрудированный… охотник.
— А вот наш Тукай,— виновато снизил голос «охотник»,— почему-то не интересовался охотничьими собаками. Лишь своего Акбая и знал. Видать, и в лес к Шурале с Акбаем ходил, один боялся.

На сей раз директор не нашёлся что сказать, только принуждённо улыбнулся. Но директоров приятель вовсе этого не заметил. Кипя охотничьей эрудицией, как пивной пеной, он неожиданно переметнулся на другого зверя.
— Вот вы думаете, сколько заяц живёт?— спросил он задиристо.

Директор опасливо посмотрел на Баяновича, и сомнение мелькнуло в директорской голове. Но он тут же отмёл нехорошие мысли о психическом расстройстве своего приятеля — должно быть, слишком увлёкся парень своим хобби.
— Ну, ну, сколько?— подзуживал «охотник», чувствуя себя на высоте положения.
— Кхе-кхе… Заяц… А вот пока не попадётся нам на мушку, столько и проживёт твой заяц,— засмеялся находчивый директор.
— Заяц живёт всего четыре года,— наставительно сообщил приятель и вздохнул, будто сожалея о кратковременности заячьей жизни. Интересная их беседа продолжалась и продолжалась, пока запасы познаний охотоведа, набранные в центральной библиотеке, не истощились…

К сожалению, им так и не удалось посидеть в камышах на утренней зорьке. В самом начале утиного сезона в контору назначили нового директора. А прежнего — то ли повысили, то ли понизили, а только исчез он, словно испарился. И опять завфилософ и активная профактивистка при встрече с Гаяном Баяновичем посмотрели на него как на пустую вешалку. Как обычно, Гаян Баянович прошёл в красный уголок с зеленой тетрадкой в руках. Присев с краю, он открыл десятую страницу.
— Товарищи!..— начал представитель.

Зал, привыкший понимать представителей с полуслова, как всегда, взорвался аплодисментами. Новый директор, степенно приподнявшись, заверил:
— Постараюсь оправдать ваше доверие, товарищи…

Гаяну Баяновичу недосуг было хлопать в ладоши: он спешил сделать необходимые записи. Не упустить ни один факт, ни одно сообщение не оставить без внимания. И так увлёкся заполнением очередной страницы, что не заметил, как остался в красном уголке один. Увидев перед собой очередного директора, интересовавшегося причиной задержки молодого специалиста, Гаян Баянович нимало не удивился и без обиняков спросил:
— Вы что, тоже охотник?

Представляете, как растерялся солидный, с благородной сединой директор от неожиданно странного вопроса незнакомого члена коллектива вверенной ему конторы.
— А вы… вы разве охотник?
— Я-то… Да как вам сказать?.. В некотором смысле…

В самом деле, что ответить? Скажешь, что «охотник», а вдруг новому директору с благородной сединой это вовсе не понравится? Поэтому пришлось акать, вякать, нащупывать тропочку.
— В наших краях природа, сами знаете… Я с Камы, товарищ директор. Природа, она ведь, сами догадываетесь, завораживает, облагораживает… В общем, вы понимаете меня…

Благородное лицо нового директора несколько оживилось, даже, я бы сказал, вдохновилось маленько.
— Вы это хорошо сказали: «облагораживает»… И «завораживает» тоже… Действительно, природа — это особый мир, где столько ещё таинственного, неизведанного. Одни, насекомые чего стоят, жучки, бабочки…

При слове «насекомые» Гаян Баянович насторожился: мурашки аж муравьями побежали по телу. И почему новый директор вдруг заговорил о жучках-бабочках? Может, знает его деревенское прозвище? И насмехается, хочет унизить? Но ведь Гаян Баянович повода для насмешек не давал. И непозволительно директору с его благородной сединой беспричинно издеваться над своим подчинённым. А может… И тут неправедно обиженного Гаяна Баяновича посетила одна крохотная мыслишка, от которой в груди началось сильное сердцебиение: погоди, жучки… бабочки… Когда он штудировал в Центральной охотничью литературу, ему попадались на глаза эти самые жучки да бабочки… Так-так-так… Вспомнились и строчки про чудаков, которые собирают всю эту дрянь, изучают, классифицируют и всё такое прочее, словом, посвящают бездельному занятию всю свою жизнь. Он ещё посмеялся тогда над существованием такого вида человеческой глупости, как собирание жуков. В общем, директору не пришлось долго ждать ответа.
— Я вроде и не охотник, а… как бы вам сказать… Интересуюсь, скорее, насекомыми… Ну, всякими там жу… жу… жуками там…
— Чем, чем?— переспросил изумлённый директор.— Ну, повторите, повторите, пожалуйста, ну!— упрашивал он, ласково улыбаясь.
— Жуками,— задумчиво проговорил Гаян Баянович всё же с некоторой неуверенностью. Но нужно

было решаться.—Жуков собираю, да,—закончил он с непоколебимой убеждённостью.

— Вы? Вы!—взволновался седовласый представительный директор, прямо на глазах теряя представительность.—Это—замечательно! Вы—один из редких людей, кто решается посвящать свою жизнь жукам. Вот ведь какая встреча, какое неожиданное приятное знакомство!—продолжал восторгаться директор, в нетерпении потирая холёные руки.

Завотделом, желая доставить новому директору ещё больше удовольствия, обрадованно и решительно подтвердил:

— С детства собираю. Жуки—моя страсть!

— Я думаю, вы не откажетесь показать мне свою коллекцию? Ведь нас оч-чень мало. Нам надо общаться, обмениваться опытом, информацией,—произнёс директор прочувствованные слова и с большим удовлетворением пожал коллеге руку.

Дверь красного уголка была неспокойной: то приоткрывалась, то хлопала, то жарко вздыхала, то мяукала, точно котёнок. Видимо, петли давно не смазывали…

— Договорились,—отвечал Гаян Баянович, долго не выпуская директорскую руку.—Договорились, но только с условием: сначала осмотрим вашу коллекцию.

Директор, откинув крупную голову, рассмеялся.

— Ну вы, я вижу, настоящий профессионал. Надо подумать, надо подумать… Надеюсь, не забудете дорогу в мой кабинет, милости просим!

Он ещё разок потряс руку новому знакомому и вышел. А завотделом, почувствовав слабость в коленках, снова присел на краешек стула. Но долго рассиживать ему не пришлось. Случайно, конечно, в красный уголок заглянул сначала зав-философ, а минуту спустя очаровательная профсоюзная активистка. И конечно, сердечно обрадовались, неожиданно застав здесь Гаяна Баяновича. Окружили, обласкали добрым словом, проводили до самого кабинета.

— Жуки, жуки…—не весьма учтиво обойдясь со своими спутниками, всю дорогу шептал Гаян Баянович заветные слова.

Не исключено, что оба провожающих приняли эти подозрительные эпитеты на свой счёт, но виду не подали, только все жужжали над ухом: «Гаян Баянович» да «Гаян Баянович»—вроде как успокаивали.

— Жуки, жуки…—повторял, как заведённый, на разный лад одно лишь слово Гаян Баянович и всё прислушивался, прислушивался к чему-то…

На следующий день на работу он не вышел, а с раннего утра отправился за шоссе в пригородный лес. В походной экипировке, за плечами рюкзак. А в рюкзаке спичечные коробки и пузырьки разных калибров.

Бодро шагая по просёлочной дороге, он вспоминал детство. Вот так же рано поутру, когда роса ещё не просохла, а от земли и трав, напитанных влагой, исходит свежая, пахучая прохлада, шли они весёлой мальчишеской ватагой в лес за земляникой. Штанины закатаны по самые колени, ботинки на палке за спиной небольно колотят по лопаткам, голые ноги бесстрашно ступают по мягкой, сочной траве, оставляя позади ярко-зелёные полосы, в лёгком теле предвкушение счастья… Ух, сколько её там было—целые красные поляны! Сначала пригоршнями набивали рты, давясь, душистой ягодной мягкостью, и мычали от наслаждения, а насытившись, собирали в ведёрки и корзинки. За земляникой поспевала клубника, потом ежевика, смородина, черника. Спустя недели две наливалась терпким соком черёмуха. И всё лето мать сушит, варит, протирает, вознося хвалу всевышнему… Затем наступает очередь орехов. Надеваешь тогда фартук, берёшь мешок, палку и—в лес. С раннего утра, конечно… А уж с первыми холодами запылает гроздьями рябина, потом и калина. И так все месяцы до поздней осени в лесу, на лугах, на речке. Природа угощала, утешала, обласкивала, никогда не обманывала, не отвергала—только одаривала. Но кончилось детство, высохли росы, заросли тропинки, разбрелась мальчишеская ватага кто куда, многие завели себе собственную «природу» на дачах, на приусадебных участках. До лесных ли полян теперь!

Думать не думал Гаян Баянович, что когда-нибудь снова наденет рюкзак, возьмёт палку в руки и ранним утречком, когда косые лучи ещё не выпарили с листвы обильные росы, отправится в лес. Не мальчишка ведь босоногий, а инженер с высшим образованием, заведующий отделом солидной конторы, бодрым шагом с завёрнутыми штанинами вышел на лесной промысел. Не за даровыми щедротами, ягодами да орехами,—совсем за другим. Цель куда более серьёзная—да, жуки! Эх, куда только, в какие дали, на какие предприятия и даже подвиги не толкает нынешних джигитов поставленная высокая цель! Шуршали за спиной спичечные коробки, тонко позванивали флакончики и пузырёчки…

Богата и щедра наша природа. Несть числа в её лесах, густых чащах, на полянах, озерках мелкой разнообразной твари: и ползающих, и прыгающих, и летающих, и плавающих. И пищат, и свистят, и скребутся, то мелкой горошиной катятся, то прячутся под листочки, под камешки… А уж цвета—радуга небесная! И ведь что замечательно: повадки у всех разные, так сказать, разнохарактерные особи. Но есть и общее для всех. Всякая букашка, какая бы ни была, маленькая или побольше, беловатенькая или чёрненькая в крапинку, серенькая или рыженькая, ползающая или плавающая, с крыльями или без—все карабкаются. Прямо-таки завидное единство в членистоногом племени! И удивительно порой: ну к чему, скажем, такому, что с крыльями, карабкаться? Он на своём пропеллере ой куда долетит, так нет ведь, карабкается, стервец, ползёт, лезет, да не куда-нибудь, а всё наверх, наверх, как будто там, наверху, самая что ни на есть распрекрасная жизнь. А уж какая распрекрасная, когда всюду опасность подстерегает малявку: и ветер сдует, и птичка склюёт, и зверь какой смахнёт на бегу, так нет же—наверх и наверх! Иные так увлеклись карабканьем, что крылья у них от долгого бездействия совсем повысыхали, превратились в некое подобие шелухи, уж деток

рожают без крылышек, а пристрастия своего не оставляют. И что за сила такая толкает упрямцев добровольно отказываться от полёта? Ведь во все времена крылья были мечтой всего живого на земле, в том числе и человека. А нынче крылья, над которыми природа, можно сказать, трудилась веками, остались без надобности, ссохлись в жалкую шелуху. Это надо же, до какой степени однообразия может довести существование карабканьем!

Лёжа на большой цветущей поляне, он наблюдал за насекомыми. Где красиво, просторно, тепло и сытно, туда и метит многочисленная жучья рать — он давно заметил свойство этого племени. Вот они — ползают, ковыряются, ни один не пребывает без движения. На цветок ли карабкается жук, на листок ли или на какой стебелёк — он не знает устали, лезет и лезет, не считаясь ни с чем. Если на пути попадается кто поменьше да послабее, сталкивает того вниз или перелезает через него, а встретится кто покрупнее, осторожно обойдёт его, эдак бочком, бочком, и опять лупит наверх. А если упадёт ненароком, не теряется, поболтает в воздухе ножками, поднатужится, изловчится — и опять поспешает туда же. Иногда и трудновато приходится бедняге: брюхо ли толстое, руки-ноги коротки или силёнки иссякли, пока бултыхался на спинке, — пожалеешь, подденешь соломинкой да опрокинешь на ноги, не то чтобы спасибо сказать, так он даже не обернётся, сломя голову несётся навёрстывать упущенное. Ему надо взять своё: забраться на самую верхушку цветка, в самую сердцевину венца, откуда исходит сладкий запах нектара. И ведь все едины в своих желаниях, ни один не стремится вниз, где вроде бы надёжнее, нет — все наверх!

Интересно, однако, что же будет делать жук, достигший наконец желанной высоты? А вот что: покорённая высота очень скоро перестаёт удовлетворять его, он начинает кружиться, суетиться, вынюхивать, высматривать, нет ли поблизости объекта повыше, поближе к солнышку. А уж если присмотрел себе новую цель, то, будьте уверены, не успокоится. Снова начинает ползти, карабкаться, штурмовать очередную вершину, и ни дождь, ни град, ни ветер не остановят его. Он всегда целеустремлён, всегда в пути — наверх! Правда, настораживает одно обстоятельство: карабкаться вверх долго и утомительно, а шлёпнуться, сорвавшись вниз, пара пустяков. Но и тут есть своё «но». Ну упадёт, ну тюкнется о землю настырный жук, но ведь не разобьётся, голову себе не проломит, даже не пискнет — костей-то у него нет, да и падать он научился — искусно, без ушибов и шишек за свой короткий и напряжённый век. Живучие, черти!

Спичечные коробки и пузырёчки быстро наполнялись неугомонными членистоногими. Была бы охота, а собрать дело немудрёное. Их тут столько, если присмотреться, глаза разбегаются. Например, Гаяну Баяновичу попадались и такие экземпляры, которых он вообще раньше не видел. Лишь поспевай собирать!

А утром следующего дня он прямиком направился к директору. Уважительная секретарша сама открыла ему дверь в директорский кабинет. Завфилософ и душистая профактивистка, дожидающиеся очереди в приёмной, встали, провожая его округлившимися глазами. Их удивил не столько визит Гаяна Баяновича, сколько его рюкзак.

Директор в задумчивости рассматривал маленькую бабочку, тщетно бьющуюся об оконное стекло. Он сразу не узнал Гаяна Баяновича, вторгшегося в его пределы с увесистым рюкзаком. Должно быть, позабыл о знакомстве в красном уголке.

— Что это? Как понимать? Кто вы?

— Жук, — спокойно отрекомендовался посетитель.

— Жук? — недоуменно переспросил директор, тупо переводя взгляд с рюкзака на человека с щегольскими усиками и обратно, чувствуя себя в некотором смысле идиотом.

— Да, жук, — так же серьёзно и внушительно повторил вошедший, не отводя взгляда.

И только тут директора осенило — он вспомнил того малого… да, да, в красном уголке, и просиял лицом, точно солнышко.

— Ах, жу-ук… Я малость того… запамятовал, в делах закружился, знаете ли… Сначала подумал, уж не представитель ли какой со стороны… Ну раз жук, милости просим, садитесь… вот сюда, поближе.

Завотделом сначала развязал свой рюкзак, а затем сел на предложенное место.

— Мои жуки, — молвил он с большим достоинством, доставая одну за другой заветные коробочки. Потом стал выкладывать пузырьки, в которых копошились, карабкались по стенкам всевозможных размеров и окрасок насекомые. — Не вытерпел, решил вам показать некоторых из моей коллекции.

— Они что, живые? — изумился директор, приподняв очки. — Впервые вижу коллекцию живых жуков. Ни о чём подобном не слышал, не читал. Вы… вы…

— Чему тут удивляться, — усмехнулся довольный «коллекционер», поглаживая молодецкие усы.

— Как вам удаётся содержать их живыми? Это же… это просто феноменальное явление. Даже, я бы сказал, уникальное.

— А вы что, мёртвых жуков собираете?

Несмотря на свой солидный жизненный опыт и компетентность в области членистоногих, директор на сей раз замешкался с ответом.

— Ну как это… мёртвых… Не совсем мёртвых…

— Значит, вы их сами убиваете? — возвысил голос строгий «коллекционер». — Выходит, вы не собиратель насекомых, а их… палач?

Директор с ужасом догадался, что перед ним не просто любитель-коллекционер, а истинный фанатик, душой и телом преданный жучьему племени. Кажется, дело принимало взрывоопасный оборот. Он смущённо посмотрел на сурового заступника членистоногих, и краска стыда залила его благородное лицо до самых ушей.

— Я… я не убиваю… Они сами… умирают… — сказал он убитым голосом и виновато заморгал глазками. — Извините, но я действительно ни о чём подобном раньше не слышал. Но может быть… если не секрет, вы и меня научите… Я смею

надеяться?—добавил он смиренно, устремив на «коллекционера» вопрошающий взгляд, явно заискивая…

— Посмотрим,—нахмурив брови, обронил Гаян Баянович.—Не могу сразу обещать, надо подумать.

— Я подожду, сколько нужно подожду,—обрадовался директор и незаметно перевёл дух.

Лицо Гаяна Баяновича несколько смягчилось. Он удовлетворённо пощипал свои усики, расслабился в кресле, приготовившись к длительной дружеской беседе. Да начхал он на этих мерзких букашек, живых и мёртвых! Главное—завязать узелок с директором. И он, кажется, сумел, завязал. Значит, и дело с концом. К чёрту жуков! По дороге домой он с величайшим удовольствием (и омерзением) вытряхнет всю эту шебуршащую нечисть в первую мусорную урну. А пока они сидят с директором друг против друга, в вольных позах, закинув ногу на ногу, и ведут непринуждённую беседу на увлекательную тему о жуках (пропади они пропадом!). А философ-самоучка и красивенькая профсоюзная активистка пусть сидят себе в приёмной и с сердцебиением ждут своей очереди. Пусть ждут, зарплата ведь идёт… Краем уха Гаян Баянович прислушивался к благородному баритону директора, который, не отрывая восхищённых глаз от пузырьков, что-то говорит и говорит… Кажется, называет насекомых какими-то одному ему известными именами… Назовёт жука и вскинет на Гаяна Баяновича вопросительный взгляд—мол, правильно ли я назвал, подтвердите, коллега. И Гаян Баянович утвердительно кивает. А потом уважительная секретарша-манекенщица на изящных современных ножках принесла им кофе.

Шли дни, недели, месяцы. Но директор почему-то не спешил показывать свою коллекцию. Уж очень удивила его, прямо ошеломила живая коллекция заведующего отделом. Подумать только, его, старого коллекционера, посвятившего жукам всю свою жизнь, обошёл, обскакал совсем ещё молодой коллега. Как тут не горевать, как не завидовать? Руки прямо опускаются…

Не знаю, как пережил воспитанный директор нанесённый самолюбию удар, но только вскоре после знаменательной беседы перевели Гаяна Баяновича в новый кабинет, на двери которого, обшитой красной кожей, сияла табличка «Главный инженер». Директор и главный инженер работали рука об руку. Но о жуках разговора между ними больше не возникало. Директор не рисковал затрагивать опасную тему, а ещё пуще боялся этой темы главный инженер.

«Всё пройдёт,—успокаивал себя директор,—затянется и эта рана… А зла и зависти к нему я в сердце не держу…» Однако рана в благородном сердце директора долго не затягивалась. Чувство ущемлённости, униженности, попранного достоинства, следовательно, собственной неполноценности так и грызло уязвлённую директорскую гордыню. Да так въедливо—точно жук. А уж если жук начнёт точить… Нет, не выдержал, сломался директор. И года не просидел в конторском кресле, подобрал на своё место подходящую кандидатуру и, элегантно простившись, ушёл на пенсию по состоянию здоровья.

На сей раз нового директора в контору не привезли. Обладатель тоненькой зелёной тетрадки, сидя за столом президиума, сам дожидался представителя. Шустрая профсоюзная активисточка уже обходила отделы и кабинеты, созывая народ… Ещё до начала собрания одиннадцатая страница была заполнена данными нового директора. А двенадцатая? Ведь у зелёной тетрадки есть и двенадцатая страница? Куда её деть? Пустой оставить?.. Владелец тетради, без пяти минут директор, оглянулся по сторонам и незаметно оторвал двенадцатую, пустую страницу. Оторвал—и, скомкав, незаметно бросил в корзину.

— И в нашу организацию пришла перестройка, товарищи! Время требует от нас…—начал он уже в качестве директора.

А в заднем ряду сидел скромный молодой человек и что-то торопливо записывал в тощенькую, о двенадцати листах, зелёную тетрадку…

Свои люди

По мере приближения к Казани колёса поезда застучали звонче и решительнее. Да и сердце… радостней и энергичнее забилось в груди. Берёзы и рябины, растущие по берегу Волги вдоль дороги, на тёплом ветерке машут зелёными платками. Телеграфные столбы несутся навстречу, спеша обогнать один другого, глаз не успевает за ними, мелькают лишь их тени. Возвращение на родину, в город, сохранивший память о твоей молодости, о счастливых днях твоей жизни, после долгой вынужденной разлуки, когда, скучая по нему, считал дни и месяцы… Из-за этой тоски не спишь по ночам… Это волнение может понять лишь тот, кто сам пережил подобное.

Он даже не заметил, как очутился у окна. Глаза устремились на дорогу, а на душе—грусть. Грусть и нетерпение. Прошло уже четыре года, как он оставил Казань. Думал: временно. Вышло—целых четыре года. Кому-то может показаться: невелика беда. А Галимджанов тяжело пережил это время. Он думал: брошу всё—забуду, уеду. Ан нет. Не так-то легко забыть родные места, где рос, трудился. Как забыть родных, друзей, знакомых…

В купе их было двое. Сосед, одних с ним лет, в Казань ехал впервые. Поэтому, надо полагать, у них не сложился разговор. Хотя обедали и чаёвничали вместе. Сосед всю дорогу сидел, уткнувшись в газету. А Галимджанов был занят своими мыслями: копался в прошлом. Когда одолевала печаль, смотрел в окно. Когда они проехали мост через Волгу и въехали на окраину, сосед вдруг разговорился:

— Вы впервые едете в Казань?—спросил он.

— Нет,—ответил Галимджанов.—Я из этих мест.

— Не похоже.

— Почему? Да если я даже спрячусь в печи, то всё равно по спине узнают, что я татарин,

— Татары рассеялись по всей стране, по всему миру… Немало татар, которые ни разу не видели Казани. Как-то не похоже, что вы рвётесь домой. Люди не возвращаются в родные края с такими тяжёлыми думами.

— А вы сами русский, так ведь?—счёл нужным спросить Галимджанов, хотя сомневался в этом.
— Нет, ошибаетесь. Я—татарин. Аблаев Ильдар Рустамович,—протянул он руку.—Давайте знакомиться. Лучше позже, чем никогда.
— Я—Галимджанов,—произнёс, перейдя на татарский. Но имя не назвал.—Могли бы всю дорогу проговорить на родном языке.

Аблаев некоторое время смущённо смотрел на него, затем как бы виновато, но спокойно сообщил:
— Жаль, но я не говорю по-татарски. Вернее, в детстве говорил, но забыл… Я родился далеко на востоке. Женился на русской девушке. Язык забывается без практики.
— Это так,—вздохнул собеседник.—А какие пути ведут в Казань, родственников навестить?
— Если скажу, что в Казани у меня никого нет, это не будет ложью. Родители мои из Пензы. Однако и там я не был. Конечно, хочется побывать, но нет времени.
— А в Казань нашли время?
— В Казань меня направили на работу.

Галимджанов не стал продолжать расспросы и опять уставился в окно. А Аблаев желал продолжить беседу. Он, хоть и видел безразличие соседа, добавил:
— Вот пока еду один. Если город понравится, устроюсь, перевезу семью. Жить отдельно нехорошо. Жизнь-то одна…
— Значит, что-то всё-таки тянет вас в Казань. Говорят же: родная кровь даёт себя знать. Очень хорошо, что вы собираетесь здесь свить гнездо,—поспешил одобрить Галимджанов.
— Возможно, возможно…—промямлил Аблаев. Казалось, ему всё равно—Казань, Самара или Екатеринбург. Везде одинаково—одна страна, обычаи одни и те же, одинаковые люди. Однако он промолчал, не хотелось обижать соседа.
— Казань—красивый город. Ничто с ним не сравнится,—гордо произнёс Галимджанов.—Вон, видите, наш Кремль, берега реки Казанки, а справа разлилась Волга. Такой красоты нет, наверное, ни в каком другом городе мира… Вы хоть одним глазком взгляните в окно.

Аблаев нехотя пододвинулся к окну.
— Не туда, а смотрите вперёд, на наш Кремль. На башню Сююмбикэ,—вынужден был ткнуть пальцем Галимджанов.
— Красиво,—нехотя согласился Аблаев.—Вроде похож на московский Кремль.

Однако было видно, что он не в восторге. Заметив это, Галимджанов умолк. Он даже погрустнел от такого безразличия.

В купе на некоторое время установилась тишина. Но вскоре Аблаев нарушил её.
— Вижу, что вы очень любите свой город. Даже гордитесь им. Так ведь?
— Верно подметили.
— Тогда можно задать вопрос?
— Пожалуйста.
— Почему же вы, так любя, покинули этот город? Говорите, что четыре года не были…

Галимджанов вздрогнул и резко повернулся. Он молчал некоторое время, не зная, что ответить. Чтобы спокойно, обстоятельно объяснить причину своего отъезда, совсем не оставалось времени.
— Не нашёл общего языка с руководством. Вот и вынужден был бросить любимую работу, друзей, родные места и уехать,—выдавил он.
— Не кажется ли вам, что это напоминает пословицу: рассердившись на блоху, сжёг шубу?
— Выходит так. Но,—он тщательно подбирал слова,—бывает порой, если блохи вопьются, шуба может сгореть, а они останутся. Оказывается, около крупной блохи быстро собирается мелочь… Со мной случилось подобное…
— Что это за музыка? Почему её завели?—удивился Аблаев.

Уже по одному этому вопросу было ясно, что он впервые едет в Казань. Галимджанов улыбнулся.
— Это марш Сайдаша. Марш Советской Армии. В Казани торжественно встречают уважаемых гостей этим маршем. И провожают.
— Хорошая музыка. Говорите, Сайдаш?.. А кто он?
— Композитор. Великий татарский композитор.
— Сайдаш… Сайдаш…—повторял Аблаев. Хотел, видимо, запомнить.—Я не слышал о нём.

Взглянув в окно, увидев встречающих, Галимджанов онемел.

Он готов был выскочить в окно. Его удерживало только что рядом Аблаев. Он не верил своим глазам. У вагона с букетами цветов собрались его старые друзья, коллеги. А он думал: забыли, забросили. Как они узнали о его приезде?
— Вас встречают?—спросил Аблаев.
— Да, из прежнего коллектива. Мои бывшие замы, начальники цехов, заведующие отделами—все свои люди,—выдохнул Галимджанов. Комок подступил к горлу, глаза наполнились слезами. С трудом удерживался, чтоб не заплакать.
— Не волнуйтесь так, успокойтесь. Успокойтесь,—утешал Аблаев, положив руку на его плечо.—Вы не ожидали?.. Друзья, свои люди не забывают.
— Я ведь не сообщил… Никто ни разу даже не позвонил, не справился обо мне. А они вот все с цветами, радостные. Можно подумать, что я всё ещё директор. Удивительно.
— Не удивляйтесь, не исчезли с лица земли хорошие люди.
— Выходит, так… Вы правы, правы, господин Аблаев. А я уже было потерял надежду. У меня сердце окаменело от людской неблагодарности и их короткой памяти…
— Нельзя таить обиду, терять надежду,—и Аблаев тоже приблизился к окну.—И вправду, с какими хорошими людьми вы работали… Какие душевные, ясные лица, все так и сияют.
— Смотри-ка. Даниялов пришёл…—удивлённо покачал головой Галимджанов.—Кого-кого, а его не ожидал увидеть.
— Почему?
— Когда я уходил с работы, он, желая угодить начальству, облил меня грязью. А был-то пьяница, а я его начальником цеха назначил.
— Значит, осознал свою ошибку. Совесть в нём заговорила. Бывают такие люди, в жизни всякое бывает. Не удивляйтесь,—сказал Аблаев.

И поинтересовался, который из них Даниялов.

— Да-а… Слишком умильно улыбается. Говорят же: подлости жди от подхалима. А вот тот, крупный такой, улыбается во весь рот, кто это?
— Этот? Это Сабир Мансурович. Был моим первым замом. Дружно мы с ним работали. Хоть он и был судим, я вошёл в положение, взял на работу. И не пожалел. Было взаимопонимание. И всё же…— не закончил фразу Галимджанов…

Сосед не стал расспрашивать, затянул галстук, стал тщательно расчёсывать несколько волосинок около лысины.

— Оказывается, и Низам с Хуснетдином здесь,— прошептал Галимджанов. Эти парни незаменимы во время застолий. Годы взяли своё, они округлились. Что сказать, то ли не выспались, то ли голова болела от вчерашних излишеств — лица были кислые. Они беспрестанно облизывали губы. Уж не диабет ли у них?

Наконец, готовые к выходу, они широко открыли дверь купе. Но узкий коридор был запружён пассажирами. У каждого в руках, на плече сумки. Люди спешили скорее выйти на улицу, добраться до дома.

Не желая толкаться, они сели на свои места.

— В хорошем коллективе вы работали,— повторил Аблаев, не желая сидеть молча. Когда работаешь руководителем, то много встречающих, провожающих. А стоит уйти — и тут же забудут… А такая встреча после четырёх лет — это редкое явление.
— Я и сам не ожидал,— промолвил Галимджанов. Он уже подбирал слова, которые скажет каждому в отдельности, когда будет здороваться. Тёплые, приятные слова не всегда вспомнишь в нужное время.

Наконец выход был свободен.

— Вы идите вперёд, вас ждут,— уступил ему дорогу Аблаев.
— Нет-нет, что вы… Вы же первый раз в нашем городе. Вы — гость. Вы идите первым,— предложил Галимджанов.— У меня и вещей много.

Он помахал ожидавшим.

Взяв дипломат, Аблаев направился к выходу. Галимджанов спросил:
— А вас, вас встретят?
— Должны. Сообщено.

И всё же нельзя ни в чём быть уверенным. Галимджанов понимал, если соседа не встретят, то понадобится помощь, поэтому старался не отставать от него. Торопливо повесил дорожную сумку на плечо, схватил два больших чемодана, и вот он появился в тамбуре. Появился… и чуть не упал. Два чемодана одновременно брякнулись на железный пол тамбура. Дорожная сумка шлёпнулась на них.

— Это вы, Ильдар Рустамович?— спросил, когда тот ещё не успел ступить на платформу, и протянул букет, возвышающийся впереди, как гора, Сабир Мансурович. Второй рукой, не спросив разрешения, выхватил дипломат из руки гостя. Голос зычный, хорошо поставлен. Движения вкрадчивые. Приветливое лицо. Можно подумать, что стоит посреди большой сцены.— Мы наслышаны о вас как об известном всей стране учёном и руководителе, Ильдар Рустамович. Добро пожаловать!— произнёс он и сделал изящный жест рукой.— Я ваш первый заместитель, то есть правая рука, Сабир Мансурович. Ни дождинке, ни снежинке не дам на вас опуститься. Можете мне доверять. Есть у меня звание «Заслуженный работник» и медали есть. Скажу по секрету, я и песни пишу. Если суждено, то и вам посвящу песню,— и тут же захохотал: мол, шутка. Улыбнулись и женщины, стоявшие рядом с ним. Видимо, так было задумано.

Аблаев, не зная, как поступить, только вертел головой. Он ведь не понимал по-татарски. А встречающие этого не знают.

— О-о-о, Ильдар Рустамович,— с этим возгласом, толкаясь, пробрался Даниялов.— Вот, оказывается, какой вы милый, симпатичный человек. У нас такого руководителя ещё не было… Мы так ждали вас… Давайте познакомимся, Ильдар Рустамович. Я — Даниялов. Заместитель. Ваш заместитель.

Отталкивая Даниялова, как говорится, двигаясь то вплавь, то вброд, в какое-то мгновение перед новым руководителем предстал третий тип. Хоть он и был мужчина, но губы его напоминали бутон красной розы, а щёки, несмотря на середину лета, были румяны, как яблоко. Он вручил свои цветы и, обомлевший от улыбки нового директора, поцеловал его в щёку.

— Здравствуйте, я — Кайметов.

Видимо, он ждал какого-то ответа, но его не было. И всё же Кайметов не растерялся. Он засмеялся так звонко, словно серебристый ручеёк зажурчал, и, удовлетворённый, мелкими шажками отошёл в сторону. Вернее, его оттеснила группа жаждущих приветствовать нового руководителя. Не сдался только Сабир Мансурович, как встал рядом с директором, так и остался стоять. Стать, широкие плечи, зычный голос — попробуй — оттолкни…

Невольно наблюдая этот спектакль, Галимджанов словно окаменел, он был в ужасе! Ведь это те, кем окружил он себя! Это не сотрудники, а артисты! Эх ты, собрал вокруг себя лицедеев. Вон как играют! Точно так же играли и четыре года назад. Играли с ним самим. А он не чувствовал, не понимал.

Наверное, редко кто из руководителей, один из ста, не попадётся на крючок подхалимов. Только теперь он осознал это. Стоя наверху. Став сторонним наблюдателем. Вот в чём его ошибка! Он не смог увидеть в сотруднике фигляра. А для руководителя это — непростительная ошибка.

…Прошло четыре года — ничего не изменилось. Стольких руководителей они угробили за это время! А артисты на своих местах. Им хоть бы что. Их приёмы и уловки те же. Единственная перемена — в сегодняшней комедии он не участвует. Он только сторонний наблюдатель. Он наверху. Его сегодня не видят. А возможно, притворяются, что не видят.

Страждущих предстать перед новым директором, пожать руку, вручить букет было немало. Так и пытаются прорваться, только и слышно: «Ильдар Рустамович» да «Ильдар Рустамович»,— перебивая, отталкивая друг друга, толпа бурлит, как волна, в непрерывном движении, уносит директора в сторону, подальше от вагона.

Аблаев не забыл о нём. Несколько раз оглядывался на Галимджанова, стоявшего в тамбуре. Помахивал рукой, пытался что-то сказать, но нет, не удалось, их быстро разъединили.

Осторожно ступив на железную ступеньку вагона, держась за поручни, Галимджанов спустил один чемодан, затем поднялся за другим. Полез в третий раз забрать сумку. Он запыхался и сел перевести дыхание на чемоданы, которые поставил прямо у дверей вагона.

Гомон «своих людей» с букетами удалялся. Хоть и были те, кто видел его краешком глаза, не кивнули даже издали, никто не подошёл, чтоб пожать руку. Видимо, в этой группе не было никого, кто б не заметил его, он же стоял напротив, не могли не узнать.

Он старался припомнить, кого из них он обидел хотя бы невзначай. Вроде бы нет. Делал только добро, сколько было в его силах.

Почему же так получилось? Почему они постарались сделать вид, что не замечают его? На худой конец хотя бы один подошёл поздороваться, пожать руку. Или зло обругать его, если обиженный. Нет, не отважились. Побоялись вызвать недовольство нового руководителя…

А Аблаев — хороший человек. Кажется настоящим человеком…

— Это вы, товарищ Галимджанов? Что вы тут сидите? — спросил прохожий.

— Да, я — Галимджанов. Но вас не знаю, впервые вижу.

— Неудивительно, недолго работал я под вашим руководством. Недолго, около двух лет.

— Не назовёте свою фамилию?

— Малов я, Алексей. После технического университета меня распределили к вам.

— Вот оно что… — Галимджанов не жаловался на свою память, но молодого человека не припомнил. Да и разве запомнишь молодёжь, приходящую и уходящую ежегодно.

— Давайте помогу вам. По дороге и поговорим, возможно, и вспомните, — он взял чемоданы и зашагал.

Галимджанов припустил за ним, повесив сумку на плечо. Порой даже приходилось делать пробежку, чтобы не отстать.

— Ох, доставлю вас с ветерком, — улыбнулся Алексей, открывая багажник старенького жигулёнка.

В багажнике поместился только один чемодан. Второй чемодан и сумку он устроил на заднем сидении.

— Не могу вспомнить, — повторил Галимджанов, согнув свою высокую фигуру и усаживаясь на переднем сидении.

Тронулись. Машина, хоть и старенькая, шла споро. Видно, что водитель опытный.

— Вы меня уволили, — сказал Малов после некоторого молчания.

Галимджанов вздрогнул, словно его ударили обухом по голове. Не понимая, шутка это или правда, он повернулся к водителю и долго смотрел на него. Уж не собирается ли парень мстить, да и сам хорош, доверился первому встречному… Он насторожился.

А Малов бесхитростно улыбнулся и продолжал:

— Лет пять или шесть тому назад я начал работать у вас инженером. Работа мне нравилась, вроде и мной были довольны. Даже собирались назначить старшим инженером. Согласитесь, для человека со стороны, без блата, это немало.

— Верно, для вчерашнего студента за два года подняться до старшего инженера — великое достижение. Выходит, были не без способностей.

— Выгнали вы меня, а «старший инженер» остался на словах.

— Да, это вышло плохо.

— Говорят же, кто прошлое помянет… Что было, то было. Да это для вас и неинтересно. Просто к слову пришлось. На новогоднем концерте мы устроили «огонёк». Там я показывал пародию на вас и ваших замов. Народу понравилось, хохотали до упаду. Руку жали, Дед Мороз даже подарок вручил… Только вот «старшего инженера» не дали, зажали.

— Да-да, — встрепенулся Галимджанов и вновь посмотрел на водителя. — Вспомнил. Вспомнил… Я и сам хохотал.

— Месяца через два заставили написать заявление. «Почему?» — удивился я. «Ну, парень, нужно уметь быть хозяином своего языка». Так я и ушёл… И с того дня занимаюсь частным извозом, — улыбнулся Алексей. — Семья не голодает. Хватает нам.

— Извините меня. Этого я не помню. Это некрасиво получилось. Не знаю, что и сказать… — почесал щёку Галимджанов. — Возможно, это произошло в моё отсутствие, когда я был в командировке… Судьбой человека так не играют.

— Ещё как играют!..

— Да, — пришлось ему согласиться.

— Не удивляйтесь, но я, наверное, должен вас благодарить. Не прогони вы меня тогда, я бы и сейчас работал старшим инженером за три-четыре тысячи рублей. Говорят же, как одна женщина прокляла свою ненавистную соседку: «Чтоб муж твой был инженером, и чтоб вы жили на одну его зарплату!»

— Да, есть такой анекдот.

— А так я эти три-четыре тысячи порой зарабатываю за день, — в очередной раз улыбнулся парень. — Да и сегодня некому было бы встретить вас, не прогони вы меня.

— Да, — тяжело вздохнул Галимджанов. — Недаром гласит народная молва: «Век живи, век учись!» Выходит, так… А вот и приехали.

— Который ваш подъезд?

— Последний… Вот спасибо, — Галимджанов вышел из машины.

Алексей Малов поставил у двери два чемодана и сумку.

Увидев в руках Галимджанова деньги, он по-свойски дотронулся до его плеча:

— Не нужно. Мы же свои люди. Желаю вам здоровья и успехов…

— Нет-нет, возьмите, Алексей. Вы же на работе. У вас семья, — с протянутой рукой он пошёл за парнем.

Тот сел в машину, послышалось «пока». За стареньким жигулёнком заклубилось облачко пыли.

Слова Алексея «свои люди» проникли в душу. «Свои люди. Свои люди»,—мысленно повторял Галимджанов. Этот парень поставил его в безвыходное положение. С умыслом он произнёс, или?.. Интересно получается, я его уволил, а он мне—«свои люди»…

Перевела с татарского Р. Фаткуллина.

ДиН антология *95 лет со дня рождения*

Вероника Тушнова

Не отрекаются, любя…

Не отрекаются, любя.
Ведь жизнь кончается не завтра.
Я перестану ждать тебя,
а ты придёшь совсем внезапно.
А ты придёшь, когда темно,
когда в стекло ударит вьюга,
когда припомнишь, как давно
не согревали мы друг друга.
И так захочешь теплоты,
не полюбившейся когда-то,
что переждать не сможешь ты
трёх человек у автомата.
И будет, как назло, ползти
трамвай, метро, не знаю что там.
И вьюга заметёт пути
на дальних подступах к воротам…
А в доме будет грусть и тишь,
хрип счётчика и шорох книжки,
когда ты в двери постучишь,
взбежав наверх без передышки.
За это можно всё отдать,
и до того я в это верю,
что трудно мне тебя не ждать,
весь день не отходя от двери.

Я стучусь в твое сердце:
—Отвори, отвори,
разреши мне
в глаза поглядеться твои,
оттого что забыла уже
о весне,
оттого что давно не летала
во сне,
оттого что давно молодой не была,
оттого что
бессовестно лгут зеркала…
Я стучу в твое сердце:
—Отвори, отвори,
покажи мне меня
возврати, подари!

А знаешь, всё ещё будет!
Южный ветер ещё подует,
и весну ещё наколдует,
и память перелистает,
и встретиться нас заставит,
и ещё меня на рассвете
губы твои разбудят.
Понимаешь, всё ещё будет!
В сто концов убегают рельсы,
самолёты уходят в рейсы,
корабли снимаются с якоря…
Если б помнили это люди,
чаще думали бы о чуде,
реже бы люди плакали.
Счастье—что оно? Та же птица:
упустишь—и не поймаешь.
А в клетке ему томиться
тоже ведь не годится,
трудно с ним, понимаешь?
Я его не запру безжалостно,
крыльев не искалечу.
Улетаешь?
Лети, пожалуйста…
Знаешь, как отпразднуем
Встречу!

Я стою у открытой двери,
я прощаюсь, я ухожу.
Ни во что уже не поверю—всё равно
напиши,
прошу!
Чтоб не мучиться поздней жалостью,
от которой спасенья нет,
напиши мне письмо, пожалуйста,
вперёд на тысячу лет.
Не на будущее,
так за прошлое,
за упокой души,
напиши обо мне хорошее.
Я уже умерла. Напиши!

Наталья Лайдинен

Солнечные стрелы

* * *

По самые плечи заломлены руки.
Мечусь исступлённо. Ослепла. Оглохла.
От ужаса этой внезапной разлуки,
От вопля вселенского, бьющего стёкла

И жизни… Набросок летит карандашный,
В бреду становясь той последней чертою,
Для мозга реальной, как вечер вчерашний,
В который—впечатаны вместе с тобою…

День завтрашний скрыт уже тенью могильной,
Упасть! Через шпалы просыпаться пеплом!
Стать мёртвой, не помнящей жизни, стерильной,
Покрепче стянуть эту страшную петлю,

Пускай вместе с сердцем страданье взорвётся!
Всё кончится… Жилы, как реки, застыли…
Где ангел сверкал, незакатнее солнца,
По самые рёбра обломаны крылья.

* * *

Не утешена тобою, недоласкана,
Я давным-давно живу чужими сказками,
Окна тёмные в домах разглядывая:
Неужели их любовь такая адовая?

А судьба кружит, метёт порошею,
Вот ещё одна унижена, заброшена,
Стонет, ранит встречных взглядом бешеным—
Недоласкана, бедняжка, не утешена…

Нежеланные однажды будут—желчные,
Недолюбленно-обиженные женщины,
Вечно мстят, свои обиды выворачивая,
Раздевая, загляни в лицо: не плачет ли?

Одинокие, бредём в пурге, бесстрастные—
Неутешенные вечно, недоласканные.
Тени рваные с глазами грустными—
Исковерканные бабы русские.

* * *

Спазм неизбывного одиночества—
Чёрная россыпь цыганских бус!
Вспыхивают наперебой пророчества,
Даже запоминать—боюсь!

Ночь в ожерелье шествует, царствуя,
Мир усыпив колдовством и тьмой,
А Одиссей, заблудившийся в странствиях,
Забыл дорогу домой.

* * *

Не играть и не притворяться,
Покориться—простой закон.
Присмотрись: отпечатки пальцев
Глубоки. Значит, всё не сон!

Вечной страсти, судьбы победа:
Кто свободен—душою пьян.
Мы с тобою, устав от бега,
Солнцем рухнули в океан.

Кто бы знал, где любовь догонит!
Как в движенье она сильна.
Я читаю в твоей ладони
Арамейские письмена.

В судный день все грехи простятся.
Ветры южные солоны.
На груди отпечатки пальцев.
Я гляжусь в них—как в эти сны.

* * *

Замысел, мука ли, милость,
Только завещано: длись!
Десять колен растворились,
Десять колен разошлись.

Кружит нелёгкое время
По миру манну-метель,
Всюду развеяно семя
Страсти твоей, Исраэль!

Сколько нас бродит по свету,
Пасынков с искрой в сердцах?
Все мы внебрачные дети
В поисках Бога-отца.

В примесях крови мятутся
Мудрость, и память, и плен…
Заново где-то сойдутся
Вечных двенадцать колен!

* * *

Пустышка иллюзорной славы
И снова бездорожье, дым…
Как будто полевые травы—
Противоядье от беды;

Сбежать от всех и вспомнить радость,
Раскрыться солнцу—как цветы!
И большей не просить награды,
Чем оградить от суеты.

Когда будет чужое роздано
Или продано с молотка,
Я хотела бы жить у озера
В доме с окнами в облака,

Где открыты края небесные,
Очистителен шум дождя…
Точно храм был поставлен Нестором
Среди острова — без гвоздя!

Деревянная память зодчества!
Сруб — как парусник на волнах!
Позабытое одиночество
Горьким привкусом на губах.

Сколько воли — и сколько радости!
Сердце дальней струной звенит.
От младенчества шаг до старости:
Через тяжесть земли — в зенит!

Задохнуться сосновой свежестью,
Слово травам назад вернуть!
Горизонт над седой безбрежностью
Как зовущий к истокам путь;

О любви вспоминать не поздно ли,
Когда кистью ведёт Лука?..
Я хотела бы жить у озера
В доме с окнами в облака.

Матэ

Мне эти сны необходимы!
Приди ко мне и завари
Матэ, который пахнет дымом,
Лист развернётся изнутри,

Как струны, связи в гороскопе
Все напрягутся, зазвенят,
И полетят в калейдоскопе
Событья памяти — назад.

Незначимые эпизоды
Стираются — едва видны…
Расплёскивает горизонты
Нептунианский блеск волны,

Ветров певучая баллада
Терзает тростников свирель,
Вечнозелёная прохлада
Качает сердца колыбель.

Часы младенческих пророчеств!
Прозрачны мысли — и ясны.
Сны! Средоточья одиночеств,
Зеркальных отражений сны…

Вздох ускользающего танго —
Застывший во вселенной звук…
Взмах крыл — голубоглазый ангел!
Мистический матэ. Мундштук…

Звёздами в морозном дыме
Судеб миражи.
У тебя чужое имя
И чужая жизнь.

На свою — не обернуться,
Даже возраст стёрт,
В старом Яффо много улиц,
Что приводят в порт…

Чувство тайное хранится
В сердце узелком.
Я к тебе сквозь все границы
Пробралась тайком,

Оттого что дорог прежним,
— В снах и наяву!
Именем забытым — нежно
Ночью назову,

Пробуждая ненароком
Память давних дней,
Стала огненным пророком
Зрелости твоей,

Сердца рухнувшим запретом,
Белизной снегов
И негаданным приветом
С дальних берегов.

Ночь чем глубже, тем напевней,
Звёзды — среди скал!
Я с тобой познала древний
Тайный ритуал.

Мы шагнули за пределы,
Вне земных дорог.
Как душа стремится к телу,
Ты узнать помог.

Были жарче и невинней,
Только память — прах!
Золото весенних ливней
Размывает страх

Всех прощаний и прощений —
Мы в себе вольны:
Над сияющим ущельем
Дальний блеск волны.

В небесах парит светило
И хранит секрет,
Для чего судьба сцепила
Через столько лет.

От тебя не жду ответа.
— Руки отвори!
Зависть звёзд и смысл света —
Ритуал любви!

Прощай, мой друг! До встречи на местах,
По памяти известных достоверно!
Я жду тебя на стрелках и мостах,
Где шум волны и запахи таверны;

Нас снова занесёт на острова,
Пусть умирать до срока стало вздором,
Вот только сердце зазвенит, едва
Пройдём колонным долгим коридором;

К морским ступеням прижимаюсь лбом,
Вгрызаюсь солью в потемневший камень
И по привычке в городе любом
Тянусь к граниту жадными руками;

Когда-нибудь всех повстречаю тут,
Мой Петербург! Мучительное место!
Жива любовь, чьи спазмы душу рвут,
Грядущее, как прошлое,—известно;

Свидание пьянит и веселит,
Как мы вольны и радостны, бродяги!
Вновь Млечный Путь летит из-под копыт,
И на фрегатах поднимают флаги.

Белиз

Эта радость душе знакома:
Я беспечна и я смела…
Слишком много солнца и рома,
А земля предельно мала.

Время лечит старые раны,
Строит новый лад для струны,
Слишком много марихуаны,
И смешны московские сны.

Лунным островом парус бредит,
Океанский штиль бороздя,
Слишком много мужчин и рэгги,
Иногда не хватает тебя.

На заре облаков разводы
Акварелью бегут с холста,
Слишком много шальной свободы,
От которой трудно устать.

Шторм—ревут и пальмы, и снасти,
Дом в дождливых ручьях дрожит,
Слишком много соли и страсти…
…Слишком сильно хочется жить!

Бег времён сжат спиралью и прерван,
От раскаяний поздних—отказ!
Мы уходим друг в друга, как в первый,
Как в последний—единственный!—раз,

В незнакомые створки моллюска,
В лабиринты подземных пещер!
И дрожит каждый нерв, каждый мускул
От безмерности внутренних сфер.

Нет глубинам познанья предела,
Льются импульсы, мысли насквозь,
И становится призрачным тело,
Точно в вечную близость влилось.

На перекрёстках огоньки
Дрожат—глаза Гекубы.
Порою рыбьи плавники
Теплей, чем эти губы;

Прошелестела чешуя,
На спину—след змеиный!
Ты только мой, а я твоя,
В истоках мы едины;

Пусть пламя рвёт и плавит лёд
Колючий ветер невский.
Лишь тот поймёт, кто тоже мёртв
И крови королевской—голубой…

Жизнь по своим течёт законам,
Меняет лица, адреса,
И по знакомым телефонам
Вдруг отвечают голоса

Чужие—хоть и люди те же,
Но что-то в них произошло,
По сердцу хладнокровно режет
Непонимания стекло.

А время переводит стрелки,
Меняет градусы орбит,
Ежеминутно—ставки, сделки,
Кто вне движенья—тот забыт.

Попытка постучаться в двери,
Над пропастью свершить прыжок
Приводит к подлинной потере,
Не заживает, как ожог.

Порою смерть—не есть разлука:
Для памяти страшней места,
Где выпуклы приметы друга,
А прикоснёшься—пустота.

Душа не льнёт к исповедникам:
Язычница ли, шаман…
Единственным собеседником
Становится океан.

Молитвенное могущество!
Не ровня—земным царям.
Над колыбелью сущего
Сверкает небесный храм.

Назад, к обретенью мудрости
Во власти твоих стихий!
Волнение изумрудности—
Живая епитрахиль.

Мне ветер полощет волосы.
В пещерах подводных глыб,
Как локон, струится водоросль,
Дразня разноцветных рыб.

Так влажно, тепло и ласково
Целуешь колени мне…
Я только одна из раковин,
Затерянная на дне.

Все разлуки тебе простила
И ни в чём не хочу винить:
Ты из воинства Михаила—
Только голову преклонить

И коснуться легко ладоней,
Горько помнить губам их вкус.
Долги дни в одиноком доме,
За тебя у окна молюсь:

— Вы летите, слова, как стрелы!
Будет скоро повержен враг.
Защитите и дух, и тело
От скорбей и чужих атак.

Я не верю плохим приметам,
Лишь у сердца есть с небом связь.
Осени меня дальним светом,
Чтоб ты выжил, я—дождалась!

Вся жизнь тревожная моя—
Всего лишь вспышка бытия,
Луч, соскользнувший на экран,
Но дремлет в капле океан,
Мужают в предках сыновья—
Свершается великий план.

Вмещает сто былых эпох
Мой к сердцу обращённый вздох;
Трудяги, странники, творцы,
Смеются в детях праотцы,
Задумчив на могилах мох.
В снах все начала и концы…

Вселенский пламенный покой,
Молекул рой и род людской
Послушно смелют жернова,
Стихия озарит слова;
Звенит над шахматной доской
Сверкающая тетива;

Веков грядущих голоса
Поют, танцуют полюса.
Вибрации пустых страниц
Свет наполняет—без границ.
Туманны тёмные леса
И сотни промелькнувших лиц.

Под кроной мирового древа—
Созвездья образов, идей,
Спит мудрости великой змей,
Кольцо могущества и гнева.
В тени раскидистых ветвей
Играющая с Богом Ева.

Уныло стучат колёса,
В стакане—холодный чай.
Пошлю в пустоту вопросы,
Не хочешь—не отвечай.

Кто предок мне, кто—потомок,
Все войны—кому нужны?
Я только больной обломок
Когда-то большой страны.

Скандинавская сага

Я заблудилась в пещерах юга,
Но только вышла опять в Асгарде,
Мне примеряли дар нибелунга,
Возили в лодке по синей глади,

Кивал ветвями знакомый ясень,
И Один руны в ладонях высек.
А я смеялась: не нужно власти,
Дай хоть немного любви—и смысла!

Все тайны мира—твои трофеи!
А у меня—искры ожерелья.
Я ускользаю путями Фреи,
Лови в волне мои отраженья!

Ветра с вершин заблудились в струнах,
Из облаков—голубая барка.
Куются копья, поют колдуньи,
Зовёт всё дальше звезда-собака.

Я сквозь тебя прорасту травою,
Сверкну зарницей багрово-алой.
И ты однажды уйдёшь, как воин,
Через столетья—назад в Валгаллу.

Сонная вечность. Марево мрака.
Тихая лодка в бездне Вселенной.
Вот и проходим тропиком Рака.
Лунами иглы. Фарватеры—вены.

Близко паденье. Границы размыты,
И облака—лишь пуховки из ваты.
Мы обживаем центр зенита,
А впереди вздыхает экватор.

Северный тропик! Сверканье созвездий
Праздник Нептуна, желание бога.
Жар поцелуев и звёздные вести.
Также, обнявшись, пройдём Козерога…

Все тревоги и тайны во мгле,
Лёгкость вновь и души безымянность,
Нет, не время царит на земле—
Сны и странность.

На кривых зеркалах пустоты
Видят знаки тревожные дети,
Да листает, как жизни, листы
Вечный ветер.

Отпусти себя в тёмную синь,
Стань сиянием лунным в пространстве,
Ничего у земли не проси,
Снись—странствуй…

Взмыл кустом неопалимым—
Мхом подёрнулся могильным…
Смутный времени лимит.
Только миг спала с любимым,
А теперь—опять с мобильным:
— Может, ангел позвонит?

Гавана

Тихий вечер в гавани. Ветер,
Чуть вздохнув, касается башен,
Опускаясь, сумерки медлят.
В розоватом ласковом свете
Город-призрак кажется влажным,
От загара долгого — медным.

Ночь желанья горькие смоет.
Для неё здесь нет преступлений,
Даже смерть — сестра карнавала.
Всплеск. Волна Карибского моря
Верным псом мне лижет колени —
Так же я тебя целовала…

Я к тебе бросаюсь с высоты:
— Руки разведи на три версты,
Чтобы ты сумел меня поймать,
Так младенца с неба ловит мать.
Обожгу, нырнув во тьму глубин!
Может быть, тебя узнает сын.

Кто причуды мира разберёт:
Я стремлюсь назад, а ты — вперёд,
Но с морского дымчатого дна
В облаках Вселенная видна.
…Я лечу, а ты кричишь: вернись!
— То ли ввысь зовёшь, а то ли — вниз…

Вера Панченко

Совпадение с реальностью

Февральского дня полумрак неглубок,
Он чешет о дерево сивый свой бок
И реющий снег, от которого слеп,
Как нищую медь, собирает на хлеб.

Он жив ожиданием близкой весны
И в проруби неба сиянья блесны,
Когда у природы — улов золотой
И глубь мирозданья дохнёт теплотой.

А может, не нужно ему перемен?
Февраль — родовой полумрака домен,
И полдень, озябнув от хмари сырой,
Прикрыл свою персть прошлогодней махрой.

Земля и власть — в конфликте встречном,
В разладе вечном меж собой,
Ей-богу, грядкам огуречным
Не нужен партий мордобой.

Земля умела жить до власти,
Но власть без оной — голый звук,
От власти — голые напасти
И смена загребущих рук.

И нет к земле любви-привета,
Коль ей не делает добра,
И от неё — взамен дуэта —
Сегодня дальше, чем вчера.

Самоуверенно забылась,
Но без корней — игра не в масть.
Земля не сдастся ей на милость,
Проявит истинную власть.

И лапчатка, и таволожник.
И солнечных лучей треножник,
Шагающий за кромку дня,
И радостная трескотня
Бессонных и живущих в травах,
В зелёных хижинах дырявых —
Минует их моя ступня.

С утра витает дух медовый,
Клонится день медноголовый,
Облокотясь на дерева,
Пронизав медью их сперва,
И — не найдя в листве опору,
Скользит ничком по косогору,
И — обретёт его трава…

Неизменен шум дождя
Утром, вечером и ночью,
У него повадка волчья —
Оставлять от лета клочья,
Вдоль по августу идя.

Неизменен шум дождя,
Словно формула обиды:
Лето, жилистое с виду,
Беззащитно, как дитя.

Неизменен шум дождя
Днём и ночью, днём и ночью,
Дни смываются воочью,
Однозвучно и проточно,
Осень ходит полномочно,
Свежим яблоком хрустя.

Павел Ширшов

Вечер у Пушкино близ Москвы

Объяснение в любви

— Летом 2001 мы ехали на Юг, отдыхать. Да, тогда ещё люди ездили отдыхать на море. Мы ехали в соседнем купе, и по соседству с нами ехала она. Я так и не понял, ехала она с кем-то или одна, потому что видел её только в проходе вагона. Мы стояли у соседних окон и смотрели в них. Я смотрел на неё украдкой, так как боялся, что они обе увидят моё подглядывание — и она, и моя жена. У меня не было никаких надежд, мы были совершенно незнакомы, и я мог только смотреть на неё. Она была необычайно красива. Я не видел её глаз, мне в тот момент казалось, что они серые. Тогда казалось.

Поезд до станции назначения не дошёл. Его остановили в степи, около небольшого городка, всех вывели в поле и построили в одну шеренгу. Это были две роты отдельной истребительной дивизии имени Лаврентия Павловича Берии. Каждого третьего с той шеренги увели в лагерь. Я и она оказались третьими, моя жена — второй в том счету, и она уехала на никому теперь не нужный Юг.

Через полгода, когда я уже работал токарем в слесарной бригаде на кабельном заводе, ко мне пришло извещение, что жена со мной развелась, а ещё через полгода я встретил её. Мы шли строем со смены в свой барак, а мимо нас, по другую сторону забора из колючей проволоки вели на работу женскую смену. На кабельном было много женской работы. Женщины работали на волочении тонкой медной проволоки, на оплётке, у чанов гальванизации. Она шла в ближней ко мне колонне, и я увидел её издалека. Она сильно похудела, отчего красота её стала просто нестерпимой. Гражданские вещи на ней износились, и я увидел, что она всё в том же платье, в каком была в тот день в поезде, у окна. Я испуганно подумал о том, что ей могли выдать зимой плохие вещи и она мёрзла. Вещи той холодной зимой привозили в вагонах, явно ношенные, с чужого плеча, нередко фасонные и нечасто тёплые.

Тут она увидела меня и улыбнулась. Она видела меня там, в вагоне, в тот момент, когда я изнывал, не зная, видит ли она меня, и страстно хотел, чтобы она увидела. Проходя уже совсем близко, всего в полуметре от меня, она легко кивнула мне и на миг закрыла глаза, как бы успокаивая меня.

Ещё через три месяца, в октябре, меня вызвал мой командир отряда и сказал, что ввиду того, что работаю я неплохо, а с дисциплиной у меня никогда проблем не было, они, начальство лагеря, не возражают против моего брака с Москвиной Натальей Александровной. Я ничего не понимал и стоял посреди кабинета, как пень. Он протянул мне листок бумаги, на котором было что-то написано, а к уголку двумя ржавыми скрепками прикреплены две фотографии. Я подошёл и увидел её на фото времён первых дней лагеря, обстриженную налысо, но с ещё по-вольному упитанным лицом. Тут я сдуру спросил своего старлея, а она согласна или нет? Ком. отряда громко захохотал и сказал, что это она и подала заявление на лагерный брак. Меня всего перекрутило от цинизма этого молодчика, но я, чтобы не показать свои чувства, тут же стал подписывать бумаги.

Уже потом, в комнате для свиданий, где нам по поводу свадьбы полагалось недельное проживание, а из них три дня выходных, я спросил у неё — зачем? И она просто ответила мне, что любит меня. Мы очень мало с ней говорили, и вовсе не потому, что с потолка вместе с лампой нагло свисал микрофон, а просто потому, что нам всё было понятно без слов, потому, что в свете никогда не потухающей лампы мы видели глаза друг друга.

От неё я узнал, что всем нашим семьям, в том числе и её мужу, были отправлены похоронки, а она об этом узнала от девушки, работавшей в канцелярии. Вот только запрос о разводе она запросила для неё и него специально по её просьбе.

Семейным встречи полагались раз в месяц по два дня, но уже следующей встречи не произошло. Как мне объяснил командир отряда, в соседнем городе на химкомбинате оказалась нехватка рабочих рук и часть женщин отправили туда этапом. И пошутил, что специальные этапы для молодожёнов пока никто не придумал.

Через три года власть в стране поменялась и нас выпустили. Я как был, в тех же лагерных вещах, поехал в тот город, куда отправили Наташу, но лагерь был распущен раньше нашего и стоял пустой. Я долгих три недели ходил по городку, ища хотя бы какие-нибудь следы, но все шарахались от меня, как от бандита или последнего бродяги, и не желали говорить. Наконец я нашёл одну из женщин, которую забрали в лагерь прямо из этого же городка. Она знала мою Наташу и работала с ней в одном цеху. Наташа умерла.

Она привела меня в бараки, но я не знал, где искать койку Наташи. Никто не знал, отчего она болеет, и, хотя врача у них не было, говорили, что у неё был туберкулёз, а газ на производстве ещё больше загонял её в могилу. Я пошёл с ней в цех, и она рассказала мне, что в последние дни Наташа очень сильно кашляла и её перевели на лёгкий труд. Она работала в конторке и подсчитывала приём-сдачу готовой продукции. Конторка была

маленькая и примыкала к стене огромного пустого сейчас цеха. Поперёк цеха шла колючая проволока, видать, в цеху работали заключённые из разных отрядов. Женщина, извинившись, ушла из этого места. Я её понимал.

Я стоял, пока совсем не стемнело, я стоял в полной тишине, которую не нарушали даже птицы, и, в конце концов, я взъярился. Я бил и крушил столы, заскорузлые стулья, сдирал со стен плакаты по технике безопасности. Из тумбочки вылетел ящик. Я сразу обратил на него внимание. Он был застелен старым грязным ватманом, и больше ничего в том ящике не было. Я поднял его и увидел, что этот кусок бумаги позади исписан мелким почерком. Это было её признание в любви мне. Вот он, этот ватман.

Анатолий вынул из кармана куртки полиэтиленовый пакет, в котором лежала сложенная в четыре части плотная бумага, испещрённая мелким кудрявым почерком.

— Извините, пришлось сложить.

Он был худым и, когда пришёл к нам, долго был неразговорчив, и только сегодня, после того как в нашей комнате наступила неловкая тишина, он вдруг начал тихо рассказывать о своей любви. Сейчас, когда он замолчал, мы все сидели в тёмной комнате и молча смотрели на свечу, что трепетала на общажных сквозняках. Город-крепость, город-завод Невевеево спал.

Сегодня 11 сентября…

Усталый и шатающийся, он пришёл домой и лёг, не переодеваясь в домашнее, на диван. Умный диванчик, подумалось ему, когда одна из ручек стала надуваться воздухом, неторопливо превращаясь в подушку. Он вяло и немного опасаясь, что его капризная система не идентифицирует голос, приказал: «Телевизор, BBC Russia».

Вялый, мало чего понимающий взгляд упёрся в гигантский, даже по сегодняшним, двадцать пятого года меркам экран. На экране странно одетый репортёр, то и дело озирающийся назад, что-то сбивчиво говорил по-английски, а перевод почему-то отсутствовал. Роман напряг внимание и стал вслушиваться.

— Очередной, уже восьмой по счёту террористический акт потряс сегодня христианский мир. Сегодня уже ни для кого не секрет, что лучевое оружие высокой мощности оказалось в руках у исламских экстремистов.

За плечом репортёра торчал кусок небоскрёба, срезанный мазером наискосок. Верхняя часть, по всей видимости, соскользнула с основания и рухнула куда-то на улицы города. Города Роман не узнавал, а репортёр, рассуждая трагическим тоном об ужасе и страхе, показывал рукой по сторонам на людей на улицах. Однако никакого ужаса на лицах людей не было. Роман попросил телевизор: «Посмотри, что там на других каналах, только новостные блоки». Телевизор послушно начал «перелистывать» окна три-де-активити. Голос ему Роман отключил давно, он терпеть не мог, «когда железо пыталось изображать из себя разумное создание», но работать с Романом телевизор всё же научился и теперь просто ждал, когда ему прикажут остановиться.

Здесь,— приказал Роман и начал смотреть новости на русском.

— Срез проходит,— вещал красавчик репортёр,— со сто двадцатого по сорок восьмые этажи, и верхняя часть здания при ударе об землю рассыпалась на куски. Сотни милиционеров сейчас ищут свидетелей вокруг предполагаемой точки выстрела.

Роман напрягся. Где это? Москва. Кусок небоскрёба за болтающим об угрозе терроризма журналистом не напоминал ему ничего из известного, но мало ли. Он уже давно не ходил пешком по центру, а вокруг Москва-Сити уже столько «нефтяных вышек» понастроили, и строят их в час по штуке. Он прикоснулся к браслету мобилы.

— Моя Ольга,— сказал он телефону, и почти тут же телефон сообщил, что оператор не даёт соединения. Роман недоуменно посмотрел на голографическую картинку в воздухе над тыльной стороной ладони и хлопнул по браслету телефона. Он посмотрел на телевизор и скомандовал:

— Телевизор, включи голос.

— Да, слушаю вас, хозяин.

— Перейди на дружеские интонации.

— Хорошо, сделано.

— Включи сеть.

На экране телевизора появилась его Главная страница. Он подошёл к телевизору.

— Опусти экран чуть ниже.

Он подошёл к центру экрана.

— Найди новости милиции.

На экране, который теперь показывал в узкой области его комфортного зрения появился сайт с милицейской сводкой. Называлось предварительное количество погибших и списки тех, кто находился в офисах выше линии среза. Их пока не называли погибшими, это было бы некорректно — их ещё только искали.

Он быстро перелистал списки, Ольги в них не было. Он задал поиск на её имя, фамилию и отчество и подумал, как хорошо, что у нас три имени, чем больше букв в имени, тем тоньше идентификация человека, тем меньше совпадений. Он нашёл 32 совпадения, притом что в 23 случаях ему предлагали данные из хакерски вскрытых источников.

Он просмотрел всё, что можно было найти легального, и, не найдя нужного, перешёл на страницу «Экстрабита», старого и славящегося своими традициями хакерского сообщества.

Его встретил веб-робот и предложил ему сформулировать своё пожелание к заказу. Когда же он внятно сформулировал задачу на поиск, робота сменил человек и сказал, что данные на людей в связи с обострением конъюктуры резко возросли.

— Сколько?

— Четыре сотни рублей.

Это было в восемь раз дороже, чем обычно, но Роман был готов заплатить и более того. Он положил палец на дактилосканер расчётного портала и произнёс:

— Четыреста рублей компании «Экстрабит».

Деньги тут же ушли.

— Вот ваша информация.

На экран вышла информация на Ольгу, вплоть до того, где она находится сию секунду. Её показывала камера в вагоне метро, она стояла и читала какую-то электронную книгу. Вдруг она вскинулась, начала озираться, как будто почувствовала присутствие Романа, а потом опустила книгу и стояла, смотря перед собой.

— Слава Богу,—вырвалось у Романа. Он и не думал, что он так её любит, он и не думал, что она так ему нужна. Он страшно захотел увидеть её, обнять, но не успел он коснуться телефона, как в вагоне посветлело и, хотя звука не было, он понял, что поезд выехал на станцию. Она быстро набрала номер, и у него зазвонил телефон.

Он стоял, смотрел на неё и плакал. Телефон всё звонил, и он тихо ответил:

— Здравствуй, любимая.

Вечер у Пушкино близ Москвы

На подлёте к Москве у саней отвалилась правая лыжня.

— Блин,—в сердцах воскликнул Николай и начал экстренно приземлятся по плану приземления «куда придётся».

Сесть «пришлось» все же не на пашню, а на трассу, что само по себе было уже везением. Сани своей правой опорой высекли искры по асфальту, заюлили и встали строго на краю дороги.

Николай вышел на обочину и начал голосовать народу на трассе. Ему радовались, бибикали, кто-то что-то невнятно-радостное прокричал на бешеном ходу, но никто не останавливался. Делать было нечего, без помощи обойтись уже не получалось.

На фоне пролетающих мимо и на дикой скорости машин этот ГАЗ-21, больше известный в русском народе как «старая Волга», просто полз. Он/она сбросил/а скорость и встал/а рядом с разбитыми санями. Из машины с зубовным скрежетом старых дверей вышел толстяк в видавшем виды полушубке серо-голубого цвета. Он подошёл к «гужевому транспортному средству» и скептически осмотрел его со всех сторон.

— Что ж, ты, брат, за крепежом не смотришь?

— Ну,—пожал плечами Николай,—так вышло…

— Ладно, давай будем думать, как тебя выручить.

Николай пожал плечами, ну, мол, давай, что ж теперь.Толстяк выудил из внутреннего кармана своего полушубка мобилу и кому-то набрал. После недолгой паузы ему ответили.

— Привет, кум. Ты нынче далеко? У Пушкина, а с какой стороны? Так ты в двух шагах от нас, мы тут в километре от Пушкинской развилки стоим, я и сани. Да, нормальные такие сани, с двумя оленями с красной попоной. Слушай, тебе что, красный цвет не нравится, когда свои сани запряжёшь, можешь хоть, синим, хоть серо-буро-малиновым в красную крапинку наряжать, а то чужие сани, давай подъезжай, жду.

— Ну что, коллега, давай знакомиться, что ли. Мороз Степан Васильевич, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Дед Мороз и его компания»—организация корпоративных пьянок, служба Дедов Морозов по вызову и на выезде, организация турпоходов по русскому северу с посещением резиденции Деда Мороза и демонстрацией северного сияния, плюс катания на северных опять же оленях. А ты у нас, я так понимаю, Санта Клаус.

— Ну, типа того, хотя мне к душе ближе, когда зовут святой Николай.

— Угодник, что ль?

— Нет, не угодник, просто Николай.

— Ну, оно и понятно, все нормальные люди. Ты как к коньячку относишься? Компанию составишь?

Степан Васильевич Мороз полез за отворот полушубка и достал маленькую плоскую бутылочку.

— Так ты же за рулём.

— Ты что, и впрямь решил, что я эту колымагу сам веду? Она меня самостоятельно уже лет тридцать возит, сама все правила знает и даже требует обновления ей прочитать, чтобы типа не нарушать, а моя задача пьяным за рулём не выглядеть, да с пятидесяти грамм разве ж запьянеешь?—Дед Мороз довольно захихикал.

— Ну, если так, то давай.

Принимая маленький коньячный стаканчик из нержавейки из рук Степана, Николай мягко вдохнул в себя дух хорошего французского коньяка. На его лице промелькнуло такое приятно удивлённое выражение, что Степан Васильевич довольно крякнул.

— Ну что, хорош?

Николай поднял в приветствии стаканчик и опрокинул его. Потом глубоко вдохнул морозный воздух и улыбнулся.

— Хорош…

— Франция, лето, южный склон горы, обращённый к морю, свежий ветер с запахом солёных брызг, потом лодыжки молодых крестьянок, мнущих виноградные кисти, дубовая трёхсотлетняя бочка в прохладном подвале старого замка. Вот что такое хороший коньяк.

Николай с пониманием посмотрел на Степана, но ничего не сказал.

— Как сани-то, хорошо идут?

— Да, неплохо вроде, и поломок почти не было никогда. Эта правая лыжня, правда, лет двести назад пару раз скрипела подозрительно, но я её тогда так нагрузил—пожадничал, думал вместо трёх поездок в день только две сделать. Чуть с тысячи метров не слетел вниз. А у тебя тоже сани есть?

— У меня их пять штук, но настоящих полётных только пара. Одни грузовые, другие грузопассажирские, но я их предельно редко использую, только для очень важных гостей. В прошлом году американских астронавтов катал, так они все шушукались меж собой, типа русские опять по космическим технологиям всех обошли, а все секретничают и прибедняются. Они думали, я по-английски не понимаю, если сижу на месте кучера.

— Да, с нашей работой поневоле полиглотом станешь.

Так и судачили два мужика о своём, о праздничном, пока не подошла техпомощь и сани починили.

Максим Замшев

Клавиши в снегу

В этом городе нет ничего. Не найдётся угла
Тем, кто хочет укрыться от самой безжалостной стужи.
А в крови тишина. И никто никому здесь не нужен.
В этом городе ты никогда никого не ждала.

Я с ума не схожу, оттого что не вижу огня,
И слова расставляю упрямо в обратном порядке,
Нет игры непонятней и злее, чем с памятью в прятки.
В этом городе нет ничего для тебя и меня.

В этом городе нет ничего. Я всё выдумал сам,
До последних глубин одинокую нежность терзая,
Там бежишь ты по льду, постепенно вдали исчезая,
Оставаясь при этом так близко, что больно глазам.

Ты, конечно, не знаешь, что время отстало на час
От моих самолётов, которым взлететь не придётся.
Ты спешишь по зиме, и зима за тобою крадётся,
В этом городе нет ничего. Ничего, кроме нас.

То, чему не бывать, не вернётся—зови не зови,
Всё давно решено. Этот лёд никогда не растает,
Всё, что легче земли, непременно от нас улетает,
В этом городе нет ничего, кроме нашей любви.

Боль утихает, как будто и не было боли,
Новые буквы толпятся на спусках крутых.
Тёмные тучи скрывают большие мозоли
От самолётов и птиц да от взглядов пустых.

Вот тебе мир, о котором писали поэты
И прославляли горнисты, побудку трубя.
Примешь его? Иль, как Чацкий, попросишь карету?
Выпьешь его перед тем, как он выпьет тебя?

Боль утихает, как мышь, забивается глубже,
Кто её тронет, мгновенно почувствует сам,
Как я ходил босиком по космическим лужам
И своё сердце на сотни кусков искромсал.

Звёзды посолены густо. От всей этой пыли
То и останется, что начиналось вразлёт.
Чацкий уехал, и гости о нём позабыли,
След от кареты теперь уж никто не найдёт.

Вальсы звучат. Бесполезные длинные вальсы,
Ноги и руки летают, боятся соврать,
Знаешь, любимая, я ничего не боялся,
Кроме любви, чьи цветы невозможно сорвать.

Снова дорога, и снова мне стискивать зубы,
Видеть холодные сны, просыпаться в поту.
Боль утихает, и мира засохшие губы
Ищут воды, как последнюю ищут мечту.

С ветки срывается яблоко спелое,
Быстро на землю летит.
Жизнь исчезает, как облако белое…
Кто нам её возвратит?
Только сегодня подумал, а надо ли
Помнить, как начался путь,
Как бесконечные яблоки падали
Мокрой Отчизне на грудь?
Тьма расползается, липкая, мутная,
Тело по мерке кроя,
Старая песня, судьба бесприютная,
Хочешь в родные края?
Хочешь туда, где туманы молочные
Бережно кутают птиц?
Хочешь туда, где надежды бессрочные
Наших не чувствуют лиц?
Родина там, где фуражку ты набок мне
Сдвинула, просто резвясь,
Родина там, где упавшее яблоко,
Осени поздняя вязь,
Родина там, где дороги проезжие
Путник привычно клянёт.
Родина там, где от грусти до нежности
Лестницы долгий пролёт.
Время прошло. Заурядною пешкою
Ферзь облупившийся стал.
Белое облако тает, не мешкает.
Белое облако! Тай!
С тем я уже ничего не поделаю,
Что, уходя, не сбылось.
С ветки срывается яблоко белое,
Падает в землю насквозь.

Ты далеко, в моих руках лишь пыль
И прах любви. На ветер всё швырну я…
Пусть тот волшебник, что тебя слепил,
Шепнёт стихам, чтоб запах твой вернули.
Когда-нибудь всё станет молоком:
И горы, и леса, и соль морская,—
И в этот миг ты вспомнишь ли о том,
Что жизнь была обещана другая?
Но обещанья выдержать нет сил,
И смерть уходит под руки с другими.
Пусть тот волшебник, что тебя слепил,
Из глаз твоих моё достанет имя.
Пройдя сквозь твой огонь, я стал ничей,
И пустоту опять сжимают руки.
А нежность вытекает, как ручей,
Чтоб стать рекой и высохнуть от скуки.

Паровоз потерял все составы свои, не доехав,
И не может найти все суставы свои человек.
Не расслышать слова, но уже отзывается эхо
На молчанье любви, что потратила даром свой век.

Шутовские усы подрисованы пробкою жжёной,
А безусых юнцов не война ожидает—тоска.
Допивай свой абсент, избавляйся вконец от пижонства
И ступай по мостам, не заметив, как плачет река.

Первородство моё превратилось с годами в сиротство,
И чем чаще дожди, тем сильнее придётся дрожать.
Поезда—это символ того, что не стоит бороться,
Всё равно все уедут куда-нибудь—не удержать!

Все равно все уедут куда-то. Прощаний заёмных
С каждым днём истончается кем-то отмеренный срок.
Потеряешь себя, ничего не найдёшь, кроме тёмных,
Уходящих на север, забрызганных грязью дорог.

И деревья вдоль этих дорог будут гнуться и гнуться,
И во рту пересохшем растает небесная боль.
Как болит оттого, что назад невозможно вернутся,
Но бесплотная тень никогда не почувствует боль.

Твоё лицо в неразберихе снов
Из памяти выходит постепенно
И падает с небесных потолков,
Как с тела Афродиты клочья пены.

И каждой ночью средь живых теней,
В чьих старых шкурах только боль тупая,
Я рыскаю и чувствую сильней,
Как новый день горчит, не наступая.

Перед рассветом богатырский свист
Завертит мир в бессмысленное presto,
На раз-два-три играет пианист,
И для четвёртой доли нету места,

Как нету места для дрожащих век
И губ, что прикасались осторожно.
Смотри в окно и удивляйся—снег!—
Как знак того, что счастье невозможно.

Всё кончится, как пена, как тоска,
Как Афродита, как любовь солдата,
Блестят рояля чёрные бока,
И тень не доживает до заката.

Рояль замёрз. И клавиши в снегу,
Мне вальс не танцевать. Я не умею.
Но пианист—у памяти в долгу,
Он музыку прервать уже не смеет.

Ни прошлого, ни будущего… С тем,
Что в настоящем, суждено проститься.
Твоё лицо пусть мой украсит шлем,
Когда к моим ногам падут столицы.

Никто узнать не сможет, кто же ты,
И варваров желанье не встревожит.
Твоё лицо рассыплю на черты
И спрячу в каждом дне, что будет прожит.

Земля перевернулась,
Не разобрав спросонья,
Что ты не обернулась
На луч прощальный солнца.
Но я к тебе успею,
Я с солнцем не растаю,
От Пасхи до Успенья.
Твою судьбу впитаю.

Бросаю я монету
И жду орла иль решку,
А ты идёшь по небу,
Идёшь легко, безгрешно,
Спят облака, как будто
Они большие цапли,
И выжмёт ночь под утро
Любви последней капли.

Не утолить мне жажды,
Не проглотить свободы,
Я погружаюсь дважды
В одно и ту же воду.
Любовь ко мне вернётся,
Усмешкой рот отметит,
Земля перевернётся
И солнца не заметит.

Плетутся усталые лошади,
Брусчатке от них тяжело.
А ты пробегаешь по площади
И ловишь в трамваях тепло.

Печаль вулканической лавою
Лежит на перилах моста.
А лебеди? Лебеди плавают.
Простая забава—чиста.

Река не запомнила холода,
На острове крутят кино.
Всё было так зелено, молодо
И даже немного смешно.

Финалом вселенской мистерии
Ленивая брезжит заря,
И я из столицы империи
Пишу эти строки зазря.

Петух раскричится воинственный,
В одежду вонзится репей.
И ты будешь чьей-то единственной,
Всегда оставаясь моей.

По полочкам мысли разложены,
Старинная стонет печать.
А лошади? Старые лошади
Умеют, как люди, кричать.

И площадь следами, как танцами,
Наполнит прощальный азарт.
Трамвай отбывает от станции…
Никто не приедет назад…

* * *

С утра сбежали краски с полотна,
И голуби не вынесли разлуки.
Когда-нибудь ты скажешь, что весна
Была всего лишь поводом для скуки.
Как хорошо, что наших пальцев власть
Рассыпалась, не завершив касанья.
Как, говоришь, та улица звалась?
И есть ли у любви ещё названье?
Упрямый разбегается курсив,
Когда уже не вымолвить ни слова.
На острых шпилях небо голосит
От боли и от призраков былого.
И даже не придумаешь письма,
Пустой конверт зажат в ладони тёплой.
Когда-нибудь ты скажешь, что зима
Оставит нам дыхание на стёклах.
В плену твоих невысказанных фраз
Я понимаю пристально и верно:
Пусть осень продолжается без нас
И пьёт глинтвейн в прокуренных тавернах.
На полотне—лишь очертанья тел,
И голуби плывут в одеждах сизых.
И с улицы твой запах улетел…
А может, я постичь его не в силах…

* * *

Скажи, что ничего не было,
Что нам простили злую гульбу,
Что мир не от меня требовал
Расплату за вторую судьбу.
Скажи, что это солнце не выступит
На скулах краснотою стыда,
Скажи, что из объятий не выпустят
Нас время и любовь никогда.
Но ты молчишь, а поезд качается,
Никто ему не в силах помочь.
И нежность никогда не кончается,
Но кончится когда-нибудь ночь.
А злоба растекается желчная
По тем, кто не решился уснуть.
Дорога постоянней, чем женщина,
И больше, что отмеренный путь.
Мелькают полустанки печальные,
Шумит лесов зелёная плоть.
Пусть свечи загорятся венчальные,
Чтоб милостив остался Господь!
Земля давно по кругу отбегала,
Хранит свою особую стать.
А я ищу разбитое зеркало,
Чтоб чьё-то отраженье достать.

* * *

Когда бы мог, я б автостопом в Тулу
Подался бы и дальше бы на юг,
Увидел бы лезгинские аулы
И понял бы, что время—это круг.
Потом, хребет кавказский переехав,
Сквозь Грузию я б высоко пронёс
Её несостоявшееся эхо,
Её бокал, в котором больше слёз.
Как коршун, я бы пищу рвал когтями,
Постель себе стелил бы у костров
И Турцию, что вровень с облаками,
Прошёл бы, не вкусив её даров.
Невидимый, молчание хранящий,
Я плыл бы морем в сторону Балкан,
Качался бы со мною рядом ящик
С оружьем, опоздавшим для славян.
Направил бы стопы свои я к Риму,
Чтоб пыль его великую впитать
И разглядеть, как дерзко и незримо
Из Рима ускользнула благодать,
Уже почти добравшись до Парижа,
Обжёгся бы о пламя Сен-Дени,
Париж в огне, опять в огне, чем ближе
Огонь, тем память девственней в тени.
Пьянящий виноград Андалусии
Отведать бы уже не привелось,
Когда б на свете не было России,
Я был бы вечный странник, вечный гость.
А так смотрю, и вспоминаю Тулу,
На кухне закипает самовар,
Немножечко завидую Катуллу
И Шиллеру… Но поспевает взвар
Из солнца, из любви, из песен ранних,
Из воздуха невероятных хвой.
Прекрасен мир, прекрасен тульский пряник,
И самовар прекрасен тем, что мой.

* * *

Неприхотливая улочка,
Сумрак знакомых кафе.
В небе—вчерашняя булочка,
Бармен всегда подшофе.

Стёкла неровные в трещинах,
Память выходит из рук,
Надо бы с жизнью порезче мне,
Надо бы, да недосуг.

В воздухе утлая лодочка,
Бога на ней не гневи!
Кофе, наверно, холодный уж?
Не холоднее любви.

Не холоднее, чем проблески
Разума у дураков,
Не холоднее, чем облики
Девушек прошлых веков.

Улочка пахнет конфетами,
Ландышем пахнет, халвой,
Улочка между проспектами,
Между тобою и мной.

Дни начинались здесь праздные
И утекли, как вода.
Жаль, что ходили мы в разное
Время туда и сюда.

Жаль, что ты выбрала лучшее,
Не расспросив про меня,
Жаль, что надежды тягучие,
Я на слова променял.

Нечего больше рассказывать,
Выбилась память из сил.
Кофе придётся заказывать…
Этот давно уж остыл.

Разлетается мир на куски,
В поездах отыщи мою нежность
И добавь в неё каплю тоски.—
Размешай эту каплю прилежно,
Пригуби, и пребудешь пьяна,
По твоим разгуляюсь я венам,
И судьба пошатнётся, полна
Этой красной горячей вселенной.
На губах не улыбка горит,
Это кровь обновилась до боли,
Слышишь, как начинается ритм
Двух сердец, что мечтают о воле?
И куда бы ни шли поезда,
Самолёты куда б ни летели,
Я в тебе остаюсь навсегда,
Навсегда остаюсь, в самом деле,
Даже если забудешь меня,
Если имя запрячешь поглубже,
Я сожмусь до такого огня,
Что никто тебе будет не нужен.
Разлетается мир на куски,
И любовь не пройти стороною.
Наши тени взлетают, легки,
И становятся тенью одною.

Будет случайная жизнь,
Прах непрочитанных книг.
Стол непокрытый и джинн,
Что из бутылки возник.
Будет пейзаж за окном,
Свалка и шелест листвы.
Будет расхаживать гном
Возле моей головы.
Будет русалка парить
И опускаться в кровать.
Вещи начнут говорить,
Я их начну понимать.
Чай будет слишком горяч,
Трескаться будет стакан,
Будет в прихожей палач
Прятать случайный наган.
Люди забудут стихи,
Сядут на старые пни,
По-монастырски тихи
Будут случайные дни.
Будут простые дела,
Будет любовь дотемна,
Будет планета мала
Для продолжения сна.
Будут чернила и лист,
Будут клеймо и печать,
Будут Бетховен и Лист
Одновременно звучать.
Будет бельё на стене,
Грязная белая суть,
Мы проживаем во сне
Или готовясь уснуть?
Буду купаться во лжи,
Страшную правду тая.
Будет случайная жизнь.
Жаль, что она не моя.

Без тебя не уснуть, Ты взрастила бессонниц
Череду, чтобы глубже они проникали,
И теперь они корчатся в масках бесовских
И следы горячо оставляют на ткани.

Без тебя не уснуть, что ни вспомнишь—всё осень,
Что вернулась на плац и терзает мальчишек,
Без тебя не уснуть—нет ответа в вопросе,
Пифагор всё выводит какие-то числа,

Будто в числах действительно нечто такое,
Что вернее, чем танец крутящейся пыли.
Без пяти на часах—это время покоя,
Без пяти минут жизнь—жаль, вот стрелки застыли.

Без тебя не уснуть, с этим трудно бороться,
Мы в хрустальной стране, где живут напрямик,
И красавец легко превратится в уродца,
И заплачет оставленный в зале двойник.

Начищай сапоги, гуталин растворяя
В пифагоровом сне, что добрался до нас.
Эта правда одна, эта правда такая,
Без тебя не сомкнуть переполненных глаз.

Без тебя не уснуть, не дарована милость,
До небес поднимается красная ртуть.
Понимаешь, земля никогда не крутилась,
Только глобус—и тот, если сильно толкнуть.

В Милане дождь со снегом… на Дуомо
Народу мало, только магазины
Заманивают в сладкую истому.
Туристы покупают мокасины
В мечтах о тёплом летнем побережье.
В Соборе служба. Правильный католик
Молиться может истовей, чем прежде.
Вхожу в кафе и выбираю столик—
Что ж! Чисто и совсем неприхотливо,
А бармен, молчалив, что гладиатор,
Здесь можно ощутить себя счастливым,
Отпив глоток эспрессо макиато.
Ни писем не случится, ни оказий.
Купить билет и улететь отсюда.
Не заслужил ни ссылки я, ни казни,
Осталось лгать себе, что верил в чудо,
Что верил не в любовь, так в провиденье
И ремешок затягивал потуже.
В Милане дождь со снегом… настроенье
Обычное—не лучше и не хуже.
Век двадцать первый в будничных тревогах,
Всё меньше птиц, всё больше византийства,
Когда-нибудь и памятники смогут
Безгрешно совершить самоубийство.
На мостовых тугой оттенок стали,
На улицах—синьоры, синьорины,
У них не спросишь, отчего мне стали,
Так часто стали сниться мандарины.
На сцене умирает лучший тенор,
И публика его встречает стоя.
Когда б я мог дырявить взглядом стены,
То понял бы, что вдаль смотреть не стоит.

Весна чуть холодней, чем сердца льды,
Чуть легче, чем упавшая ресница.
Иду по краю, шаг мне до беды,
Шаг до любви, и жизнь, чтоб возвратиться.
Как получилось так, что ты летишь,
А мне с тобой нельзя к воротам рая,
Как получилось так, что ты молчишь
И тишина твоя во мне сгорает?
Как получилось так, что вместо снов
Я вижу степь и слышу конский топот?
Весна моих не растопила льдов,
И дьявольский не перепутать шёпот
Ни с чем. Он возвращаться не велит
И жизнь мою сжимает до мгновенья.
Как получилось так, что не болит
Душа и не бормочет о спасенье?
Весна преодолеет силу льда,
У нежности здесь имя быстротечность.
Иду по краю. Вот моя беда,
А вот любовь… И между ними вечность.

К твоим ногам я бросил целый город,
И город испугался и притих.
Давай, любовь, хватай же нас за ворот
И отправляй на небо нас двоих.
Без памяти, без юности, без правил
От смеха загибается луна.
На этих крышах я следы оставил,
И ты по ним бежишь совсем одна.
И ветер извивается и треплет
Тебя, чтоб унести на край земли,
Туда, где мы от счастья не ослепли,
А зрение иное обрели.
К твоим ногам я бросил целый город,
В тебе он растворился без труда.
Небесный плащ был надвое распорот,
Когда сплетались руки навсегда…
Ночь без тебя, нелепая, пустая,
Блестят обломки прежнего венца.
Я по губам твоим теперь читаю
Мою судьбу, которой нет конца.

ДиН дебют

Алина Дадаева

Две весны

Мне близок Бог не близостью творца,
А как отец, которого не знала,
И после долгих, тягостных терзаний
Твержу, что вовсе не было отца.

Устав общаться с чёрной тишиной,
Я про него пускаю злую шутку
И всё же жду, что он придёт за мной
В дождливый день в суровый дом малютки.

Я не спрошу, исчез он почему,
Уткнусь в пальто из старенького драпа,
Без слёз прижмусь отчаянно к нему
И прошепчу: «Ты существуешь, папа».

Две весны

На серых ветках белый дым,
Как из трубы на старой крыше,
И ветви побелевших вишен
Как будто встали на дыбы.

На серых ветках белый снег
Холодный март гирляндой крутит,
Он будто странник на распутье:
Не мил зиме, не мил весне.

И в красках этих двух картин
Проступят странные черты
И что-то близкое мне вроде,
Как будто весточку в душе
Оставил грустный атташе—
Поверенный обеих Родин.

Я теперь от любви как висок от курка—
На таком роковом расстоянье,
И, тяжёлая, медлит в движенье рука,
Словно платит последнею данью.

Как охотник не хочет стрелять в журавлей,
Что над озером клином зависли,
Так и я не желаю в своей голове
Убивать перелётные мысли.

Только разве внимаешь разумным речам
В предвкушении самоубийства?
И холодные губы скользят по плечам—
Выстрел.

Возвращение

Старый пёс мне ладони лижет,
Поседел он, облез слегка.
И ласкаются ветви вишен
К огрубевшим моим рукам.

Шелест ветра в кленовой гриве
Так похож на ребячий свист,
И касается губ игриво
Озорной виноградный лист.

Распрямил ветхий домик спину,
Посмотрел на меня с тоской,
И я вижу на лбу морщины—
Блудной дщери немой укор.

Я не стану просить прощенья,
Опустивши глаза, смолчу.
И прижмусь к запылённым стенам,
Как к родному его плечу.

Александр Окороков

«Дорога Бимини» и Колодец смерти

Загадка «Дороги Бимини»

— Профессор, а вы знаете что-нибудь об этом ясновидящем Кейси?
— Да. Перед отъездом я навёл кое-какие справки о нём через своего приятеля из Федерального бюро расследования. Забавно, за ним в своё время присматривали. Даже арестовывали несколько раз за мошенничество.
— И кто же он?
— Родился Эдгар Кейси в штате Кентукки 18 марта 1877 года. Ходили слухи, что его провидческий дар проявился в раннем детстве, эдак лет в шесть. Правда, взрослые не обратили на это особого внимание, приписав «видения» малыша его слишком богатому воображению. Где-то лет в 12 он оставил школу, некоторое время помогал отцу на ферме, а в 18 лет решил самостоятельно искать своё место в жизни. Сменив полдюжины профессий, молодой человек в конце концов неплохо показал себя в качестве коммивояжёра оптовой фирмы, торговавшей канцелярскими товарами. Возможно, из него вышел бы преуспевающий делец, если бы не случившееся несчастье: в возрасте двадцати одного года Кейси начал терять голос. Врачи так и не смогли понять причину недуга. Они перепробовали не один десяток лекарств и даже гипноз, но всё оказалось безрезультатно. Болезнь не отступала. И тогда Кейси решил вылечиться самостоятельно, без помощи медиков — по методике, которая ему «приснилась». И что вы думаете. Он выздоровел.

Новым «целителем», естественно заинтересовались репортёры. 9 декабря 1910 года газета «Нью-Йорк таймс» напечатала на двух полосах сенсационный материал о «волшебнике из Кентукки». Так началась многолетняя карьера Эдгара Кейси, «самого загадочного человека Америки», как назвали его журналисты.

После небольшой паузы профессор продолжил:
— И Вы знаете, Дмитрий, успехи Кейси на поприще лечения заболеваний бесспорны. Но, что интересно, наиболее шумную славу принесло Кейси не «целительство», а его «чтения» прошлого. И здесь мы подходим к самому интересному — ради чего мы и прибыли сюда.

Профессор задумался…
— Особое место в описаниях у Кейси прошлых жизней человеческих душ занимала Атлантида. Да, да, не улыбайтесь… Она не только встречается в его каждом третьем «чтении», но и выглядит своего рода «потерянным раем», где электричество перемещало транспортные средства, фотографии снимались с огромного расстояния, где была преодолена сила земного тяготения и многое другое. Такую фантастическую картину нарисовал Кейси в 1935 году, рассказывая об Атлантиде. Этот материк, который населяла краснокожая раса, по его словам, пережил последовательно три катастрофы: около 50 000, 28 000 и 10 000 лет до нашей эры. Причём последняя растянулась почти на 7000 лет и завершилась погружением Атлантиды в океанскую пучину. Одной из причин гибели последней цивилизации Кейси называл использование новых источников энергии, типа атомной. Обратите внимание, Кейси не был физиком, да и атомную бомбу изобрели лишь в 1945 году. Об одном из трансформаторов энергии — некоем Ужасном кристалле или Огненном камне ясновидящий сообщил следующее: «Запись того, как создать такой кристалл, находится в трёх местах на Земле: в затонувшей Атлантиде или Посейдоне, где часть храмов будет ещё обнаружена под донными наносами вблизи островов Бимини у побережья Флориды»…

Так или примерно так началась экспедиция, в состав которой вошли три уже к тому времени известных специалиста в области подводных исследований.

Первый из них: Дж. Менсон Валентайн — профессор Йельского университета, океанограф, зоолог, археолог и знаток доколумбовской культуры Америки, ветеран экспедиций на Юкатан и юг Тихого океана, почётный хранитель Музея науки в Майами и, наконец, исследователь, 15 лет проведший в поисках следов исчезнувших цивилизаций.

Второй: француз русского происхождения Дмитрий Ребиков (Ребикофф) — талантливый инженер-электрик, специалист в области подводной фотосъёмки, изобретатель знаменитой электронной самодвижущейся фотокамеры и к этому времени уже получивший известность как подводный археолог.

Думаю, здесь будет уместным чуть подробнее остановиться на личности этого человека, широко известного за рубежом и малознакомого отечественному читателю.

Дмитрий Ребиков родился в Париже в 1921 году и ещё в раннем детстве проявил незаурядные способности. Есть сведения, что во время Второй мировой войны он активно занимался изобретательством и многие германские предприятия привлекали его в качестве технического эксперта и приобретали его изобретения. После окончания войны он учился в Сорбонне, а по завершении образования переехал из Парижа в Швейцарию, в Лозанну, где открыл собственное дело.

Среди его удачных изобретений того времени — колорметр — прибор для измерения цветовой температуры. Изобретением портативной электронной лампы-вспышки (1947) Ребиков заложил основы нового научного направления — научно-технической фотографии. Благодаря этому изобретению он первым смог сфотографировать пулю в момент её вылета из ствола — процесс, длящийся миллионную долю секунды.

Вскоре Ребиков переехал во Францию, в Канны, где «заболел» подводным плаванием и приступил к научным исследованиям под водой. Он создаёт первые подводные электронные вспышки, стереофотоаппараты и кинокамеры. Благодаря его системам появляется возможность получения высококачественных подводных фотографий, что становится, по сути, прорывом в методах подводного документирования.

В 1952 году Ребиков конструирует первый в мире подводный скутер «Torpille», а через год превращает его в дистанционно управляемый необитаемый подводный аппарат «Poodle» — опять-таки, первый в мире.

Ох уж эти русские…

В 1953 году конструктор создаёт первый образец подводного средства движения «Pegasus», на котором впервые в мире были установлены гироскопические приборы. Этот аппарат был просто обречён на международный успех и стал прообразом для многих других подводных средств передвижения.

Вместе с профессором Ивановым, инженерами Леграном и Кувьером Ребиков в те годы разрабатывает корректирующую линзу для подводной фотограмметрии.

В 1959 году Ребиков с супругой переезжает в США. Здесь учёный работает главным инженером на фирмах «Loral», «Chicago Bridge» и ряде других. Продолжает на основе новых технологий разработки в области подводного телевидения и скоростных подводных фотоаппаратов, которые стали производиться этими фирмами. Подводные средства движения «Pegasus» и необитаемые подводные аппараты «Sea-Inspector», оснащённые фотоаппаратами и кинокамерами для подводной съёмки, нашли широкое применение в нефтедобывающей промышленности, киноиндустрии, в Океанографическом комитете и, конечно, в военно-морском флоте США.

В 1974 году компания «Rebikoff» представила уникальную глубоководную платформу для автоматической фотосъёмки, способную работать на глубине 2 км. Однако деятельность Д. Ребикова не ограничилась только разработкой уникальных средств передвижения и фототехники. За документальный фильм «Цветной дворец» (1952) о подводной жизни ему была присуждена награда Каннского кинофестиваля. Во многом благодаря именно его усилиям на экран выходит целая серия «подводных» фильмов, включая легендарный «Моби Дик» (1954).

В 1980 году в Форте Лодердейл во Флориде Ребиков основал некоммерческий Институт подводной технологии, который возглавлял до ухода на пенсию, в 1991 году. Умер талантливый изобретатель в 1997 году во Флориде.

Но вернёмся назад.

Третьим участником исследований стал Роберт Маркс, заслуженно считавшийся одним из ведущих специалистов в области истории флота и морской археологии, знатоком периода колониального владычества Испании в бассейне Карибского моря. До этого Маркс уже руководил подводными раскопками в Порт-Ройале (1963–1968 гг.), исследовал ряд археологических памятников древних майя, в частности «священные колодцы», изучал места кораблекрушений в Карибском море и у берегов Испании. Нашёл и исследовал у берегов Бразилии два римских корабля II в. до н. э. и тем самым доказал факт, что Колумб опоздал с открытием Америки на… 1700 лет!

В 1962 году на борту точной копии каравеллы Колумба Маркс попытался повторить маршрут великого генуэзца в Новый Свет. И, несмотря на то, что погодные условия не позволили ему довести эксперимент до конца, он был посвящён королём Испании в рыцари.

К вышесказанному, пожалуй, следует добавить то, что все трое были страстными аквалангистами и неизлечимыми романтиками.

В конце 1968 года эта группа снарядила экспедицию и прибыла на северное побережье острова Северный Бимини Багамского архипелага. Этот остров был хорошо известен своей рыбалкой — окружающий его океан многие считали и по сей день считают одним из самых лучших мест в мире для рыбной ловли. Поскольку Бимини находится всего лишь в 80 км (50 миль) восточнее Форта Лодердейл (Флорида), многие американцы-рыболовы заходят на остров на лодке или на яхте, чтобы порыбачить или насладиться ночной жизнью острова. Да и растительность этих мест живительна, недаром великий Генрих Гейне в стихотворении под одноимённым названием «Бимини», называл его «островом счастья». Старик Хемингуэй первую часть своего романа «Острова в океане» также посвятил Северному Бимини.

Но не ради благословенного отдыха и рыбалки прибыли на остров специалисты-подводники. Объектом их научного интереса да и простого человеческого любопытства стали остатки таинственных сооружений, которые были воочию «открыты» всего несколько месяцев назад американскими пилотами Робертом Брашем и Триггом Адамсом, совершавшими очередной полёт над Багамскими островами. На небольшой глубине вблизи острова Андрос неподалёку от крошечного островка Пайн Кэй (Сосновая бухта) они заметили на фоне светлого песчаного дна чётко проступающие тёмные протяжённые образования, напоминающие каменную кладку. По форме они соответствовали прямоугольному строению с длиной стены от 30 до 18 метров. Примерно треть прямоугольника была отгорожена внутренней стеной.

Сенсацией запахло тогда, когда вспомнили, что где-то в далёких тридцатых американский визионер, Эдвард Кейси, известный больше под

псевдонимом «Спящий пророк» неоднократно указывал на происшествие, которое должно было случиться в 1968 или 1969 годах. Речь шла ни больше ни меньше, как о нахождении легендарной Атлантиды. «И Посейдия будет среди первых частей Атлантиды, которые снова поднимутся. Ожидайте этого шестьдесят восемь и шестьдесят девять (1968 и 1969). Уже недолго».

Во время другого транса Кейси уточнил, где поднимется «Посейдия»: «Есть возвышающиеся части, некогда составлявшие континент Атлантиду. Британская Вест-Индия или Багамские острова и часть, которую можно увидеть сегодня, если сделать геологическую съёмку; эти (части) определятся прежде всего в районе Гольфстрима».

Согласно Кейси, мифическая Атлантида, прежде чем погрузиться под воду, раскололась на пять больших островов. Самыми крупными были Посейдия, Ариан и Ог. В трансе он увидел их разбросанными между Азорскими островами и западным побережьем США.

Последователи «Спящего пророка» немедленно объявили находку Р. Браша и Т. Адамса грандиозным подтверждением прогнозов своего учителя. Их даже не смутили высказывания местных жителей, заявлявших о том, что о существовании «обнаруженных» лётчиками фундаментах они знали давно и всегда относились к ним, как к чему-то само собой разумеющемуся. «Здесь Бог благословляет людей на жизнь»,— недоуменно говорили они. Впрочем, знали об этих таинственных объектах и учёные. Ещё в 1956 году местные жители — отец и сын — занимаясь подводной охотой возле островков Бимини, увидели на дне мраморные колонны, торчащие из песка. Охотники-подводники сообщили о своём неожиданном открытии учёным. Однако отыскать колонны им вторично не удалось. Скорее всего, предположили учёные, колонны скрыл слой морского песка, передвигающегося под водой.

В 1959 и 1960 годах известный нам уже доктор Дж. Мэнсон Валентайн, неоднократно совершая полёты между островами Бимини и Ориндж-Ки, обнаружил на малой глубине каменные образования, похожие на улицы, сооружения геометрической формы со множеством углов и закоулков, и круги, также выложенные из камня. На глубине не более 5,5 м у северо-западного побережья северной группы островов Бимини он увидел нечто, что выглядело наподобие булыжной мостовой, выложенной из больших блоков, скруглённых по бокам и углам. Большая часть этих глыб имела прямоугольную форму, некоторые — почти квадратную. Самые крупные блоки достигали в длину от 3 до 6 м. То, что Дж. Мэнсон Валентайн принял за мостовую, могло быть верхней частью стены, которая протянулась более чем на 300 м. Примерно в 30 милях к югу от южной группы островов Бимини на мелководье Валентайн заметил ещё одну протяжённую каменную гряду, вытянутую по прямой, а рядом тёмный, поросший водорослями прямоугольник. А ещё 20 миль южнее, чуть к северу от Ориндж-Ки, на плоском грунте на глубине всего в 2 сажени покоились многочисленные, едва заметные прямоугольники.

Правда, убедительно объяснить, что это за кладки, профессор Валентайн тогда так и не смог.

В 1967 году над Бимини и лежащим поблизости островом Андрос пролетал самолёт, на борту которого находился Дмитрий Ребиков. На глубине в пять-шесть метров он также заметил какое-то странное сооружение прямоугольной формы. По мнению Ребикова, сооружение не могло быть творением природы — его построили люди. Может быть, это были остатки островного государства Бимини, о котором писал Джозеф Б. Мэйхэн?

Джозеф Б. Мэйхэн, занимавший вплоть до своей кончины в 1995 году пост исполнительного директора Института изучения культур Америки, почти всю свою жизнь посвятил изучению истории и культуры индейского племени ючи. В июне 1957 года Мэйхэн познакомился с потомственным вождём племени Сэмюэлем У. Брауном-младшим. Учёный побеседовал с ним и был даже удостоен чести составить письменную хронику священной истории ючи. В своей увлекательной книге «Тайна: Америка в мировой истории в доколумбовскую эпоху» Мэйхэн писал:

«У ючи сохранилась легенда о том, что их древней прародиной был некий остров на востоке. Вождь приказал записать специально для меня сокращённый вариант легенды, где говорится, что Багамские острова представляют собой остатки огромного легендарного острова, погибшего много веков назад в результате грандиозной природной катастрофы».

Далее вождь Браун ссылался на эту катастрофу, утверждая, что земля была расколота «пламенем и облаками различных цветов, появившимися с запада и севера». По словам Мэйхэна, именно тогда огромный остров опустился на дно моря и лишь немногим оставшимся в живых удалось добраться до «мыса», как они его называли. Браун утверждал, что «этот мыс» и есть ныне Флорида. Затем он без тени сомнения заявил, что тот огромный остров находился на месте нынешних Багамских островов, и, в частности, упомянул остров Андрос».

Так что же это за сооружения или стены циклопической кладки, получившие позднее название «Дороги Бимини»?

Природа ли создала эти каменные формации или это действительно следы древней мифической Атлантиды? Или легендарного островного государства Бимини, блаженной земли, о которой повествуют предания лукайос — индейского племени, обитавшего на Багамских островах до прихода Колумба и истреблённого конкистадорами в XVI веке?

В 1492 году корабли Христофора Колумба впервые приблизилась к берегам Нового Света. Колумб высадился на островах между Флоридой и Кубой. Местных аборигенов, а вместе с ними и группу островов, на которых они обитали, он назвал одним и тем же именем — лукайос. Сегодня этот архипелаг именуется Багамским. Туземцы то и рассказали белолицым пришельцам об островном царстве Бимини, на котором били источники вечной молодости и обитало племя прекрасных женщин.

Во втором плавании Колумба принимал участие Хуан Понсе де Леон — беспоместный член одной из самых знатных фамилий в Кастилии, ставший известным позже как завоеватель и губернатор Пуэрто-Рико. В марте 1513 года он на собственные деньги собрал экспедицию и отплыл из Пуэрто-Рико на поиски чудо-источника. По рассказам, Понсе принимал на службу и стариков, и увечных. Вероятно, он полагал, что молодость и здоровье ни к чему людям, которые после сравнительно короткого морского перехода могут омолодиться и возвратить утраченные силы. Команды на кораблях этой флотилии были самыми старыми из всех, какие знает морская история.

27 марта 1513 года, пройдя мимо северной группы Багамских островов, после трёхнедельного плавания они увидели большую землю. Понсе назвал эту землю Флоридой («Цветущая»), так как она вдвойне заслуживала это название: берега её были покрыты великолепной субтропической растительностью и она была открыта в первый день праздника христианской «цветущей» Пасхи (по-испански — Pascua Florida). Но на карте, составленной Аламиносом — главным кормчим экспедиции, на новооткрытой земле было написано и другое, «языческое» имя — Бимини.

Две недели Аламинос вёл корабли на север вдоль восточного берега Флориды. Испанцы высаживались во многих местах и перепробовали воду множества речек и озёр, напрасно отыскивая целительный источник. Огорчённый неудачей Хуан Понсе де Леон в последний раз высадился на берегу у 30° северной широты и именем кастильской короны вступил во владение новым «островом».

Это было первое испанское владение на континенте Северной Америки. Но останавливаться здесь было довольно опасно, так как испанцы встретили во Флориде воинственные индейские племена — калуса.

В 1521 году Понсе де Леон с королевским патентом на колонизацию островов Бимини и Флориды (в то время Флорида ещё считалась островом), во главе отряда из 200 человек высадился на западном берегу Флориды и вновь попытался завоевать полуостров. Однако испанцы встретили такое яростное сопротивление со стороны местных индейцев, что вынуждены были спешно погрузиться на корабли и повернуть назад. В одном из сражений с индейцами Понсе де Леон был ранен отравленной стрелой и скончался во время морского перехода на Кубу.

В ответ на гибель своего предводителя испанцы ответили кровавой резнёй. Оставшиеся в живых индейцы были погружены на корабли и отправлены в качестве рабов на побережье Кубы или на остров Гаити, который тогда назывался Испаньола. Примерно к 1540 году племя лукайос исчезло полностью. Вместе с ним навсегда были утрачены и сведения о сказочном островном государстве Бимини.

И вот наступил 1968 год. Казалось бы, настал «момент истины». Группа Д. Ребикова и профессора Валентайна приступила к исследованию затонувших сооружений. Открытия пошли одно за другим. Между рядами каменных блоков в северной части островов Бимини, которые имеют высоту от 6 до 20 м, ныряльщики обнаружили следы или отпечатки наподобие колеи, известные по доисторическим культурам Мальты. На восточной оконечности архипелага Бимини — остатки стены. Верхняя часть этой стены будет досконально изучена спустя 5 лет, в 1973 году, после значительного подъёма морского дна. Как оказалось, она представляла собой сооружение типа вала или насыпи и по форме напоминала огромный треугольник. Своей наиболее длинной стороной она примыкала к прямоугольнику размером с футбольное поле. В свою очередь западная часть этой площадки была окаймлена подобием каменной плотины, сложенной из крупных необработанных блоков, через которую, извиваясь, проходил канал. Валентайн принял это сооружение за исполинский резервуар для воды с подводящим трубопроводом. В северной части этого сооружения он усмотрел три концентрических окружности, по форме напоминающих глаз. Подобные структуры знакомы нам по другим доисторическим культурам, существовавшим в различных районах мира. Но образования, которые были обнаружены на мелководье вокруг островов Бимини, значительно превосходили по размеру все те, что были известны науке до сих пор.

Мэнсон Валентайн не удовлетворился полученными результатами и приступил к обследованию всего района близ острова Бимини. В 1970 году во время облёта акватории к югу от Мозелльской банки — рифа, ориентированного по оси север-юг и находящегося примерно в 5 км от берегов Бимини, он со старым другом и коллегой Джимом Ричардсоном обнаружил с воздуха целый ряд объектов, представляющих потенциальный интерес для археологов и лежащих под водой на глубине от 5 до 10 м. К их числу относились «участок дна, покрытый сетью пересекающихся прямых и дугообразных линий», а также «исключительно сложная подводная система квадратов, прямоугольников и полуокружностей». Поблизости от неё была обнаружена груда «отдельных клеткообразных фрагментов, образующих некий артефакт длиной добрую сотню ярдов (т. е. 91,5 м), отдалённо напоминающий ногу со многими пальцами». Этот объект, по мнению Валентайна, отмечал собой северную оконечность Бимини.

Жак Майоль, знаменитый ныряльщик, рекордсмен мира по глубоководным погружениям, по просьбе Валентайна обследовал это место. Ему удалось сделать целую серию ценных для науки фотоснимков, которые убедительно свидетельствовали, что клеткообразные фрагменты имеют явно упорядоченную структуру. По мнению Валентайна, дно в этом месте было «разлиновано прямыми тёмными линиями, столь же ровными, как разметка теннисного корта». Были обнаружены и шестигранные метки, и впадины в грунте, но наиболее часто встречались «клетки», имевшие в среднем около 4 м в поперечнике.

В целом этот комплекс, по мнению Валентайна и его коллег, отличался несомненной геометрической

симметрией, что позволило им прийти к заключению о том, что «этот удивительный артефакт представляет собой творение весьма искусных мастеров, живших в незапамятные времена».

Затем Валентайн и Ричардсон сосредоточили свои усилия на обследовании 50-километровой полосы между Бич Кейс и Саут Райдинг Рокс вдоль северного края Большой Багамской банки. Здесь они обнаружили несколько «прямоугольных структур», а также «прямоугольник и треугольник», происхождение которых пока что не получило убедительного объяснения. В полутора километрах к югу, чуть севернее острова Ориндж Кей, исследователи заметили «группу странных прямоугольников больших размеров, имеющих не вполне ясные, но, несомненно, правильные очертания».

Другой аномальный объект, найденный у северного острова Бимини, представлял собой «странной формы „стрелу“, заросшую водорослями», острие которой указывало на северо-запад, «а другой конец был соединён с основанием U-образной формы, придававшим всему рисунку сходство с огромным следом». После более тщательного исследования было установлено, что его размеры составляют 33 м и состоит этот объект из огромных каменных блоков. Такое же сооружение, имеющее те же очертания, но гораздо большие размеры, было обнаружено Валентайном и Ричардсоном на отмелях Джолтерс Кей, примерно в 48 км к востоку.

Ещё более загадочным был объект, зафиксированный примерно в 100 км к юго-востоку от Бимини. Он состоял из двух «очень заметных» параллельных борозд или дорожек, протянувшихся «почти на семь миль» (11 км) в направлении островка Рассел-Лайт-Хаус. Эти линии представляют собой составную часть громадной звездообразной композиции, полностью скрытой под густыми зарослями водорослей. В центре её находятся «три многоугольных отверстия». Коллега Валентайна, Жак Майоль, совершил погружение в указанном месте и обнаружил, что центральное отверстие завалено грудой огромных каменных глыб.

В апреле-мае 1971 года очередная экспедиция под руководством доктора Валентайна продолжила поиски. Она подтвердила бесспорное существование под водой каменного сооружения или конструкции длиной 70 метров и шириной 10 метров. Исследователи пришли к мнению, что это произведение человеческих рук. Учёные открыли также «явно искусственно обработанные каменные плиты в форме шестигранников диаметром чуть более двадцати сантиметров, которые лежали на берегу кучей или были уложены прямыми и параллельными линиями». Некоторые образования на морском дне имели форму больших полумесяцев или напоминали границы дворов. Вот только опять не было найдено ни одного керамического изделия, ни украшений, ни инструментов—тех важных предметов, которые могли бы стать убедительным доказательством рукотворности сооружений и датировать их.

29 сентября 1972 года Валентайн вместе с Джимом Ричардсоном совершал очередной полёт. Их небольшой лёгкий самолёт следовал на малой высоте вдоль западной кромки Большой Багамской банки, держа курс на юг, туда, где островной шельф круто обрывается в сторону Старого Багамского пролива, глубоководного канала, отделяющего древний багамский сухопутный массив от острова Куба, расположенного к югу от него. Повернув на юго-восток, исследователи продолжали полёт на высоте около 700 м прямо вдоль кромки мелководной банки и увидели внизу очертания крошечного островка Кэй Гвинчос.

И тут Валентайн и Ричардсон сразу же заметили на мелководье «самую поразительную совокупность сдвоенных линий, которую нам когда-либо доводилось видеть… общая картина чем-то напоминала террасные склоны, «улицы» на которых шли более или менее параллельно друг к другу». Поражённый этим зрелищем, Валентайн сразу же предположил, что «по всей вероятности, это богатое место служило в древности чем-то вроде некоего церемониального центра».

Продолжая полёт в юго-восточном направлении и преодолев ещё 55–65 км, Валентайн и Ричардсон увидели контуры другого крошечного островка, Кэй Лобос, также расположенного на самой кромке Большой Багамской банки… И в этот момент они увидели именно то, что, как и предчувствовал Валентайн, и должно было находиться на Большой Багамской банке: объект, который он впоследствии назвал колыбелью, блестящей жемчужиной затонувшего материка. По словам учёных, их глазам предстали «панорамы густых зарослей водорослей, имеющие столь явную и правильную планировку, которая никак не могла образоваться в результате случайного размножения флоры». Эти правильные линии шли по самому краю шельфа банки, обращённого к Старому Багамскому проливу, в направлении мелководного рифа у островка Кайо Романо, лежащего у северного побережья Кубы.

Продолжая двигаться вдоль кромки шельфа, Валентайн и Ричардсон заметили ещё более странные объекты. Впоследствии учёный описывал их как «огромное поле тёмных водорослей, ограниченное с одной стороны палевого цвета трапецеидальным сооружением… обнесённое сплошной оградой… имеющей неровные очертания со стороны «суши» (т. е. дна шельфа) и вытянувшейся строго по прямой линии вдоль кромки шельфа». Вдалеке они заметили «множество тёмных прямоугольников и прямых линий, тянущихся вдаль».

Подлетая к Диамонд Пойнт, находящемуся у юго-западного угла Большой Багамской банки, исследователи заметили целую серию «прямых линий, пересекающих друг друга под прямыми, тупыми и острыми углами». Это зрелище впоследствии побудило Валентайна охарактеризовать находку как «архитектурный план исключительно сложного городского комплекса». В самом деле, Валентайну и его другу Джиму Ричардсону показалось, что «их глазам предстали руины некоего допотопного города».

В 1975 году к затонувшим объектам близ Бимини прибыла новая экспедиция. Её возглавил

преподаватель английского языка и литературы Академии военно-воздушных сил США и большой любитель археологии профессор Девид Зинк. В исследованиях приняли участие профессиональные водолазы ВМС США.

Один из участников этих работ, археолог Джон Стал, в своём отчёте писал: «На протяжении трёх месяцев мы зарисовывали, замеряли, брали геологические пробы. Большая часть дороги состояла из огромных камней размером приблизительно 5 × 5 × 1 метр, дальний от берега отрезок простирался на 1000 метров, направленный на северо-восток. На южном конце заметен чёткий изгиб, где дорога поворачивается в противоположную сторону, дублируя себя; отрезок, ближе расположенный к берегу, или внутренняя часть образуемой таким образом буквы «J», отклоняется на 7 градусов на восток и идёт под углом 52 градуса на северо-восток. В последнюю неделю экспедиции я обнаружил, что внутренний отрезок, обрываясь в зарослях черепаховой травы, продолжается после по крайней мере 750 метров, по сравнению с северным экстремумом дальнего отрезка.

За исключением четырёх-пяти участков, где обнаружены два и более установленных друг на друга рядов камней, вся дорога выложена в один слой. Хотя не все камни одинакового размера, путём статистического анализа мы получили условную строительную единицу, которая составила 1,15 метра, исходя из того, что большинство камней имело размеры около 2,3 и 3,45 метра.

Более точных замеров под водой проделать было невозможно. Ближайшая к полученной древняя единица измерения равняется двум финикийским локтям, или 1,14 метра».

Да простит меня читатель за столь подробное описание обнаруженных под водой объектов. Автор сам утомился, собирая их по «крохам». Но важно было показать ценность и масштаб найденных артефактов.

Итак, что могут представлять собой «стены Бимини»? Некоторые исследователи допускают, что речь идёт, вероятнее всего, про порт с двойным волнорезом и каменными набережными. Однако если принять предложенную гипотезу, то гигантское сооружение из огромных камней свидетельствует, что мы имеем дело с каким-то реликтом неизвестной, но распространившейся чуть ли не на весь мир мегалитической культуры. Но до сих пор считалось, что древнейшие сооружения этого типа появились на Ближнем Востоке в VI тысячелетии до н. э. Тем временем, когда учёные начали с помощью разных методов (в том числе и радиоуглеродного) определять возраст подводных зданий возле Багамских островов, то выяснилось, что он достигает… 10 тысяч лет! И даже более… Неужели именно здесь возникла та гипотетическая мегалитическая культура, творцы которой на протяжении нескольких тысячелетий странствовали по морям и океанам, оставляя о себе память в виде гигантских сооружений?

Но именно возраст каменных зданий возле Северного Бимини и породил главный вопрос. Вроде бы все правильно: каменный порт был построен на побережье острова, который, согласно геологическим данным, ещё и сейчас продолжает медленно погружаться в воду, и скорость этого погружения известна. Именно таким образом через несколько тысячелетий сооружения оказались под водой. Допустим, что так. Но не удивителен ли факт, что уже 10 тысяч лет тому назад строились каменные порты с волнорезами и набережными? Кем и для кого? Куда странствовали неизвестные создатели, с кем вели торговлю? И вообще, откуда строители брали камни для циклопической кладки? Для ответа на последний вопрос определённый интерес представляет сообщение геологов из университета в Майами (США). Они говорили, что на острове нет такой горной породы и похоже, что единственное место, откуда её можно было взять, находится примерно в 40 километрах к северу…

Здесь, пожалуй, пора уже предоставить слово скептикам. Некоторые из них на полном серьёзе заявляли, что камни «дороги Бимини» не что иное, как сброшенный с морских кораблей балласт. Правда, почему эти камни так правильно «приземлились» на дно морское и образовали прямую линию, похожую на дорогу, они ответить не смогли.

Ещё одна версия — природное происхождение «дороги». Её опровергнуть гораздо труднее. Ещё в 1970 году «дорогу Бимини» обследовал профессор археологии университета Майами Джон Холл. В заключении он написал: «Наши исследования выявили, что мы имеем дело с феноменом природного происхождения, называемым «эрозия» и «расщепление прибрежного плейстоцена», мы не обнаружили никаких следов вмешательства человека или какого-либо разумного существа, поэтому, к сожалению для любителей старых легенд, очередная версия о следах Атлантиды отпадает». В апреле 1971 года в журнале «Нейче» («Природа») появилась статья канадского географа Ваймона Харрисона. В ней он писал, что каменные стены Бимини представляют собой ракушечный гравий, зацементировавшийся на мелководье. Затем в едином массиве «образовались трещины, как это обычно происходит с известняками». Создалась иллюзия, будто это глыбы, пригнанные друг к другу строителями. Глыбы, как надводные, так и затопленные, имеющие различные стадии разлома и разрушения, встречаются на Багамских островах часто. Возле Бимини же, по мнению Харрисона, исследователи столкнулись с просто необычной формой разлома огромной плиты ракушечника, и только. Впрочем, и доктор Валентайн не исключал такой возможности. Ведь известны же науке удивительно правильные каменные создания в других частях света, возникшие без участия человека, например, ландшафт с базальтовыми колоннами Джайентс Козвэй под Бушмиллсом на северном побережье Ирландии. Отдельные признаки, правда, могут оспаривать мнение о естественном образовании подводных сооружений Бимини, к примеру, траншея шириной примерно 60 см и такой же глубины, прямой линией протянувшаяся по дну на значительное расстояние. Сюда же следует отнести то обстоятельство, что среди огромных каменных блоков мостовой тут и там торчат вертикальные

столбы,—факт, не укладывающийся в картину её натурального возникновения. Не перестаёт удивлять и трассировка циклопической стены, проложенной не то людьми, не то природой: её углы размечены с геометрической точностью. Да и маловероятно, чтобы природа могла создать из больших глыб правильную прямоугольную букву «П», что лежит «на боку», да ещё и «врезать» в поперечину этой буквы три параллельных «мола» одинаковой длины. Может быть, основа сооружения и в самом деле была создана природой, но и человек, несомненно, приложил к ней свои руки.

Веским аргументом рукотворности «дороги» служит удивительный фрагмент обработанного камня, обнаруженный Дэвидом Зинком. На камне заметны чётко выдолбленные по всей длине желобки; один конец имеет полуцилиндрическую форму, другой прямоугольный. Ничего подобного прежде на Бимини не встречалось, так же как и на других Багамских островах. При этом ни один археолог или архитектор не смог точно определить происхождение этого фрагмента. Но то, что это было делом рук человека, не вызвало ни у кого сомнения.

Потенциальный интерес представила и находка Пино Туролла. Около Багамских островов, в четырёх километрах на юг от «дороги» (в районе Мозелльской банки), он обнаружил мраморные колонны. Мрамор не встречается на Багамах, и его происхождение установлено не было. Вопрос заключается в том, являются ли эти колонны и камень с узорами свидетельствами исчезнувшей цивилизации или это просто балласт с потерпевших крушение кораблей, останками которых буквально усеян этот участок.

Нельзя не упомянуть здесь и ещё об одной «достопримечательности» этих мест. Речь идёт об обнаруженном с помощью воздушной фотосъёмки скальном образовании на Бимини. Оно представляет собой холм в форме кошки с длинным хвостом, изогнутым вдоль спины. Фигура зверя составляет около 250 метров в длину и располагается по соседству с неким прямоугольным скоплением камней. Этим скоплением, как предполагают некоторые исследователи, могут быть развалины храма египетской богини Бастет, имевшей, как известно, кошачье обличье. К этому можно добавить, что очертания одного из островов Багамского архипелага, Кэт Айленда, имеет форму дельфина! А дельфин, как известно,—это священное животное Посейдона, царя Атлантиды.

Людям очень хочется найти остатки легендарной Атлантиды. В средствах массовой информации от случая к случаю вспыхивают сообщения, что они найдены. География Атлантид обширна. На сегодняшний день самыми перспективными районами поисков Атлантиды (по крайней мере, по обе стороны Атлантического океана) являются: Америка, Антарктида, Арктика, остров Сан-Паулу, Кубинская и Багамская акватории, Бермудский треугольник, Азорские, Канарские острова, подводный архипелаг Подкова, северо-западные страны Европы и Африки, Сицилия, Мальта, Кипр, Крит и Санторин.

Во многих странах даже созданы общества, организации и институты, активно работающие по проблеме Атлантиды. Один из главных таких центров находится в штате Виргиния (США). «Ассоциация деятелей науки и просвещения» (A.R.E.) была создана в 1932 году на основе Фонда Эдгара Кейси, где тема «Атлантида» стоит на одном из первых мест в системе исследовательских проектов. В рамках американской организации A.R.E. создано несколько проектов по поиску Атлантиды, например, на Багамских островах: группа «Поиски Атлантиды» (Джоан Хенли, Ванда Осман), проект GAFA (Джоан Хенли), проект «Альта» (Билл Донато, Донни Филдс). С 1997 году и по настоящее время в этом районе проведено уже более десятка экспедиций. A.R.E. координирует и финансирует эти экспедиции.

Поиски в районе Багамских островов и акватории Кубы, как считают многие исследователи, имеют особые перспективы.

Ещё в 1976 году доктор Валентайн первым высказал предположение о том, что в доисторические времена сухопутный массив Большой Багамской банки и Кубу соединяла полоса суши. В своей статье, опубликованной в «Эксплорерс Клаб Джорнел», он утверждал: «...Оба побережья расположены параллельно друг другу, что явно указывает на то, что некогда они составляли единый массив; об этом же говорят и многие эндемичные виды фауны, распространённые на Кубе и Багамских островах. Дело в том, что присутствие аналогичных видов животных (по обе стороны Старого Багамского пролива) не так-то просто объяснить их переселением, особенно если вспомнить, что на соседнем материке они никогда не водились».

К слову сказать, «каменные развалины, занимающие площадь несколько акров и имеющие странно белый цвет, словно они—из мрамора» в своё время были замечены с воздуха Лейчестером Хэмингуэйем—братом писателя, во время полёта на Кубу. Точное местонахождение этих подводных развалин остаётся неизвестным. Если они находятся не у крайней южной оконечности Большой Багамской банки, то вполне возможно, что их следует искать возле одного из многочисленных островков и бухт, расположенных на банке Кай Саль. Эта банка представляет собой громадный трёхсторонний район морского шельфа около 100 км в длину и ширину, расположенный примерно в 70 км к северу от Кубы.

Известно, что банка Кай Саль опустилась под воду вскоре после заметного повышения уровня океана, последовавшего после окончания ледникового периода, около 8000–6000 гг. до н.э. На этой банке имеются объекты, представляющие потенциальный интерес для археологов. Обнаружил их опытный аквалангист Герб Савински, заместитель директора Музея науки и археологии в Форт Лорендэйл, Флорида, посвятивший немало времени исследованиям подводных пещер и глубинных участков в водах вокруг Багамских островов. К числу таких объектов относятся два сооружения, напоминающие «дорогу Бимини». Одно из них находится около острова Антиллия,

а другое — у побережья центрального острова Кай Саль. Кроме этих объектов известно два огромных тёсаных и отшлифованных каменных блока, находящихся в подводной пещере, получившей благодаря этой находке название Каменоломни, а также явные следы орудий каменотёсов, найденные и здесь, и в другой пещере, находящейся на рифе Распберри (Малиновый риф). Так как обе эти пещеры вот уже несколько тысяч лет находятся под водой, вполне обоснованная вероятность того, что они были созданы или, по крайней мере, расширены человеком.

И, наконец, в июле 2000 года было сделано новое сенсационное открытие. Группа исследователей канадской компании «Advanced Digital Communications» провела вместе с учёными из Кубинской академии наук глубоководную разведку с использованием современной гидролокационной техники. В результате на дне моря в районе Западно-Карибских островов на глубине до 1400 м были обнаружены объекты, напоминающие руины затонувшего города. На этом этапе исследований учёные при помощи эхолотов составили подробную карту морского дна в районе западного побережья Кубы.

В 2001 году исследования продолжились, но проводились уже с использованием новейшего оборудования. Для того чтобы подтвердить свои предположения, учёные из Advanced Digital Communications отправили в подводную разведку мини-субмарину с дистанционным управлением. С её помощью удалось заснять на глубине более 600 м многочисленные каменные сооружения, имеющие, по всем признакам, рукотворный характер. Фототехника субмарины зафиксировала, в частности, фрагменты строений, которые напоминали городскую застройку. Подводный город простирался почти на 13 км^2. Среди обнаруженных объектов оказались массивные блоки, похожие по фактуре на обработанный гранит. О рукотворном характере находок свидетельствовала, в первую очередь, их форма: подводные строения были прямоугольные, круглые и пирамидальные. О том же свидетельствовал размер конструкций. Длина большинства блоков составляла от 2 до 5 м, что подтверждало версию о том, что обнаруженные конструкции могли использоваться в качестве строительного материала.

Помимо обнаружения подводных руин удалось продвинуться и в ответе на вопрос о том, как формировались континенты.

Канадские учёные, в частности, полагают, что их открытие подтвердило версию о том, что Куба когда-то была соединена с Латинской Америкой в районе полуострова Юкатан. Ведущий специалист «Advanced Digital Communications» Полина Зелитски (в прошлом гражданка СССР) считает, что затопленный город был построен как минимум 6 тыс. лет назад неизвестной цивилизацией. Вероятной причиной её гибели и затопления города она назвала вулканическую активность.

Спустя два года после находки у берегов Кубы, в марте 2003 года супруги Грэг и Лора Литтл заявили об открытии огромной, трёхъярусной каменной платформы, находящейся в 500 метрах к северу от острова Андрос на глубине 3 метров. Это сооружение тянется в длину на 450 метров, имеет в ширину 45 метров, высота 4,5 метра от морского дна. Платформа составлена из больших прямоугольных каменных блоков и состоит как бы из трёх секций. Эти секции составлены большими каменными блоками примерно 7,5 × 9 метров, толщина их 60 см. Некоторые гиганты достигали размеров 9 × 15 метров! На поверхности некоторых из блоков были видны квадратные углубления, размер отверстий 14 × 14 см. При дальнейшем исследовании оказалось, что к северу от платформы лежит огромная плоская равнина на глубине 3 метров. Равнина простирается до глубокой траншеи, которая называется «Язык Океана». Большая часть морского дна покрыта песком, но удалось зафиксировать на фотоплёнку что-то похожее на брусчатку, аккуратно соединённую между собой. Камни на равнине квадратные или прямоугольные, площадь самого маленького достигала 60 см. Каменная платформа имеет вид древнего мола и прилегающей гавани. Все эти структуры, по словам Литтлов, как-то связаны со знаменитой дорогой Бимини, которая имеет все характеристики древней гавани. Они утверждают, что находки на Андросе и Биминской Дороге, их формы и размеры соответствуют таким же древним гаваням, обнаруженным в Средиземноморье.

Кстати, экспедиции доктора Литтла к Северному Бимини в 2003 и 2004 годах дали, пожалуй, больше информации об этих объектах, чем все предыдущие вместе взятые. Литтл и его команда обнаружили под слоем каменных блоков второй такой же, а ещё ниже — третий. Добраться до основания древней постройки Литтлу не удалось, но он высказал вполне убедительную версию, что это не дороги, а, скорее всего, вершины стен, погребённых под донными отложениями.

При осмотре очень небольшой части второго слоя плит, которую удалось раскрыть, было определено, что она меньше затронута водной эрозией, плиты тщательно отшлифованы и довольно плотно подогнаны друг к другу. Приборы показали наличие под дном в районе «дорог» пустот, а также металла. Это необычно для всего района, поскольку ни на самих Багамских островах, ни на прилегающей территории Атлантики залежей металлов нет. Подземные металлические объекты, которые зафиксировал прибор, располагаются большей частью к северу и северо-западу от «дорог», причём расположены они как бы точечно, вкраплениями, и образуют широкий полукруг. Литтл полагает, что это, возможно, древняя металлическая колоннада, которая когда-то поддерживала (а может быть, поддерживает до сих пор) своды какой-то постройки.

К сожалению, довести исследования до конца доктору Литтлу не удалось. В 2004 году на одну из участниц экспедиции напала акула, и работы пришлось свернуть раньше срока.

Версия доктора Литтла поколебала уверенность многих скептиков. Тем не менее дискуссия продолжается… А пока правительство Багам не скупится

на инвестирование курорта и исследовательского центра вблизи столицы Нассау. Туда съезжаются аквалангисты со всего мира. Их манит загадка легендарной Атлантиды.

Немалый интерес вызывает и тайна омолаживающего источника или фонтана, который так безуспешно искал Хуан Понсе де Леоне. По слухам, он находился в мелководных заводях Южного Бимини. Правда, известно, что в морском мангровом лесу, покрывающем четыре мили Северного Бимини, находится Целебный грот, заводь, расположенная в конце причудливой сети подземных туннелей. Во время отливов по этим каналам в заводь поступает прохладная, обогащённая минеральными солями пресная вода. Как выяснили учёные, в ней содержатся литий и сера — два минерала, которые придают воде лечебные свойства. И люди, посетившие грот и совершившие омовения в его водах, испытывают чувство умственного и физического омоложения.

Может быть, это и есть разгадка тайны, которая канула в историю вместе с гибелью племени лукайос?

Сокровища Чичен-Ицы

Живописные руины древнего города майя окутывала ночь. Эдвард Герберт Томпсон — двадцатипятилетний консул США в Мексике и археолог-любитель, как зачарованный, наблюдал за игрой лунных бликов на чёрной глади водяной ямы, зияющей перед ним. Неожиданно лунный свет озарил узкую тропинку, ведущую от величественных развалин древней пирамиды к таинственному водоёму. Консул невольно приподнялся от поразившей его догадки. Его взгляд застыл. Неужели это и есть та священная дорога, о которой он читал в записках испанского епископа Диего де Ланда? «Главный храм был обращён своим фасадом к священному сеноту, расположенному поблизости, — писал испанец, — и соединялся с ним прекрасной широкой дорогой. У индейцев был обычай во время засухи приносить в жертву богам живых людей, бросая их в этот колодец; они верили, что эти люди не умирают, хотя больше никогда их не видели. Вслед за жертвами они бросали в колодец изделия из дорогих камней и предметы, которые считали ценными. Следовательно, если в этой стране водилось золото, то большая часть его лежит на дне этого колодца. Так велико было благоговение индейцев перед Священным сенотом!»

Описание Диего де Ланда дополняли сведения некоего Диего Сармиенто де Фигуэроа — алькальда из Мадрида, который посетил Юкатан в XVI веке. Он писал: «Знать и сановники этой страны имели обычай после шестидесятидневного воздержания и поста приходить на рассвете к сеноту и бросать в него индейских женщин, которыми они владели. Они приказывали этим женщинам вымаливать у богов удачный и счастливый год для своего господина. Женщин бросали несвязанными, и они падали в воду с большим шумом. До полудня слышались крики тех, кто был ещё в состоянии кричать, и тогда им спускали верёвки. После того как полумёртвых женщин вытаскивали наверх, вокруг них разводили костры и окуривали их душистыми смолами. Когда они приходили в себя, то рассказывали, что внизу много их соплеменников — мужчин и женщин — и что они их там принимали. Но когда женщины пытались приподнять голову, чтобы взглянуть на них, то получали тяжёлые удары, когда же они опускали головы вниз, то как будто видели под водой глубины и пропасти. И люди (из колодца — А. О.) отвечали на их вопросы о том, какой будет год у их господина — хороший или плохой…»

Да, последние сомнения развеяны. Это действительно Чичен-Ица — столица некогда огромной и могущественной империи майя. А эта водяная яма, не что иное, как Священный сенот, жертвенный колодец, в который древние майя сбрасывали свои приношения Чаку, могущественному божеству дождя и воды.

Позже, в книге, посвящённой своим многочисленным приключениям и озаглавленной «Народ Змей», Томпсон вспоминал своё первое впечатление от разрушенного города: «Постепенный подъём, извивающаяся между валунами тропинка и большие деревья до такой степени напомнили мне лесные прогулки на родине, что меня буквально потрясло, когда я наконец понял, что валуны, мимо которых я проходил без особого внимания, имели обтёсанную поверхность и служили некогда резными колоннами или скульптурными опорами. Потом, когда я начал понимать, что ровная, заросшая травой и кустарником поверхность — не что иное, как терраса, сделанная руками человека, я поднял голову и увидел над собою огромную камену. Громаду, упирающуюся вершиной в небосвод, и все остальное сразу было забыто. Террасовидную пирамиду, облицованную плитами известняка, с широкими лестницами, ведущими наверх, увенчивал храм. Другие здания, высокие холмы и разрушенные террасы оказались погребёнными в зарослях джунглей, и только тёмно-зелёные возвышения на горизонте говорили о том, где они некогда находились. Перо писателя и кисть художника бессильны выразить чувства, которые возникают при виде пепельных стен этих древних сооружений, ярко освещённых тропическим солнцем. Старые… изъеденные временем, суровые, внушительные и бесстрастные, они возвышаются мощными громадами над окружающей местностью, и не находишь слов, чтобы описать их. Развалины города Чичен-Ицы занимают пространство в три квадратных мили. По всей этой площади разбросаны тысячи резных и обтёсанных камней и сотни рухнувших колонн, а бесформенные руины и контуры стен огромных полуразрушенных строений видны на каждом шагу. Семь массивных построек из резного камня, сцементированного необычайно крепким раствором, имеют отличную сохранность и почти пригодны для жилья. Их фасады, хотя и серые, мрачные и изборождённые временем, подтверждают мнение, что Чичен-Ица — один из величайших в мире памятников древности».

…Томпсон подошёл к краю воронки и заглянул в бездну. С того дня, когда здесь в последний раз

совершился обряд жертвоприношения, прошло не менее тысячи лет. Примерно в 900 году жители покинули Чичен-Ицу, и с тех пор мёртвая тишина и забвение воцарилось над руинами этого города и его Священным колодцем.

На следующее утро Томпсон обследовал колодец. Он имел форму овала диаметром около 60 метров в самом широком месте и обрывистые стенки из серого шероховатого известняка. Тёмная, почти чёрная вода не позволяла проникнуть взгляду даже в её верхние слои. На краю сенота были заметны остатки каменной площадки, по всей видимости, жертвенной. Очевидно, отсюда после очищения в маленьком святилище, стоящем поодаль, жрецы сбрасывали избранных в глубокий колодец.

Томпсон попытался представить, как выглядел обряд: «…Паломники из окрестных майяских городов собирались на церемониальной площади перед «Пирамидой „Пернатого змея“». После окончания богослужений в святилищах Чичен-Ицы жрецы укладывали роскошно одетых девушек, которым предстояло стать невестами бога полей, на деревянный катафалк и несли по священной дороге к «Колодцу смерти». Грохотали тункули—майяские барабаны; рога, изготовленные из морских раковин, трубили в честь Бога; люди пели торжественные гимны. Потом эта погребальная процессия подходила к «Святилищу последнего обряда». Девушки сходили с катафалка, жрецы вновь очищали их дымом копаловой смолы, снова пели флейты, а затем избранниц отводили на жертвенную площадку, брали за руки и ноги, сильно раскачивали и бросали в водяной дворец. Люди молились: «О Боже, дай нашим полям урожай, позволь вырасти кукурузе, даруй нам дождь и прими этих дев в свой дом, на своё ложе. Прими, о Боже, и другие наши дары…». Вслед телам принесённых в жертву девственниц паломники бросали золотые и нефритовые украшения, шарики благовонной смолы. Без устали гремели барабаны, а верующие причитали: „Боже, дай нашим городам воду…“»

Консул оторвал свой взгляд от тёмной глади воды и повернулся лицом к величественной пирамиде «Пернатого змея». Кто знает, о чём он думал в этот момент. Может быть, мечтал о славе учёного-первооткрывателя, жаждал богатства, а может быть, его душу обуревала страсть исследователя… Так или иначе, но в эту минуту, стоя на краю древнего колодца, он принял окончательное решение продолжить свои изыскания и проникнуть в глубины колодца Чичен-Ицы. Но для этой цели нужны деньги и необходимое оборудование. Все это можно добыть в родном городе Бостоне. И Томпсон направляется туда. С присущей ему энергией он проводит переговоры с возможными спонсорами экспедиции и учёными, параллельно изучает водолазное дело. Он собирается лично опуститься в колодец и поднять из воды несметные сокровища майя. Наконец все готово и экспедиция, оснащённая даже землечерпательной машиной, усовершенствованной Томпсоном, отправляется в путь. Однако уже первые попытки раскрыть тайну Священного колодца упираются в почти неразрешимые трудности. Главным препятствием на пути к сокровищам майя является почти десятиметровый слой ила и грязи, начинающийся на глубине 16–18 метров от поверхности воды. Это делает использование водолазного оборудования практически невозможным. Но Томпсон не сдаётся. Он велит установить на краю колодца землечерпалку и начинает раскопки. Но проходит день, другой, а результатов всё нет. Надежды на успех сменяются почти отчаянием.

Удача приходит неожиданно, в виде двух невзрачных комочков смолы, источающих при горении дурманящий запах.

«Я помню всё, как будто это случилось вчера,—писал Томпсон,—я поднялся утром после бессонной ночи. День был такой же серый, как и мои мысли, а от густого тумана с листвы деревьев падали капли воды, совсем как слезы из полузакрытых глаз. Я потащился сквозь эту сырость вниз, где, как бы призывая меня, выбивала стакатто землечерпалка. Съёжившись под навесом из пальмовых листьев, я стал наблюдать за однообразными движениями смуглых туземцев, работавших на лебёдке. Ковш медленно выплыл из клокотавшей вокруг него тяжёлой воды, и… вдруг я увидел на поверхности шоколадно-коричневой грязи, наполнявшей его, два желтовато-белых комочка. Когда же эта масса проплыла над краем колодца и опустилась на платформу, я выхватил из неё оба предмета и внимательно осмотрел их».

Наконец-то! Он держал в руках благовония древних майя. Томпсон вспомнил о том, что читал в древних пожелтевших летописях. «В старину,—говорилось там,—наши отцы сжигали священную смолу пом, и с помощью ароматного дыма их молитвы возносились к богу—обитателю солнца».

По всей видимости, древними богами были услышаны и молитвы Томпсона. Во всяком случае, вслед за комочками смолы ковш землечерпалки стал приносить из глубины сенота новые удивительные находки. Среди поднятых со дна колодца предметов были нефритовые символические фигурки, каменные скульптурные изображения, золотые и медные диски, фрагменты человеческих скелетов, дротики и метательные дощечки, кремнёвые наконечники стрел и копий, обрывки тканей, чеканные или резные золотые изделия—колокольчики, подвески и многое другое.

Чтобы исследовать дно в недоступных для землечерпалки местах, под воду решает опуститься сам Томпсон. Это предприятие не вызывает восторга у индейцев, обслуживающих экспедицию. Они убеждены, что их добрый дон Эдуарде никогда не вернётся. Разве не живут в воде сенота гигантские змеи и опасные ящеры? И разве время от времени не окрашивается вода «Колодца смерти» кровью? Правда, американец говорит, что красноватый оттенок ей придают семена одного из растений, растущих на берегах сенота. Но что может знать об их древних божествах этот бледнолицый…

Однако Томпсон был далёк от предрассудков.

Так началось первое в истории подводное исследование майяского прошлого, подводные поиски

индейских памятников. Томпсон и два греческих водолаза, нанятые консулом, спустились на вязкое дно колодца. Без света, на ощупь три «слепца» изо дня в день прощупывали вековой ил, чтобы найти то, чего не подняла со дна землечерпалка. Надежды Томпсона постепенно осуществлялись. Водолазы поднимали на поверхность всё новые находки. В их числе вырезанные из нефрита статуэтки, 20 золотых колец, 21 золотая фигурка лягушек, скорпионов и других живых существ, прекрасная золотая маска. У маски закрыты глаза, словно она представляет мёртвого. Томпсон и греки нашли также десятки новых хульче («хуль чес»), этого наиболее распространённого вида оружия майя в тольтекский период. Извлекли из грязи более 100 золотых колокольчиков, у которых до того, как их бросили в «Колодец смерти», вырвали язычки. Ведь индейцы верили, что вещи живут, как и люди, и поэтому жрецы убивали жертвуемые предметы, так же как убивали приносимых в жертву людей.

А потом водолазы нашли самое прекрасное: некое подобие золотой короны, украшенной двойным кольцом «Пернатого змея» (эту корону Томпсон считал величайшим шедевром майяских чеканщиков по золоту), и главное — столь важные для майяологии рельефные золотые диски. На них — Томпсон постепенно извлёк из колодца 26 таких дисков — майя изобразили своих богов, взятие майяских городов тольтекскими воинами и даже эпизоды морских сражений, а также человеческие жертвоприношения.

Сенот сдавался на милость победителя и вручал отважному исследователю неопровержимые доказательства достоверности рассказа епископа Ланды о человеческих жертвоприношениях у майя. Томпсон нашёл жертвенный нож с рукоятью в виде змеи. Такими ножами тольтекские жрецы вырезали у своих жертв сердце. А потом Томпсон поднял со дна сенота несколько девичьих черепов. Кости невест, принесённых в жертву, были главными свидетелями Томпсона, окончательно подтвердившими его победу.

Всего же за четыре года исследований, с 1904 по 1907 год, было обнаружено несколько тысяч уникальных находок. Впервые в руки учёных попали бесценные предметы быта и верований древних жителей, населявших некогда полуостров Юкатан. Впоследствии большинство из них поступило в Музей археологии и этнологии Гарвардского университета (США). Их изучение показало, что майя вели широкую торговлю с племенами ацтеков, обитавшими далеко от Юкатана — на северо-западе вплоть до долины Мехико, а на юге — до территории современной Колумбии, Коста-Рики и Панамы.

Учёные обратили внимание также на то, что большинство нефритовых и золотых изделий были разбиты. Разбивали их явно намеренно, причём таким образом, чтобы головы и лица фигурок оставались целыми. Очевидно, они считались «живыми» и их «убивали» перед тем, как принести в жертву.

Главная цель экспедиции была достигнута, но эта победа далась нелегко. Во время одного из погружений Томпсон, увлёкшись, поздно открыл воздушный вентиль водолазного скафандра и был выброшен на поверхность как раз в том месте, где стоял водолазный понтон. От сильного удара головой о понтон он потерял сознание и в итоге лишился на всю оставшуюся жизнь слуха. Да что там слуха — древние боги майя в буквальном смысле забрали его жизнь: почти всю её он провёл на асьенде Сан-Исидоро, у храмов города «Пернатого змея», и «Священного колодца» Чичен-Ица. Между 1910 и 1930 годами Юкатан потрясли несколько политических переворотов и мятежей. Во время одного из таких переворотов асьенда, в которой жил Томпсон и где находилась его лаборатория, была полностью разрушена. При этом безвозвратно погибли его великолепная библиотека по древностям майя и многие бесценные предметы, найденные среди развалин города. Позднее асьенду восстановили и сдали в аренду вашингтонскому Институту Карнеги в качестве базы для его обширной программы раскопок и исследований в Чичен-Ице. Вслед за этим между Томпсоном и мексиканским правительством возникли юридические осложнения по поводу предполагаемой стоимости предметов, добытых из Священного колодца. «Сокровище Томпсона» мексиканские власти оценили в полмиллиона долларов — сыграло свою злую шутку сравнение журналистами находок Томпсона с гробницей Тутанхамона. Попытки консула доказать, что найденные им находки представляют исключительную научную значимость и не могут иметь рыночную, не убедили государственных чиновников. В счёт «компенсации» за переданные в гарвардский музей предметы власти конфисковали его имущество и потребовали выплаты суммы в 500 тысяч долларов. В итоге Томпсону пришлось отказаться от планов дальнейших исследований в Чичен-Ице.

В 1954 году группа аквалангистов Мексиканского клуба исследований и водного спорта (СЕДАМ) во главе с Пабло Буш Ромеро предприняла попытку продолжить работы Томпсона. Однако безуспешно: видимость в колодце была очень плохой, а наладить искусственное освещение не удалось.

В 1960–1961 годах проникнуть в тайну сеноте Читчен-Ицы попыталась экспедиция, организованная Национальным институтом антропологии и истории Мексики совместно с Национальным географическим обществом США. В течение четырёх месяцев мексиканские водолазы под руководством американиста Эусебио Давалоса Уртадо, практически на ощупь «прочёсывали» дно колодца. В результате удалось поднять немало интересных предметов: керамический кубок, своеобразную фигурку идола высотой в тридцать сантиметров, сделанную из чистого каучука, золотые подвески, бусы, куски полированного нефрита и множество колокольчиков, привезённых сюда, как выяснилось из центральных районов Мексики и Гондураса. Нашли даже камни храма, стоявшего некогда над колодцем на помосте.

Самыми удачными стали последние дни экспедиции. Со дна колодца извлекли интереснейшие вещи: деревянную куклу в истлевшей одежде, привезённую, очевидно, издалека, каучуковые

фигурки людей и животных, деревянные украшения с мозаичными вставками, прекрасные костяные ножи, рукоятки которых были украшены иероглифами и покрыты золотой фольгой. Всего менее чем за четыре месяца исследователи извлекли со дна 4000 предметов.

В третий раз мексиканские подводники и археологи Национального института начали исследования колодца в 1967 году. На этот раз специалисты решили либо целиком осушить колодец, либо химическим способом очистить его до полной прозрачности.

Второй метод принёс желаемые плоды — видимость под водой улучшилась до пяти метров. Работы возобновились при помощи усовершенствованных эжекторов, позволивших отсасывать ил слоями.

В результате работ, продолжавшихся два с половиной месяца, удалось обнаружить самые разнообразные предметы: два резных деревянных табурета прекрасной работы, несколько деревянных вёдер, около сотни кувшинов и ваз различных размеров, форм и эпох, куски ткани, золотые изделия, кольца, колокольчики, изделия из нефрита, горного хрусталя, каучука, коралла, кости, перламутра, рога, янтаря, меди, кварца, пирита и оникса, а также кости людей и животных, точильные камни, пять каменных изображений ягуара и два — змеи.

Работы экспедиции показали, что очистка воды в колодце вполне возможна. Выяснилась также пригодность применения технических средств: при правильном обращении с эжектором он успешно справлялся с задачей подводных археологических раскопок. Кроме того, что, пожалуй, самое главное — была разработана методика исследований аналогичных древних памятников.

В то время, когда мексиканские подводники проводили изыскания в «Колодце смерти» Чичен-Ицы, в другом древнем городе майя, Цибильчальтуне, начала работу группа учёных Центральноамериканского исследовательского института Туланского университета в Нью-Орлеане (штат Луизиана) под руководством Уиллиса Эндрьюса.

О существовании древних руин в нескольких километрах от главного города Юкатана Ме́риды было известно давно. Их первооткрывателями стали мальчишки, избравшие колодец Цибильчальтуне местом для своего купания. Однажды один из них, спускаясь со скалистого холма, поскользнулся и проделал оставшийся путь юзом, ободрав при этом изрядно спину и мягкое место. Каково же было удивление его товарищей, когда на «вспаханной» дорожке они увидели остатки стены, сложенной из грубо обработанных камней. Обработанные камни, стена говорили о том, что перед ними здание, а может быть, и целый город! Среди друзей мальчика, который так неудачно и вместе с тем так удачно упал, был сын директора Юкатанского музея Барреры Васкеса.

Дома во время ужина мальчик рассказал, как его случайно упавший товарищ открыл посреди сельвы часть каменной стены. Для Барреры Васкеса этого было достаточно. На следующий день он послал к «забытому» сеноту своего коллегу Канто Лопеса.

С этого все и началось. Информация об обнаружении каких-то древних построек недалеко от города Мерида заинтересовала профессора Центральноамериканского исследовательского института Тулейнского университета в Нью-Орлеане (штат Луизиана) Роберта Уокопа, и он направил на Юкатан своих младших коллег, Джорджа Брейнерда и Уиллиса Эндрьюса. Они подтвердили существование древнего майяского города. Но лишь спустя 15 лет, в 1961 году, учёные смогли приступить к планомерным археологическим исследованиям Цибильчальтуна.

Одним из важных объектов исследования экспедиции стал 55-метровый колодец.

Современные юкатанские индейцы дали этому сеноту название Шлаках (Старый город). Как он назывался первоначально, никто не знает. Ведь о цибильчальтунском сеноте, да и о самом городе, как ни странно, в майяских текстах нет ни единой строчки. А ведь город, как показали последующие исследования, занимал площадь около 48 квадратных километров и насчитывал более 400 строений. Вероятно, это был самый древний и самый большой город майя. Тем не менее первые исследователи Цибильчальтуна начали свои поиски в Шлаках фактически с «чистого листа». В первый «полевой» сезон в подводных исследованиях колодца приняли участия только два волонтёра — студенты Флоридского государственного университета Дэвид Конкли и Уитни Робине. Единственным их снаряжением были акваланги. Водолазы-любители, естественно, никогда раньше не работали в таких условиях. Тем не менее в первый же день они выловили костяные серьги, затем полностью сохранившийся глиняный сосуд, кремнёвый нож и несколько других предметов. После этого находки посыпались как из рога изобилия — около 3000 различных предметов, преимущественно обломки древней керамики. Руководитель экспедиции Уиллис Эндрьюс записал тогда: «К концу первого сезона всем нам было ясно, что мы ухватили за хвост солидного археологического медведя». И Эндрьюс был полон решимости не выпускать из рук этого цибильчальтунского медведя.

В следующем году подводные работы были продолжены. На этот раз в состав экспедиции вошли не студенты — любители подводного спорта, а несколько профессиональных водолазов. Во главе их стоял Льюис Марден, снискавший особое признание тем, что неподалёку от острова Питкерна, в самом сердце Тихого океана, он нашёл остатки прославленного мятежного корабля «Баунти». Это было в 1956 году. Пять лет спустя Марден стоял с прекрасно снаряжённой группой водолазов на берегах сенота Шлаках и готовился опуститься туда, куда студенты со своими простыми аппаратами не смогли проникнуть. На краю колодца громоздились резервные кислородные баллоны, измерители глубины, электрические лампы, подводные камеры. А то, чего не смогла бы снять фотокамера, должен был зарисовать другой член экспедиции, водолаз-любитель, художник Бейтс

Литлхейлс. В экспедиции участвовали также мексиканец Эрл Бехт и юкатанский индеец Фернандо Эуан, работающий помощником Канто Лопеса в Юкатанском национальном музее.

Для Мардена и Литлхейлса, привыкших к пронизанным солнцем водам тропических морей, работа в сеноте была нелёгкой. Когда они метр за метром начали опускаться в глубь колодца, свет померк. На глубине 6 метров была уже полная тьма. В 10 метрах от поверхности они обнаружили вершину подводной горы из гальки и черепков. Здесь же оказались и десятки целых глиняных кувшинов.

Когда водолазы миновали гору из голышей, под ней, на глубине примерно 25 метров, они нашли своеобразный каменный порог, остатки нескольких тщательно обработанных каменных колонн. Индеец Эуан ещё до этого поведал Мардену одну майяскую легенду, которую до сих пор рассказывают юкатанские индейцы. Легенду о могущественном вожде, замок которого некогда стоял на берегу очень глубокого сенота. Однажды пришла к нему его мать и попросила, чтобы он дал ей из колодца немного воды. Властитель отказал матери и прогнал её. Такой поступок требовал наказания. Боги начали трясти землю, и прекрасный дворец вождя со всеми, кто в нём жил, обрушился в сенот.

Есть ли и в этой легенде доля истины? Кто знает. Во всяком случае, оба водолаза действительно нашли в сеноте Шлаках остатки многих хорошо обработанных и богато украшенных строительных деталей, колонны и даже большую дверную перекладину. Марден пытался при свете электрического фонаря найти иероглифические надписи, которые строители затонувшего дворца могли вытесать на известняковых камнях. Но все камни густо покрывала подводная растительность.

На следующий день водолазы отважились проникнуть ещё глубже в жерло колодца. 70 футов, 80, 90. Измеритель глубины перешёл сотню. А потом два смельчака достигли 120, 130, 140 футов ниже поверхности. Хотя они и нащупали дно, однако сенот ещё не кончался. Продолжением колодца был странный невысокий тоннель. Куда он ведёт?

Водолазы попытались проникнуть в него. Свет фонаря Литлхейлса выхватил из темноты какой-то предмет в виде браслета. Позднее оказалось, что это ручка глиняного кувшинчика. Литлхейлс хотел поднять находку, но по пояс погрузился в кашицеобразный ил. Взбаламученный ил поднялся вверх, закрыл свет электрических фонарей, и оба водолаза на минуту погрузились в ужасающую темноту. Когда ил осел, Марден и Литлхейлс попытались проникнуть ещё дальше в таинственный тоннель, но их дыхательные аппараты не были приспособлены к работе на такой глубине. И они стали медленно возвращаться. На другой день водолазы вновь отправились в тоннель. На этот раз они взяли с собой прочный нейлоновый канат и закрепили его пятикилограммовым якорем в устье тоннеля. Исследователи хотели проникнуть подальше, но, не проплыв и 15 метров, вынуждены были повернуть назад.

Сенот, не желавший раскрывать свои тайны, наказал обоих смельчаков. При возвращении они забыли об осторожности и поднялись на поверхность слишком быстро. В итоге — кессонная болезнь. Нужна была барокамера, но у археологов её не было, и водолазов пришлось срочно отвезти на джипе в Мериду. Оттуда они на специальном четырёхмоторном самолёте были переброшены в городок Панама-Сити во Флориде, где находился декомпрессионный центр американской армии. Через несколько дней оба были здоровы, но к цибильчальтунскому сеноту вернулся только один Марден. Он ещё несколько раз спускался в колодец, но до загадочного тоннеля больше так и не добрался.

Итак, вопрос о том, соединялся ли цибильчальтунский колодец этим тоннелем с другими водоёмами, остался без ответа. На другой вопрос: был ли сенот Шлаках, подобно чичен-ицкому «Колодцу смерти», местом человеческих жертвоприношений? — исследования дали положительный (хотя и не окончательный) ответ. В колодце удалось обнаружить человеческие — преимущественно женские — кости, в том числе и типично майяские уплощённые черепа, а также глиняную флейту, на которой играла либо несчастная жертва перед тем, как её сбрасывали в сенот, либо майяский жрец. Поверхность флейты была покрыта синей краской — обычным для майя символом жертвоприношения, что не оставляло сомнений в её погребальном назначении.

Всего же за четыре рабочих сезона со дна озера было поднято более 30 тысяч предметов, главным образом, керамических обломков и совершенно целых сосудов, а также костяная заколка для волос, украшенная обширной иероглифической надписью, жёлтый костяной перстень, костяное сверло, маленькая глиняная фигурка ягуара и много других вещей.

Евгения Манфановская

Грибной дождь

В мареве сиреневом, дородна и сонна́,
в вечер хлебный, сенный, выплыла луна.
По́низу, за крышей, закатилась в сад,
где средь винных вишен тени мягко спят.
Ну, а ночи, ночи—держи не держи—
за луной уводят в поле, без межи.
А луну, бездумную, водит август бережно.
Тропкой топкой, лунною, речка промережена.

Звон ландыша…
        В хрустальной свежести росы—
        упругость стебля, устремлённость,
        фарфоровая хрупкость колокольцев.
Он должен, должен зазвенеть!
        Невидимые струи аромата
        тончайшей чистоты струятся.
        Может статься,
        что и они звенят?
Звон—аромат
        живой воды,
        которою, не пригубив, напьёшься:
        представив, ощутишь
        и задохнёшься
        от изумленья, радости и полноты.
Звон ландыша…

Жар-цвет,
жар-цвет—
        цвет пылающих углей,
жар-цвет,
жар-цвет—
        завладел душой моей.
        Цвет зари, и сарафана,
        и сапожек из сафьяна—
жар-цвет,
жар-цвет.
        В ду́гах, блюдах, полушалках—
        от саней и до ракет—
        полыхает, будоражит
        душу русскую жар-цвет.
        Средь морозов—жар печей
        и сердечный жар речей.
        А румянец у девиц—
        позабудешь и жар-птиц.
        Он один на белый свет—
жар-цвет,
жар-цвет.

Ритмы века

Мода…
на урода

Бежать, догнать и победить,
подмять, урвать и утвердиться,
юлить, крушить, толкать и бить,
вгрызаться, дуриком пробиться,
исподнее поверх надеть,
а мысль душить, чтоб не затмиться.
Огонь души не разгорится.
Путь тлеет, чтоб не отлететь.
Да будет золото сверкать!
Да будет сила утверждаться!
……………………………
А Истине не привыкать
из тьмы и пепла возрождаться.

Золотое ожерелье
на груди Москвыземелья:
град Владимир, Суздаль, Гусь,
что Хрустальный. Ты ведь, Русь!
Всюду ширь, и мощь, и сказка,
дерзновенных красок пляска.
Самобытны мастера!
Мстёра.
Палех.
Хохлома.
Расписные терема,
золочёные цветы
оживали из мечты.
От российской доброты,
от душевной полноты
созидала радость ты.

Сыплет дождик.
Затянута дымкою даль.
                        Печаль
мягким облаком душу лелеет.
                        Белеет,
как чайка в волнах, монастырь.
                        Пустырь
расстилается бурою глиной.
                        Былиной
седою повеяло вдруг.
Как небо с землёю,
так со стариною
            смыкаемся в круг.

Мне одиночество так нужно.
Не обижайся, друг, позволь
побыть одной мне, незамужней,
тропинкой, ветром стать, дождём,
вернусь опять в твои ладони я
промокшим, но счастливым воробьём.

Лежит река.
Плывут облака—
ночь—день,
ночь—день.
Вода в реке
с берегами вскленьь.
Тиха река.
Низки облака.
Века плывут…
Плывут века…

Я собак не любила: боялась.
И, не зная людей, их чуждалась.
А теперь я людей понимаю,
а собак и люблю, и ласкаю,
и учусь я у тех и других
силе жизни и стойкости их.

Грибной дождь

Разнотравье. Разноцветье.
Солнце светит.
Дождик свесил
нитей пряди.
Сушит, глядя
разноцветными зрачками
рассыпающихся капель.

Евгения Виленская

Мне надо знать

От берегов родной земли
В туман уходят корабли.
Седые волны им бедой грозят опять.
И как дорога далека,
И как разлука нелегка,
Им не понять, мой капитан,
Им не понять.

А ветры злобные свистят:
«Верни скорей его назад,
С тобою море позабудет твой моряк».
Но как без неба птице жить—
В неволе песню не сложить.
Ведь это так, мой капитан,
Ведь это так.

Как долго длится эта ночь,
Но, чтоб тревогу превозмочь
И чтоб холодную тоску в душе унять,
Что в час любой в любом краю
Ты помнишь песенку мою,
Мне надо знать, мой капитан,
Мне надо знать.

Но верю я, но знаю я:
Тебя хранит любовь моя.
Ты на её волшебный свет придёшь опять,
Так будь спокоен, капитан,
Пусть шторм, и ад, и ураган—
Я буду ждать, мой капитан,
Я буду ждать.

Другу

Если плохо—приезжай,
В час любой я дверь открою,
Обниму и стол накрою.
Если плохо—приезжай.

Если грустно—позвони,
Посмеёмся, поболтаем,
Грусть твоя, как лёд, растает,
Если грустно—позвони.

Если трудно—приезжай,
Может, я помочь сумею,
Мы вдвоём вдвойне сильнее,
Если трудно—приезжай.

Одиноко?—позвони.
И поймёшь—в людской пустыне
Ты не одинок отныне—
Я с тобою. Позвони.

Если больно—приезжай.
Пусть обида сердце ранит,
Поделись—и легче станет.
Если больно—приезжай.

Если новость—позвони,
Нам одно судьба готовит—
Мы одной с тобою крови,
Если новость—позвони.

Если сбудутся мечты:
Ты—успешный, ты—любимый,
Будут ли необходимы
Эти встречи и звонки?

Ты—мой Боже, ты—мой рок…
Никуда потом не деться:
Для меня в счастливом сердце
Вряд ли будет уголок…

Владимир Крюков

Прогулки

Помнишь первые кафе со стойкой? [1]
Ты сидишь, задумчиво клонясь
над стаканом с клюквенной настойкой,
но глядишь как родовитый князь.

Твой последний рубль уже разменян,
но пока ещё осмыслен взгляд,
брось монету, чтобы Чеслав Немен [2]
нам пропел, как «dziwny jest ten swiat».

Этот свет и вправду свеж и чуден,
это наши, собственно, дела:
мы из общепитовских посудин
пьём, как из богемского стекла.

За окном почти начало лета,
так пойдём вдоль линии стальной.
Лебединой темой из балета
духовые плещут надо мной.

Музыка из городского сада [3],
не смолкай, хорошая, играй!
Как ласкала ты и потрясала,
забирала в свой знобящий рай…

Поднимался в старые трамваи,
заключал себя в квадраты рам,
три свои копейки [4] отдавая
мудрым пожилым кондукторам,

видел, как деревья молодели,
как несли небрежно свой наряд,
и катил, куда глаза глядели,
и летел, куда глаза глядят.

Тяжко, или звонко, или гулко,
но стучи, родной трамвайный ритм,
и другая вспомнится прогулка,
и душа опять заговорит,

снова наколдует, наворожит
зимнюю ночную канитель,
этот давний русский плен дорожный,
эту заоконную метель.

Потому-то рельсы всё да рельсы,
потому мы и ушли в бега,
чтоб вдали огнями разгорелся
край желанный—станция Тайга.[5]

И уже мы от себя не скроем,
что, поднявшись на крутой волне,
мы таким подхвачены настроем,
что сойдём за ангелов вполне.

Потому-то стуки-перестуки,
но в ночи рассыплет жемчуга
и протянет дружеские руки,
возникая, станция Тайга

Верю, мир опять предстанет странным
для тебя, товарищ, и меня,
старым привокзальным рестораном
пробуждая, радуя, маня.

Под густым, весёлым, инфернальным
снегопадом или ветром злым
почему бы не сказать банально,
как мы молоды и веселы.

И объята белою порошей,
ты—моя подруга и душа—
как была несказанно хорошей,
так ты и осталась хороша.

Как из пепла новый Геркуланум
ресторан в метели восставал,
открывались в блеске зеркала нам
и сражались сами наповал,

отражая молодых и тонких,
одухотворённых, чёрт возьми!
Дамы, белокуры, как эстонки,
нас встречали за его дверьми.[6]

Скатерти развёртывались с треском,
как в романах из далёких лет,
а снаружи гнал по занавескам
поездов транзитных яркий свет

…Мало нам для счастья было надо:
зелени, дождя, хороших слов,
девичьего искреннего взгляда,
лёгкости, открытости битлов.

Мы легко свои шаги уносим
вдоль по жизни ясной и прямой,
мы сегодня ни о чём не спросим
менторов с дырявою сумой,

умудрённых, даже безволосых…
Пусть они оставят нас одних,
мировые не для них вопросы,
и вопросы чести не для них.[7]

Им непостижимы музыканты,
что пошли с «Титаником» на дно.
Нет, не им выращивать таланты,
даже поддержать их не дано.

Но для смелых и высоких споров
место нам судьба нашла тогда.
Стены этих комнат, коридоров
помнят наши лучшие года [8].

В этом доме [9] так легко смеялись,
в этом доме так легко жилось,
вроде поколения сменялись,
а всё так же пелось и пилось.

Годы шли светло и сумасбродно.
Так ли продолжается доднесь?
Надо быть всему назло свободным,
чтобы жизнь понять и перенесть.

Знаем лёт стрижей и лёд мороза,
оба по живому режут твердь,
шутника былого рифма «роза»
не перечеркнётся рифмой «смерть».

Ты увидишь смерть ясней и резче,
лишь теряя близких и родных,
вот тогда из сокровенной речи
в горе и слезах родится стих[10].

Помнишь дни, когда, ещё безгрешен,
не взлетая, в облаках витал,
шёл на укрепление скворешен,
и тащил на школьный двор металл.

Весь в мечтах о светлом и высоком,
помыслы наивны и чисты…
Помнишь, как ворона влажным оком
грустно посмотрела с высоты[11].

Пусть *другие по живому следу…*
Друг мой, плагиатом не греши.
Но пора оплакивать победу
над бродяжьей сущностью души.

Что же, романтично подвывая
и сбиваясь на блатной мотив,
будем отходную петь трамваю,
сопли-слёзы по ветру пустив?

Но и вправду — за дугой трамвайной
магниевый остаётся след,
хлопает разряд, и звук случайный
сроден треску гибнущих планет.

---

1. Всем ветеранам нашего движения памятно кафе «Иней» на проспекте Фрунзе.
2. Чеслав Немен (1939–2004) — рок-певец и композитор, один из лидеров польского художественного авангарда.
3. В Томском городском саду летом играл духовой оркестр. Редко, но играл.
4. Три копейки — плата за проезд в трамвае во времена СССР.
5. На рубеже 60–70-х (некоторые называют и начало 80-х) студенты уезжали по ветке Томск — Тайга, чтобы провести ночь в замечательном ресторане, а утром вернуться в город. После чего до следующей стипендии надо было подтянуть пояса.
6. Кое-кто из катавшихся в Тайгу упрекнёт меня в недостоверности, дескать, не было белокурых красавиц-официанток и крахмальных скатертей. Но так запомнилось автору.
7. Инвектива в адрес некоторых преподавателей, не сумевших стать нравственным примером в жизни. Обвинение, пожалуй, отдаёт максимализмом.
8. Для автора данного текста это 1966–1973.
9. Университетское общежитие на проспекте Ленина, 49, где в то время жили физики, химики, историки и филологи.
10. Теперь зачастую мы — сокурсники — видимся в так называемом ритуальном зале, провожая в мир иной товарища студенческих лет. Тогда и рождаются строки памяти ушедших.
11. Упоминая мудрую птицу, невольно тревожим тени Василия Жуковского и Эдгара По. Но куда филологу деваться.

Сергей Хомутов

За кромкою закатного прилива

Век дожить бы в спокойствии, словно трава на лугу,
Как простые цветы, что сбегают к речушке с угора,
Но уже понимаю и чувствую — вряд ли смогу
Посреди ежедневного дикого спора и сора.

Только всё-таки самая малость надежды живёт,
Словно искорка света в осенней тускнеющей луже,
И кузнечик в груди умилённую песню поёт,
И не хочется думать сегодня о будущей стуже.

Невозможно смириться, что жалок последний порыв,
Что уже беспросветны мгновенья, бесплодны недели, —
Неужели все песни мои на единый мотив,
Неужели все божьи коровки мои улетели?..

Тот сгорел за десяток отчаянных лет
В беспощадном костре вдохновенья,
Но оставил в миру удивительный свет —
Постижения и откровенья.

А второго — спалила до пепла тоска
Безысходности
        в мире жестоком,
Но трагический образ вписал он в века
На тревожном надрыве высоком.

Третий — просто забыл сигарету в ночи
Затушить,
        и обуглилось тело,
Но небесные ангелы, словно врачи,
О душе порадели всецело.

Пролетает крылатый мифический конь,
К облакам серебрящимся рвётся.
И дрожит над землёю прекрасный огонь,
И звучанье из пламени льётся.

Век однодневки-бабочки печален,
Хоть с виду эта бабочка игрива,
Но день отчален и уже причален
За кромкою закатного прилива.

Она способна мир обнять мгновенно,
Отдать себя цветам и тёплым травам,
Но крылышки её одновременно —
И платье подвенечное, и саван.

Перед тем, как сгинуть в Лету
От болезни да тоски,
Дайте отдохнуть поэту
В тихом парке у реки.
Посмотреть на самоходки,
Что скользят по синеве,
Дайте выпить стопку водки,
А возможно, даже две.
И, чтоб вправду насладиться
На денёк, на вечерок,
Дайте в женщину влюбиться,
Плюнув на пустой зарок.
Ну, а если уж по полной
Раскрутить ещё верней —
Дайте жизнь ему наполнить
Высотою прошлых дней.
Хорошо в саду поэту,
Размечтался — не унять,
Если б это всё, то Лету
Ни к чему и вспоминать.
Но покуда полдень ярок —
Листья, травы, мотыльки, —
Каждый миг его — подарок
В тихом парке у реки.

Не в рифмочки всю жизнь играю,
А, восторгаясь иль скорбя,
По сути, явно собираю
Досье на самого себя.
Поскольку не одни победы
Выносятся на белый свет,
А все грехи мои воспеты,
Ну, а за них — держать ответ.
Порывы, слабости, сомненья —
Всё в строки выплеснуто мной,
К чему такие откровенья,
Подумает собрат иной.
Но как иначе, если гложет
И выпустить себя велит,
И спрятаться душа не может,
А от сокрытия болит.
Досье упорно собирая,
Ты выбор делаешь судьбой,
С тоской и страхом понимая,
Что приговор — не за тобой.

Год из года ты хочешь в порядок балкон привести,
Только не получается,
эти старанья бесплодны,
Сколько здесь накопилось предметов, ненужных почти,
И вещей, что сегодня изношены или не модны.
Сотни книг, перечитанных мною,
в эпохе другой—
Для меня они были привычным и добрым семейством,
Простоватая куртка далёкой поры заводской,
Сапоги, отслужившие на полигоне армейском.
И сапожки твои, что с таким доставали трудом
В незабытом вчерашнем,
когда ничего не хватало,
И какие-то кружки, горшки, заполнявшие дом,
А теперь вот—иному и новому время настало.
С ними память уходит,
а память всегда дорога,
Даже в малом её
слишком жалко так просто утратить,
На помойку снести—
не подымется сразу рука,
Бесконечны попытки с былым отношенья уладить.
Да и память ли только хранится, пылится года
На балконе у нас,
в непонятном для прочих порядке?
Это—жизнь, наша жизнь
перед тем, как уйти навсегда,
Задержаться пытается тщетно на узкой площадке.

В блаженной тишине и на ветру крутом,
На рельсовых путях и на речных извивах,
Что жизнь всегда права,—
я принимал с трудом,
Поскольку был горяч и одержим в порывах.

Но времени закон и возраста налёт
Давили неспроста и строгостью пытали,
Всё чаще по усам стекал, как в сказке, мёд,
Хмельные дозы в рот уже не попадали.

Я тёр побитый лоб, ладони бинтовал,
И, где бы мог найти,—подсчитывал потери,
И чаще размышлял, и реже бунтовал,
Не впрыгивал в окно, войти старался в двери.

Любимых и друзей всё больше сберегал
И не впадал уже в дешёвые интрижки,
С обиды не зверел, от злости не алкал,
И с полки доставал возвышенные книжки.

Теперь, на склоне лет,
на грустном рубеже,
Отброшены сполна давнишние сомненья,
Что жизнь всегда права—испытано уже,
А смерти не нужны и вовсе наши мненья.

К тихому саду пустая дорога
Снова привычно меня привела,
Осень ещё ожидает немного
Милого сердцу земного тепла.

Но в глубине, за кустами сирени,
Всё ощутимее летний исход
И нависают крылатые тени,
И заслоняют собой небосвод.

Осень! Великое царство прощанья
В робкой надежде на будущий срок,
Воспоминания—как завещанья
Всем и всего, что ещё уберёг.

Вспомнишь. И станет немного светлее,
И в одиночестве чутком своём
Долго стоишь в затаённой аллее,
Там, где когда-то бродили вдвоём.

Анатолию Грешневикову

Какие луга разливанные тут,
Дома по ручью, а не зданья…
О, родина предков—простор да уют
И тихие воспоминанья.

Ворона хозяйски сидит на трубе,
Собака наводит порядок,
И словно три века сроднились в тебе,
А может, и целый десяток.

Они растворились в просторе, и ты
Вдохнул эту быль, как сказанье,
А вдоль по откосу такие цветы,
Что им не придумать названье.

Вбирай благодать этих милых земель,
Чьё ветром навеяно имя,
Где точно боярин под шубою—шмель,
И бабочка—словно княгиня.

Начало века

Высокое предназначение
Сменяет явственность иная,
И в том совсем не отречение,
А неизбежность временная.

Пытаясь разглядеть весомое,
Полупустое видим рядом—
Предназначение высокое
Изжито нынешним укладом.

Хотя и остаёмся зрячими
И землю чувствуем ногами,
Но жалок меж собачьими
И тараканьими бегами.

Алексей Васильев

С Богом на Вы

Работяги, возвращающиеся с месячной вахты, пили без устали. Семеро мужиков с утра как сели на поезд, собрались возле свободной боковушки в конце вагона, и — понеслось. Места у всех разные, но «можно мы с друзьями немножко посидим», и вскоре двое нижних пассажиров купе прокляли всё на свете — пока работяги были трезвые, сдуру разрешили, а те мгновенно набрались и расходиться уже не желали вовсе. Кому не хватило места, сидели в ногах и сейчас беззастенчиво ворочались вонючими жопами, устраиваясь вольготнее.

В душном вагоне пахло дешёвой палёнкой, носками и жареной курицей. Часто то один, то другой работяга, забывшись, вытирал жирные руки о чужие простыни. Стоял матерный шум. Кто-то достал колоду.

— Покурим сперва, — решили мужики. Пассажиры вздохнули с облегчением и злорадством — пока те дымят в тамбуре, вытянут ноги, лягут пошире и притворятся спящими, чтобы не пускать обратно.

Но не вышло, работяги и спрашивать не стали, плюхались с размаху, бледнолицему мужчине с заячьей губой отдавили ступню, а его сосед, толстяк в очках, едва успел поджать ноги. Связываться — себе дороже, хари у работяг раскраснелись, глаза стеклянные, а поведение — развязное и даже какое-то агрессивное. Такие в рожу сунут — за здорово живёшь, а наутро, когда приедут к жёнам, пропив весь заработок, чтобы месяц сидеть на шее — и не вспомнят.

— …Коллектив у нас дружный, так что вливайся. А то — неродной прямо… — говорил мужик с коричневым рябым лицом. Казался на фоне остальных он порассудительней, потрезвее и даже в карты не играл — бугор. — Месяц отработал — почитай свой! Не новичок…

— Я вольюсь… — громко сглотнув, ответил худой парнишка, похожий на мухомор. Только мухомор красный, с белыми пупырками, а этот — наоборот, бледный, как обморок, но густо обсыпанный ярко-красными прыщами. От карт он, как и бугор, отказался, судя по всему — боялся продуть заработок ушлым товарищам.

— Ну, давай тогда… ещё по одной!

Парнишка заискивающим движением чокнулся с «начальством», пролив половину на засаленные брюки. Суетливо выпил — тут же покраснел, надулся, как жаба, водяра явно пошла не в то горло, но кашлять не решился — несолидно…

Было видно, что пьёт «мухомор» с коллективом первый раз — верно, бугор на работе не поощряет, ну и правильно, а вот по дороге домой можно и разрешить посвинячить… так, чтобы за двое суток забыли, сколько денег заработали, а сколько пропили и сколько рассудительный старшой сунул себе в карман.

— Я вот на судостроительном начинал, — вспоминал бугор. — Сборщиком… потом в сварщики подался, потом женился, дома жил… А позвали — снова на верфи махнул… три года уже вахтой работаю, месяц там — месяц дома.

— А вам не надоедает? — застенчиво спросил парнишка.

— Мне — нет, — вздохнул бугор. — А вот тебе может и надоесть. Но тут от коллектива зависит… У нас — мужики нормальные. Да сам видел, месяц из одной миски ели.

— Видел, — закивал парнишка. — А вы…

— Постой… — перебил его бугор. — Ты мне вот что скажи, зачем грубишь? Ты не обижай меня…

— Я вам… ой, когда?

— Не выкай! На ты ко мне говори! Ко мне все мужики на ты, все работяги, всё начальство! А ты обижаешь! Если кто выкает, я всегда говорю — я с Богом на ты, ясно? А ты кто? Так, человечишко… А мы работаем вместе — коллектив… и, пока я — старший, никому не позволю в нём выкать! Я с Богом на ты, — горделиво повторил всё-таки изрядно датый бугор. — Уважение к людям требуется высказывать! Мы, работяги, простой, бесхитростный народ.

Парнишка принялся застенчиво извиняться.

Поезд нёсся сквозь славную ночь. Мужики галдели, жрали курицу, но потом разбили бутылку, и кто-то наблевал на пол, после чего работяги трусливо разошлись по местам.

— Тряпку бы сволочам в руки дать и пусть чистят за собой, — яростно прошептал осмелевший толстяк.

— Нагадили и ушли, — поддержал его мужчина с заячьей губой.

— Надо бы проводника позвать… а лучше — милицию, сейчас в поездах дежурят, — предложил толстяк.

Но сосед не ответил, притворился спящим. А скоро и толстяк захрапел. Не спал только пассажир с верхней полки. Он слышал всё — и пьяные разговоры освиневшего мужичья, и робкий шёпот соседей. Но особенно ему понравилась беседа начальника с парнишкой-мухомором.

«Я с Богом на ты» — с удовольствием повторял про себя пассажир. А верно, потому и прячется от таких Господь на небесах. Грубияны! Ишь, на ты он… а Господь-то не против? Постой-ка, а ведь и правда — даже в молитвах к Господу на ты обращаются… гм, гм… а может, оттого и не внемлет он?

С утра похмельное мужичьё собралось вновь, желая продолжить пиршество. Бугор выкатил ещё несколько пузырей — пусть, стоит недорого, зато уважать будут больше, а придираться — меньше, особенно к тому, как он деньгами, отпущенными на бригаду, распоряжается, не утаивает ли чего.

Забулькала сивуха, наполняя мутные стопки, а добропорядочные пассажиры мужественно приготовились к новым страданиям. Но не успели мужики пропустить по первой, как в вагоне внезапно и резко загустел воздух. Словно лиловый туман пал на похмельную шоблу.

А когда рассеялся — всё мужичьё исчезло. Без следа — даже под столом было чисто, будто проводник не дрых сам с перепою, а не забывал про влажную уборку…

Пассажир с верхней полки улыбнулся. Ишь ты, думал он, — с Богом на ты… то-то и молчит Господь. Вежливость — она даже ему приятна. Мигом исполнит, что попросишь.

Ольга Берггольц

Мы не могли иначе

29 января 1942

Отчаяния мало. Скорби мало.
О, поскорей отбыть проклятый срок!
А ты своей любовью небывалой
меня на жизнь и мужество обрёк.

Зачем, зачем?
Мне даже не баюкать,
не пеленать ребёнка твоего.
Мне на земле всего желанней мука
и немота понятнее всего.

Ничьих забот, ничьей любви не надо.
Теперь одно всего нужнее мне:
над братскою могилой Ленинграда
в молчании стоять, оцепенев.

И разве для меня победы будут?
В чём утешение себе найду?!
Пускай меня оставят и забудут.
Я буду жить одна — везде и всюду
в твоём последнем пасмурном бреду…

Но ты хотел, чтоб я живых любила.
Но ты хотел, чтоб я жила. Жила
всей человеческой и женской силой.
Чтоб всю её истратила дотла.
На песни. На пустячные желанья.

На страсть и ревность — пусть придёт другой.
На радость. На тягчайшие страданья
с единственною русскою землёй.

Ну что ж, пусть будет так…

Из блокнота сорок первого года

В бомбоубежище, в подвале,
нагие лампочки горят…
Быть может, нас сейчас завалит,
Кругом о бомбах говорят…
…Я никогда с такою силой,
как в эту осень, не жила.
Я никогда такой красивой,
такой влюблённой не была.

И я не могу иначе…
Лютер

Нет, не из книжек наших скудных,
Подобья нищенской сумы,
Узнаете о том, как трудно,
Как невозможно жили мы.

Как мы любили горько, грубо,
Как обманулись мы, любя,
Как на допросах, стиснув зубы,
Мы отрекались от себя.

Как в духоте бессонных камер
И дни, и ночи напролёт
Без слёз, разбитыми губами
Твердили: «Родина», «Народ».

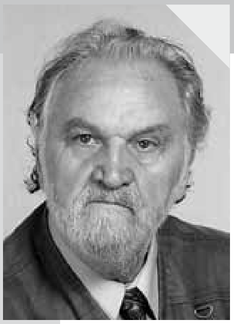
И находили оправданья
Жестокой матери своей,
На бесполезное страданье
Пославшей лучших сыновей

О дни позора и печали!
О, неужели даже мы
Тоски людской не исчерпали
В открытых копях Колымы!

А те, что вырвались случайно,
Осуждены ещё страшней.
На малодушное молчанье,
На недоверие друзей.

И молча, только тайно плача,
Зачем-то жили мы опять,
Затем, что не могли иначе
Ни жить, ни плакать, ни дышать.

И ежедневно, ежечасно,
Трудясь, страшилися тюрьмы,
Но не было людей бесстрашней
И горделивее, чем мы!



Александр Егоров

Шок

Цитадель

Нравы города нашенского

Не тайная, но странная вечеря состоялась намедни в городе нашенском. Один мастер спорта по боксу и очень авторитетный писатель (конечно же, член Союза, секретарь, как водится, лауреат премии имени Винни-Пуха, личный друг и тренер Винни-Пуха и т. д.) в роскошном ресторане провёл презентацию своего четырёхтомного криминального романа. Вот названия нескольких книг: «Рывок во власть», «За чертой закона» и т. д. Все «тостуемые пили до дна». Стол пафосный, статутный, на сорок персон. Описывать его не стану. Большинство читателей вашей газеты никогда в жизни и половины не пробовали таких блюд. Да проживи они ещё и до ста лет — таких блюд не увидят. Бабла в криминальной столице Дальнего Востока хватает. Аналитики утверждают: после Москвы и Санкт-Петербурга — третья! Поскольку Владивосток — город морской, вместо свадебных генералов за столом сидели сразу два адмирала, друзья-капитаны, порадевшие издатели, паны-спортсмены, другие уважаемые люди. И один не менее авторитетный (в бытность коего сгорела бухгалтерия и был убит один сотрудник) мэр который, более десяти лет тому назад способствовал вероломному захвату власти в нашей Цитадели и отставке другого, патологически честного мэра, после чего был замечен, оценён и взят в артельную команду самого аристократичного в те годы губернатора, который сейчас ходит в советниках у кремлёвских. Так вот, в числе первых дали слово и этому отставному славному малому, карманы которого трещат от зелени. Именно в его бытность на посту градоначальника сто с лишним муниципальных объектов за бесценок перешли в собственность его родни и «нужных» людей. Конечно, помимо талантов автора, его крутого бестселлера, экс-мэр полчаса говорил о своём послужном пути, карьерном росте, трудовых подвигах на море и на посту первого секретаря райкома КПСС, как много он сделал для Системы. Между тем, четырёхтомник расходился с лёту. Листали, читали, хвалили. Персонажи каждого тома были легко узнаваемы. Схемы, наезды, отстрелы, взрывы, захваты, откаты. Серые, чёрные, деревянные, зелёные. Кто, кому, когда, сколько? На сколько? В смысле — залетел. Имёна чиновных выжиг, братков-соборян, их жён, которые в нынешние времена участвуют даже в поместном Соборе — все, до одного (от греха подальше?) слегка изменены. Легко узнаваемый местный Смотрящий (бывший десантник) кремлёвскими назначается главой администрации Северного округа. На другого Смотрящего (автора слогана: «Нам здесь жить!») с санкции прокурора делают наезд силовики. Обыскивают три его сейфа (в том числе и служебный), находят массу компромата, говорят ему: «Тебя посодют!» Да не тут-то было! Приключается с ним кондрат. И лишь недруги-заказчики злословят, дескать, медвежья болезнь. Но он — при помощи неподкупной медицины?! — доказывает свою неизлечимую болячку, которую можно излечить только в Кремле и по кремлёвским особым рецептам. Простите, чуть было не сказанул: по расценкам. Жена, владелица состояния равного годовому бюджету всего приморского края, заказывает персональную инвалидную коляску, в беспамятстве грузят несчастного деятеля, по слухам, на персональный самолёт и увозят в столицу. После нескольких дней томительного ожидания приёма (!) кремлёвский Эскулап всё-таки вырывает государственного Смотрящего по Дальневосточной стройке века из лап смерти. Но и не только по стройке. Телекоммуникациям, рыбе, лесу, пограничным переходам, таможне, десятку морских портов, редкоземельным ископаемым и много ещё чему другому, методично оседающему в карманах столичных чиновников. Против чего, разумеется, протестуют местные. Как так?! К власти шли вместе, да не все остались на местах. Не по понятиям, мол, ведёт себя Шепелявый! Всё это частью есть в предыдущих четырёх томах, остальное будет в пятом томе. Нам остаётся только догадываться, кто заказал обедню, в смысле — этот обед-вечерню? Ровно через год авторитетный автор авторитетно обещал презентовать точно в этом же «Райском ресторане» и точно этому же составу гостей-соратников. Как говорят чукчи: пожуём — увидим.

Шок

«Встреча человека с коммунизмом происходит в два тура. В первом туре всегда выигрывает коммунизм; как дикий зверь, он прыгает на вас и опрокидывает. Но если есть второй тур, то тут уж почти всегда коммунизм проигрывает. У человека открываются глаза, и он замечает, что преклонялся перед обманом, нарисованным на рогоже. И получает прививку, навсегда».

А. И. Солженицын

5 марта 1953 года в рабочем посёлке Поронайского целлюлозно-бумажного комбината закончился обычный день. Наступил промозглый вечер.

Тусклое освещение пустынных улиц, пронзительный ветер. Ни собак, ни кошек. Плодиться не успевают: в посёлке проживает несколько сотен корейских рабочих. Н-образное общежитие переполнено до отказа. Холодную сутемень улиц разбавляют тусклые фонари. Поселковую площадь образует каре из двух магазинов и двух общежитий: нового, недавно построенного из добротного лиственничного бруса, и старого, ещё японской постройки. По всем четырём фронтонам зданий—плакаты: «Слава КПСС!», «Слава народу—победителю!», «Выполним пятилетку досрочно!», «Слава Великому Сталину!»

А Сталин сильно болен. Донимает радио. По несколько раз на дню, разрывая сердце, твердит одно и то же. Про самочувствие Вождя. А оно—без всякой надежды. И надо идти в третью смену на комбинат. К этому времени я считался опытным электриком, перворазрядником по шахматам. Если кому случалось быть на больничном, в смену выходил один. Энергетик доверял. Смешно, но никто не знает, что мне ещё нет и семнадцати. После смерти родителей, чтобы определить в ремесленное училище, по просьбе старших сестёр, сердобольное поселковое начальство тринадцатилетнему мальцу приписало два года. В пятнадцать лет я получил 4 разряд электромонтёра промышленного оборудования. Хотя по правилам техники безопасности для самостоятельной работы нужны полные восемнадцать лет. А тут ещё и ночные смены. Вдруг узнают—то-то будет переполоху!

Торцовая комната общежития выходит окнами на площадь, а там—Слава да Слава! Занавесок на окнах нет, тусклый свет уличного фонаря не даёт вздремнуть. Поразмыслив, решаю идти в цех, осмотреть оборудование, а там и прикорнуть. Дисциплина—дисциплиной, но и телу можно подыграть. Вздремнуть часок-другой—святое дело. Сборы пару минут, пять минут до проходной и три минуты до цеха.

Успеваю заметить: на фоне пасмурного неба, попыхивая дымом, поблёскивают два ряда цветных навигационных огней. Это маячит самая высокая на Сахалине стошестидесятиметровая труба. С лесобиржи доносится скрежет цепей лесотасок, грохот окорочных барабанов, монотонный шум насосной станции; как бы прикуривая, пыхтит ТЭЦ. Комбинат грохочет огромными цехами, сверкает огнями содовых и известковых печей сульфитного цеха. Сульфатный цех вздыхает горячим, стопятидесятиградусным паром варочных котлов. Всё оборудование иностранное. Кроме японских моторов, есть и немецкие, самой авторитетной фирмы «Сименс и Шуккерт», а весь привод называется «Вард-Леонард», с четырьмя вращающимися прессами и восемью парами огромных, четырёхметровых сушильных барабанов. Проходит бревно весь этот цикл, а на выходе машина выдаёт бумагу…

Вот и древесный цех, захватанная масляными руками дверь дежурки. Нина Чешегорова уже одной ногой на пороге. «Всё в порядке?»—«Да».—«До свидания».—«До свидания». Один… Бросил взгляд на электрические настенные часы: получается, что Нина ушла на полчаса раньше. Да и ладно. В столе библиотечная книга «Военные произведения» Энгельса. А там—обидное про нашего генералиссимуса Александра Суворова. Все его громкие победы приписываются только русскому солдату, его бессрочной службе, а не лично полководческому гению. Я, конечно, уважаю Энгельса, но ещё больше уважаю Суворова. С выводами марксистского классика категорически не согласен. Начитавшись различных книг, наперечёт знаю все сражения Суворова, все его победы, одна другой ярче и оглушительней. Уверен: все русские генералиссимусы—не чета иностранным! Тем более—Сталину! Болеет, но кто не болеет? Вот бы… изобрести самое лучшее лекарство. Только жаль, на Сахалине совсем другие травы, слабые. В Сибири много крепче. А то в тот же день бы телеграфировал в Москву. Так и так, мол, я своё дело сделал, слово теперь, дорогие эскулапы, за вами. Это слово я совсем недавно записал в свою толстую тетрадку иностранных слов. Например, услышу новое слово по радио, пожалуйста, извини-подвинься—в тетрадь. А тетрадь толстая. Только беречь надо. Одну уже упёрли. Общежитие есть общежитие…

А если… сдать Вождю кровь для переливания—я первый. Пожалуйста. Ведь для него, освободителя братских народов Европы, победителя Гитлера и японских самураев, ничего не жалко. Любой советский человек отдаст свою кровь. Кто как, а я готов отдать хоть по капле. И не дрогну, не жалко. Да кому жалко? Разве что какому-нибудь паршивому власовцу. В Поронайске два лагеря, и там их, этих извергов, полным-полно. Иногда хожу мимо одного из них, вижу их сквозь колючку, и, что характерно, лица обыкновенные: увидишь, сразу и не подумаешь, что это—матёрый враг народа, стрелял и убивал советских людей, быть может, даже пытал наших людей. Ужас…

Стены дежурки тонкие, рабочие бригады сделали пересменку. Начинает нарастать визг пил, лязг колунов и грохот рубмашин. Откуда-то прохватывает холодом. В таком случае лучше всего смена проходит в красном уголке: бильярд, шахматные задачи, то-сё. Пять шагов, вот и тёплый бетонный куб—красный уголок. Прямо у входа—бильярдный стол, направо—вперемежку длинные и короткие щербатые деревянные лавки и длинный, сделанный из вагонки стол. За ним обедают рабочие, а после полчаса забивают на нём козла. На сцене, в углу, стоит радиоприёмник «Балтика», а на столе президиума, покрытом кумачом, всегда лежат шахматы, шашки и домино. В углу переходящее Красное знамя, бахрома которого слегка прикрывает радиоприёмник…

И вдруг—хлёсткий удар под дых: «*Сегодня ночью умер кровавый диктатор, тиран русского народа Иосиф Сталин…*» Ясно. Чётко. Без хрипотцы, без глушилок. Что-что?! Это страшное в кумачовом углу изрыгает премиальный приёмник. Бильярдный кий застывает в руке. Ближе… ближе к приёмнику. И… понеслось… выступление за выступлением. Русский писатель… лейб-гвардии полковник… художник… протоиерей… изобретатель…

инженер-судостроитель… статистик… крестьянин… И ни слова сожаления, а только бесконечная хула, гадливая, торжествующая радость. Нет конца и края позорной клевете, поклёпу на лучшего из лучших, любимого Вождя! Тридцатилетняя диктатура… Пытки… Судебные процессы… Первый московский… Второй… Расстрелы заложников, соратников. Ссылка и переселение целых племён и народов. Немцы, эстонцы, латыши, литовцы, ингуши, чеченцы, татары, курды, греки, поляки, болгары, калмыки[1]… Миллионы выживших страдальцев, миллионы погибших, миллионы бежавших за границу. Агабеков, Мальсагов, Бажанов, Орлов, Кривицкий, Порецки. Соловки, Беломорканал, Печора, Карлаг, Озерлаг, Ванино, Находка, Магадан, тюрьмы и лагеря. Стоп-стоп! В лагерях-то сидят власовцы! Чего их жалеть, так им и надо, предателям. Но вот говорит какой-то чудом избежавший возмездия власовец…

Не мешкая, в цех! Пусть ещё кто-нибудь услышит. Между двумя транспортёрными потоками мелькнула прогонистая фигура тридцатилетнего сменного мастера Игоря Октябрьского. К нему—и с ходу: «Игорь! Умер Сталин!» Тот, испепеляя взглядом, чётко расставляя слова и буквы, шепчет: «*Тише, не ори!*»—«Правда-правда…»—«За-мол-чи! Не-е хо-чуу слу-ша-ать!»—«Но это правда, я сам слышал по радио».—«Какому ещё радио?»—«По радио сказали, что сегодня умер кровавый тиран русского народа Иосиф Сталин». Двухметровый Игорь переломился пополам, стеклянные глаза покрываются ледяной полудой, вибрируя всем телом, складным метром наклоняется к моему уху и грозно выдыхает: «Ты что-о?.. В ла-агерь захоте-ел?!»

О чём говорить с этой трусливой жердиной?! С рабочими не поговоришь, заняты. Надо найти помощника мастера Толю Крылова, моего ежедневного напарника по шахматам. Вот и он, в полувоенной тужурке и в сталинской кепке, яловых сапогах, коренастый, по-бульдожьи прогонистый, но всегда по-товарищески настроенный на доверительный разговор. Уж он-то выслушает. Обращаюсь к азартному Крылову как к приятелю: «Толя, Сталин умер!» Тот пулемётной скороговоркой: «Я тебя сегодня не видел, ничего не слышал. Ты мне ни-че-го не говорил! Понял? Иди!». Заглянул во все углы, прошёлся тренированным глазом по цеху и стал таким же каменно-чёрным, ледяным, как и мастер с чудной фамилией Октябрьский.

Чёрт с вами!.. Пойду к косолапому на один глаз бригадиру Ивану Демьяновичу Бобову. Он крепко пьющий, по пьяни, судорожно захлёбываясь, часто присказывает: «Ти-ти»—дескать, ты мне… ну и назвали Тимьян. Наш Тимьян всегда пьян. Он стоит у первого колуна, железным крючком снимает с транспортёрной ленты и ловко подставляет под удар колуна кряжистые лиственничные сутунки, потом эти же половинки-четвертинки возвращает на транспортёр. Дождавшись паузы, выкладываю ему: «Тимьян, ты слышал? Сталин умер!». Тот, дёрнувшись, отшатнулся, и чуть было не угодил под колун. «Ти-ти, ври больше, да не завирайся. Уходи, а то под колун подставлю! Он не умрёт, все грузины живут до ста лет и больше, так и знай, вот увидишь!» И ухватился за ещё более увесистый чурбан. Колун зачастил: хряп, хряп… Только щепки летят.

И этот не верит. Почему?! Оглянулся… А к нечаянному вестовому всечеловеческого горя, точно сговорившись, с двух сторон, нервно, почти вприпрыжку, вышагивают мастер и помощник мастера, оба грозно машут кулаками, из-за грохота не слышно, но что-то выговаривают. А что тут скажешь? Умер! Умереть-то Вождь умер, но и начальники—от неведомого страха!—чуть было не окочурились. Ни к чему дожидаться мастеров, в азарте через пожарный выход ускользаю на первый этаж цеха. Заглядываю в каптёрку к смазчику Косте Белову. Нелепо заигрывая, почти юродствуя, с лёгким холодком в голосе спрашиваю: «Костя, Костя, можно в гости?—и, захлопнув за собой дверь, едва передохнув, оглушаю:
—Костя, Сталин умер!» И с тем чуть ли не кондрат! Бледно-серое лицо, трясущиеся руки, хриплый голос: «Кто тебе сказал?»—«Радио!»—«Какое радио?»—«Что в красном уголке».—«Не может быть!»—«Видно, может. Ты же знаешь, раз сильно хворал, вот и умер. Что такого? Лишь какие-то дураки радуются, обзывают—тираном». Костя в полуобморочном состоянии спрашивает: «Каким тираном?» Скороговоркой выпаливаю: «Кровавым!» Костю не держат отмороженные ноги, не глядя, садится в ковш с солидолом, шепчет: «Во имя… святых, уходи. Тебя жареный петух ещё не клевал, а у меня сироты, и… я знаю… наше радио не может так сказать. Это враги устроили провокацию, вот ты и попался. Хоть меня не тяни за собой, прошу, уходи… Групповщиной… 58-й пахнет… не хочу в потюремщики…»

В азартном помрачении думаю: к кому ещё можно пойти? Да к шорнику Семёну! Тот смелый, озорной, бывалый фронтовик, с орденами и шевронами за ранения, пьяница и матерщинник, одним словом, из штрафников. К кому, как не к нему! Пойду-ка да позову его в красный уголок. Сюрпризом. У шорника самая большая подсобка, а в ней горы невиданной длины и ширины ремней. Ясно, и японские ремни, бывает, рвутся. Для того и держат сменных шорников. Семён из них старший, всегда в работе, но на любое предложение компанейская его душа легко соглашается. Тот, что-то прочтя на моём лице, с полуслова соглашается. Идём. А красный уголок… закрыт на замок. Не беда, в дежурке электриков есть запасной ключ. Берём, открываем. Но… приёмник молчит. Включаем, крутим ручки. А-а, понятно!.. Кто-то с мясом выдернул шнур из приёмника, запах горелой изоленты ещё висит в воздухе…

И только утром, идя со смены в общагу, на дороге увижу встречных, странных и непонятных, с траурными чёрно-красными повязками, навзрыд плачущих людей… но сам заплакать не смогу… С тех пор все наши вожди для меня—на одно лицо…

Кто вырвал шнур, более-менее понятно, но кто включил приёмник и настроил его на волну «Голос Америки»? Неясно. Крылов? Октябрьский?

---

1. Потом (в Сибири и Казахстане) я бок о бок буду жить с этими людьми.

Но и это ещё не такая мудрёная загадка. Самая заковыристая такая: до старости хорошо помню начало ночной смены — ноль часов с 5 на 6 марта. Приём смены, чтение книги. Всё это — не более двух часов. Следовательно, слышал в два часа ночи. Получается, что в красный уголок я вошёл в два часа ночи 6 марта. Значит, кто-то заранее включил приёмник. И ровно в два ночи заговорил диктор «Голоса Америки»: «Сегодня… умер кровавый диктатор…»

Разница часовых поясов Сахалина и Москвы составляет 8 часов, а Сталин, как известно, умер в 21 час 50 минут московского времени. Если отнять (разницу поясов) от 2 часов ночи 8 часов — получим *18 часов дня 5 марта 1953 года* московского времени!.. То-то! За-гад-ка. Да ещё какая. Ведь надо отдать команду на радио, согласовать с цензором, сообщить: «Urbi et orbi». Но и там: всё это надо обработать, согласовать с руководством, а после — дать в эфир… а мы на Сахалине смогли услышать это в 2 часа ночи. Нестыковка с официальным временем составляет 4 часа! Но разница-то между Москвой и Сахалином целых 8 часов! Значит, мы на Сахалине услышали это сообщение *за четыре часа* до смерти Сталина!.. Более полувека меня мучает эта «часовая» разница/загадка.

P. S. Чтобы расставить все точки над i. Предлагаю заключить джентльменское соглашение с правительством США. Пусть откроют: каким образом и в какое время к ним попало известие о смерти Сталина? Ведь мы (в начале девяностых годов) выдали им секреты прослушки их посольства. А это куда больший подарок, чем замшелая новость. В случае заминки можно и самим установить эту истину. Как?

Сообщаю: в нашем государстве должны сохраниться технические отчёты прослушек, глушилок, бесчисленные докладные стукачей. В том числе и о моём спонтанном (юношеском) поведении. Стоит только поскрести по сусекам и подвалам известной Конторы и свести это в единое целое — всё станет ясней ясного. Но надо поторопиться сделать это при вменяемом Бараке Обаме.

ДиН антология
100 лет со дня рождения

Александр Твардовский

Речь не о том, но всё же…

Со слов старушки

Не давали покоя они петуху,
Ловят по двору, бегают, слышу,
И загнали куда-то его под стреху.
И стреляли в беднягу сквозь крышу.

Но, как видно, и он не дурак был, петух,
Помирать-то живому не сладко.
Под стрехой, где сидел, затаил себе дух
И подслушивал — что тут — украдкой.

И как только учуял, что наша взяла,
Встрепенулся, под стать человеку,
И на крышу вскочил, как ударит в крыла:
— Кука-реку! Ура! Кукареку!

О скворце

На крыльце сидит боец.
На скворца дивится:
— Что хотите, а скворец
Правильная птица.

День-деньской, как тут стоим,
В садике горелом
Занимается своим
По хозяйству делом.

Починяет домик свой,
Бывший без пригляда.
Мол, война себе войной,
А плодиться надо!

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В то, что они — кто старше, кто моложе —
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, — речь не о том,
но всё же, всё же, всё же…

Перед войной, как будто в знак беды,
Чтоб легче не была, явившись в новости,
Морозами неслыханной суровости
Пожгло и уничтожило сады.

И тяжко было сердцу удручённому
Средь буйной видеть зелени иной
Торчащие по-зимнему, по-чёрному
Деревья, что не ожили весной.

Под их корой, как у бревна отхлупшею,
Виднелся мертвенный коричневый нагар.
И повсеместно избранные, лучшие
Постиг деревья гибельный удар…

Прошли года. Деревья умерщвлённые
С нежданной силой ожили опять,
Живые ветки выдали, зелёные…

Прошла война. А ты всё плачешь, мать.

Вячеслав Войлоков

Моя прекрасная ведьма

Последний раз я видел его на одном из вечеров встречи в школе много-много лет тому назад и потому с любопытством рассматривал теперь все изменения, происшедшие с того далёкого времени в облике моего одноклассника. Мы столкнулись с ним совершенно случайно нос к носу на тоскливейшем новоселье в доме одного из моих многочисленных шапочных знакомых. По странной иронии судьбы, дом этот находился как раз на противоположной стороне земли по отношению к тому месту, где стояла (и, надеюсь, стоит до сих пор) наша школа, что придавало этой встрече странный ностальгический оттенок.

По тому бурному восторгу, с каким Колька заключил меня в свои объятия, и по искренней радости, звучавшей в его голосе, я сразу определил, что пришёл он на эту вечеринку гораздо раньше меня, проторчал в гостиной бог знает сколько времени, пока хозяйка дома с подругами сплетничали на кухне, делая вид, что приготавливают купленную в ресторане еду, успел поговорить о погоде в Москве и Лос-Анджелесе с десятком-другим совершенно незнакомых людей, выслушал все местные новости, получил сотню выгодных предложений и успел потерять всякую надежду когда-нибудь выйти из этого дома или хотя бы просто поужинать.

— Ну, как там погода в Москве?—злорадно спросил я после бурных приветствий.

— Дожди,—безропотно сообщил Колька,—Вам везёт, у вас тут круглый год тепло.

— Ну, не круглый, не круглый,—вступился я за московскую погоду,—У нас тут тоже дожди бывают. И даже по несколько раз в году.

— Кстати,—сказал Колька,—пойдём, я тебя со своей женой познакомлю.

— И давно ты женат?—удивился я, поскольку хорошо помнил Колькин характер, привычки и образ жизни.

— Уже три года,—с гордостью сообщил Колька.

— Что творится в нашем мире,—холодно констатировал я и поплёлся вслед за приятелем смотреть его супругу. Собственно говоря, это была чистейшей воды дань вежливости с моей стороны—я прекрасно помнил всех Колькиных подружек и был абсолютно уверен, что жена будет им под стать—такое длинноногое, модельное, фигуристое и глупейшее существо, соответствующее всем стандартам современной российской толстосумной тусовки. Если ими не обладать, то делать с ними абсолютно нечего; а разговаривать имеет больше смысла с форточкой. Но вопреки моим ожиданиям Колька подвёл меня к невысокой женщине совершенно обычной наружности и сказал: «Познакомься, это моя жена».

Сказать по правде, я был удивлён. Конечно, у меня хватило такта не открыть рот, когда я заметил в её глазах проблески интеллекта, а через несколько минут разговора понял, что она не только начитанна, но и умна; но чувство у меня было такое, словно меня бессовестно дурачили у всех на глазах, а мне ничего не оставалось как только подыгрывать этому обману. Так я и простоял с ними, растерянно болтая о том о сём, пока хозяева не позвали всех за стол.

За ужином я случайно оказался на противоположном от них конце стола. Мой сосед, пожилой и повидавший виды делец, занимавшийся в своё время подпольным бизнесом ещё в Союзе, от которого ему в наследство остались тюремные наколки на руках и золотые зубы, безуспешно пытался мне что-то рассказывать за едой, но, чувствуя, что я его не слушаю, и проследив мой взгляд, понимающе заметил:

— Видишь, что деньги делают.

— Ты их знаешь?—удивился я.

— А что тут знать. Идиоту понятно, что женился он на ней только ради её денег.

Меня слегка покоробила безапелляционность этого высказывания. Но я не стал с ним спорить, а перенёс всё своё внимание на сидевшую рядом одинокую блондинку, с которой целый вечер перебрасывался малозначащими, но многообещающими фразами.

Вернувшись домой, я с облегчением залез в свой любимый халат, плеснул в бокал красного вина, упал в кресло и задумался. Обычно меня не волнуют чужие семейные тайны—у меня своих достаточно, но сейчас все мысли почему-то вертелись вокруг моего бывшего одноклассника и его жены. Что-то было не так во всей этой истории. В версию о том, что Колька женился из-за денег, я не поверил с самого начала. Конечно, он, как и все, любил деньги, но не настолько, чтобы из-за этого жениться на какой-то мымре. Он был как раз из числа тех людей, которые предпочтут есть взбитые сливки вчетвером, чем кислую сметану в одиночку. Кто спорит, взгляд у его жены был обворожительный, но я ещё не встречал ни одного спортсмена, который бы променял упругие груди на красивые глаза. А если вспомнить, что за Колькой девчонки бегали ещё в школе…

Тут я разозлился на себя за то, что сижу и размышляю как старая сводня, залпом опрокинул бокал, вскочил с кресла и налил себе ещё. Среди скуки и однообразия американской жизни

подобные истории воспринимались как освежающие капли дождя в этом бесконечном житейском океане песка и пыли — они невольно дразнили душу и мимолётно будили чувства.

Поэтому, после того как я в одиночку совершенно для себя незаметно уговорил целую бутылку терпкого калифорнийского вина, у меня созрел план.

Первым делом их нужно было разлучить с женой. В этом мне помогла одна хорошая знакомая, которая заманила Ольгу на распродажу в какой-то фешенебельный магазин, пообещав той, что там бесплатно раздают духи. Оставшись один, Колька легко согласился съездить куда-нибудь проветриться, поболтать и выпить.

Повёз я его в Сан-Педро. Там в порту есть замечательное местечко на одном из каналов с причалами для рыболовных судов — ресторанчики на любой вкус, где только что выловленную рыбу чистят и готовят у вас на глазах. Одно время я работал неподалёку и обязательно хотя бы раз в неделю вечером приезжал сюда с приятелем поужинать. Мы садились под открытым небом с бутылкой калифорнийского «Шардонэ» и двумя целиком зажаренными в масле рыбинами и трепались часами, наслаждаясь вечерним бризом, бликами света по тёмной воде канала, огнями на башнях портовых кранов и редкими звёздами на ночном небе. Пройдёт время, многое забудется из того, что произошло со мной в этой жизни, но те вечера останутся в памяти навсегда — кто знает почему.

Я провёл Кольку вдоль рыбных рядов, дал ему время как следует надышаться смешанным запахом солёной океанской воды и рыбы, неторопливо заказал двух увесистых снэпперов и увёл за столик подальше от лавочек, под открытое небо, к самому каналу. Несколько минут он, не отрываясь, глазел на двух морских котиков, плескавшихся как раз напротив облюбованного нами места, потом мы всё-таки уселись за стол, выпили по одной и принялись за рыбу.

Я нарочно болтал о всяких пустяках, чтобы дать ему время расслабиться и напиться. Когда с рыбой и половиной бутылки было покончено, а судьбы всех наших общих знакомых более или менее выяснены, наступило долгожданное время пьяных откровений.

Понимая, что приятель сам не начнёт говорить на интересующую меня тему, я попытался осторожно перевести разговор в нужное русло.

— А как ты познакомился со своей женой?

— Совершенно случайно, — уставившись в небо и усмехаясь при этом чему-то, ответил Колька, — Ты не поверишь…

Тут он резко оборвал фразу и на его лице, как в зеркале, отразились внутренние колебания и сомнения по поводу того, стоит ли мне говорить правду и стоит ли говорить вообще. В этот момент я мог читать своего приятеля, как раскрытую книгу. И чтобы дать ему возможность успокоиться и расслабиться, я молчал, всем своим видом показывая, насколько мне неинтересно то, что он может рассказать, и что спрашиваю я просто так, ради проформы. Какое-то время мы сидели молча, слушая, как волна стучит в бетонную стенку канала.

— Как по-твоему, я похож на сумасшедшего? — спросил вдруг Колька, взглянув мне прямо в глаза.

Я по своему обыкновению чуть было не брякнул что похож и ещё как, но вовремя сообразил, что тогда он обидится, замолчит и мне не придётся ничего услышать. Поэтому я пересилил себя, придал лицу как можно более честное выражение и поклялся, что нет, ни в коем разе.

— Так вот, — чётко выговаривая каждое слово, сказал Колька, — Дело в том, что моя жена — ведьма. Ты первый человек, которому я это говорю.

Он снова сунул нос в пустой стакан, повертел его в руках, ожидая моей реакции, не дождался, невесело усмехнулся и налил себе ещё водки. Я молчал.

— Я понимаю, ты сейчас думаешь, что я или свихнулся, или тебя разыгрываю. Ни то и ни другое… Если бы кто-то сказал мне подобное три года тому назад, я бы сам ни за что не поверил. Но это чистая правда. Она самая настоящая ведьма, как у Гоголя. Знаешь, я теперь думаю, что всё то, что читал про ведьм, может быть, и не такая уж выдумка, как кажется. Помнишь, у Куприна рассказ «Олеся». Столько раз его с тех пор перечитывал. Абсолютно убеждён, что это чистейшая правда.

Мне стало скучно. Я ожидал услышать всё, что угодно, сам, честно говоря, не знаю что, но только не сказки про потусторонние силы. Мне приходилось встречаться с людьми, особенно с той поры, когда это стремительно вошло в моду, которые всерьёз верили в подобную белиберду или, как минимум, пытались убедить других, что они верят; в любом случае их откровения всегда производили на меня жалкое впечатление. Не говоря уже о разных колдунах, помещающих газетные объявления типа: «С помощью белой магии снимаю сглаз, возвращаю любимого, кодирую, раскодирую и помогаю дожить до получки».

Колька почувствовал моё настроение.

— Я понимаю, ты сейчас сидишь и думаешь — что за бред он несёт. Подожди. Выслушай, а потом решай сам, сумасшедший я или нет, правда это или мои фантазии.

А что мне ещё оставалось? Я сам затащил его сюда, напоил и вызвал на откровенность и тем самым не оставил себе никакого выхода. Я незаметно вздохнул и обречённо приготовился слушать.

— Три года тому назад, — начал Колька, — Нет, вру, уже почти четыре — я поссорился со своей подружкой. На какой-то вечеринке разругались вдрызг, причём не помню сейчас из-за чего — то ли я её приревновал, то ли она меня, то ли это был какой-то очередной каприз, от которого я отмахнулся, как от назойливой мухи — не скажу. Но помню, что поругались серьёзно и я ещё был злой, как собака, что расстались из-за ерунды. А девочка у меня тогда, надо сказать, была классная — у меня вообще девчонки всегда были высший сорт, других не держал, но эта выделялась среди них исключительно, ноги от ушей, настоящая модель, снималась на журналы, конкурсы красоты выигрывала и всё такое прочее. Капризная из-за этого была, ты представить себе не можешь, но я терпел — ещё бы,

когда я выходил с ней куда-нибудь, все кругом падали. Сколько раз её у меня пытались увести, один тип даже деньги предлагал, и немалые, чтобы только я с ней расстался.

Ну, и денег она тогда высосала из меня—тоже по первому классу. Я к тому времени уже встал на ноги, опыт появился в бизнесе, вторую компанию с нуля поднял, короче, денег не считал. А если я не считаю, то она тем более.

Кстати, бизнес у меня тогда был уникальный. Я до сих пор удивляюсь, как никто кроме меня до этого не додумался. Ты то время должен помнить—каждый пытался как-то урвать у государства, весь бизнес, собственно, и заключался только в том, чтобы деньги из безналички перегонять в наличные. Кооперативов понаоткрывали на предприятиях и через них-то и прокручивали безнал. Ума для этого большого было не надо—только знай, кому взятки давать. Кто-то на товарах из-за границы здорово поднялся, тогда же что ни привези, всё расхватывали. Я тоже поначалу с перепродаж начал, компьютеры и прочую оргтехнику на предприятия поставлял, но так как своих выходов за границу у меня не было, то очень скоро такой расклад меня перестал устраивать—во-первых, цены пошли вниз, а во-вторых, в этом деле слишком от многих и от многого зависишь—для кого-то такое положение вещей и нормально, ну а я не выношу жить между молотом и наковальней.

Поэтому начал искать что-то другое, а тут как раз в моём доме капитальный ремонт затеяли—тогда ещё делали капитальные ремонты. Развели грязь и канитель на целое лето. Но зато поменяли всю сантехнику, включая и ванны. А старые ванны сложили во дворе да так и забыли про них. Потом Сан Саныч, ихний прораб, мне их все за пару кусков и продал. Это сто ванн, ты заметь. А ему всё равно что их в металлолом сдать, что мне. Ты только представь—это же литой чугун, толстый, как броня, он же ещё двести лет стоять может. Таких ванн ни в одной стране мира нет. Везде или пластик, или сталь тонкая. Одно плохо в этих ваннах было—эмаль постарела да потрескалась. А эмаль это что? Это же просто пустяк.

Короче, погрузил я все эти ванны в КАМАЗ и в Таллин. Там на заводе сняли мне с них старую эмаль пескоструйкой и покрыли новой—цветной, тонированной. Загрузил я эти ванны обратно в КАМАЗ и назад в Москву, в магазин. Веришь ли—в неделю разошлись. Я на них этикетку финскую ещё повесил, мне их в Эстонии целый чемодан напечатали. Ну, и ванны выглядели как картинки—эстонцы постарались. Так что после этого делов было только Москву и пригороды прочёсывать да брошенные ванны скупать. Красота.

Колька замолчал и уставился куда-то вдаль, вспоминая свои прошлые дела. Я тоже невольно поддался этому настроению и на мгновение мысленно вернулся в Москву 92-го года. Так мы и сидели с ним какое-то время, блаженно улыбаясь, как два идиота, пока одновременно не пришли к выводу, что неплохо бы ещё опрокинуть по стаканчику.Вернувшись к реальности, Колька без напоминания вернулся и к своему рассказу.

—Так вот, после нашего разрыва я дня два пьянствовал с какими-то блядьми ей назло, а потом решил—хватит. Собрался, хоть и расстроенный был страшно, в баню сходил, на тренировку, сам знаешь, чтоб мозги в порядок привести. По утрам спортивный костюм и в парк, благо я около Кузьминского парка жил, ты, кстати, помнить должен, ты же был у меня.

И вот, бегу я вокруг пруда и вижу—стоит почти у самой воды девчонка, лицо к солнцу подставила, руки слегка раздвинуты и ладонями тоже к солнцу. И, самое главное, пальцы по всем канонам йоги держит—два раскрыты, три согнуты. Ну, думаю, наш человек. Сама девчонка маленькая, и хоть фигурка и имеется, но ничего особенного, не красавица, короче так себе, хотя что я рассказываю, ты же её видел. Я бы на неё и внимания тогда не обратил, если бы не эти ладони. Ну, я ещё круг пробежал, иду по плотине, смотрю, а она навстречу мне идёт. А настроение после пробежки хорошее, весна, солнечные лучи на воде играют, про свою стерву я на минуту забыл и думать, вот я и от нечего делать: привет, мол, давно йогой занимаетесь и всё такое прочее. Она в ответ—ну, какая это йога, это я так стою, энергией от солнца заряжаюсь. Я, конечно, про всякие биополя, биоэнергетику знал тогда прекрасно, но не верил, поэтому подумал ещё: что она, аккумулятор, энергией заряжаться. Посмотрел я, а взгляд у неё такой чистый, ну явно девочка ещё не тронутая или мало тронутая, и так захотелось мне вдруг вечерок с ней провести, ну сил нет, осточертели все эти извращённые красавицы, ну совсем как с похмелья на кисленькие яблочки тянет, а с французского коньяка на тёть-Марьину самогонку. Такая вот, представь себе, достоевщина.

Ну, недолго думая, взял я и предложил ей в кино сходить. В то время я своих дам только в рестораны приглашал, в кино и забыл, когда водил, но тут словно почувствовал, что это не пройдёт, не в струю будет. Ну, мне женщины никогда не отказывали, ты же знаешь.

Короче, договорились мы встретиться вечером, и я бегом домой переодеваться, поскольку в офис уже опаздывал, а дела никогда не ждут. Вечером подъехал ко входу в парк, она уже ждёт. Посадил я её в машину и спрашиваю: в какое кино пойдём, ты что любишь? Мне, в принципе, всё равно, только бы мосты наладить, я два часа любую чушь могу потерпеть. Хотя бы и мексиканский телесериал. Вот, тебе смешно, а моя стерва их круглые сутки на видаке крутила. Хоть из дома беги.

Ну да ладно… Так вот тут-то всё и началось. Я хочу, чтобы ты понял, какая это была невероятная череда событий, совпадений и случайностей. Потом, когда она рассказала мне про карму, я воспринял это иначе, а тогда у меня было лишь одно ощущение: этого не может быть, потому что этого не может быть никогда.

Итак, она мне и говорит: я, мол, хотела бы на Куросаву сходить, если ты не возражаешь,—сейчас как раз его «Тень воина» в «Иллюзионе» идёт. Это такой маленький кинотеатр на Котельнической набережной—это она мне объясняет. Так ты исторические фильмы любишь, спрашиваю так спокойно.

Люблю — говорит. Одним этим она меня уже убила. Как будто я сам с собой в кино договариваюсь идти. Делать нечего, пошли мы на Куросаву. К твоему сведению, со своей первой женой на самой первой нашей свиданке ходил я в тот же «Иллюзион» ещё мальчишкой-первокурсником смотреть куросавских «Семь самураев». Девчушка обо всём этом и не подозревает, а я сижу в кинотеатре и думаю, и так думаю, словно это не я, а кто-то шепчет мне на ухо — так ведь жениться теперь тебе на ней из-за этого Куросавы. И так уверенно-уверенно. И встретил я её в тот день в первый раз в своей жизни, и не было между нами ещё ничего, и тут такая шальная мысль. Как тебе это понравится? А то, что зовут её так же, как и мою первую, даже и упоминать не хочу, вот это, я верю, просто совпадение. Нет, точно, у меня же были и до этого бабы с такими же именами и ничего.

— Слушай дальше, — Колька налил себе ещё водочки, потянулся было налить мне, но я отказался.

— Так вот, — продолжал он. — В течение месяца встречал я её три раза в неделю после работы с цветами и бутылкой вина у входа в парк, бродили мы по аллеям или ехали к Москва-реке, а потом заваливались ко мне до утра. Работала она в какой-то конторе бухгалтером, жила одна в коммуналке с двумя соседями — мать у неё умерла лет десять тому назад, а у отца давно уже была другая семья. Водились у неё две или три подружки, были какие-то тётки, но по тому, что во время наших встреч болтала она без умолку, я сделал вывод, что жила она до нашего знакомства одиноко: дом — работа, работа — дом. А говорила она, ты не поверишь, всё больше о карме, чакрах, тонком мире и прочих потусторонних вещах. Я сначала слушал вполуха, не вникая, но что-то было в том, как она мне голышом в постели рассказывала о переселении душ. Это придавало какого-то перчика нашим отношениям, это да ещё то, что поведением своим не была она похожа ни на одну из женщин, которых я знал до неё. А потому не расстался я с ней через месяц, как думал заранее, а повёз её летом отдыхать в Прибалтику.

Колька помолчал немного, словно задумавшись о чём-то, и словно нехотя продолжил:

— Ну, может, потому ещё не расстался, что та стерва моя очень быстро завела себе какого-то хахаля с папочкой из Министерства внешней торговли. Да что душой кривить, тут всё вместе сыграло свою роль — и лекции про загробную жизнь, и исторические фильмы, и внешнеторговый кадр, которого явно держали про запас; а также и то, что найти достойную замену моей стерве можно было только на конкурсе «Мисс Россия» в финале, так что я особенно даже и не пытался…

— Ты знаешь, — вспомнил вдруг Колька. — Тогда она у меня ничего не просила. Помнится, она и билет на поезд в Юрмалу собиралась себе сама купить — моё счастье, что на этот скорый билетов в привокзальных кассах в принципе нет; да к тому же ей на СВ всё равно бы денег не хватило. А как раз в тот вечер, что нам уезжать, продуло меня где-то — то ли в офисе, то ли в машине, короче, было такое предпростудное состояние; ну, я думал, что всё обойдётся, знаешь, как бывает — вечером чувствуешь себя совершенно разбитым, а утром снова как огурчик. Но не тут-то было — на утро в поезде я еле из-под одеяла вылез — знобит, голова раскалывается, горло болит, тело ломит, в общем, все тридцать три удовольствия. Ни есть, ни пить, ничего другого тоже не хочется, а только забраться бы в тёплую постель и дремать — в общем, весь отпуск к чертям. И выбраться-то я смог тогда только на неделю — дел в Москве было невпроворот — так теперь дай бог, если к концу этой недели и выздоровлю. И что ещё она скажет — привёз в отпуск сиделкой около больного сидеть? Короче, такая вот мрачная перспектива.

Смотрю я на неё — а она бодрая, весёлая, в такси вертит головой по сторонам, ей всё интересно, она-то тут в первый раз. Приехали мы в гостиницу, упал я сразу в постель, а она вещи распаковала, раскидала по шкафам и в душ. Вышла из душа в одних трусиках и сразу ко мне на постель. Одеяло с меня сорвала и майку давай снимать. Ну, думаю, совсем у бабы мозги поехали, она что, круглая дура, что не видит, что мне сейчас ни до чего; и как бы ей так деликатно намекнуть, чтобы шла к чёрту со своими приставаниями. А она слышит моё невнятное мычание, видит, что я тяну майку на себя обратно и объясняет:

— Ты не бойся, раздевайся, я тебя сейчас лечить буду.

Ну, мне тогда всё равно было, лишь бы не это дело. Поэтому что и как я не спрашивал. Снял я с себя эту майку, усадила она меня на стул и говорит: «Закрой глаза и расслабься», — и руками перед лицом начала так медленно водить. И чувствую я, идёт тепло от её ладоней, кожей чувствую приятное такое тепло. А дальше — больше. Ты не поверишь, с закрытыми глазами я мог точно сказать, где она руками надо мной водила — такой жар шёл от этих рук. Я ничего подобного до этого в жизни ещё не испытывал. А она поводит-поводит руками вдоль тела, потом остановится, руки над головой подымет, ладошками друг о дружку потрёт и потом опять водит. И такое чувство, что не ладони это у неё, а огненные факелы, и весь жар от них в меня идёт. Подержала она ладони у моего горла — и незаметно отпустила боль и опять стало легко глотать. Так же постепенно исчезла головная боль, прошла ломота в мышцах, меня перестало трясти; короче говоря, все неприятные симптомы куда-то улетучились. Появилось только здоровое ощущение тепла во всём теле. Веришь ли, к концу сеанса я уже и о сексе начал думать по-другому. В кино как показывают — обессиленный человек засыпает и просыпается совсем здоровым. Ничего подобного. Мне лично сон тогда не понадобился.

Нет, ну мы заснули потом, конечно.

А на следующий день — никаких признаков. Пошли на взморье купаться, потом шашлыки ели. Замечательно провели время. Уезжать, поверь мне, не хотелось…

А в Москве нашей любимой по приезду меня как раз ждал сюрприз. В одном из магазинчиков, где я ванны свои на продажу ставил, сбывали, как выяснилось, также и всевозможные ворованные

стройматериалы. Причём глупо сбывали, жадно, по фальшивым накладным, нарисованным тут же в каптёрке при свете лампады. Ну и завалились, конечно же, как нечего делать. Я-то обо всех этих левых делах, сам понимаешь, ничего не знал. Но в один прекрасный день заявляется в мою контору гражданин государственной наружности и кладёт на стол ксиво с фиолетовой печатью. И как пошли тут расспросы про магазинчик, про то, что я знаю, про то, что я не знаю, что видел, что слышал, о чём догадываюсь и кого подозреваю. А под конец разговора всплывает такой ненавязчивый вопрос — а вы можете доказать, что ваши ванны не ворованные?

Я, ты не поверишь, хоть и насторожился, но ничего серьёзного для себя ещё не заподозрил. А потому как дурак всю ночь копался в своих документах и утром повёз на Петровку счета, квитанции и расписки; короче, всё, что у меня набралось и что я мог им предъявить.

Документы мои внимательно просмотрели, тут же отобрали, чтобы подшить к делу, и сразу объяснили, что они у меня ничем не лучше липовых накладных из того магазина.

— Вот возьмём к примеру это, — говорит следователь и берёт один из моих документов. — Квитанция от таллинского кооператива «Lakkima» на покрасочные работы. Что это за кооператив, чем он занимается, существует ли вообще? Здесь больше вопросов, чем ответов. Эти деятели накладные сами рисовали, что стоит накатать такую бумажку? Тем более это теперь другое государство, как проверить и где? И потом, кто будет этим заниматься? Я не могу по каждой бумажке посылать человека неизвестно куда.

И улыбается мне нагло в лицо, сволочь.

Меня это разозлило, конечно. Бляха муха, думаю, да если бы я воровал, разве бы я тебя три часа в приёмной дожидался? Да я бы всю вашу контору с потрохами купил, так что, если бы даже и пришёл приказ меня посадить, ты бы меня сам по телефону заранее предупредил и сидел бы я уже где-нибудь в Испании или на Канарах, а не в твоём вонючем кабинете. Вспомнил всё, что нам вбивало в голову героическое наше телевидение много лет, всё эти монументальные ленты про чекистов, ну и выдал ему фразу в духе «Следствия ведут знатоки»:

— Я вам принёс документы, ваше дело доказать, что они фальшивые. Пока вы это не доказали, извините, по закону они считаются настоящими.

Следователь, как про закон услышал, сразу поменялся в лице — это смешно, но наши российские менты реагируют на слово закон примерно так же, как черти на крёстное знамение. Для них закон — это они сами, их власть, и они всерьёз возмущаются, если кто-то пытается трактовать закон, кроме них.

— Да мы, — говорит, — и доказывать ничего не будем. Пускай считаются настоящими. Вы нас что, идиотами считаете? У вас тут документы только на покраску, очистку, перевозку, погрузку, хранение… Но из краски и перевозки ванну не сделаешь. Где документы на приобретение того, что красили и перевозили? Где документы на ванны? И не надо мне совать бумажки на какой-то металлолом. Металл — слишком абстрактное понятие, кто знает, что вы там покупали. Да, и вот вам подписка о невыезде, гражданин, распишитесь.

И что тут скажешь? Я и так только половину своих операций мог прикрыть тогда счетами на покупку металлолома — обычно прорабы продавали мне эти ванны за наличные и что-то подписывать напрочь отказывались — только проведи одну такую операцию через СМУ, потом ревизиями замучают. Проще эти ванны потерять или в металлоприёме на лапу дать, чтобы бумажку о сдаче подписали. В общем, посадить меня тогда при желании было проще простого. Ну, а когда у наших органов не было желания посадить? Сам понимаешь… Такая вот весёлая ситуация. А дальше думай — валить надо срочно из страны, а на какие шиши? Ты не поверишь, хоть и проходили тогда через мои руки немалые деньги, так они все в бизнес и уходили, так что на чёрный день у меня практически ничего припасено не было. Это уже после того случая я умнее стал. А из бизнеса как возьмёшь, когда счёт арестован, контора опечатана, не сегодня — завтра квартиру и машину конфискуют.

— А взятку? — спросил я, вспомнив самый радикальный способ улаживания проблем с российской властью.

— А принципы? — вопросом на вопрос ответил мне Колька. — С чего это я должен давать взятку, если я ни в чём не виноват? Так они совсем на шею сядут. А то налоги им плати, взятки давай, ну не слишком ли жирно будет?

— О чём ты, Коля? — удивился я. — Они уже и так давно у всех на шее сидят. И твоё одинокое фи в этой ситуации ничего бы не изменило.

— Да знаю я, — мрачно буркнул Колька, — Ты что, думаешь, я идиот, не понимаю, что у нас качать права себе дороже. Но иногда приходится — поневоле. Пробовал я тогда подкатывать с деньгами, говорил с одним спецом по взаимовыгодному улаживанию конфликтов с милицией. Так с меня такие деньги спросили, что проще было добровольно в тюрьму сесть. Потому что и так и так был бы конец. На нашей любимой Родине, понимаешь ли, не принято овец стричь постепенно, там все норовят сразу шкуру с тебя целиком содрать.

Поехал тогда я от следователя прямо к ней, благо уже вечер был, ну и выложил всё сразу с порога. Ждал, думал, скажет успокойся, ты мне и без денег нужен, я, мол, тебя не за деньги люблю, и всё такое прочее; в общем, всю ту фигню, какую любая сообразительная баба при случае всегда в уши залить умеет. Хотелось мне это тогда услышать, не знаю, впрочем, почему, но хотелось. Все мы люди, в конце концов, все любим верить в красивую сказку, и я, как выяснилось, не исключение. На худой конец я бы и на «сиди спокойно, я тебя буду ждать» согласился, раз уж ничего умнее в голову не приходит.

А она так пристально на меня посмотрела, хлопнула своей ладошкой по плечу и говорит:

— Да не думай ты об этом.

И всё.

Я, помнится, на минуту от неожиданности аж дар речи потерял. Нет, ты только представь? О чём мне, спрашивается, ещё думать, когда вся жизнь идёт ко всем чертям? Я-то не понаслышке знал, чем такие дела обычно кончаются.

Обиделся я на неё тогда за это страшно. Но виду не подал, от ужина отказался, сослался на разные дела, в щёчку холодно поцеловал и ушёл молча.

И что делать дальше, спрашивается?

Я по дороге, когда к ней ехал, столько планов настроил, как беру её в охапку и сначала в Эстонию, оттуда в Финляндию, а там и Париж недалеко. На первое время нам бы хватило, а там я бы что-нибудь придумал. У меня к тому времени один знакомый уже был в бегах, торчал безвыездно в Англии, а второй по Италии катался на крутом «Альфа-Ромео», пока его адвокаты здесь от повесток в суд отбивались. В этой машине он и ночевал, поскольку денег на гостиницы уже не хватало. А питался на кухнях для бездомных, чтобы хоть как-то сэкономить—он мне писал тогда от нечего делать много и в подробностях. Там читаешь и не знаешь, плакать тебе или смеяться.

Ну, не об этом речь. Теперь, после её слов, предлагать ей ехать с собой было бы просто глупо, а искать замену—поздно. Оказаться же за границей в одиночестве мне тогда казалось почему-то неприемлемым—то ли из-за моей большой любви к соотечественницам, то ли из-за врождённой робости перед иностранками. Ты, конечно, скажешь, что есть в Москве барышни, которые поедут с тобой куда угодно по первому твоему слову, и будешь прав. Но слушай, что за удовольствие путешествовать, постоянно опасаясь за свой кошелёк?

Короче, смешала она мне все карты, а тут ещё как нарочно подвернулось срочное дело—позвонил один старый знакомый и попросил помочь собрать металл для отправки в Германию. Ну как тут откажешься, когда деньги позарез нужны. Я и подумал, что пара дней ничего не решают. Эта пара дней, сам понимаешь, непроизвольно превратилась в неделю, и вот в конце этой недели, когда мне по самым скромным раскладам давно уже нужно было быть в Париже, раздаётся утром в моей квартире телефонный звонок. Я ещё сдуру трубку снял, думал, может, она.

Звонили из прокуратуры. Мы вам повестку, мол, не присылаем, зайдите завтра в кабинет номер такой-то.

Сам не знаю, почему я туда пошёл. В общем, наше поколение непуганое было, войны не видело, сталинских лагерей тоже, поэтому каждый второй—герой, власти особо не боялись; это после расстрела Белого дома как-то поутихли, погасли, а тогда все готовы были на баррикады хоть сейчас. Да это и понятно—было бы другое поколение, с поротой задницей, никаких бы перемен в стране не было, все бы сидели тихо по своим норам и делали то, что начальство скажет. Я так легкомысленно и рассудил, что если бы арестовать хотели, то домой бы за мной приехали, а не вызывали вот так несерьёзно по телефону.

Вошёл я в кабинет—а там следователь новый, спокойно так на меня смотрит, даже присесть не предложил, и сразу с ходу «Ваше дело прекращено за отсутствием состава преступлений, распишитесь тут, что ознакомлены с постановлением».

И вот иду я по лестнице вниз с пропуском в руках, а у меня в ушах её «не думай» стоит. Знала ведь она, что всё обойдётся, знала. И вот тогда-то я впервые во всю эту чертовщину поверил. А и как иначе, если осуждённых у нас миллионы, а оправданных—по пальцам пересчитать. И если ты как нечего делать бьёшь эту статистику, то тут есть о чём крепко задуматься. Статистика—наука серьёзная, это мне ещё в институте в голову хорошо вбили.

А теперь догадайся, что я первым делом попросил, как только в этот её ведьмин дар поверил? Стыдно вспомнить, захотел, чтобы она мне в лотерее выигрышные номера угадывала. Как же, нашёл себе золотую рыбку. Вот ведь человеческая натура—глаза завидущие, руки загребущие. Ещё понятно было бы, если бы я тогда нищим был, так ведь нет. До сих пор сам на себя удивляюсь.

— Ну и что, угадала?

— Конечно нет. Я сейчас думаю, что нарочно, что могла бы, если бы захотела. Но, как выяснилось, ведьмин дар это не волшебная палочка—проси что хочешь; за некоторые свои дела ведьмам приходиться жестоко расплачиваться здоровьем, кармой или ещё чем похуже. Мне моя рассказывала, как старшеклассницей развлекалась тем, что ездила везде без билетов. Она могла сделать так, что контролёры её просто не замечали, при проверке билетов в автобусах проходили мимо, а в метро просто пропускали, как будто она им проездной билет показывала. Занималась она этим долго, тренировалась, можно сказать, и когда в институт поступила, то уже могла спокойно перед носом преподавателя достать шпаргалку и тот ничего не замечал. Красота, да и только.

На пятом курсе института ей, как и всем, пришлось писать дипломный проект. Если помнишь, этот проект нужно было сдать в приёмную комиссию, а там тебе назначали день защиты. Как и подавляющее большинство студентов, моя дотянула эту сдачу до последнего дня. А на утро этого самого дня, когда пора было ехать в институт, выяснилось, что проект пропал. Растворился, исчез, корова языком слизнула с письменного стола в её комнате.

Первая мысль, после того как она несколько раз перерыла всю квартиру вверх дном, была, конечно же, о ворах, но быстро выяснилось, что в доме ничего, кроме дипломного проекта, не пропало. Теперь представь себе её состояние—она точно помнит, что вечером положила диплом на стол. Мысль о том, что в квартиру забрался вор только для того, чтобы украсть её проект, абсурдна. Кроме неё в квартире больше никого не было—её отец после смерти матери постоянно проживал где-то у своих подружек и дома не бывал по месяцам.

Она лихорадочно перерывает квартиру снова и снова и постепенно чувствует, что начинает сходить с ума. Говорит, такое чувство, что повисла в пустоте, где кроме неё ничего нет. Так и исчез тот проект, как сгинул, и пришлось ей брать академический отпуск и писать всё заново. Вот так.

Постепенно из общения с ней я понял, что больше всего на свете она боялась этого своего дара. Боялась ошибиться и сделать кому-то плохо, боялась последствий своего колдовства, боялась случайно наделать ошибок, которые потом отразятся на ней или на её близких.

Ну, во-первых, чтобы ты знал, с такими способностями делать зло гораздо проще и легче, чем делать добро. Это как и в жизни—разрушать легче, чем созидать; разрушить может любой дурак, а для того, чтобы создать, требуется мастер. Кроме того, добро и зло настолько относительные понятия, что их немудрено и перепутать.

Во-вторых, даже делая добро, всегда нужно помнить о последствиях своих поступков. Законы сохранения, как это ни смешно, действуют и в магическом мире. Основной принцип—нельзя изменить реальность без того, чтобы не изменилось и будущее. А как оно изменится, могут предугадать только очень сильные ведьмы. Самый простой пример—моя мне рассказывала, что когда ещё почти ничего не умела, пыталась снимать руками головную боль у подруг. И снимала. А через полчаса головная боль начиналась у неё самой.

Ты пойми, что всегда, когда ведьма делает кому-то зло, она ухудшает свою карму, причём в геометрической прогрессии. И, что ещё хуже, карму своих детей. Поэтому чёрной магией занимаются только или очень недалёкие ведьмы, которые ничего ещё толком не знают и для которых на приворотном зелье начинаются и заканчиваются все тайны их профессии, или те, которым нечего терять и которые по карме находятся на самом низу тонкого мира. Последние самые опасные, они, как прокажённые, заражают всё вокруг себя, в том числе и тех, кто пользуется их услугами.

Сейчас наши газеты забиты объявлениями так называемых колдунов и ведьм. Смешно, но по большей части это одни шарлатаны. Здесь как у великих магов прошлого: кто знает—не говорит, кто говорит—не знает. Ну подумай сам, зачем ведьме сшибать копейку, изготовляя приворотные зелья для идиоток, если она может за раз обеспечить свою судьбу, приворожив себе какого-нибудь миллионера или просто состоятельного человека. И таких вариантов, кроме приворота, у любой ведьмы миллионы.

Поэтому настоящая ведьма никогда не будет давать объявления в газету и никогда не возьмёт за свои услуги деньги. Торговать своими способностями для ведьмы примерно то же самое, что верующему торговать своей душой. Кара будет страшной и неминуемой; по крайней мере обещана и тем и другим. Даже бабки в деревнях, которые лечат заговором, никогда не назначают точную цену за свою помощь, а всегда говорят: «Сколько положите»,—и ещё при этом подчёркивают, что это добровольное пожертвование, а не плата.

Что касается гадалок—а я говорю о настоящих гадалках, а не о шарлатанках—знай, что девяносто процентов из них не могут предсказывать будущего, а просто читают твоё настоящее, твои мысли и говорят в принципе то, что ты и без них уже хорошо знаешь. Она видит твоё решение, желание, которое ты ещё сам окончательно не осознаёшь, но которое подспудно зреет у тебя в мозгу, и выдаёт его как откровение. Неудивительно, что такое предсказание потом исполняется. Ну, и элемент внушения, конечно, присутствует. В этом отношении визит к такой гадалке ничем не отличается от визита к психиатру. Она мне так однажды и сказала: «У нас ходят к гадалкам, когда хотят разобраться в своих проблемах, а на Западе к психиатрам»…

Поначалу меня эти её способности здорово заводили, заставляли задумываться над тем, о чём обычно люди никогда не думают, анализировать. Неудачу с лотереей я воспринял спокойно, понял её опасения; и потом ты же знаешь, я никогда не верил в халявные деньги. Дольше всего мне не давала покоя то, что она видела будущее, причём делала это легко, как что-то обыденное. Могла утром, потягиваясь в постели, сказать между прочим: «Загляну вечером к подружке—по телеку сегодня ничего интересного, а ты задержишься до одиннадцати». И чтобы когда-нибудь ошиблась…

Однажды, помню, достал я её своими вопросами о судьбе, о том, что сбудется, что не сбудется; словно нашло на меня что-то. Это же так заманчиво—узнать свою жизнь наперёд, подготовиться к разным сюрпризам и гадостям, подкорректировать что-то там по возможности. Ни одного толкового ответа я, сам понимаешь, не получил и в конце концов говорю ей—ты не хочешь мне рассказывать о моём будущем—прекрасно. Но ответить хотя бы на один вопрос ты можешь?

—Только на один?—спрашивает устало.

—На один-единственный,—отвечаю.

—И больше ты не будешь меня мучить этими вопросами?

—Клянусь,—говорю.—Только один вопрос. Но только честно.

—Хорошо,—говорит.—Отвечу. Но лишь на один вопрос. Задавай.

—Когда я умру?—спрашиваю.

—После меня,—отвечает.

—Нет,—говорю.—Так не годится. Ты дату скажи. Или хотя бы год.

Она смеётся.

—Мы,—говорит,—уговаривались только на один вопрос. Ты его задал, я ответила. И больше тебе ничего не скажу.

Но увидела, что я недоволен, взяла меня за руку, как ребёнка, и говорит:

—Ты пойми, что будущее не предопределено раз и навсегда. И при желании ты всегда можешь его изменить. Самый простой способ это сделать—измениться самому. Меняешься ты, меняются твои поступки, меняются причинно-следственные связи, а с ними и твоё будущее. И это уже будет не то будущее, которое я могу увидеть. Так что в конечном счёте всё замыкается на тебе самом. Нет ничего хуже, чем отнять у человека его свободную волю, сказав, к примеру, что завтра он не пойдёт на работу.

—Я завтра не пойду на работу?—настороженно спрашиваю.

—Конечно не пойдёшь,—смеётся.

— Почему?
— Потому что завтра выходной,—отвечает.—Ты уже со своим бизнесом все дни недели перепутал.
— Не заговаривай мне зубы,—говорю.—Ты знаешь моё будущее, а я нет. Это неправильно. Это меня напрягает в какой-то степени.
— Не знаю, а предвижу—это разные вещи. И потом, что-то мне дано видеть, а что-то нет. Конкретно твоё будущее мне очень тяжело отследить, во-первых, потому что я к тебе неравнодушна. Эмоции—они в нашем деле всегда мешают.
— А во-вторых?
— А во-вторых, потому что с ведьмой связался. Где наше с тобой будущее пересекается, я ничего не вижу. И не хочу видеть, если честно. И не делай страшные глаза—знаю, о чём ты сейчас подумал, но это не так—я не пытаюсь скрыть от тебя страшное заболевание или трагический конец. Будущее у тебя должно быть отличное, просто тебе не надо о нём знать. Ты должен жить, а не ждать, что произойдёт то или иное событие. Жизнь человека в действии, а не в ожидании.

Не убедила она меня этим, но я прикусил язык, поняв, что продолжать расспрашивать бесполезно—есть причина, почему она мне ничего не говорит. То ли из-за наших с ней отношений, то ли ещё почему. До сих пор так и не знаю, а она не говорит…

Чтобы избежать любопытства и подобных приставаний, она никому никогда не рассказывала о своём даре, хотя некоторые знакомые сами догадывались. Она не гадала подружкам, карты в руки принципиально не брала и никогда в них не играла. Зато лечила всегда охотно, собак в том числе. Кошек лечить не любила, говорила, что на них энергии уходит пропасть. Иногда, знаешь, мне кажется, она до сих пор боится, что в один прекрасный день я могу исчезнуть, как тот её дипломный проект.

А кроме этого постепенно узнал я и другие её страхи. Она панически боялась старости, охала на каждую морщинку и занималась немного йогой, немного аутотренингом.
— Ты боишься стать старой?—спросил я её как-то.
— А ты нет?
— Да я об этом стараюсь не думать.
— Вам, мужчинам, легче. А что я буду делать, когда ты перестанешь испытывать ко мне желание?
— Ну, до этого ещё далеко. Потом, подозреваю, я тогда уже ко всем женщинам перестану что-то чувствовать, так что тебе будет не обидно.
— Я не об этом. Сейчас, если что случится, мы ляжем в постель и потом всё опять будет в порядке. А тогда что будем делать?
— Придётся привыкать к друг дружке. Предлагаю для начала в качестве эксперимента неделю без секса.
— Ты не выдержишь.
— Спорим.
— Хорошо, тогда я не выдержу.
— Ну то-то.

И, ты знаешь, рядом с ней я тоже подтянулся. Образ жизни, который я вёл до этого, никак нельзя было назвать здоровым—я, конечно, пытался заниматься спортом, поддерживать форму, но тренировки чередовались с попойками и как-то с течением времени всё реже получалось вырваться в спортзал и всё больше времени проводилось в пьяных компаниях.

Иногда на неё находило. Как-то, помню, за завтраком ни с того ни с сего: купи, говорит, мне платье. Ну, думаю, дождался, теперь посыпятся заказы один за другим. Не жалко мне, а просто подумалось: ну ничем она не лучше других. Спрашиваю: а почему именно платье? Может, духи, побрякушки, туфли, наконец?

А она и говорит: нет, хочу, мол, чтобы ты мне именно платье купил, выходное. Мне ещё ни один мужчина в жизни платье не дарил, ни отец, никто. Ты, мол, не волнуйся, мы подешевле найдём.

Сам понимаешь, после таких слов повёз я её прямо в «Петровский Пассаж», в самый дорогой магазин женской одежды. Она, как цены увидала, в истерику: пошли отсюда, ты что, с ума сошёл, да за такие деньги можно сотню платьев в нормальном магазине купить. Моя бы модель за это время уже половину ассортимента к рукам прибрала. Но, я стою, улыбаюсь, раз, говорю, я тебе подарок дарю, он будет самым лучшим. Это тебя кто-нибудь другой, говорю, с тем ещё намёком, в обычные магазины водить будет.

Да, говорит, я же здесь ничего себе не подберу. И не поверишь: стала примерять и действительно не идут ей все эти модные европейские платья. Что-то не так. Нужно уходить, я слегка расстроился, так хотелось сделать ей барский подарок, такой, который она никогда в жизни не видела и, возможно, никогда уже не увидит. Она это заметила и сама остановила меня: давай, говорит, ещё поищем, может, у них где-то по углам что-то есть. Копались мы в их барахле довольно долго, но наконец снял я с вешалки где-то в углу, чуть ли не в чулане, красивое платье в целлофане. Как сняли мы тот целлофан, так сразу поняли, что это оно. Примерила она его на себя и ну перед зеркалом вертеться—а уж сидело оно на ней как на картинке.

И только когда я на улицу вышел, до меня дошло: это же классический сюжет, красное платье ведьме в подарок.

Но на этом все её заказы и кончились. Повесила она это платье в шкаф и с тех пор, помнится, надевала его только раз, на какой-то банкет, куда нас пригласил один из моих партнёров. Не любит она ходить по банкетам, скучно ей там. Она мне после того банкета так и выдала—никогда, говорит, я в жизни ещё столько фальшивых лиц не видела.

А тут ещё—вбила она себе в голову, что женаты мы были в прошлой жизни. Она и доказательства разные приводила, вычисления какие-то, сплошная астрология и мистика. Ну, тут любой идиот поймёт, к чему дело клонится. На меня, ты же понимаешь, такие намёки как красная тряпка на быка действуют—я со всеми своими бабами сразу же расставался,как только они эту песню заводили. А тут чувствую, что-то не так, не могу порвать и всё. Как дурман она на меня действует и чем дальше, тем хуже. Я уже и на себя обозлился, но что толку—как вечер, так звоню ей. Ну, думаю,

не иначе, как опоила меня чем-нибудь, всерьёз, понимаешь, начал думать, и это меня ещё больше накручивает.

Далее история, как сам догадался, совершенно банальная.

Снимаю я из принципа девицу в ресторане, везу домой, там она нас и застукивает. Как нарочно, никогда она раньше без приглашения ко мне не заявлялась, хоть я ей и ключ от квартиры давно дал, а тут сюрприз решила устроить. Как же, торжественное событие, как потом выяснилось,—год нашего знакомства. Я, конечно же, забыл об этом напрочь. Влетела она в квартиру в самый неподходящий момент, ну или около того, посмотрела на нас, торт и шампанское на столе оставила и пулей вылетела. Честно говоря, у меня и до этого желания особого не было, а тут оно и вовсе прошло. Девица тоже перепугалась, спрашивает, это, мол, кто, ваша жена?

Отвёз я подругу обратно к ресторану, а у самого в голове только одна мысль—как мне прощение у неё теперь просить. Понимаю, что влип как идиот и, главное, ради чего—нужна была мне та потаскушка как рыбе зонтик. Звоню ей домой—то ли нет её дома, то ли она трубку не берёт. Смешно сказать, ночью почти не спал, утром встал злой на себя и на всех как никогда. Весь день прошёл наперекосяк, а вечером поехал встречать её с работы. Всё думал: начну врать—она же увидит, а если не врать, то что говорить? Заметил её, подошёл и понёс что-то нечленораздельное, какую-то мешанину из пойми и прости. Ну, ты же знаешь, себя самого в такие моменты тошно слушать, а каково ей?.. Чувствую, не реагирует никак, ну и говорю, что, мне перед тобой на колени встать?

—Вставай,—говорит.

Я, поверишь ли, ни секунды не колебался—встал. Она этого не ожидала—подскочила ко мне, поднимайся скорее, говорит, люди смотрят, ты что, с ума сошёл? Я знаю, говорит, что все мужчины сволочи. И знала, что это когда-нибудь случится. Я тебя теперь так и называть буду: сволочь… любимая.

И так она это сказала, что у меня сердце в груди словно перевернулось. Ещё немного, и дал бы себе самому по морде.

Но виду не подаю и спрашиваю: что же, ведьма, твои привороты так плохо действуют? А она отвечает: а я тебя не привораживала, ведьмины привороты всего на три месяца горькой любви, а потом ты бы ушёл от меня навсегда, а я бы этого не пережила. А так пусть иногда, но ты придёшь ко мне сам. От болезней я тебя могу лечить, в беде помочь, но приворотом убью любые чувства к себе. Так что можешь быть абсолютно спокоен, в своих поступках ты совершенно свободен. И улыбается мне, как ребёнку.

Взял я её на руки—а она лёгкая, как пёрышко,—и никогда мы так крепко не целовались, как в тот раз.

У меня тогда прямо раздвоение личности началось. Одна половина говорит: ты что, кретин, женись, она же ведьма, да ещё та ведьма, что влюблена в тебя как кошка. Всю оставшуюся жизнь будешь как сыр в масле кататься—ни горя, ни забот, все невзгоды будут пролетать мимо, а здоровье только улучшаться из года в год. Чуть что—жене скажешь и пусть потом пеняют сами на себя. Да за это любых красавиц можно ко всем чертям послать. А даже и изменишь разок—так простит ведь, тут главное—не увлекаться.

А вторая половина также уверенно: ведь не люблю я её, знаю, что должен любить, а вот не люблю и вряд ли когда-нибудь полюблю, а без любви это будет мучение и для меня, и для неё. Ей ведь любовь нужна, для неё только это и главное, сама уверила себя, что любишь её, и живёт этой сказочкой. Сейчас это незаметно и с рук тебе сходит, но начни ты с ней вместе жить, через год, через два, наконец, она поймёт, что это не так. Вида, конечно, не покажет, но это будет конец всему… Хороший она человек, так зачем тебе ломать ей всю жизнь. Чем скорее расстанешься с ней, тем лучше будет для вас обоих.

И тут же опять вступает первая половина—а ты вообще кого-нибудь любишь? Ты уже сам себя-то давно не любишь—жалеешь—может быть, холишь и лелеешь временами, но ведь не любишь. И где гарантия, что ты ещё кого-нибудь когда-нибудь полюбишь? Я то хорошо тебя знаю, какие образы блуждают по дальним углам твоего больного воображения, все эти фотомодели-кинозвёзды с идеальными формами голливудских стандартов, которых можно показывать людям, как породистую болонку или новый «Мерседес». Вот тогда-то ты небось не стал бы себя мучить, любишь—не любишь. Какая ещё любовь, если у окружающих челюсти сводит от зависти. Неужели ты настолько глуп, что идеал семейного счастья для тебя состоит из соблазнительной задницы и смазливой мордашки? Какой ты, к чертям, мужчина, если не способен устроить жизнь единственной женщине, которая имела несчастье в тебя, идиота, влюбиться по-настоящему?

И сам я себе на это отвечаю—выходит, что не могу. С фотомоделями-то очень просто—шмотки и бабки в обмен на постель. Она получает от тебя свои ценности, ты получаешь от неё, что тебе нужно. Всё честно, все довольны. И всегда понятно, что от другой половины ожидать можно. А тут… Ну не могу я дать ей того, что она хочет. И не хочу всю жизнь прожить обманщиком. Так поэтому нужно немедленно расстаться, чтобы её и себя больше не мучить. И чем скорей, тем лучше. Ну какой я ей муж?

Помучился я так с неделю и, что ты думаешь, пошёл к ней объясняться. И выдал ей всё так глупо, прямо в лоб, без затей: так мол и так, нужно нам расстаться, поскольку не люблю я тебя, никогда не любил и ничего к тебе, кроме грубого физического влечения, никогда не испытывал. Совесть меня одолела, не хочу тебе жизнь ломать, поэтому чем скорее ты меня забудешь, тем лучше.

Я ждал слёзы, рыдания, проклятия, ну там какого-нибудь холодного презрения. А она смотрит на меня своими большущими глазами и ни одному моему слову не верит. Как только это до меня дошло, всё моё красноречие сразу куда-то

испарилось. И что в такой ситуации можно сделать? Я мог говорить тогда всё, что угодно,—мои слова не имели для неё никакого значения. Ты представляешь—эта ведьма, которая как нечего делать предсказывала чужое будущее, которая могла заставить любого сделать то, что ей нужно,—а я это видел собственными глазами—не могла определить, что я её не любил. Вот тебе сила любви, какая там чёрная или белая магия сравнится, просто тьфу по сравнению. Я сам, глядя в её пылающие глаза чуть было не поверил, что люблю её. Была минута, веришь ли, я уже готов был спросить её замуж. Но, по счастью, эта минута быстро прошла, потом другая, третья…

В общем, хватило у меня тогда сил не поддаться соблазну быть добреньким, но не хватило сил разорвать всё одним махом. Поэтому осталось у нас по-прежнему, благо она не приняла мои разговоры всерьёз.

Мне где-то через месяц подвернулась деловая поездка в Прибалтику, ну я и подумал, что это и к лучшему. Прикинул, что расстанемся на месячишко, поскучаем, зато потом легче расходиться будет. Знаешь, как опытные люди говорят: с глаз долой—из сердца вон. И, веришь ли, разлука вроде подействовала. И звонить уже стал не каждый день, и к крале одной там, местной красавице, лихо так подъехал; такой, знаешь, командировочно-курортный роман—я, если ты помнишь, специалист был по таким делам.

Постепенно и вспоминать о ней практически перестал, как будто её никогда и не было. И так хорошо, спокойно неделя прошла, легко, словно отпустили на волю. Нет, я и раньше себя связанным не считал, но было где-то в подсознании странное чувство то ли обязанности перед ней, то ли вины. А тут всё вдруг прошло. И отношения мои мимолётные с этой Ингой были на мази. Это я к тому, чтобы ты представил себе моё тогдашнее состояние.

И вот в понедельник понадобилось мне съездить по делам в Клайпеду, в порт. Я взял билет на автобус—от Вильнюса туда экспрессы ходят, очень удобно. И поехал. Место мне досталось впереди, рядом с водителем. В общем, сижу, глазею на дорогу, отдыхаю. Но постепенно возникает чувство, что кто-то мне в затылок уставился. Оборачиваюсь—и точно—ты не поверишь—в конце автобуса она сидит. И смотрит прямо на меня. Я, понятное дело, рассвирепел не на шутку—ну всё, думаю, баба дошла до ручки, уже сюда притащилась следить за мной. Что она там себе воображает. И тут же решил пойти высказать ей всё и сразу со всем покончить. И уже не жалко мне её в тот момент было; а где-то даже был доволен, что всё так разрешилось.

Вскочил я и пошёл к ней в конец автобуса. Пока добирался, автобус качает, за поручни пару раз пришлось хвататься, незаметно и потерял её из виду. А когда дошёл наконец до задней площадки, огляделся—нет её нигде. Стою, глазею, как дурак,—нет. Ну, думаю, мерещится среди бела дня да на трезвую голову—это ещё тот признак. Впору самому себе скорую вызывать. И тут вдруг усталость на меня такая навалилась, что я обратно на своё место не пошёл. Упал на ближайшее свободное сиденье, благо в последних рядах было несколько, и даже глаза закрыл.

А дальше—как отрезало, ничего не помню. Очнулся в больнице под капельницей. Там же мне и рассказали, что в автобус наш в лоб со всего размаху грузовик влетел. На обгон он шёл по встречной полосе, ну вот и дообгонялся. Из всего автобуса только семь человек нас и уцелело—те, кто сзади сидел. У меня перелом шейки бедра, сотрясение мозга, а уж синяков и ссадин—не сосчитать. Провалялся я у них в больнице больше месяца, пока на ноги встал. Все дела мои там, конечно, коту под хвост. Нет, ты пойми, я не в обиде, главное, что живой остался.

— А она?

— А она в Москве была и о том, что случилось, и понятия не имела. Ну, о том, что я в больнице и все подробности. Она мне потом говорила, когда я ей из больницы звонил, что почувствовала что-то чёрное около меня, но поздно спохватилась, поэтому не совсем удачно отвела, кусочек чёрного вроде как меня задел. Бред, если вдуматься.

Колька слил остатки водки в стаканы и, не вставая, точным движением швырнул пустую бутылку в мусорное ведро.

— Ну давай, за удачу.

Когда мы выпили, Колька с сожалением посмотрел на пустой стакан и предложил:—Поехали ещё возьмём.

— Поздно уже,—сказал я.—Нам ещё домой добираться, ты не забывай.

Колька посмотрел на часы и согласился:

— Да, пора.

Но никто из нас не двинулся с места. Трудно было так вот сразу встать и уйти от свежего океанского воздуха, плеска воды у твоих ног, блеска звёзд; от чего-то того неуловимого, о чём все мы мечтали в детстве и о чём позабывали во взрослом облике.

И, чтобы хотя бы немного продлить это приятное состояние покоя, я совершенно неожиданно для самого себя спросил в тон Колькиному рассказу:

— Ну и как закончилась твоя эпопея? Как же ты решился спросить её замуж?

— Как закончилась?—переспросил Колька и улыбнулся.—А закончилось всё проще пареной репы. Приехал я из Прибалтики и, конечно, первым делом в офис. Ну, там без меня, понятно, никто не работал, короче, развал полный. Проваландался я там до вечера, ничего толком не сделал, устал как собака и поплёлся к себе домой.

Открываю дверь, смотрю—в комнатах свет, а на диване моя стерва сидит. Можешь себе такое представить? Сюрприз мне устроила—думала, видно, броситься на шею, чтобы всё у нас пошло по прежнему.

Почему она тогда ко мне вернуться решила, где до этого пропадала—понятия не имею, да и не интересно мне, если честно. Там ведь была одна бухгалтерия—у кого из мужиков больше бабок и у кого из них их легче всего вытаскивать.

В общем, встала она с дивана мне навстречу и смотрит, как я на её появление отреагирую. Знала ведь прекрасно, что её не ждали и без неё не скучали, но соперниц не боялась, поскольку уверена в себе была сверх меры. Ей на мою реакцию посмотреть надо было, насколько я удивлюсь, чтобы избрать лучший метод примирения и одурачивания.

А я—я, ты знаешь, не удивился. Меня её глаза отвлекли—холодные, как у покойника, чего я раньше почему-то совершенно не замечал. Ну, может, потому, что до последнего времени живые женщины мне не встречались? Или потому, что всё равно мне раньше было. Она почувствовала, конечно, что я на неё никак не реагирую, растерялась, но виду не подала и осталась стоять на месте, раздумывая как поступить.

— Ты в командировке был?—спрашивает.

— Был,—отвечаю.

И продолжаю смотреть ей прямо в глаза. А она стоит передо мной, эта породистая тёлка, воплощение женской красоты и расчётливости. Я до последнего момента предпочтение отдавал первому, второе старался не замечать, а тут вдруг ясно понял, что заниматься любовью с ней всё равно, что спать с надувной куклой—удовольствие того же порядка. Ни на какие человеческие чувства она в принципе не способна, а посему возможны с ней только механические отношения, как с предметами из сам знаешь каких магазинов. Но это я так, между прочим про себя отмечаю, а сам от её взгляда оторваться не могу. Застрял я на её глазах, понимаешь, смотрю в них, а у меня, не поверишь, мороз по коже идёт. Ты смеяться будешь, но страшно мне тогда стало, потому что на мгновение показалось, что это не женщина, а жизнь моя смотрит на меня такими ледяными глазами. Знаешь, говорят за секунду до смерти перед человеком всё прожитое проносится, как на экране. Так вот там, в автобусе, я ни черта не видел. А тут вдруг ни с того ни с сего такое наваждение—моя жизнь, вся жизнь, без просветов, сплошная гонка без остановки, когда за благополучием, а когда просто за куском хлеба, хлопоты, работа, дела, партнёры, собутыльники, жёны, любовницы… Ну, ты понимаешь… И так далее, и до бесконечности, и безо всякого смысла, если рассудить здраво. И самое главное, что из всей этой поганой жизни счастлив я был по-настоящему только в детстве, если разобраться.

Сложно объяснить это, и, боюсь, я сейчас говорю не то и не так, но поверь мне—мерзко и гнусно стало мне в тот момент. Неужели, думаю, жизнь моя такая же холодная и лживая, как и эта женщина? И что дальше?

И тут я сразу свою ведьму вспомнил. Не то, чтоб я её забыл совершенно, но просто со всеми хлопотами, заботами и проблемами не было как-то времени думать о ней. А тут вдруг до меня впервые дошло, что нет ей цены, моей ведьме, в этом мире, ни за какие деньги не купишь. И не могу я, получается, без ведьмы больше в нашей гнусной действительности жить и всё тут. И не потому, что она мне жизнь спасла, вольно или невольно—об этом я тогда и не вспоминал, и не из-за дара её, а просто потому, что жизнь и тепло из неё фонтаном били, потому, что стерва моя всегда и везде лишь получала, тогда как ведьма только дарила, дарила без конца и края. Привык я, получилось, к теплу и ласке, привык, чтобы меня любили, и жить без этого больше не могу и не хочу. Да и ради чего?

И тут меня, представь себе, дрожь начинает бить в буквальном смысле. Я же ведьму свою два месяца уже не видел, мало ли что могло случиться. Нужно срочно бежать к ней, спасать положение. Одна мысль, что я могу её потерять, меня тогда чуть с ума не свела. Я уже на стерву ноль внимания, как нет её вовсе, начинаю лихорадочно срывать с себя одежду, чтобы переодеться в чистые рубашку и пиджак, ну побриться там, душ с дороги принять и всё такое. Выхожу из душа, смотрю—а стерва—чёрт её знает, что она себе вообразила,—уже раздетая в постели лежит. Комедия, да и только. Сам понимаешь, оставить её в квартире да ещё в таком виде я никак не могу, поэтому, влезая одной ногой в брюки, начинаю рычать: «Одевайся скорее!»

Она такого не ожидала и, не понимая, что происходит, всё же встала и начала одеваться.

— Мы что, опаздываем куда-то?—спрашивает.

— Опаздываем,—отвечаю, не вдаваясь в подробности. Сели мы в машину, я её спрашиваю:—Тебе куда? Учти, я тороплюсь, поэтому в память наших с тобой прошлых отношений могу довезти только до ближайшей станции метро.

Тут до стервы наконец дошло, что я её просто посылаю и она, может быть, первый раз в жизни, всерьёз удивилась.

— Ты,—говорит,—чего, с ума сошёл? Или голубым стал?

— Гадать до трёх раз,—отвечаю.—У тебя ещё одна попытка. А если честно, доктора категорически запретили заниматься некрофилией. Вредно, говорят, влияет на нервную систему. Короче, ключ от квартиры верни. Он тебе больше всё равно не понадобится.

Стерва посмотрела на меня так, как будто впервые увидела, и отрезала:

— Ну у тебя точно крыша съехала.

И ключ отдала. Не стал я с ней спорить по поводу своей крыши, хотя сказать ей хотелось многое. Но—зачем?

Высадил я её, как и пообещал, у метро, цветы там же купил и к ведьме. Звонить не решился—ну что в такой ситуации по телефону скажешь? Только всё испортишь. Понадеялся, что застану дома.—и застал. Открыла она дверь в халатике, увидела меня, глазки от радости так и засверкали.

— Ой,—говорит.—Что же ты не позвонил, что приехал?

А я вместо заготовленной в машине речи сую ей в руки букет роз и молчу. Гляжу на неё и думаю—ну как же мне, идиоту, повезло. Мог бы ведь пройти мимо в тот день, мог вообще спьяну не выйти в парк. Мог не перезвонить после первой ночи… Да мало ли чего. Ты учти, я всегда считал себя счастливчиком в смысле женщин—легко находил себе самых красивых, соблазнительных, короче, всегда у меня были классные девочки. Мне все приятели завидовали—да и ты в том числе, не будем далеко ходить, я же видел. Это было приятно,

чего скрывать. Но чужие они мне все были, все до одной. А вот эта невзрачная птаха — моя половина, не поспоришь. Я ведь и не сбежал тогда, когда нужно было, только из-за неё, чтобы с ней не расставаться, вот только поздно это понял.
— А цветы какие красивые, — говорит она. — Это просто так или в честь чего?
— Просто так! в честь чего, — говорю. — Выходи за меня замуж.

Она аж в лице переменилась, побледнела вся.
— Ты, — говорит, — с ума сошёл. Ты шутишь?

А я вместо ответа встаю перед ней на одно колено и беру её за руку.
— Шучу, — отвечаю. — И с ума сошёл. Это сегодня все замечают.

Когда она поняла, что я всерьёз, ты не представляешь, что с ней сделалось. Сначала вроде как испугалась чего-то, а потом стала по квартире бегать, засуетилась, словно нам прямо сейчас нужно было бежать регистрироваться. Я думал, она на метле вот-вот начнёт летать. Честно говоря, не удивился бы.

Когда она успокоилась и я, обняв её, усадил рядом с собой на диван, она тут тихонько и спрашивает:
— А что же ты мне говорил, что не любишь меня совсем?

Вспомнила вот.
— А ты и поверила? — тоже спрашиваю. А самому стыдно до невозможности стало за чушь, которую я тогда нёс.
— Нет, — отвечает, — но скажи, зачем?
— Проверить тебя хотел. И себя… Ты знай, что мужики только с виду такие грубые, а на самом деле внутри мы ранимые и беззащитные… Нам честность и чистота в отношениях нужна.
— Ну и что — проверил?
— Проверил, — отвечаю.
— Только давай в церкви обвенчаемся, хорошо? — спрашивает.

Ну, в церкви так в церкви. Ты же помнишь эту церквушку на Бауманской, Елоховский собор называется. Там и обвенчались.

Я мог бы тебя обманывать да и себя тоже и сказать, что полюбил я её за это время за её любовь, теплоту, ласку; за всё то, чем она так выгодно отличалась от всех моих предыдущих женщин. Но если честно разобраться и проанализировать все мои чувства — а я, поверь мне, делал это не раз и не два с тех пор — то получается, что это не её я полюбил, а себя самого, того себя, которого она любила. Это как забытое чувство из детства, когда ты твёрдо знаешь, что ты хороший, что все тебя любят и весь мир вертится вокруг тебя. Получилось, что тот человек, которого она придумала себе и в которого влюбилась, мне ближе и дороже, чем я настоящий, и мне больше хочется быть им, а не самим собой. Ты не смейся, я понимаю, что это на грани помешательства, скорее всего, что-то ненормальное, но это не раздвоение личности, нет. Я всё время осознаю, что я не тот, за которого она меня принимает, но рядом с ней я как бы становлюсь тем человеком. С ней я и вести себя стал по-другому, чем без неё или до неё; и это многие замечают.
— Да, — не удержался я. — Полюбить самого себя — ну что ещё нужно для счастья? Тебе можно только позавидовать. Но ты знаешь, я рад, что ты расстался с этой стервой, как ты её ласково называешь. Во-первых — аморальная личность, я сразу понял, а во-вторых — деньги из тебя сосала как пиявка. Я знаю таких. Экономия — вот основа семейного очага.
— Экономия, — искренне расхохотался Колька. — Кто тебе сказал про экономию? Ты что, старик, женщин не знаешь? Тратить бабки у них в крови. Не на то так на это. Моя если на себя расходует мало, можно сказать, что ничего, если прикидывать по моим заработкам, то знал бы ты, сколько она денег в благотворительность ухнула. Поверь мне, я не считал, но уверен, что тож на тож и выходит. Поверь, с бабами экономия нам только снится. Но если честно — мне не жалко. Пусть тратит, если ей нравится. А по поводу твоего замечания… Я об этом тоже думал. Ну неужели я такой вот бессердечный Нарцисс? Но ты учти, я ведь не себя люблю, а того, которого она любит. Я им хочу быть. Ну, а уж он-то, тот, кого она любит, он точно её любит, это несомненно, иначе и быть не может. А раз я — это почти что он, то получается, что и я её люблю… Сумасшествие полное, ты не находишь?

Я утвердительно кивнул головой.
— Я так и думал, — подытожил Колька. — Кстати, знаешь, что она про тебя сказала? Хороший, говорит, человек, только себя никак не найдёт. Спроси, говорит, у него, может быть, помочь чем-то. Так что говори что нужно, она многое может. Только сказала, пускай любви для себя не просит и денег. Деньги, говорит, ему не нужны, а любовь сама придёт в своё время.

К этому времени я уже был в полусонном состоянии от прекрасного сочетания свежего морского воздуха, плотного ужина и постоянного прикладывания к стаканчику с водкой.
— Да, — невнимательно попытался сострить я. — Раз уж денег нельзя и женщин тоже, то пусть хотя бы завтра голова с бодуна не болит. А то ведь приняли-то мы с тобой сегодня немало.

На том мы и расстались. Что до меня, то я долю секунды не верил во всю эту Колькину историю. Ни тем вечером в Сан-Педро, ни потом. За исключением, может быть, лишь пяти минут утра следующего дня, когда я проснулся как стёклышко в семь часов и удивлённо пытался найти у себя хоть какие-то симптомы того, что предыдущим вечером выпил пол-литра водки.

Людмила Коль

Сколько праздников в году?

1. В гостях

Тридцатого мы к Диме на день рождения ездили. У него день рождения тридцатого, но если это не суббота, то он не празднует, а переносит на первую субботу. Все это уже знают, поэтому приезжают без звонков. Дима никогда не приглашает. Он говорит, что друзья должны сами приезжать, без напоминания. А в этот год как раз совпало.

В общем, с самого утра я готовилась. Костюм вынула чёрный с длинной юбкой, с золотыми пуговичками на жакете; прибамбасы отобрала: серьги, тоже как пуговички, браслет золотой, широкий — от мамы ещё достался. У мамы много всего было. Она папе только скажет: «Антоша, я в ювелирном вчера кольцо видела с аквамарином, золото трёхцветное…» — а папа на следующий день уже коробочку преподносит. И вообще никогда ни во что не вмешивалась — папа всегда всё делал. Привезёт, например, папа дефицит какой-нибудь, ну, ящик мандаринов или бананов, а мама только отмахнётся: «Да поставь пока в угол, потом разберусь!» Он ей: «Нина, испортится! Взгляни хоть!» Тогда только подойдёт, посмотрит, распорядится, что куда отнести… Курорты любила: Геленджик, Гагры, Сочи, Батуми, Сухуми. Каждый год ездила… Ну вот потому у меня теперь много всего…

Туфли-лодочки приготовила — я люблю на высокой шпильке, потому что маленькая. Маску на лицо сделала, чтобы свежее было и кожа гладкая, матово-блестящая. Ну, Алика тоже быстренько собрала: рубашку, галстук, костюм — как всегда. Я всегда ему всё красиво развешу, несколько вариантов — чтобы сам выбирал вроде бы. А на самом деле я всё выбираю. Мне недавно одна подруга говорит:

— Ты что его разбаловала? Сам пускай делает!

А я говорю:

— А мне приятно!

Что в этом плохого? У него работа, времени нет думать об этом. А эта подруга — феминистка. Они теперь там все помешались на равноправии и эмансипации. Права качают женские, собрания всякие устраивают, журналы женские и всё прочее. Она мне по телефону потом мозги промывала, что я несовременная. А мне это не нужно. Я даже с ней разругалась. У меня всё в порядке и комплексов никогда не было.

Короче, букет — в руки, а Алик — коньяк. Дима обожает коньяк «Кальвадос». И книжку Алик ему привёз в этот раз: английское издание Булгакова. Дима любит разные коллекции, ещё со студенческих времён собирает. Алик это знает и всегда что-нибудь привозит. Я не читаю почти — у меня буквы расплываются в разные стороны, и я собрать их в одно слово не могу. По-английски говорю хорошо — у нас все секретарши на двух языках. Со слуха учила, потому что читать не могу. Я, например, вместо слова «улица» запросто могу прочитать «умница» или «у колодца». Или вместо «вокзал» прочитаю «взял». Мне всё равно. На работе меня часто ругают, что я пропуски делаю в тексте, когда печатаю. А просто буквы рассыпаются…

Ну вот, Булгакова Диме повезли, значит, там ещё картинка на обложке: кот сидит, глаз прищурил, усмехается.

У Димы уже народу куча собралась, когда мы приехали. Все по квартире разбрелись — у него квартира маленькая, смежная — по разным углам сидели, трепались. А мне скучно с ними — они все друг друга по институту знают, у них свои разговоры, заумные. Как соберутся, на повышенных тонах всегда: обсуждают, критикуют обязательно. Считают, что только они все обо всём знают, а другие ничего ни в чём не смыслят. А Алик теперь от них отошёл. Они об Алике иронически говорят: «Ты продался: деньги делаешь». А что в этом плохого? Можно подумать — криминал. Алик ведь не в структурах, он честно зарабатывает. Умный человек себя везде найдёт. Это у них в голове картинка: мы выше этого! Гордятся прямо! Поэтому Алику и говорят: ты не наш. А Алику всё равно с ними интересно. Он как к ним в компанию попадает, обо мне тут же забудет — и на целый вечер. Поэтому я просто сидела, слушала.

Дима из кухни в комнату носился, тарелки с салатами на стол ставил. А жена его, Белка, — она вообще-то Изабелла, красивое такое имя, звучное, но Дима так зовёт — пока за рояль села. Он у них полкомнаты занимает — Белка в музыкальном училище преподаёт. Вот она обычно и развлекает. И в тот раз опять пела:

> В траве сидел кузнечик,
> В траве сидел кузнечик,
> В траве сидел кузнечик,
> Зелёненький он был!

А две её ученицы из училища тоже были, подпевали хором:

> Представьте себе, представьте себе,
> В траве сидел кузнечик!
> Представьте себе, представьте себе,
> Зелёненький он был!

Я уже сто раз слышала, а всё равно смешно, даже когда поют: «Но вот пришла лягушка, прожорливое

брюшко». Белка барабанила по клавишам и на нас озорно поглядывала: как мы реагируем. Она баба ничего, простая.

И так они нас завели этой песней, что стало весело. А Дима пока расставил. И все наконец уселись за стол и стали его поздравлять, тосты произносить и пить без разбору. А я никогда не пью. Чуть-чуть вина могу выпить по настроению, конечно. И еду Димину не люблю: редька, свёкла с чесноком, в творог перец кладёт… Он всегда любит острое готовить. Я, конечно, приличие соблюдаю, накладываю, но по чуть-чуть, чтобы не давиться. Вилкой в тарелке ковыряю—видимость создаю. А в этот раз напротив Кира сидела, в тарелку ко мне заглядывала, как будто изучала, что я там делаю.

— Я слышала, ты на курсы веб-дизайнеров пошла?

Я Киру не люблю. У неё глаза и нос какие-то вороньи, и она за спиной может что-то неприятное о тебе сказать. Например, Алику сказала недавно: «Ну, твоя Виолетта,—это она специально так называет, все зовут просто Летта,—без образования ведь!» Специально, чтобы меня перед Аликом унизить. Он мне передал. Они вместе на одном курсе учились, а потом Кира стала работать не по специальности—просто в журнал какой-то редактором пошла: там проще для женщины. А я ведь курсы окончила и работаю в приличном месте с хорошей зарплатой, не как там у них, в этой редакции. И Кира это знает. А Алику специально сказала. Я из Плехановского с третьего курса ушла, как только за Алика замуж вышла: Антон родился, с ним два года возилась, потом восстанавливаться надо было, забыла всё, что учила. Ну, я на курсы секретарей сразу пошла, английский выучила, а потом отлично устроилась, не как там в этих журналах всяких, где пылью дышат целый день, астму зарабатывают и гроши получают. Кира всё это прекрасно знает. Завидует просто, потому меня перед Аликом каждый раз выставляет.

— Да, это теперь модно,—отвечаю.

— И куда же ты потом?—спрашивает, как на допросе, неприятно ужасно, и слова манерно растягивает, чтобы превосходство своё показать, наверное.

— Посмотрю потом, не знаю пока.

Отвечаю, как школьница. А она сверлит: с тарелки—на меня, с меня—на тарелку. Взгляд прямо как у геккона. Я их сколько раз на юге видела: сидит вечером в углу где-нибудь, под карнизом, и держит тебя словно под прицелом. Трепыхаться начинаешь туда-сюда, а никуда не деться от него. Так и у неё: гипнотизирует прямо! И улыбка как бы про себя начинается, зубы выставит белые—они у неё очень белые и ровные, и она их всегда старается показать, всю челюсть открывает—и с тебя глаз не сводит и улыбается. Ну мученье просто! Я извелась вся. Да ещё долго так в этот раз сидели—юбилей потому что: сорок лет Диме исполнилось. Мужики в тостах изощрялись, кто лучше скажет. И не упомнишь, что говорили, стихи, ему посвящённые, читали, сочинил кто-то. Вадик сказал: «Поэтом, может, ты и не был, но гражданином был всегда!» Это он по поводу Диминых стихов. И руку вверх поднял, указательный палец к потолку, и тут все захлопали, с бокалами шампанского к Диме потянулись. Потом Дима ответные тосты произносил и всё такое прочее…

Наконец закончили и встали из-за стола—передохнуть перед чаем. Опять разбрелись.

Белка позвала баб на кухню—потрепаться.

Кухня у них грязная, закопчённая сверху, паутина по углам свисает, а пол нужно ножом скрести, чтобы соскоблить жирный слой вокруг шкафчиков. И линолеум весь давно истёрся, в проплешинах, края задираются, упасть можно.

Белка табуретки из-под стола вытащила, крошки с них смахнула, нам пододвинула:

— Садитесь!

Сама уселась курить, и другие бабы тоже закурили, дыму напустили—не продохнуть. Я не курю, но деваться некуда, все тут, поэтому терпела. Опять долго сидели. У меня весь костюм пропитался табаком, хоть в химчистку отдавай!

Наконец Дима пришёл и робко так руки потирает, у Белки спрашивает:

— Белочка, нам бы чайку…

Не спрашивает даже, а в предположительных тонах говорит.

А Белка вскинула на него брови:

— Хочется чаю, Димочка? Так в чём же дело? Сделай! Чайник—вот!

И глазами метнула в сторону плиты.

И Дима стал опять у плиты возиться. А Белка в комнату теперь позвала, и мы за ней пошли и стали ждать чая, опять сидеть разговаривать. Не танцевал даже никто, хотя музыку поставили.

Дима над чаем колдует: несколько сортов смешивает, добавляет что-то для аромата. А вообще-то зачем? Если разные сорта в магазине—бери не хочу…

Потом Белка всё-таки чашки поставила. Они слишком широкие были, и чай в них сразу остывал, приходилось кипятку подливать. А пить всем ужасно хотелось после острой еды, и заварку разбавляли и разбавляли, пока она не стала совсем бледно-жёлтой. Дима хотел новый заварить, но тут Вадик посмотрел на часы и сказал, что пора расходиться—время уже за полночь. Я бы давно ушла, но дождаться не могла, пока Алик наговорится. Всё на ногу ему незаметно наступала, а он на меня взглянет, как будто и не видит, и опять отвернётся.

В прихожей Алина всё вертелась, рассказывала, как они с Вадиком на горных лыжах в Альпах катались в этом году, всё рассказывала, как это дорого: триста долларов одно занятие с тренером. «А Вадик такой неумеха у меня—по десять раз показывать надо!» И всё смеялась и вертелась перед всеми, попкой в сверхузких джинсах вихляла. Она у неё маленькая, с кулачок, и сама Алина ростом сто сорок шесть, как ребёнок. А Вадик стоял и держал её пальто, большой и неуклюжий.

Потом наконец домой поехали.

— Киру сначала отвезём!—сказал Алик.

Кира всю дорогу в машине возмущалась тем, как Алина с Вадиком поступает.

— А как она поступает?—спросила я, потому что видела Алину у Димы в первый раз и ничего такого

особенного в её поведении по отношению к Вадику не углядела.

— А разве ты не заметила? — вскинулась Кира, да ещё так зло на меня посмотрела, как будто я виновата. — Она же к любому готова лезть!

Но я ничего такого не заметила, просто подумала, что Вадику, наверное, очень удобно с такой крошкой.

— Нормально она себя вела, по-моему. Что репой сидеть, чтобы за хвост тянули!

А она опять возмущённо, прямо пятнами пошла — она всегда пятнами покрывается, когда злится, я это давно заметила:

— Но лезет же к каждому мужику! Неприлично просто!

А я говорю:

— Если бы Вадику плохо было, развёлся бы. Значит, его устраивает. Людей всегда что-то друг в друге устраивает, чего мы не знаем.

Кира фыркнула, к окну отвернулась, а потом с Аликом завела разговор об их общих знакомых. На меня больше и не смотрела. Она всегда так своё презрение мне выказывает. А когда из машины выходила, даже не попрощалась как следует. Опять с Аликом словами перекинулась, а на меня и не взглянула.

2. Восьмое марта

Господи! Праздники люблю до ужаса! Чтобы вся жизнь — праздники! Наряды каждый раз новые — то одно приложишь к лицу: идёт — не идёт, то другое; глаза, сверкающие по-особому, по-праздничному — лукаво, загадочно, весело; причёски разные…

Недавно Восьмое марта праздновали у нас, двенадцать человек пригласили.

Я долго соображала, в чём быть, чтобы сразу в глаза бросаться. А потом надела тёмно-зелёные бархатные брюки, в которых ноги ещё стройнее выглядят, и блузку — мне одна девчонка на работе у нас продала, из Англии ей привезли, — бледно-розовую, в нежных листьях, с глубоким вырезом и фантастическим воротником из воланов.

И как этот Саша, которого все долго ждали и без него никто ничего не начинал, вошёл и посмотрел на меня, я сразу поняла: мой! Значит, весь вечер весело будет! Я тогда уже на других баб внимания не обращаю, кто в чём одет. Мне главное, чтобы мужик был, с которым интересно: у меня тогда румянец и вообще другая делаюсь. Алик это знает про меня. Поэтому я не рассматривала, кто в чём из баб был. Наташка — у Алика её муж работает — всё туфли демонстрировала, напоказ всё ногу ставила, мол, посмотрите. Каблук прозрачный, золотая вставка внутри. Нога как в воздухе висит. Танька вертелась среди мужиков, плечи в нос им совала: у неё сзади вырез до талии был. А я с ними просто: надоели уже ведь все, знаю их как облупленных. Алик Киру предлагал позвать. А я Киру не люблю. И перед мужиками она себя всегда выставляет. Раньше он и не говорил о ней никогда. А теперь каждый раз: Кира, Кира. Она теперь развелась — муж у неё сильно пить начал и вообще чудной стал, с работы ушёл и чем занимается, неизвестно. Говорят, в газете какой-то пишет, в какой-то партии состоит, митингует, борется то ли за кого-то, то ли против кого-то. Поэтому Алик Киру жалеет. Он всегда всех жалеет, а её особенно, потому что, говорит, она одна осталась с дочкой и дочку пристраивать надо — шестнадцать лет скоро. А Дима с Белкой хорошие ребята. Но Дима вдруг свои стихи читать будет! Он любит читать свои стихи: они все у него про друзей, про студенческую жизнь, философские какие-то. Алик иногда их по вечерам тоже читает вслух — Дима ему распечатку подарил, а я не слушаю, не люблю. Там что-то вроде:

> Костюм на тебе неброский.
> И сам ты душою чист,
> А смотрят, как на обноски:
> Другое теперь в чести…

Скукота, в общем. В тот раз, когда мы были, Дима не читал, потому что некогда было: у плиты возился. А если в гости позовёшь, обязательно читает. Поэтому получилось, что все только с работы. Но всё равно народу много. А Сашу — он, оказывается, тоже вместе с Аликом учился, только на разных курсах, Саша старше на несколько лет — Алик неожиданно решил пригласить: кандидатура, говорит, для них подходящая, тесты и интервью прошёл отлично. Его ждали, потому что считается, что он самый умный, просто к ним никак не решался переходить, говорит не только по-английски, но и по-французски, и по-испански, как по-русски, а родился в Америке, и папа у него был не то серб, не то хорват, какой-то революционер — это мне всё Алик перед его приходом рассказал, чтобы я в курсе была. А потом, когда папа к нам приехал, его один раз забрали — Саша только родился — и он уже не вернулся, так что Саша своего папу и не видел. А мама у него известная переводчица.

Он остановился в дверях и — я это сразу поняла — остолбенел. И сначала стоял и ничего не говорил целую минуту.

А я ему нарочно — в себя прийти не дала — и говорю с порога:

— А вы тоже иностранец?

И брови изогнула, и голос у меня сразу высокий сделался, звонкий, красивый. Я всё это про себя знаю, когда что у меня получается. И с улыбкой смотрю на него, глаз не свожу, гипнотизирую. И смеяться начинаю. У меня всё отработано.

А он тоже засмеялся и говорит:

— Почему вы так решили?

— А здесь сегодня одни иностранцы, кажется.

У нас и правда пришли голландцы с работы Алика. У них в Голландии Восьмое марта не празднуют, поэтому Алик предложил их тоже пригласить, двух человек.

И весь вечер Саша на меня смотрел, изучал, я на себе его взгляд прямо кожей чувствовала. Поэтому мне было празднично. Я всякие красивые движения делала: то руками взмахну — все говорят, что у меня жест особый и пальцы плавно в воздух взлетают, на крыло птицы похоже, когда я вожу рукой по воздуху; то голову наклоню так, чтобы профиль выгодно показать — у меня нос небольшой и прямой, а кончик чуть вверх приподнят,

Алик всегда раньше любил в кончик носа меня целовать… То ещё что-нибудь придумаю. А уголком глаза всё время держу его в поле зрения. Если бы никто меня не изучал, мне неинтересно было бы. К чему тогда я всё это придумывать бы стала и блузку у Катьки покупала?

У нас буфет был — так лучше: я не люблю, когда за столом кульками сидят, как на завалинке, друг на друга глядят и локтями задевают, за весь вечер и не встанут ни разу, чтобы размяться, потанцевать. Посиделки какие-то получаются.

Мы взяли еду и присели на маленький диван, который у нас в углу стоит, подальше от всех. Вилками клюём маринованные грибки с тарелок и беседуем тет на тет.

— У вас очень уютно, — говорит Саша.

— А я даже не знала, что вы существуете, мне Алик никогда раньше о вас не рассказывал.

— Какая закуска вкусная! Вы прекрасная хозяйка!

— Я думала, что всех его друзей знаю, а получается, что есть и неизвестные.

И опять смеюсь и из-под изогнутой брови смотрю на него сбоку.

— Вы волшебница!.. Не верится просто, что всё это приготовили ваши руки!

Ну, он, конечно, врать умеет, а слушать всё равно приятно, даже если и знаешь, что враньё. Я вообще готовить не люблю. Алик всё закупит в баночках, привезёт, я только красиво разложу, чтобы вид был аппетитный.

— Алик сказал, что вы по-английски дома разговариваете, — взмахиваю глазами вверх.

Я умею: ресницы — раз к бровям, и глаза расширить, как будто удивляешься. Действует на мужиков безотказно. Они сразу приковываются прямо, оторваться не могут, в глаза сразу заглядывать начинают, рассматривать, какие они. А у меня глаза серые, большие, а радужка тёмными колечками обозначена. И зрачок всегда как бы расширен немного. От этого глаза ещё больше и темнее кажутся, заглянуть ещё больше хочется, особенно когда из-под ресниц кошу и улыбаюсь.

— Ну, это сильно преувеличено, конечно. Мама заставляет иногда, чтобы не забывали.

— А вы с мамой живёте?

— Да, с мамой и с сестрой.

Я эту тему только развить хотела, как Дирк, с работы Алика, голландец, подошёл с бокалом, встрял, выпить предложил. Сам уже водки выпил — язык заплетается. Они от водки морщатся: «И как вы её пьёте? Невкусная совсем!» А как в гости придут — первым делом водки хлебнут и потом начинают говорить, говорить без остановки, чушь всякую несут. Ну и он тоже своим неповоротливым языком рассказывать стал, как на Багамы недавно летал. Вот всегда так: обязательно кто-то не к месту встрянет! И они пошли про путешествия, про находки Шлимана какого-то, ну который золото всё рыл, то ли действительно нашёл, то ли сам изготовил… В том-то и дело, что я вроде во многих местах была, а говорить не умею…

А самое интересное — что потом было. Через неделю получаю вдруг конверт. Адрес незнакомым почерком написан. Ну, я, конечно, гадаю сначала, от кого это может быть — это я специально всегда себя немного помучаю: интересно же! Предположения всякие строить начинаю и всё такое. Ну вот. Потом открываю — а там красивая открытка и по-английски написано: «Благодарю за прекрасный вечер в вашем доме». Церемонно так, красиво, почерк тоже красивый. И подпись: Александр.

Я, конечно, тут же звоню ему, тоже благодарю. Говорю, что приятная неожиданность.

— Действительно приятно?

— А почему по-английски? Вы всегда только по-английски пишете своим знакомым?

— Не всем, но некоторым пишу.

И голосом таким обволакивающим… Я просто не могу! Первый раз такого вижу! Мне Алик никогда про него не рассказывал! Потом про всякие интересные места начали говорить, про театры, где что ставят.

— Вы, наверное, театр любите, — говорит он.

— Почему вы так решили?

Спрашиваю, а сама жду, что он скажет.

А он:

— Ну я просто предполагаю, глядя на вас, что так должно быть.

А я театры обожаю. Всякие второсортные не люблю. Если уж идти, то в Большой или в Новую Оперу. А старьё всякое смотреть не люблю. Я недавно в Петербург ездила, меня в Александринку пригласили. Обшарпано всё, провода везде висят по стенам пыльные, полы грязные, затёртые. К своему креслу подошла, а там кучкой мусор лежит. Я билетёршу подзываю, показываю. Она ногой кучку под чужое кресло подвинула. «Садитесь!» — говорит. Поэтому если уж идти в театр, то в настоящий!

— А вас можно в театр пригласить? — спрашивает.

Я, конечно, говорю, что можно. А что особенного, если пойти в театр вместе? У меня одна знакомая постоянно с кем-нибудь ходит — муж не любит такие мероприятия. Это ведь не значит что-нибудь такое, это ведь просто чтобы не скучно, чтобы компания. У меня когда и было что, закончилось давно…

Ну, в общем, подруге рассказала. У неё глаза загорелись:

— Познакомь!

Можно подумать, у неё своих нехватка!

— Приелись уже все, — говорит. — Да и толку от них теперь никакого — только на предмет переспать.

Ну и правда: мужик думает, что раз деньги есть, всё получить за них можно, все тридцать три удовольствия. А Милке — имя у неё интересное, редкое: Милитина, и сама тоже интересная, видная, менеджером у нас работает — замуж надо, а не в игры играть. Мне-то он зачем, так если разобраться?

3. Пасха

А тут Пасха. В самом начале апреля. Я Пасху люблю с детства. У меня бабушка куличи пекла, яйца красила, в церковь святить всегда носила и меня с собой брала. Я иногда хожу на Пасху в церковь, а печь куличи не умею, покупаю в магазине.

Ну, в этот раз говорю Алику:

— Давай гостей пригласим на Пасху!

Он поморщился — у них Пасху никогда не праздновали дома.

— Ты что-то зачастила с гостями. Недавно приглашали.

— Когда недавно-то? Месяц уже почти прошёл! И у меня идея: Милку с Сашей познакомить. Если выйдет, из них отличная пара может получиться!

— Значит, и его приглашать?

— Конечно! А как же знакомить?

Опять народу было!

Я яиц накрасила, на зелёную салфеточку выложила, в центр стола поставила для красоты. И кулич купила, цветочками бумажными украсила, чтобы всё как положено выглядело. Жёлтую скатерть постелила — на жёлтом лучше смотрится. Празднично, ярко! Все прямо ахнули, когда стол увидели. По всем комнатам расселись, потом на балкон вышли: погода отличная была, шестнадцать градусов. Апрель, а тепло-тепло, хоть загорай! Курили, аперитив был. Я в красном узком платье с крупными цветами, открытом немножко.

Саша как увидел Милку, сразу к ней подсел. Смотрю: всё в порядке, клюёт! Весь вечер прикольно так общались. Потом вместе уехали: он её провожать поехал.

Милка в восторге! Через неделю мне звонит — я решила ничего у неё не узнавать, не звонила, ждала, когда ей самой первой захочется рассказать, хотя от нетерпения с ума сходила,— благодарит, говорит, что джентльмен прямо, никогда таких и не видела. Встречает с цветами, провожает — никак не отпустит: прогуливаются два часа, разговаривают на разные темы. Тоже ей открытки написал по-английски.

— Прямо необычно как-то! — рассказывает мне по телефону.— Мы несколько дней назад виделись, и вдруг открытку получаю с благодарностью за приятный вечер! Представляешь? И, вообще, у него английский всё время в ходу: то пословицу какую-нибудь английскую скажет, то слово вставит, говорит, по-русски не звучит. Мы с ним по-английски иногда целый вечер болтаем. У него английский великолепный, мне даже стыдно за свой: слово не всегда подберу, он исправляет.

Короче, завертелось у Милки наконец! Я рада за неё страшно! А то ведь в старые девы попадёт: ей уже тридцать четыре! А баба она отличная! А мне этот Саша зачем? Мне ведь просто чтобы скучно не было, когда гости…

В общем, Милка звонила каждый раз, рассказывала все новости: куда ходили, что дарил. По часу на телефоне сидела, наговориться не могла.

Потом замолчала. Звонить перестала, на работе если спрошу, односложно ответит. Мне и спрашивать неудобно: это ведь личное дело. Если захочет, сама расскажет.

Недавно только я узнала, что она от него аборт, оказывается, делала и вообще долго лечилась от какой-то болезни.

И он очень удивился, как это вообще могло быть, что это не от него, обвинять её даже стал. А как же не от него? Ведь она только с ним была тогда, никого больше не было, я знаю.

Она мне тогда ничего этого не рассказывала. Я всё потом узнала. Милка скрытная.

Мы с ним случайно встретились не так давно на лыжном курорте. Мы с Аликом часто ездим на горных лыжах кататься. И я ещё ничего не знала.

Гуляли вместе, опять приятно было, вечером в бар ходили, сидели, болтали, танцевали. Он опять галантный, платил. Один раз вдруг говорит, меня перебивает:

— Какая женщина интересная!

Я смотрю, куда он смотрит. А это барменша, напитки разливает. Ну ничего в ней! Просто баба коротко стриженная, на каждого мужика стреляет.

Я даже внимания не обратила, что-то говорить продолжала. А он опять:

— Какая интересная женщина!

И прямо зубы сцепил и всё смотрит на неё, меня не слушает, про что я рассказываю.

Вот вкус у мужиков! Примитивный! Я ещё удивилась и подумала о Милке: она красавица! Прямо обидно за неё стало. Если бы я знала, конечно, что всё так обернулось…

4. Майские

Тут уже майские наступают. В это время всегда почти тополя распускаются. И голова прямо кружиться начинает от их запаха. Он немного горьковатый и так глубоко проникает, по всем жилочкам струится и беспокойство вызывает: внутри как будто метаться что-то начинает, что-то выпрыгнуть хочет, от стеснения освободиться — и не может. И от этого так трудно делается, так тяжело, заплакать прямо хочется… Объяснить невозможно словами, а просто чувствую, как внутри бродит что-то. Иногда мысли всякие лезут: зачем всё?.. Может, на самом деле ничего и не нужно?.. Вроде есть всё, а чего-то не хватает… Думаю, думаю: чего?.. Всё, что захочу, купить могу. И в Египет, и в Тунис, и в Эмираты ездили, надоело уже. Бабы там навьюченные ходят, глаз не видно — в намордниках все: носовые платки на лицо вешают. Мужики на наших баб на пляже пялятся, без всякого стеснения разглядывают части. Если уж ехать, так куда-нибудь подальше. В прошлом году захотелось, например, в Бразилию съездить, поехали. На Копакабане отдыхали десять дней, в океане купались. Волной Алика один раз сбило, еле вышел; у меня сердце прямо зашлось, глаза закрыла, не знаю, какому Богу молиться. Он только у берега уже почти, вот-вот выйдет, а волна опять подкатывает, сбивает с ног, пеной накрывает. Он на четвереньках, встать не может… Думала, отнимется у меня всё, кричать сейчас начну на весь пляж… Сильные волны — у самого почти берега с ног сбивают: маленькая, маленькая волна идёт, а потом неожиданно как даст большая! Из-за этих волн и не искупаешься толком. Мальчишкам бразильским всё трын-трава, целый день полощутся, чёрные все, глянцевые, а иностранцы в основном на берегу сидят, из кокосовых орехов сок пьют или спортивной ходьбой занимаются — туда-сюда вдоль моря. А вечером — по ресторанам, потому что еда там обалденная! Мяса сколько хочешь с любого куска отрежут: хоть свинины,

хоть молодого барашка, хоть телятины. Я себе кольцо с сапфиром привезла—синий цвет у меня самый любимый, больше всего мне идёт, в самом дорогом ювелирном магазине купила, «Стерн» называется,—а вокруг бриллиантики. По высшему разряду обслужили, каталог принесли, двадцать пять коробочек с разными кольцами передо мной выложили—какое хочешь, выбирай. Кофе поили, улыбались, благодарили, расшаркивались, приглашали опять. Ещё и подарок получила—кулон серебряный, это у них благодарность такая, если покупку на большую сумму делаешь. В гостиницу потом на машине шикарной отвезли.

Я подарков всем знакомым напривозила: там любых камней на рынке навалом, ничего не стоят, бусы разные, браслеты и прочая дребедень.

А два года назад в Венецию ездили. У меня мечта была с детства в Италию попасть, ну, Ромео и Джульетта, Древний Рим в школе изучали… Дворец Дожей, гондолы—по телевизору каждый день почти крутят в рекламах. Мы всё время только и делали, что по каналам катались. Иностранцев полно! Солнце, песни итальянские, вино с утра до ночи! Что за народ такой праздничный! Целый год потом вспоминала. Ещё хочется…

Ну вот, когда начинается это у меня весной, я в церковь зайду: маме свечку поставлю, папе, бабушке с дедушкой—у меня ведь теперь никого, одна тётя осталась в Пензе… Вообще весна для меня самое отчаянное время года. Ждёшь ведь всю зиму радости этой, когда жизнью новой повеет. Я её с самого начала февраля уже чувствую—запах вдруг приносит ветер откуда-то, вдруг, на один миг—и унесёт опять. И нет его долго. Ждёшь, ждёшь: когда опять весной пахнёт?.. Иду иногда по улице, вечером особенно, когда шума и суеты нет, и носом воздух втягиваю: где он, запах этот?..

Мне Лера звонит, приглашает на майские к себе на дачу.

Мы с ней ещё в школе вместе учились, у неё папа замминистра был. Лера потом в ГИТИС поступила, но у неё что-то не получилось, замуж вышла за какого-то артиста МХАТа, а он пил, деньги её мотал, аборты она от него делала. Придёшь к ним, а у них одни бутылки на столе, закуски почти никакой. Лерка потом тоже пьяная, еле на ногах стоит, говорит глупости разные:

—Вот вы уйдёте, а Махлин только того и ждёт, вы что думаете: меня в постель сразу затащит и трахать до утра будет.

С квартирой мыкалась—он её выгонял сколько раз по пьянке, пока наконец не развязалась с ним и не отсудила себе маленькую однокомнатную. А теперь у неё квартира большая, от родителей досталась, на Котельнической, в высотке: папа неожиданно от инфаркта умер, а мама в Лерину переехала, на Тверской. У Леры там, на Котельнической, чего только нет: картины старинные—целая коллекция, серебро, тоже старинное, книги в шкафах до самого потолка—у неё папа кремлёвской выпиской всегда пользовался,—ковры, хрусталь. Мама всего не забрала, Лере большую часть оставила. А Лера хоть и безалаберная, но это добро охраняет, все шкафчики всегда запирает, чтобы ненароком кто не унёс. Теперь ведь что угодно сделать могут. Тем более что Лера богему всегда собирает: художники—авангард, поэты непризнанные, артистов находит, о которых не слышал никто, а они, оказывается, самые талантливые.

Ну вот, звонит она вдруг—она всегда вдруг объявляется: не слышно, не слышно о ней, не дозвонишься, а потом вдруг сама позвонит и как ни в чём не бывало трепаться начинает, как будто вчера только расстались.

Дача у неё в Загорянке, огромная, деревянная, двухэтажная, со всякими закоулками интересными, как раньше строили, в лесу стоит, даже земляника и черника на участке растут. Участок забором сплошным обнесён, так что и не видно, что там делается. У них и прудик маленький был раньше, а теперь яма просто, куда вода затекает: заросло всё, потому что следить надо и чистить, а Лере наплевать.

У неё там сауна—она недавно построила, гриль, шашлыки можно делать. Здорово, в общем! И погоду обещали без дождя и тёплую. Обычно второго мая в Москве дождь, я уже давно заметила, а в этом году вроде не будет.

Я Алику сказала. Он, как всегда, опять поморщился: Алик Леру не любит, дурой считает и на всех её друзей смотрит как на низший сорт. А делать всё равно нечего на майские. Раньше, ещё у родителей, праздник дома был, родственники приезжали, стол праздничный готовили. Отец меня на гостевую трибуну даже брал один раз, чтобы я посмотрела на всё правительство вблизи. Праздновали, в общем, по-настоящему. Музыка, песни с самого утра из всех окон, цветы бумажные делали, шары на каждом углу, флаги… Настроение было хорошее. А теперь и не знаешь, как праздновать…

В общем, поехали с утра пораньше к Лере.

Погода отличная была всю дорогу!

Там народу, как всегда у Леры, полно—ещё с вечера многие заехали. Она бегает из дома в сад, из сада в дом, распоряжения отдаёт, кому что делать. У неё, конечно, на даче полное запустение, окна на террасе нужно было открыть, комнаты проветрить. Мужики в основном возились: дрова кололи, печку топили, чтобы сырость зимняя из дома вышла, чтобы уют создать.

А я отдыхала.

Природа там!.. Воздух чистый-пречистый, прозрачный прямо, и всего в нём понамешано: и травой пахнет, и цветами, и хвоей. Примулы везде распустились, мотыльки в травке порхают… Сидишь на солнце, зажмуришься, подставишь щёку, чтобы его тепло чувствовать ласковое, и думаешь: как козявочка ты, которая на листочек выползла, сидит, смотрит, тоже солнцу радуется…

Ну, потом готовили, конечно. У Леры всегда красиво на столе—у неё мама любит стол красиво накрыть. Поэтому у Леры тоже бардака из грязных тарелок не бывает, а аккуратно всё и с цветными салфетками.

Она напривозила продуктов из Москвы: Миша на машине ей приволок, Лерин новый знакомый, поэт. Лера обожает поэтов даже больше,

чем художников, — они стихи ей пишут о её внешности. У Леры внешность необыкновенная: волосы пышные, чуть-чуть золотистые, как ореол вокруг головы, лоб высокий, чистый, серые глаза, а брови круглые и кончики немного вверх загибаются. Она считает, что все художники в портретах врут в ту или в другую сторону. И фотографий полно. А стихи — это что-то особенное. Поэтому у неё теперь одни поэты вокруг. Миша всё делает и на дачу её возит. Поэтому из Москвы Лера всего навезла, полный стол еды был: вина разные, шампанское — Лера обожает, и рыба красная, и мясные деликатесы, даже мама её пироги пекла. У неё вообще мама замечательная. Лерка ссорится с ней часто, а мама всегда всё для неё делает, несмотря на то что и диабет, и давление, и ноги больные, Лерка просто её не ценит.

Вечером музыку завели, танцевать пошли. Дома и не танцуем, все разговоры какие-то, споры, дети мешают. А здесь легко, ни о чём думать не надо. Меня Миша пригласил. Приятный до ужаса: мягкий весь, кругленький, с бородой — как плюшевый медвежонок. Анекдоты за столом травил. А Алик, смотрю, с Инной пошёл танцевать — она напротив него за столом сидела, он её сразу и пригласил. Алик вообще не танцует никогда — у него слуха нет, и он никак в такт попасть не может. А тут разошёлся, прилип прямо к этой Инне. Она худая такая, в маленьком платьице, волосы тёмные, тяжёлые, прямые, почти до пояса. И глаза враскосяк. А брови широкие, как раньше говорили: соболиные. Необычная, в общем, запоминающаяся. Я раньше у Леры её никогда не видела, а Лера говорит, что сто лет с ней знакома.

Мы с Мишей один танец протанцевали, он ещё пригласил, а мне почему-то расхотелось.

В общем, я пошла на улицу пройтись, подышать: накурили внутри, надышали, печка горячая… Голова прямо раскалываться стала, в висках стучит. У меня всегда голова реагирует…

Я только дверь открыла, как за мной другие повалили — у нас ведь всегда стадо будет.

Алик с Инной вышли. Он ей пиджак свой на плечи накинул. Она там вся из себя, строит что-то, голову то так, то этак наклоняет, волосы рукой отбрасывает, а они опять ей на лицо падают. Вокруг дома пошли, потом опять танцевать стали — дверь открыта, видно всё, что внутри происходит. Я продрогла в саду, решила тоже потанцевать. Свет почти выключили, все друг с другом млеют. Алик с Инной — уже руку не просунешь между ними. Я стою одна, как дура. Лера усмехается, вижу. Музыка кончилась, никто не расходится, стоят, ждут. Лера мимо прошла, бросила: «А Алик твой ничего, оказывается, прямо на глазах у тебя бабу берёт! Я и не знала, что за ним такое водится».

Мне так неприятно стало. Во-первых, за Аликом такое не водилось никогда. А во-вторых, зачем говорить?

Другие тоже поглядывают со смехом, глазами меня меряют исподтишка.

Я делаю вид, что всё нормально. Рассматривать что-то начинаю, как будто что-то интересное увидела, как будто тут в первый раз. Как будто танцевать не хочу. Как будто и не происходит ничего.

Они с Аликом на улицу опять ушли. Долго их не было. Все продолжают. Я жду, когда кто-нибудь выйдет, чтобы за Аликом пойти — чтобы незаметно было.

Тут наконец кто-то курить пошёл, и я потихоньку выскользнула. А они вместе приближаются уже к дому.

Я подхожу к Алику, говорю безразлично, как будто её тут нет, а мы на семейном совете:

— Домой, может, поедем?

А он на меня и не взглянул, сказал что-то, я не поняла, и пошёл за ней в дом, как хвост: она впереди, а он плетётся. Мне опять неприятно стало, что он как хвост, что чужая баба может с ним, оказывается, делать, что хочет. Она даже не остановилась, когда я подошла, и на него не обернулась, словно знала, что он всё равно за ней пойдёт. Просто шла и шла, медленно, уверенно. А он, как хвост, сзади плёлся.

Опять танцевать стали.

Ну, я ещё посидела, посидела — в углу, там темно совсем было, я бокал с вином взяла, делала вид, что вином наслаждаюсь. А потом подхожу к нему — а они всё танцуют, и Алик по её щеке носом около уха водит и волосы гладит, а она ему их всё подставляет. И как не стыдно? Не видит, что ли, что мужчина с женой пришёл, семейный, значит? Чего вокруг вертеться-то? Чего к нему приставать-то, волосы распускать?

Я и говорю Алику:

— Я машину пошла заводить.

И ушла.

Стою возле машины — Алик знает, что одна не уеду, — а внутри всё как в электричестве: дрожит мелко-мелко каждая жилочка. Думаю: если сейчас не выйдет, рвану всё к чёрту и уеду без него! К горлу подкатило, тошнит, руки трясутся. Ну ужас просто! Ходить стала вокруг машины, чтобы успокоиться, а сама прямо задыхаюсь, как в ознобе вся. Успокаивать себя стараюсь, говорю себе, что вообще-то и не произошло ничего: подумаешь, за бабой собственный мужик приударил, все они такие спьяну! А сама знаю, что в том-то и дело, что произошло…

Он через некоторое время выходит. Злой-презлой: дверью стукнул. Он всегда на двери зло срывает, дома уже всё в трещинах, хотя квартиру совсем недавно купили…

Завёл машину. Тут Лера вышла. Попрощались с ней.

Она говорит:

— А вы уезжаете? Не остаётесь ночевать?

Удивляется натурально, как будто не видела ничего. И на ухо мне шепчет:

— Извини, не знала, что так получится.

А сама про себя хихикает.

5. День рождения Андрюшки

У Андрюшки день рождения первого июня — он у меня Близнец. Близнецы — они особенные, талантливые считаются. Я по гороскопу посмотрела. У меня гороскопов разных куча: я всегда

прогнозы читаю. И о детях своих всё давно знаю. Из Андрюшки должно что-то необыкновенное получиться. У него вечно фантазии, вечно истории любит придумывать про чудовищ да про вампиров. Американских фильмов насмотрится — он обожает фильмы ужасов — а потом сам фантазировать начинает. У него здорово получается, заслушаться можно. И музыка ещё. Рок. Целый день с наушниками, тяжёлый металл слушает. Это он от Антона перенял. У того в комнате всё в кассетах. Утром как встанет, сразу в уши — тык — и не слышит ничего, не дозовёшься. А теперь и Андрей как Антон — тоже с утра ничего уже не слышит. Что бы я ни сказала — как в трубу: глаза оба вылупят и смотрят непонимающе, а уши всё равно заткнуты. Я им:

— Антон! Андрей! Уши откройте! Слышите, что говорю!

А им хоть бы хны.

У меня в семье все имена на букву «А» начинаются. Случайно так вышло.

Мама была Антонина, это папа её Ниной называл, потому что папа у меня Антон, Антон Алексеевич, и старшего мы назвали в честь дедушки.

Дедушка у нас, то есть мой папа, замечательный был, всё у нас от него, мама всю жизнь прожила как за каменной стеной, никаких проблем никогда не знала, только: Антоша, Антоша! И Алик устроился практически благодаря моему папе. Место такое пойди найди. А позвонил папа, поговорил с кем надо — вот и устроен теперь на всю жизнь. Положение, деньги — всё есть. Пусть они там про Алика говорят за спиной, от зависти лопаются на самом деле.

Муж — Алик, тоже на «А». Четыре уже. А если ещё с моим дедушкой считать, то вообще пять получится. Вот потому младшему тоже имя на «А» дали, чтобы традицию не нарушать. Только я выпадаю. Меня папа назвал Виолетта, чтобы красивое, редкое имя было. Папа меня обожал просто. Что бы я ни попросила, всё делал всегда. Я только и слышала: доченька, доченька. Я одна у них, поэтому папа всегда надо мной трясся.

А в этом году Андрею десять лет исполняется. Круглая дата. Значит, праздновать нужно по всем правилам: и детей, и взрослых приглашать. Антону в этом году шестнадцать было — тоже дата считается. Он нас отмёл, сам, сказал, праздновать будет, со своими охламонами, конечно, где-то гудел. Домой вернулся чуть ли не под утро, как катком по нему проехали, волосы сосульками, мятый, синяки под глазами. Совсем от рук отбился. Где были, даже не знаю, ничего не рассказывал. Деньги только давала. Они в этом возрасте родителей вспоминают, только когда деньги нужны: тогда сразу ласковые делаются и послушные. Как скажет мне «пожалуйста, мам», так я уже знаю: через пять минут деньги попросит.

Ну а Андрюшка, хотя Антон на него и влияет, ещё дома пока. Поэтому думать самой надо, кого приглашать, кого нет.

В общем, и ребят, и взрослых много было.

Андрюша приятелей всех своих привёл: и школьных, и из хоккейной команды — он в хоккей играет; Антон тоже обзвонил своих, чтобы одному не сидеть среди малолеток. Кира приехала с дочкой — её Женька с Антоном сейчас очень дружить стала. Женька вообще у неё ничего, нормальная такая девочка, тихая, серьёзная, занимается много, поступать в университет собралась. Может, и расцветёт потом.

Кира как вошла, на меня тут же глянула:

— Ну вот, ещё один подрастает, тоже в трудновоспитуемые попадёт? — с издёвкой так сказала.

А я — мимо и смеюсь:

— Все они в этом возрасте такие.

— Ну, не скажи…

С порога прямо, ещё в дом не вошла…

Она волосы отрастила, крупными локонами до плеч теперь. Была в тёмном платье из какой-то прозрачной материи, на чехле. Сказала, что это ей в подарок тётя из Америки прислала. У неё тётя давно уехала — нашла вариант, губа не дура, старичка какого-то, за которым ухаживать надо было. Сейчас полно таких объявлений. Старичок потом умер, а тётя наследство получила. Это теперь модно — старичков пасти: наследство могут отписать или квартиру завещают. У меня полно таких знакомых, которые из больных и старых денежки цедят. Чего плохого, в конце концов, если так разобраться? Теперь Кира на тётино наследство губу раскатала. Её теперь все жалеют, потому что с мужем развелась и одинокая считается. Эта тётя и деньгами помогает, и поездки ей устраивает. Вот и Алик потому жалеет. Около неё весь вечер крутился, всё старался, чтобы ей комфорт создать.

Я ему:

— Опять стараешься? Инну забыл уже?

Он на меня зыркнул — и опять к ней.

Она выпендриваться опять стала. Про современную литературу разговор за столом завела специально, поглядывала на всех свысока, слова, как всегда, нарочно растягивала, чтобы умнее выходило. Подумать можно, раз читает много, значит, лучше всех. Я бы, может, тоже читала, а не могу. Взгляну на газету — в глазах темно делается. А уж книги просто в руки не беру, детективы даже. Фильмы могу смотреть целый вечер, и иностранные, и наши. Маринину, всё, что поставили, пересмотрела, поэтому про неё могу говорить. Классные детективы, конечно. Ну и про Акунина — тоже классные вещи. Тут Кира начала про его циклы разные, про то, как он Чехова, оказывается, переделал — модно это, оказывается, теперь, старых авторов переписывать на новый лад, фантазии в их произведения добавлять, потому что они чего-то не додумали в своё время, скучно написали, а теперь постмодерн.

И мне говорит:

— А ты не смотрела разве в театре? Ты же театры у нас любишь? У меня все знакомые уже ходили.

Специально спросила.

Потом наконец из-за стола встали, квартиру разглядывать пошли: мы год назад переехали, не все ещё здесь были. Мебель я кожаную купила, витрину стеклянную, итальянскую, в салоне мебели на Тверской брала, в центре там, в галерее, салон итальянской мебели есть отличный. Расставила

по картинке — в журнале мне одна понравилась — чтобы стильно было. Алику наплевать на это: ему чтобы ноги куда положить было да в телевизор уставиться, а я уют люблю.

Гости почём да что интересовались. Ахали, конечно, потому что дерево — вишня, да плюс металл, да плюс стекло: смотрится классно! Солнце в окна било: всё сверкает, паркет-мозаика блестит, розы в вазах…

Я и говорю:

— Это всё моя работа, Алик и не прикасался ни к чему.

Тут Кира как бы между прочим вставила:

— Ну да, когда голова ничем не занята, можно об этом думать…

Это она обо мне, значит, как бы между прочим вставила. А до этого молчала, делала вид, что её не интересует, какую я там мебель новую приобрела, отворачивалась, кислую мину делала.

— Женщине, — говорю, — всегда нужно об этом думать.

— Бывают и другие таланты, не только кухонные.

И на меня даже не смотрит, сквозь зубы, как всегда, цедит.

А какие у неё таланты? В доме бедлам полный. Только и талантов — стихи любит читать. Это все почти любят. Марину Цветаеву да Мандельштама вечно вспоминает, Алику мозги забила ими…

Ну, я на кухню со своими талантами пошла — убирать со стола перед чаем. Она мне помогать стала, грязную посуду на мойку относила, платье своё показывала, юбкой туда-сюда вертела. А чего вертеть? Из мужиков почти никого и не было, семейные все, с детьми пришли.

Я её на кухне спрашиваю, душевно стараюсь:

— Чего ты замуж не выходишь? Поздно потом будет.

Она брови подняла на меня, как в машине тогда, неприятно глянула, снисходительно, как будто я вопрос идиотский задала:

— Муж не просто должен быть — мужа выбрать надо.

Говорит — слова сквозь зубы цедит надуто, думает, что меня поучает, значит.

— Ну, выбери! — говорю. Её тона словно не замечаю, проглатываю.

— Все достойные уже, к сожалению, выбраны — другим достались, не самым, к сожалению, лучшим.

И вздыхает многозначительно, как будто я виновата в том, что у неё личная жизнь не сложилась, губы поджала, на меня смотрит, а в глазах металлический блеск застрял — на меня холодно уставились. А что она раньше-то делала? Почему вовремя не выбирала, кого ей нужно было?..

Я ей тарелку с тортом протянула, чтобы на стол несла, а сама на поднос остальное поставила и тоже за ней следом иду.

Дети веселятся, шум — уши затыкай.

Андрюша в компании прямо бешеный становится, не унять, драться обязательно начнёт, глаза шальные делаются, ничего не понимает, что говоришь, как будто и не слышит. За руку схватишь — вырываться начинает. Слёзы потом, рёв, ночью спать плохо будет. Антон его успокаивает. А я уже и не реагирую — бесполезно всё равно: с самого рождения такой.

В этот раз пластинки старые разбили — выволок откуда-то из шкафа, ребятам диковинку решил показать. Там ещё родительские были, «Брызги шампанского», например, военные разные, трофейные ещё, отец говорил. Интересно иногда послушать — они душевные были. Чудно теперь всё это звучит, конечно, старомодно, и голоса дребезжат. Ну так, ради экзотики слушаешь. Мою любимую — Вертинского — прямо на две половинки! Я наподдала Андрюше, несмотря на день рождения. Я её любила очень и сама пела, почти всю наизусть знаю. У меня здорово получается, голос — не отличишь прямо, если глаза закрыть. Алик любит слушать. Я вообще подражать умею на разные голоса. Можно купить кассету, конечно, или диск. Просто пластинка памятная была, тоже родительская…

Алик потом Киру поехал отвозить, потому что поздно было.

Кира далеко живёт, на Ленинском, через всю Москву ехать. Его долго не было, я уже беспокоиться стала — ночью ведь опаснее, чем днём: гоняют все на скоростях или остановить могут. А он просто в «Седьмой континент» заезжал ещё шампанского купить, чтобы назавтра было, чтобы просто дома выпить спокойно, без гостей. А у нас вообще-то было, он забыл, видно, просто…

6. День свадьбы

Я свой день рождения не справляю — он у меня летом, когда все на дачах сидят или в отпуск уезжают. Я, когда маленькая была, ужасно обижалась, что меня родили летом — никого из подруг никогда пригласить не могла. Папа с мамой старались вовсю, чтобы мне весело было, возили меня куда-нибудь в этот день: в зоопарк, или на катере кататься, или за город — чтобы впечатления были. А мне всё равно другого хотелось: хотелось, чтобы детей много было, чтобы весело… Так до сих пор и не справляю по-настоящему. Алик всегда мне в этот день приятное делает тоже: в ресторан ходим, потому что я рестораны больше всего на свете люблю.

А в это лето Алик в командировках всё время был. Я Антона с Андреем к родителям Алика отправила, в Крым, в Симферополь: у них там теперь участок большой, сорок соток, и дом. Когда это ничего не стоило, они купили и отстроились. Теперь сад у них огромный и дом, тоже огромный. Я туда Антона и Андрея, как только каникулы начинаются, и спроваживаю, чтобы дома не мешались. А сама я на даче посидела-посидела, а потом со скуки в Москву всё-таки укатила. Летом не поедешь никуда: жара везде. Голова от жары и в Москве-то прямо как соломой набита: ничего в мозгах не поворачивается. Куда же ещё на юг мотать? Идиоты есть, конечно, в Турцию едут или на Крит, на сковородке поджариваются. А я лучше, пока Алика нет, дома побуду. Всегда дела какие-то есть, вечером закатиться куда-нибудь можно с компанией — кто-нибудь остаётся, у кого

отпуск осенью. В Москве отлично провести время можно летом. Поэтому я и беру отпуск летом всегда, плюс один месяц за свой счёт, поэтому два месяца гуляю. На полную катушку отдохну! Что на работе торчать? Всё равно летом работы никакой.

А тут вдруг Лера позвонила. Как всегда, неожиданно. Мы после майских с ней так и не разговаривали больше. Она мне не звонила, а я ей тоже: мне тот случай забыть хотелось.

А тут она звонит, с днём рождения поздравляет. У нас с ней почти рядом — в пять дней разница всего.

Ну, мы тра-ля-ля, о том о сём поболтали, как будто и не было ничего. Потом она неожиданно:
— Ну, как твой Алик? Встречается с Инной?

У меня язык сразу к гортани прилип. Я мямлю что-то, еле из себя выдавливаю. А она хихикает:
— Ты проверь!

Я, как дура, говорю:
— У меня Алик вообще-то не такой!

А Лера опять хихикает:
— Вообще-то тогда что-то не видно было, чтобы не такой был! Был как все мужики!

Ну окончательно она мне настроение испортила! Я подумала, что она звонит, потому что что-то знает. Опять, как дура, говорю:
— А ты что, сообщить мне что-то интересное хочешь?
— Нет, ничего. Это тебе лучше знать, как у них там. Я этим не интересуюсь. Просто так говорю.

И опять усмехается, чувствую. Манера у неё такая — усмехаться, вроде как над людьми подсмеивается. Ну, у каждого своя, в общем…

Тут у меня всё поплыло перед глазами, опять руки-ноги отниматься стали — у меня всегда так от нервов. Я говорю:
— А Инна эта чем занимается?

Безразличным тоном спрашиваю, как будто и не помню Инну совсем.
— Художник по костюмам в театре… Да ты в голову не бери, — добавляет, — у неё мужиков свободных навалом, у них в театре с этим просто, с женатым она не будет связываться.

И опять хихикнула.

Так мы и расстались, на этой ноте.

Это в конце июля было.

А в августе у нас с Аликом годовщина свадьбы.

Алик меня на семь лет старше. Мы с ним в Таллине познакомились: я туда, когда на первом курсе ещё училась, на экскурсию ездила. Ну вот там и встретились, в кафе рядом сидели, познакомились. Он от меня не отходил ни на шаг, пылиночки сдувал, наглядеться не мог — так меня любил. Ухаживал как красиво! И цветы всегда, и духи французские, и шоколад, и рестораны. В Москву вернулись — и сразу свадьба, папа зал снял в ресторане «Минск», сто человек было. Все сказали, что я была как принцесса, — такое платье мне на заказ сшили. Пять лет, можно сказать, меня на руках носил… Мы с ним потом много раз в Эстонию ездили, именно чтобы на день свадьбы попасть: по ресторанам пойдём, где раньше сидели, по кафешкам всяким потолкаемся, лодку возьмём, катаемся по Пирите… Один раз только много гостей было — десятилетие когда отмечали. Ну а в этом году не круглая дата, поэтому вроде особенно и праздновать нечего, но всё равно отмечаем всегда. Алик мне что-нибудь дарит, какую-нибудь ненужную вещь. Нужную ведь зачем дарить? Нужную так или иначе сама в конце концов купишь. Не нужную надо, а приятную, чтобы просто любоваться. А в последнее время я стала собирать английские заварные чайники. У меня их уже десять штук, все разные. Мне Алик один раз из Англии привёз — он часто в Англию ездит в командировки. Я ему сказала: привези что-нибудь симпатичное, на память просто. Вот он мне и привёз чайник коллекционный в виде домика. Там написано на донышке: Тюдор Хаус, Генрих Восьмой. У нас они теперь тоже продаются везде, и в «Пассаже», и в ГУМе, а мне интересно, чтобы именно из Англии был и чтобы именно Алик привёз, потому что я была в Англии, а самой покупать неинтересно. И такого красивого, как тот, первый чайничек, я и не видела никогда. Я его называю «тюдорчик» — у меня каждый своё название имеет: «тюдорчик», «винтик» — Виндзорский замок, например. Они выставлены в витрине, и все сразу на них обращают внимание.

Алик как раз накануне приехал.

Я, как всегда, стала открывать чемодан.

А он:
— Не лезь! Что тебе там надо?

А я уже знакомую коробочку углядела. Вытягиваю.
— Чайничек! — говорю.

Он выхватывает у меня из рук и говорит:
— У тебя уже есть такой.

И в чемодан обратно заложил.

Я думала, может, пока дарить не хочет: через два дня только свадьба. А он мне через два дня коробочку «Шанели» номер пять сунул в руку — я её давно уже терпеть не могу, старомодный такой запах — и на работу умотал на целый день. Домой поздно вернулся: дел, сказал, много было после командировки. Не до свадьбы.

7. Новый год

Тут уже сентябрь на носу. Андрей в четвёртый пошёл, у Антона — выпускной.

Переходный возраст, что ли, у обоих начался?! Прямо бешеные оба стали!

Андрей грубит, делает, что хочет, на игровые автоматы каждый день повадился, все деньги, которые я ему даю, просаживает, сладу не стало с ним.

К Антону не знаю, на каком коне подъехать. В дом не войдёшь — грязь везде. Я ему говорю: убери! А он мне отвечает: уберу, если заплатишь — у них в классе все родители теперь платят детям за уборку. Сколько можно за ними подбирать? Есть своя комната, и делай в ней, что хочешь! Разбросают везде вещи, а я, как бобик, гавкаю только.
— Не озвучивай пространство! — отвечает.

И — хлоп дверью в свою комнату, точно как отец.

Утром спит, в школу не добудишься.

Я ему:
— Антон, вставай, опоздаешь!

А он мне:

— Сам знаю, не капай! Закрой дверь с другой стороны!

Вчера утром только дверь в его комнату приоткрыла:

— Антон, вста…

А он как запустит в меня мобильником! На день рождения ему отец подарил последнюю модель. Ну вдребезги, конечно!

Испугался, с кровати соскочил:

— Отцу не говори! Только не говори! Я куплю точно такой же!

На что купит? Опять ко мне прибежит — ему деньги давать придётся. Отца боится, уважает, а меня ни в грош не ставит! Ну, действительно! Цепляется постоянно: то не готовлю им, на чипсах сидят, оказывается, то, говорит, внимания не уделяю.

Скандал мне недавно закатил ни с того ни с сего!

Я с работы приду, на диван с ногами заберусь, телевизор включу, сижу, «В мире животных» смотрю, отвлекаюсь. Вот жизнь у божьей твари! Никаких проблем моральных. Едят, детёнышей рожают, гляди в оба только, чтобы тебя самого кто-нибудь не сожрал, и все дела! Красота! А тут мало того что на работе мне выговор был — опять в бумагах что-то не так оформила и телефон, сказал начальник, «слишком часто используешь в личных целях в рабочее время» и «вообще в последнее время много нареканий в твой адрес, подумай об этом на досуге», так ещё и дома продыху ни одного дня нет.

Короче, позавчера, значит, сижу на диване, телевизор смотрю.

Он ходил, ходил по квартире, бубнил что-то. Я спокойно сижу, его не трогаю. Тут он подскакивает к телевизору, вырубает все программы и как пошёл!

— Хватит, — говорит, — насмотрелась уже, лучше бы Андрюшей занялась!

Я обалдела! Даже не знаю, что сказать, онемела прямо.

— Не видишь, что ли, какой у него возраст? Ему внимание нужно, а у тебя на уме только ваши бабские дела да гулянки!

Я даже не понимаю, откуда он это взял! Всё лето дома сидела. Осень началась — опять дома. Никуда не хожу. Праздники теперь все закончились до Нового года. Алик в командировки опять зачастил, а домой приедет, пёрышки почистит с утра, как птичка, крылышками бяк-бяк — и нет до самой ночи. В солярий теперь стал ходить — загар ему очень идёт. Дома вообще разговаривать перестал. Тоже, что ли, переходный возраст? У меня от всего от этого, конечно, депресня началась. Ни до гостей, ни в гости, ни Алика день рождения справлять — у него в начале октября. Что справлять, когда настроения нет? Он, слава Богу, про свой день рождения и не напоминал. Даже развлечения бросила. В ресторан зовут — и то не иду! При них всё время. Я ведь не пью, не курю, не гуляю! В пять прихожу. Работа — дом, дом — работа.

А он опять:

— Меня испортила и ему существование портишь. Потому он и из дома убегает: ты пришла — и с ногами на диван уселась, а ему тепло нужно материнское!

Слов-то откуда нахватался! Я спокойно сидела, телевизор смотрела, а он пристал, скандал вдруг мне ни с того ни с сего…

И ещё добавил:

— Я у Женьки недавно был, чайники твои, «тюдорчики-винтики», с которых ты тут пыль сдуваешь, для гостей выставила, у тёти Киры в стенке стоят, точь-в-точь такие же…

Это он специально сказал…

Значит, тот чайник Алик для Киры привёз…

Голова — как коробка, пустая, и гудит где-то глубоко; в груди камень лежит — не вздохнуть. Делаю вдох, а воздух на середине застревает, дальше не проходит…

Вообще, затишье осенью обычно: праздников никаких, театры только сезон открывают, кто-то ещё в отпуске в сентябре-октябре — бархатный сезон, а у меня дурдом какой-то! Я даже всплакнула. Ну, действительно! Чего они все набросились?!

Погода испортилась: дождь с утра. Развезло, намокло всё, разбухло, почернело сразу как-то… Не люблю осень. Только сентябрь хороший, а остальное время — тоска прямо! Как будто жизнь вся кончилась…

Тут Москва с ума сходила по новому роману, писательница молодая, я даже не слышала никогда, а Алик говорит, что уже давно пишет. Алик принёс — Кира ему, сказал, дала почитать. Я не вытерпела, решила всё-таки взглянуть про что. Ну так хорошо наша жизнь там описана! Я с удовольствием прочитала. Кира говорит: «Это уже все у Чехова есть в рассказе «Душечка», только у Чехова на пятнадцати страницах, а здесь на сто пятидесяти, половину вообще выбросить можно». Это она специально, потому что я восхищалась. Не знаю, Чехова не читала. В школе, конечно, проходили «Вишнёвый сад», помню «Толстый и тонкий» — образы учили. Может, и у Чехова такой рассказ есть. А этот роман мне очень понравился. Вся наша жизнь бабская. Вот чего мужикам надо, спрашивается? Чего не хватает всегда? Прямо за душу меня взяло! Самое главное — бабу пожалеть ведь надо…

А тут принёс ещё один роман, «Кысь», чудное название такое, даже не врубилась, что значит. Тоже все читали, оказывается. Кира ему дала: она его всегда снабжает книжками. Я взяла от нечего делать, первую страницу проглядела и бросила. О чём? Про что? Ничего не понятно. Написано тоже чудным языком каким-то… Я уж если читаю, то биографии — по крайней мере узнаешь, как люди живут, тоже поучишься. А тут непонятно про что…

Вот так всю осень и жили, в неразберихе, всё отношения с Антоном выясняли. Я даже курсы забросила — настроения никакого нет. До зимы наконец доехали. Раньше ещё октябрьские обязательно праздновали. У бабушки восьмого день рождения был, у нас всегда родственники собирались. А теперь до самого Нового года загораем!

Недавно соседка ко мне приходит — они только что въехали, купили в нашем доме трёхкомнатную квартиру напротив. У нас трёхкомнатные

отличные: большие, прихожая квадратная, эркер в кухне-столовой, лоджии в спальне и в гостиной. По две квартиры на этаже: одна трёхкомнатная, другая четырёхкомнатная. Они оба приятные, молодые ребята, деловые, устраиваются сейчас, детей пока нет. Машина у них «Мерседес». У неё своя, «Пежо». Её Лена зовут. Очень круто одевается, стильная, современная, ухоженная, макияж всегда незаметный, волосы красивые, пепельного цвета, прямые, длинные. Я люблю таких баб. Мы с ней всегда теперь болтаем, как во дворе встретимся. Я ей про Антона с Андреем рассказываю, она мне даже всякие советы даёт иногда.

Про Алика недавно тоже ей рассказала.

Она спрашивает:

— Может быть, ему дома стало чего-то не хватать? Ты подумай.

А чего думать? Дом — полная чаша…

Ну вот, она недавно приходит и говорит:

— У нас с Геной предложение: давайте вместе Новый год встречать!

Я в восторге, конечно, веду её на кухню, кофе ставлю, сидим, сухариками хрустим, обсуждать начинаем идею, хотя до Нового года ещё больше месяца.

Лена говорит:

— Можно ещё кого-нибудь из соседей пригласить, чтобы компания большая была.

Я от этой идеи прямо загорелась. Антон слиняет, как всегда, они у чьих-нибудь родителей пустую квартиру займут на всю ночь. Андрея в зимний лагерь отправлю. На работе у Алика накануне всегда только междусобойчик устраивают, туда не пойдёшь. В компанию его не хочу: там опять Кира, опять настроение испортит. А как Новый год встретишь, так весь год потом и пройдёт. Весело надо, шумно! Просто пить шампанское, танцевать, серпантином обмотаться, бенгальские огни жечь, не думать ни о чём…

Поэтому обе руки поднимаю:

— Я за!

Лена смеётся:

— Тебя завести ничего не стоит! Теперь часто так делают. Все ведь в одном доме живём, а практически друг друга не знаем, только «здрассте» на улице. Вот и познакомимся лучше, верно?

У нас вообще весь дом молодёжный. Мы, наверное, самые старые. Детей во дворе почти не видно, коляски не торчат, машины в основном подъезжают, и все только выпрыгивают из машины и в подъезд впрыгивают.

Ну, я вечером к Алику: как насчёт идеи?

А он посмотрел на меня потусторонним взором, плечами равнодушно пожал:

— Хочешь — встречай!

У меня тут всё опустилось, ухнуло вниз — у меня всегда в живот падает. Я говорю:

— А как же я? Не пойду же я одна?

— А это твоя проблема, — отвечает.

И в дверь: хлоп — и нет!

Ну, в общем, расстроилась я… Как жить дальше, не знаю… А тут Новый год… А его как встретишь, так и проводишь, говорят…

Я, когда маленькая была, если кто обидит, не плакала, а сразу говорила: я к маме хочу! Слёзы в глазах стоят, а я не плачу, пока до мамы не добегу. А как добегу, уткнусь в неё носом и сразу зареву…

Вот и всё. И сразу легче станет…

Валентина Бунева

Родное окно

Хороших книг не перечесть,
Но надо, надо их касаться,
Иначе может показаться
Мир не таким, каков он есть.

Не думай о грусти, печали,
Пореже давай унывать.
Жизнь так коротка, что едва ли
Уместно подолгу скучать!
Неправда, что всё надоело
И осточертели дела…
Подумай, а что ты успела,
Что доброго в мир принесла?
Вот видишь, не так уж и много,
Но есть ещё время, не жди!
В дорогу!
В дорогу!
В дорогу!
Так много чудес впереди.

Годы летят, летят —
Осенью — листопад.
Кажется, за окошком —
Слышно — они шуршат.

Годы летят, летят,
Только вперёд глядят.
Их никому на свете
Не повернуть назад.

Годы летят, летят…
Видишь, седая прядь?
Если их кто добавил,
То уж нельзя отнять…

Поздно. Устала.
Просто нет сил.
Последний автобус
Не зря колесил.
Последний автобус
Скрылся в ночи.
Холодно. Ветер.
Думай. Молчи.
Вот и окошко.
Родное.
В нём свет.
Я улыбаюсь.
Усталости нет.

Михаил Зырянов

Её телефон не отвечал

Надежда

По настоянию мамы она не стала откладывать обращение к врачу. Помня, что к этому кабинету обычно была живая очередь, Надя вышла из дому на приём заранее. Сильно болели почки. Никто из пациентов ещё не пришёл. Сегодня нужно было проводить Сергея на поезд в четыре тридцать, но времени в запасе оставалось ещё более трёх часов. Её парень уезжал в свой родной город. Вчера была их последняя встреча перед расставанием, и поэтому им хотелось побыть вместе как можно дольше.

Задумавшись, Надя вспоминала и их первую встречу, когда Сергей разыскал её по подписанным данным с портрета на Доске почёта в университете. Вот уж необычное знакомство… И вчерашнюю неосмотрительность, когда они вечером сидели допоздна на скамейке при минусовой температуре. Сегодня на вокзал нельзя было опоздать, потому что он обещал сказать ей что-то очень важное. Надя догадывалась, что именно.

Посещение поликлиники было для неё всегда мучительным. С одной стороны, всплывали в памяти ещё детские ассоциации, а с другой — прошло уже более получаса, но врача ещё не было. Возле кабинета накапливалась довольно приличных размеров очередь. Тех, кто собирался пройти по живой очереди, сразу же оттеснила гораздо более многочисленная группа людей, утверждавшая, что каждый пациент пойдёт на приём только согласно времени, указанному в больничном талоне. Накалялось значительное возмущение, подогревавшееся жёсткими словесными перепалками, всякий раз вспыхивавшими при присоединении новых людей. Каждый подошедший пациент пытался обосновать своё мнение. Люди подходили, показывая своё первое время в талоне.

Затянувшееся ожидание томило. К двум часам, с опозданием почти на час, пришла наконец, посмеиваясь, врачица в сопровождении какого-то солидного мужчины, тоже в белом халате. После уединённых переговоров с важным господином врач приняла одного больного, а потом она целых полчаса энергично разыскивала по поликлинике какого-то пациента, который обещал сегодня её непременно посетить.

В талоне у Нади указывалось ровно четырнадцать часов, а время шло к половине четвёртого. Томила боязнь опоздать на вокзал. При таком развитии событий можно было рассчитывать пройти только в числе последних. Надя решилась обратиться к очереди, сказав всё, как есть:
— Я пришла раньше всех, да и в талоне по времени моя очередь давно прошла. Просто у меня сегодня очень важное событие. Мне нужно проводить моего молодого человека на поезд. Я уже опаздываю. Разреш…

Не дав даже досказать, недавно подошедшая крупная женщина резко оборвала её:
— Даже и не думай. У меня вообще первая очередь. Никуда твой ухажёр не денется. Не на работу на военный завод опаздываешь. — Выхватив из рук девушки талон и взглянув на него, продолжила: — Да у тебя только шестая очередь. Позже нас всех зайдёшь. Мы здесь уже два часа сидим. Даже и не думай.

Из толпы послышалось обсуждение:
— Молодёжь нынче совсем пошла бессовестная, лезут по головам. Подавай им всё сразу.
— Да не говорите, вот у меня в прошлом месяце деньги из сумочки вытащили в автобусе. Всё бесполезно. Управы на них нет. Распоясалась нынче молодёжь. А девки аж ещё хуже парней стали.

Надя попыталась что-то разъяснить присутствующим. Сердце её безудержно билось. И раньше тяжело перенося несправедливость, сейчас она ввиду важности предстоящей встречи отступать не хотела.
— Да я же первая пришла, никого ещё не было.
— Я тебя не видела, да и не важно это, как в талоне написано, так и пройдёшь, после всех, — сказала мощная женщина, занимая место у двери.

Надя присела на скамейку неподалёку.
— Даже и не думай, даже и не думай, — продолжало раздаваться из толпы ещё несколько минут. Эти слова и другие подобные фразы надежды на положительный результат никак не добавляли.

Но она не могла с этим смириться. Такая вопиющая несправедливость удручала. Ситуация и вправду накалялась. Приближалось время отправления поезда. Нужно было на что-то решаться. Если бы рядом была мама, то она, конечно же, посоветовала бы ей уйти. Но мамы рядом не было, она вообще сейчас на работе. А Надя втянулась в этот конфликт. Трудно молодой душе, искренне верившей в справедливость, смириться с такими унижениями. Поэтому девушка, вспомнив, что пришла первой, да ведь и её очередь по талону давно наступила, решила зайти в кабинет, не обращая внимания на гневные выпады.

После выхода очередного пациента она смело прошла внутрь, удерживая сумочку, которую чуть не вырвал кто-то из очереди, не пуская Надю в кабинет. Вместе с ней, конечно же, протиснулась какая-то нахрапистая тётка с большой сумкой, она вообще протопала прямо в кабинет, ни на кого

не обращая внимания. Да никто тётку и не задерживал. Сразу чувствовалось близкое знакомство женщины с врачом.

Надя, поспешно присев на стуле возле врача, протянула ей свою новую медицинскую карту.

— Вы мне что такое принесли, что это за два листка, склеенные вместе? — бросила женщина-врач.

— В регистратуре старую карточку не нашли.

— Такого быть не может. Вот идите, возьмите в регистратуре карточку и мне принесите. Всё, я вас больше не задерживаю.

Надя отчаянно пыталась что-то доказать. Зашедшая вместе с ней тётка вытеснила замешкавшуюся девушку на кушетку.

— Вы мешаете, сейчас женщина раздеваться будет, что тут сидеть, выйди немедленно.

— Да меня не пропустят больше.

— А нечего без очереди лезть. Выйди немедленно, встала и пошла. Всё, разговор окончен. Мне долго ещё ждать?

— Ну, совсем молодёжь обнаглела, — вступила в разговор женщина с большой сумкой, — ну ничего не понимает. Ты чего тут дожидаешься? — важно добавила она, опираясь на моральные нормы.

Надя покинула кабинет. Люди, вплотную стоящие у двери, ещё раз обругали её. Сердце девушки бешено билось, она плакала. Почувствовав себя нехорошо, Надя присела на скамейку.

Кто-то из людей в очереди, увидев, как она сползла на бок, и заметив у неё круги под глазами, едко бросил:

— Наркоманы тут всякие…

Только минут через тридцать проходивший мимо молодой врач понял, что девушка потеряла сознание…

Сергей до последнего мгновения ждал Надю, потом ещё долго смотрел в окно поезда до самого его отхода. Её телефон не отвечал. Причина отсутствия девушки для него была очевидна.

Вернувшись через десять дней назад в город, отбросив все дела, чтобы объясниться с Надей, Сергей прямиком отправился к девушке домой, но никого в квартире не застал. Соседка по площадке заметила молодого человека:

— Надя-то в больнице лежит уже вторую неделю. И состояние критическое. В детстве у неё остановка сердца была, а тут в обморок упала ни с того ни с сего. Сердце у неё слабое.

На больничной койке Надя лежала не шевелясь. Рядом стояла капельница. Мама девушки дежурила возле палаты в коридоре.

Сергей долго смотрел на Надю, на её бледное лицо, такое изменившееся с тех пор, когда они виделись в последний раз. Очнувшись, она произнесла еле слышно:

— Ты меня ещё любишь?

— Конечно, люблю, конечно, конечно. Всё будет хорошо. Мы поженимся. Выйдешь за меня, Надя? Выйдешь?..

Надя ничего не ответила. Она снова потеряла сознание. Вызванная медсестра привела доктора, Сергея выпроводили из кабинета.

Примерно через полтора часа Сергей, увидев подходящего к её матери понурого врача, всё понял. Секундами позже он услышал, что Нади больше нет…

Цена жизни

Посмотрев на телефон, Юрий понял, что тот разрядился. Ничего не значащая в обычное время мелкая неприятность в его теперешней ситуации не предвещала ничего хорошего. Юрий остановился у своего приятеля Андрея, и теперь ему каждый день приходилось ездить через весь город. Заканчивался июнь, и на улице стояла знойная погода. От усталости после тяжёлого дня и сильной простуды хотелось хотя бы ненадолго прилечь. Проблема была в том, что они с Андреем всегда созванивались, чтобы тот открыл по домофону дверь в подъезд. В десятиэтажном недавно построенном доме современной планировки, очевидно, жили только очень состоятельные люди. Во всяком случае, явно не из простого народа.

С радостью выйдя из переполненного душного автобуса, Юра, преодолевая недомогание, быстрым шагом направился домой. Пять попыток набрать по домофону номер квартиры не дали никаких результатов. Единственный выход теперь был такой: в шесть тридцать люди ещё очень активно выходят и заходят, и как только дверь откроется — сразу же войти.

И действительно, всего минут через десять на дорогое крыльцо с зелёными перилами поднялась дама лет тридцати. Но она без церемоний захлопнула дверь перед его носом. Мужчина, подошедший через некоторое время, на попытку Юрия пройти многозначительно заметил:

— Тут люди серьёзные живут, если кто-то приходит, то связывается по домофону, — а затем зашёл, усердно хлопнув дверью.

Постояв так ещё с полчаса на солнце, хотя и вечернем, но всё ещё довольно ярком, Юра пошёл искать телефон. Томила усталость, теперь уже не только от болезни, но и от голода тоже.

Из надписи на первой попавшейся телефонной будке стало ясно: для того чтобы позвонить, нужна таксофонная карта. Деньги у него с собой были, небольшие, конечно, но были. Однако купить её можно лишь по адресу, который уже старательно соскребли «заботливые» люди. В киосках говорили примерно одно и то же: что эти самые карты продаются на почте. С трудом узнав адрес, он дошёл до ближайшего почтового отделения, где Юрию ответили, что они этим не занимаются, а нужно обращаться в телеграф, до которого порядочное расстояние, и ещё напоследок назвали его странным человеком.

Обходя по кругу целый квартал, Юра ещё несколько раз встретил телефонные кабинки. Но на всех был написан лишь какой-то адрес, где можно купить заветные таксофонные карты. Он совершенно не знал район и у него не было сил искать эти заветные места.

Голову припекало, потому что Юрий не захватил с утра кепку. Давила усталость, но ещё сильнее давило чувство, что его жизнь ничего не стоит, даже

какой-то жалкой телефонной карты. От обиды на бессмысленную ситуацию хотелось закричать…

В магазине, где продавали телефоны, на просьбу подзарядить его аппарат, вежливо ответили, что таковым не занимаются. В другом, затем в третьем, четвёртом… магазине сказали то же самое. Юрию стало страшно, неужели можно просто так взять и сгинуть из-за какой-то глупой ерунды.

Униженно подойдя к старушке с просьбой позвонить, за деньги, конечно, в ответ он услышал:

— Ты чего, паренёк, у меня даже и телефона-то нету. Вот иди к тем парням, у них спроси,— и она указала на двух мужчин, разговаривающих возле машины.

Несмотря на ухудшающееся состояние, Юрий подумал, что к ним подходить лучше не стоит, уж они-то ему точно не помогут, зачем им ему помогать.

Юра зашёл в цветочный магазин. Работавшая там светленькая, милая, невысокая, пухленькая девушка-цветочница предложила свою помощь в выборе букета. Выслушав просьбу Юрия, она, улыбнувшись, сказала, что у неё закончились деньги на телефоне.

Ещё он попытался после непродолжительного колебания подойти и попросить позвонить к двум разговаривающим девушкам. Но те, сразу же решив, что парень хочет с ними познакомиться и просто ищет удобный повод — ведь они знали, что очень умны — обе сказали, что забыли телефоны дома. Дальше продолжать упрашивать их ему не захотелось.

Людей на улице было немного. Проходившая мимо девушка, к которой Юрий попробовал обратиться, даже не посмотрев на него, прошла мимо. Видимо, она тоже сразу раскусила его «действительные намерения».

Паника охватила Юрия, который начал понимать, что ещё немного и он просто может упасть. Неугасающая обида от этой глупой безысходности жгла изнутри. Невыносимо хотелось лечь. Ведь он уже добрых три часа бродил кругами по кварталу. Тело давно налилось тяжестью, ноги дрожали и подкашивались. Он шёл, не замечая ничего вокруг.

— Юр, своих не узнаёшь? — весело спросил подошедший к нему с сумкой Андрей.— Я раза три пытался до тебя дозвониться. Вот уж из магазина иду, решил за продуктами сходить. Пойдём домой. А ты что, только приехал?

— Да, но вот устал сильно, работы было много,— ответил спасённый парень, уж очень не хотелось признаваться в случившемся…

ДиН стихи

Дарья Серенко

Выгружаемся, кто живой!

«После нас — хоть потоп»,—
Приговаривал Ной,
И ковчег раздавался вширь…
И плодилось зверьё, и прело зерно,
У людей заводились вши.
А никто не знал, ничего не знал,
Были слухи про сорок дней.
Простынёй свалявшаяся белизна
Становилась грязней, темней…
И подумал Ной, что пришла пора,
И согнал со стола мышей.
И затих ковчег — на плаву сарай,
И задвигались сотни шей.
И сказал им Ной, что святая кровь
В жилах этого корабля,
Что един язык и на общий зов
Появиться должна земля.
И взревел ковчег, и затих ковчег,
И раздвинулась тишина,
И молился истово человек,
И не трогала мышь зерна,
И забился голубь о потолок
Так, что выпустили его…
Каждой твари — тварь,
каждой твари — Бог,
Выгружаемся, кто живой!

Связку ключей — небывалое дело! —
Мама на шею ребёнку надела.
«Саша, ещё раз: вот этот — от дома,
Этот — от бабушкиной квартиры…
Дверь не откроешь — звони к тёте Томе.
Если не будет — стучись к тёте Ире».

Саша кивает. Заветная ноша
Лучше сейчас олимпийской медали.
Выйдет во двор — и друзей огорошит,
Выпятит грудь: мол, видали? Видали?!

Вечер. Ждёт маму зарёванный Сашка,
Хочется кушать, и мучает совесть…
«Что? Потерял? Ну пошли, бедолажка,
Будем обедать. Ой… ужинать то есть».

Саша уснёт и наутро не вспомнит,
Как ему что-то во сне говорило:
«Этот — от бабушки, этот — от дома…
А остальные — от целого мира!»

Мария Песковская

Суп из бабочек

«У»роки драйва

…Он курит «Бонд» и равнодушно смотрит в окно. Стёкла опущены до упора, и пух планирует на ресницы. Нас двое, мы «летим» по ухабам городских дорог, собирая колодцы и загребая обочину на немыслимой третьей скорости. Над нами буква «У», и этим всё сказано.

«У» — это я. А он курит, курит, лупит за меня по тормозам и отжимает сцепление. И равнодушно выдыхает дым в окно.

«Обходи… держись правее!..» Да, мой капитан!

Пух всё летит в окна, а ещё хуже — дождь, и стёкла приходится поднять совсем. Вот экстремальное вождение! Кажется, по виску стекает капля…

«Я!!! По дороге!!! И не боюсь встречных машин!»

— Ну, как я? Не хуже других? — спрашиваю и очень горжусь собой.

Я всего четыре раза «заглохла», один раз зацепила бордюр задним колесом и чуть не отломила поворотник.

— Вскрытие покажет, — без тени улыбки на суровом лице отвечает он и прикуривает новую сигарету.

А назавтра снова: «Пристёгивайся. Включайся. С ручника сними. Ну. Трогайся! Поворот покажи!»

Он ведёт себя так, будто рулить я умела всегда, хоть и не знаю, где находятся «дворники». А с ним я так просто езжу — его вожу. Сначала к «сельпо» на спокойной окраине — воды купить (жарко!). Потом на заправку.

— А вот интересно. Поворотники то сами отключаются, то нет.

— Поворот показывай вовремя.

— А, поняла! Надо включать, пока колёса не начали поворачиваться. Тогда сами выключатся!…

— Это не колёса поворачиваются, это руль.

Беда с этими поворотниками! Кому из «У» не кричали с соседней полосы в открытое окно: «Поворотники выключи!» У-мные все.

Так-так, этого, который слева, мы не боимся. И вообще — мы на главной. А бабулька на пешеходном переходе совсем некстати намеревается начать манёвр. Тоже мне, помеха справа! Стой, бабуля! Еду я.

— Не газуй! Не газуй! Я на тормоз — ты на газ! Переключайся!

Я знаю. Я всё помню. Я — «У». Я на-у-чилась молчать. Это с благоверным мы размахиваем руками и орём друг на друга ежесекундно.

Картина та ещё.

Эта правая шина стоит криво. Ну, та, которая слева, если смотреть назад. Я с упрямством ослицы пытаюсь въехать задом в «гараж». Статистика удачных попыток примерно один к десяти. Нет, я не так безнадёжна, как кажется, потому что на экзамене я исполняю этот трюк… без-у-коризненно!

Машинки вокруг меня мерно урчат. Моя пошумливает тоже, мы стоим в «пробке», выжимаем сцепление в две ноги и вот-вот тронемся. «Здравствуйте, принцесса!» — слышу я вдруг скрипучий и благостный голос из сказки. Да только какие сказки — еду я! Белая, совершенно белая бородища высовывается из окна кабины «этажом выше». Это «Газель» на левой полосе, и борода эта, может, и была прежде синей, а теперь побелела. И тот, что смотрит на меня сверху, говорит мне ласково и этой самой бородищей кивает. А больше не видно ничего. «Что-то здесь не так, — быстро-быстро думаю я, ища какой-то подвох, — …я не принцесса, я курсант». Но на всякий случай ошалело тоже говорю «здравствуйте».

Хочется выразительно покрутить пальцем у виска, да вместо этого нужно вернуть на место поворотники. Опять оне.

Краем глаза ловлю указующие жесты. Шевеление перста влево означает «обходи!», вправо — «держись правее». Зачем слова? Мы понимаем друг друга без слов — он, я, один руль и пять педалей на двоих.

Экзамен я сдавала мастерски. «Сдавай завтра», — сказано мне было накануне. «Змейку», «горку» и задним ходом я, машина и тот, что всё время курит, благополучно проехали. Маршрут «улицы» был пройден, исследован, заучен и разобран до последнего «кирпича».

— Садись за руль, — сказала тётя из нашей группы, такая же «У».

Пристегнуться. Стартовать, не слишком взревев двигателем. Мягко отжать сцепление. Показать поворот. Пропустить всех. Что делают здесь эти, слепя меня фарами?.. Разве не знают они — экзамен у нас! Еду я! На вторую. На третью. Я должна показать… — ба-бахх!!! — понарыли тут ям! — …я должна показать, что умею переключаться.

— Яма! — сказала тётя «У».

— Налево, — сказал тот, что всё время курит, и даже не закурил.

«Как налево?! Куда налево?! Почему налево?!» — я перебрала все падежи, но всё же включила левый поворот, сцепление и тормоз.

«Мерседес», что мирно шёл навстречу, имел преимущество, но резкие движения впереди и знак «у»-грозы на крыше убедили его не торопиться. Глянцево-красивый, он был ещё далеко, и я была полна решимости выкручивать руль налево и давить на газ, но машинка не подавалась. Руль один, педалей — много!.. И, кажется, одна из них

лишняя. Я даже знаю у кого. Я на газ—он на тормоз! Машинка обиделась и зачихала, зарывшись носом в центр Т-образного перекрёстка. Кто-то вместо меня, не будем говорить кто, молча выжал первую скорость, руль, однако, я никому не отдала и с резвостью застоявшегося коня выкатила на встречную. Едва увернулась от всех поперечных. Какой-то остроугольный перекрёсток попался!..

Тётя «У» радостно комментировала происходящее с заднего сиденья. Я была на грани провала.

— Выбирай место и останавливайся!—скомандовал мне тот, кто…

Вот с чем у меня всегда проблемы—это делать выбор. Я понуро плелась вдоль бордюра в полной почти уверенности, что «улицу» не сдала. Поворотник, на «нейтралку», ручник…

— Напротив выезда встала!—сообщила тётя «У» напоследок.

— Приходи завтра права получать,—не глядя на меня, пробурчал тот, что сегодня ни разу не закурил…

— Сдала?!. «У»-у-хх!!!

— Сдала!..—выдохнула я благоверному, пересаживаясь пассажиром в нашу машину.

— Ещё бы ты не сдала—столько крови и бензину выпила!—ответил он, делая всё правильно.

Да, вот ещё что. Я перестала быть пассажиром. Бесповоротно. Нет, я, конечно, могу быть пассажиром самолёта, поезда или гужевой повозки. А вот пассажиром автотранспортного средства быть уже не могу. Потому что даже если за рулём не я, теперь я всегда слежу за дорогой, «читаю» знаки и «держу» полосу. Ну, или почти всегда.

…А он курит, курит.

Суп из бабочек

Про вьетнамский рис и русский алюминий глазами наших туристов

У Насти на каждом ноготке—китайский иероглиф, обозначающий «любовь». Любовь, Любовь, Love, Love… И так десять раз. Подготовка к турпоездке наших друзей—Влада и Насти—в Азию была вполне гламурной. «Из России—с любовью!»

В дельте реки Меконг тоже все понимают про любовь. А когда не хотят понимать, принимают обаятельно глуповатый вид: «не понимаю, дескать». Потому что «Уан потэйто», к примеру, по-вьетнамски звучит совсем по-другому.

В общем, милые, говорят, люди—эти вьетнамцы. И очень счастливые.

Мы тоже не печалились. Сидели за столом. Слушали про Вьетнам и Камбоджу. Смотрели снимки. Вечеринка удалась.

— Я люблю шокирующую Азию,—говорит Настя.—Отель пять звёзд, а напротив автомастерская. Земли мало, всё тесно. Жизнь на улицах. На улицах готовится и поглощается еда, испражняются там же, просто отвернувшись.

— Идём по улице, запах мерзкий: жарят лобстера. Там же кости—они горят! Тут же эти вьетнамцы его едят…

— Это вот эти маленькие замызганные вьетнамцы?! Жрут лобстера?!—возмущается Коля.

— Туда надо отправить всех наших, зажравшихся. Ноют: плохо живём. Душу лечить!

— У кого она есть…

— Представляете картину—по реке мальчик плывёт, в алюминиевом тазу. Просит подаяние. Ему дадут что-нибудь—он счастлив. Улыбается.

— Вы давали что-нибудь?—спрашивает Коля.

Николай трудится менеджером на том самом предприятии, которое производит алюминий, возможно, тот самый, из которого тазик…

— Да, я всегда подаю,—говорит Настя.—А ты, Коля, любишь давать милостыню?

— Я—нет. Я понимаю, что я этим ничего не изменю. Я не изменю глобальную экономическую ситуацию. Да и потом, как подумаешь, что за каждым просящим сутенёр стоит…

— Но жизнь ребёнка ты в этот момент изменишь! Или старика. Вы бы видели, как светятся их лица!

— Ребёнка—да…—сказал Коля и положил в рот кусок форели.

Нежно-оранжевые ломтики филе медленно замасливались на плоской тарелке.

— Нам бы мальчика этого, в тазу, нашему Ване показать! А то: «Сынок, кушай котлетки!..»—«Бе-е…»

Тарелка Влада весь вечер сохраняла первозданную чистоту. Влад не принимал пищу после шести часов вечера. С тех пор как «стал йогом». Влад пил воду, подливая жене в рюмку горячительного, и глаза его светились на загорелом лице.

Обычно было так: Настя отдувалась за двоих. Влад пробавлялся разными травками и булочкой с маслом. Сегодня он попросил молока. «Я вас сражу наповал: у вас нет молока?» Я, как гостеприимная хозяйка, пошла смотреть, не скисло ли молоко. Не скисло. Блин, уже и молоко—сплошная синтетика! Что они туда добавляют? Стоит несколько дней—и не скисло! Влад не прикоснулся. И правильно сделал.

— Как я соскучилась по простой русской еде! Водка, селёдка,—сказала Настя.—Завтра борщ сварю. Мечтаю о борще. В китайском ресторане в меню был «русский борщ». У меня от борща этого глаза на лоб…

— У нас гид в Камбодже был—умница, четыре языка знает, у него почти вся семья погибла. Остались из пятнадцати человек только брат и дядя. Мы его Борей звали, а по-ихнему—Бху. Он голодал. Там войны только девять лет как нет. В ночные джунгли ходил, не боясь ни змей, ни тигров, чтобы найти что-нибудь на пропитание. Суп так варили: поставят воду на огонь, электричества не было, пока вода кипит, в неё жуки и бабочки нападают. Вкусно, говорит.

— Влад, а ты бы стал есть жуков и бабочек?

— Нет.

— Тоже нельзя?

— Нельзя.

— Как, они же сами туда бы нападали?

— Всё равно нет.

— Людей ели. Погибнет кто-нибудь—его закопают, а потом откопают, руку отрежут и съедят.
— И он ел?
— Мы его спрашивали, он промолчал в ответ, ничего не сказал.
— Там ведь земля благодатная:—брось зерно—всё само вырастет! Если бы не воевали, всегда могли бы прокормиться.
— А представляете—вся земля в белых холмиках. Где солдат погиб, там его и похоронили. А потом нужно спросить у духов, можно ли перенести прах усопшего в другое место. Едешь вдоль поля—сплошное кладбище!
— Ужас!
— А между холмиками рис растёт.
— Настя, а Влад даже чай теперь не пьёт? Мы ведь ещё недавно кофе вместе пили!
— Не обращай внимания! Влад пьёт теперь только молоко с лепестками роз.
— Как это?
— Лепестки роз заливаешь молоком и добавляешь имбирь. Я попробовала—оказалось вкусно. Приходите, мы вас напоим.
— …А ещё раз едем по дороге—экскурсия у нас. Мирно коровка пасётся. Идёт себе, траву жуёт. Наступает на мину и… взрывается. В клочья разнесло! «Дальше не поедем,—говорим,—поворачивай обратно!»
— А это вот—дома на воде. Не понравился сосед—уплыл в другое место.
— Классно… Мне вот соседи спать мешают…
— А это—такое специальное место, где местные Ромео с Джульеттами встречаются,—Влад показывает фото, где берег океана, дощатый навес, песок и пальмы.—У них там гамаки, представляете? Валяются в гамаках и на закат смотрят!
— Ага, у нас говорят: «Пойдём потусуемся, в кафе посидим!», а у них: «Пойдём полежим!»

О тяжёлой доле улыбчивых вьетнамских женщин заговорили под тост «за любовь».
— А вьетнамская женщина, как замуж выходит, не может ни выпить, ни закурить. По их законам муж за это может и побить.
— А-а, то есть она может, если согласна, что её муж побьёт?—шутит Коля, подливая жене в бокал вина. И всеобщая радость по этому поводу охватывает всю нашу компанию.
— У нас мужики говорят: «Молоденькую себе найду». А во Вьетнаме говорят: «Беленькую найду». У них культ белой кожи,—сообщает Настя.

Вьетнамки всеми силами стараются лица отбелить. С таким же рвением, как наши дуры по соляриям парятся.
— А ещё вьетнамки просто в кабале у своего мужа: родители невесты получают за неё солидный выкуп, а она за это всю жизнь работает на семью мужа!
— Бедные, и при такой тяжёлой жизни ни тебе ни выпить, ни закурить!
— Зато, когда девушке мужа выбирают, потенциальный жених должен три месяца бесплатно в семье невесты работать. Если не понравилась его работа—всего хорошего, без объяснения причин.
— Прямо как у нас в некоторых фирмах!..

— В самолёте туда летели—одни знакомые рожи!
— Одни и те же летают.
— Все, кто могут летать, летят в одно время в одни и те же места.
— …и помещаются в один самолёт!—добавил Коля, и все заржали.

Живописные руины из точёного камня, изощрённая резьба по камню в строениях без единого гвоздя и цемента. Древние храмы, разрушенные войной. Деревья-паразиты. Закаты, рассветы. Черепаха-альбинос гигантских размеров. Прибой. Плоды какао, запрещённые к вывозу. Шумные улицы. Спящий ленивец. Звуки и запахи—за пределами цифровой памяти.

Счастья вам, российские женщины! Вьетнамки улыбаются и так.

«Отдам паука. В хорошие руки»

Однажды он попал под веник, но его отпустили. Взяли за лапку и перенесли в тёплый угол: пусть живёт. Он совсем не страшный и даже милый. Говорят, пауки приносят письма.

Со временем паучок освоился и перебрался повыше. И однажды хозяин заметил «квартиранта» прямо у себя над головой: он висел на клейкой невидимой нити над абажуром. Это не было странным. На кухне тепло. Здесь всегда есть еда. Домом его стал «стакан», который… По нитке он спускался на стеклянную тарелку лампы за кормом—маленькие мушки закончили там свою маленькую жизнь… в несметных количествах и могли прокормить не одного паука. Когда ему приедалось это блюдо, он ловил живых мух обычным способом. Он значительно вырос и стал совсем красивый.

А хозяин что-то пишет. Сидит ночами на кухне и постукивает неслышно по клавишам маленького переносного компьютера. Раньше у него была пишущая машинка, которая стучала громко. Он выдёргивал из неё листы с пропечатанными буквами, и комкал их, и бросал в угол. А теперь хитроумная машина сама складывает буквы в строчки, а строчки в файлы, сохраняет мегабайты и комкать ничего не даёт…

Жили они дружно, можно сказать, одной семьёй: паук незаметно ел своих мух и толстел, писатель пил кофе, скрёб бороду, смотрел в окно и бросал буквы в компьютер. Днём оба спали. Когда за окном уже становилось светло, писатель «гасил фары» и уходил, страшно зевая. Лампа переставала нагреваться, и паук прятался под её основание. Когда приходили сумерки, писатель выходил на работу: зажигал свет, заваривал кофе и включал компьютер. Лампа грелась, и паук выбирался наружу.

«Он стал ещё толще,—бурчал про себя писатель.—Красавчик! Когда-нибудь он свалится мне на голову».

Писем всё не было. Были какие-то извещения, квитанции с цифрами и нехорошими словами:

«ваша задолженность составляет…», «оплатить до…», «пеня…» Но писатель не читал.

Он писал свой рассказ, и у него было вдохновение. Он больше не комкал слова. Хорошие слова складывались сами собой, он срывал их легко, как созревшие плоды с тяжёлой ветки. Или они падали ему прямо в руки, и пальцы бойко колотили по серым клавишам.

Иногда, осторожно отставляя кружку с остывшим кофе от клавиатуры, он читал вслух то, что получилось. «Ну, как я?..»—спрашивал он паука. Паук ничего не отвечал.

Рассказ гениальный, и он станет лауреатом. На днях, не раньше.

Однажды под утро писатель заменил на тире одну запятую, поставил последнюю точку, аккуратно побрился и отнёс буквы в журнал. Там сказали, что рассказ хороший и обещали заплатить гонорар.

Рассказ в самом деле напечатали, и весь день светило солнце. Он постучался в маленькое зарешечённое окно в железной двери, где прутья решётки расходились правильными лучами, как паутина, и толстая бухгалтерша, похожая на муху, подала ему денежные знаки. Гонорара хватило на два килограмма сосисок и бутылку водки. А должно было хватить на три. Его обманули.

Писатель пришёл домой, зажёг свет на кухне, и друг паук, как обычно, молча вышел из своего укрытия.

— Водку будешь?—спросил писатель паука.

— Буду,—ответил паук.

В этот момент—ни преж, ни после—звякнула микроволновка, сообщая о готовности закуски. Может, послышалось? Лауреат поскрёб бороду, посмотрел на паука, раскрыл рот, но говорить передумал. Паучище к тому времени совсем разжирел и обнаглел окончательно. Но это ещё не давало ему права разговаривать человеческим голосом.

«Вроде не пил ещё»,—подумал писатель и от неожиданности водку пролил. Стакан качнулся сам собой, и жидкость, прозрачнее, чем вода, выплеснулась на серые клавиши. В клавишах замкнуло.

— Всё, вешайся!—сказал он пауку.

Восьмилапый обиделся, ничего не сказал и повис на невидимых нитях вниз головой.

Писатель допил уцелевшую водку, кофе заваривать не стал, работать тоже. Вдохновение ушло к другому писателю. А писатель, обалдев от всего происходящего, ушёл спать.

Назавтра писатель снова наполнил стакан и повторил приглашение. Паук не заставил себя долго ждать, скачками спустился по своей верёвочной лестнице и повис над столом.

Писатель пил водку неделю. Паук тоже не отказывался. Они говорили обо всём. О том, как трудно добывать себе средства к существованию, терять шерсть и вообще выживать в современном мире, где все друг друга… едят.

Паук глядел восемью своими грустными глазами и раздумчиво перебирал членистыми мохнатыми лапками.

А линька?!. Из кожи вон лезть приходится!!!

— Я …такой красивый. А он меня съест. Съес-с-ст. Вып-п-пьёт до капельки…

Может, он и не сказал этого, но так оно и было. Опасность таилась за печкой, в дальнем тёплом углу, звалась Pholcus phalangoides, а попросту «косиножка», и плела там свои сети. Этот долгоногий паук—всем паукам паук и главный их истребитель. Трудно удержаться, чтобы не съесть кого-нибудь из своей семьи. Они стали бояться вдвоём.

Когда водка в клавишах высохла, компьютер очухался, лампочки на нём замигали, экран ожил, а буквы все перепутались, из электронной почты вдруг посыпались письма. Они, видно, долго были в пути, а теперь открылся какой-то незримый шлюз. Или всё было проще: железяка оказалась непривычна к алкоголю.

Там было всё. Две восхитительные блондинки предлагали своё время по профессорским ставкам, портал «Жизнь без насекомых» приглашал посетить свои стерильные виртуальные страницы, объявления вываливались пачками, сулили быстрое обогащение и скорое счастье и не имели к жизни писателя ни малейшего отношения. Разгребать весь этот хлам было некому, а отправить всё одним махом в корзину никак невозможно: писатель ждал ответа из столичного издательства. Одно было приятно: никто не считал его деньги и не грозился пеней.

Сто восемнадцатое сообщение шло сразу после рекомендации закрыть длинные позиции в связи с ожидаемым снижением рынка: «Продам канарейку. Ругается матом. Дорого». А сто девятнадцатое было то, которого он так давно ждал.

Паук между тем стал реже выходить из своего укрытия. Он вёл рассеянную жизнь. Подступала зима, и еды стало меньше. Члены его слабели. Двигаться не хотелось. Если какая-нибудь глупая муха сама не вляпается в его шелка, он ослабеет совсем и сам станет чьей-нибудь едой. Он даже знает чьей.

Теперь, заходя на кухню, писатель первым делом обращал глаза к небу, к лампе то есть. Однажды, совершив привычный ритуал, он обнаружил паука лежащим, если так можно сказать о тех, кто проживает свою жизнь вниз головой, на основании лампы. Членистые лапки его были скрючены и застыли в неестественной позе. «Умер»,—подумал писатель, и ему стало грустно. На всякий случай даже за печку заглянул. Но на закат паучина снова художественно развесил лапки. Симметрично, как и прежде, на своей невидимой клейкой нити.

«Жив, выпивоха!»—обрадовался писатель и подумал, что ему непросто будет оставить беднягу одного во враждебном мире. Издатель без него переживёт эту зиму, а паук? Да и вообще, издатели не линяют.

Слова складывались нехотя и трудно. «Продам говорящего паука. Пьёт. Но не курит. Дорого». За окном полетел первый снег, и писатель добавил слово «срочно». Потом поскрёб бороду, задрал башку, посмотрел на паука и заменил нехорошее слово «продам», настучав другие буквы: «Отдам в хорошие руки…»

Слово «временно» возникло само собой.

— …Понимаешь, надо ехать,— говорил писатель вслух, будто извиняясь.

И со стороны казалось, должно быть, что сбрендивший лауреат на выходе из запоя беседует сам с собою. Правда, время от времени он поглядывал вверх, значит, разговаривал с кем-то повыше. И вот что я вам скажу. Когда обычные люди разговаривают с кем-то, обращая глаза к небу, обычно им никто не отвечает. По крайней мере, человеческим голосом.

— *Валяй. Линяй. Я буду тебя ш-ш-таттъ…* — ответили ему сверху.

Всё-таки это был необыкновенный паук. А история обыкновенная. Там было все спокойно.

Перезагрузка компьютера не дала ничего. Видимые повреждения в мозгах будущего букеровского лауреата и невидимые — в железных нервах ноутбука брали своё.

Буквы проступали чёрным по белому, и совершенно чужой реально-виртуальный обратный адрес отсылал по меньшей мере к такому же, как и он, одинокому чудику, которому словом не с кем перемолвиться.

Полежаев

Он был никто, работал где-то, занимался ничем, а звали его Полежаев. Другого имени у него не было. Жена как-то называла его прежде, но жена ушла, кот Савва звал его изредка Ми-ау, а рыбы и при жизни не разговаривали.

Весь остальной мир звал его «Полежаев». «Полежаев?» — строго спрашивали начальник, кассирша в банке и регистраторша в районной поликлинике. «Полежаев»,— смиренно соглашался он.

Жизнь наяву однообразна и предсказуема. Сны приходят без спроса, накрывают с головой, открывают глаза, увлекают, захватывают и подчиняют себе даже дыхание. Спал Полежаев много и страстно. Это было единственное, чему он отдавался без остатка. Он жил во сне. Весьма в этом занятии преуспел и превзошёл самого себя. Он спал без устали и многому научился.

Способность есть во сне пришла не сразу. Вкусно пахнущие ванилью пышные булки, многоэтажные пирожные, простые бутерброды с икрой и жареная, с корочкой, курица исчезали сразу, как только к ним протягиваешь руку. Кошмар!.. Сначала пришли запахи.

А сегодня он съел во сне изрядный кусок «Докторской». Там была ещё копчёная, но ему досталась эта — свеженькая, ароматная, крахмально-розовая, и он проснулся с явственным ощущением… только что съеденной колбасы.

Жена ушла от Полежаева, невзирая на его таланты. Не смогла выносить его неукротимого храпа по ночам — и ушла. Рыбки сначала размножались, а потом шесть из них были съедены двумя, а те две умерли от переедания. Остался Савва.

Сибирский кот Савва очень любит мохнатых бабочек. Изловит одну. Потом долго сидит у окна. Ждёт, когда ещё прилетят. Не прилетают.

Но случилось страшное.

Всё дело в том, что мирные трапезы в снах Полежаева нередко сменялись картинами иного рода. Вот, после «Докторской», например, идёт Полежаев по улице, а на него вдруг нечто из ниоткуда наплывать начинает: неоном розовым изнутри светится, переворачивается поперёк своей оси и устрашающе прогрессирует в размерах. Присмотрелся, а это автомобиль. Едва увернуться успел, юркнув в узкий переулок, и глаза распахнул… Иногда — опасность с воздуха. Самолёты падают. Здания обрушиваются. А ещё раз было: гигантская мохнатая бабочка схватила его за плечи и изготовилась уже выпить из него весь нектар и, страшно даже подумать… но Полежаев разлепил тяжёлые веки и… несколько алых капель не успели окропить его белые брюки.

Вот и Полежаев неожиданно для себя пришёл к мысли, а может, это она к нему пришла, незваная: наступит однажды ночь, и не сможет он уйти от бомбёжки, увернуться от летящего поперёк неонового авто или другой какой гадины, смертоносной и страшной. В ожидании неминуемой катастрофы Полежаев почти потерял сон, аппетит и смысл существования. Он даже свет перестал на ночь выключать, так ему было страшно.

Ирке страшно не было. Одиноко было, а страшно — нет. Рыжие — они вообще отчаянные. Она даже мышей не боялась.

Крыса рыжая жила в Иркином подъезде. Когда никого вокруг, высовывала ржавую мордочку из дыры в асфальте. Трогала воздух усами.

Ирка крошила сырники с балкона. Сырники лежали уже неделю. Ирка кормила крысу, птиц, дворнягу и проходивших мимо кошек. Кошки ходили мимо вереницей, как будто у них были какие-то дела в этом районе.

«Она как я,— вдруг подумала Ирка.— Ей тоже одиноко». Она тряхнула рыжей чёлкой, зябко повела плечами и запалила последнюю сигаретку.

В последнее время в квартире напротив всегда горел свет. Тот, который там жил, боялся погибнуть во сне. Он станет кричать, и никто не тронет его за плечо и не скажет: «Тихо, тихо. Это только сон!»

Она видела его однажды. Любопытно, как его зовут? У него белые брюки и интересная жизнь.

Ирка курила и смотрела в окно, за которым никогда не гасили свет. Это теперь, а прежде два немигающих жёлтых огонька глядели на неё из темноты.

Так они и смотрели друг на друга и на проходящих мимо кошек — Ирка и Савва.

Вот жилец из квартиры этажом ниже сроду белого не носил. Он вёл бурную жизнь и совсем не видел снов. Работа у него была чёрная, но правильная — паразитов травить. Он этому делу всю душу отдал, а под носом у себя недосмотрел. И несколько крошек упали к нему на балкон.

Уже несколько дней никто не высовывал ржавую мордочку из дыры в асфальте. Пропала куда-то крыса. «Здесь ведь рыжая жила?» — спросила Ирка. «Больше не живёт»,— ответил сосед из квартиры снизу, пряча мрачную усмешку в бурной растительности на лице.

— Вы негодяй,— сказала Ирка.— Вы не любите животных. Вы вообще никого не любите.

А он и не собирался никого любить. Он пожрать собирался и шёл для этого к себе домой. А тут эта малахольная. «Отдайте,—говорит,—колбасу! Она отравленная!»—и хвать у него из-под мышки «Докторскую»—свеженькую, ароматную, крахмально-розовую. А он дуру эту кетчупом, кетчупом!..

…Савва позвал: «Ми-ау!»—и Полежаев подошёл к окну.

«Паразиты!.. Всех поубиваю!»—орал сосед из квартиры этажом ниже, когда Полежаев выскочил во двор. Кетчуп был уже на исходе, но несколько пронзительно-алых капель упали на его белые брюки.

«У меня есть отличное средство от пятен!»—сказала практичная Ирка. «Какая девушка!»—подумал Полежаев. Он взял её за руку, и они пошли отстирывать белые брюки. Оставшиеся в живых птицы, дворняга и проходившие мимо кошки весело уничтожали следы побоища.

…Он научил её смотреть вкусные сны. Сны о вкусной и здоровой пище. Они вместе перепробовали кухню разных народов и стран. А если случится вдруг страшное, она тронет его за плечо и скажет: «Тихо, тихо. Это всего лишь сон!»

Да, теперь его снова как-то зовут. Не помню, как.

Дмитрий Щедровицкий

Ржаная корочка[1]

Михаил Черниговский

Михаил, князь Черниговский, вызван в Орду:
Там у входа в палаты Батыя
Два огромных огня зажжены, как в аду,
А за ними—кумиры литые.

—Князь, пройди меж огней
Для продления дней,
И пади пред богами—для счастья:
Коль падёшь, станешь хану ты брата родней,
Если ж нет—растерзаем на части!..

—Не нарушит никто из Христовых рабов
То, что в Божьих предписано книгах!
На груди моей—крест, и в груди моей—Бог:
Пусть я жертвой паду за Чернигов!..

Просят русские слуги, пред князем склонясь:
—Ты не бойся, мы грех твой замолим!..
—Слуги, вы мне верны!..
Так ужель я—ваш князь—
Стану Богу слугою крамольным?!

Если я перед бесами ныне паду,
Крест святой на попранье им выдав,
—Город в рабство пойдёт, он падёт…
Я ль беду
На народ наведу, на Чернигов?!.

Он им в ноги бросает свой княжеский плащ:
—Возлюбили вы славу мирскую!
Пуще этих огней—адский пламень палящ,
Я же—в райских садах возликую!..

…Зазвенели сирот голоса, зарыдав
На высоких крутых колокольнях
Не в Чернигове только—во всех городах,
Завоёванных,
Но непокорных!..

Ржаная корочка

Как пан помирал—
Пели да кадили,
И за это его в рай
Ангелы вводили.

Говорит ему Ключарь:
«Я кормить не буду—
В небе каждый получай,
Что принёс оттуда!»

Как пан в том раю
Люто голодает,
Он к ногам Ключарю
Слёзно припадает:

«У меня ж в дому добро—
Не видать и края…
Отпусти меня, Петро,
На денёк из рая!»

…Вдоль амбаров пан идёт—
Страсть как видеть рад их,
Грузит снедью семь подвод,
Семь кобыл крылатых.

Из всего того добра
Корку обронивши,
Пан её не подобрал:
Корку поднял нищий…

…Шесть подвод стоят пустых
Посредине рая,
На седьмой, на дне, блестит
Корочка ржаная!..

---

1. Стихи признаны лучшими на литературном конкурсе «Грядущее поколение», который проводит Литературный Фонд Международного союза писателей «Новый современник» при поддержке литературного портала «Что хочет автор» (www.litkonkurs.ru) совместно с журналом «День и ночь».

Марат Валеев

Михалыч и Митяй

Ногу Виктор Михайлович Бельский, а попросту — Михалыч, надо признать, потерял глупо — когда ещё лет пятнадцать назад вдруг начал хромать, хирург в районной больнице сказал ему, что это болезнь сосудов, эндартериит. Она практически неизлечима, но если бросить курить, то её можно хотя бы остановить.

Михалыч регулярно, раз в год, ложился в больницу под капельницу, дисциплинированно принимал прописанные ему лекарства, но с куревом так и не смог расстаться, и потому хромота его всё усиливалась. Ходил он уже с большим трудом, а вскоре и вовсе не смог наступать на правую ногу: ступня распухла и страшно болела. Началась гангрена, и ногу ему в конце концов оттяпали, причём выше колена. Вот только тогда Михалыч всё же бросил курить. Потому как если бы не бросил, вполне мог расстаться и со второй конечностью, которая тоже болела. Хотя и поменьше, чем бедная правая, где-то теперь уже похороненная или сожжённая в печи больничной котельной, царствие ей небесное. О судьбе отрезанной ноги Михалычу в больнице не сказали, да он как-то и не заморачивался на эту тему, и вспоминал о ней лишь в придуманной им «шутке чёрного юмора», когда мог для красного словца ляпнуть, что одной ногой он уже «там».

Отказ от курева Михалычу дался нелегко. Беда ещё была в том, что почти год он сиднем просидел дома, ожидая, пока чудовищный шрам на ноющей культе окончательно заживёт, чтобы затем можно было ехать в областной город на протезирование. Жена Тамара с утра уходила на работу в детский сад, которым она заведовала, и возвращалась лишь после шести часов вечера. Предоставленный сам себе, Михалыч угрюмо сидел дома один, мучаясь от желания закурить. Одиночество ему скрашивали книги, телевизор да толстый и ленивый, но очень ласковый кот Митяй. Предполагалось, что он принадлежит к серой русской породе, хотя никаких документов по этому поводу на него не имелось. А произвела его на свет полусиамка, полу-неизвестно-кто Мотя, когда Михалыч был ещё на своих двоих и добросовестно трудился бульдозеристом в мехколонне на строительстве автозимников. Эту диковатую голубоглазую кошку, «если что» без раздумья пускающую в ход когти и зубы, Тамара принесла с работы, чтобы навести укорот на разгулявшихся в их квартире мышей. Двухэтажный дом на восемь хозяев, среди которых значились и Бельские, был выстроен из деревянного бруса, как и практически всё жильё в этом северном посёлке, и с годами огромное число пустот в его перекрытиях, в стенах за листами сухой штукатурки дружно заселили мыши и даже крысы, и без конца что-то там грызли, точили, шуршали, а ночами смело объявлялись на кухне с целью чем-нибудь поживиться.

Мотя оказалась свирепой и азартной охотницей и быстро навела порядок в квартире своих новых хозяев, всего лишь за неделю изловив с пяток штук мышей. Остальные насмерть перепуганные обитатели застенков и подполья надолго притихли в своих пустотах и передвигались там только на цыпочках, потому что Мотя, заслышав шорох, тут же бросалась к подозрительному участку квартиры и надолго замирала там в засаде. В такие минуты она почти не дышала и не двигалась, вперив горящий и неподвижный взгляд в одну точку. Уносить Мотьку обратно в садик, где кошек и так было хоть отбавляй — какие сами прибивались на запах кухни, каких втихомолку кто-то подбрасывал ещё несмышлёными котятами,— было жалко, настолько привыкли к ней. Так и прижилась она у Бельских. А вскоре выяснилось, что Мотька, оказывается, беременна!

В положенное время она сама забралась в специально оборудованную Тамарой картонную коробку и без особой натуги произвела на свет четверых слабо пищащих слепых котят самой разной расцветки, впрочем, совершенно не похожих на Мотьку.

Один из них, головастый и в серую полоску, оказался самым крупным, это и был будущий Митяй. Вот его после ряда совещаний Бельские всё же решили оставить себе, а оставшихся троих, когда они немного подросли, с большим трудом растолкали по знакомым. Митяй менее чем за год вымахал в крупного вальяжного котяру. Ещё бы: он один за четверых сосал мамкины, то есть Мотькины, титьки. Даже когда прошёл положенный срок «грудничкового» возраста, Митяй бесцеремонно заваливал мамку набок и, обхватив её толстыми лапами, припадал к одному из сосков — причём уже явно пустых! — и с наслаждением чмокал. Мотька сначала злилась, а потом смирилась и принимала эту процедуру покорно. Как массаж. Дальше — больше. Дойдя до половой зрелости, этот греховодник в кошачьем обличии избрал объектом для своих сексуальных утех её же. То есть мать свою, Мотьку.

Бельские сначала не поверили. Думали, это у них игра такая. Но когда Митяй и раз «слазил» на Мотьку, и два, а та, как и полагается кошке, каждый раз в конце сих подозрительных упражнений удовлетворённо мурчала и начинала кататься

по полу, Бельские возмутились и решительно пресекли этот кошачий инцест. Тамара отдала Мотьку одной из своих сотрудниц, давно высказывавшей желание заиметь сиамку, пусть и полукровку. И вот Митяй остался в их доме один и жил долго и счастливо много лет, пользуясь особым покровительством хозяина. Михалыч был, что называется, кошатником. Может быть, потому, что по зодиаку сам был Котом. И Митяй тоже выделял Михалыча: всегда лез под руку хозяина, чтобы тот его погладил, «почухал» мягкое толстое брюшко. А стоило Михалычу прилечь на диван, как Митяй, довольно урча, тут же по-хозяйски располагался на его груди — подремать часок-другой. И всем было хорошо, и все были довольны. Но с годами Митяй состарился, у него начали болеть зубы, это было понятно по тому, как он во время еды всё чаще взрыкивал и отскакивал от своей плошки с мясом, а изо рта у него начало неприятно пахнуть. Митяя несколько раз пришлось относить к ветеринару. Тот нашёл у кота пародонтоз и под наркозом несколько раз удалял ему зубные камни и наиболее расшатавшиеся зубы. Но всё равно Митяй к пятнадцати годам своей долгой кошачьей жизни утратил возможность кусать мясо, а так как ничего другого он признавать не хотел, в том числе и появившиеся в последнее время специальные кошачьи консервы, то Михалыч специально для него вертел фарш из дикой оленины. Благо, что её здесь было хоть завались — не так далеко от посёлка пролегал вековой миграционный путь огромного стада «дикаря», которого местные промысловики добывали для продажи населению. Совсем недорого, по сравнению с привозными свининой, говядиной и птицей.

Сосед Михалыча, безобидный пьянчужка Сеня Шатунов, который, как ни зайдёт, всё заставал Михалыча у мясорубки, не раз советовал ему отнести Митяя к ветеринарам и усыпить «к чёртовой матери».

— Сеня, иди ты сам к чёртовой матери, — сипел потный Михалыч, с трудом прокручивая едва отошедшие после морозилки куски оленины. — А если тебя усыпить?

— А меня-то за что? — искренне удивлялся Сеня. — Я — человек!.. Михалыч, я чё зашёл-то. Стольника не будет, до получки? Лучше бы, конечно, двести. Но если дашь хотя бы сто пятьдесят, я не обижусь…

Щупленький Сеня со своей дородной женой Варварой жили напротив Бельских. Варвара устала бороться с Сениным алкоголизмом, а потом и сама стала с ним попивать. Но на опохмелку денег ему никогда не давала. А, встав с утра пораньше, пока Сенька, дёргаясь и скрипя зубами, ещё досматривал свои утренние похмельные кошмары, быстренько убегала на работу, в местную пекарню, где отпивалась чаем с ванильными булочками. От Варвары всегда вкусно пахло свежеиспечённым хлебом и ванилью. И сама она была как булочка — румяная, пухленькая. Но Сеньке давно уже было на неё наплевать.

Он слесарил на дизельной электростанции, там женщин не было. С работы домой Сенька частенько возвращался уже пьяным, с белыми глазами и никого вокруг не видел. Одна отрада осталась у Сеньки в жизни, после тесного общения с которой он шёл к Михалычу — в их доме только Михалыч ещё не отказывался давать ему в долг. А у Михалыча деньги водились потому, что, кроме «инвалидской» пенсии, он получал ещё зарплату как сторож детского сада, куда его устроила жена. Садик был буквально через дорогу, и Михалычу не составляло особого труда, нацепив неудобный протез и опираясь на трость, доковылять туда один раз в трое суток, и провести там ночь. А так как у Михалыча руки росли откуда надо, он время своей сторожевой вахты коротал за починкой детских стульчиков, шкафчиков и прочей поломанной мебели. За что заботливая и справедливая заведующая садиком в лице жены Тамары приплачивала ему уже отдельно. Конечно, всё заработанное Михалычем шло в семейный бюджет, которым, как и полагается, ведала рачительная супруга. Но пару-тройку сотен рублей — на газеты там, банку-другую пива раз в неделю — ему с получки или пенсии милостиво разрешали оставлять при себе. Так что Михалыч мог себе позволить дать взаймы Сене Шатунову из своих карманных денег. Тем более что Сеня никогда не забывал вернуть их. Правда, не «завтра», как он божился, приплясывая на пороге кухни от нетерпения, а чаще всего через месяц-другой. Но ведь возвращал!

Однако вернёмся к Митяю. К проблемам с зубами у дряхлеющего кота добавились ещё трудности с почками и памятью. Митяй стал помногу мочиться, причём упорно — не в туалетный лоток, а рядом. Когда был здоровым и молодым, в туалет ходил, можно сказать, показательно, демонстративно громко шурша выстланными газетами — дескать, смотрите, хозяева, какой я хороший. А впав в старческий маразм, старался выбрать момент, когда рядом никого нет, и прудил рядом с лотком на пол. Кот был крупный, и лужа после него образовывалась большущая, невозможно вонючая и с длинными, на всю прихожую, красноватыми потёками. В ветлечебнице, куда хозяйка снесла Митяя в очередной раз, ему сделали УЗИ и сообщили, что это всё, увы, старческие хвори, которые уже и лечить-то бесполезно и которые уйдут только вместе с недалёкой кончиной кота. И предложили эту кончину ускорить прямо тут, за небольшую плату, чтобы и сам кот больше не мучился, и хозяев освободил от мучений. Но Митяй всё ещё был дорог не только Михалычу, но и самой Тамаре: ведь она его вырастила, можно сказать, с младенческих когтей. И потому она гневно отвергла милосердное предложение ветеринаров и настояла на том, чтобы ему всё же выписали какие-нибудь лекарства. Уколы Тамара делала Митяю дома сама — наловчилась на Михалыче, когда тот на перемену погоды начинал корчиться от фантомных болей в отсутствующей ноге, и экзекуцию эту кот переносил довольно мужественно. А вот заставить его глотать лекарства было практически невозможно: кот ошалело пучил глаза, шипел и плевался не хуже верблюда. Впрочем, лечение никак не сказалось на периодичности опорожнения

его мочевого пузыря. В тех же количествах и на том же месте. То есть на пол.

Михалыч, совестясь за своего любимца и жалея жену, первое время сам пытался протирать полы. Но пару раз поскользнулся и навернулся с костылей так, что чуть не сломал последнюю ногу. Потому все мочевые потоки, шипя сквозь зубы матерные слова, собирала половой тряпкой Тамара и затем долго намывала пол с хлоркой и разными там ароматизаторами. А на другой день всё повторялось — подлый Митяй улучал момент и снова тихой сапой шёл на мокрое дело. Из-за всего этого в квартире, как её ни проветривали, воцарился устойчивый специфический запах, и Бельские перестали приглашать к себе гостей, а незваных просто не пускали дальше порога. Кроме Сеньки — тот был свой человек.

А тут жена Михалыча улетела на недельку «на материк» — в город, вроде как по делам, но на самом деле проведать сына-студента. Михалыч остался дома один с Митяем. На второй день заявился Сенька — опять перехватить «до завтра» стольник-другой. Михалыч посмотрел-посмотрел на небритого, но весёлого соседа — с помелья тот, как ни странно, почему-то всегда был весел, — махнул рукой и дал ему пятьсот рублей.

Сенька не поверил своим глазам:

— Михалыч, завтра я тебе столько не верну. Послезавтра, ладно?

— Не надо ничего возвращать. Купи пару бутылок нормальной водки да дуй ко мне, — распорядился Михалыч. Посидели они в тот день хорошо, поговорили по душам, если это можно было только назвать разговором: от постоянного соседства с громыхающими дизелями Сенька был глуховат и поэтому и сам всегда орал при разговоре, и ему приходилось кричать, чтобы он что-то расслышал. Их содержательную беседу прервала пришедшая с работы Сенькина жена Варвара. По несусветному ору, доносящемуся даже из-за двойных дверей квартиры Михалыча, ей не составило труда найти местопребывание непутёвого муженька и утащить его за шкирку домой. Михалыч запер дверь за удалившимся супругами Шатуновыми и отправился спать. Но не успел он сделать и нескольких шагов, как костыли его, попав в очередную митяевскую лужу, разъехались, и Михалыч с грохотом свалился на пол. Причём получилось так, что сел он на шпагат в центре самой лужи. Такого вопля их дом, пожалуй, не слышал уже давно.

— Митька, сволочь, я убью тебя! — ревел Михалыч, ворочаясь в луже и пытаясь встать. — Только попадись мне, придушу, сукин кот!

Но Митяй, не будь дураком, уже прятался где-то в глубине квартиры. Вот ведь скотина: явно понимал, что делает что-то не так, так как хозяева, обнаружив очередную его «роспись» на полу, всегда громко ругались и, изловив, тыкали мордой в свежую лужу, приговаривая: «Сюда… нельзя! Нельзя! Нельзя, Моть, твою мать!!!» Митяй, несомненно, признавал свою вину, но из-за какого-то сдвига, произошедшего на старости лет в его кошачьей башке, ничего с собой поделать не мог и продолжал дуть на пол. И в том, что он сделал это и сегодня, ничего особенного не было. Так, может быть, думал угрюмо дремавший, спрятавшись под кроватью, сам Митяй. Но Михалыч, с трудом вставший с пола и чувствуя по сильной боли в месте приземления, что он не только ушиб копчик, но и растянул какое-то сухожилие, уже принял для себя конкретное решение, воплощение которого отложил до утра. Охая на каждом шагу, он доковылял до ванной, тщательно помылся под душем и замочил на ночь в растворе стирального порошка перепачканную в кошачьей моче одежду. Потом, сидя на стуле и на нём же рывками передвигаясь, всё же протёр пол в прихожей и только тогда отправился спать на диван у работающего телевизора. Уже засыпая, почувствовал, как выбравшийся из своего укрытия Митяй запрыгнул к нему. Он вначале настороже постоял пару минут в ногах хозяина, дожидаясь его реакции, и лишь потом уверенно взобрался на его укрытую пледом грудь, уютно свернулся клубком и громко замурлыкал.

— Сволочь ты, Митяй! — пробормотал Михалыч, но кота на груди оставил и провалился в глубокий сон.

Разбудил его настойчивый стук в дверь. Сенька, больше некому. Михалыч повернулся на другой бок, пытаясь снова заснуть. Но Сенька продолжал избивать дверь. И Михалыч тут же вспомнил о своём вчерашнем решении. Он сел на диване, потряс головой, сделал пару резких вдохов-выдохов. Голова была в порядке, лишь тупо ныла растянутая при вчерашнем падении промежность. И решение, принятое Михалычем, никуда не ушло, а прочно сидело в его голове. Видимо, оно исподволь зрело в сознании Михалыча, просто он не хотел себе признаваться в этом. А теперь вот созрело окончательно и требовало реализации. Иначе — ну просто никак, мочи терпеть эти мочеизвержения просто не осталось. Михалыч вздохнул, натянул треники, привычным жестом заправив пустую правую штанину за резинку пояса и, постукивая костылями, пошёл открывать дверь. На пороге в длинных семейных трусах, из которых торчали худущие, в редких светлых волосиках, ноги и в майке навыпуск стоял всклокоченный Сеня.

— Михалыч, у нас там ничего не оставалось, а? — просительно выдавил он серыми губами.

— Не знаю, проходи, сейчас посмотрим, — посторонился Михалыч, пропуская Сеньку. — Что, опять на работу не пошёл?

— Отгул взял.

На неубранном столе, среди тарелок с малосольным сигом, солёными груздями и кусками варёной оленины, стояла бутылка с недопитой водкой. Там было ещё граммов сто — сто пятьдесят.

— Пей, я не буду, — сказал Михалыч. — И потом оденься и возвращайся ко мне. У меня дело к тебе есть.

— Я сейчас, Михалыч, сейчас! — обрадованно заторопился Сенька, проглотил остаток водки и, не закусывая, побежал домой.

Михалыч вытащил из холодильника пакет с фаршем, позвал громко:

— Кис-кис, Митюша, кис-кис! Иди ко мне, завтракать будем!

Митяй не заставил себя долго ждать и с громким «Мяяяя!» тут же объявился на кухне, с мурлыканьем стал тереться об единственную ногу Михалыча. Михалыч сел прямо на пол и, доставая из пакета маленькие кусочки фарша, скатывал их между пальцами в шарики и по одному подавал на ладони коту. Митяй жадно схватывал этот мясной комочек и, проглотив, терпеливо ждал следующий. А если давать ему есть фарш из кучки, глупый Митяй набивал полный рот и мясная масса давила ему на больные дёсны, отчего он начинал вертеться на полу, плеваться и кричать от боли. Накормив кота, Михалыч спрятал пакет обратно в холодильник. Потом помыл руки и приготовил большую сумку, в которой Тамара обычно носила Митяя на лечение к ветеринарам. Кот, завидев сумку, побежал прятаться под кровать. Он хорошо знал, чем для него чревато появление этой ненавистной сумки. Сначала его, покачивая, в полной темноте несут в неизвестность, потом чужие люди в белых халатах в незнакомом помещении с неприятными резкими запахами насильно раскрывают ему рот и заглядывают в него, подсвечивая себе чем-то ослепительно ярким. Затем следует болезненный укол в бедро, провал в темноту и просыпание уже дома, с тошнотными позывами и мокрой тряпкой на тяжёлой голове, время от времени заботливо меняемой хозяйкой, а ещё эти болезненные ощущения в выскобленной от зубных камней пасти…

Стукнула входная дверь.

— Михалыч, я готов!— весело прокричал Сенька.— Куда идти, чего делать?

Всем своим пропитым нутром Сенька чувствовал, что сегодня ему опять достанется дармовая выпивка.

— Подожди,— сердито сказал Михалыч.— Я сейчас.

Он с сумкой проковылял в спальню, сел на пол и заглянул под кровать. Митяй, нехорошо отсвечивая зелёными глазами, сидел в самом дальнем углу.

— Ну, иди ко мне, иди, Митюша,— забормотал Михалыч, пытаясь дотянуться до кота рукой. Митяй, чуя недоброе, отполз ещё дальше.

— Я ж тебя всё равно достану!— разозлился Михалыч. И, запустив костыль под кровать, зацепил им кота и подгрёб к себе. Взяв его на руки, уселся с ним на кровати. Погладил по серой взъерошенной спине, по большой круглой голове с прижатыми ушами.

— Ну что, Митяй? Пора тебе, брат. Ну, извини и прощай! Так надо.

Михалыч поцеловал кота в усатую морду, затолкал его в сумку, вжикнул замком и вынес в прихожую, где его дожидался, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, Сенька.

Сумка заходила ходуном, пытаясь выбраться из неё, Митяй стал хрипло кричать, как будто кто его душил.

— Вот тебе пятьсот рублей, а вот сумка с Митяем,— отрывисто сказал Михалыч, протягивая Сеньке дёргающуюся сумку.— Отнеси к ветеринарам. Знаешь же где? Пусть усыпят. Это стоит рублей полста, не больше. Потом купишь водки и ко мне, помянем Митяя.

— Ух, ты!— почесал в затылке Сенька.— Значит, всё же решил? Ну и правильно. Слушай, а куда девать… Ну, это, тело?

— Куда, куда… Откуда я знаю куда,— раздражённо сказал Михалыч, болезненно прислушиваясь к воплям ещё живого Митяя.— Земля сейчас мёрзлая, не закопаешь. Снеси куда-нибудь в котельную. Купи мужикам пива, пусть сож… Пусть кремируют. Ну, пошёл, пошёл, не рвите мне тут душу!

Сенька часто покивал головой, как китайский болванчик, повернулся и вышел на лестничную площадку. Дёргающаяся сумка тяжело оттягивала ему руку. Митяй, не прекращая, приглушённо выл в своём тесном и тёмном узилище. И это удаляющееся с каждым шагом Сеньки завывание в самом деле рвало и когтило душу Михалыча. Хоть и надоел ему до чёртиков Митяй, было его ужасно жаль. Всё же какая-никакая, а живая, более того— родная душа… А что он скажет жене? Что умер? «А как умер, отчего умер? От старости? А может, это ты его костылём забил, когда больной бедолажка Митюшка сделал очередную лужу?»— с подозрением заглянув в глаза Михалычу, скажет Томка. И ведь будет укорять его в смерти кота до конца дней, хотя сама же и страдала от его старческого маразма. А кто ляжет на грудь Михалычу приятной тяжестью и смурлыкает ему перед сном котофееевскую песню, легонько когтя его при этом? Чёрт, это невозможно!

Слышно было, как хлопнула за Сенькой тугая, на пружине, дверь, и митяевских жалобных воплей не стало слышно. Сейчас Сенька свернёт за угол и исчезнет! А с ним и бедняжечка Митяй, который жил с Бельскими душа в душу целых восемнадцать лет и которого Михалыч недрогнувшей рукой отправил на казнь! Вот именно— на казнь! А вдруг он ещё будет живой, когда Сенька понесёт его, усыплённого, в котельную и отдаст кочегарам на сожжение?

Ну не сволочь, а? Михалыч скрежетнул зубами, смахнул с небритой щеки выкатившуюся злую слезинку и в два широких взмаха костылей оказался на кухне, пододвинул к окну стул, взгромоздился на него и, балансируя на одной ноге, торопливо стал дёргать на себя примёрзшую за ночь внутреннюю фрамугу форточки, толкнул на улицу наружную. С улицы ворвался морозный воздух, пахнущий угольной копотью от соседней котельной. Михалыч просунул всклокоченную голову в форточку, завертел ею в поисках Сеньки. Но того уже нигде не было. Ушёл! А до ветеринарной клиники дойти— всего ничего, метров двести. Надо позвонить туда, сказать, чтобы они ничего Митяю не делали и отправили Сеньку обратно домой. С котом! Так, где же справочник? А, вот. А как зовут их главного врача? Вспомнил— как их районного главу, Борис Иванович! Сейчас, сейчас, Митюша, ты будешь скоро дома и папочка покормит тебя твоим любимым фаршиком.

Михалыч потянулся за трубкой, и аппарат неожиданно зазвонил. Настолько неожиданно

и резко, что у Михалыча даже неприятно подпрыгнуло сердце, и он отшатнулся от стола. Снял трубку. Звонила его благоверная. Сообщила, что послезавтра вылетает, что насчёт машины договорилась сама в управлении образования и в порту её встретят.

«Ладно, ладно,—торопливо сказал Михалыч,—мы ждём, извини, у меня что-то живот разболелся». Нажал на рычаг и стал набирать номер ветеринарной клиники. Набрал, подождал соединения, но из трубки послышались короткие гудки. Занято! Но как же так, он же не успеет! Чуть не плача, дрожащим указательным пальцем снова стал нетерпеливо набирать номер. Диск вращался очень медленно, пару раз сорвался, и номер пришлось набирать вновь. Наконец соединение… Слава тебе господи, пошёл длинный гудок! Гудок, ещё гудок. Но почему же никто не берёт телефон? А нет, взяли!

—Ветеринарная клиника, слушаю вас,—сказала трубка низким женским голосом. Видимо, медсестра.

—Это… Как мне услышать вашего главного врача, Бориса Ивановича?—торопливо спросил Михалыч.

—Он сейчас не может подойти. У него операция.

—Какая ещё операция? Что, уже моего Митяя усыпляют?—закричал Михалыч.

—Какого ещё Митяя?—удивились в трубке.—Кобельку тут одному ухо зашивают, порвали в драке. Не помню, как его зовут, но точно не Митяй.

—Уфф!—вытер вспотевший лоб ладошкой Михалыч.—Послушайте, как вас зовут?.. Ага, Ирина Петровна, очень приятно. Ирина Петровна, тут к вам должен подойти один мужичок с котом в сумке, зовут его Митяй.

—Кого, мужичка?

—Да нет, мужичка зовут Сенька… Вернее, Семён. А в сумке у него кот. Вот тот Митяй.

—Подождите, подождите,—сказала Ирина Петровна. Слышно было, как она спросила кого-то: «Мужчина, это не вы Семён? Да вы что, глухой? Вы, говорю, Семён? И в сумке у вас кот Митяй?» И опять в трубку:

—Пришли ваши Семён с Митяем. И что?

—Дайте ему трубку!—обрадованно сказал Михалыч.

—Алё, кто это?—просипел Сенькин голос.—Говорите громче, вас не слышно!

—Сенька, глухая ты тетеря!—весело прокричал в трубку Михалыч.—Всё, акция отменяется! Дуй с Митяем домой! Домой, тебе говорят! Ну, зайди, зайди по пути в магазин…

Пить с Сенькой в этот раз он не стал—отдал ему только что купленную им бутылку целиком, и Сенька, не веря своему счастью, торопливо ушёл домой с водкой под мышкой. А Михалыч на кухне осторожно извлёк уже охрипшего от ора Митяя из сумки и сел с ним, как обычно, на пол перед извлечённой из холодильника пластиковой коробкой с оленьим фаршем.

—Давай, брат, порубай оленинки-то, и спать,—виновато бормотал он, подсовывая мясные катышки под обиженную митяевскую морду. Но Митяй нервно дёргал хвостом и усами и отворачивался от руки дающего.

—Обиделся, да? Обиделся. Эх, ты!—укоряюще сказал Михалыч, поглаживая кота по взъерошенной спине.—Это я на тебя, между прочим, обижаться должен. Чуть калекой из-за тебя не стал, до сих пор копчик и всё, что рядом, болит. Ну ладно, ладно, всё, мир! Живи, никто тебя больше не тронет. Иди, отдыхай. Потом поешь.

Михалыч легонько подтолкнул кота, и Митяй, осторожно ступая, ушёл с кухни. Михалыч вздохнул и включил чайник, потом—маленький телевизор, стоящий на морозильной камере. Но и сквозь шум закипающего чайника и грохотание какой-то войнушки по нтв он расслышал характерные звуки. Это Митяй часто-часто скрёб когтями линолеум в прихожей. А спустя несколько секунд в нос шибануло аммиаком.

—Б…ь!—сказал Михалыч.—Ну, ты и козёл, Митяй!

Он вышел в прихожую. Митяя там уже не было, а на полу расплылась огромная лужа. В два раза больше обычной.

—Мстишь, да?—зло сказал Михалыч в пространство, зная, что спрятавшийся, по своему обыкновению, под кровать Митяй всё прекрасно слышит и довольно щурит свои подлинявшие к старости зелёные глаза. Михалычу ничего не оставалось, кроме как выволочь с кухни стул, сесть на него рядом с поломоечным ведром и в очередной раз взяться за швабру.

Закончив с замыванием следов преступления Митяя, Михалыч затем «замёл» и свои, оставшиеся после небольшого загула с Сенькой, и решил вздремнуть. Устроившись на диване, он позвал Митяя—недовольство на старого беспутного кота прошло, а на смену ему пришло умиротворение от того, что Михалыч всё же не совершил злодейство. Ну а то, что Митяй продолжал творить свои мокрые дела… Что ж, старость—она никому не в радость. Ещё неизвестно, что будет с самим Михалычем, когда он доживёт до возраста Митяя. Если, конечно, доживёт—по человеческим меркам, коту уже было далеко за восемьдесят.

—Ну иди же ко мне, дурачок, иди,—звал Михалыч, приглашающе похлопывая ладошкой по дивану,—обычно Митяй, заслышав этот звук, всегда спешил уютно устроиться к своему хозяину на грудь.—Кис-кис, Митюша, кис-кис.

Но Митяй не шёл. «Крепко же он на меня обиделся,—подумал Михалыч, ворочаясь на диване.—Ещё бы не обидеться—чуть в крематорий не угодил. Ладно, я не гордый, сам к тебе пойду».

И он прохромал в спальню, опустился на пол, заглянул под кровать. Митяй был там. Он лежал головой к Михалычу, а глаза его были закрыты. Спит, что ли?

—Митяй, а Митяй? Ты чего это тут разлёгся? Не слышишь, что ли, как тебя папа зовёт?—с охватившим его непонятным волнением забормотал Михалыч.—Ты что, ещё и оглох, ко всему? А ну вылазь да пошли на наш диванчик.

Но Митяй молчал. И Михалыч всё понял. Он дотянулся дрожащей рукой до Митяя, пошевелил его ещё тёплое, но уже безжизненное тело. Всё, Митяя не стало. Ошеломлённый Михалыч осторожно вытащил безвольную тушку кота с обвисшими

лапами и некогда пушистым хвостом, на котором от старости образовалась большая проплешина, положил его на кровать, присел рядом.

— Вот как, брат, ты решил,— дрожащим голосом сказал Михалыч, поглаживая кота.— Сам, значит, ушёл. Ну что ж, значит, пришло-таки твоё время. Прощай, брат Митюша, и прости меня. И спасибо тебе, что был у нас.

Закончив свою бессвязную прощальную речь, Михалыч нагнулся и коснулся губами мохнатого остывающего лба Митяя с зажмуренными глазами. На голову кота скатилось несколько слезинок. Вытерев кулаком глаза, Михалыч пошёл за давешней сумкой.

Завтра прилетала Тамара. Митяя надо было похоронить до её возвращения, чтобы она не видела кота неживым. Именно похоронить. Михалыч позвонил начальнику бывшей своей мехколонны, с которым он был в хороших отношениях, объяснил суть дела. Через пару-тройку часов за ним приехал вездеход. Михалыч нацепил протез, оделся и, осторожно ступая со ступеньки на ступеньку, спустился со своего второго этажа с сумкой в руке. Взревев, вездеход вырулил со двора и помчался по малолюдным, выстывшим на сорокаградусном морозе улицам посёлка на окраину, а затем вообще выехал за его пределы. В паре километров в тайге была вырублена и обустроена большая площадка под учебный автодром. Вездеход пересёк её и спустился к кромке тайги. Под одной из заснеженных лиственниц, плотной стеной подступающих к автодрому, чернела выдолбленная в вечной мерзлоте метровая яма.

— Вот мужики здесь решили выкопать могилку твоему коту. Пойдёт, Михалыч?— почтительно спросил водитель вездехода Андрей. Михалыч кивнул.

— Ну, давай своего… своего приятеля, я похороню. Да ты сиди, я сам.

Но Михалыч отрицательно помотал головой и вылез из тёплой кабинки. Неловко шагая по глубокому снегу, он подошёл к ямке и осторожно опустил на её дно сумку с Митяем. Постоял с минутку молча.

— Ну, закапывай,— скомандовал он Андрею, сокрушённо махнув рукой, и, тяжело опираясь на трость, побрёл к вездеходу…

Вернувшись домой, Михалыч нехотя пообедал позапозавчерашним борщом, потом лёг на диван и попытался поспать— в эту ночь ему нужно было идти на дежурство в детский сад. Ворочался, ворочался, а заснуть так и не смог— перед глазами всё время стояла добродушная усатая морда Митяя. Да и засыпать он привык, ощущая у себя на груди тёплую тяжесть громко тарахтящего кота— вот такое могучее у него было мурлыкание. «Что за чёрт!— раздражённо думал Михалыч.— Ну, любил я кота. Ну, умер он. Не родственника же похоронил какого, не приятеля. Что ж мне нехорошо-то так, тоскливо?». Но в глубине души Михалыч прекрасно понимал, что Митяй за эти годы очень глубоко вошёл в его жизнь, в жизнь его жены Тамары, отсюда и эта скорбь. Кстати, ещё неизвестно, как Тамара перенесёт кончину Митяя, которого она тоже очень любила, невзирая даже на его старческую немощь с этими мокрыми последствиями. «Нет, надо будет завести нового кота, желательно совсем котёнка, чтобы прожил как можно дольше, а ещё лучше— пережил меня,— решил в конце концов Михалыч.— И назвать его Митяем».

Так и не сомкнув глаз до самого вечера, Михалыч затем отправился на дежурство в детский сад. Вот здесь он выспался— может, потому, что здесь ему ничего не напоминало о Митяе. Вернувшись с дежурства, он сварил свеженький вермишелевый суп с курицей, настрогал салат из помидоров и огурцов— вот-вот должна была прилететь Тамара. А вот и нетерпеливый прерывистый звонок в дверь— так звонила только она. Михалыч при полном параде— чисто выбритый и наодеколоненный, в свежей рубашке, с пристёгнутым протезом, в выглаженных брюках, торопливо похромал к двери.

Улыбающаяся, вкусно пахнущая морозцем и какими-то тонкими духами— видимо, в городе прикупила по случаю, Тамара перешагнула порог. Михалыч снял с её плеча и поставил на пол большую сумку, ещё какую-то коробку Тамара сама осторожно пристроила на тумбу у зеркала и только тогда позволила себя поцеловать.

— Ну, как вы тут без меня, не сильно шалили?— нарочито строго спросила она мужа.

— Да так,— сказал Михалыч.— Немножко. Давай раздевайся и за стол, пока супчик горячий.

И тут в коробке кто-то зашуршал, запищал.

— Что это?— удивлённо спросил Михалыч.

— Сюрприз!— засмеялась Тамара.— Да ты открой.

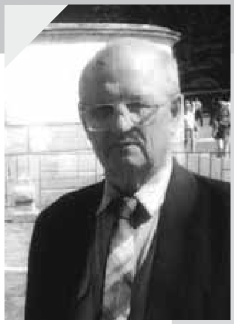
Михалыч осторожно отвернул картонную крышку и суеверно отшатнулся: на него смотрел зелёными глазами серый полосатый котёнок— вылитый Митяй в детстве, такой же лобастый. Михалыч вынул его из коробки, поставил на тумбу. Ну да, Митяй и Митяй, даже окрас ближе к брюшку так же переходил из серого в палевый цвет.

— Откуда он у тебя?— потрясённо спросил Михалыч.

Оказалось, что котёнка там, в городе, подобрал в троллейбусе сын, когда возвращался на квартиру из университета. Кто-то, похоже, намеренно оставил его там. Котёнок ползал под сиденьем и отчаянно пищал. Сердобольный Вадик, которого также поразило сходство потеряшки с Митяем, посадил его в свой рюкзак и привёз домой. Как раз накануне прилёта матери к нему. Ну, а уговорить маму забрать котёнка с собой большого труда не составило. Тем более что хозяйка квартиры высказала Вадику своё явное недовольство присутствием беспокойного кошачьего детёныша в её домовладении.

— Пусть живёт, да, Михалыч?— просительно сказала Тамара, прижимаясь к мужу и поглаживая котёнка по выгнутой полосатой спинке.— Митяй у нас уже старый, вот-вот, не дай бог, случится с ним что. А тут его готовое, можно сказать, продолжение. Где, кстати, сам-то Митяй? Чего он не идёт знакомиться?

— Вот это и будет наш второй Митяй,— сказал Михалыч.— Ты его вовремя привезла. Ну, иди же к папочке, Митюша. Пойдём, я тебя покормлю…



Евгений Орлов

Первая любовь Агнии

1

Бирюса парила, и стояло безмолвие, будто всё замерло перед прыжком навстречу к каким-то значимым переменам, и только эта река о чём-то «шептала» на плёсе — доверительно и мирно. Но вдруг за далёкими лесами, в туманной дымке, блеснули и погасли золотые стрелы. Затем снова блеснули и погасли, и наконец заблестел на горизонте край солнечного диска — занималась заря…

В прибрежных кустах Бирюсы сонно чирикнули пичуги, будто сказали: «Утро, а так хочется ещё немного поспать». Над рекою низко, почти над самой водой, пролетели две утки, должно быть, на кормёжку или вспугнула лиса. Туман, побеждённый и жалкий, быстро рвался на куски, и уже тут и там всплёскивалась мелкая рыбёшка, а на плёсе взбурлил воду большой таймень.

И вдруг будто кто-то сдёрнул с неба покрывало и разлился солнечный свет. Пришло утро, прекрасное в своём новом рожденье — чистое, сияющее, благодатное. Птицы уже разноголосо галдели, будто обсуждали, чем им заняться в этот погожий день. Покинув свои хатки, полоскались у самого берега ондатры. Поодаль на одной из сосен прострекотала белка, кого-то приглашая к себе на завтрак…

Но в эту гармонию жития природы уже вторгалась грубая поступь человека — где-то взревел мотор дюральки, и по реке понеслось урчание железного «зверька». Уже тут и там дуплетами и одиночными выстрелами взорвали тишину охотники, и всё кругом встревожилось, побежало: рвали воздух крылом птицы и трещал подлесок под копытами лося. Даже Бирюса, казалось, замедлила свой бег и прислушалась к этой какофонии — пошёл на глубину осётр, рассыпалась в разные стороны стерлядь. Однако непросто было спастись от человека даже рыбам…

Ермил Чадов уже закинул кошку и ловко выудил из воды конец самолова. Перебираясь руками по тетиве, начал осторожно снимать рыбу. После каждого его взмаха рукой на дне лодки елозит змеёй новая добыча — тёмная, остроносая, опоясанная по бокам цепью крепких колючек. Теченье у Васина ключа быстрое, и тетива самолова дрожит как струна. Поэтому у рыбака дрожат руки. Возможно, они дрожат и по другой причине. Есть от чего: опорожнил он накануне логушок медовухи, да и рыбинспектор в последнее время разошёлся не на шутку, сцапал двоих единоверцев — наказал люто. Только так подумал Ермил, глядь, а он тут как тут — спускается, окаянный, самосплавом и ведёт глагол:

— Ермил-Ермил, в Бога веруешь, а сам что делаешь? Пошто браконьерствуешь?

Тут и вовсе задрожали руки у Чадова — не удержать упругую снасть. Звякнули о борт дюральки уды, коротко всплеснула на воде тетива, и нет его, самолова.

— И сказал Бог: владычествуйте над рыбой, зверями и над птицами небесными, — молвил в ответ Ермил, не чувствуя своих губ, задеревеневших больше от страха, чем от утренней прохлады.

— Почему сбросил конец, Ермил? Поздно уже прятать концы-то! — издевался Рокотов.

«Истый сатано!» — подумал в сердцах Чадов, а в ответ — другое: — Дык, ненароком, долго ли…

— Ненароком? Знаю вас, космачей. Небось, с десяток штук стряхнул с самолова? Придётся надбавить, чтобы по справедливости было.

Закряхтел Ермил, зазлобился, но промолчал; пододвинулся к мотору, намотал на шкивок шнур, дёрнул и вырулил к ориентиру. Два раза забрасывал кошку, да всё мимо, волновался из-за крутого инспектора, который уже расположился на берегу и уже составлял шапку протокола. Но едва он, Ермил, выудил самолов и начал снимать рыбу, Рокотов тут же поднял голову.

Улов оказался по их никудышным временам фартовым. Ермил насчитал тридцать две стерлядки и мысленно поблагодарил Бога за то, что тот не послал ему осетра. Снасть собирал неспешно, обдумывал, как ублажить инспектора. Наконец причалил к берегу, швырнул в его лодку скомканную снасть и обернулся к нему лицом.

— Пересчитаешь? — полюбопытствовал.

— Бросай в мою лодку по одной!

Подписав протокол, Ермил спросил, нельзя ли договориться по-хорошему. Рокотов возмутился, нагнал на него страху, но затем успокоился и сказал, что посмотрит на его поведение. Залезая в свою лодку, как бы между прочим спросил:

— У тебя можно остановиться дня на два — на три?

Ермил едва не подскочил с места — так возликовала душа — и пообещал приветить гостя со всем радушием.

Чадов плыл впереди, а позади него тащился, как на привязи, рыбинспектор…

— Привечай гостя, Агния, — сказал Ермил, когда они вошли в дом и, потоптавшись возле порога, подал жене знак, чтобы она вышла во двор.

Там он завёл её за угол дома и горячо зашептал ей на ухо:

— Агнеюшка, сцапал меня инспектор поганый. Ташши теперь на стол всё, што есть в дому.

Умаслить надобно, а то беда будет! Грит, в тюрьму посажу, коль не угодите мне!

И Агния заметалась. Сначала сбегала в подвал, из подвала—на кухню, из кухни—в огород к грядкам. Туда-сюда, от печи к столу, от стола к печи и снова так же…

Примерно через час Чадов уже пригласил гостя к столу и с подобострастием спросил:

— Вино, настоенное на ягоде и мёде, потребляете?

— Не потребляю, но от водки не откажусь!—сказал, как отрубил, Рокотов.

— Держу на всякий случай для дорогих гостей, да и сам принимаю, когда хвороба приходит.

Тридцатилетняя Агния, беленькая, синеглазая, приятная лицом, в белом платке—не видно ни лба, ни шеи; в чёрной юбке до щиколоток, в кофте с высоким воротником стояла возле печи—само смирение и покорность.

— Агнейка, неси…

— Сполню,—воркнула она и исчезла. Однако скорёхонько вернулась; на лице—ни слабой улыбки, ни печали; глаза—в пол…

А стол завален едой: отварная сохатина, жирная, запашистая; накромсанная большими кусками осетрина, стерлядь; в чашках—масло, сметана и другое молочное; земляника—крупная, облитая прозрачным мёдом; соты с мёдом, неровными кусками; зелень с огорода…

Ермил всё подливал да подливал «Московскую» себе и гостю, и когда Агния принесла третью бутылку, Рокотов «умаслился»:

— Ладно, Ермил, я смягчу тебе наказание…

— Благодарствую, Прокопьевич, чем могу услужу,—сказал Ермил, а про себя подумал: «Не иначе как три шкуры таперича спустит».

— Само собой, долг платежом красен,—заметил Рокотов. Далее он сказал, что собирается женить сына. Для свадьбы потребуется много мяса. Желательно добыть лосиху.

— Стегно? Два? Выносить поможете? Далеко ходим,—сказал Ермил.

— Стегно и лопатку. Выносить не помогу, некогда,—ответил Рокотов. Далее он сказал, что надо бы к этому добавить пару осетров, чтоб вместе—на пуд, не меньше; да мёду туесок, да брусники набрать по осени—пару вёдер хватит.

Ермил почесал загривок, поворошил рыжую бороду. «Ехинда треглавая, штоб тебе гореть в геенне огненной»,—подумал он и спросил:

— Боле не будешь гоняться за мной?

— Само собой, три года будешь ловить, как на собственной реке!—пообещал Рокотов.

…На другой день чуть свет Ермил и его шурин Лупан быстро собрались на охоту и, спустив с привязи собак, покинули Запорожное.

Рокотов поднялся в восемь. Умылся, побрился, и Агния пригласила его к столу.

— Неси «Московскую»!—потребовал гость.

— А нету-ка боле! Токо вино,—ответила она, не поднимая глаз. В то же время её щёки покрылись густым румянцем.

«А баба ничего, только зря закуталась в тряпки»,—подумал Рокотов и ещё подумал о том, что хорошо бы увидеть, что у неё есть под юбкой.

После завтрака Рокотов отправился на берег, сел в лодку, запустил свой безотказный «Вихорёк» и вырулил на середину реки.

До обеда высматривал по берегам природные отметины, которые могли служить ориентирами, забрасывал и тянул кошку, но самоловы не находил.

«Попрятали концы в «самоловниках» и, пока не уеду, будут сушить»,—злился инспектор.

Подул сильный ветер, и на реке поднялись большие волны. Лодку бросало, и это мешало Рокотову работать. Время приближалось к полудню, и он вернулся на подворье Ермила Чадова.

За обедом он, не стесняясь, разглядывал Агнию, а она, чувствуя это, краснела. Заводил разговор о том о сём.

— Корову держите?

— Держим, нонича обе дойные…

«А что если прижать её в стайке, когда пойдёт доить корову? Поди, заверещит богомолка»,—равнодушно подумал он и допил медовуху.

Затем он прошёл в комнатёнку, которую отвели ему для сна; подошёл к образам и внимательно их разглядел. Иконы были старинные, и он решил, что они дорого стоят. Потом Рокотов завалился на кровать и, сладко потянувшись, закрыл глаза. Даже не заметил, как заснул.

Поднялся, когда кто-то завозился в светёлке. Едва вышел из комнатёнки, Агния спросила:

— Уху подавать? Токо сварила…

— Подавай, а я пока умоюсь…

За ужином он выпил полный ковш медовухи и снова воззрился на Агнию. Его глаза масляничо заблестели, и он спросил:

— Как твой Ермил, часто щекотит тебя бородой?

— Ну и часто, вам-то како дело?—ворчнула она и впервые за всё время не спрятала глаз, несколько удивлённых, но острых и не подающих ему никакой надежды.

Он спросил, подоила ли она коров, и она ответила, что коровы ещё не пришли, припаздывают.

«Оно и лучше»,—подумал он и вышел во двор. Солнце уже почти зашло и краснело коротким сегментом, хорошо различимым на фоне тёмного горизонта. Сходил на задворки, справил там малую нужду. На обратном пути зашёл в просторную стайку. В дальнем углу ворохнулись и разбежались мыши; одна пискнула. В ближнем углу, возле дверей, лежал большой ворох прошлогоднего сена, приготовленного для подстилки. «Ермил позаботился, жалеет свою Агнейку»,—снова подумал он и грязно ухмыльнулся…

Во дворе он присел на завалинок и стал поджидать, когда придут коровы.

Вместо солнца разливалась заря, когда Агния загнала коров во двор и скрылась в доме.

Через несколько минут Агния вышла во двор с подойником и, не заметив его, поспешила в стайку. Он тут же поднялся с завалинка и пошёл за нею следом, тихо—кошачьей поступью. Она не закрыла дверь, и он, не мешкая, обхватил её со спины.

— Хтой-то?—взвопила она, роняя подойник.

— Тихо! Будешь вопить, засажу твово мужика в тюрьму!—предупредил он.

— Осподи, это вы?

— Да, это я… Тебе что сказал Ермил — привечать гостя!
— Но не тако же, Осподи! — простонала Агния и ворохнулась в его объятьях.

Вместо ответа он оторвал её от земли, сделал несколько шагов в сторону и бросил на охапку сена.

И тут Агнию словно подменили. Она напряглась и нащупала в кармане фартука чугунный пестик от ступки. В полумраке Рокотов ничего не заметил, и когда он повалился на сено рядом с ней, его переносицу обожгла адская боль.

Рокотов застонал, схватился за голову и, покачиваясь, как пьяный, вышел из стайки. Во дворе он схватил ведро с холодной водой и, набирая воду пригоршнями, начал кидать её себе на лицо. «Ты что наделала?» — провопил он, когда Агния прошла мимо. «Не трогай чужое!» — ответила она и скрылась в доме. Рокотов — за ней, в доме остановился перед старым, потрёпанным зеркалом. Посмотрелся, и по его спине пробежали «мураши». Он сразу вспомнил про аптечку, что валялась у него в лодке без дела, и заторопился на берег. Минут через десять застрекотал мотор, и дюралька инспектора стремительно полетела вверх по течению реки…

Староверы, провожая его глазами, диву давались: «Кака муха укусила «анчихристова слугу»? Штой-то он больно резво наладился в обратную сторону…»

2

Борис Минеев познакомился со староверкой Агнией при более чем необычных обстоятельствах. Это было в начале лета, когда он приходил в Запорожное на катере КС-100. Главный инженер решал там какие-то вопросы с бригадиром, а он и его помощник стояли на корме катера и от нечего делать таскали из речки пескарей. Было за полдень, когда на противоположном берегу заурчал мотор и от берега отошла лодка. Однако вскоре же мерный рокот мотора сменился рёвом, и когда Борис посмотрел на середину реки, то тут же увидел, как из лодки вывалился человек. «Наскочил на топляк!» — подумал Минеев, и они бросили удочки. Через минуту катер уже кружил вокруг лодки, и Минеев, свесившись с левого борта, присматривался к воде. Наконец он увидел, как в пяти метрах от катера показались из воды и тут же исчезли руки. Он долго не раздумывал и, оставив спасательный круг на катере, прыгнул в воду. Пострадавшей оказалась женщина, и он, поймав её за волосы, поплыл к берегу.

Это была Агния Чадова, невестка духовника Феодосия. Когда она падала в воду, то ударилась головой о борт лодки и сразу же пошла ко дну. Но холодная вода вернула ей сознание, и она попыталась всплыть.

На берегу Минеев оказал ей первую помощь, и она окончательно пришла в себя. Потом, когда она сумела подняться на ноги, он помог ей дойти до дому. Весть о том, что один из «мирских» спас тонувшую Агнейку Чадову, моментально облетела Запорожное. Духовник Феодосий сам пришёл на берег и поблагодарил Бориса за спасение «рабицы» Агнии.

Через две недели, когда он снова приходил в Запорожное, она, узнав об этом, сама прибежала на берег и, пав перед ним на колени, отбила ему земной поклон. Он растерялся, поднял её на ноги и справился о её здоровье. Она сказала, что кабы не он, то была бы она теперь на «небеси». Но зачем ей спешить туда «допрежь», ведь на земле тоже неплохо.

Борис спросил у неё про мужа, почему она всё время одна да одна. Агния сказала, что её муж Ермил целые дни проводит на пасеке, да только от этого мало толку. Она чего-то недоговаривала, и он спросил у неё о другом — где находится пасека.
— Да вона, на том берегу, мотряйте лучше, — пропела она приятным голосом и затем спросила, нельзя ли ему сходить на катере на тот берег, а то она отвезла бы Ермилу горшочек с горячими щами.

Он сказал ей, что это можно, и она, довольная тем, что он согласился, поспешила домой. Вернувшись с плетёной корзиной, покрытой чистой салфеткой, она легко взбежала по трапу. Борис пригласил её в кубрик, но она покачала головой (нет-нет). Так и стояла на палубе, пока он не доставил её на другой берег.
— Можно я тебя провожу? — спросил он, когда они сошли на берег.
— А зачем вам? Ипеть же, могут пойти разговоры.
— Да что тут особенного? Я ни разу не был на пасеке и хочу посмотреть.
— Ладно уж, идите, только не рядышком, — разрешила она.

На пасеке, где он насчитал около двадцати ульев, стоял небольшой домик; рядом с ним — омшаник и навес, где были собраны старые ульи и другой хлам. С пчёлами никто не работал, и Агния нахмурилась. Ермила они нашли в домике, где он спал на небольших нарах, а рядом с ним стоял небольшой деревянный ковш с недопитой медовухой. Вокруг ковша и «пасечника» роились мухи.
— Я же грю, мало толку, — растерянно сказала она и сердито добавила: — Погоди ужо, скажу седне батюшке, и он тебе задаст!
— И часто он так? — спросил Борис.
— Да не просыхат. То я управляюсь с пчёлами, то батюшка.

Он спросил её, был ли он пьян, когда она едва не утонула, и она сказала, что был, да ещё полез целоваться, а она терпеть не может его пьяного. Расстроилась, глаза застилали слёзы, когда она на полном газу столкнулась с бревном.

Агния немного рассказала о себе. Она и её родители были нездешние и приехали в Запорожное из Казахстана. Борис знал о том, какие староверы перебирались сюда из Казахстана и, улыбаясь, спросил:
— Агния, а ты помнишь китайцев?

Она вздрогнула, похлопала белёсыми ресницами и с удивлением спросила:
— Так вы знаете про нас, и вы тоже оттуда?
— Оттуда, Агния, я родился в Харбине.
— А я в Романовке, так записано в паспорте, а на самом деле мы жили в скиту.

Узнав о том, что перед нею земляк, Агния прониклась к нему доверием и тут же пожаловалась

на свою судьбу. Она не любила Ермила и не хотела выходить за него замуж. Но духовник Феодосий назначил её своему сыну. Детей у них нет и не будет, и в этом виноват её муж. Было бы куда, сбежала бы от него без оглядки. Она даже не заметила, как перешла с ним на ты…

Борису понравилась эта простая и милая русская женщина, и ему отчего-то захотелось рассказать ей о себе.

— А мои родители приехали в Советский Союз в 1935 году, тогда была первая репатриация, и она прошла не гладко. Через два года по приказу Ежова всех русских людей, работавших на КВЖД, начали арестовывать. Арестовали и моих родителей, а меня определили в детдом. После детдома я почувствовал себя взрослым и написал письмо Сталину. В нём я высказал предположение, что в органы НКВД проникли враги народа, поэтому они арестовали отца и мать. — Борис замолчал и на какое-то время задумался.

— И чо было потом, папу и маму освободили? — с сочувствием спросила она.

— Нет, Агния, мои папа и мама исчезли бесследно, а меня из-за этого письма тоже арестовали. У меня ещё сопли текли, а я уже мыкался по лагерям. Освободился в пятьдесят четвёртом…

Агния тоже рассказала ему о том, как в сорок пятом были арестованы в Маньчжурии те старообрядцы, которые ушли в Китай при советской власти.

В тот вечер Борис долго не мог уснуть; он думал о своей жизни. Вспомнил Полину, на которой женился, будучи в ссылке. Из-за этой фурии он едва не получил новый срок и с тех пор жил один.

Катер покачивали волны, но сон не приходил, и Борис вышел на палубу. Достав из пачки «беломорину», он, ломая спички, снова закурил и глубоко затянулся. Теперь он думал об Агнии: «Мила, по-детски наивна, чиста душой. Чем я рискую? Возьму и предложу ей уехать со мной…»

Он так и сделал; рано утром отправился к подворью Чадова, чтобы встретить Агнию, когда она погонит корову. И когда встретил, пошёл рядом…

— Чо пришёл? Неможно нам ходить рядышком! — первой заговорила она, при этом побледнела и оглянулась по сторонам. Но он будто не слышал её и погрубевшим от волнения голосом сказал, что любит её и хочет, чтобы она стала его женой.

— Молчай, молчай! Проведает батюшка, эпитимью наложит. Неможно мне внимать греховному реченью.

— Я ухожу, но ты подумай над моими словами. Твоя личная жизнь не сложилась, моя — тоже. Это Бог захотел, чтобы мы встретились, — торопился он сказать ей как можно больше.

— Уходь, уходь скорее! — молила она и снова оглянулась по сторонам.

— Не бойся, нас никто не видел! — уверенно сказал он и отошёл прочь.

После этого он вернулся на берег. Главный инженер уже ожидал его, и они тут же покинули Запорожное.

3

Но Борис всё-таки запал в душу Агнии. «Это Бог захотел, чтобы мы встретились», — вспоминала она его слова, сказанные им, когда она и думать не думала и ведать не ведала о том, что можно выйти замуж за другого, тем более за мужчину из «мира». Она старалась забыть этот разговор и забывала, когда была занята домашними заботами. Однако стоило ей сложить руки, чтобы немного отдохнуть, её мысли тут же возвращались к Борису. Она не сомневалась, что он был искренен, когда говорил ей о своей любви. Она и сама потянулась к нему, когда они были на пасеке, и рассказала ему о себе. Но она не представляла себе их будущее, хотя и не любила Ермила и давно не была ему женою в постели. Вечно пьяный и оттого часто бессильный как мужчина, он вызывал в ней дикое отвращение.

Агния зачастила в родительский дом и однажды призналась матери в том, что больше не хочет жить с Ермилом. Марфа Мятова, женщина богобоязненная, всплеснула руками:

— Да как же это? А ты забыла, кто его батюшка? Кабы он не был духовник, да и то по нашей вере неможно уходить от свово мужа!

— Маманя, но не люб он мне, и я хочу ребенчишку, лялечку хочу! Как мне жить-то без этого! Не смогу я…

И Марфа задумалась, а потом поведала о намерении дочери мужу Ксенофонту. Судили они и рядили и так и эдак, да ничего не вырядили. А когда Агния прибежала в слезах и с синяком под левым глазом, Ксенофонт отправился к духовнику и поведал ему о том, как плохо Агнии с Ермилом. Просил дать ей свободу. Но Феодосий замахал руками, забрызгал слюною и долго вещал ему о «писании», в котором Ксенофонт мало смыслил. Однако он перечил:

— Дык не муж он ей, а как есть евнух! Без надобности ему жена, чтобы дитя сотворить!

Духовник на минуту умолк — соображал, что сказать по этому поводу, и сообразил:

— На всё воля Бога! Вспомни, нетопырь, о бессеменном зачатии Богородицы!

«Начитался старый чёрт «писания», не переспорить его», — подумал Ксенофонт и ушёл ни с чем…

Борис и Агния встречались каждый раз, когда он привозил на катере разное начальство, но она и слышать не хотела ни о какой женитьбе. Твердила одно и то же:

— Ни в жисть! Никак неможно, грех будет!

Но лёд всё же тронулся. Когда он перед концом навигации в последний раз побывал в Запорожном, она, глядя мимо него, сказала:

— Можа, и сбегу от Ермила, силов моих больше нет терпеть такую жизнь…

После того у Бориса будто выросли крылья; он выпрямился, расширил плечи, и с его лица не сходила улыбка. Он побывал у начальника лесопункта, сказал ему о своём намерении жениться, и ему вскоре же выделили комнату в семейном общежитии на берегу Бирюсы.

Борис Александрович Минеев летом работал на катере, а зимой на лесовозной машине. Зарабатывал неплохо и значительную часть денег помещал на сберегательную книжку. Получив комнату в семейном общежитии, он обставил её самой необходимой мебелью: купил двуспальную кровать и телевизор. В свои тридцать пять лет он ещё выглядел довольно моложаво; при этом прилично одевался, следил за собой, и на него поглядывали некоторые «разведёнки», чья жизнь не сложилась из-за «зелёного Змия Горыныча», полонившего добрую половину тенчетских мужиков. Но Минеев не торопился; обжегшись на молоке, он теперь дул на воду. Единственная женщина, о которой он думал, была Агния. Она верила в Бога, поэтому она была в его представлении другим человеком — надёжным, жившим в ладах со своей совестью. Ей было очень плохо с пьяницей-мужем, и она подала ему надежду. Теперь он ждал лета, чтобы увидеть её и снова сказать ей, что он её любит и ждёт…

После того как Борису стал известен адрес его единственного родственника, жившего в Воронеже, он написал ему письмо и поинтересовался тамошней жизнью. Тот ответил, что жить можно. Работы кругом полно, но заработки небольшие — максимально триста. Звал в гости, хвалил свой город и предлагал ему переехать в Воронеж. Жил он бобылём и мог приютить Бориса на первое время.

Счастье приходит, когда его не ждут. Был конец марта, когда к Минееву зашла его соседка, Кучина Вера и сказала, что его просит выйти на улицу какой-то старовер и что рядом с ним стоит какая-то женщина, похожая на староверку.

Он выскочил на улицу, даже не накинув на плечи полушубок. Увидел Агнию — почувствовал себя на седьмом небе от счастья. Тут же пригласил дорогих гостей к себе; тут же освободил их от верхней одежды и усадил их за стол; тут же включил электрический самовар, чтобы напоить их горячим чаем.

Агния приехала с братом Евфимием, он привёз её на аэросанях, которые сам же и смастерил.

— Вот, увёз я Агнейку от Ермила. Изгальство учинил, поганец! Женись на ней, Боря, коль ты люб ей, — сказал Евфимий и затем ушёл на берег, чтобы разгрузить аэросани с продуктами и вещами, которые собрали для Агнии её родители.

Они остались одни, и Борис, встав перед Агнией на колени, схватил её ладошки и начал покрывать их поцелуями…

— Ой, штой-то ты? Неможно так! — растерялась она; вскочила на ноги, но вдруг тоже опустилась на колени и продолжала: — Неможно стоять на коленях перед бабой.

— Агнеюшка моя, не верю своим глазам! Как ты решилась?

— Побил он меня, грит, холодна, грит, не грею его в постели. Дык как согрею-то, коль не люб он мне? Токо о тебе и думала рядом с ним, постылым, — рассказывала Агния.

Он узнал о том, что её родители, Ксенофонт и Марфа Мятовы, долго не соглашались отпустить её к нему. Но она ползала перед ними на коленях и сказала, что наложит на себя руки, коль не позволят ей выйти за Бориса. И сердце родителей дрогнуло. В итоге они решили, что «мирские» тоже люди. А иные будут получше, чем некоторые единоверцы. Например, Борис спас Агнейку от погибели. А коли так, пусть она переходит в его веру. Какая разница, чем креститься: двоеперстием аль кукишом. Главное, чтобы Бог был в душе. А Борис в Бога верит, ибо все эмигранты верующие.

Ксенофонт Мятов собрал у себя «маньчжурцев», и они держали глагол: как быть, отпускать ли Агнейку к Борису и быть ли Агнейке его женой…

Там, в Китае, они были более лояльными к тем, кто жил в «миру». «Хоша и отступники, но ближе по крови, реченье ведут по-нашему. Не то што нехристи-китайцы. Телесное обличье имеют, а души-то нет — токмо пар один» (глас тамошнего духовника Елисея).

Толковали и так и эдак. «Как посмотрит на это духовник Феодосий? Не поволокёт ли Агнейку на тайный суд. Раньше, если жена убегала от мужа, карали люто».

Наконец большинство согласилось отпустить Агнию — пусть обвенчаются в «миру» и живут себе на радость, коли Борис с Божьей помощью спас ей жизнь.

Вернулся Евфимий и спросил, где у него холодная кладовая. Они вышли, сложили в кладовке замороженные мясо и рыбу. А в дом занесли туесок с мёдом, горшки со сметаной и топлёным маслом.

— Зачем так много? У нас всё можно купить! — сказал Борис.

— Знаем, что можно, что нет, — бухтел Евфимий. В последнюю очередь он занёс её личные вещи и постельные принадлежности. Затем он сказал, что ему нужно до темноты добраться до дому, и, попрощавшись с сестрой, обратился к Борису: — Береги её, Боря, она хорошая…

Они остались одни, и он тоже рассказал ей, как он всё время думал о ней и ждал лета, чтобы снова её увидеть. Потом он спросил, есть ли у неё паспорт, и она сказала, что есть, получала ещё в Казахстане. Он попросил показать его и убедился в том, что в графе «Семейное положение» чисто.

— Агнеюшка, по закону ты не замужем, и мы завтра же зарегистрируем наш брак, — сказал он.

— Боренька, а ещё нам надо пожениться перед Богом! — напомнила Агния. Радостный диалог продолжался…

Он спросил у неё, как они будут спать, и она сказала, что вместе, только под разными одеялами, чтобы не прикасаться друг к другу.

Всё было правильно, он знал, что всё так и будет, и сказал, что они всё сделают по закону и так, как этого хочет Бог.

Потом она внимательно изучила своё новое жилище и, остановившись напротив телевизора, спросила, что это такое.

— Разве ты никогда не слышала про телевизор? — удивился он.

— Слышала, но почему он такой? — удивилась она. Оказалось, что в её представлении телевизором была большая тарелка, в которой можно было увидеть иную жизнь.

Он улыбнулся и включил телевизор. Шёл кинофильм «Бесприданница», и Агнию приковало к экрану. В одном месте она даже поплакала. Этот ящик был для неё настоящим чудом, и она с благоговением погладила его ладошкой.

На другой день Борис занялся личными делами. Получить отпуск в первом квартале, когда леспромхоз вёл самую интенсивную вывозку леса, было трудно. Но у него намечалась свадьба, и его отпустили на две недели. В поселковом совете он рассказал об Агнии и попросил в этот же день зарегистрировать их брак. Случай был особенный, и им пошли навстречу.

Затем они быстро собрались и выехали в Красноярск. Поезд Агнию не удивил: на нём она ездила уже дважды—из Китая до Кокчетава и из Кокчетава до Канска. Пассажиры обращали внимание на её одежду, расспрашивали, кто она такая, куда едет, и Агния простодушно рассказывала о себе.

В Красноярске остановились в гостинице «Красноярск» в двухместном номере, и он сказал ей, что здесь они будут жить, пока не станут мужем и женой перед Богом.

В этот же день они побывали в церкви, и Борис долго беседовал со священником. Отец Мирон был молодым иереем, и у него возникло сомнение, нужно ли повторно крестить Агнию, чтобы обратить её в официальное православие. Он ушёл посоветоваться и, вернувшись, сказал, что нужно. Ведь Агнию крестили не в церкви, а в моленной горнице, при ином литургическом языке и ином крестном знамении. Поэтому она полностью не отмыта от первородного греха. Её крестили в этот же день. Но венчание в церкви отец Мирон без колебаний назначил на пятницу, и им нужно было ждать три дня. Этого времени было достаточно, чтобы подготовиться к бракосочетанию. Они оба были немолоды, поэтому подвенечное платье и фата были необязательны. В этот же день они купили обручальные кольца и кое-что ещё. Теперь Агния легко согласилась сменить свой старомодный платок на светскую косынку и неуклюжее платье из грубой ткани на современное и лёгкое—из крепдешина.

В театре оперы и балета давали «Бориса Годунова», и он уговорил её сходить на оперу. Он хотел, чтобы она походила на светскую женщину, и они договорились, что в театре она будет сидеть с непокрытой головой.

Когда они сдали свою верхнюю одежду в гардероб, Агния подошла к зеркалу и с удовольствием разбросала по плечам свои каштановые волосы. Потом она встряхнула их обеими руками и улыбнулась своему отражению. Глядя на неё, Борис сказал:
— Я думал, что ты просто милая женщина, а ты, оказывается, ещё и красавица…
— Правда, тебе так нравится?—спросила она и сказала ему, что дома она делала так каждое утро, а потом до позднего вечера ходила в платке.

Её поразил великолепный театр, бордовые бархатные кресла—изящные, удобные. Оперу смотрела с удовольствием, широко раскрытыми глазами. Она не знала истории, но, увидев на сцене «Бориса Годунова», сказала:
— Должно, это царь…

В Красноярске находилась с гастролями Екатерина Шаврина, и они ходили на её концерт, который давали в театре музыкальной комедии. Русские народные песни в её исполнении тоже произвели на Агнию огромное впечатление, и она сказала:
— Благостно поёт Катерина, аж плакать хочется…

Наконец-то пришла пятница, и утром в номере она, причёсываясь перед зеркалом, призналась:
— Боренька, мне штой-то неспокойно…
— Агнеюшка, я тоже волнуюсь, это со всеми так бывает перед венчанием,—подбодрил её Борис.

В церковь приехали на такси, и, когда вошли в храм, у них спросили:
— А где ваши шаферы?

У Бориса не было в городе знакомых, и он об этом сказал. Шаферов нашли. Ими стали староста церкви и молодой прислужник.

Им рассказали о порядке венчания и как и что нужно делать.

Во время венчания Агния испытывала удивительное и ни с чем не сравнимое чувство. Великолепное убранство церкви, паникадила, освещавшие иконостас и весь храм, сверкающие ризы священнослужителей, удивительные, проникающие глубоко в душу песнопения кружили голову, волновали душу, и Агния вспомнила, как она сочеталась браком с Ермилом в моленной духовника Феодосия. Она не любила человека, стоявшего рядом с ней, и её душа маялась. Ей было плохо, и ей казалось, что она присутствует на своих похоронах.

Теперь же её глаза лучились радостью жизни, и её душа ликовала. «Осподи, вот она вера, приносящая благость, вот истинный Бог наш, исцеляющий душу!»—радовалась Агния и истово осеняла себя троеперстием.
— Славою и честию венчаю вас!—пропел священник, и её сердце радостно трепыхнулось. Свершилось—она его жена, а он её господин, любый ей и желанный ей. А поют-то как—душа взлетает на небо! Разве может быть такая вера поганой? Духовник Феодосий так говорит, потому что никогда не был в настоящей «моленной».

Они обменялись обручальными кольцами, и она улыбнулась ему глазами…
— Многая лета, многая лета, мно-о-о-гая ле-е-е-та!—уже пел протодиакон.

«Осподи, это для нас!—подумала Агния.—Как хорошо-то, как благостно на душе…»

До гостиницы они опять же доехали на такси, и когда поднялись в свой номер, то тут же обнялись и застыли в затяжном поцелуе…

«Теперь ты жена моя»—«Теперь ты муж мой»—шептали их уста. Его руки—у неё на талии; её руки—на его шее. Сплелись—не разнять. Горячее дыхание жжёт обоим щёки. «Милый, я вся-вся твоя»,—шепчет она, и он видит в её глазах пламень…

Минеевы благополучно доехали до дому. Они оба не захотели свадьбы. Зачем? Целоваться на людях? Стыдно и ни к чему. Целоваться приятно, когда никто не видит.

4

Агния была счастлива и благодарила Бога за то, что тот послал ей Бориса. Это была совсем другая жизнь, и люди здесь тоже были другие, более жизнерадостные, более приветливые. Ей постоянно открывалось что-нибудь новое, но самым главным её открытием была ночь в Тенчете, когда они вернулись из Красноярска в своё не ахти какое, но уютное гнёздышко.

Агния с радостью и благоговением делила ложе любви с Борисом, и в ту ночь, во время их близости, к ней пришло то, чего она, тридцатилетняя женщина, ещё не испытывала и о чём не имела никакого представления. Нечто чудесное, волшебное вдруг разлилось по всему её телу, проникло в душу — широко, вольно, быстро, не позволив ей о чём-то подумать, заполнив всё её существо сладкой негой… И ничего не было, кроме этой сладости души и тела, не было её самой и не было ничего вокруг…

Потом она спрашивала у него, что это было, и, получив обстоятельный ответ, плакала от радости и счастья…

Борис сразу же начал учить её грамоте и счёту. Он учил её считать на пальцах и на живых деньгах. И когда она освоила кое-какие «азы», они затеяли полезную игру. Он был продавцом, а она покупательницей. Борис специально её обманывал, и когда она это не замечала, они хохотали до слёз…

Потом они начали вместе ходить в магазин; она покупала, а он стоял рядом. Наконец Борис убедился, что она вполне может самостоятельно распоряжаться семейным бюджетом, и полностью доверился ей.

Агния готовила, стирала, убирала комнату и с удовольствием кормила мужа. Она отвыкла от некоторых старообрядческих норм жизни, но по-прежнему не садилась за стол вместе с ним.

— Неможно сидеть за столом с мужчиной, — упорно твердила она одно и то же, и он, как умел, доказывал ей, что это неправильно, несправедливо и дико…

— Спать в одной кровати можно, а сидеть за одним столом нельзя. Это нелепость, заумь, бессмыслица!

В тот день он решил любой ценой уговорить её пообедать вместе с ним, но она, как всегда, заупрямилась.

— Ни в жисть не сяду, а кто будет тебе подавать?

— Что подавать? Второе? Ну, встанешь из-за стола и подашь. Да и сам не переломлюсь, если положу себе второе.

Она всплеснула руками от неподдельного ужаса, и ему стало весело. Он вышел из-за стола, подошёл к ней и, бесстыдно обняв её, спросил:

— Вот так можно?

— Можно, ты муж мой…

— А за столом я уже не муж?

— Не ведаю, кто…

— Агнеюшка, глупости всё это! Пора уже отвыкнуть и от этих привычек!

Однажды Агния спросила у него, верит ли он в Бога. Он сказал, что верит, но это её не убедило:

— Пошто в моленной крестился, а дома не хочешь?

— В какой моленной? — удивился он.

— Дык когда Осподь соединял нас…

— Агнеюшка, сколько раз тебе говорить, что мы венчались не в моленной, а в церкви!

— Ихде моленье, тамо-ко и моленная…

С приездом Агнии в их комнате появилась старинная икона. Готовясь ко сну, она становилась перед нею на колени и долго молилась. Её замечание подействовало, и с тех пор Борис начал крестить свой лоб.

Агния по-прежнему не садилась за стол вместе с ним, и однажды, когда она поставила перед ним тарелку, а потом приняла позу прислуги, он не выдержал:

— Хватит, не буду есть до тех пор, пока ты не сядешь вместе со мной!

— Как же не емши пойдёшь на работу? — сама не своя пролепетала Агния, и он сразил её окончательно:

— А вот так… буду умирать от голода! И чёрт с ней, с работой, — сказал он и, выйдя из-за стола, лёг на диван.

Примерно минут пять Агния справлялась с шоком, потом подошла к нему, села рядом и пошевелила его за плечо:

— Боренька, иди поешь…

— А ты сядешь со мной за стол?

— Одначе сяду…

Впервые в жизни Агния сидела за столом с мужчиной, и ложка застревала у неё во рту… Но с этого дня она сделала ещё один шаг вперёд — избавилась от самого тёмного предрассудка.

Наступил сентябрь, и Агния уже была на четвёртом месяце беременности. В тот день Борис сказал ей, что их катер посылают в Пею, но к вечеру он обязательно вернётся домой.

Агния с утра занялась своими обычными делами. Постирала мужнино и своё бельишко, прополоскала его на речке и, повесив его на улице, напротив своих окон, поставила варить борщ.

Со всеми домашними делами Агния управилась к обеду и в первом часу в одиночестве поела. Потом она посидела с полчаса на берегу Бирюсы, напоминавшей ей её родной дом, и, вернувшись к себе, включила телевизор.

Он стал её другом и не позволял скучать, когда она оставалась одна. Показывали кинофильм, и Агнию приковало к экрану. Однако через несколько минут постучались в дверь, и соседский мальчик Антон сказал ей, что на берегу её ждут двое староверов.

— Антоний, а чо ты не сказал, ихде я живу? — спросила она.

— Я говорил им, третья дверь налево, но они говорят, чтобы ты пришла сама.

Это показалось ей несколько странным, но она решила спуститься к реке и вышла из дому. На берегу она сразу же признала Данилу и Луку, её бывших деверей… «Чо им надо-то? Аль случилось чо?» — пронеслось в её голове. Подошла, спросила:

— Пошто позвали?

— Феодосий тебя зовёт… Грит, ежли не поедет сама, приволоките силком!

— На чо я ему? — спросила Агния, а сама побледнела и ни жива ни мертва попятилась назад…

— Ты куды? А ну держи её, Данило! — заорал Лука, и тот, кто был ближе к Агнии, подскочил к ней и, закинув её себе на левое плечо, поспешил к лодке. Агния закричала. Но уже застрекотал мотор, и Данило запрыгнул со своей ношей в лодку. Агния продолжала кричать, пыталась выпрыгнуть за борт, но он держал её крепко.

Тенчет уже был позади, и Данило перестал церемониться с невесткой. Через несколько минут Агния, запеленутая в брезент, лежала на дне дюральки и глухо выла.

— Молчай, блудница треклятая, то ли ещё будет! — время от времени бурчал Данило.

Эти несколько часов были для Агнии сущим адом… Лишь когда миновали Шиверу, Данило распеленал невестку и разрешил ей сидеть на дне лодки.

В Запорожное прибыли поздно, и Данило спросил у неё:

— Сама пойдёшь домой, аль ташшить на себе?

— Куды домой? — тоже спросила Агния.

— К свёкру, куды ишшо!

— Сама пойду, — побледнев как полотно, ответила Агния.

Она пошла впереди, Данило и Лука сзади. «Осподи, пошли мне навстречу добрую душу!» — молила Бога Агния и вдруг увидела, как кто-то гонит припозднившихся коров. Всмотрелась — признала девчонку Мызниковых, Акилину, и вскинулась:

— Акилинушка, скажи моему батюшке, што меня возвернули назад! Изгальство хотят учинить!

— Молчай, изменщица! — прикрикнул Данило.

Наконец они подошли к дому Чадова, поднялись на высокое крыльцо, вошли в горницу, и Данило сказал:

— Притартали блудницу! Ермил-то пущай поучит её, как бегать от сково мужа!

— Не муж он мне, Ермил-то! — провопила Агния.

Феодосий, туча тучей, даже не взглянул на «нечестивку» и хмуро рек:

— В подвал её, паскуду, пусть посидит тамо-ко до судного дня!

Данило и Лука вывели плачущую Агнию во двор, подвели к постройке, что была на задах огромной усадьбы, и открыли в неё дверь. Засветив «летучую мышь», Данило поднял тяжёлую крышку люка и сказал:

— Лезь туды!

— Побойся Бога, Данило, брюхатая я!

— Лезь, а то спихну! — пригрозил деверь.

Продолжая плакать, Агния спустилась вниз по ступенькам лестницы, и сверху на неё свалилась старая шуба. Люк захлопнулся, и Агнии стало жутко.

…Известие, которое принесла Акилина в дом Ксенофонта Мятова, всполошило всю семью. «С ума спятил Чадов! Он что задумал? Ноне не старые времена!»

Ксенофонт тотчас собрал своих единомышленников — Платова, Куроедова, Рублёва и Ухова, и они пошли к Чадову вызволять Агнейку.

Но духовник тоже был не один и вёл «реченье» со своим ближайшим окружением из тех единоверцев, чьи предки пришли в эти места ещё до того, как образовалась Выговская пустынь в Поморье. Духовник поведал им, что блудницу уже притартали обратно и что теперь сидит она в «яме».

— Тайный спрос учинить надобно, потому как прислонилась к поганой вере, — тряс рыжей бородой «апостол» Дамиан.

— Брюхатая уже, грит! От Ермила не понесла, а тамо-ко, от нечестивца, сподобилась! — мрачно рек Феодосий.

Единоверцы, все до единого косматые старцы, кипели злобою, горели желанием посмотреть на изменщицу. Деды им сказывали, ранее на огонь волокли бабу, коль сбегала от своего мужа. «Славно то было!» — приговаривали старцы.

Раздались голоса на улице; злобно залаяли во дворе собаки, зазвенели, забрякали о собачьи будки цепи. Феодосий посмотрел в окно и тут же возопил:

— Братие, Ксенофонт со маньчжурцами пожаловали, во двор заходють!

Старцы затряслись от возмущения и тоже завопили: «Гнать их собаками от дома и с земли тоже гнать! Пришлые, с Китаевой стороны припожаловали, с нехристями косоглазыми жили!»

И вот уже все во дворе — стоят две стены. С одной стороны «апостолы» духовника Чадова, с другой — молодые мужики; попрут на старцев — беды не миновать. Пожалел Феодосий, что спровадил домой Луку и Данилу, а Ермил-то на пасеке ошивается, медовуху, жрёт, поганец — более нету ему дела…

— Чаво припёрлись? — прорыкнул Чадов.

— Феодосий, зачем отторг Агнейку от мужа? Борису законная она жена, в паспорте записано то, — сказал Ксенофонт.

— Не признаю пачпорта, законная она жена сына мово Ермила! А таперича изменщица, щепотница треклятая! — ярился «духовник»

— Ты что задумал, сивый?

— Тайный спрос учиню, эпитимью наложу, как по писанию сказано…

— Феодосий, ты что запамятовал по дряхлости лет, в какое время живёшь? Завтре власть приедет, будут искать мою дочь. Отдай Агнеюшку по-хорошему!

Но Чадов был непоколебим, твердил одно и то же. Не дщерь она ему — с анчихристовыми слугами снюхалась, поганую веру приняла, кукишом таперича крестится.

— Покажи мне Агнейку, хочу посмотреть на неё!

— Нету-ка её здеся, в яме сидит, во грехе своём кается…

Услышав об этом, Ксенофонт взъярился, сами по себе поднялись кулаки-кувалды, но Ухов и Куроедов ухватили его за руки — не пустили.

— Окстись, Ксенофонт! По-другому надобно…

— Феодосий, смотри мне! Коли умучишь Агнейку, спалю твоё логово вместе с моленной! Огонь будет до неба!

— Сатано треклятый! Манжурид поганый! От веры отрину тя! — шипел Феодосий.

— Нету у тебя власти такой — отринуть от веры, ибо вера моя — в моей душе!

Ксенофонт повернулся к калитке уходить, повернулись и остальные.

В доме Мятова снова обсуждали случившееся. Что делать дальше, пока выживший из ума Феодосий не сотворил дурное дело.

— Низвергнуть надобно Феодосия и апостолов приструнить!—предложил Пестов.

— Кабы сила была… Скоко маньчжурцев? Семь дворов? Остальные поднимутся за Чадова, как един,—заметил Рублёв.

— Не понимают старцы, что в другое время живём!

— Всё они понимают, да только им власть терять не хочется, младая поросль потянется к «мирской» жизни.

Судили-рядили допоздна и решили освободить Агнию без лишнего шума своими силами. Долго гадали, где она может находиться, и пришли к выводу, что она помещена в погреб Чадова. Серьёзным препятствием к освобождению Агнии были собаки, и над этим вопросом ещё предстояло подумать. Вызволение «узницы» было назначено на день прибытия катера из Тенчета.

5

В тот день Борис вернулся из Пеи около пяти часов вечера. Агнии дома не было, ключ торчал в двери с внутренней стороны, и разговаривал телевизор. Выключив телевизор, он присел на стул и стал ждать. Всё говорило о том, что Агния вышла всего на несколько минут и вот-вот вернётся.

Прождав её с полчаса, он недоуменно хмыкнул, затем вышел из комнаты, чтобы спросить про Агнию у соседей. Она чаще, чем к другим, заходила к Анне Полуниной, и он постучался к ней. Однако Анна сказала, что она видела Агнию только утром, когда она вывешивала на улице бельё.

Борис вышел от Полуниной и тут же встретил Зою Кротову.

— Вы ищите Агнию?—спросила она и затем сказала, что Агния уехала со староверами.

Это известие его ошеломило, и он попросил её рассказать, как всё было. Но оказалось, что Кротова сама ничего не видела—об этом ей рассказал её сын Антон. Позвали Антона, кое-как оторвав его от телевизора, и Борис попросил его рассказать, что он видел.

— Ну, они разговаривали, а потом тётя Агния села с ними в лодку.

— Как села, сама зашла в лодку?—взволнованно спросил Борис.

— Не-е-е… один такой дяденька с бородой взял её вот так на плечо (Антон показал как) и зашёл в лодку, и лодка сразу поплыла…

Борис побледнел и, взяв парнишку за плечи, пытливо спросил:

— Антоша, а она не кричала, не звала на помощь?

— Не-е-е, не кричала, только ногами дрыгала.

Борис спросил, где он в это время стоял, и мальчишка ответил, что стоял наверху, возле дома.

Медлить было нельзя, и Минеев помчался в поселковый совет. Председатель исполкома Петров ещё сидел у себя, и Борис сбивчиво рассказал ему о том, что произошло…

— А знаешь, когда вы у нас регистрировались, я подумал о том, что Агнию просто так не отпустят. Родители одно. Но у них главное—духовная власть.

Далее Петров сказал, что выручать Агнию не в его компетенции, но пообещал помощь. Прежде всего он позвонил в райисполком и попросил направить в Запорожное наряд милиции. Там сказали подождать на проводе, и скоро взял трубку зампред:

— Петров, в милиции своих дел по горло, но мы разрешаем тебе отправить туда участкового и депутата районного совета от вашего округа. Небось разберутся там с этими космачами?

Петров поблагодарил и тут же позвонил директору. Однако ему сказали, что тот ещё не вернулся из райцентра, но главный инженер у себя. Связавшись по телефону с «главным», Петров рассказал ему, что случилось, и попросил выделить в распоряжение участкового катер Минеева.

…На другой день, рано утром, от Тенчета отошёл катер. На его борту находились Минеев, его помощник Мешков, участковый уполномоченный Новиков и депутат районного совета Дубинин.

Минеев сам вёл катер, был мрачен, ни с кем не разговаривал, но на вопросы участкового отвечал охотно.

Новиков был молод, имел за плечами десятилетку, три года службы в армии, два года работы в леспромхозе и один год работы в органах милиции. В Запорожном он ещё не бывал и интересовался жизнью староверов. Кроме этого, он подробно расспрашивал Минеева о ближайшем окружении Чадова и о родственниках Агнии.

— Вы с ними там покруче!—попросил Минеев и предупредил, что старообрядцы—народ тёмный и упрямистый…

— Ничего, выручим твою жену без проблем,—уверенно пообещал Новиков. Далее он сказал, что в крайнем случае арестует виновных и отправит их в райцентр, потому что за такие дела нужно судить.

Минеев очень переживал за Агнию. Она успела многое рассказать ему о староверах, об их настоящем и прошлом. Он узнал от неё о диком произволе, который чинили духовники и их окружение в стародавние времена, чтобы держать общину в повиновении. Некоторые старики ещё помнили подвалы с водой, где держали закованных в цепи «еретиков», костры, на которых горели молодые «ведьмы», и многое другое. Если бы эти дикие порядки сохранились до настоящего времени, то Агнию ожидало бы очень суровое наказание.

Борис понимал, что «ревнители» старой веры не посмеют погубить Агнию, но они могли причинить вред её здоровью или погубить их ребёнка.

В жизни иногда бывает так, когда время тянется долго: минуты кажутся часами, часы—вечностью. Так было с Борисом во время этого пути. Он не находил себе места, когда отдавал руль Мешкову, и считал километры. Он ломал папиросы и спички, когда закуривал.

Солнце уже проходило вторую половину своего привычного пути, когда показались первые домики Запорожного, и Борис побледнел от волнения.

— Ну, показывай, где живёт этот космач,—сказал ему Новиков, после того как все сошли на берег. Он был настроен по-боевому, и ему не терпелось начать расследование.

Борис пошёл впереди, за ним последовали Новиков и Дубинин. Милицейская форма сразу же бросилась всем в глаза, и в поселении засуетились…

Едва они подошли к калитке Чадова, как сюда же начали подходить старообрядцы, сторонники духовника, заранее предупреждённые о том, что к ним пожалуют представители «мирской» власти.

Стучались долго, в то же время за глухим забором заливались собаки, а возле них скапливались люди. Борис отметил, что среди них нет родственников Агнии, и ему стало не по себе оттого, что они не пришли его поддержать. Наконец за высоким забором раздался недовольный голос:

— Хтой-то?

— Милиция, немедленно откройте! — потребовал участковый.

Чадов что-то пробормотал, затем открыл калитку и вышел к ним.

— Что надобно? — спросил он и внимательно присмотрелся ко всем троим.

— Гражданин Чадов, вашими сыновьями похищена Мятова Агния Ксенофонтовна, сорок четвёртого года рождения, русская, замужем. Вот её муж, Минеев Борис Александрович, в его паспорте есть штамп, который свидетельствует о том, что упомянутая мною Мятова является его законной женой.

В это время снова отворилась калитка, и к ним вышел Ермил Чадов…

— Агния моя жонка, вон скоко свидетелей! — бросил он в толпу. Послышался одобрительный гул голосов.

— Гражданин Чадов, в таком случае покажите брачное свидетельство и я тут же вернусь обратно, — сказал участковый и победно оглянулся вокруг.

— Нету-ка сатанинской гумаги, такоже и печати, без надобности оне. Потому как мы по праведной вере живём! — вмешался Феодосий.

Снова послышался одобрительный гул голосов, но уже более звучный. Но это ничуть не смутило участкового, и он сказал, что им никто не мешает соблюдать веру, но в то же время нужно жить по закону.

Так они перепирались около получаса… Борис снова окинул взглядом толпу и снова не обнаружил родственников Агнии. Это его взволновало, и в его голову полезли дурные мысли. Ему уже казалось, что Мятовы пошли на попятную и он больше никогда не увидит Агнии.

Участковый уже был в мыле, и он, потеряв терпение, сказал Чадову, что должен обыскать помещение.

Старший Чадов без лишних слов отворил в заборе калитку и жестом руки пригласил пройти. Новиков сгоряча сделал несколько шагов, но тут двор взорвался лаем собак, звоном и шарканьем цепей, и он, едва не сбив с ног Дубинина, попятился назад. Пряча улыбки в бородах, старообрядцы скромно опустили головы.

Теперь участковый был взбешён и решил пойти на самые крайние меры. Он объявил обоим Чадовым, что они арестованы и должны вместе с ним проследовать к катеру, на котором их доставят в райцентр; при этом он расстегнул кобуру пистолета.

Но тут совершенно неожиданно для участкового Феодосий воздел руки к небу и истошно завопил:

— Иисусе, спаси меня! Братия, ужли дозволите анчихристовым слугам вершить суд над праведниками? Ужли допустите изгальство?

Такое участковому приходилось видеть только в кино, и он не знал, как ему вести себя дальше.

— Са-та-ны-ы-ы… — загудела, задышала толпа. Заметив, как вокруг них сужается круг, Новиков побледнел и спонтанно выхватил из кобуры пистолет.

— Ра-зой-дись! — закричал он требовательно и громко, как учили в полковой школе младшего командного состава, и выстрелил в воздух.

И вдруг участковый почувствовал себя в тисках, ни повернуться, ни даже вздохнуть в полную грудь…

— От-ста-вить! — снова закричал он; нет, не закричал, а заорал от страха.

Где там… Уже вывернули из руки пистолет и уже куда-то ведут; всех троих ведут в сопровождении огромной толпы. Вышли к реке… «Совсем осатанели космачи! Неужели утопят?» — подумал Минеев и почувствовал, как на спине намокла рубашка.

Но возле катера толпа остановилась, и старообрядцы несколько расступились.

— Плывите, откель приплыли, и более не являйтесь — беда будет! Своих жонок не выдадим, и особливо поганцу инспектору! — сказал рыжебородый детина и вынул из-за пазухи пистолет Макарова. Выщелкнув из его обоймы все патроны, он вернул участковому оружие.

Через несколько минут на берегу никого не осталось, и участковый обрёл дар речи:

— Эт-то что так-кое? Здесь есть советская власть или нет? Наряд милиции! Сюда нужен наряд милиции! — кипятился он и бестолково суетился возле катера.

Дубинин предложил немедленно возвращаться назад, но Минеев сказал, что он никуда не поедет, пока не побывает у Мятовых.

— Так иди быстрее! Узнай у них, что там с твоей женой, — поторопил участковый.

Но едва Борис начал подниматься на берег, как тут же увидел своего шурина; он шёл навстречу. Они поздоровались, и Евфимий сказал:

— Турусы разводить некогда! Немедля отчаливайте, чтобы Чадов успокоился. У Каменного Мыса встаньте на якорь и ждите нас. Ежли Бог с нами, то я приведу Агнию.

— Сколько ждать?

— Хоть до утра, пока не приду — или с ней, или без неё…

Появилась надежда, и у Минеева будто крылья выросли. Спросил:

— Она у вас дома?

— Нет, сидит у Чадова в подвале. Но я её вызволю!

Минеев поспешил на катер. Через несколько минут заработал двигатель и КС-100 оставил берег…

Стояла ночь, обыкновенная ночь в небольшом поселении, затерявшемся в дебрях Сибири. Было

к непогоде, и поэтому серебристая дорожка, соединявшая два берега Бирюсы, иногда исчезала, и вместе с нею исчезал ясный месяц. Но вдруг всё вокруг быстро потемнело, и на задах большой усадьбы духовника Чадова промелькнула тень. Затем эта тень превратилась в плохо различимую фигуру человека. Он шёл осторожно—крался, приближаясь к хозяйственным постройкам. И когда забрехали собаки, он стал бросать через забор какие-то куски. Лай прекратился. Через минуту-другую собаки слабо, с подвыванием протявкали несколько раз, затем и вовсе замолчали. После этого человек прокрался к постройке, что стояла в одном ряду с амбаром, и в его руках появился гвоздодёр. Вырвав клямку вместе с замком, человек исчез в дверном проёме и закрыл за собой эту дверь. Чиркнула спичка, и Евфимий посветил ею вокруг. Увидев «летучую мышь», он зажёг лампу и подошёл к люку подвала.

«Хтой-то?»—услышал он слабый голос сестры и, прильнув лицом к крышке люка, негромко сказал: «Агнеюшка, это я, Евфимий. Сейчас я тебя освобожу». Под крышкой люка послышался плач. Он попробовал раз-другой сорвать массивный запор, но у него ничего не получилось, и он спросил:

— Агнеюшка, ты не знаешь, куда они кладут ключ?

— На гвоздике висит старая блуза, должно там, под нею.

Через несколько минут брат и сестра обнялись, и Агния ударилась в слёзы…

— Агнеюшка, быстро уходим! Быстро! Пойдём тропою до Каменного Мыса, там уже ждёт тебя Борис…

— Осподи! Осподи! Пошли скорее,—заторопилась Агния и перестала плакать.

Евфимий закрыл люк на замок, погасил фонарь и приладил к двери клямку с замком. Задами они направились к лесу и дальше пошли по едва приметной тропе.

Шли долго, около двух часов, и всё это время молчали. Когда до берега оставалось не более ста метров, Евфимий сошёл с тропы и снял с одного сука мешок, а с другого—большой узел.

Борис уже бежал к ней навстречу. «Агнеюшка!»—«Боренька!» Остановились и тут же слились: сердце с сердцем, лицо с лицом…

— Агнеюшка, я представляю, как ты настрадалась, как тебе страшно было сидеть в подвале!

— Нет, Боренька, мне было не страшно. Ведь я была не одна, а вместе с нашим Антошкой. Мы тебя ждали, мы знали, что ты приедешь за нами…

— Агнеюшка, я тебя очень люблю!

— Ой, а как я-то люблю тебя… тебя и Антошку, ты не знаешь, я сама не знала… только щас узнала, как я вас люблю…

Они обхватывали друг друга руками, ластились и бесконечно целовались…

На катере Евфимий сказал:

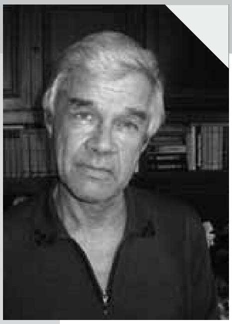
— Сразу уезжайте, затеряйтесь в городу!—Он показал головой на мешок и узел:—Маманя приготовила Агнейкины вещи и еду вам на долгую дорожку.

Прибыв в Тенчет, Минеев в этот же день отбил телеграмму своему родственнику в Воронеже, и они, снявшись со всех учётов, выехали в Канск, чтобы там сесть на поезд…

Я побывал в гостях у Минеевых один раз, когда их сыну Антону уже было десять лет, а дочери Ксении около восьми. Признаюсь, я не встречал более счастливой супружеской пары. Я смотрел на них и думал: вот все бы так любили друг друга и своих детей, и тогда на Земле не осталось бы места для зла.

Борис в то время работал на такси, а Агния домохозяйничала и училась в девятом классе вечерней школы. Она рассказала мне о Запорожном, куда я давно не заглядывал, а они дважды побывали в гостях у родителей. Староверы на Бирюсе мало изменились, так же исправно молились Богу, жили дарами природы и следовали старорусским традициям.

От Агнии я узнал, какие последовали события в Запорожном после их бегства. Феодосий был ошеломлён. По этому поводу он собрал своих «апостолов» и поведал им о том, что нечестивка и отступница Агния «спознадась» с нечистой силой и исчезла из подвала, не порушив ни одного амбарного замка. Однако это сообщение обернулось против самого же духовника. Его обвинили в том, что он не распознал «ведьму», к тому же поместил её поблизости от «моленной горницы» и тем самым осквернил святое место. Феодосия разжаловали. Его сын Ермил продолжал пить и, будучи нетрезвым, «поймался» на свой же самолов, когда вываживал из реки пудового осетра. Так и отдал Богу душу вместе со своей добычей. На Бирюсе сменился инспектор рыбоохраны. Теперь там работал некто Поборышев, который так же исправно обирал старообрядцев и других рыбаков из «мира», не принося никакой пользы своему Отечеству.



Александр Шлёнский

Старуха

Три дня наше судно было пришвартовано к пирсу за береговой кнехт. Три дня уже минуло с того момента, когда мне довелось в последний раз смазать в душе самогоном нехороший осадок, оставленный малоприятным впечатлением от того, что в этом посёлке пришлось забить борова, дабы помочь матери моего шефа, жившей здесь. После довольно продолжительного празднования этого события, вернувшись на буксир, мы сообщили по радиостанции в город о том, что задерживаемся, так как нам необходимо время для устранения некоторых неполадок, возникших в процессе эксплуатации судна. Отчасти это было действительностью, но всё же в большей степени являлось лишь поводом для того, чтобы можно было больший срок пробыть нашему капитану дома с родными и близкими, а экипажу на фоне этого в какой-то степени расслабиться после длительного навигационного напряжения. Затем шеф опять ушёл к матери. Мы, конечно же, не могли не войти в его положение: уж кому, как не нам, было понятно, что такое по нескольку месяцев не бывать дома, находясь в довольно спартанских условиях, не принадлежа себе, будучи в постоянной зависимости от распоряжений, приходящих из диспетчерской… Да и работы, в основном, были закончены, начинались морозы, шла шуга, и мы возвращались в порт.

Михалыч каждый день навещал нас, не преминув при этом притаранить бутылочку спиртного в виде своеобразной благодарности за умение понимать. Этому все были несказанно рады, что греха таить. Я тащил вахту, а рулевые мотористы с поварихой днём занимались судовыми работами, которых всегда бывает в избытке, а вечером перед сном все, кроме вахтенного, коротали время в кают-компании, или, как мы говорили, в салоне. Играли то в домино, то в шахматы, то в шашки. Ребята молодые, эмоциональные, так что стук и крик стоял довольно ощутимый.

В последний день шеф не пришёл с берега, видимо, решив переночевать дома последнюю ночь перед продолжением пути. Наступил вечер. Команда, как обычно, собралась в салоне для очередного времяпрепровождения, я же сходил в машинно-котельное отделение, проверил работу котла и дизель-генератора, вырабатывающего электричество, которым мы освещались. А затем решил спуститься к себе в каюту, немного вздремнуть, что я и сделал, предупредив заранее об этом вахтенного моториста. Таким образом, я спустился в трюм, где находились кубрики всей команды, в том числе и моей. Здесь не было ни одного человека. Все находились в салоне наверху. Пройдя по освещённому коридору до своей каюты, я открыл дверь, включил свет, закрылся, лёг, не раздеваясь, на кровать поверх одеяла, предварительно погасив при этом электричество. Я лежал на спине, голова была занята множеством приятных, но довольно беспорядочных мыслей, видимо, от предвкушения скорого своего прибытия на большую землю.

Где-то краешком мозга подспудно я ощущал лёгкое стрекотание генератора в сердце корабля, к нему привыкаешь в течение навигации, как и к чему-то неотделимому, наверное, так же, как к тиканью будильника в бабушкиной спальне. Негромко, но довольно отчётливо слышалось исходящее сверху из салона монотонное пощёлкивание доминушек о стол и зачастую возмущённые восклицания разгорячённых игроков. Я лежал головой к иллюминатору, ногами к дверям и помимо воли перетасовывал хаотично приходящие мысли. Сна не было. Промаялся таким образом ещё довольно продолжительное время, может, час, а может, больше, испытав при этом все мне известные для таких случаев методы, способствующие скорому засыпанию, вплоть до пересчитывания слоников. Но сон не шёл. Я решил не мучить себя больше этими бесполезными попытками и собрался уже встать для того, чтобы подняться наверх и, может быть, даже составить компанию незадачливым доминушникам. Всё равно ни в одном глазу. Было часов двенадцать ночи. Я хотел спустить на пол с кровати ноги.

Внезапно дверь в каюту широко распахнулась. В глаза брызнул кажущийся особенно ярким после длительного пребывания в абсолютной темноте свет, исходящий от судового плафона, висевшего напротив в коридоре. В следующий момент источник света заслонила высокая худощавая фигура, как это ни банально, одетая в белое одеяние. Это была старуха, и такого роста, что ей пришлось ссутулиться для того, чтобы головой не задеть верхнюю часть проёма. Она беззвучно стояла в дверях, и руки её с набухшими от вен огромными кистями были опущены ниже колен, как у гориллы. Это были явно не кости. Рукава то ли халата, то ли савана были коротки, чуть ли не по локоть. Так как она была освещена со спины, лицо её просматривалось неотчётливо. Каким-то внутренним чутьём я больше ощущал, чем видел, её широкую, от уха до уха, зловещую улыбку и огромные белки глаз с маленькими зрачками. Она стояла в выжидающей позе, как бы изучая меня. Затем, несколько приподняв и вытянув свои неестественно большие жилистые руки вперёд,

как бы желая обнять меня, ухмыльнувшись, порывисто шагнула с порога в мою сторону. Сердце моё захолонуло. Мгновенно подобравшись, согнув в коленях ноги, приподнявшись на локтях, почти уперев себе подбородок в грудь, я инстинктивно отпрянул от неё назад и плечами упёрся в спинку кровати.

Я не мог и не хотел верить в реальность происходящего. Откуда-то из затылочной части моей головы заструились потоки мельчайших мурашек, стекая по спине куда-то вниз. В несколько мгновений я до краёв был наполнен каким-то холодным ужасом. Стремительно сделав шаг, старуха остановилась и неожиданно бодро и бесшумно взобралась на кровать, резко подогнув под себя ноги, заняв освобождённое мною место. Затем, немного от меня отодвинувшись, прислонилась к противоположной стене и как бы затаилась. Но я всей своей шкурой ощущал, что она продолжает на меня неотрывно смотреть, хотя глаз я её теперь вообще почти не видел. Мы сидели друг напротив друга.

Несмотря на дикий страх, мой мозг поразительно чётко и в какой-то степени даже хладнокровно старался проанализировать данную ситуацию. Что это, действительность, или видение, или ещё что-нибудь недоступное нашему пониманию? Галлюцинаций у меня не было до этого никогда. Я отметил, что постель нисколько не прогнулась, несмотря на размеры, а соответственно, и ожидаемый вес монстра, хотя подо мной скрипела и ходила ходуном из-за разболтанных пружин. Следовательно, физиология этого существа явно отлична от моей. Для того чтобы окончательно убедиться в её бестелесности, я, собрав в кулак всё то, что, наверное, и называется волей, пересиливая себя, как паук, в том же положении, в каком и находился, опираясь на руки и ноги, подобрался к ней поближе. Она сидела неподвижно, выпрямившись, застыв как изваяние, словно стараясь быть незаметной, вжавшись в стену. Преодолевая страх, я поднял правую ногу и с силой ударил её в область груди. Ступня, пройдя сквозь призрак, словно через облако дыма, грохнула о переборку. Почти одновременно с этим старуха стала словно впитываться в стенку, затрясшись в беззвучном хихиканье, исчезла совсем.

Я встал и огляделся. Дверь была действительно открыта. Я её прикрыл снова, повернув защёлку. Оказавшись в темноте, внезапно почувствовал дикий душевный дискомфорт и, щёлкнув выключателем, зажёг лампочку. Мне всё ещё казалось, что привидение находится где-то здесь, рядом. Желая окончательно увериться в том, что её здесь больше нет, я начал внимательно осматривать каюту. Заглянул под кровать и даже открыл шкаф. Этим я не ограничился. Вышел в коридор и зашёл напротив к капитану, после осмотра его логова аккуратнейшим образом, методично, метр за метром, осмотрел и остальные каюты всего экипажа. При этом по мере увеличения шансов на то, чтобы увидеть искомое, мои нервы достигали всё большей и большей точки напряжения. И когда очередь дошла до последнего помещения, находящегося в самом конце коридора (а это была уже не каюта, а складская кандейка, называемая шкиперской), я просто поймал себя на том, что я не в состоянии найти в себе силы для того, чтобы повернуть дверную ручку (можете посмеяться). Мне вдруг стало необычайно ясно, что, если старуха находится где-то здесь (как мне подсказывало чувство), то последнее место, где она может быть,—это именно шкиперская. Я чувствовал, что моё нервное напряжение достигло такого апогея, что при виде гостьи сердце моё может не выдержать. Зачем испытывать судьбу, отдавая себя в жертву этому принципиальному любопытству или упрямой настойчивости? Кому это нужно, в конце концов? Глупо самоутверждаться перед самим собой. Постояв некоторое время в раздумье, держась за непреодолимую дверную ручку, я повернулся и, пройдя по коридору, поднялся наверх.

После пережитого меня слегка покачивало, в ушах стоял звон. Я, как истукан, не вошёл, а буквально вплыл в кают-компанию, остановившись перед столом, за которым продолжалась ожесточённая игра. Мой, без сомнения, ошарашенный вид, конечно же, не остался незамеченным. Игра резко прекратилась после того, как раздался чей-то удивлённый возглас: «Василич!—что с тобой?» Все взирали на меня с не на шутку встревоженными лицами.

Я подошёл к зеркалу, висевшему тут же рядом над столом, и осторожно, с некоторой опаской, заглянул в него сбоку. Лицо моё было белым, словно свежеотбелённая простыня, а глаза, как у быка, налиты кровью, как будто в них полопались сосуды. Не знаю, чем это можно объяснить, но такого ещё не было никогда.

Я просто не знал, как до них можно донести этот бред, да и стоило ли вообще посвящать всех в эту белиберду. Очень бы уже мне не хотелось, чтобы члены нашей команды начали считать, что у комсостава с перепоя башенку начало срывать. У нас, как в деревне, не понадобилось бы много времени для того, чтобы попасть на язык всем лягушатникам нашего пароходства после прибытия. Но мою недоверчивость подкупило искреннее участие, с которым взирала на меня команда. Желание сбросить с себя груз тяжёлых впечатлений, внезапно навалившихся на меня, поспособствовало тому, что я всё же решил поделиться с ними произошедшим. Мой ум судорожно продолжал искать случившемуся хоть какое-то логическое, адекватное объяснение. Но ничто не укладывалось в те рамки, которыми ограничивался круг моих познаний (если таковые вообще имели место быть) в подобных областях.

И тем не менее я во всех подробностях, вплоть до своих ощущений, поведал моим пристрастным слушателям о случившемся. Неожиданно я почувствовал, что во время рассказа моё тревожное настроение в большой степени передалось и им. Видимо, ещё достаточным подтверждением этому повествованию, конечно же, был и мой необычный обалдевший вид. После того как я их ввёл в курс дела, стало очевидным, насколько ребята прониклись моим состоянием. Я не заметил у них особого

энтузиазма в их, как мне показалось, несколько показном стремлении пойти проверить шкиперскую ещё раз самим на предмет вышеупомянутый.

Двое всё-таки вызвались сходить, чтобы убедиться, как там здравствует наша бабушка. Они с плохо замаскированным, мягко сказано, нежеланием спустились в трюм и некоторое время отсутствовали. Но довольно скоро опять предстали перед нами, как было видно, не в лучшем настроении, с виноватым видом, переминаясь с ноги на ногу и избегая кому-либо смотреть в глаза.

В конце концов выяснилось, что предполагаемая встреча у них с недавней моей гостьей не состоялась ввиду тех же причин, что и у меня. Парни впечатлительные. Ни один из них не отважился воспользоваться дверной ручкой по её прямому назначению по тем же соображениям, что и я. Мы все трое как минимум допускали присутствие призрака в шкиперской. Следовательно, мы все боялись старухи. Всё оказалось гораздо серьёзнее, чем можно было предположить. Короче, дурдом.

Право каждого из нас — верить в то, во что ему хочется верить, или наоборот. Истина, наверное, принадлежит нашему подсознанию. И пусть даже то, что было, — галлюцинация, плод больного воображения. И всё же. На мой взгляд, было более разумным допустить существование этой, по каким-то, может быть, только ей одной известным причинам заглянувшей ко мне, мучающейся беспокойством и, может быть, глубоко несчастной старухи-фантома, мечущейся по свету в бесконечных поисках чего-то утраченного когда-то безвозвратно, наверное, самого дорогого и сокровенного в прошлой своей жизни, — чем всю свою жизнь, подвергая подобные и прочие вещи сомнению, — пребывать в бесперспективном (хотя бы с точки зрения познания) и убогом атеизме.

Живите, верьте, думайте, мечтайте.

ДиН антология

90 лет со дня рождения

Давид Самойлов

Ирония судьбы, ирония природы…

Музыка старой удачи

О, так это или иначе,
По чьей неизвестно вине,
Но музыка старой удачи
Откуда-то слышится мне.

Я так её явственно слышу,
Как в детстве, задувший свечу,
Я слышал, как дождик на крышу
Играет мне всё, что хочу.

Такое бывало на даче,
За лето по нескольку раз,
Но музыку старой удачи
Зачем-то я слышу сейчас.

Всё тот же полуночный дождик
Играет мне, что б ни просил,
Как неутомимый художник
В расцвете таланта и сил.

Объяснение

Быть с тобою очень страшно,
Потому что видишь ты
То, что я уже не вижу
Из-за чёрной слепоты.

Быть с тобою очень страшно,
Потому что слышишь ты
То, что я уже не слышу
Из-за шумной глухоты.

Быть с тобою очень страшно,
Потому что молвишь ты
То, что я сказать не в силах
Из-за робкой немоты.

Ирония! Давай-ка выпьем вместе,
Виват и будем здравы.
Ирония — защита чести,
Ниспровергательница славы.

Ирония — целительница духа,
Весть внутренней свободы.
Давай-ка выпьем, славная старуха,
Достойная высокой оды.

Но ты одического красноречья
Не вытерпишь и захохочешь.
Тебе, старуха, не переча,
Оставлю оду, коль не хочешь.

Ты недоброжелательница музы,
Богини простодушной,
Но облегчение обузы —
Озон в округе душной.

Насмешница, но с долей грусти,
Напоминанье об итоге,
Печаль речного устья,
Воспомнившего об истоке.

Как можно жить пустые годы,
Тебя не зная?
Ирония судьбы, ирония природы,
Ирония сквозная.

Марина Эшли

Из жизни Деда Мороза[1]

Разве мать солдату правду скажет? Всё у неё замечательно. И Танюшка учится на одни пятёрки. И отец стал серьёзнее, как сына в армию проводили: получку домой приносит. Премию дали…

А Димка было поверил, принял за чистую монету. «Служи, сынок, спокойно». Хорошо, Танюха, наивная душа, написала всё как есть: «У папки опять белочка. Никто ему без тебя не указ. Дни с мамой считаем, когда вернёшься».

Под монотонное бормотание ротного замполита мирно посапывали солдаты. Только рядовой Дмитрий Мороз, по прозвищу Дед Мороз, не спал, думал о доме. Да друг его, рядовой Пилипенко, старательно строчил в тетрадке. Неужели он записывает весь этот бред? «В отчётном докладе XXVI съезду партии подчёркивается, что следует глубже и смелее анализировать явления политической жизни…»—диктовал замполит, меряя шагами Ленинскую комнату.

Как и всё хорошее в жизни, политинформация слишком быстро закончилась. Дед Мороз уныло поднялся, встретился взглядом с сержантом Мухой и поёжился. Сейчас придерётся. Но Муха на этот раз прицепился не к нему. Он выдернул конспект у Максима Пилипенко и зачитал насмешливо: «Рапорт… Прошу направить меня… для выполнения интернационального долга в ДРА».

— Га? Афганистан? Макс, ты что, сдурел?—ахнул рядовой Пётр Омельчук, добродушный парень из Донбасса, прозванный Гавиком за свою манеру вечно всех переспрашивать: «Га?»

— После рапорта не отправят!—изрёк Философ.—Посчитают депрессивным синдромом со склонностью к суициду.

Москвичей в армии не любят. В подмосковной части особенно. За близость к дому, за то, что родные и друзья имеют возможность навещать чуть ли не каждые выходные. Но Иванов, он же Философ, прижился. Он всегда был готов заказать матери что-нибудь купить сослуживцам. И потешал всех своими мудрёными высказываниями по делу и не по делу. С Философом легче жилось. Хотя бы потому, что было кому сказать: «Ну ты и… Философ».

Сразу после политинформации выяснилось, что гражданское население посёлка Тарасовка в лице одинокой бабульки попросило помощи у отцов- командиров—выделить солдатиков забить кабанчика. Единственным умельцем оказался Омельчук, который (кто б сомневался) предложил отправить с ним друзей-«земляков».

Когда новоприбывшие делились на землячества, Димка Мороз растерялся—ростовских больше никого не было. Ему крепко пожал руку Пилипенко: «Призывался у тётки в Подольске, а сам родом из Ростова». И подошёл к ним Омельчук: «Донецкая область. Соседи». Так они и держались вместе.

Солдаты потоптались за воротами воинской части, не веря своему счастью. Первый раз за время службы оказались «на воле». Даже растерялись с непривычки. Пошли искать Колхозный тупик. Кружили по Тарасовке и удивлялись, сколько же тупиков может быть в небольшом посёлке. Возвращаться и уточнять не хотелось—ещё завернут их обратно.

— Ты чего смурной сегодня?—толкнул Деда Мороза Максим.

— А!—отмахнулся было Димка, но не выдержал.—Сеструха написала, что у отца опять белочка. Чтоб его!

— Га?—не понял Омельчук.

— Белая горячка,—с неохотой пояснил Дед Мороз.

— Не переживай,—Максим похлопал Димку по плечу,—продержатся. Вернёшься и наведёшь порядок…

Из-за свинцовых туч наконец-то выглянуло осеннее солнце. Неожиданная чудесная свобода тоже грела душу. Дед Мороз поверил, что всё на белом свете будет хорошо.

Они шли по Вокзальному тупику. Навстречу выпорхнула стайка девчонок в ярких курточках. Парни приосанились, расправили гимнастёрки. Дед Мороз выдернул из-под ремня и заломил на голове пилотку. Хотя и тёрла она ему гладко выбритую кожу. «Деды» велели смеха ради выбрить голову лезвием налысо…

Девушки направились к платформе электричек в Москву, не обратив на солдат абсолютно никакого внимания, даже не посмотрев в их сторону. Как мимо пустого места прошли.

— Были б мы в гражданке,—плюнул им вслед Максим,—жопами бы виляли.

— Та пускай,—добродушно простил девушек Гавик.

— Хорошо тебе,—заметил Дед Мороз и понимающе переглянулся с Максом.

Все знали, что Гавику чуть ли не каждый день строчит письма красавица Оксана.

— Эх,—неожиданно вздохнул Максим,—не сдурил бы, меня сейчас моя девушка ждала бы.

1. Рассказ признан лучшим на литературном конкурсе «Грядущее поколение», который проводит Литературный Фонд Международного союза писателей «Новый современник» при поддержке литературного портала «Что хочет автор» (www.litkonkurs.ru) совместно с журналом «День и ночь».

Поражённый догадкой Гавик остановился:
— Ты рапорт в Афган написал, потому что девка бросила?

Дед Мороз удивлённо посмотрел на приятеля, не ожидал такого и он от самоуверенного Максима.
— Да ты что,— оскорбился Макс,— стал бы я из-за бабы. Ребята, вы чего? Да у меня друганы мои самые лучшие из технаря в Афгане. Тётка сказала. Двое, на курс старше. Самые закадычные. Как я им буду в глаза смотреть, когда вернусь. За спинами отсиделся?

Дед Мороз знал, что Макс не ужился с отчимом и уехал после восьмого класса из Ростова к одинокой тётке в Подольск учиться в Москве. В радиоприборостроительном техникуме. Учёбу завалил, но вроде собирался восстановиться.
— Что думаете? Правда, завёрнут рапорт, как Философ сказал?

Гавик развёл руками, а Дед Мороз успокоил: «Ты ж его ещё не подал».
— Это уже второй,— признался Макс.

Наконец нашли и Колхозный тупик, и бабульку, и кабанчика. Он был таких размеров, что Макс с Дедом Морозом попятились, когда хозяйка открыла двери сарая. Но Гавик уверенно взялся точить ножи и расстилать во дворе целлофан.

Димка дал зарок не брать в рот спиртного. Вернее, давал миллион раз, когда видел буянящего спьяну отца. Не маме с сестрой клялся, нет, конечно. Себе самому, Богу, если Он есть. А теперь он не сдержал своё слово. Поросячий визг всё ещё стоял в ушах. Запах крови и свежего мяса выворачивал нутро. Дед Мороз опрокинул стопочку, что поднесла довольная бабка. Комок в горле проскочил, и Димка вместе со всеми набросился на угощение.

Похоже, они опьянели. Не от выпитого. Сколько они там выпили? От тепла и еды. Гавик поначалу надулся от важности, как индюк. Но потом раскололся, что было и ему стрёмно, он первый раз в жизни сам забил и освежевал кабанчика. До того — только на подхвате у дядек.
— Напиши своей Оксане! — посоветовал Дед Мороз.
— Напиши ей, что ты теперь в Советской армии самый главный по кабанам,— дополнил со смехом Максим.
— Ты лучше расскажи, что там у тебя с девкой не вышло! — ответил ему Гавик.

Максим отмахнулся.
— Как вы с ней познакомились? — полюбопытствовал Димка. Для него пока именно этот этап был самым сложным в отношениях с девушками. Как же с ними знакомятся?
— О, это целая история,— разговорился Макс.— Турнули меня из технаря, к сессии не допустили, тётке я ничего не сказал, болтался по Москве. Снял на какой-то дискотеке тёлку. Всё при ней. Буфера — во,— Максим обрисовал руками два арбуза на уровне груди.

Гавик с Дедом Морозом подавились смехом.
— Сегодня, говорит, не могу. Приходи завтра в общагу к десяти вечера. Переулок такой-то. Вахтёрша — зверь, не пропустит, но с козырька легко залезть. Второй этаж, угловое окно со стороны переулка.
— Денег в обрез. Говорю тёткиной знакомой: «Выручай, тёть Маш, жизнь решается. Она мне из подсобки — бутылку шампанского и коробку конфет. А мне не хватает. В долг не дала. Ей кассу сдавать. Пришлось ограничиться шампанским».
— Конфеты ж лучше,— удивился Дед Мороз.
— Да ты что. Слушай дядю Макса. Для таких ситуаций лучше шампанское! — авторитетно заявил Максим.
— Добрался до переулка. Вроде общага. Ну ни фига себе козырёк. Легко залезть, называется. Да ещё и с бутылкой в руках. Сунул за пазуху. Вскарабкался. Окно открыто.— Максим засмеялся: — Пацаны, я прокололся. Наверно, переулки напутал. Ставлю шампанское на тумбочку, а на кровати садится девчонка и таращится на меня испуганно. Оглядываюсь и понимаю, что я попал в больничную палату. Не ори, говорю, я дверью ошибся, то есть окном, ну домом. Сейчас уйду.

Гавик чуть не сполз со стула от смеха. А у Деда Мороза дух захватило. Вот это приключение.
— Слышу — шаги по коридору. Я — нырк под вторую пустую кровать. Зашла медсестра. Включила свет. И увидела шампанское. А это что, спрашивает. Девчонка только глазами хлопает. Спасибо, говорит медсестра, выпьем с девочками после смены, не переживай, прооперируют тебя в наилучшем виде. Важным шёпотом добавляет, что главврачу из-за границы звонили. Девчонка подскочила, кричит, что папа приедет. «Ничего не знаю»,— отвечает медсестра. Хвать мою бутылку и ускакала, погасив свет.

Гавик просто захрюкал от смеха. А Дед Мороз слушал с восхищением.
— Вылез я из-под кровати. Посмотрел на пустую тумбочку. Девчонка давай извиняться, а на меня такая ржачка напала. Потом на неё тоже. Отсмеялись. Я — на подоконник. Она мне: «Осторожно! Да ладно, говорю, второй этаж. Спускаться было даже посложнее, чем забираться. Оглянулся — она стоит у окна. Рукой помахала на прощанье. На свиданку я не пошёл».
— Почему? — удивился Гавик.
— Пропала охота. Искать, карабкаться, да ещё и без шампанского. На следующий день пошатался по Москве, оказался у той больницы. Дай, думаю, зайду. С пустыми руками неудобно, выгреб мелочь из карманов и купил большой пломбир за 48 копеек. Только меня не пустили. «Вы к кому? Откуда я знаю. Пришлось опять через окно. На этот раз с мороженым за пазухой. Все кишки отморозил, пока лез.— Максим рассмеялся, вспомнив.— Брикет был со дна, ледяной».
— Привет, говорю той девчонке, шёл мимо, решил заглянуть. Мороженое хочешь? Обозвала сумасшедшим, а глаза загорелись. Так я с Маринкой и познакомился.
— А пломбир? — напомнил Гавик.
— Съели,— Максим опять улыбнулся воспоминаниям.— Пока лопали, разговорились. Она не поступила в мединститут, пошла в медучилище. Собиралась в этом году поступать ещё раз,

а загремела в больницу. В Москве у неё отец жил со своей семьёй. А сама Маринка из Геленджика, у неё там бабушка осталась и кот. Мама умерла несколько лет назад. Пришла с работы, села в кресло, закрыла глаза и всё. Инфаркт.

Бабулька ставила солдатикам миску дымящейся картошки на стол. Услышала последние слова и заохала:

— Горе-то какое! Сколько ж годочков было покойнице?

— Тридцать шесть, вроде,— не очень охотно ответил Максим.

Хозяйка не стала дослушивать солдатские истории, пошла в кладовку за огурцами, горестно приговаривая, что совсем молодых Бог прибирает.

— Что дальше?— Димке хотелось знать, чем же всё закончилось.

— Потом Маринку прооперировали. Меня к ней уже пускали. А больше никто и не ходил. Отец укатил в загранкомандировку. Подружки из училища, говорила, заскакивали пару раз, я не застал. Я к ней и после операции прошёл. Ничего, живая, зря так боялась. Рассказал анекдот— улыбается, мол, не смеши, мне смеяться больно. Сижу у неё, и тут дверь распахивается, заходит медсестра, а за ней деловая такая тётка и медсестре что-то выговаривает. Потом к Маринке поворачивается: «Меня Владимир Николаевич попросил лично всё проконтролировать». Маринка встрепенулась: папа уже вернулся? «Вла-ди-мир Ни-ко-ла-е-вич ещё в отъезде»,— чеканит тётка. А скоро Владимир Николаевич вернётся, спрашивает Маринка. Тётка видит меня, тыкает пальцем— почему посторонние. Это Максим, поясняет Маринка, он дверью ошибся, зашёл, мы познакомились и подружились. Ох, как тётка разоралась. И на медсестру, что пускает кого ни попадя, и на Маринку. Владимир Николаевич, мол, организовал ей отдельную палату, а она— тварь неблагодарная. Шлюха, как и её мать. Маринка на эту бабу смотрит заискивающе, как… моя мать на отчима. Как же мне тошно стало, выругался, развернулся и ушёл. Три дня гулял. Вот дурной был.

Максим замолчал.

— Дальше,— попросил Димка.

— А нечего больше рассказывать. Одумался, вернулся, а Маринки там уже нет, адреса никто не знает. Пошатался по дискотекам— никто меня не цепляет, не нравится, мне Маринку подавай. Потом в армию забрали,— он посмотрел на ходики на стене и поднялся:— Всё. Нам пора. А то три шкуры снимут.

Расчувствовавшаяся бабуля сунула им на прощание непочатую бутылку водки. Солдаты ей наказали, если у кого-нибудь есть кабанчик, то пусть зовут резать Омельчука, Пилипенко и Мороза. Несколько раз повторили фамилии. Бабка пообещала.

— Ребята,— попросил Макс по дороге,— всё между нами.

— Замётано,— отозвался Гавик.

Димка кивнул и спросил:

— А чем эта твоя Марина такая особенная?

— Не знаю,— пожал плечами Макс.— Просто с ней было. Нос не драла. Смешная такая. Спросил, почему окно не закрывает. Рассмеялась, что улица шумит веселее, чем больница, а иногда, как море. Кота у неё Барселоном звали, сокращённо Барсик. Сама так придумала.

— Ты её ещё найдёшь,— сказал Дед Мороз.

Максим ничего не ответил.

Деда Мороза разобрало любопытство:

— Гавик, а как ты познакомился с Оксаной? Что ты ей говорил?

— В шестом-то классе? Наверно, портфелем по спине огрел для знакомства,— хохотнул Гавик.— Мы жили по соседству. В одной школе учились. Ходили вместе. Гулять начали по вечерам.

У высокого бетонного забора их части солдаты остановились и обсудили план действий. Макс решил остаться здесь и перекинуть бутылку Гавику, пока самый трезвый из них Дед Мороз будет заговаривать зубы дежурному на КПП. Димка потоптался нерешительно.

— Ладно,— махнул рукой Макс,— отбрёхиваться буду я, а ты бросай.— И сунул чекушку Димке.

Дед Мороз из-за угла наблюдал, как вошли в ворота Гавик и Макс. Вернулся на исходную позицию. Смерил взглядом забор. В гимнастёрку завернуть бутылку? Подумал и стянул с ноги сапог. Услышал условный свист. Через забор полетела «запелёнутая» портянкой водка, упихнутая для надёжности в сапог.

Послышались шаги. Как бы не офицеры! Дед Мороз достал пилотку и нахлобучил на голову. Но он же без сапога! Заметут! Чего там Гавик копается? Замер, прислушиваясь. С той стороны забора раздались голоса. Ну всё. Застукали.

— Плюх!— вернулся к нему сапог. Димка быстро натянул его, не наматывая портянку, и побежал на КПП.

Максим водку не зажал. Угостил весь взвод. Хватило чисто символически, но это неважно. От одобрительных взглядов сослуживцев Дед Мороз почувствовал себя чуть ли не героем. Однако происшествие это скоро забылось. Ни о каких девушках больше Димка не думал. Даже тревога, что ж там творится дома, отступила куда-то на задний план. Мысли у него были теперь простые: как бы наесться досыта и отоспаться хоть немного. Хорошо было б ещё увильнуть от работ и придирок, но он не научился лукавить и прятаться. Каждый день с утра на его солдатском одеяле старшина находил складки. Которые приравнивались к лазейкам для шпионов мирового империализма со всеми вытекающими последствиями. А есть хотелось до такой степени, что мышь, обнаруженная в каше, отбивала аппетит исключительно до следующей кормёжки.

Димка писал маме, что он часто помогает на кухне. Не только в столовой, но и участвует в варке. И это всё благодаря тому, что у него мама— повар 5-го разряда. Он многому у неё научился, его за это ценят. Мама отвечала ему, какое это полезное и интересное дело, возможно, будущая специальность. И писала страницы советов, которые он пролистывал, не читая.

Разве солдат матери правду скажет? В наряд по столовой чаще остальных он попадал в наказание.

А так как сержант Муха питал к нему какие-то особо «тёплые» чувства, то в столовой Дед Мороз оказывался в основном на варке. Но кроме чистки картошки и готовки обеда, это ещё означало мытьё пожизненно жирных полов вонючей тряпкой и бессонную ночёвку там же на скамьях.

К сожалению, больше никому в Тарасовке не понадобились солдатики забить кабанчика на зиму. Так что передыха от службы не случилось. А сама зима в Подмосковье наступила неожиданно рано — в первых числах ноября повалил снег.

Дед Мороз простудился. Видимо, неодетый разгорячённый выскакивал на улицу выбросить помои и простыл. Он терпел, терпел, потом пожаловался. «Читай устав, от кашля помогает», — посоветовал ему комвзвода. Рецепт не сработал.

— Ты что, дурной, — сказал ему на варке Гавик, проворочавшийся полночи на лавке под покашливание Димки, — иди в санчасть.

Дед Мороз потянул ещё пару дней, улучил момент и улизнул в санчасть. Стоял и думал, к кому и как тут обращаться. Сунулся в кабинет:

— Мне к терапевту.

— А я тебе кто, гинеколог? — ответил человек в белом халате. — В армии один общевойсковой врач! Покажи горло. Сейчас люголем обработаю, и всё пройдёт.

Димка глазом моргнуть не успел, как человек в халате мазанул ему по горлу палкой с ватой, обмакнутой в какую-то коричневую дрянь.

У Димки брызнули слёзы. Пулей вылетел он из санчасти и вытошнил эту гадость прямо на сугроб у крыльца. Больше он туда не заходил.

В начале декабря часть роты увезли на «объект». Пилипенко и Омельчука в том числе. А Мороз остался.

— Ничего, — ободрил его Философ, — зато мы в казарме, в тепле.

— Что-то ты захирел без дружков, — поддел его Муха и «поучил» кулаком под дых.

А Дед Мороз не понимал, что с ним происходит. Было ему как-то всё фиолетово. Это когда разлепляешь с трудом глаза утром, а мир подёрнут серо-фиолетовым туманом, но тебе нет до этого дела. Ничего не хочется: ни есть, ни спать. Всё безразлично. Раньше он страдал, когда снова и снова строили перед походом в столовую, и не оставалось времени на собственно еду, приходилось заглатывать, чтоб хоть сколько-то съесть. А теперь и это стало всё равно.

Муха озаботился дембельским альбомом. Ему купила и привезла один, такой громадный, мать Философа. Сам он раздобыл где-то кусок сукна, из которого шьют шинели, и обтянул обложку. Взводный художник нарисовал карикатуры из их солдатской жизни. Философ вписал афоризмы. Муха лично неторопливо и любовно вклеивал фотографии. Альбом был предметом его особой гордости.

Дед Мороз поджарил картошки, переложил в котелок и, как только сдал наряд, понёс в каптёрку. В груди болело. Он привык. Вот только слабость совсем забодала. От перехода из холода в тепло захотелось кашлять. Он плюхнул котелок на стол. На краю лежал альбом в «солдатской шинели». «Деды» пили чай. Дед Мороз подавил приступ кашля и поспешил убраться. Голова раскалывалась. Он не помнил, как добрался до казармы. Тут уж дал волю кашлю. Вдруг ворвался разъярённый Муха и набросился на Мороза с кулаками.

— Я принёс, там картошка, — бормотал Димка, машинально закрывая лицо руками.

— Гад! Сука! — орал Муха — Ты специально так котелок поставил? Ты мне весь альбом чаем залил! Фотографии!

У Деда Мороза не было сил ни выяснять, кто прав, кто виноват, ни оправдываться. Ни держать удар. Муха повалил его на пол и начал пинать ногами.

— А ну вставай, падла, — вопил Муха. — Отвечай!

Дед Мороз и хотел бы подняться, но не мог. Стало ему всё резко по барабану. Это когда судьба бьёт тебя сапогами в бок, и удары эти гулко отзываются в голове, а плоть боли не чувствует, она в параллельном мире. Только слышит звук.

Поэтому, сколько это продолжалось и когда ввалилась в казарму вернувшаяся с «объекта» группа, Дед Мороз не помнил. Макс с Гавиком оттащили от него Муху. Димка узнал голос Макса, когда тот тормошил его и спрашивал о чём-то. Он слышал, как Макс матерился и звал Гавика на помощь.

Пилипенко и Омельчук взвалили Мороза на плечи и потащили. Так поздно в санчасти сидела только какая-то женщина, то ли дежурный фельдшер, то ли медсестра. Она было упёрлась принимать самостоятельно решение. Макс сказал, тыкая в Димку пальцем, что инфекционный же, завтра вся рота сляжет, придётся им побегать тут. Женщина сунула почти безжизненному Деду Морозу градусник. Термометр зашкалило, и это решило Димкину участь. Женщина вызвала скорую.

— Нормалёк! — бодро говорил Деду Морозу Макс. — Отлежишься в госпитале, выйдешь как новенький. Всё путём. Прорвёмся.

Димка боком повалился на носилки, закашлялся и безучастно отвернулся от товарища. Дверца захлопнулась. Димку трясло и подбрасывало в тёмном кузове санитарной машины. Ощущение было, что душа его отделилась от тела: тело считало ухабы подмосковных дорог, а душа равнодушно смотрела на это со стороны.

В госпитале его переодели и отвезли в палату. «Новенький вам тут, чтоб не скучали», — объявил санитар, перебросив Димку на кровать. Товарищи по палате поворочались в своих койках, поворчали и затихли.

Дед Мороз лежал и смотрел в окно, вернее, на то пятно, что должно было быть окном. Временами он то проваливался в небытие, то выныривал оттуда. Приятная прохладная ладонь легла ему на лоб. И тут же под мышку сунули ледяной скользкий градусник. Он попробовал запротестовать. Медсестра вынула термометр, ойкнула и выбежала.

Резанул по глазам яркий свет. Замелькали какие-то люди. Недовольно заговорили соседи по палате. Димке сделали укол. И опять темнота и тишина. И провал окна. Дед Мороз вспотел. Тихонько вошла медсестра, потрогала своей приятной ладонью

его мокрую голову и вышла на цыпочках. Димка забылся беспокойным, но настоящим сном. Первый раз за полтора месяца.

Утром другая, пожилая медсестра с резким голосом раздала мокрые градусники из стакана и напугала профессорским обходом. Но никто долго не приходил. Соседями по палате оказались три стройбатовца первого года и один, весёлый, второго года службы. У окна койка пустовала. Дед Мороз не вникал в разговоры, его мучил кашель.

Наконец к ним вошёл надменный седой человек со свитой молодых врачей. Не успел он осмотреть стройбатовцев, как дверь снова распахнулась и палату заполнила толпа весело щебечущих девушек в белых халатах. Увидев профессора, почтительно притихли, впрочем, ненадолго.

— Д. Мороз,—прочитал профессор карточку.— Ну-с, кто это тут у нас Дед Мороз?

В свите подобострастно хихикнули, девчонки дружно рассмеялись. А Дед Мороз даже не улыбнулся на знакомую ещё с детского сада шутку. Скорее бы ушли!

Но терзали его долго. Сначала профессор выстукивал пальцами, слушал фонендоскопом. Больно мял живот.

— Откуда синяки?—спросил про бок.

— Упал,—прохрипел Димка.

— Эк ты интересно упал,—скривил губы профессор.

Ещё насмехается. Ему бы так!

Профессор продиктовал распоряжения. Их записали, но это было ещё не всё. Димку прослушала и простукала вся свита под снисходительные пояснения профессора.

Димка дрожал от холода. Краснел от любопытных взглядов девушек. Хорошо хоть им не дали его осматривать.

Всё. Профессор со свитой убрался. Девочкам что-то рассказала суровая медсестра, и они тоже поспешили к выходу.

— Сестрички!—крикнул им вслед весёлый парень, его звали Олегом.—Не оставьте в беде защитников Родины! Новый год на носу. Купите нам открыток. Домашних поздравить.

Димке сделали рентген. Вкатили уколы. Он лежал, устало прислушиваясь к разговорам в палате. Говорил в основном Олег. Со смешком рассказывал, как служил первый год в роте охраны управления части в Москве. Такая лафа была! Скорешевался с водителем из сверхсрочников. Управская «Волга» в их распоряжении! Так надо ж было им попасться! Как обычно, сняли двух тёлок, набрали бухла, но водитель превысил скорость. Гаишники их замели. Нет чтоб водителю водкой откупиться, так он полез в бутылку: только военная инспекция имеет право проверять документы. Ну гаишники их и сдали военным. Отправили дослуживать в стройбат. Зато есть что вспомнить.

Ближе к вечеру заглянула к ним медсестра.

— О! Марина! Ты что, опять в ночь дежуришь?— фамильярно поинтересовался Олег.

Она зыркнула на него сердито.

— Нет,—ответила.—Вы просили открытки? Купила разные, выбирайте и подписывайте.

Она подошла к Деду Морозу и протянула ему пачку.

— А что это он первый?—в шутку возмутился Олег.

— Он у вас самый тяжёлый.—Она потрогала Димкин лоб.—Ничего, солдат, температуру сбили, ампициллин начали колоть. В понедельник прокол сделают. Всё будет хорошо.

Димка не сильно понял, что ему назначили и что будут делать, но от ласкового голоса успокоился и умиротворённо закрыл глаза.

Он слышал, как получил по рукам от Олега стройбатовец, потянувшийся было вперёд него за открыткой, как сам Олег шумно выбирал картинку и остановился на изображении космического корабля.

Медсестра ушла, велев передать другим ребятам в отделении, что на посту лежат открытки. А она завтра заберёт подписанные и отправит.

Олег шлёпнулся к Димке на кровать и начал расписывать, как же им повезло. Медучилище на практике! Такой малинник! Давай вставай уж побыстрее, не упускай момент. Группами ходят. Каждый день, кроме воскресенья. И на ночь двух практиканток оставляют. И ключи от процедурной у них есть… Дед Мороз кивнул, только чтоб от него отстали. А Олег отправился на поиски приключений. Через какое-то время из коридора донёсся его смех, вторил ему девичий. Стройбатовцы завистливо вздыхали.

Утром Дед Мороз наткнулся на открытку. Лежала на тумбочке. Попросил у Олега ручку, сел и задумался, разглядывая пустой бланк. Что ж им написать? Про госпиталь лучше не надо, а то мама примчится, а Танька ещё маленькая, чтоб справиться с отцом, если он запьёт. Эх! Праздник скоро. Мама на Новый год испечёт что-нибудь вкусненькое. Салатов наделает. Танюха всем приготовит сюрпризы. А отец, если не наклюкается с утра, то будет «хорош» к бою курантов. И, как всегда, всё испортит…

Он вздрогнул от неожиданности. Вчерашняя медсестра спрашивала, как он себя чувствует. Дед Мороз огорчился, что сидит, а не лежит, а то она опять бы проверила, не горячий ли у него лоб. Она протянула руку за открыткой и удивилась, что он ещё ничего не написал. Дед Мороз пожал плечами, не знает он что писать.

— Ну, это просто,—Она разулыбалась.—Пиши: поздравляю с Новым годом, желаю успехов в работе и учёбе и большого счастья в личной жизни.

Дед Мороз записал и поднял на неё глаза.

— Добавь, что скучаешь,—посоветовала девушка.

Он добавил и поинтересовался:

— А про госпиталь надо?

— Это лучше в письме…

— Марина,—крикнул ей Олег.—А куда Петруху перевели? Скучно без него.

— Я не знаю.—Она перестала улыбаться, забрала открытку у Деда Мороза и засобиралась.—Я тороплюсь. Суббота. Опоздаю на почту.

— До завтра,—только и успел сказать Дед Мороз, глядя ей вслед.

— В воскресенье практикантки не приходят,—отрезвил его Олег.—Одни старые ведьмы тут сидят.

И продолжил свои рассказы, какой идиот сверхсрочник. Деду Морозу пришлось дослушивать, как пострадал бедный Олег по милости водителя: из сержантов разжаловали в рядовые…

В воскресенье неожиданно пришла Марина.

— Ты что тут делаешь? — удивился Олег.

— Вас проведываю. — Она сунула солдатам по яблоку. — Из дома прислали. Жуйте.

Все кроме Деда Мороза дружно захрустели. Марина потрогала ему лоб, села рядом на стул: «Тебе завтра утром будут делать прокол. Выглядит страшно, но это не больно. Вроде укола в лёгкие».

— Зачем ещё? — Дед Мороз всё-таки испугался.

— У тебя экссудативный плеврит. Откачают жидкость из лёгкого. Станет легче дышать.

— Мне уже лучше! — запротестовал Дед Мороз.

— Так надо. Всё будет хорошо. Ты, главное, не бойся.

Она попрощалась. Дед Мороз обернулся на тумбочку и обнаружил, что Олег слопал и его яблоко.

Хорошо, Марина его предупредила. А то иглы для прокола выглядели устрашающе. А доктора ничего не объясняли. На труп бы обращали больше внимания. Процедура оказалась неприятная, но вполне терпимая. А после к нему заглянула Марина.

— Ну как ты?

— Живой, — прохрипел он и слабо улыбнулся. И получил улыбку в ответ. И крестик на шнурке.

— Держи, а то потеряется. Из твоей гимнастёрки выпал. Я верёвочку вдела. Потом опять в карман переложишь.

Дед Мороз смутился и стал оправдываться, что это ему мама дала, пришлось сунуть в карман, не выбрасывать же. Марина из-под ворота своей чёрной водолазки показала ему похожий

— А мне бабушка.

Разговаривать с Мариной — одно удовольствие. Легко и просто. Можно было рассказывать о маме и Танюхе. Даже на отца Димка не выдержал — пожаловался.

— Непутёвые наши отцы, — вздохнула она. — Мой бросил маму, не женился, уехал в Москву карьеру делать. Бабки на улице меня жалели: нагулянная. Знаешь, как мне отца хотелось рядом? Пускай алкоголик или калека, как сосед… А мама у меня замечательная! И у тебя.

Дед Мороз соглашался, рассказывал, что его мама могла бы технологом или завпроизводства работать с её-то 5-м разрядом, но ей нравится непосредственно готовить. Марина шутила, что надо бы съездить к ней поучиться, а то её мама с бабушкой разбаловали, не знает, с какой стороны к плите подходить. Димка сиял, хвастал, что ему самому довелось стряпать. Марина изумлялась — наверно, это тяжело придумать, чем накормить солдат. Что там тяжёлого, важничал Дед Мороз, наоборот, скучно, не то что у мамы. Всё расписано на 100 лет вперёд. Устав-меню. Но он, может, и после армии пойдёт в повара. Как мама.

— И я из-за мамы пошла в медицину, — как-то грустно сказала Марина, — и чуть было не бросила недавно. У вас в палате Петруха лежал. Весёлый. Они с Олегом обычно на пару к девчонкам цеплялись. Ему ошибочно поставили менингит, а у него, оказывается, был отит. И прорвало. Гной попал в мозг. Не спасли. Мы утром присутствовали на вскрытии. Представляешь, ему череп пилили. Вечером он ещё живой был, со мной шутил… Думала, что всё брошу, не выдержу. Только не вздумай ребятам рассказать — они не знают.

— Я не трепло! — кивнул гордый, что ему доверили тайну, Дед Мороз.

— Зато все испугались после того случая. Забегали. Порядок быстро навели. Чуть что — профессора вызывают. Тебя, между прочим, тоже к нам в инфекционное по ошибке положили. У тебя в сопроводительных документах было написано, что инфекционный. Хорошо, что профессор вовремя осмотрел.

— Меня не переведут? — испугался Дед Мороз. — Я не хочу в другое отделение.

Вечером Олег рассказывал, что был он отличником боевой и политической подготовки, заявление в партию подал. Невесту-москвичку завёл, собирался жениться после армии. И тут на тебе, случилась та история. Невеста его обиделась, тут же бросила… Димка слушал вполуха и нет-нет да поглядывал на пустую кровать. Ему почему-то вспомнился кабанчик, которого они с Максом и Гавиком резали осенью.

Он жил от разговора с Мариной до разговора. Олег над ней подсмеивался: «Зачем тебе Дед Мороз?» К Димке и в госпитале прилепилось это прозвище. «Он же холодный, ему Снегурочку надо. А я с Кубани, горячий». Дед Мороз смущался. А Марина не обращала внимания. Продолжала заглядывать к Диме в свободное время.

Койка Петрухи у окна недолго пустовала. Теперь её занял лопоухий с испуганным взглядом парень. Молча лежал первые дни под капельницами. Дед Мороз испытал что-то вроде ревности, глядя, как Марина возится с новеньким. Но как только у неё выдалась минутка, она опять прибежала посидеть не с кем-нибудь, а с Димкой.

Лопоухий пришёл в себя, у него прорезался вполне требовательный голос, взгляд стал уверенным. И вообще он оказался довольно бойким. Громко сочувствовал историям Олега. Рассказывал свои, тоже громко.

— Ты прикинь, мы ж с ним теперь приятели. И чего я над ним издевался и бил?

— Ну, не бей, — зевнул Олег.

— Э, не! Меня били? Били. Теперь моя очередь.

Дед Мороз не дослушал, заглянула Марина, и Олег, скорчив всепонимающую рожу, потащил лопоухого покурить. А она зашла всего лишь убрать штатив от капельницы. За ней бочком проскользнул молоденький доктор и притворил дверь. Заговорил с Мариной, положил ей руку на плечо. Она отстранилась. Он, как ни в чём не бывало, опять обнял. Она сбросила. Он не давал ей выйти, напевая:

— Ягода-малина нас к себе манила, Ах, какою сладкой малина была.

Марина беспомощно глянула на Диму. Доктор обернулся и сказал что-то о Марине и Диме. Нагло улыбаясь. Гадкое. Дед Мороз озверел так, что не разобрал слова, только понял, что смысл

пошлый. Кровь прилила к вискам. Рывком сел в кровати, опустил руку, нащупал судно, метнул в доктора и встал. Тот взвизгнул: «Ах ты, сволочь! Я этого так не оставлю!» Опрометью выскочил в коридор.

Дед Мороз пожалел, что судно было пустое. Марина заплакала.

— Ты что?— растерялся Дед Мороз и сказал то, что обычно мама говорила Танюхе:— Из-за каждого пустяка плакать— слёз не хватит.

Она шмыгнула носом, улыбнулась, прильнула к Димкиной груди на секунду. Ввалился довольный жизнью Олег, Марина схватила капельницу и ушла. Олег проводил её недоуменным взглядом. Дед Мороз запихнул свою посудину обратно под кровать, улёгся и отвернулся, чтоб избежать расспросов.

Вечером Марина сообщила:

— Тот придурок меня теперь десятой дорогой обходит. А то совсем распоясался. И ничего он тебе не сделает, не бойся, он всего лишь интерн».

Можно подумать, Дед Мороз боялся, но возражать не стал.

Олега и стройбатовцев выписали. Олег не огорчился: «Нечего тут больше ловить: у девчонок практика заканчивается. На Новый год будет скука».

Дед Мороз услышал, как две медсестрички бурно обсуждали, где и с кем встречать Новый Год. Одна собиралась домой к родителям, вторая уговаривала поехать с ней на дачу к её другу. Весёлая компания соберётся. Тоже с кем-нибудь познакомится.

Дед Мороз решался, решался и выкроил время, когда в процедурной никого не было, кроме Марины, зашёл, помялся и спросил:

— У тебя есть кто-нибудь?

Она поняла.

— Был,— ответила.— Но это не то, что ты думаешь.

Да он и не успел ничего подумать. Обрадовался и стал выяснять дальше

— А с кем ты собираешься встречать Новый год?

— Хотела домой поехать. Но это деньги. Лучше я на майские съезжу. Помогу бабушке, огород вскопаю. У неё же нет никого, кроме меня. Но она меня отправила учиться, говорит, что одну вон держала при себе и потеряла, пусть у тебя всё будет хорошо.

Дед Мороз слушал. Марина задержала воздух, выдохнула:

— Мама умерла 3 года назад. Глупо, нелепо. Вроде и обращалась к врачам, но никто и не предположил больное сердце. Как же нам плохо без неё: и мне, и бабушке— если б ты знал».

— Что ж ты раньше не говорила?— вздохнул сочувственно Дед Мороз.

— А я до сих пор не могу поверить, что её нет. И ты так здорово о своей рассказывал. А моя— такая же замечательная. Весёлая. Отец на её фотографию смотрел, я боялась, что выпросит. Спросил, был ли у неё ухажёр. Глупые они. Так любить друг друга и расстаться,— у неё слёзы потекли по щекам.

— Не надо,— попросил Дед Мороз.— Не трави себе душу.

Она кивнула.

— Сказать заранее? Я на Новый год напросилась на дежурство. В принципе, не положено. И практика раньше заканчивается. Но они ухватились— ещё бы, кому охота работать в такую ночь. Сказали, что засчитают мне за практику. Заказывай, что ты хочешь на Новый год. Мандарин и конфет тебе нельзя— вон какая аллергическая реакция.

Димка покрылся в последнее время гадкой сыпью. Хорошо хоть не чесалась. Он и обрадовался, и смутился. И ничего не заказал.

Лопоухий умотал встречать праздник в соседнюю палату— они разжились спиртным по такому случаю. Димка ждал Марину.

— Смотри, что я тебе принесла!— объявила она с порога.— Мороженое!

Наверно, он догадывался и раньше, но гнал от себя эти мысли. Таких совпадений не бывает…

— Ты что, не любишь мороженое?— огорчилась Марина.

Он ел мороженое, а она рассказывала:

— Помнишь, ты спросил, есть ли у меня кто. Наверно, у меня судьба, как у мамы: не могу удержать, кого люблю.

Я летом попала в больницу, страшно было, одиноко. И вдруг он. Смешной, сумасшедший. Самое главное, я ему нужна была. Я знаю это. Любая. И он мне тоже. И всё. Бросил. Исчез. Неожиданно. Как и появился…»

Дед Мороз мог сказать: «Я не исчезну». Он хотел это сказать.

А прервал молчание совсем другими словами:

— Ты помнишь, как Максим принёс тебе шампанское?»

— Какое шампанское?— у неё поползли вверх брови.

Но тут же все надежды Димки рухнули, потому что она рассмеялась:

— Максим мороженое мне принёс! Не такое, а пломбир, большим брикетом. Стоп! Откуда ты?.. Он?..

— Максим тебя искал и не нашёл. Бери ручку, пиши адрес его полевой почты.

Она задохнулась от волнения. Глаза её сверкали. Она засыпала его вопросами. Самый главный из которых был: «Я ему нужна?»

— Конечно,— ответил Дед Мороз.— Разве может быть по-другому?

Она встала пойти проверить палаты, но остановилась.

— А что мне ему написать?— спросила, растерянно улыбаясь.

— Ну, это просто. Пиши: поздравляю с прошедшим Новым годом, желаю успехов и большого счастья в личной жизни.

— Это всё?

— Добавь, что скучаешь,— посоветовал Дед Мороз.

Он слышал, как Марина вприпрыжку помчалась по коридору. Он лежал и прислушивался к себе. Он боялся, что ему будет больно. А его вдруг захлестнуло счастьем. Он ни о чём не думал. Он знал, что всё будет хорошо. Прорвёмся!

Евгений Ткаченко

Уточка[1]

Первое воскресенье сентября. Раннее утро. Мы с отцом собираемся на охоту. Вынырнул я из своего глубокого детского сна сегодня очень легко, ведь вечером засыпал с приятной мыслью, что утром пойду на охоту. Охотой с этого года я заболел, и от волнения меня немножко лихорадит, поэтому собрался почти мгновенно. Да собирать-то мне особенно нечего—корзина под грибы, а в ней два бутерброда и нож. Теперь вот маюсь в томительном ожидании, когда соберётся отец. И кажется мне, что делает он всё уж слишком медленно. Я сел на табуретку и наблюдаю за ним. Удивительно, всё происходит вокруг, как в замедленной съёмке, и нет сомнения в том, что даже газ на плите горит плохо. Вот отец разогревает борщ. Спрашивает, буду ли я его есть. Я отказываюсь, мне о нём даже противно думать, а отец ест и ест почему-то с аппетитом. Про себя думаю: «Как он может есть такое невкусное, да ещё и на завтрак». Однако отец от меня не отстаёт:

— Женя, попей хоть чаю и съешь бутерброд. Это тебе не юг, здесь энергии тратится намного больше. Здесь холоднее, и ходить по болоту—это тебе не по степи. Вот увидишь, до леса не дойдём—запросишь еду.

Есть совсем не хочется, но на чай пришлось согласиться.

В этом году ощущаю я себя совсем взрослым, ведь мне целых 12 лет и отец наконец стал брать меня с собой на охоту постоянно. Просился я, конечно, и раньше, но отец всегда говорил одно и то же:

— Охотиться тебе ещё рано, подрасти немного. Охота—работа тяжёлая, ты не выдержишь.

В этом году, как всегда, август мы провели на родине отца в Днепропетровской области. На охоту ходили через день-два, и отец каждый раз брал меня с собой. Охотились мы на перепелов и диких голубей. Удивительное дело, но вот дикий голубь оказался на Украине хорошей, настоящей дичью. Летает он там большими стаями и наносит некоторый ущерб сельскому хозяйству. Кормится почти исключительно семечками подсолнуха. Поля же, на которых там растёт подсолнух, бескрайни, как моря.

Добыть дикого голубя очень непросто, птица это умная и близко к себе не подпускает. Когда стая кормится, то одна из птиц не ест, а сидит на самом высоком подсолнечнике, и внимательно смотрит по сторонам, и, когда замечает опасность, кричит особым криком. Стая поднимается на крыло и улетает. Однако, несмотря ни на что, на голубя мы охотились очень успешно и меньше десяти штук никогда не приносили. Ведь отец—классный охотник и охотится с уникальным штучным австрийским ружьём, которое как раз и предназначено для стрельбы на дальние расстояния.

Наконец отпуск закончился, закончилась наша охота в степи, и вернулись мы на берега любимой Невы, на свои болота. И вот собираемся на свою первую в этом году осеннюю охоту. Отец надевает патронташ, болотные сапоги, вскидывает на плечо ружьё, я беру свою корзину, и мы выходим на улицу. На улице ещё сумрачно и прохладно. После украинской степи сырость и холод чувствуются очень остро.

Идти до места охоты нам немного, всего три километра. Идём мы на озеро за Первый городок. Отец идёт впереди, я метра три-четыре сзади. Идём молча, и я предаюсь приятным воспоминаниям. А приятное—это всё, что связано с южной охотой в этом году, оно настолько яркое, что заслоняет собой и летние игры с друзьями, и даже начало учебного года.

Взрослые меня этим летом захвалили, и ощущал я себя в новом качестве—в качестве добытчика и кормильца. И это действительно было где-то похоже на правду. Ведь в то время в сельских магазинах продукты практически не продавались, и ели мы только то, что сами добывали. А мясо, оказывается, могли добыть только мы с отцом. Да и какое мясо! Жирные перепела и голуби—да ведь это настоящие деликатесы.

Просто так это, конечно, не давалось. Чтобы добыть дичь, мастерства было недостаточно, нужно было ещё быть и терпеливым, и выносливым. Ведь возвращались с охоты, когда солнце было уже высоко и температура в тени иногда превышала 35 градусов. Встречал нас полный двор народа, встречал, как ратников с поля боя. Да, летом собиралась там вся наша родня, и за обеденным столом меньше десяти человек не бывало. На обед же обязательно подавался любимый всеми традиционный украинский борщ. Порой борщ этот был приготовлен на перепелах. Жир от них в ведёрной кастрюле—толщиной с палец, а сами перепела плавали в борще, как галушки. Женщины, насыпая борщ в тарелки, меня уже выделяли, и получал я свою порцию сразу после мужчин, и перепела мне в тарелку выбирали покрупнее, а перепела лежали в тарелке у всех, даже у детей.

---

1. Рассказ признан лучшим на литературном конкурсе «Грядущее поколение», который проводит Литературный Фонд Международного союза писателей «Новый современник» при поддержке литературного портала «Что хочет автор» (www.litkonkurs.ru) совместно с журналом «День и ночь».

Перепел — птичка удивительная, серенькая, размерами чуть больше скворца. Птичка эта очень разговорчивая и кричит она и днём и ночью. Песня её очень характерная и на человеческий язык переводится так: «Ва-ва, ва-ва, спать-пора, спать-пора, спать-пора». Если эти слова прочитать быстро и громко, то это и будет песня перепела. Летает перепел небольшими стайками, буквально не более десятка, и любит кормиться на полях, где растут зерновые. Мы с отцом чаще всего охотились на просяном поле. К концу августа откармливается перепел до шарообразного состояния, вот тогда-то он и представляет интерес для охотников. Взлетают перепела со своего просяного поля, как тяжёлые микроистребители. Каждый перепел взлетает абсолютно по прямой и машет крыльями так отчаянно, что их почти не видно. Стреляют его самой мелкой дробью, и иногда от одного выстрела падает сразу пара. За выход отец стрелял по два-три десятка перепелов. Моей задачей было после удачного выстрела собирать их и складывать в рюкзак. Когда мы возвращались с охоты, низ рюкзака становился чёрным, поскольку пропитывался перепелиным жиром, и к следующей охоте женщины вынуждены были его застирывать. Перепел нагуливал столько жиру к сентябрю совсем не случайно. Ведь в сентябре летел он в Крым, где собирался в большие стаи, порой по несколько тысяч штук в каждой. И уже такими громадными стаями летел перепел дальше на юг, к египетским пирамидам. Летит он только ночью и в дороге очень мало ест. Нагулянный за осень жир служит перепелу горючим во время перелёта. Нагулять жир для этой птички вопрос жизни и смерти. Тощая до Египта не долетает и гибнет в пути.

Охота на перепела была не такая тяжёлая, как охота на дикого голубя. Это я рассуждаю с положения своей охотничьей функции, функции почти собачьей. Ходить по просяному полю значительно легче, чем по полю, засаженному подсолнухом или по-украински — «соішніком», а дичь подстреленную находить и тем более легче.

Как только заходим с отцом на поле с подсолнухом, я из-за своего маленького роста тут же перестаю что-либо видеть и перестаю ориентироваться в пространстве. Под ногами растрескавшийся от жары серый степной чернозём, перед глазами со всех сторон меня окружают толстенные стебли подсолнечников, а над самой головой маленький кусочек ясного белёсого южного неба, остальная часть горизонта во все стороны занята тарелками подсолнуха, плотно набитыми семечками. Все тарелки, как локаторы, смотрят, не отрываясь, на солнце. Голова подсолнечника и колючая, и царапучая, и удар её очень неприятен, поэтому плетусь за отцом на приличном расстоянии. Вдруг он останавливается, вскидывает ружьё — выстрел. Я стою сзади и вопросительно смотрю отцу в затылок, почти как собака, ждущая команды — «пиль». Отец же, как всегда, внешне спокоен и не суетен. Открывает ружьё, вынимает стреляную гильзу, из ствола идёт дым, гильзу кладёт в патронташ, загоняет в ствол заряженный патрон и только после этого поворачивается ко мне и показывает рукой направление, куда нужно идти. Я срываюсь с места и бегу в указанном направлении. Пробежав метров 20–30 и не найдя подстреленной дичи, шевелю ближний к себе подсолнух, и отец корректирует моё местоположение. Стрелял отец фантастически метко. Рекорд, свидетелем которого я был: десять выстрелов — девять голубей. Как раз в тот день, когда рекорд этот был установлен, произошёл забавный случай. Принёс я отцу очередного подстреленного голубя, он его осмотрел и говорит:
— Женя, посмотри, может, ты видишь на нём какие-то повреждения?

Я посмотрел: и действительно, крылышки целы, ран никаких нет, а голубь мёртвый.
— Нет, — говорю я, — не вижу никаких повреждений.

Отец положил голубя в рюкзак, посмотрел на солнце, посмотрел по сторонам и говорит:
— В десяти минутах ходьбы начнётся лесополоса, а за ней бахча. Солнце уже высоко. Мы устали. Дойдём до бахчи, съедим по арбузу, отдохнём и пойдём домой.

И мы пошли. Выбрали два арбуза и устроились в лесополосе, в тенёчке. Отец вынул из ружья патроны и вставил в стволы два патрона по ползаряда, заряженные специально для меня, потом ножом отрезал донышко арбуза и говорит:
— Вот тебе мишень. Перед тем как пойдём домой, постреляешь.

И вот арбузы съедены, мы сидим, отдыхаем. Накатилась какая-то вялость, и мне даже лень идти к ружью и расстреливать свою арбузную мишень. Вдруг отец спрашивает:
— Женя! Сколько мы сегодня застрелили?

Я не задумываясь:
— Двенадцать.

Отец, после некоторой паузы:
— А мне кажется, больше.

После этих слов берёт он рюкзак и высыпает голубей на землю, чтобы их пересчитать. Один голубь тут же свечкой взмывает в небо и скрывается за кронами деревьев.

Куда девалась степенность отца — не знаю. С невероятным проворством схватил он с земли ружьё, вскинул к плечу, секундная пауза, выстрел. Слышу, впереди на кроны деревьев что-то падает, я побежал туда, взял подстреленного голубя и радостно кричу:
— Пап! Теперь ты подстрелил его по-настоящему, и он больше не улетит!

Подхожу к отцу, даю ему голубя, а он стоит грустный. Взял голубя, положил в рюкзак и говорит:
— А ведь я неправ. Я не должен был стрелять… Он имел право улететь.

Отец резко останавливается и снимает с плеча ружьё. От неожиданности я чуть не натыкаюсь на него. Экран воспоминаний погас, и я вернулся к реальной жизни. Вижу, что мы почти пришли и совсем рассвело. Отец, заряжая ружьё, говорит мне:
— Женя! Сейчас начнутся воронки, а в них могут быть утки. Держись метрах в пяти сзади и старайся поменьше шуметь.

Мы медленно идём по еле заметной тропинке. Утренний туман почти рассеялся, на траве и кустах обильная роса. Вокруг так сыро и мокро, как бывает после сильного дождя. Уже рядом с тропинкой попадаются и воронки. Я держу в поле зрения идущего впереди отца и не забываю свою основную работу на охоте—сбор грибов. Грибник я уже опытный и знаю, что по краю воронок любят расти грибы и особенно хорошо растут там, где мелкие берёзки или осинки.

Мы дошли почти до лесного озера, но ни одна утка не взлетела. Должно быть, вчера вечером здесь охотились и её пугнули. Десять дней как открыта охота, и вся утка напугана. Она не понимает, что вокруг творится. Только что спокойно и гнездилась, и кормилась, а теперь не может сесть на воду, стреляют в неё, бедную, изо всех кустов.

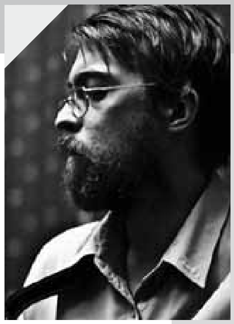
Вдруг слышу характерный свист крыльев и вижу, что на почтительном расстоянии от нас тянет пара чирков. Летят они очень быстро и красиво, крыло в крыло, и напоминают парочку истребителей МиГ-17. Смотрю, отец вскидывает ружьё. Выстрел. Одна из уток как будто на что-то натыкается и начинает падать по пологой линии. Я замечаю место, куда она упала, ставлю корзину на тропинку и бегу туда. Упала она в траву, метрах в десяти от озера. Место её падения я заметил очень хорошо. Прибегаю, всё внимательно осматриваю—утки нет. Исчезла, испарилась. Минуты три я хожу вокруг этого места. Круг моего поиска расширился до берега озера и до ближайших кустов—утки нет. Я в растерянности, ничего не понимаю и возвращаюсь на то место, куда утка упала. Вдруг неожиданный резкий крик, от которого я вздрогнул. Из-под моей ноги порхнула и побежала по траве уточка, волоча за собой левое перебитое крыло. Время от времени она оглядывалась на меня. В глазах уточки я видел и панику, и ужас. Я, конечно, её поймал и понёс отцу. Меня душила жалость к этой уточке, я вдруг понял, что это существо думающее. Ведь я топтался в полуметре от неё, а она замерла и не шевелилась, понимая, что серенькая, что сливается с травой и её не видят.

Я подошёл к отцу и отдал ему утку со словами:
— Вот, поймал.

Отец увидел моё состояние и строго спросил:
— Почему она живая? Она же мучается.
— Я не знаю, что делать,—ответил я.

Отец взял утку за туловище, резко ударил головкой о приклад ружья и, повесив её сбоку на удавку, сказал:
— Женя, ты охотник, а это дичь. Дичь на охоте жалеть нельзя.

И вот прошло много-много лет, и стало мне понятно, как важен был в моей жизни этот эпизод с уточкой. Очевидно, что отец мой был абсолютно прав, но теперь понятно и другое. Понятно мне теперь, что, возможно, родился я совсем для другого времени, времени, когда нарушилось равновесие на Земле между человеком и миром животным. У человека сейчас осталось одно право по отношению к дикому животному миру—право любить и сохранять. Иначе как объяснить то, что в своём роду, я должен был стать четвёртым поколением охотников. Всё к этому шло, и с самого раннего детства рос я на легендах о своих знаменитых предках-охотниках. Что стоит только то, что дед мой Иван охотился на дроф и писал статьи в журнал—«Охота и охотничье хозяйство». А отец? Высокий профессионализм охотника совсем не противоречил его любви к природе. Однако охотником я не стал, хотя охотничий билет имел, и в лес с ружьём иногда ходил, и интересен мне там был сам процесс, а совсем не результат. Этот эпизод показал, что даже утка не станет для меня дичью, а я не стану охотником и династия охотников в нашем роду завершится на моём отце.



Артём Яковлев

Кавказский дневник

Путевые заметки

Часть 1: Поволжье—Приазовье

Моё путешествие состоялось в мае 2009 года. Я пишу эти строки, когда май ещё не кончился. Время пока не отделило от меня моё прошлое, и я не знаю—какие воспоминания окажутся самыми яркими. Может быть, через годы все они потускнеют. Тогда читатель не найдёт в них ничего интересного и скажет лишь—как нелепо было это время: суетливо, мелко, настолько, что даже в чудесном кавказском краю путешественник замечал лишь ерунду. Возможно же—и я надеюсь на это—мои заметки заблестят под потоками лет новым светом. Значит, моя цель окажется достигнута. И я буду знать—в этих словах сохранилось не только место: Кавказ. В них осталось и моё время. Ведь авторучкой я делаю зарубки на времени. В своём блокноте я запечатлеваю его—свежим.

Критик скажет—да разве вы могли понять душу Кавказа? «Как вы могли даже посягнуть на это?! Там надо жить годами!!!»—затрясёт пальцем визгливый критик.

Я же отвечу—я приезжал не затем, чтобы лезть в какую-то загадочную душу. Вы правы, конечно, в том, что можно изучать один и тот же город годами. И не только иной знаменитый курорт, но—любое место на земле. Ведь нет на планете скучных земель. Есть только скучные глаза. Которым уже неинтересно.

Однако я и не старался донырнуть до дна Кавказа. Моя цель—иная. Я приезжал смотреть на страну, и говорить с ней, и чувствовать—что она поменяет во мне, и как сама изменится от моего присутствия. Это и есть моя история.

I. Россия (пролог)

Пролог моего путешествия короток. На железной дороге, где я работаю, есть такая мода—раз в год тебе дают бесплатный билет. Не в Аргентину, конечно,—только в пределах родной Федерации. Но и это немало. Ведь Федерация, как известно, велика.

Из-за упоминания о железной дороге могут подумать, что я работаю где-нибудь на межрельсовом забое, в этакой каске, в бахилах, с фонариком на лбу и с кувалдой в руке. Это не так. Я не путеец и не машинист. У меня даже формы железнодорожной нет. Я работаю в железнодорожной газете.

Но речь не о газете, а о бесплатном билете.

Моя страна велика—и вполне объясним соблазн объездить её всю. Я бывал ранее на левой окраине. Той, которая по чванливому недоразумению называет сама себя Центральным районом, и где находится Москва. Бывал и на другой, восточной, где самый крайний город так и называется, в честь края света,—Владивосток.

Но окраин гораздо больше. Они разнятся между собой, они даже окрашены в разные цвета. Это не просто периферии, это немалые такие страны, каждая—размером с Австралию. И все эти Австралии только ждут—как бы лечь тебе под ноги дорожной картой, чтобы ты пошёл по ним.

Ну, а раз тебе дают бесплатный билет, значит—окраина получает свой шанс. Халява полезна и ограничена. Успевай пользоваться ею, читатель!

И я выбрал направление своему шансу.

Принцип РП

—Кавказ? Но это же опаснейшее и беспокойное место…

Так все говорили мне поначалу. Намекая, что, вроде как, я сбрендил—еду по доброй воле чуть не на войну. Действительно, план моей поездки включал большую половину всех горячих точек планеты—Чечню, Осетию, Дагестан, Карабах, Тбилиси, Аджарию, Абхазию, Курдистан.

Я внимал этим словам, но у меня-то было от них противоядие. У меня был принцип прагматичного романтизма.

Суть его такова. Романтик наивен. Он витает в облаках и гибнет от собственной непредусмотрительности.

Пессимист же—другая крайность—вовсе никуда не едет. Он живёт в безопасности, но жизнь его скучна. Более того, она и опасна—ведь и дома пессимист ожидает неприятностей из любой форточки.

Но отчего не взять лучшее у обоих? Заимствуем у пессимиста его рациональность, трезвую оценку. У романтика же возьмём его оптимизм.

Тогда и получится моя прагматичная романтика. Я увижу опасность мира. Но, учтя её, я не ограничусь ею, и мир откроется мне своей лучшей стороной.

Я знаю угрозы Кавказа. Я знаю их, и я не беспечен. Но в моё путешествие я иду с добром. А значит—почему Кавказ должен встретить меня злом?

Так я ответил всем на их предостережения. Кто же оказался прав, будет видно ниже.

Задача

Тогда в редакции сказали:

—Раз ты едешь в такую даль, мы даём тебе *миссию!*

Словно бы я в паломничество ехал.

Миссия же была серьёзная—узнать, как там всё *на самом деле.*

Ведь эти земли с годами покрылись какой-то дымкой. Словно кто-то взял—и Уральскими горами отделил их от нас, от настоящей земли. Они

стали больше похожи на легенды. Как раньше были Атлантида, Катай и Эльдорадо, так сейчас есть Тбилиси и Грозный.

Туда сложно попасть и ещё труднее выбраться обратно. Люди бывают там редко, все новости оттуда приукрашены, как сказки. Сказкам нельзя верить, и никто не знает, что делается там по Правде. Кажется даже, что скоро начнут сомневаться—да есть ли они на свете, эти земли?

Мир сократился, весь он помещается в карманный атлас. Однако это сокращение обманчиво. Фотографии и географические карты могут лишь заслонить от тебя настоящую жизнь. Ведь любая жизнь—это история, и ты не узнаешь, о чём была эта история. Чем живут—и *о чём живут* в этих странах.

Я еду на Кавказ, и в сократившемся мире мой путь недолог. Четыре часа на самолёте, трое суток в поезде. Но моё путешествие неожиданно выходит секретной миссией, поездкой в затенённую область. Карты и фотографии не помогут мне—ведь я путешествую не в атласе, а по историям мира. А эта дорога—наощупь.

—Хорошо,—сказал я,—попробую узнать, о чём они думают и какая у них Правда.

Это и есть моя задача.

Четыре килограмма носков

Я подготовился к путешествию тщательно. У меня был рюкзак весом в четыре килограмма (!). Вы спросите: «А не маловато ли груза, автор?» Я же отвечу—а зачем он, лишний груз? В частности, содержимое моего рюкзака составляли:

—запас одежды: носки, рубашки, зубная щётка и прочие обыденные неинтересности. Среди них отдельной строкой—тёплый свитер. Он как предохранительный клапан в моём багаже. Сибирской натуре в любом климате жарко, и этот свитер я вожу с собой всегда, но никогда его не надеваю. Он—лишь молчаливая гарантия: «Если вдруг пойдёт снег, то Тёма не пропадёт. Буря, метель—у него всё предусмотрено. Тут-то он всех и перехитрит—он наденет свой свитер!»;

—распечатанный на черновых листочках самоучитель турецкого языка, а также русско-турецкий разговорник; это было вместо книжки в дорогу.

—кепочка с глупой надписью «Российские железные дороги» и логотипом РЖД. Но я тогда ещё не знал, что эта кепочка очень мне пригодится;

—наконец, в редакции дали мне с собой ценнейший артефакт—Суперкнигу. Она была выпущена к юбилею нашей Красноярской железной дороги и включала в себя всякий официозный хлам. А также на одной странице была фотография с моей физиономией. Не в полный лист, конечно же. Так, среди коллектива. Было снято, как чинно вся редакция сидела, и я среди них тоже где-то в углу. В рубашечке и с улыбочкой. В сущности, факт наличия этой фотографии никакой роли не играл. Однако можно было, зато, показывать эту книгу другим людям, и она оказывала на них совершенно фантастическое воздействие. Она словно бы что-то подтверждала. Типа, что я не какой-нибудь там шарлатан.

Самая нужная вещь

Наконец, у меня была самая нужная вещь: блокнот.

Я таскал его в кармане и записывал туда кавказские истории и кавказскую Правду—как только они попадались мне на глаза.

Потому не ждите от этого текста рекламных и путеводных сведений, фонтанных восхищений всякими дворцами, музеями, мысами, набережными и памятниками разным мужикам и их лошадям. Я, наоборот, старался обходить эту витринную чушь стороной. Ведь всё это можно увидеть проще и лучше—на фото. Прозаично и тупо—на фото. И в лучших деталях, в гораздо лучших ракурсах.

А собственное же твоё посещение таких мест имеет смысл в двух случаях. Либо похвастаться: «Я там был» (пусть даже и самому себе; это тоже вполне достойная причина), либо чего-нибудь натворить: нарисовать, потрогать, бросить камушком хотя бы.

Зато обязательная программа моих заметок—улицы. Площади. Непременно-тихие дворы. Пивные. Ночные ресторанчики. Стоянки такси. Вокзалы. Магазины. Базары—одно из самых восхитительных изобретений человечества—эти ежедневные фестивали: крикливые, невежливые, лукавые, но зато—непритворные, открытые и равные для всех.

Вот эти места я и сохраняю в своём блокноте. Они—моя беседа, мой разговор с новой страной. Незастывшие, живые, яркие—они наполняют мою память и создают историю моего путешествия.

Поезд Тында—Кисловодск

И вот в начале мая я выехал из Красноярска на Кавказ.

Путь из Сибири далёк в любую сторону. Потому неудивительно, что существенная часть моей поездки прошла в сибирских поездах—и оттуда, и туда.

Вагон оказался заполнен почти целиком. Притом во всём вагоне наличествовали только две женщины—гендерный вопрос на БАМе стоит, видимо, ребром.

Все эти пассажиры ехали домой с Бамовской вахты, везли с собой кучу денег и всякой накопленной ерунды.

Например, на нижней полке лежал у нас такой усатый дядька по имени Гена. От нечего делать, купил он себе на Тындинском вокзале переносной DVD-проигрыватель. Чтобы в поезде было не скучно.

И вот когда я вошёл в купе, мужики уже вторые сутки смотрели по этому проигрывателю кино.

Диск с фильмами у Гены был один. Назывался он «Телевизионные сериалы канала ТНТ». Вот их-то мы и смотрели, пока Гена в Челябинске не вышел. Смотрели несколько раз, так что даже пару серий чуть наизусть не выучили. Я, признаться, чуть не вымер от этого сериала. Оказался самым нестойким в компании.

Остальные в купе были поопытнее меня. Они смотрели сериалы с большим интересом. К нам ещё и из соседних купе мужики в гости приходили.

Яшкино/Руины

Пока мы не выбрались за сибирские пределы, впечатлений было мало. Во всех этих местах я уже многократно бывал. Отдельно в блокнот попали лишь немногие пункты.

Среди них — Яшкино в Кемеровской области, рядом с узловой станцией Тайга. Это место с одним из обширных и длинных руинных ландшафтов на Земле. На протяжении нескольких километров можно видеть опустевшие корпуса заводов, трубы, склады, завалы, плиты, развалины, развалины, развалины.

Вот станция для тех, кто хочет побыть в постапокалиптическом мире. Или снять фантастический боевик. Или почувствовать себя чернобыльцем. Или жителем Яшкино.

Петропавловск

По дороге поезд цепляет маленький кусочек Казахстана и делает там лишь одну остановку — в Петропавловске. Несколько лет назад там было очень приятно выходить. На перроне располагался восточный базар — самый северный в мире. Со всеми своими атрибутами — с гамом, мелкими воришками, крикливыми зазывалами, ожесточённой многораундовой торговлей… И чем только тут не торговали! Даже, помнится, трубами какими-то. Видимо, кто-то эти трубы ещё и покупал!

Сегодня в Петропавловске гулять не выпускают. Сидим в вагоне, как курицы в питомнике, смотрим на пустой перрон. Там гуляет пузатый таможенник. Казахи в массе своей обычно худощавы или коренасты, но не толсты. Среди них есть лишь отдельная пухлощёкая каста. Это менты, пограничники и прочие чиновники. Так и этот — в зелёной фуражке, важно шагал по асфальту. И не понятна была собственно цель этого его патрулирования. Наверное, чтобы напомнить нам — «Это Казахстан, граждане» — чтобы мы не забывались.

Это Казахстан, граждане! Приведите-ка себя в порядок!

Казахская граница есть одно название. В реальности она не существует. Я специально стоял у окна, чтобы увидеть — будет ли она хоть как-то обозначена. Ничего подобного. Страна поделилась официально, на дорогах завелись граничные посты, однако поля, леса, реки — в них, по-прежнему, границы с Казахстаном нет. Да это и к лучшему.

Какая граница — такая и таможня. Вещи тут никогда не проверяют (разве что у таджиков и прочих южан — этим всегда не везёт). Смотрят паспорта, но и то — больше для форсу. Словно бы пограничникам платят за время. Мол, «идите, ребята, потусуйтесь в вагоне, сделайте вид, что вы чего-то там проверили, и возвращайтесь к своим нардам». Так они и делают.

У нашего попутчика вместо паспорта оказалась какая-то бумажка. И, надо сказать, бумажка весьма подозрительная — мятая, серая, да ещё и мокрая почему-то. Вот где уважающий себя русский мент бы прицепился! Вот где он выказал бы чудеса бдительности!

Казахи же вяло повертели этот кусок целлюлозы в руках:

— Это что такое? — они даже не поняли его.

И владелец целлюлозы (звали его Вася, и ехал он в Курган), сказал им, что у него она (целлюлоза) вместо паспорта. Те помолчали.

— Ну, ладно! — вернули ему эту бумажку. Козырнули, исчезли. Вася даже деньги им на лапу не успел сунуть.

Рассказ Васи Курганского

— А где твой паспорт-то? — спросили мы у Васи, который ехал в Курган.

И Вася рассказал нам следующее:

Их разведочная партия тарахтела себе спокойно по Иркутской области, по северной её кромочке (как раз где-то в районе БАМа, между золотоносным Бодайбо, рудным Киренском и райцентром с жалостливым названием Мама). И начиналась уже весна. Не по календарю, а по жизни — таяли снега, ломался на реках лёд.

А на пути у них как раз было много рек. И все без мостов. Только по льду зимой их и проедешь. И ехали они по этим рекам следующим образом — вылезали из своего Камаза и садились на крышу. Чтобы, в случае чего, не потонуть. Водитель же ехал с открытой дверцей кабины.

Поначалу они набирали с собой на крышу целый рюкзак. Потом привыкли. Стали брать только водку да закуску. Рек-то немало. Замучаешься вверх-вниз лазать.

В общем, на какой-то маленькой речушке (это по Сибирским меркам маленькой; какая-нибудь Темза в этой речушке исчезла бы без следа) лёд проломился-таки. Камаз изволил на два метра погрузиться в воду. А вместе с ним большая часть вещей. Однако никто не унывал. Остались ведь водка, закуска и одежда на себе. А это самое важное — в одежде ведь деньги.

А всякие шмотки — ну, чёрт с ними! Значит, судьба у них была такая.

И у паспорта Васиного тоже оказалась такая судьба — уйти на пенсию между Бодайбо, Киренском и жалостливой Мамой. Вася о нём нисколько и не жалел.

Руководитель их экспедиции прислал за ними новый Камаз. Тут же, чуть ли не на берегу реки, выписали Васе бумажку, что паспорт у него честно погиб на боевом посту. Послюнявили печать, поставили. И нормально он с этой мятой бумажкой проехал три тысячи километров до своего Кургана. И вышел там. Ни казахские таможенники, ни русские пограничники, ни даже транспортная милиция — никто его не остановил.

Вы спросите, — а какая мораль этой истории?

А Вася ответил бы:

— Да никакой. Просто помните, уважаемые слушатели, — любая бумажка есть лишь прессованное количество атомов. Не придавайте ей слишком много значения.

Казахский Duty-free

Не в пример интереснее казахской таможни — казахский же Duty-free. Эти пограничные магазины,

где, как считается, цены ниже в несколько раз (и что на самом деле нисколько не так), в Петропавловске никогда не существовали. Граница-то липовая. Какой тут вам duty-free?

Потому их роль выполняют здесь тётки с сумками-баулами. Как тушканчик, пробегает эта тётка в вагон и бежит по всему поезду. С таинственными ужимками она суёт свой нос в каждое купе. Единственный товар в её сумке—коньяк.

Я, например, вообще не знал, что в Казахстане делают коньяк. И тем более, что он и называется так прозаично—«Казахстан». Чтобы, вроде как, никаких сомнений не было—товарищи, всё без обмана! За окном Казахстан, и коньяк—«Казахстан»! Как видите, всё совпадает!

Полагается тайком заманивать секретных тёток в купе и здесь же, затворившись (для таинственности), покупать у них этот коньяк. Стоит он копейки. Литровую бутыль можно сторговать за триста рублей.

Марка у «Казахстана» одна, и отличается он лишь бутылками разной ёмкости и разнообразнейшей формы. Бутылки эти бывают чрезвычайно вычурными, однако (признак недоделки) пробка у них всех—пластмассовая, отчего и сама бутылка напоминает больше китайскую какую-то игрушку.

Этикетка на «Казахстан» не наклеена, а… привязана. На золочёный шнурочек. Впрочем, может быть, так и положено. На этикетке нарисованы пять звёзд. Но, во избежание придирок, одна звезда прорисована крупно, а остальные—меленько. Так что «Казахстан» уникален. Степень марочности потребитель назначает ему сам.

Кавказофобия

В соседнем купе громко ржали. Разговор слышен был разухабистый и пьяный.

Мне, в коридоре, не было видно говоривших. Лишь один из них пошёл к выходу из купе. Это был уже седоватый, низенький кавказец. Он выбрался в коридор, к открытому окну, и стоял, опершись спиной на пластмассовый поручень, так, чтобы сзади его обдувало ветерком. Остальные, видимо, тоже были его соотечественники.

Из всей кавказской компании этот седоватый был самым тихим. Он периодически снижал и общую громкость в своём купе:

— Тс-с. Тише!—говорил он. И гомон в невидимой мне части купе ненадолго стихал.

Я подумал о том, что кавказцы всё же чужды сибирскому характеру. Эта их громкость есть не более, чем просто непосредственность. Однако она настораживает нас. Она кажется нам нахальством. Мы воспринимаем южан, как крикунов, и сразу в их обществе чуть сжимаемся.

Так бывает, если на празднике тебя предупреждают: «Вот человек рядом с тобой. Он обязательно напьётся и начнёт буянить. Будь готов к этому». Так же мы, несмотря на своё внешнее спокойствие, ждём от любого южанина—буйства.

Так я думал, стоя рядом с кавказским этим купе. И о том, что мне надо переломать этот стереотип в своей голове, коль уж я собрался к ним в гости.

Потому как у себя на Кавказе—они же живут как-то? Они же не встают каждый день с мыслью—с кем бы подраться? Кого бы прирезать? И я прекрасно понимаю такое соображение, но моё сердце как-то не может его принять.

Оттого даже маленькая шумная кавказская стайка—несколько пьяных пассажиров купе—настораживает меня.

Тут компания в этом купе решила передохнуть от возлияний и собралась в тамбур курить. И неожиданно,—оказались все русские. Тот кавказец был среди них единственный южанин. Он-то—один из всех—и не пил, и не горланил.

Электричество (Гена Челябинский)

Гена Челябинский не знает, куда девать деньги. Он остановил вагонного побегайца и купил у него электрошокер за три тысячи рублей. Он срабатывает от нажатия кнопки и громко трещит. Думается, что он защищает от грабителя больше этим своим треском, чем реальным электрическим разрядом. Гена пугает шокером проходящих людей и гостей, которые приходят к нам смотреть DVD.

Также он приобрёл ручку с электрическим приколом. Она не может ничего писать, зато, когда пытаешься нажать на кнопку, чтобы выдвинуть стержень, она легко ударяет тебя током.

Гене такие шуточки очень нравятся. С искренним смехом он демонстрирует свою покупку всем желающим. От Казахстана до Челябинска в нашем купе стоит непрерывный электротреск.

Зато хотя бы выключили сериалы. И то радость.

Вагонный прогресс

Удивительно, как осовременилась публика в русском поезде за пару минувших лет. Всего пару лет назад в купейных вагонах ездил народ другой. Не то, чтобы дикий… Но им незнакомы были электронные новомодные приборы. Таких слов, как «смартфон», они не знали. На электронные билеты ходили смотреть, как в советское время на банку Coca-Cola. Они не были какими-то отсталыми—это их незнание было совсем не постыдным. Ведь я и сам, например, толком не знаю, что такое смартфон (да! да! не знаю, представьте себе).

Но сейчас все эти фуфайчатые мужички едут—с DVD, с Интернетом. А раньше было трудно найти человека в вагоне, который слышал хотя бы термин WAP.

В коридорах, вместе с чипсами и орешками, продают—мобильники и видеокамеры.

История Серёги Самарского

Внешность обманчива, и никогда—никогда нельзя судить по ней о человеке. Серёге чуть больше пятидесяти лет. Видом он напоминает некоего старого гнома, сутулого, лысоватого, круглоголового, с длинным носом. Хочется спросить: «А где ваш колпачок?»

И этот же архаичный Серёга в первый вечер вытащил мобильник и стал через Интернет смотреть футбол. Вот вам магия современного гнома.

Позже, когда мы пили челябинское пиво и казахский коньяк, Серёга стал рассказывать свою историю. Оказалось, что в детстве гном знал церковнославянский язык и умел весьма прилично с него переводить. Его семья жила в Архангельской губернии, и дед был известным фольклористом. Он создал даже специальную пьесу — «Северная свадьба», которая была даже не пьеса, а специальный обрядовый спектакль. Люди приходили и смотрели постановку традиционной поморской свадьбы. Серёга сказал, что такой спектакль имел необычайный успех в Архангельске. Если бы дед не попал в ссылку, то, возможно, пьесу возили бы даже на гастроли по всей стране.

На постановках «Северной свадьбы» актёры пили настоящий самогон. Это добавляло реалистичности действию. Иногда в конце спектакля вспыхивали даже самые настоящие потасовки.

Серёга считал, что эта сценическая уловка предвосхищала послевоенные театральные эксперименты. Если бы не железный занавес, то все знали бы, что «новая волна» началась в Архангельской области, сказал он.

Я ни на йоту не усомнился в истинности его слов.

Также Серёгин дед прославился тем, что однажды спас старинную книгу.

Произошло это так: ехал он куда-то по делам по реке Пинеге…

…тут произошла небольшая литературоведческая интермедия. Серёга спросил:

— Был такой писатель, Фёдор Абрамов. Он как раз про Пинегу писал. Ты не читал?

Было странно слышать, что кто-то ещё помнит Фёдора Абрамова. Это прекрасный писатель, но он потихоньку вылетает из школьной программы, и не переиздавали его тоже очень давно. Я удивлённо и совершенно честно ответил, что это один из моих любимых авторов.

— Так вот у него в романе «Братья и сёстры»… э…

И Серёга стал даже вспоминать, в какой именно главе упоминалась эта деревня, но, к счастью, не вспомнил.

Выпили.

— В общем, у него всё описано, как там на самом деле и есть, — было подытожено в финале.

И мы вернулись вновь к истории деда и старинной книге.

…Он обнаружил её в местном гальюне. Видимо, дед зачитался и выяснил, что пинегинцы используют не по назначению рукописную книгу XVIII века. Это была хроника какого-то монастыря. Большая часть её состояла из всяких денежных расчётов, но встречались и некоторые исторические анекдоты — в основном, про монахов-отшельников и бесноватых прихожан. А также про то, как вредные императоры российские подвергали монастырь гонениям. К сожалению, так и не удалось выяснить, чем у них там всё кончилось. Заключительную часть книги деду спасти не удалось — она была оторвана, и вся ушла на обслуживание северорусских задниц.

По этой книге, кстати, Серёга и учился церковнославянскому. Сейчас он уже его забыл. И книга, естественно, тоже со временем где-то потерялась.

На том история и заканчивалась.

Рассказы, которые ты слышишь в поезде, разнообразны, как калейдоскоп. Но их роднит одно — они, как правило, не оставляют никакого отпечатка на реальности.

Миллионы Серёги Самарского

— Книга потерялась, зато у меня есть вон какие бумаги, — сказал Серёга, когда мы уже проехали Уфу.

Была уже глубокая ночь, и близился рассвет. На уходящем во тьму уфимском вокзале блестели гордые буквы: «Өфө». И я думал — то ли это меня глючит от «Казахстана», то ли это уфимцы так самовыражаются.

Серёга полез в чемодан и вытащил какую-то пластиковую папочку. В бледном купейном свете было видно, что в ней сложены всяческие накладные и прочая финансовая мура.

— Вот, например, этот документ стоит триста пятьдесят тысяч рублей, — сказал он, показывая мне листочек, который ничем не отличался от полусотни других, смирно лежавших в глубине папочки.

Вероятно, я должен был подивиться уникальной ценности данных бумаг.

Я именно так и сделал.

Урал

Коньячным этим вечером мне удалось-таки увидеть Урал. Раньше всегда я проезжал его на поезде как-то быстро. И было незаметно, что едешь по горам. Уральские горы — они, вообще, такие и есть. Скромные. Без наворотов.

Но я специально смотрел в окно, чтобы заметить эти горы.

И я увидел Урал.

Светила ночью красная луна, и в близящейся грозе были видны невысокие холмы. Поезд бежал нестройной рысью, она задавала колеблющийся ритм. Шум работы всей этой металлической махины сливался в единую ноту. Это было как аккомпанемент для песни. Только словами в нём были — окна поезда и Урал, Каменный пояс, за ними.

С отражениями лампочек в стекле — как точками литавр. Со смычковыми пошатываниями на поворотах. С проносящимися светофорами. Как медные разливы духовых, они были — зелёные, и тут же снова красные, до следующего поезда. И к этой песне я присоединил свой голос, и, так же, без слов, просто поддерживал единую ноту и приветствовал Урал, Каменный пояс. Он был всего лишь за окном от меня.

Пошли шахтёрские городки. Миасс. Златоуст. Салда. Днём, может быть, они бесприютны и грязны. Но ночью — рассыпавшись по склонам, с многоэтажными домами и многоэтажными же улицами — они красивы необычайно.

Ненависть ко всякому стеклу

Пьяный мужик разбил в соседнем, плацкартном, вагоне стекло. Его положили спать, потом он проснулся и в нашем тамбуре тоже разбил стекло.

Оказалось, что в поезде нет милиции, и стали ждать крупной станции. Проводница сказала, что милиция ездит только с фирменными составами. Я думал, что наш «Тында—Кисловодск» тоже фирменный, но не решился выяснить истину.

Проводница соседнего вагона под покровом ночи бежала к нам. А всем пассажирам сказали на всякий случай забаррикадироваться.

Наконец, приехали на станцию. В плацкартный вагон влезли менты, стали было беседовать со стеклоненавистником. Однако он снова заснул и никаких ментов не заметил даже. Так его и не добудились.

В общем, он доехал до своего Миасса, очухался и мирно сошёл на станции. Мне указали на него пальцем: «Вот, мол, тот мужик, смотри». Это был инженерного вида мужичок, в очках, с чемоданом, в белом мятом пиджаке. Нисколько он не казался каким-то особым дебоширом.

Городок был прохладен, в небе толкались облака. Шаркая ботинками, инженер протопал по перрону и исчез в родных просторах.

Билингвизм

В Башкортостане есть мода—писать названия на русском и на башкирском. Стремление понятное. Однако реализуется оно, чаще всего, несколько кастрирующим образом. А именно—от русского имени отбрасывается окончание и только-то.

Например, станция Приютово переводится по такому закону—«Приют».

Сирены Приюта

Отличается «Приют» ещё тем, что на перроне торжественно установлен здесь мегафон. Он не укреплён на каком-то приблудном столбе. Он стоит отдельно. На специальной деревянной стойке. Под крышей. Вокруг мегафона—стальная огородка. Видимо, чтобы не подбирались слишком близко к магическим приютинским голосам.

Оренбуржские шали

Под Бугурусланом бабка ходит по поезду:
—Оренбуржье проезжаете! Шали! Шали! Оренбуржье!

И непонятно даже, продаёт ли она шали, либо это самое Оренбуржье.

Кинель

Это станция близ Самары. Здесь вымерший островной вокзал, большая часть которого пустует. Обитает в нём лишь один голубь, да и тот всё ищет выход наружу. Пытался открыть голубю окно, но все менты Кинеля сбежались подозрительно смотреть в мою сторону: «Как бы не учудил чего». Так и не удалось высвободить птичку.

По перрону Кинеля бродит некий бородатый певец. Пассажиры наши попросили спеть. Певец послушно перекинул свою ободранную гитару со спины на грудь, блямкнул по струнам… И неожиданно обнаружился у него—волшебный совершенно, хриплый, дрожащий голос.

Охреневшая публика забыла купить пиво, рыбу и газеты. Все слушают.

Даже сейчас я помню этот дрожащий голос Кинеля; и, думается, легко смогу узнать его на слух.

Автограф

Подъезжая к Самарскому вокзалу, около автомоста, можно заметить гараж с гордой надписью «Самарский бомж».

Тараканы, портянки и донское «ћ»

В Самаре сели в купе двое—тётка до Воронежа и мужик до Луганска.

Тётка сообщила, что в Воронеже куда-то исчезли все тараканы. Видимо, этот факт сильно её тревожил. Я успокоил её—у нас в Красноярске тоже нет тараканов. Мы даже думали, мы одни такие во вселенной. Оказывается—нет. Оказывается, Воронеж тоже в курсе эксперимента.

Мужик же оказался полковником в отставке. У него впервые услышал я знаменитое донское «ћ», по которому и отличают настоящего казака.

Полковник прочитал нам лекцию о том, что украинскую и российскую армию разваливают изнутри. Особенно полковник напирал на то, что преступно со стороны армейского руководства было отменять портянки:
—Портянки, по моим расчётам, повышают боеспособность армии на 30% процентов.

Я поинтересовался формулой расчёта. Полковник повёлся, стал тут же на бумажке вычислять удельное время, за которое наматывает портянки наш боец в сравнении с одеванием импортных носков. Оказалось, портянки эргономичнее в три раза. Потом он что-то на что-то делил и даже в какую-то степень возводил. Финала расчётов мы не дождались. Но мы и без них всё поняли.

Так знайте и вы: если мы не успеем отреагировать на атомный удар—помните, что во всём виноваты носки.

Раздетым взглядом

Долго смотрел в окно в тамбуре, то самое, где вчера выбили стекло. Только так и надо глядеть в окно поезда—когда его нет. Иначе будет просто телевизор.

Пассажир, недостойный проезда

Приключения соседнего вагона продолжаются. В Сызрани выкинули из поезда пассажира. Причин этого никто не узнал—мы увидели лишь, как на остановке он вылетел из вагона вперёд лицом, а вслед за ним выбросили чемодан.

Тётка лезет на полку

Ночью полковник устроил сеанс громового храпа. Воронежская женщина даже засунула голову под подушку.

Сеанс продолжался, пока на станции Балашов в наше купе не заселилась ещё какая-то седая тётка. Она села на воронежскую женщину (её же не было видно—она же под подушкой), а потом стала шарить руками по верхним полкам—искала матрас. В этих действиях был, впрочем, один плюс. От её поисков полковник проснулся и взял небольшой антракт.

История Балашовской тётки

Тётка эта седая, которая понизила шумовой уровень нашего купе, спала утром дольше всех. Она проснулась только на станции Россошь. И сразу же, едва открыв глаза, она стала рассказывать нам, как в прошлом она побывала на этой станции и как её здесь обманули.

Было это так:

«В тот раз поезд попал в Россошь ночью. Тем не менее, перрон оказался полон продавцов. Какой-то провинциальный знаток этих мест рассказал всем:
— В Россоши-де продают лучшее молоко.

Все полезли, естественно, покупать это необыкновенное молоко. Наша тётка тоже не утерпела. Хотя денег у неё оставалась тысяча рублей последняя. Одной бумажкой.

И вот она переместилась на перрон, и нацедили ей молока на сто рублей. Дали сдачу — пятьсот рублей] и четыре сотенных. Тётка сунула их в карман:
— Я в темноте и не смотрела особо. Тем более, торопимся. И она (продавщица) торопится, и мы торопимся. Лишь потом оказалось, что это были пятьсот рублей — прикольные.
— Что значит — «прикольные»? — спросила воронежская женщина.
— Это гривны, наверное, были наши? — сказал полковник. Точнее, он сказал даже так — «ћривны».

Были это, однако, не гривны. В темноте тётка и не заметила, что красная бумажка фальшивая. Лишь утром, когда уже приехали в Балашов, она сунулась со своей пятисотенной в магазин. Там, конечно, не приняли — на банкноте написано «Пятьсот бабок». В любом киоске такую денежку можно купить. Так и называется «Банкнота-прикол».

Россошь

Памятуя историю тётки, в Россоши все сходят осторожно. Оказывается, впрочем, эта станция ничуть не криминальной. Продают, действительно, молоко и какую-то ещё тягучую дрянь — то ли масло, то ли мёд. Множество рыбы. Перрон отгорожен почему-то сплошным забором. Ходишь по нему, как в зоопарке. Из-за решётки с надеждой пялятся на тебя таксисты.

У станции интересный символ — два железнодорожника дуют в длинные трубы. Видимо, это что-то должно символизировать.

Храм внутри

В Донском краю встречается такая особенность — можно войти на станции в зал ожидания, и внутри обнаружить церковь с куполом. На самом деле это иконный ларёк. Однако стилизован он настолько, что кажется, будто и в самом деле внутри вокзала стоит маленький храм.

Такой храмик есть в Россоши, есть и в Лисках.

Курортная битва магов

Тётка, которая потерпела поражение, покупая в Россоши молоко, оказалась кладезем историй. Всю дорогу до Ростова рот у неё не закрывался. Особенно любит она рассказывать кровавые байки — про что угодно. Узбекский погром в Оше, землетрясение в Ташкенте, ядовитое баночное пиво (продают его, если угодно знать, в Балашове; можете поехать и купить)

Вот самая короткая (и, к счастью, совершенно не кровавая) из этих историй.

Передаю её от первого лица:

«В Ессентуках меня надули два года назад. Первый раз за шестьдесят лет.

Я вышла утром в парк белок кормить. У нас двери в санатории прямо в парк. Вышла я. Ищу белочку.

И какая-то женщина ходит.

Я на неё не смотрю. Я белочку ищу — зачем мне женщина?

А она, наверное, давно уже меня *пасла.* У них это заведено. Я читала, что они всегда так делают. Выбирают человека доверчивого и наблюдают за ним.

Подходит она ко мне и спрашивает, сколько времени. Я подумала по её внешности, что она дагестанка. Сказала время. А она мне говорит:
— На тебе лежит порча.

И я поняла, что она не из Дагестана совсем. Это цыганка.

Вдруг эта женщина протянула очень быстро руку и выдернула у меня волос.

Я спрашиваю:
— Зачем ты взяла мой волос?

Мне хочется вернуть его. Для чего мой волос этой женщине?

Она же говорит:
— Это чтобы снять с тебя порчу. Положи волос на красную бумажку.

Я не поняла сначала, что за бумажка такая. Но как-то эта женщина поглядела на меня, и мне стало ясно, что она имеет в виду. Может быть, она как-то загипнотизировала меня.

Ведь со мной как раз было двести рублей, в кармашке. Она взяла их, положила между ними волос. И вдруг — всё это исчезло. Ничего нет в руках.
— Где же деньги? — я спрашиваю. Она говорит, что нет денег. И порчи больше нет. И отвернулась.

А что мне делать? Кого позвать? Не бежать же за ней?

Тогда я её прокляла.
— Будь ты проклята, — сказала ей.

Тут к ней подбежали две её подружки. Откуда они взялись? Пушистые две цыганки. В шалях. Видимо, они испугались моего проклятия. Они подошли ко мне и принесли те двести рублей обратно. И ушли сразу же. Так быстро укатились. Я и не заметила.

Невдалеке упражнялись гимнастки. Спрашивают:
— Сколько они взяли у вас?

И посоветовали бежать в милицию. Но я не пошла. Деньги ведь они вернули. Только волос мой пропал.

Вот я так шла по улице. Иду в слезах. Навстречу мне русская женщина. «Что с вами?» — спрашивает. Я и рассказала ей всё.

Оказалось, это сестра Валентины Терешковой. Которая первая женщина-космонавт. И эта сестра успокоила меня. Я перестала плакать и пошла к себе в санаторий».

Я сразу записал рассказ тётки в блокнотик. Он привлёк меня какой-то своей особенной атмосферой. Это классический mystic thriller, только в новом антураже — с этаким курортно-старушечьим оттенком. И есть в нём ещё необычный, чуть фантасмагорический, сновиденческий сдвиг. Эти внезапные повороты сюжета… Герои, которые появляются из ниоткуда и низачем — все эти пушистые цыганки, гимнастки… Неожиданный deux ex machina, роль которого выполняет сестра космонавта… Такую историю не придумаешь. Но её несомненная правдивость необычайно драматургична. Тут вам и конфликт, и тайна, и поединок, и бесы, и ангел в конце (если подумать — в самом деле, а кому ещё играть ангела, как не космонавту?)

Продюсеры и киносценаристы должны бы за такой сюжет драться.

II. Азов и Дон

Начало юга

На станции Лихая уже начинается юг — тенистые деревья, под ними лавочки. На них пузатые чернявые мужики.

На юге я выгляжу солидно. Таксисты обращаются ко мне во множественном числе. Видимо, по здешним меркам, меня слишком много:

— Ребята, куда вам ехать? — спрашивают меня.

Таксисты юга

Таксисты юга — отдельная песня. Прилипчивость их ни в какое сравнение не идёт с нашими северными угрюмыми шофёрами. В Сибири это обычные мужики. Стесняются ли они, либо просто уважают себя — но никогда не липнут, не заманивают к себе. Не надо — так не надо.

На юге таксисты обладают какой-то особой клейкой и пакостной привязчивостью. Прицепится такой к тебе — куда надо ехать? А? Давай на такси? И предлагают свою машину, словно сутенёры. Иные женщины с чемоданами спасаются от таксистов бегом. Иначе никак.

Я поначалу старался не обращать на них внимания. Но это тоже неправильно — делать вид, что я чего-то не замечаю. Понятно, с одной стороны, что он лишь зарабатывает деньги. Но в любом случае я ничем ему не помогу. Люди, которым нужна машина, и так найдут таксиста. Мне же он лишь мешается под ногами. Я не могу прихлопнуть таксиста, как надоедливую туалетную муху (а таксист, собственно, и представляет её мутировавший вариант). Грубить таксисту — ещё глупее. Он пробурчит тебе в спину ответную вялость. Иногда они соберутся группкой — три-четыре хиленьких армянина — и распекают тебя храбро: «Ишь, какой умный нашёлся! Слышь, умный, что ли, а?» Так до тех пор, пока не цыкнешь на них.

И я придумал самый простой способ справиться с таксистом. Он ведь есть мутировавшее перелётное насекомое. Он глуп. Надо просто огорошить его, сказать или сделать что-нибудь непонятное. Он и зависнет.

Так я и делаю:

— Такси! — подбегает ко мне очередной липкий шоферчик, — Куда ехать? Такси!

— Макси! — говорю я таксисту.

Он впадает в анабиоз. А я иду себе дальше.

Остолбенелые ряды насекомовидных таксистов оставляю за собой. Целые их задумавшиеся гирлянды.

Красный Сулин

Станция Красный Сулин, шахтёрский городок.

На одном из зданий возле самой дороги надпись. Обращена прямо к вагонным окнам:

— Помни, ты прибыл сюда на исправление!

Видимо, напутствие отпускникам.

Две секунды Украины

Возле станции Чертково мы проехались неожиданно по Украине. Я обнаружил это, открыв атлас. Железнодорожная линия здесь, действительно, мимоходом забредает в соседнее государство. А потом, перед самой станцией, граница бежит прямо по рельсам.

Портяночный полковник подтвердил эти сведения. Сам рельсовый путь и на восток от него — Россия, а три метра от шпал на запад — уже Украина.

Когда поезд подъезжал к станции мы с тёткой смотрели в окошко — на Украину. Граница и здесь, как в Казахстане, никак не проявляла себя. Стояли только кое-где официальные зелёные столбики. Видимо, чтобы туземцы не забывались, и в случае амнезии могли легко определить, в какой именно стране они находятся.

Из окна видно было, как украинцы нахально бродят вблизи пограничной линии. Некоторые из них даже пересекали её. Один, словно бы, в насмешку, прохаживался перед самыми рельсами и чесал в штанах. Впрочем, возможно, это был не украинец, а как раз россиянин. Может быть, он специально нарушил границу, чтобы почесаться.

Полковнику именно в Чертково и надо было выходить. Стоянка поезда здесь была две минуты. Он упросил проводницу открыть ему дверь прямо на Украину, чтобы не маяться в официальном пропускнике.

Я попросился тоже, было, сбегать за границу. Но проводница отказалась меня пустить — поезд в любой момент мог тронуться. Кое-как я уговорил её. На несколько секунд она вновь открыла дверцу. Я спрыгнул вниз, перемахнул через пути, и вот уже оказался на Украине.

Хотелось совершить какой-нибудь подвиг. По крайней мере, на стене что-нибудь написать. Но ничего этого я, конечно же, не успел бы сделать.

— Что ж, пусть тогда я буду человеком, который совершил самую короткую в мире поездку за границу, — подумал я, и побежал обратно в поезд.

И вовремя — почти сразу же лязгнули двери вагонов, и поехали мы дальше к Ростову.

Шахты

Город Шахты — длиннейшая деревня в мире. Это село тянется вдоль дороги полчаса, и живут в нём 256 000 человек.

Седая тётка, Кладезь историй, с живейшим интересом рассматривала шахтинское кладбище. От нечего делать составил ей компанию и с удивлением обнаружил, что на этом кладбище стоит памятник Ленину (?)

Этимология

По пути встретилась деревушка с замечательно античным названием — Лакедемоновка.

Вообще на Дону с названиями неплохо. Вокруг Ростова собран интернационал — Кировакан, Беслан, Персиановка, Крым, Киев с Донецком и Полтавой (не те, конечно, что на Украине, а свои, карманные).

Есть даже исторические реликты — Двуречье (!) и Золотое Руно.

Есть (видимо, специально для меня) — Красноярск и Зелёная Роща (красноярцы поймут).

За компанию к ним — Мариинск, Курган, Куйбышев.

А также городки Булочкин и Ёлкин, посёлок Гигант (с населением аж в десять тысяч человек!), Большой Должик (именно Должик, а не Должок), сладкая парочка Верхоломов и Верхнепиховкин, двусмысленный Нижнежировск (задумайтесь, задумайтесь над этим названием) и, наоборот, совершенно однозначный Нижнепопов (не верхним же ему называться, в самом деле). Есть Общий посёлок (вот где, видимо, коммунизм), а есть, наоборот, такой, которому от рождения не повезло — Лопуховатый.

Есть замечательное название-глагол (причём глагол грустный) — Пришиб. Там всё уже произошло. Есть оптимистические Пробуждение и Заря, а есть чудовищный Прогной (это непонятное поселение, что интересно, разместилось на самой украинской границе)

Есть, наконец, в области Ремонтный район. Очень, наверное, удобно такой иметь в своём регионе.

Этимология-2

Ростов же правильно называть надо — Ростоу.

Именно так называют его местные.

Ростоу

Зачем-то наш поезд объехал город по кругу. Въехали мы в городскую черту в шесть вечера по местному и только через час добрались до вокзала.

В Ростове есть нормальный вокзал, но некоторые поезда принимают почему-то на пустынную и неухоженную станцию Первомайская. Объясняется это то ли ремонтом, то ли какими-то сложнейшими логистическими соображениями… Так я и не понял.

Это всё равно, что к нам в Красноярск поезда приходили бы куда-нибудь в дачный пригород. В Минино, например. А оттуда, граждане, добирайтесь сами, как хотите.

Мне Первомайская не понравилась ещё и потому, что на ней меня должны были встречать. И не встретили.

Получилось это так.

В Ростове есть своя железнодорожная газета. И у неё есть редактор, некий Карен. Так вот мы и позвонили Карену из Красноярска — дескать, коллега, помогите с ориентировкой. Где там можно у вас переночевать, поесть, на город посмотреть?

Карен, конечно же, не обязан был нам помогать. Однако он зачем-то сказал: «Конечно, ребята. Пускай едет — поможем. Устроим».

И ни фига не помог и не устроил.

Хорошо, что у меня была с собой система прагматичного романтизма. Включённая и настроенная. Она мне сильно помогла, когда я вышел на Первомайский перрон, и увидел, что никто меня не встречает. Конечно, я и не ожидал, что будет прыгать по асфальту радостный коллега, размахивая табличкой с моим именем. Отнюдь не ожидал я, что будут на перроне грудастые донские девки с хлебом-солью. Или усатые казачки, которые подойдут и скажут по-отечески: «Ну, вот ты и в Ростове, сынок».

Ничего этого не ожидалось. Объявится Карен — хорошо. Не объявится — хуже, конечно, но тоже не смертельно.

Карен не объявился. На всякий случай я его подождал минут пять. Вдруг он, вроде, припоздал. Но нет — так он и не возник.

У меня был на всякий случай его мобильник и домашний телефон. Он сам мне их продиктовал по телефону с таким целебным напутствием: «Звони, если потребуется». А, кстати, суперкнигу свою я вёз — именно ему в подарок. Вроде как «от нашего стола — вашему». Ну, а что я ещё из дома привезу? Орешки, что ли, кедровые?

Позвонил я Карену на мобильник. Карен нахально не отвечал. Стеснительно тогда я набрал домашний его номер.

Там в это время какой-то пацан шумно ел грушу. Или дыню. Или какие-то сосущие и чмокающие звуки издавал просто так. В общем, пока он занимался подобным музицированием, я спросил:

— Карен дома?

Пацан же выдал неожиданный ответ. Я мог предположить многое — что Карен скрывается, что он внезапно уехал в Армению, что он необычайно занят именно в этот вечер. Я готов был услышать, что Карена вообще не существует. Что это миф, и во всём Ростове нет ни единого человека с таким именем, а позвонил я не на квартиру, а в ростовское общество свиноводов-виноделов.

Однако пацан сказал вот что:

— Карена нет. Он в театре.

— Всё понятно,— сообщил я и нажал отбой.

Всё было с Кареном понятно.

Оно выходило даже и к лучшему. Если б попался я в лапы Карену, он бы начал меня водить по всяким скучным памятникам да музеям. Ему было бы скучно, мне было бы скучно.

А так я получался вольная птица. Минус, конечно, заключался в том, что где-то надо было ночевать. За деньги. Что ж, за статус вольной птицы можно и заплатить. Стоил он, как выяснилось позже, вовсе недорого.

На автобусе я доехал до вокзала. Ростов был тих. Ничем он не походил на миллионный мегаполис. Спокойный город с деревцами и парками.

В Ростовских маршрутках можно спокойно проехать бесплатно. Контролёров в них нет, деньги передаёшь водителю. Водители же здесь все полны стоицизма. Некоторые даже не смотрят — что ты им там дал. Они в момент остановки обозревают трассу. Анализируют. Намечают дальнейший путь в пространстве.

Ну, я-то, впрочем, заплатил. Чего уж там.

Вокзал «Полдень»

Вокзал в Ростоу странный. Его как будто бы собирали из игрушечных деталек. Причём даже не из одного конструктора.

С одной стороны детальки кубические. В этом углу вокзал объёмен, геометричен. Угловат.

Ближе к середине начинаются округлости. Есть даже навесной козырёк. По нему хорошо ходить летом. Однако в Ростовском вокзале сей козырёк заколочен наглухо. Туда даже голуби не садятся. Так что есть подозрение, что он окружён каким-то невидимым полем. Возможно, даже темпоральным.

После округлой части начинается стеклянная часть. В самом же конце у архитекторов, видимо, дрогнула душа.

— Что бы ещё присобачить сюда? — подумали они. Но идеи у них кончились. И затолкали с края вокзала обычный небоскрёб. Четырнадцать этажей.

На стене вокзала висят гигантские часы. Они показывают всегда полдень (не полночь! — ибо ночью их не видно)

На входе в вокзал по традиции докопались до меня менты. Ну, как же иначе? Мужик с рюкзаком! с бородой!!! пытается проникнуть в здание! Какая наглость!

В этих случаях чрезвычайно помогает ксива. У меня она была. Да не простая — железнодорожная.

— Свои, — говорю я ментам.

Позыркали они в бумажку и отстали от меня. Я пошёл искать расписание и Интернет.

В дорожном расписании в Интернете я нашёл поезд-призрак. Запомни его на всякий случай, читатель, — вдруг и тебе доведётся бывать в тех краях. Это поезд 382я Москва—Грозный. В расписании указано, что он имеет целый выводок прицепных вагонов — и в Махачкалу, и в Астрахань, и в Кисловодск.

Никаких таких вагонов на самом деле нет. Они указаны во всех электронных справочных системах, но на самом деле они не существуют. Не уедете вы из Москвы ни в Махачкалу, ни в Астрахань. Повезут вас — стабильно и печально — в Грозный и никуда более.

А мне-то надо было из Ростова — в Махачкалу (и оттуда далее на юг). Однако, так как 382я до Махачкалы наотрез отказывался ехать, а прямой рейс шёл неудобно, пришлось взять билеты на следующую ночь — до Минвод. Впереди у меня были сутки с лишним.

На то, чтобы увидеть Ростов. И, самое главное, — чтобы увидеть Азовское море.

Арифметика морей

Я прожил очень много. Две трети Пушкина. Почти половину Достоевского. Лермонтов даже до меня не дотянул.

Я прожил много. И видел много. Но не видел ещё больше.

И как-то раз Женщина вдруг поглядела мне в глаза и увидела, чем она лучше меня. Я не понял сначала — откуда появилась в ней такая странная улыбка. И лишь потом я догадался.

— Да, ты лучше меня, — сказал я ей, — ведь я ни разу не видел моря.

Лишь в прошлом году я открыл свой счёт морям. Они как отдельные числа, и каждое само по себе.

Первым я видел Японское море, во Владивостоке. Холодное, весеннее. Всё изогнутое. Лукавое. Даже поверхность в нём кажется покатой. Это моё первое море. Восточное, прекрасное море.

Вторым я видел Балтийское море. Простое, молоденькое. Кажется оно похожим на мальчика. Его одели в тесную приличную одежду. Мальчику неудобно в нём. Так и Балтика — закована в набережные, усыпана буйками, бонами, бакенами. От неба вода в нём серая, каменная. Но вода его тёплая — для сибирского понимания очень даже тёплая. Это море отвыкло от искренности, от простой симпатии. Но так ждёт её, так доверчиво к ней. Это моё второе море. Серебристое, прекрасное море.

Далее я видел Белое море. Мимоходом, из окна поезда. Белое море сливается с берегом. Оно продолжается в Карелию — озёрами, протоками, речками. Так же и Карелия продолжается в него — островами, островками, мелями, камнями. Непонятно, где граница Белого моря, где оно начинается, и начинается ли оно вообще. Кажется, что так — перепрыгивая камня на камень, по песчаным отмелям — и дойдёшь до самого полюса. Моё третье море. Белое, прекрасное море.

Баренцево. Самое откровенное, прямое море. На берегах его чувствуешь себя человеком. Без лишних чувств, обид, сомнений, размышлений. Крики чаек над Баренцевым морем. Сами чайки — белые, как разрезы в небе. Вся твоя одежда, твоя человеческая маска — падает. На Баренцево море можно смотреть лишь обнажённой душой. Четвёртое, настоящее море.

Был и Байкал — он тоже считается. Лишь глупец называет его озером. Посреди бескрайней Азии Байкал смотрится настоящим морем. За тысячи километров вокруг он собирает реки. Как ребёнок в люльке, Байкал лежит в своём ущелье. Через миллион лет он станет океаном. И, как будущий океан, уже сейчас он бывает грозен. Из всех перечисленных я увидел его первым. Но он и идёт в этом списке без счёта. Для Байкала нет своей цифры. Она появится у него — в будущем.

После Кавказа в моей арифметике появятся ещё три цифры — Азовская, Каспийская и Чёрная.

Больше, чем других стран и городов, больше Кавказских гор я жду встречи именно с ними.

Филологические тонкости гостиниц

На железной дороге придумано немало вещей, не имеющих никакого толка. Это, например, открывалка под столиком в купе. Это мусорный ящик возле туалета (который всегда переполнен или сломан, и вместо него ставят этакое осёдлое привидение — чёрный полиэтиленовый мешок). Это занавесочки на окнах в вагонном коридоре. Это половичок в том же коридоре (Впрочем, нет! У него есть толк! Раз в день его переворачивают, и эта операция заменяет собой влажную уборку — ещё сутки пол в вагоне считается чистым) Это многослойные и вечно запертые двери в русских вокзалах. Пройти сквозь них в иной вокзал — как преодолеть лабиринт. Это расписания электричек, которые устаревают ещё до того, как их повесят. Это красивые таблички с указующей стрелочкой «кафе», которые всегда ласково приводят к запертым дверям. Это реклама пригородных поездов, размещённая в тамбуре пригородного поезда. Это надпись «остановка первого вагона», около которой никогда не останавливается первый вагон.

Но есть на железной дороге и вещи, которые имеют толк.

Одна из них — комната отдыха.

Комнаты отдыха — закамуфлированный такой рудимент советской эпохи. По сути, это обычные гостиничные номера, но стоят они гораздо дешевле, чем их отельные аналоги. Ибо считается, что в гостинице можно жить, а в комнате отдыха — только ночевать (то есть, пардон, отдыхать). На самом деле это не так.

Для того, чтобы где-то перекантоваться единую ночь, комната отдыха — наилучший вариант. Потому я бодренько отправился её искать.

Электронное табло, созданное каким-то южным фанатом киберпанка, указывало мне на второй этаж. Там, действительно, я обнаружил дверь с надписью «Зал повышенной комфортности». Внутри сидела тётка и ругалась по телефону с каким-то мужиком. Мужик на неё громко орал, так что его голос было слышно даже лучше, чем саму тётку. В довершение звукового антуража в помещении работал ещё и телевизор.

Показывали сериал. С пальмами, с пляжем. Пока тётка была погружена в коммуникацию, я развалился в кресле и стал вникать в суть.

Я успел выучить некоего седого мужика. Его звали Микель. Это был коварный тип. Он похитил какой-то чемодан. Внутри чемодана была коробка (!) А вот что было внутри коробки — так и осталось неизвестным.

Положительные герои гнались за злобным Микелем через весь город. Притом они ехали почему-то в машине «скорой помощи». Видимо, чтобы окружающие сразу видели — дескать, люди едут по делу.

Микель же ехал на навороченном каком-то джипе. Однако по странному стечению обстоятельств древняя «Скорая помощь» с полным багажником героев спокойно догнала этот джип. И даже чуть его не задавила. Короче, злодея поймали. Жаль, я не досмотрел, как у него отбирали коробку.

Тётка тем временем наоралась, бросила трубку и спросила, чего мне надо.

Я сказал, что хотел бы снять номер с душем (а как раз в глубине коридора виднелось что-то ваннообразное — видимо, как гарантия будущих удобств).

Но тётка разочаровала меня. Она погрузилась в филологические дебри:

— Так это вам надо в комнаты отдыха. А здесь комнаты повышенной комфортности.

Я по дремучей необразованности даже не знал, что это разные вещи.

— А где эти комнаты?

Тётка понятия не имела.

— Где-то на вокзале, — сказала она. — Ищите. Наверное, на первом этаже.

Это уже она сказала просто так, чтобы от меня отделаться.

Напоследок я спросил (чтоб уж не совсем с пустыми руками уходить):

— А Интернет у вас где?

А Интернет-то, оказалось, был как раз здесь.

— Только чтобы в него попасть, вы должны сначала оплатить пребывание в зале повышенной комфортности. И потом ещё отдельно за Интернет.

Пришлось мне быстро свалить из этих суперэлитных комнат. Ещё повезло, что с меня не спросили денег за просмотр фильма с Микелем.

Там же на втором этаже Ростовского вокзала я мимоходом разглядел буфет, а на его двери — устрашающую деревянную скульптуру. На ней изображён мужик с вырезанным животом (!) в котором плавает гусь (!!!). Видимо, мужик его съел.

Вместо фаллоса у мужика приделана какая-то тоже уточка, причём с таким намёком, что из неё можно пить. В руках мужик держит ружьё и «рог», а сидит на бочке. Вокруг этого макабра по деревянному фону разбросаны обрывочные слова и просто буквы. Они складываются в унылую глоссолалию, что-то там про «Тихий дон».

Ну, а комнаты отдыха обнаружились в четырнадцатиэтажной высотке. На восьмом этаже. Были там номера-люксы, номера на троих и на пятерых. Сколько стоит люкс, даже сама консьержка не знала. Зато она долго меня агитировала, чтобы я заселился в номер на троих.

Никогда не делай этого, читатель! Селись в самой дешёвой комнате. И ты не пожалеешь, ибо ничем они, кроме цены, друг от друга не отличаются. Тебя будут пугать шумными соседями, низкой комфортностью, каким-то таинственным даже «будильником», который сломался (ну так — и слава Богу!). Все эти опасности так же найдут тебя и в дорогом номере. Так что будь смел, и экономь свои деньги.

Так я и сделал. И в самом деле — мои пятиместные апартаменты под номером «811» были совершенно пусты. Мне дали ключ, спросили, во сколько надо разбудить (я сказал — давайте в половину

седьмого), и записали в тетрадку серию паспорта и зачем-то номер билета на Минводы.

Я по-пахански выбрал себе самую удобную койку, бросил вещи и пошёл смотреть на ночной Ростов.

Обрывы и карнизы

Ростовский вокзал находится в яме. Поэтому, куда бы ты ни шёл от него, надо подниматься вверх. Яма же называется — долина речки Темерник. И таковая речка, в самом деле, протекает очень рядом с вокзальной площадью. Как и полагается потоку южного города, Темерник нисколько не напоминает реку, а являет собой натуральный арык. Он узок, закован в каменную набережную и геометричен — вдоль вокзала он бежит прямо, как по струнке.

И вот, выйдя из гостиницы, я пошёл вдоль этого арыка. Кстати, в вестибюле я увидел странноватого охранника. Он сидел на низком стульчике за столом и открыто спал на посту. И нисколько этого не стеснялся. Странность, впрочем, заключалась в другом — его голова клонилась вниз, и он регулярно стукался ею об стол. Звук этого стуканья разносился по всему прихожему холлу. Охранник был опытен — от столкновения со столешницей он даже не просыпался, а просто поднимал голову и принимал, как ему казалось, вертикальное положение. Интересно, какие ему снились сны. Наверно, что-нибудь артиллерийское.

Так как был уже поздний вечер, что-то около полуночи по местному времени, то народу было немного. За трамвайным мостом, на другом конце площади заунывно светилось какое-то здание. Я подошёл поближе и увидел, что это был автовокзал.

В дверях автовокзала стоял негр и курил.

Внутри было тихо. Лишь на втором этаже, в зале ожидания, кто-то храпел. Я тоже забрался наверх по закругляющейся лесенке и посмотрел на вокзал снизу, с карниза. Сверху помещение автовокзала напоминало пепельницу. Сзади меня, на сидениях, обнаружилось несколько осоловелых путешественников. Судя по расписанию, они ждали рейса в Луганск.

В качестве лица, специально интересующегося международными перевозками, я тоже посмотрел расписание автобусов на Украину. Автобусы туда ходят каждый день, как правило, утром. Есть отдельные рейсы в Луганск, в Донецк, в Мариуполь. Есть длинные рейсы в Запорожье и даже в Кишинёв. Стоит автобус на Украину немногим дороже местного (если брать по километражу). Так что в Донецк вы доберётесь за десять баксов.

Взяв от вокзала на юг, я поднялся в центр города и немного походил по нему. Ростов казался пустоват. В отличие от Красноярска, ночью Ростов тих. Некоторые центральные улицы вовсе не освещены. Идёшь по ним, словно в девятнадцатом веке. Кругом темень — разве что машина мимо проедет.

На одной из таких чернеющих улочек из ночи выплыл ресторан с невероятно лаконичным и точным названием. Назывался он попросту так — «Водка».

В темноте, непонятно откуда, часы бьют полночь. Звук этот нисколько не колокольный. Скорее, кажется, что это посадили какого-то наглого кота возле мегафона. Вот он и промяукал двенадцать раз.

В Ростове очень много собак. По крайней мере, ночью. Из подворотен, с обочин, подъездов, из фонарных столбов даже! — выскакивают тебе под ноги или рычат в темноте. Похоже, они не тебя пугают, а сами боятся.

— Ну, что ты тут бродишь? Чего ты мешаешься, Человек?

Лай собак в ночном Ростове не грозен. Он обижен.

Уже возвращаясь обратно, я чуть не сорвался в пропасть. Оказывается, спуститься в вокзальную яму можно лишь по считанным конкретным улицам. Если же пытаться срезать путь или брести по дворам, то вполне можно в темноте загреметь вниз с обрыва — с немалой высоты метров в двадцать. Этот обрыв велик и когда-то был огорожен забором. Ныне же забор частью упал, частью развалился. Он ничего больше не может оградить.

Будь внимателен, читатель! ходи по ночному Ростову с оглядкой!

Рафик

Вернувшись в гостиницу (пардон, в комнаты отдыха — будем соблюдать официальность), я обнаружил в своём номере восемьсот одиннадцатом пополнение. В углу комнаты сидел некий кавказоид и разбирался в своих вещах.

Это был первый представитель Кавказа, с которым меня свело путешествие.

— Кавказу, видимо, не терпится свидеться со мной, — подумал я, — раз он высылает мне своего представителя. Ну что же, я тогда тоже двинусь навстречу судьбе.

И пошёл знакомиться с новым соседом.

Соседа звали Рафик. Это был арбузообразный такой мужчина лет пятидесяти. В кепочке. Седоватый.

Рафик был армянин. Уже второй армянин в этой истории.

— Я — тбилисский армянин, — уточнил Рафик.

Впоследствии оказалось, что Рафик немного лукавил. Жил он вообще-то в Самаре. А в Тбилиси только родился и давно уже, лет тридцать, как оттуда переехал.

Выяснилось также, что он приехал на том же поезде, что и я, — как раз в плацкарте, где выбили стекло. У Рафика были какие-то дела в Тбилиси, но сам он боялся туда ехать:

— Там все с автоматами ходят, — сказал он, — если я поеду в Грузию, сразу спросят меня — «А где ты был всё это время? Почему не защищал родину? В Абхазии, в Осетии — почему не воевал?»… Нет, мне в Грузию дороги нет.

Я сказал, что мне как раз и надо в Грузию. А также в Армению, Азербайджан и Турцию.

— Ты с ума сошёл,— сказал Рафик,— ты жизнью рискуешь. Серьёзно тебе говорю.

Чтобы он успокоился, я ему показал суперкнигу и даже свою железнодорожную ксиву. Рафик подумал, что я железнодорожник. Он сказал, что был когда-то знаком с Якуниным (это нынешний руководитель наших железных дорог, если кто не знает) и с Кобзоном. Почему-то Рафик был уверен, что Кобзон имеет прямое отношение к железной дороге.

Я стал было расспрашивать у него про Тбилиси, но он уже ничего не помнил. Даже грузинский алфавит толком вспомнить не мог, а по-армянски умел писать только два слова — «шунорацукюн» («спасибо») и своё имя. Долго он мне рассказывал, что армянский алфавит самый сложный в мире. Мы немедленно стали изучать этот алфавит. Я дал Рафику блокнот, и он раз тридцать в нём написал по-армянски слово «Рафаэль». А потом я стал писать то же самое. А потом снова он. И снова я.

Затем он сказал:

— Предлагаю сходить за водкой.

Я сказал, что не пью водку. Да и народную мудрость — «Не пей, с кем попало» — никто ещё не отменял. Однако и делать совсем трезвый вид было нелепо — я ведь пришёл в гостиницу загруженный пивом «Дон». Так что сели пить пиво. Но не слишком усердно. Всего один раз за добавкой бегали.

Кстати, когда пришла пора идти в магазин, случилась такая история — просто вся в стиле «кавказский этикет»:

— Давай я схожу в ларёк,— говорит Рафик.

— Давай лучше я схожу,— говорю я.

— Да зачем ты? Давай я схожу,— говорит он.— Там же внизу охранник.

И так уверенно он это сказал, что я нисколько не усомнился в силе этого аргумента. И в том, что Рафику никакие охранники не страшны. В любые подвалы Ватикана, кремлёвские дворцы и застенки Пентагона он пройдёт мимо них, шутя.

Но у меня тоже родился вдруг аргумент:

— Лучше давай я пойду в магазин. Всё-таки я помладше.

И этот рациональный довод Рафика неожиданно прямо поразил. В самом деле, возразить тут было нечего.

Так что я надел кепочку свою РЖД и пошёл вниз. Рафик всё же мне всучил удостоверение. Видимо, как амулет от охранника.

В лифте я посмотрел в это удостоверение. Оно включало фотографию Рафика с выпученными глазами, и написано было, что Рафик — майор милиции. Стояли всякие там печати. Вот только последняя из них была — за 2002 год.

Охранник же продолжал свой ударный концерт. Как раз когда я выходил из лифта, он вовсе не кинулся смотреть рафиковское удостоверение, а лишь в очередной раз грохнулся башкой об стол. И опять-таки не проснулся. Так удостоверение и не пригодилось.

Ачма

В павильоне я купил пиво и спросил у продавщицы:

— А есть ли у вас в Ростове какая-нибудь местная еда?

Продавщица сказала, что в Ростове местной еды не существует.

— А вы сами откуда?— спросила она.

Я ответил, что из Красноярска-на-Енисее, а мой приятель из… в общем, из Армении.

— Если из Армении, то можете купить вот это.

И, словно дорожный регулировщик, протянула правую руку и в самый дальний угол витрины — показала.

Я посмотрел в указанном направлении. Там, в полиэтиленовом пакетике, лежала какая-то бесформенная масса. На бумажке под ней было написано — «Ачма».

— И что это такое — «ачма»?

— Это еда,— ответила продавщица и посмотрела на меня, как на дебила. Подумав, она на всякий случай уточнила: армянская еда.

В общем, взял я эту «ачму» и пошёл наверх. Рафик сказал, что впервые в жизни слышит это название. А вообще ачма эта оказалась чем-то вроде смятой в лепёшку лапшичной запеканки с сыром. Или, другими словами, вариацией на тему хачапури. Вполне себе съедобная такая еда.

Ростовская ночь

Часам к двум ночи по местному времени Рафик был готов ехать со мной в Грузию.

С большим трудом мы договорились, что я всё же поеду один, а он просто будет мне всячески помогать.

— Да! Да!!! Вот это верное решение,— Рафик был просто на всё согласен,— говори, чем я должен помогать? У меня в Ростове знакомых — полгорода. Что хочешь, достанут. Тебе что надо?

Я стал вспоминать, чего мне не хватало:

— Пока что ничего не надо. Хотя… разве только карту города?

Зря я это сказал. Немедленно Рафик стал звонить по какому-то телефону. Я сначала было подумал, что это он какие-то свои важнейшие вспомнил дела. Однако он, в самом деле, трезвонил — посреди ночи, своим знакомым, чтобы они срочно вставали и шли искать во вселенской пустоте карту Ростова.

Мне пришлось у него чуть не силой трубку вырывать, чтобы он на уши не поставил этот тихий город. Я даже предложил ему этаким паиньским тоном:

— Давай уже ложиться спать.

Типа, скоро утро. Завтра трудный день.

Рафик с неохотой согласился и нырнул с головой в свою сумку в поисках полотенца.

Я забрался под одеяло и положил себе мысленно пять часов на крепкий здоровый сон.

Но тут Рафику на мобильный позвонили эти сволочные друзья:

— Алло? Кто? Да, я звонил. Да, в Ростове.

…и, перекрыв трубку ладонью, зашептал на всю комнату:

— Зовут к себе в гости. Поедем к ним?

Я замотал головой.

— Или, может, они к нам?

Я ещё сильнее замотал головой.
— Да, ты прав, охранник не пропустит.
Рафик задумался. На том конце трубки тоже было замолчали, но вскоре придумали, что надо делать. Видимо, там подобрались знающие люди.
В результате кратких переговоров решено было, что Рафик выйдет на улицу, а там его подберут. И куда-то там они все вместе поедут.
Сказано — сделано. Быстренько он оделся и свалил.
Я подумал:
— Ну и тоже хорошо.
И заснул.

Однако ночь, как выяснилось, только начиналась.
Через пару часов Рафик ввалился в номер. С ним были ещё двое — какая-то баба и визгливый мужик. Бабу звали Зоя. Мужика звали как-то по дурацки — то ли Димас, то ли Михас… Всё это были, конечно же, местные ростовские армяне. Правда, между собой они говорили почему-то только по-русски.
Поначалу троица копошилась в темноте, а я делал вид, что сплю. Потом, однако, они выпили водки и стали говорить громче. Было уже бессмысленно притворяться. Я открыл глаза и легонько на них вякнул, чтобы они были потише.
— Это мой друг из Сибири. Его зовут Артём, — сказал Рафик торжественно. Судя по его тону, я должен был немедленно вскочить с кровати, проделать пару сальто и поклониться.
— Ну, пусть садится тоже с нами, — сказала баба. И визгливый мужик что-то одобрительное вякнул.
Я сказал, что не буду садиться, а буду спать, и пусть они идут квасить на балкон. Идея с балконом армянам понравилась. Они немедленно перекочевали туда. Однако после каждого тоста они открывали дверь и спрашивали, буду ли я пить дальше с ними водку. Я говорил, что не буду. Они закрывали дверь и произносили следующий тост, с каждым разом всё громче — видимо, чтобы и мне за дверью спалось не так одиноко.
Тосты эти были примечательны. Сначала они выпили за тех друзей, которых с ними нет. Затем выпили почему-то за рафинад (?). Или за «Рафинад» (возможно, это какой-то человек или географическое название). Потом визгливый армянин вспомнил какие-то овощи:
— А помните, какие были овощи?
Тут у него случился прокол:
— Какие овощи? — спросила баба оторопело.
— Молчи, — сказал ей визгливый мужик. — Ты помнишь овощи, Рафик?
— Помню, — сказал Рафик. — конечно, помню.
В общем, выпили за овощи. После этого у них кончилась водка. С грохотом они протопали на выход и исчезли. При этом оставили открытой балконную дверь, и оттуда внезапно стало очень мерзко и пронзительно дуть.
Я даже собирался уже встать и её закрыть, когда эта шатия-братия вернулась:
— Мы принесли тебе молоко.
Я открыл, наконец, глаза, и узрел, что, действительно, они притащили с собой, кроме водки, батон и пакет молока.

Кое-как стараясь на них не орать, я попытался объяснить армянам, что завтра с утра мне надо ехать на важную встречу (а встреча была, действительно, важная — Азовское море!), и что поэтому мне надо поспать до утра, и лучше это сделать прямо сейчас, ибо до рассвета осталось около часа.
Армяне искренне не могли понять, почему я не выхожу с ними пить молоко и есть батон. Удивлённо блея, они вновь удалились было на балкон.
— Слушайте! — вспомнил вдруг Рафик, — а ведь ему карта Ростова нужна.
Немедленно они вернулись и стали думать, где добыть карту.
— У меня в павильоне карта висит, — сказал Зоя, — только она большая. И приклеенная. Если только по кусочкам её отдирать?
Визгливый вовсе тупил. Он, вообще, судя по всему, впервые слышал такое слово — «карта». Ему даже, кажется, завидно стало — что вот лежит тут какой-то и требует *карту*, в то время, как он, Михас-Димас, всю жизнь без неё прожил и в ус не дул.
— А зачем ему эта *карта?* — с каким-то даже подозрением спрашивал он.
Пришлось опять открывать рот и успокаивать их — что карта мне прямо сейчас не нужна, что она мне, возможно, совсем не нужна. Что идите, наконец, на балкон.
Они, слава богу, утопали на балкон и забулькали там. Но в номере остался гореть свет. Они ведь включали свет — в самом деле, иначе как бы я соблазнился молоком и батоном? Без света-то? Да и думать про *карту* в темноте тоже было никак невозможно, как вы понимаете.
Проклиная так называемое кавказское гостеприимство, я попытался спать при свете (в комнате от утреннего ветра было холодно, и совсем не хотелось вылезать из-под одеяла). И никак у меня это не получалось.
А тут ещё на балконе поднялся какой-то идиотский спор. Суть его была такова — визгливый Михас-Димас предлагал Рафику куда-то забраться, а тот отказывался.
По форме же спор напоминал наши недавние прения о том, кто пойдёт в ларёк.
Я так и видел, как Рафик водит своим толстым армянским пальцем перед носом Михаса-Димаса. А Михас-Димас же по-детски брал Рафика на понт:
— Зоя, смотри, как ему слабо.
Зое же было как-то совсем неинтересно, слабо там или не слабо. Она посидела, посидела с ними на балконном ветру и ушла в комнату. И очень вовремя. Я ей тут же сказал выключить свет. Она совершила этот добродетельный поступок и развалилась на соседней кровати. Так мы валялись с ней минут пять, пока те на балконе продолжали препираться.
— Эй, — позвала она, наконец, — Эй!
— Ну? — откликнулся визгливый баклан.
— Ты будешь уже меня?.. — спросила Зоя. Иными словами, она поинтересовалась, будет ли Михас-Димас иметь с ней в ближайшее время половые сношения.
Михас-Димас отказался. У него были поважнее дела.

— Не буду. Отвали, Зоя, дура,— сказал он.
— Я тогда ложусь спать,— сказала Зоя. И немедленно захрапела. Даже минуты не прошло.
— Мне бы такие таланты,— подумал я.

А в это время на балконе была доказана Теорема Уговоров. Запомни и ты её, читатель. В обобщённом виде она звучит так:

«Любая глупость, если её повторить сотню раз, становится очевидной и неоспоримой истиной»

Так и Рафик к утру понял, наконец, что он не кто иной, как трусливый старый армянский пень. Визгливый это ему доказал на пальцах.

Наш седоватый герой понял, что наступает решительный момент в его жизни. Он увидел, что должен немедленно вернуть себе утраченное реноме.
— Хорошо,— решился он,— пошли.

И они, наконец, покинули комнату номер 811.

Я остался с незнакомой храпящей тёткой.

Было четыре утра. Первая электричка в Таганрог, на море, шла в восемь. Можно было ещё два-три часа урвать на дремоту.

Так я и попытался сделать. Однако, как догадывается читатель, Ростовская ночь не кончается так просто.

Где-то через полчаса в комнату ввалилась консьержка.
— Вы что здесь делаете?— заорала она мне в ухо.
— Я пытаюсь спать!— заорал я на неё.
— Ох, извините,— сказала она,— я вас не узнала в темноте. А где женщина, которая проходила в эту комнату?
— У меня в постели её нет,— сказал я. Не показывать же было пальцем на соседнюю кровать, в метре от меня, где лежала эта самая женщина и нехило так сопела.

Консьержка тоже поняла, что, если я проснулся, а храп продолжается, то в комнате есть кто-то ещё. После недолгих поисков она обнаружила Зою, и процедура повторилась:
— Вы что здесь делаете?

И ещё раз, в усиленном варианте:
— Вы что здесь делаете?!
— А ты ещё кто такая?— пробормотала Зоя.
— Я— администратор— ответила та, как будто объявила шах и мат.
— Ну, и пошла на…— сказала Зоя.

Консьержка, впрочем, тоже была не промах. У неё был наготове ответный ход.

Она схватила армянскую Зою за волосы и потащила её по полу к двери. Та немедленно проснулась, но драться не стала и, лениво матерясь, поволоклась на выход.

Ворчание этой парочки затихло в конце коридора. Я посмотрел на часы и понял, что через полчаса меня придут будить. Дрёма отменялась.

Пришлось вставать.

В Ростове уже рассвело. Ночной противный сквозняк оказался поутру свежим майским ветерком. Под него я обнаружил вдруг, что смертельно хочу есть. Тут как раз и пригодился армянский завтрак— я справился с целым пакетом молока и батон тоже слопал.

Этот завтрак не страдал разнообразием, зато брал обширностью и какой-то… солидностью, что ли. И до самого вечера потом мне даже и не хотелось есть. Я подумал даже— вот самая экономичная еда в мире. Ведь и великое скупердяйское изобретение— лапша «Роллтон»— никогда не сравнится с молоком и батоном. Рецепт этот известен всему миру, всем народам и временам. С веками он не стареет. В Самарканде, Каракоруме, Нью-Йорке и утреннем Ростове— этот завтрак будет к месту.

Балкон в вокзальном ростовском небоскрёбе был сквозной. По нему можно было пройти в любую комнату. Интереса ради, я прогулялся по периметру здания, осматривая город с высоты тридцати метров.

Прямо подо мной лежал ростовский вокзал. Сверху его гигантская ровная крыша смотрелась необычайно обширной и пустой. Казалось странным, что никто ещё не придумал устроить на ней летнее кафе «с танцами и дефками».

Впереди протекал по-солдатски прямой арык Темерник. За ним потихоньку пошевеливался автовокзал. Далее можно было видеть гору, с которой я чуть не сорвался давеча ночью.

На вершине горы стояли жилые многоэтажки. От того, что их поместили на край обрыва, они казались вдвое выше. Нельзя было не признать такое архитектурное решение удачным.

Я подумал— откуда взялась вдруг такая гора в Ростове? Прямо посреди донских степей? Казалось, её специально поставили сюда, чтобы город приобрёл чуть больше приморского антуража— этакой сопочной атмосферы, характерной и для Владивостока, и для Мурманска.

С другой стороны балкона открывался вид на какую-то древесную застройку. Словно бы там начинался уже пригород. Над всей этой одноэтажной кутерьмой воткнута была некая церковка. Это местный кафедральный собор. Он ничем не отличается от миллиона других православных церквей.

Пока я гулял по балкону, консьержка пробралась в наш номер и стала осматривать его на предмет подозрительных артефактов.

Так как я не шастал с армянами ночью по коридорам, то она посчитала меня за своего сообщника.
— Не только женщин с собой водит,— сказала она,— но и вещи тут оставил.

Это был камень в Рафиков огород. Он, действительно, свою сумку бросил прямо на полу открытой. Сиротливо из неё высовывалось полотенце.
— Расчёску на кровать кинул …— консьержка с каждой секундой обнаруживала всё новые проступки,— полотенце разбросал… В ванной носки оставил.
— Это мои носки,— стыдливо признался я. Я как раз перед сном их постирал. Чтобы на Кавказ во всеоружии ехать.

Тётка, впрочем, оставила поправку без внимания. Теперь она пошла на балкон, где оставались

живописные следы ночной попойки. Видимо, открывшаяся картина была, по мнению тётки, непередаваема словами. Она лишь горестно цокала языком.

Я побрёл стеснительно за носками. При этом выражением лица—даже нет! всей фигурой—я выражал как бы сопереживание тётке. Я постарался отразить возмущение, негодование, соболезнование и сожаление. «До какой же степени дошло моральное падение некоторых постояльцев»—словно бы говорил я своей спиной. И вот только я забрал свои несчастные носки (они, сволочи, не успели толком высохнуть), как с балкона раздалось… даже не восклицание, а какое-то даже тоскливое стенание.

Видимо, ожидалось, что я должен был сопереживательно подбежать и поинтересоваться, какую новую *улику* она обнаружила там. Однако я в это время укладывал рюкзак.

Тётка безуспешно подождала меня, а потом, наконец, вернулась в комнату:

— Представляете! Они там мешали водку с молоком!—сказала она.

Не оставалось никакого иного выхода, кроме как быстрее бежать из номера 811. Так я и сделал.

Перед тем, как покинуть этот гостеприимный дом навсегда, я немного покатался на лифте.

Двадцать миллионов человек в России живут в высотных домах. Они каждый день ездят в лифте. Остальные—их в шесть раз больше—живут без лифта. Я как раз из этой пролетарской толпы. Для меня поездка в лифте есть—праздник.

Надо сказать, в ростовской вокзальной гостинице недурной лифт. Он весь стальной, с зеркалом внутри, без идиотской кнопки, которую надо нажимать, в знак того, что ты решился, наконец, на поездку. Только ходил он в тот день почему-то лишь до одиннадцатого этажа. Ну, мне и это было неплохо.

Более того, выйдя на одиннадцатом этаже, я обнаружил там… редакцию той самой газеты, которой заведовал наш друг-театрал Карен. Оказывается, я провёл ночь буквально у него на работе.

К сожалению, был выходной. Так что Карен не трудился в поте лица, а спокойно посапывал у себя дома. Я в это время стоял с рюкзаком у него под дверью, и читал табличку:

«Главный редактор Карен А***»

Сначала я разозлился на Карена, что он и тут умудрился ускользнуть из моих лап. Но, подумав, я успокоился и решил отпустить ему его грехи.

Даже ничего оскорбительного на табличке не подписал.

Дуболобый охранник, в отличие от меня, прекрасно выспался ночью. Сейчас он стоял в дверях и солидно посматривал по сторонам. Я прошёл мимо и помахал ему на прощание ручкой.

И он мне помахал.

Потом я направился на пригородный вокзал. А охранник остался дышать утренним вокзальным воздухом.

Ростовская ночь закончилась.

Мастерство зайца: стратегия и тактика

На пригородном вокзале Ростова везде понатыканы турникеты. Этим Ростов напоминает Омск.

Но в Омске турникеты не работают. В Омске стоит рядом с ними дядько и басом направляет всех: «Турникет не работает». Дескать, проходите просто так.

В Ростове же турникеты—рабочие. Однако рядом с ними всё равно стоит—*тётька*. Многие предпочитают ходить через *тётьку*.

Сунулся было и я со своим удостоверением. Но нет, халява не прошла. Видимо, недостаточно уверенную сделал я рожу. Пришлось покупать билет. Впрочем, купил я его всё равно «по-правильному».

Электричка есть способ экономного путешествия. Автостоп, конечно, дешевле. Но автостопом ездят обычно не из желания сэкономить. Ибо неопределённость автостопа измучает любого расчётливого скупца.

Электрички же подчинены расписанию. Они размеренны и порою скучны. Потому, чтобы усилить свои впечатления—разнообразь свою поездку, читатель!

Езди зайцем.

В тактике зайцевания есть две основных методики. Контактная и бесконтактная.

Отличаются они способом взаимодействия с контролёрами.

Бесконтактный вариант—это классика. Он предполагает избегать контролёров и, таким образом, хранить их душевный покой. Основная политика здесь—не встречаться с контролёрами ни при каких обстоятельствах. *Избегальщика* в электричке можно узнать легко. Он крутится в тамбуре, нервно посматривая в двери. Каждый звук заставляет его вздрагивать—не за ним ли это? Увидев своих преследователей, избегальщик потихоньку удаляется от них. Словно Кутузов, он сдаёт им вагон за вагоном. И лишь на остановке спокойным шагом выходит на перрон, обходит проверяльщиков, и садится в вагон, который они уже прошли.

Недостаток этого метода в том, что на длинных перегонах контролёры ходят по составу минимум раза три. Тебе придётся постоянно быть настороже. Кроме того, если вдруг перегон между станциями попадётся длинный, вагонов может и не хватить. Поэтому описанный вариант используется профессионалами редко.

Гораздо чаще профессионалы используют контактные методы. Их три—наглёж, тупарство и лукавство.

Наглёж—самый простой, но и самый некультурный способ. Ты просто говоришь—«я не буду платить». Нет у меня денег. И ничего с тобой не сделают. Разве что, если с контролёрами будет охрана, тебя могут высадить на станции и составить какой-то там протокол. Но опять же, если ты *согласишься* выйти на станции. На платформах высаживать не имеют права. Брать тебя за шкирку и выкидывать из вагона тоже не имеют права.

Однако и ты — помни, что контролёрша обычно есть тихая женщина с тяжёлой сумкой. Так что лучше не порти ей настроение, береги её нервные клетки. Не будь наглецом, читатель.

Тупарство — способ безотказный, но требующий солидной актёрской подготовки. В Сибири «тупари» обычно притворяются глухонемыми. Контролёры поначалу пытаются втолковать им, мол, «где ваш билет». Но потом просто проходят мимо. Они ведь тоже не дураки и не собираются портить себе настроение и тратить свои нервные клетки.

Тупари любят также притворяться сумасшедшими или (более слабый вариант) спящими. Есть, наконец, самый недостоверный и дилетантский способ — притвориться иностранцем. Это уже вовсе смех. Где вы видели иностранца в русской электричке?

Наконец, вершина заячьего искусства — лукавство. Оно предполагает некую игру, в которой с удовольствием участвуют и зайцы, и контролёры, и даже другие пассажиры.

Арсенал заячьего лукавства неимоверен. Это и приём с крупной денежкой (рискованный приём, для любителей острых ощущений — ибо контролёр приложит все усилия, чтобы разменять такую денежку и содрать с тебя ещё и штраф).

Это и приём с рваной денежкой («а других нету, извините») — тоже довольно наивный способ.

Это математические игры с покупкой более дешёвого билета.

Пространственные игры с перепрыгиваниями между сидениями и рядами — как игра в пятнашки.

Игры со временем — покупка билета «туда и обратно», по которому ты можешь ездить несколько раз и всегда — как бы впервые.

Игры с законом — разнообразнейшие поддельные удостоверения. Просроченные билеты. Просроченные ксивы. Справки о том, что вас ограбили, и линейный овд станции Запупское-Дебилово удостоверяет это и просит не высаживать вас из электрички. Ксивы, которые, наконец, просто пусты — а вдруг их не раскроют?

Профессионалы ценят лукавство. Некоторые из них отрабатывают его до такого совершенства, что даже и не применяют никаких методов. Они лишь намекают на них. Таких виртуозов можно узнать в электричке по магическому слову «проездной».

В Пятигорске я видел человека, который выдал такой вот спектакль: он спокойно и вкусно читал книжку, а когда контролёры прошли по нашему вагону и остановились у наших сидений, то продолжал это делать и ни малейшего внимания на них не обращал. Попытались его стеснительно вернуть к реальности. Тогда он раздражённо сказал: «Есть билет, есть» И недовольно вернулся к своей книге. И бедная контролёрша ничего не смогла сделать. Она проиграла этот раунд. Она пошла дальше.

Вот и я приобрёл билет по принципам математического заячьего лукавства. Не до Таганрога, а на несколько станций раньше. Я сэкономил немного — от силы рублей двадцать. Но моё путешествие зато превратилось не просто в поездку, а стало теперь ещё и — игра.

Таганрог

Совершенно непонятно, как ростовчане могут произносить название этого города. Ибо выговорить «Таћанроћ» русской гортани совершенно невозможно.

Тем не менее, Таћанроћ существует именно под таким именем и находится в полутора часах электрической езды от Ростова.

Это город-деревня, тихенький, с обязательным приморским налётом. Но не преобладающим — море здесь просто в качестве «а вот, ещё у нас есть и море».

Улиц в Таганроге не существует — это город переулков. Все дома одноэтажные, словно ничего не изменилось здесь за два века, с Александра Первого. Среди достопримечательностей карта указывает под первым номером «Дом Чехова», однако нет никакого смысла идти его смотреть — он мог тут жить в любом доме.

Но когда я пошёл гулять по городу, именно этот дом Чехова совсем скоро нашёлся. Он огорожен от улицы заборчиком и был в честь выходного закрыт для посещений. Впрочем, я и так бы туда не пошёл. Ибо глупо узнавать о Чехове, за каким столом он ел, из какого чайника пил и где спал.

Из-за забора Чеховский дом кажется ненастоящим. Хочется сквозь прутья изгороди протянуть к нему руку и увидеть, как она скроется в потайном экране, создающем оптическую иллюзию. Сам этот дом кажется зелёной стереоиллюзией. В таком иллюзионном впечатлении он гораздо лучше. Ведь зайди в него — и это просто очередная изба с ватерклозетом. А тут — иллюзия.

Иногда Таганрог превращается вовсе в деревню. Огородики, подсолнухи, надписи «осторожно злая собака» (я заглянул через забор на одну такую собаку — сидел там во дворе презрительный ленивый мопс)

Лишь иногда встретится вдруг среди этой деревни… трамвай. Или девятиэтажка. Они нелепы здесь и фантасмагоричны, словно их поместили тут по ошибке, и они сами чувствуют свою виноватость.

По заросшему травой захолустью вырулит вдруг маршрутная газель — значит, это важная улица. Значит, ты идёшь не по мелкому закутку, а по местной магистрали.

Даже внутри бетонных многоэтажных кварталов иногда прямо во дворе разбит огородик. На газоне или под деревцем — как будто вдруг прихватило — «срочно надо разбить огород, мочи нет!» — и не успели добежать, куда получше. Растёт в этих огородиках совершенная чушь — от силы картошка, а чаще совсем какая-то неразборчивая ерунда.

Надпись на воротах одного дома:

«Я тебя любил»

Спуск к морю в Таганроге найти очень трудно. Сам берег у мыса Таган-рог застроен и загажен чрезвычайно.

Дорогу приходится находить в лабиринте узчайших улочек. Часто едва можно в них протиснуться. Иные такие улочки заканчиваются у какой-нибудь калиточки, то есть это — персональные улицы, от дома к морю.

Бегать по такому лабиринту было бы даже увлекательно, если бы не его загаженность — таганрожцы имеют привычку выбрасывать мусор прямо под ноги. Как будто бы они шли на помойку с мусорным ведром и вдруг вспомнили что-то важное. И — бух — прямо на улицу всё барахло и вывалили.

Главный же недостаток — орды каких-то неведомых насекомых, зелёных маленьких мушек. Они толкутся в воздухе иногда целой стеной. Раз я на такую стену набежал, и крылатые твари немедленно закружились вокруг меня. Не привлечённые мной, а просто потому, что я на их бессмысленном пути попался. Продравшись раз сквозь эту стену (несколько насекомых были таки убиты — они врезались в мою кепку и оставили на ней подлые зелёненькие точки), в дальнейшем я ещё не раз встречал подобные летучие ульи, но уже обходил их стороной. Стены некоторых домов мушки покрывают сплошняком.

Я хотел поначалу подремать на берегу (ибо после ростовской ночи, как выяснилось, требуется отдых), но из-за мусора и зелёной крылатой дряни совершенно передумал. Так что я просто пошёл по берегу.

Дальше на пути встретились набережная и хилый пляжик. Они, чтобы труднее в них было попасть (и, соответственно, больше ценилась их целебность и полезность), отгорожены от людей во всю длину забором.

Набережная вскоре превращается в парк. Там есть скульптура — из виолончели рождается обнажённая и курносая муза. Подобные скульптуры стали уже обязательной банальностью наших городов. В Красноярске их тоже полно. Нельзя, однако, не признать, что они хорошо оживляют пейзаж.

Как и везде, у скульптуры таганрогской музы принято фотографироваться. Местные озорники даже покрасили ей ногти.

В приморском парке поют постоянно какие-то птички. Зато азовские чайки, в отличие от своих собратьев в северных морях, почти безмолвны.

На деревьях висят сертификаты (!) о том, что эти деревья прошли химобработку от клещей. Причём после такой обработки они не только не становятся безопасны, но, наоборот, приобретают какую-то токсичность. Подходить к таким деревьям запрещено.

Море Азов

Молчащие чайки и белесое спокойствие Азова делают его самым, наверное, загадочным морем мира. Чтобы понять его, я долго сидел на берегу. Даже чайки привыкли ко мне и стали подлетать ближе.

Я заметил, как волны приходят и утекают обратно по бетонной плите у моих ног.

В струйках воды можно было заметить какие-то значки — фигурки, палочки, латинские буквы, какие-то цифры… Но нельзя было их прочитать. Так и шелест азовского прибоя — это не речь, это звук от перекатывания кубиков, призм, пирамидок — о берег.

Это маленькое море не разговаривает. Погруженное в математическое совершенство, оно выше любой речи.

И чайки летают вокруг меня не просто так, а как бы отсекая меня от берега своими траекториями. А потом уносят меня в море, в своих глазах — как я сижу на берегу, среди камушков и ракушек (здесь мириады полых ракушек — тоже, естественно, идеальных в своей форме — закрученных чёрных дыр).

Чайки уносят воспоминание обо мне в море. Так оно разложится на элементарные фигуры и точки, на буковки, символы и цифры. И так же, случайной выборкой, это воспоминание выбросится затем морем на берег. И снова от него откатится.

Азов собирает нас, и отражает нас. Разложив на элементы так, что и сами мы не можем себя узнать.

Лишь один символ поддаётся прочтению на берегу Азова.

Железная скоба утоплена в бетон, изогнутая и ржавая. На бетонном фоне она как одинокий иероглиф. На сером мокром полотне чёрно-рыжий знак.

Вопросительный знак.

Таћан-роһ (продолжение)

От приморского парка ведёт вверх лестница в 188 ступенек. По бокам от неё есть чудесные площадки, на которых приятно сидеть и смотреть вперёд. Некоторые же сидят прямо на гранитных лестничных перилах. Так сделал и я, а пониже сидела темноволосая аборигенка и делала вид, что читает книжку. Чаще же она оглядывалась назад, на меня, и всё поправляла свою косу. Как будто было у этой косы какое-то идеальное положение на спине, и всё она пыталась его достать.

Если бы я был туземным жителем, то приходил бы «с газеткой и с дефками» сидеть прямо на лестнице. Возможно, летом они тут так и делают.

Пока мы с аборигенкой интимно друг на друга поглядывали, по лестнице поднялись трое с велосипедами. Подъём сей занял у них шесть минут. Параллельно они, как и я, считали ступеньки. Но насчитали их 190.

От вершины лестницы начинается какая-то старая крепость с ордами фотографов вокруг. Также неподалёку стоят на специальной площадке солнечные часы давних времён. 11 мая 2009 года н. э. эти часы изволили отставать от московского времени на сорок минут.

В Таганроге по улице Фрунзе есть дом с адресом № 20,6666666666666666. Или, как его проще записывают, 62/3.

А вот таганрогская реклама на аптечной витрине. Самыми большими буквами, чтобы видно было издалека, призывно и чарующе написано:

ПИЯВКИ
(!!!)
чуть ниже
ЧАЙ ПЛЕСКАЧЁВА
(тоже, видимо, вещь,
не нуждающаяся в пояснениях)

и, наконец

«Свечи из грязи»
Причём не простые, а «из сырья» (!)
«Озера Тамбукан»

Местный музей окрашен в такой цвет, что кажется сделанным полностью из крем-брюле. Все эти классицистские виньетки сделаны так нарочито, что хочется дождаться — когда уже придут, наконец, разрезать этот дом-торт. Либо же хочется взять булыжник, и — в это крем-брюле! с чмоканьем! — чтоб погрузился туда по макушку.

Есть тут магазинчик с названием «Дежа вю».

Вот точнейшее ощущение от Таганрога. Походив по городу пять минут, уже его виды кажутся тебе где-то виденными. Даже многих горожан к концу дня начинаешь узнавать в лицо. Иных встречаешь и по нескольку раз.

И это не впечатление. Это так и есть.

То ли это все горожане шатаются праздно по улицам, как и я. Или же просто мало прохожих, и я могу их всех запомнить.

А ведь город немал — двести с лишним тысяч.

Текстильный магазин называется «Аннабель постель».

Подумав, я нашёл это название прекрасным. Оно кажется одновременно апофеозом глупости, но в то же время изумляет изящной до простоты идеей.

А магазин «Приклад» — как вы думаете, чем торгует? Прикладными швейными материалами, конечно же.

На одной из площадей стоит памятник мужику со штангенциркулем.

Есть ещё скульптура «Пирамида». Все думают, что это что-то египетское, и несутся туда. На самом же деле это какие-то цирковые животные, которые встали друг на друга — вот вам, дескать, и пирамида. В основании её стоит свинья. Ей, конечно же, затёрли до блеска пятачок.

Для разнообразия впечатлений решено было из Таганрога в Ростов ехать не электричкой, а газелью.

Вот вам сравнительный анализ этих достойных видов транспорта:

Газель стоит дороже на 19 рублей (всего 83), зато ходит каждые десять-пятнадцать минут.

В электричке можно лежать. Зато газель едет быстрее.

Однако электричка не застрянет в пробке. И в газели водитель слушает радио со всем вытекающим отсюда репертуаром.

Одним словом, оба кандидата пригожи и достойны. Оба ждут лишь твоего выбора, читатель!

Ростоу (продолжение)

У заправки на трассе Таганрог-Ростов встречается оригинальная завлекалка — плоский макет машины ГАИ в натуральную величину. Неофиты аккуратно притормаживают перед ним.

Стоит отметить также главное отличие ростовского транспорта от нашего — здесь почти нет японских машин. Зато необычайно много отечественных. На сотню иномарок встречается почти столько же русских автомобилей. У нас такое соотношение в лучшем случае один к четырём.

Вернувшись в Ростов, я понёсся гулять по городу.

Почти сразу же была увидена лучшая в мире аллегория на тему «Дали воду»: в пятиэтажке 32 балкона. На 26 из них — сушится бельё.

Встречена также была фирма с километровым названием «Союзлифтстроймонтажюг». Стало интересно посмотреть вживую на сборище этих самых монтажюг — какие эти? Наверное, это друзья ворюг, бандюг и садюг.

Кварталы в Ростове делятся на два класса — клеточки и колечки.

Первых больше. Сам Ростов на карте смахивает весьма на кроссворд. Видимо, после войны его обстраивали с нуля. Или же он сразу такой был — клетчатый.

Колечки же — это застройка на горах. Опять я подивился — откуда в донской степи взялись эти горы?

У Ростова есть свой флаг. Самое забавное, что это одновременно и флаг Румынии. Лишь у самого древка к нему прибавили узкую и незаметную белую полосу. Видимо, чтобы румыны не докапывались. От ветра обычно эта белая полоса совершенно становится незаметна.

Так над мэрией, над судами, конторами и прочей административной чепухой в Ростове — развевается вольный румынский флаг.

Около моста через Дон есть подземный пешеходный переход, который запирается (!). Для устрашения пешеходов часть его постоянно находится на запоре.

В городе много интересной архитектуры. Ещё больше — громоздкой архитектуры. Однако всё это не может дать городу тот столичный дух, что есть у Владивостока, Москвы, Екатеринбурга.

В целом Ростов — есть поселение из разряда «тоже город». В нём тоже проектируется метро, тоже есть большой вокзал. Даже Дон — это типичная «тоже река».

Ростов не плох. Он сдержан. Если бы под ним на юге не было Кавказа, он бы стал нашей южной

столицей. Тогда бы он развернулся. Да. Если бы Россия кончалась на Дону, как это было некогда, то ростовчане считались бы самым буйным, бесшабашным и ненадёжным народом. Они бы тогда — выполняли роль кавказцев.

Кавказ, как ни странно, мешает Ростову; но тем же, отчасти, и спасает его.

Дон

Вблизи города Дон гораздо уже Енисея. Несмотря на то, что здесь он наиболее широк (до устья всего несколько километров), Дон меньше любого енисейского рукава.

Тем не менее, Дон очень оживлён. Здесь полно всегда теплоходов, катаются яхточки. Моря не видно. Зато вдалеке, за рекой, виднеется уже Батайск (это главный местный пригород)

Ростов кончается (или начинается, если вам угодно) прямо на берегу Дона. На въезде в город с реки стоит дом с зелёной надписью «Ростов-на-Дону». В Красноярске тоже есть этакой дом с надписью «Красноярск» и тоже на берегу реки. Но он несимволичен — стоит в центре города, никого не приветствует и ни о чём не информирует. Эта надпись — лишь для открытки.

Здесь же надпись, действительно, предваряет город. Когда-то она была совершенно великолепна, сейчас же несколько потерялась — по сторонам понастроили небоскрёбов.

Ростов с реки напоминает теперь какой-то китайский новодел. Какой-нибудь Цзиньчжоу.

Это, впрочем, и неплохо.

Мост через Дон оказался для меня неожиданным препятствием.

Он узок и высок необычайно. И эти две характеристики дополняют друг друга и развивают. Собственная его высота — едва ли выше обычной многоэтажки. Наш Татышевский мост будет никак не ниже. Однако Донской мост у́же Татышевского раза в два. Он, кажется, и не имеет вообще никакого отношения к Дону. Начинается он задолго до берега и кончается тоже далеко за ним — не видно даже, где. Кажется, что его просто *повесили* в воздухе, неизвестно зачем. А Дон, и набережная, и все приречные постройки лишь случайно оказались рядом.

Притом Донской мост очень аскетичен и прост в исполнении. Это одно из примечательных созданий мировой архитектуры.

В народе ходят слухи, что на мосту есть трещина. Все прохожие на набережной, проходя под мостом, ищут эту трещину и находят её (в разных совершенно местах).

Мне же очень интересно — каким этот мост снится ростовчанам? Это один из немногих объектов, которые выглядят типичными образцами сонной архитектуры.

Со своей боязнью высоты я так и не решился пересечь этот мост.

С набережной нет никакого спуска к реке. Если вдруг упадёшь в Дон, то непонятно, как выбираться — набережная бесконечна и нигде не прерывается.

На набережной рассыпаны в изобилии памятники. Самый большой из них, почему-то — Горькому. От ожидаемого Шолохова здесь только дед Щукарь в натуральную величину.

Ростоу (окончание)

От реки в город поднимаются несколько узких улочек. Это — лучшая часть Ростова. Старый центр города — улочки между Садовой и Набережной. Эти узкие проезды — Серафимовича, Социалистическая, Народная, Шаумяна — уютны и великолепны.

Особенно хороша улица Семашко — это настоящий кавказский городок. Нагромождённые домики, домишки, домишечки. Мостовая, которая крошится прямо под ногами. Окна в самых неожиданных уголках, иногда даже под ногами. Царство пушистых кошек и искушённых алкоголиков.

— Меньше, чем на семь рублей, не налью! — слышится из подъезда.

А вот лучшая витрина Ростова: на перекрёстке Семашко и Шаумяна есть магазин игрушек. В пустом зале, среди огромных медведей, тигров и кукол, виден единственный живой персонаж. Это мальчик лет восьми. Пока его родители завязли где-то, наверное, в разделе одежды, в невидимой части зала — он пробрался на подоконник и сел там.

И вот на витрине этот мальчик — живая и молчаливая реклама. В застеклённой тишине. В полном одиночестве. Раскладывает и собирает на пластике детали конструктора.

Центральный парк носит знакомое до боли имя Горького (отчего в Ростове так любят Горького? Тут же встречный вопрос — отчего его так любят в Красноярске?)

На входе в парк — оригинальнейшая скульптура: «Ленин, получивший сильный удар в грудь». Эту работу лучше рассматривать с фланговой позиции, оптимальнее всего — с восточного боку. Именно так достигается наилучшее понимание замысла ваятеля.

Ленин, которого ударили в грудь, несколько удивлён. Он пошатнулся, его одежда распахнулась, словно он собрался пуститься в пляс. Впрочем, страстная динамика этой работы не оставляет сомнений — вождь сумеет за себя постоять.

Около консерватории путника встречает музыкальный привет. Это громкий, скрипучий, резкий пересвист стрижей. Из окошка доносятся какие-то клавишные заунывности. Возможно, именно они и привлекают стрижей — но факт тот, что больше нигде в мире эти птицы так громко не орут.

Около той же консерватории можно встретить макабрическую скульптуру «Две тётки мучают виноградную кисть».

Пьяные мужики на лавках рассуждают — отчего это на здании консерватории не упомянуто, что

искусство принадлежит народу. Искренние лица их пылают горьким возмущением.

А вот ещё одно прекрасное название — турфирма «Ёлки-пальмы»

И очередная городская скульптура — вихрастый франтик почитывает газету «Вечерний Ростов». Этот каменный товарищ сидит, разумеется, у редакции одноимённой газеты. Эти строчки я записал, присев на каменную лавочку рядом с франтиком.

Наконец, чуток железной дороги. На Северо-Кавказской магистрали есть оказывается жаргонное понятие «привокзальная половина». Это дом с адресом Привокзальная площадь, 1/2. Там расположены всяческие железнодорожные службы.

Окончание в следующем номере

Дмитрий Шабанов

Мой тихий памятник

Один

Жмурься, жмурься на солнце, мой нежный фыркатель.
Мы с тобой одни, мы падём за Трою.
Мы станем жить, как глаза на выкате,
Ожидая, когда нас, отпев, закроют.

Я буду писать эту дрянь о гавани,
О соке прилива, о море киснущем,
О ботах, ушедших в дурное плаванье…
Смотри на свет и кажись мне мыслящим.

И ты не печалься, что кот ты.
Флора
У нас под окном разрослась как бешено?!
И сохнет халат на стене забора,
И лужа под ним, будто он — повешенный.

Ты видишь всё это, ты можешь лапкою
Затронуть ближайшие ветви дерева,
Ты знаешь, как люди надрывно плакали
В разрушенной Трое.
Я копья смéряю,

Я их заучу, мне достанет памяти,
Мы выточим сталь, мы начистим кожей
Её, чтобы кончик пера диаметром
Хоть чуточку был на копьё похожим.

А то, пока Троя ещё с загашником,
И мы посидим, тишиной не брезгуя.
Ты грейся на солнце, оно в бумажнике
Сосёнок мелькает монетой греческой.

Ты видишь кору на дубах отставшую,
Я будто бы вижу ужасное пламя книг,
Пожар без конца…
но так молятся павшие…
Жмурься, жмурься на солнце, мой тихий памятник.

Два

Валику Хрупову
(то, чего не было, но вполне могло бы быть)

Осень была такой, словно писал Магритт:
Венчики, рань бумажная, ветви дней.
Ты тихо вошёл, и тихо сказал: горит.
И, правда, горело, и дым выпускал коней.
И мы выпускали дым, и на жерновах
Лёгких мучная смоль оседала, и
Трудно дышалось, и вот,
на балконе,
два,
Мерно влипали в холодный огонь зари.
И чудилось, что назавтра заказан смак,
Как будто это рождение — на огне,
Как будто твердыня размякла и, как гамак,
Повисла на ветках, и мы оказались в ней.

Колонны кололись и рушились на дрова,
Кустарное наше застыло куском белил
И съёживалось до солнца, и
эти два
Сплавлялись в стальное суровое дно земли.

— Ну вот, — ты сказал, — как прошлое…
Сел на стул,
Бычком о перила стукнул, а там роса
разбрызгалась…

В две тысячи шестом году сгорела
подмосковная усадьба
Фёдора Ивановича Тютчева

Дина Рубина, Ольга Таир

Искусство не юриспруденция

Дина Рубина — известная писательница, которая сейчас живёт в пригороде Иерусалима. Произведения Дины Рубиной пользуются любовью у читателей всего мира, они уже переведены на двадцать языков. Начинаешь читать книгу Рубиной и понимаешь, что оторваться от неё невозможно. Эта проза дарит тепло искреннего, ироничного и проницательного человека. Как писательнице удаётся достичь такого эффекта? Возможно, что-то станет понятно после того, как Дина ответит на несколько вопросов.

— Дина, в каком эмоциональном состоянии вам лучше всего работается?

— Знаете, рабочее состояние — это очень индивидуальная штука. Я знала творческих людей, которые вводили себя и ситуацию в громоподобный кризис: скандал, обрушение небес, потрясение основ… И на этом фоне, вдохновлённые, деятельные, садились за роман или приступали к репетициям пьесы. Мне-то как раз наоборот нужна полная стабильность и тишина, как в песне «Подмосковные вечера», когда песня слышится и почему-то не слышится. Меня в работе нервирует не только песня за окном, а даже счёт за воду, лишний телефонный звонок, ненужная встреча. Мне необходимо, чтобы все домашние были здоровы, веселы, благополучны и денежны… и оставили бы меня в покое. Готова свой покой проплатить, как теперь говорят.

— Что вы считаете главным достоинством своей прозы? А недостатком?

— Ну, вот уж это — не моё дело, в этом я твёрдо уверена. Перебирать достоинства и терзать себя мыслями о недостатках — не дело автора. Прилюдно, я имею в виду. Само собой, разборки наедине и в тишине — это другое дело. Достаточно интимное. А для публичной порки есть критики и рецензенты. Ну и читатели.

Возможно, Вы хотели поговорить об инструментарии писателя? — ведь у каждого свой набор инструментов, знаете: у домушника — фомки на любой замок, у карманника — фантастические пальцы и чутьё, у мошенника — огромный дар внушения…

Так вот и у писателей. С той лишь разницей, что писатель обязан владеть (в идеале) всеми инструментами. Правда, идеал достижим в редчайших случаях.

А в жизни — кто-то владеет мастерством строительства сюжета, кто-то — мастер естественных и лёгких диалогов, кто-то изобразит вам предмет, закат, шелест листьев — что твой Тургенев, а что с героем делать по сюжету — не знает, хоть убей.

— Ваши произведения сложны по структуре. Почему роман «Синдикат» вы решили написать как роман-комикс?

— Потому что это продиктовано материалом романа. Материал — очень жёсткая вещь: типажи, настроение, основные и побочные темы должны быть выстроены в наиболее выигрышной с точки зрения подачи материала форме. Форма всегда определяется содержанием. К тому же, один из героев этого романа — художник, рисующий повсюду комиксы. Такая вот метафора. И очень многое на этой метафоре в этом романе завязано.

По поводу композиционных ходов в романе. Я уже сказала, что форму, в которой написано произведение, диктует его содержание. «Синдикат» — роман фантасмагорический, острый, трагикомический, это — гротеск; следовательно, он нуждался в нетрадиционной «неспокойной» форме. Там, конечно, есть и куски «от автора», выдержанные в повествовательной манере, но для большего приближения героини, для раскрытия её мировоззрения я выбрала форму ежедневных стремительных, торопливых записей — своеобразного дневника писателя.

Чтобы подчеркнуть призрачность, фантасмагоричность ситуации в романе, я прибегла к письмам «с того света»; это послания виртуального пророка Азарии. Ну и течение повествования постоянно перебивают звонки от посетителей Синдиката, а автора донимают звонки не менее виртуального сумасшедшего Ревердатто. Безумный «сдвинутый» мир героев романа продиктовал свои условия при выборе формы.

Реакцию читателей на «Синдикат» я не просчитывала (когда автор вынашивает замысел и работает над книгой, он коммерческими расчётами не занимается, это вредно для текста), но, скажем так, предполагала. В этом романе оказались задеты многие. Дело даже не в конкретных людях (я не фельетонист и не фотограф, списывающий реальность, и типажи романа гротескны и отнюдь не идентичны реальности), а в целых организациях, главы которых углядели в структуре и жизни моего Синдиката приметы своей организации.

Да что там: я получала письма от сотрудников ЮНЕСКО и ООН с восторженным вопросом: откуда вы знаете про нашу организацию — вы в ней служили?! Очевидно, я угадала некий принцип, по которому живут такие международные огромные организации.

— Ваша проза эмоциональна. Этого требует ваш темперамент или только так надо писать, чтобы быть услышанным и понятым читателем?

— Вы путаете причину и следствие. Это всё равно, что сказать человеку: ваши глаза голубого цвета. Это продиктовано вашим желанием или так удобней в жизни? Вы имеете в виду индивидуальный стиль автора. А стиль — это как походка, как цвет волос, как жестикуляция. С этим рождаются. Писатель может, конечно, всю жизнь оттачивать свой стиль, но вы себе представляете Ярослава Гашека, который вдруг решил, что для того, чтобы «быть услышанным и понятым читателем», стоит писать в стиле Томаса Манна или Джека Лондона?

— Какая особенность вашего характера больше всего помогает вам писать?

— Дикая, неправдоподобная упорядоченность, сумасшедшая работоспособность, вечная неудовлетворённость написанным. Однако и это — компоненты определённого характера, следовательно, взглядов на жизнь, следовательно: стиля.

— Вы ставите перед собой цель писать правдиво или правдоподобно?

— Не смешите меня. Я ставлю цель писать как можно лучше, и мне плевать — как это называется и воспринимается в суде. Искусство — не юриспруденция. Это волшебство, божественная игра, создание параллельных миров. Талантливо написанная вещь всегда воспринимается как пронзительная правда, причём с большой буквы. Даже если это история о коммивояжёре, который превратился в жука.

— В одном из своих интервью вы сказали: «Критик может говорить всё что угодно. Последнее слово за читателем». Но ведь читатели все разные. Разве реально угодить большинству читателей? Может быть, об этом даже не стоит задумываться пишущему человеку?

— Пишущему — конечно, не стоит и даже вредно. А вот уже написавшему книгу — задумываться о читателе очень даже стоит, как думали о нём все дельные писатели, включая Пушкина, Некрасова, Достоевского и проч. Читатели, конечно же, не под копирку сработаны. Но «не мой» читатель мою книгу и так в руки не возьмёт; зато мой знает и судит обо мне и моих книгах настолько и так глубоко и детально, как никакому критику и не снилось. Есть совершенно гениальные читатели.

— Серия ваших книг, которая вышла в издательстве «ЭКСМО» в 2007 году в мягкой обложке, удачно, со вкусом оформлена. Вы принимали участие в создании этих обложек? Приходилось ли что-то обсуждать с художником, дизайнером?

— Учитывая, что многие обложки моих книг оформил мой муж, мне, конечно, приходится не только обсуждать, а иногда и сражаться за какое-то своё видение темы. Всяко бывает. Иногда приходится своё резкое «нет» менять на «возможно», а впоследствии и на «ты был прав». Но в любом случае издательство присылает сначала эскиз обложки — для одобрения, затем и законченный вид обложки — на окончательное моё «да». Это — одно из условий совместной работы с хорошим издательством.

— Сколько часов в день вы обычно работаете?

— Это зависит от стадии, в которой находится новая вещь. Если она уже «разработана», то и по 12, а то и по 14 часов. Особенно когда мне ясны несколько следующих этапов работы. Но бывает и остановка, и несколько мучительных дней простоя посреди рабочего вала.

— Считаете ли вы полезным для себя анализ ваших произведений критиками?

— Нет. Критик никогда не исходит из золотого пушкинского правила — судить автора по законам, им самим над собой установленным. Критик всегда загоняет произведение в прокрустово ложе своих собственных представлений. И кроме того: ну что полезного и нового может сказать критик мне, которая уже сорок лет как пишет книги? Какие откровения я могу услышать от этого оракула? Он что, этот критик, понимает в литературе больше, чем я? С какой стати?

— Ощущение успеха способствует или мешает творчеству?

— В молодости весьма способствует. В молодости мы очень хрупки, ни в чём не уверены, склонны верить любому авторитетному суждению о мире, о вещах, о книгах. О наших собственных текстах… А если такое суждение положительно, одобрительно по отношению к нам — о, как это окрыляет. С годами к успеху привыкаешь. С ним просто живёшь, как с хроническим воспалением сустава. Главное — не совершать резких движений.

— Когда вы понимаете, что работа над рукописью закончена и её можно отсылать в издательство?

— Когда я уже видеть не могу этот текст, слышу его во сне целыми кусками, чувствую чудовищное истощение и уже не понимаю — что, собственно, я написала… Вот это как раз самое то. Момент, когда рукопись можно отсылать в издательство.

— Участвуют ли как-нибудь редакторы в работе над текстом?

— Разумеется, если вам повезло с редактором. Это — особый человек, твой единомышленник. Твой защитник и обвинитель одновременно. С ним очень полезно спорить, в стычках с ним рождается третий вариант, твой собственный, к которому ты не успел прийти сначала. Хороший редактор — это такая свежая пара особенных въедливых глаз. У меня есть такой редактор, Настик Грызунова. Блестяще образованный человек, великолепный переводчик и редактор милостью Божьей.

— В издательском бизнесе вы склонны настаивать на своём или готовы к компромиссам с издателями?

— Смотря что за издательство. В последние годы я работаю с сотрудниками издательства «ЭКСМО», которые чрезвычайно честны и предупредительны со мной, никаких трений у нас не возникает. Прежде, до этой новой эры, в моей жизни были разные ситуации, как правило, разрывные. Не путайте только издателя и редактора. Это — разные функции и разные интересы.

— Расскажите, пожалуйста, о наиболее трагическом и самом ярком моментах вашей творческой биографии.

— Самый трагический случай, когда из-за моей собственной глупости был выметен из компьютера цикл рассказов «Несколько торопливых слов

любви». Я сама его и удалила безвозвратно. Готовый написанный цикл рассказов. Практически,— книга. Когда я поняла — что произошло, я легла на диван и пролежала двое суток, не отзываясь ни на что. Потом поднялась, села к компьютеру и стала писать их заново. И написала.

А самый яркий момент творческой биографии — это моя первая публикация в журнале «Юность». Редакционное письмо со штампом, в котором мне сообщали, что рассказ будет опубликован в первом номере 1971 года, и которое вспыхнуло перед моими глазами золотым заревом.

Евгений Долматовский

Старый барабанщик

Родина слышит

Родина слышит,
Родина знает,
Где в облаках её сын пролетает.
С дружеской лаской, нежной любовью
Алыми звёздами башен московских,
Башен кремлёвских,
Смотрит она за тобою.

Родина слышит,
Родина знает,
Как нелегко её сын побеждает,
Но не сдаётся, правый и смелый!
Всею судьбой своей ты утверждаешь,
Ты защищаешь
Мира великое дело.

Родина слышит,
Родина знает,
Что её сын на дороге встречает,
Как ты сквозь тучи путь пробиваешь.
Сколько бы чёрная буря ни злилась,
Что б ни случилось,
Будь непреклонным, товарищ!

Иносказаний от меня не ждите!
Я вижу в них лишь разновидность лжи.
Что думаешь о людях и событьях,
С предельной откровенностью скажи.
Я знаю силу выстраданной правды
И мысли обнажённой и прямой,
И мне противны хитрые тирады,
Рождённые иронией самой.
Испытанный и радостью, и болью,
Искавший путь не по чужим следам,
Ни плакать, ни смеяться над собою
И сам не буду, и другим не дам.

Старый барабанщик

Юный барабанщик, юный барабанщик,
Он в шинелишке солдатской на посту.
Поднимает флаги пионерский лагерь,
Юный барабанщик тут как тут.

Дальние дороги, близкие тревоги,
Заклубились тучи впереди.
Ты уже не мальчик, храбрый барабанщик,
Сверстников на подвиг выводи!

Били — не добили, жгли — да не спалили,
Почему так рано стал ты сед?
По далёким странам с верным барабаном
Мы прошли, оставив добрый след.

Времечко такое — не ищи покоя,
Взрослый барабанщик, взрослый век.
Поднимай, дружище, мир из пепелища,
Выручай планету, человек!

А вокруг кликуши, маленькие души,
И кричат, и шепчут все они:
— Барабанщик старый, запасись гитарой,
Барабан не моден в наши дни.

С арфою и лютней тише и уютней!
Это нам известно с детских лет.
Но покамест рано жить без барабана,
Я его не брошу. Нет, нет, нет!

Младшим или старшим,
Дробью или маршем
Мы ещё откроем красоту.
Старый барабанщик, старый барабанщик,
Старый барабанщик на посту.

Александр Петрушкин

Три дабл-ю как начало диалога культур

ЦИТАТА

«Евразийство есть прежде всего направление эмоциональное, а не интеллектуальное, и эмоциональность его является реакцией творческих национальных и религиозных инстинктов на произошедшую катастрофу».

Н. Бердяев

Крайне хочется написать вразумительное, адекватное, вменяемое (то есть удовлетворяющее всю литературную тусовку/общественность) предисловие к первой спецвкладке в журнале «День и ночь». Но прекрасно понимаю, что это невозможно. И тому есть причины.

ПРЕЛЮДИЯ

В книге «От Руси до России» Лев Гумилёв выявляет суперэтническую целостность — Россия, и показывает, что российский способ бытия включает в себя целый комплекс восприятий и образов: от «речного» и «лесного» до «степного», и только подобный комплекс позволяет осваивать территорию России наиболее полно. Органично соединяя в себе и европейское, и азиатское. Россия соединяет эти две цивилизации по-своему и поэтому сама выступает как самостоятельная цивилизация.

Промежуточная станция

справка о евразийском журнальном портале «Мегалит»

АДРЕС ПОРТАЛА www.promegalit.ru

ДАТА РОЖДЕНИЯ 19 августа 2009 года

УЧАСТНИКИ

Электронные издания:
«АльтерНация», «Знаки», «Ликбез», «Новая Реальность»

Бумажные издания:
«Бельские просторы», «Василиск», «День и ночь», «Зинзивер», «Контрабанда», «Транзит-Урал», «Ышшо Одын»

ГЕОГРАФИЯ ИЗДАНИЙ

Алматы, Барнаул, Донецк, Екатеринбург, Кемерово, Красноярск, Кыштым, Москва, Омск, Санкт-Петербург, Уфа, Челябинск

АВТОРЫ ПОРТАЛА

800 человек (30.04.2010)

РУБРИКИ ПОРТАЛА

новости, журнальный зал, библиотека, интернет-магазин, форум, медиазал, литературные структуры и их проекты

Вразумительно… пока не получится по причине недолгой истории нашего литературного портала. Эта самая краткость существования пока ещё не позволяет сфокусировать зрение стороннего наблюдателя — поезд ещё не начал своё движение, не обрёл физиологию цельного организма (концепцию). Это то, что приобретается по мере взросления. Но уже примерно понятен состав пассажиров (они же машинисты / проводники / менты и официанты в местном вагоне-ресторане). Так получилось, что в портал входят журналы, которые не имеют «советской истории». Больше того, большинство изданий, составляющих «Мегалит», не имеют и опыта перелома «об колено» — если не считать собственно «Дня и ночи», самого старшего нашего товарища по цеху.

ЭХО

Действительно — Мегалит. Объём неописуемый; возможно, это искомый след Тунгусского метеорита. Возможно, это всё Зауралье и Сибирь, вплоть до Дальнего Востока — на ладони одного мегатекста. Масштабы соответственные, не поддающиеся учёту. На «Мегалите» читатель найдёт поэзию, прозу, критику и эссеистику, которые в столицах и средней полосе показались бы экзотичными, неуместными. Христианский взгляд найдёт немало важного и ценного для себя, однако найдёт и немало того, чего не следует пугаться. На то и круглый стол. «Мегалит» может, по мнению «Середины мира», со временем стать той платформой, на которой будет строиться новая культура. Не пугаюсь (и советую не пугаться) слова евразийский. Издавна Рифей и Ногайская Орда были котлами, в которых варились большие перемены.

Наталия Черных,
сайт православной литературы
«На середине мира»

Адекватно… Также навряд ли получится по той простой причине, что для жителя европейской части России и урало-сибирской всё адекватно по-разному. И то, что говорит литературная Москва на 99% не принимается литературной Сибирью, прошедшей совсем иные дороги. В этом смысле «Мегалит» — переговорная площадка, репетиторская комната, где каждый из нас учится говорить с другим, лаборатория, в которой вырабатывается некий общекультурный язык, налаживается коммуникационная сеть между «расово разными» литературными общностями, словарь культурных или антикультурных жестов и прочее, и прочее, и всё такое.

В Меня Ем о… Ещё более менее, чем оба предыдущих пункта. Во-первых, у каждого из нас своё меню, а значит, то, что входит в мой / ваш этический, эстетический и проч. круг интересов / привязанностей / аппетитов, как правило, принципиально не соответствует одно другому. Это верно и относительно всех изданий, которые в «нашем клуб(к)е». Это лично мне и интересно.

Поскольку нельзя вразумительно-адекватно-вменяемо… выскажусь о ещё одном моменте, который представляется мне важным. Свердловский поэт Сергей Ивкин часто рассказывает притчу о малограмотном пацане, который шёл по своим полукриминальным делам и услышал чтение сутр. У него наступило просветление, и со временем он стал патриархом, обойдя в Учении всех прилежных сверстников. Вот такое же отношение у меня, на данный момент к «Мегалиту». Да, многие моменты могут почудиться нашим «искушённым и подкованным» коллегам не очень грамотными, несостоятельными, сомнительными и прочее, и, наверное, было бы правильнее вписаться в уже существующую систему, пропагандируя и поддерживая *чужие теории, чужие концепты*. Правильнее с бытовой, но не исторической точки зрения. Все хорошие дела начинаются с глупости. Насколько было бы хорошо, если бы Колумб сидел бы дома и «не выходил из комнаты». Но это не по мне. Так уж получилось. Так получилось у каждого из нас, которые идут, пишут рядом и оспаривают невозможность времени. Перечислю их и скажу каждому из них спасибо: Дмитрию Дзюмину, Алексею Александрову, Игорю Фролову, Марине Саввиных, Павлу Погоде, Вячеславу Корневу, Игорю Кузнецову, Алексею Караковскому и многим, многим другим. А читателю рекомендую читать и вкладку в ДиНе, и сам портал. Мы обновляемся ежедневно, мы ждём вас.

ЗАПИСЬ НА ПОЛЯХ

Любой частный идиотизм, обретающий историю, становится мифом. Так и в нашем клиническом случае. Не могу даже предположить (и не предполагаю), что думают мои нынешние коллеги по журнальному сообществу о концепции, лежащей (видимо, очень глубоко) в основании этого хрупкого и болезненного, как всякого творческого, существа о 12 головах с длинным и трднпрзнсмм *(написание авторское)* именем.

Александр Евдокимов

Горы, всадники, февраль

Клин

На открытой ране нет стоп-крана,
протекает кровью человек.
Нет души у скальпеля-нагана.
Нет души у стен. Хирург желанно
улетает вверх. В окошке снег.

А потом совсем без нужной строчки
мир болит и забивает клин.
Жить на свете — плакать в уголочке.
Радугой весны набухли почки.
В тумбочке искрится апельсин.

Пейзаж

Молодой Калдой Балдоев
счастлив, собран и небрит.
Отомстиль. И мёртвых трое
в старой хижине лежит.

Горы, всадники, февраль,
из окошка — супердаль.

Точка

Смерть улыбается с обложки.
Братки проходят стороной.
Трясётся ночь в бегущей кошке,
в огнях мерцает надо мной.
Вся философия — из точки,
и та — сбежала в темноту,
где отбивают сны и почки,
где сочиняют ерунду.

На полную

Включай на всю, ломай себя.
Про новый передел
границ — часы хрипят, звенят:
кому ты нужен цел?

И я, на всю, включаю звук
перед дверями сна.
И ангел входит в мой сундук,
одетый — как она.

Натюрморт

Стоят предметы на столе.
Летает моль.
Земля в космической петле
рисует ноль.
Спешат по краешку ноля
мои мечты.
Летят границы (под ля-ля)
вокруг звезды.
В больших размерах — тишина
и темнота:
невидимы мои война
и частота.

Борис Кутенков

О нулевые, ролевые…

Были хуже врагов — а сегодня опять побратимы.
Завтра в разные стороны пялиться будем, как встарь…
Мы с тобой деревянны, мы оба слегка буратинны:
дураков за три сольдо не ищем, сбывая букварь.
Ты другого обструга, но так же чужих не пускаешь
за волшебную дверцу, куда лучше нос не совать.
Если душу решишь приоткрыть — то такими кусками,
что пройдёт триста лет и затянется тиною гладь.
А когда бы весёлый дымок не струился из печки
и не застил глаза (чай, пока не в Стране дураков) —
я сложил бы тебя, словно пазлик, легко и беспечно.
Я проник бы в твой дивный театр без ключей и замков.
Там тебе и с хлыстом бородач, и такие погони,
что джеймсбондам не снилось, — но крив разухабистый путь,
будто в прошлом застряла одной деревянной ногою
и не можешь другой в настоящее перемахнуть.
Там одна Карабасова кукла уже не годна и
подлежит отправленью в утиль — тут и сказке хана…
Что же ты замолчала, о чём зачиталась, родная?
Или песенка Рины Зелёной поодаль слышна?..
Но звучит за спиной та же скрипка рыдающей речи.
Демо-версия блоковой музыки. Диск золотой.
И в жабо кружевном, как Пьеро, мчится ангел навстречу,
возвещая, что Бог — папа Карло — простил нас с тобой.

Подари мне мольберт, на котором походное прошлое,
чтобы грёзы в глазах, а в наушниках — Янка и Цой,
дежавю тех палаточных лет, где по строгости спрошено
с нас, ещё не умевших ответить на выпад прямой.
Только грелись винцом у костра для плюс энного градуса
и с попутчицей-жизнью блюли вольнонравный закон,
у неё отбирая последнюю порцию радости
и в любви объясняясь заёмным скупым языком —
колеса, что попало в кювет, позаросший осокою;
перепутицы — то ли закат, то ли поздний рассвет…
И не надо для счастья ни Слова, ни долга высокого,
ибо счастье с полынною горечью в кровном родстве,
и звучит, и клокочет во всём: в многословном анапесте,
в перемене побегов, несомых маршрутом одним…
Там цена медный грош и тебе, и хвалёной инакости,
если недруг вчерашний — сегодняшний твой побратим.
Там не в тягость весна, а надежды просты и стремительны.
Там однажды придут нас убить, но уже не найдут:
мы закроем руками глаза, чтобы нас не увидели,
и легко удалимся с холста. Через пару минут.

Нулевые

«Сороковые, роковые…»
Давид Самойлов

«Восьмидесятые, усатые…»
Борис Рыжий

О нулевые, ролевые,
безвольные и волевые…
Чуть правые, но больше — левые,
как в сердце — раны пулевые.

И отразит в прихожей зеркало
двух гордецов прямые выи,
пока нас жизнь не исковеркала,
покуда мы ещё живые.

А ты в мою ступила душу.
Ты увидала там чащобу.
И значит — никогда не струшу,
и будут — не счета, а счёты.
Мы станем драться, насмерть драться:
я и старик — мой главный ворог.
Пускай по паспорту мне двадцать —
я постарею лет на сорок.

И отразит в прихожей зеркало
осколки ржавого корыта.
Их солнце золотит усердное,
и значит — биты, карты биты.

И значит — снова нулевые.
Зеро — две точки болевые.
А на лице — приметы времени:
глаза, навек немолодые.

А жизнь ушла, но прямо в день ухода
пронзила ощущеньем новизны;
на память лихорадочное фото —
какой-то город северной весны;
простой уют рабочего пространства —
терраса, кофеварка, ноутбук;
отстукивали пальцы такт бесстрастно
по клавишам, и мнилось: жизнь есть звук.
Подробный, мерный — к чёрту Кальдерона! —
лукавый, как проточная вода.
Бог весть куда вдоль мокрого перрона
бог весть зачем летели поезда.
И жизнь была гудок — сплошной, протяжный,
врывающийся резко в дымный день.
Вдали дубы раскачивались важно,
и от небес искрилась голубень.
Сирень цвела, оплакивая зиму;
в натянутую тетиву стекла,
жужжа огромно и невыносимо,
толкалась одуревшая пчела.
В её движеньях конвульсивно-тучных,
в сизифовой нелепице забот
была души нездешняя кипучесть,
спокойного достоинства уход.
Вот биться перестала, вот — застыла;
миг — на карниз безжизненно сползёт.
Казалось: только так уйти не стыдно,
поскольку с чувством — жизнь была полёт.
То в праздничных, то в сумрачных обличьях
себя преподавало не из книг
химера-счастье, чтобы стать привычным.
И самому исчезнуть через миг.

Лето, шитое лыком в две строчки,
зарифмовано бедно и вкось.
Будто прежнее отмерло прочно,
будто новое не началось.
Всё мешается в дивную ересь:
кривда книжная, дурочкин плач,
физик Ваня, что спит, разуверясь
в простоте нерешённых задач.
Да и есть ли на свете задача,
что годна для кривого горба?..
У него — полусгнившая дача,
смерть жены, имбецилка-судьба.
Он встряхнётся, отыщет в полыни
купоросный обломок луны,
погрустит о несбывшемся сыне
и — обратно: досматривать сны,
где и символ-то — даром, что вещий —
перед жизнью в долгах, как в шелках,
но пропитан блаженством увечья
кацавейки неловкий распах.
А лукавое Слово на запах
поспешает, на одурь и дым,
ёжась в Божьих корёжистых лапах,
словно мрак — перед светом земным.

Когда отплывает душа, выплывают земные заботы.
Земные дела, словно в древней Элладе ряды кораблей,
друг друга спешат затопить, и солёные капельки пота
блестят на покойницком лбу — легче таинства, клети светлей.
Иное помыслится вслух, но никто не воскликнет о смерти.
И Слово базарной торговкой не станет просить о цене.
А небо столпом соляным или пешкою Перес-реверте
замрёт; о, упасть — не упасть… относительно, разницы нет!
И, как бумеранги веков, отлетая в острог первородства,
гордыня, и счастье, и боль на иные вернутся круги.
…Когда отбредает душа, говоря, что устала бороться, —
она продолжает бороться. Морям неродным вопреки.
Бесплотной прорехой останется, душной жаровней, трухою.
Безделицей, облаком, светом, что пальцем господним ведом.
Душа не собьётся с пути, если время стоит над душою.
Душа не покинет острог. Ибо он предначертан путём.

Денис Липатов

Поэтика лестничных клеток

Последние летние дни
Наполнены грустной тревогой.
За Волгою ночью огни
Зажгут над железной дорогой.

И тянут по ней поезда
Пугливые локомотивы
В игрушечные города,
Где сча́стливы или счастли́вы.

И думаешь: тоже туда,
Да чтоб никому ни словечка.
Так пели ещё: «*В холода, в холода…*»—
Дарили на память колечко.

Вода утечёт, обмелеет река,
А мост над рекой обветшает.
Вернёшься на родину издалека,
А музыка—та же играет…

Поэтика лестничных клеток,
Где эхом любой разговор:
Кухонная ругань соседок,
Гитарный хмельной перебор.

Гуляют ли проводы, встречи—
Готовы всегда за ножи,
И речь обрастает *заречьем*,
Свои громоздя *этажи*.

То тише здесь, чем на погосте,
Но хлопнет подъездная дверь,
Впуская жильца или гостя,
И лифт заурчит, словно зверь.

Иль выйдешь курить на площадку,
Что видишь? В оконном углу
Край неба, что божью облатку,
А ниже—плевки на полу.

И чем же спастись в этих стенах,
Что выдумать про себя?
И просится в рифму «застенок»,
Едва тишину пригубя.

«Зачем эти поздние бредни?
Зачем этот пресный стишок?
Зачем, как ненужный наследник,
Ты в каменный заперт мешок?»

Давай скитаться по земле,
По бездорожью и дорогам:
Пешком, верхом, на корабле—
Воистину ходить под богом.

Воистину, куда глаза
Глядят: в туман и непогоду,
Куда укажет путь гроза
Стрелой огня по небосводу.

Земля давно поделена
На царства, княжества и ханства,
Но даже в эти времена—
Давай воспитывать пространство.

Питать, как малое дитя,
Любовью заполнять пустоты,
Чтоб мне не потерять тебя
И не пропасть в его зевоты.

На старых улицах, что вскоре
Под корень будут снесены,
Ещё в случайном разговоре
Мне «фиты» с «ятями» слышны.

Как будто тени разночинцев
Ещё живут во флигелях,
Ругают истово мздоимцев
И спят в обнимку на углях.

А ночью серой в подворотне,
Где всяк дрожит своим добром,
Мелькнёт курьером преисподни
Святой безумец с топором.

И холодок по сердцу лижет,
Как будто взгляд из-за угла.
Таких, как ты, пройдох и выжиг
Ничья душа здесь не ждала…

Трамвай машиною Уэллса
Меня поднимет на проспект,
Где город к празднику оделся
Огнями ёлок и комет.

И я не знаю, где я дома,
Куда забрёл, а где—живу,
И электричества соломой
Мне стелют неба синеву.

* * *

И Тесей, и Ясон, и Аяксы
За собой не признают вины.
Уж не то что философы-плаксы:
Сочинители, трусы, лгуны!

Что за притча, скажите, такая,
И достойно ли это мужчин—
Пустяками судьбу отвлекая,
Всё доискиваться до седин

В подсознании, словно в подзоле,
Подоплёки подспудных страстей,
Тех, что с детства набили мозоли,
Что вошли с молоком матерей.

Да не лучше ли мясо и кубок
Да побольше смешливых гетер
И всю ночь до пастушьих побудок
Пировать, позабыв про химер.

Ой ли, вспомнит Улисс Полифема?
Минотавра не вспомнит Тесей.
И Ясону забыть не проблема
Про Медею и мёртвых детей.

Лишь один был зануда и нытик—
Затесался предателем в миф,
Перейдя горизонты событий,
Самого себя приговорив!

Вот откуда, скажи мне, откуда
Это чувство вселенской вины,
Христианская эта полуда
В эллиническом звуке струны?

Море плещет мифической пеной—
В Ахиллесы любой норовит.
Но все подвиги—в ногу с изменой,
И оракул стыдливо молчит.

Детство

Сиди, как взрослый, у камина,
Врачом отставленный от игр.
Съедает детство скарлатина,
Как путешественника тигр.

Вполне серьёзная обида:
В каникулы—на бюллетень,
Хотя, не кажешь, в общем, вида
И безразличен, как тюлень.

Но крики за окном доносят
Зимы весёлой кутерьму,
А про тебя никто не спросит
И не придёт к тебе в тюрьму.

Теряешь много или мало?..
И слёзы тоньше, чем слюда—
Тебе ль не знать, что жизнь пропала,
Опять пропала—как всегда!

Сквозь сон над Диккенсом зеваешь,
«Скучнейший,—молвишь—господин»,—
Согреться им!.. Но вспоминаешь,
Что электрический камин.

* * *

В хороводе инкарнаций,
Лишь нирваны пригубя,
То Конфуций, то Гораций—
Всё равно ищу тебя:

Так борзая рыщет в поле—
Зорка ловчая душа,
Этой жаждой снова болен,
Пью сансару из Ковша.

Пусть твердит мне Гаутама
О проклятье Колеса—
Словно в дырку из кармана
Убегают небеса.

Не идут, хоть бубны рьяны,
Мантры в мой славянский ум!
Не вертитесь, барабаны,—
Всё едино—белый шум.

Я согласен кем угодно
Воплотиться, грезить, жить
И на привязи природной
Вечно шариком кружить,

Лишь бы в каждом воплощенье
Знать про символ, ведать знак—
Подари мне слух и зренье,
Дай чутьё, как у собак!

Чтобы знать, найти, запомнить,
Отличить тебя во всём—
Каждый ландыш и шиповник
Будет мне проводником!

Ибо каждое движенье,
Колыханье трав и вод—
Приближенье, наважденье,
Инкарнаций хоровод.

* * *

Мы друг за другом пристально следить
С тобою будем год за годом.
Искать, терять и находить
По нам одним известным кодам.

Любой намёк, упоминанье,
Случайный снимок, диалог—
Как знак масонский узнаванья
Или бессмертия глоток.

По справочникам и каталогам
В чужих и шумных городах
Ловить, как весточку от бога,
Родное Имя в именах.

И знать, что ты живёшь на свете,
Что есть другие берега,
Что мы у Бога на примете—
Хотя б на краешке зрачка.

Елена Миронова

Неосторожный звук

Сергею Арутюнову

Выходи! Осень скажет «пиф-паф»,
только ты всё равно — выходи!
Тишину до кости распластав,
ляжет город в косые дожди.

Выходи ему грудь бинтовать
да прикладывать небо ко лбу
и ронять — словно крошки — слова
в нежилую его худобу.

Вырастая из серых пижам,
надыши на рассвет до утра.
Выходи, это утро прижав,
к накрахмаленной кромке ребра.

Уцелевших к теплу выводить —
выходи!.. даже если любя
жизнь по-вдовьи прижмётся к груди,
чтобы завтра оплакать тебя.

Человечек умещается в руке,
но тоска его, тоска так велика,
что рука становится — река,
целый мир вместившая в зрачке.

Человечек говорит: «Пусти-пусти —
в дивный сад, в бессмертную траву...» —
но река всё держит на плаву,
веточкой легко зажав в горсти.

Держит... повторяет набело́...
всё к губам подносит ледяным —
снова жизнь подходит со спины
и в затылок дышит тяжело:

«Не пора». И в говоре часов
новый день расправит позвонки
и, присев на берегу реки,
срежет заусенцы с голосов.

Стихают улицы. Мелеет двор.
Дом приглушает запахи и звуки.
Выходит ночь в ослепший коридор
и в пустоту протягивает руки.
Ей, бесприютной, так же как и мне,
сейчас не спится. И в глубокой тьме
пытаясь дно нащупать осторожно,
она едва касается лица —
и я вдруг понимаю до конца,
как одиноко ей и как тревожно.

Обрушиваясь с верхних этажей,
зима теряется в домашнем хламе.
Стеклянных звёзд безвкусное драже
бездомно лепится к оконной раме.
Сгорают рукописи — из золы
выклёвывая зёрна горькой мглы,
ночь сходство обнаруживает с птицей,
захоронившей в чернозём крыла
полмира и ко мне на край стола
присевшей —
терпкой музыки напиться.

...А в комнате иная жизнь текла:
к лицу склонялась лампа близоруко,
и ночь, где больше не было ни звука,
плыла по обе стороны стола,
задумавшись о чём-то о своём
и не касаясь ни рукой, ни взглядом.
Мы с безупречной тишиной, вдвоём,
неразделённые — очнулись рядом.

Качался свет на тонком стебельке,
к нему тянулось, прорастая, Слово,
и тишина, припавшая к щеке,
была уже не более чем повод
открыть окно бессонное, и стечь
на дно травы, и ощутить под кожей
желание врасти всей кровью в речь —

и первый звук вдохнуть неосторожно.

Ангельское

Колибри моя кистепёрая,
жирафа моя златокудрая,
мы были в той жизни сапёрами,
да, видимо, что-то напутали.

Война посейчас продолжается,
но некому мины выпытывать—
всё больше тропинка сужается,
всё больше теряем убитыми.

Не плачь, мой пернатый воробышек,
жирафа моя тонконогая,
они по небесным дороженькам
идут, чтоб бессмертье попробовать.

Темнеет.
Тук-тук…
Слышишь, горлинка,
лети, отворяй нашу горницу,
жирафа моя ненаглядная,
встречай всех гостей по-парадному—
хлеб-солью. И мёртвой водицею
кропи утомлённые лица их.

А утром водою живою
я им глазницы омою…

У мирозданья в кухонном углу,
где тишину по нотам заиграли,
сидит зима на каменном полу—
и нет ни удивленья, ни печали
в зрачках стеклянных.
                    Пробуя смычком
расстроенную скрипку снегопада,
скользит луна неслышно и легко
по опустевшим закоулкам взгляда,

там божьих слов всё сыплется мука
в подставленные временем ладони,
а ты идёшь в потёмках языка—
и нет тебя печальней и бездонней.

Колыбельная

В. Пуханову

Спи. Зима стоит, как свечка,
в изголовье городка.
Ходит белая овечка
по полям черновика.

Щиплет буковки привычно
в самом светлом из миров,
где сгорают люди-спички
в деревянных избах слов,

где несут по небу сани
в птичьи сны легчайший дым
и родными голосами
говорят с тобой сады.

Ты с райских кустов состригаешь сухую листву,
присядь на чуть-чуть, подержи мою скрипочку, Отче.
В молчанье губами припасть к Твоему рукаву,
да речь не пускает: бормочет… бормочет… бормочет…

не сделать и шагу: всё кормит с руки—на убой!
Но что-то осталось во мне от загласного зренья,
в котором слова превращаются в свет голубой
и, расплываясь, теряют любые значенья—

там сбудется всё и отхлынет, как эта листва.
Небесные пчёлы мою соберут медуницу,
и свет отворится и спрячет в свои рукава,
на самое дно, где лишь музыка длится и длится.

Полёты во сне и наяву

1.

Светлане Улановой

ты быстрее воды, на глазах замерзающей в венах,
потому и летишь
                    напролом,
                              напрямик,
                                        до конца.
просыпается лес—мотыльков осыпает с коленей
и, в тебе заблудившись, нигде не находит лица

в перепончатой тьме—к тишине подмешав влажный шорох—
прорастает трава и ползёт за тобой по пятам.
ты кустарник вины, обнесённый высоким забором,
над которым безумное солнце бросают с моста,

умирает листва, ожидая в тебе повторенья,
разломив, словно хлеб, чернозём перекошенным ртом.
ты растёшь в чьём-то медленном сне на развалинах зренья
и всё время летишь, не касаясь земли животом.

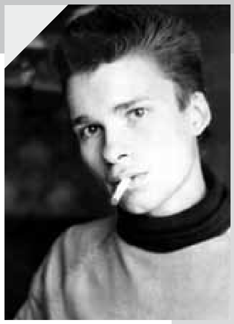
2.

Ты испуг и больница, в которой врачи
заблудились в осоке бессонниц подробных.
По углам димедрола расселись грачи.
Обнажили потёмки подгнившие рёбра.

Спотыкается взгляд, не умея совпасть
пусть хоть краем одежды с небесной обложкой,
и бросает пространство в бездонную пасть
непрочитанных бабочек хлебные крошки.

Надвигается время. Разбухшим веслом
неуклюже цепляет за жабры окрестность—
и летит серебро чешуи на стекло,
и от звёзд в твоём взгляде становится тесно.

Их одну за другой подбирают грачи,
вороватo уносят в раёк карандашный,
где над телом твоим наклонились врачи
и колдуют…колдуют… и больше не страшно.



Михаил Свищёв

Монгольское танго

Ты уедешь в деревню—тайком, надолго,
на санях, на попутке, на сером волке,
налегке загостишься в одной из вотчин,
отдохнув от фамилий, устав от отчеств.

Обживёшься, привыкнешь читать молитву,
навещая колодец, чиня калитку,
и гадать на побелке печною сажей…
Две зимы проскучаешь и выйдешь замуж.

Вы засеете грядки травой и луком.
Но, припомнив твой адрес, как Ванька Жуков,
мне едва ли случится прислать депешу
по невнятной причине—запью? повешусь?

За отсутствием факта представим чудо—
докурюсь до инфаркта. Женюсь. Забуду.
Из пяти этих слухов по крайней мере
хоть один вероятен, а значит—верен.

Ты уедешь в деревню, найдёшь дорогу,
ибо что ни верста там, то ближе к Богу,
раздающему ливни, снега, порошу…
Я верну тебе имя, когда вернёшься.

Четыре оврага

Наш город не помнил ни герба, ни флага.
Куранты на башнях прилежно хромали.
Больница, тюрьма да четыре оврага,
которые мы называли холмами.

И были, наверно, по-своему правы,
и жили, наверно, недолго, но просто.
И экс-прихожане двенадцати храмов
собой удобряли двенадцать погостов.

Лихие прабабки справляли столетья,
все сказки счастливо кончались венцами.
От браков рождались здоровые дети,
которые нас называли отцами

не то по привычке, не то по ошибке
и вскоре ошибки своей устыдились.
Они дотемна собирали пожитки
и все как один досветла уходили.

Они волокли чемоданы и лица,
они занимали вагоны и трюмы.
А после—ложились в чужие больницы,
а после—садились в далёкие тюрьмы.

И были, наверно, по-своему правы,
и жили, наверно, своими умами,
украдкой молясь за четыре канавы,
которые мы называли холмами.

Мы сосновый клин вышибали клином,
отходя ко сну, задували свечку
и слепили бога из жёлтой глины,
а из красной глины сложили печку.

Старики углём подводили брови,
и, кряхтя, сгибали свои колени,
и поили бога овечьей кровью,
и кидали в печку одно полено.

Мы ломали хлеб пополам без крошек,
упускали дичь, подбирали стрелы.
И никто не думал, что бог хороший,
и никто не спорил, что печка грела.

…А они глядели прямей и строже,
и носили волосы цвета стали,
и любили запах огня и кожи,
и сперва пришли, а потом остались.

И из наших лбов распивали вина,
и черпали воду из нашей речки…
И слепили бога из жёлтой глины,
а из красной глины сложили печку.

То ли моют полы, то ли пахнет полынь,
то ли входит, садится, сдвигает столы
эскадрон, не дошедший до Ганга.
Зябко скрипнет костыль, тихо всхлипнет медаль,
и тапёр отпирает трофейный рояль,
и несётся «Монгольское танго»…

То ли хочется спеть, то ли чудится степь,
то ли время запуталось в конском хвосте,
словно цепкий июльский репейник.
И, припомнив мотив, они курят всю ночь,
и глядят, и молчат, и хозяйская дочь
подаёт им четвёртый кофейник.

И не весел никто, и никто не сердит,
где кончается спирт, начинается флирт—
приглашают хозяйку на танец.
Но за шторой давно рассвело, и уже
время прятать обратно свой маршальский жезл
в комиссарский застиранный ранец…

То ли моют полы, то ли пахнет полынь,
то ли просто укол патефонной иглы,
то ли дождь, то ли снег, то ли ангел,
теребя облака перебитым крылом,
входит в серое небо под острым углом
с первым тактом «Монгольского танго».

Елена Оболикшта

Акустический уральский дневник

Поверх неровностей [1]

«Приходил ко мне мало ли кто» — первая книга Андрея Сальникова. Книга — только схема пройденного пути, как бы уже выведенная формула. В лучшем случае — честнее — реальная часть пути. Но если вслушаться с полным доверием — можно пройти немного вместе с автором и побывать там, где мог оказаться только он ещё до всяких стихов. Стихи дают нам в свёрнутом виде всё — подробнейший отчёт за каждый вдох и выдох. В этой книге, на мой взгляд, самое важное — позиция человека, по самому высшему счёту — именно языковая позиция. Это книга человека, который имеет мужество говорить не из какого-то параллельного мира, где автор видит и возделывает сады собственной исключительности (хотя бы и от невозможности быть иным), не из такого мира, который сознательно обживается, чтобы туда можно было сбежать или посмотреть, как сквозь линзу, на самого себя… Сальников говорит изнутри самого реального, что с ним происходило и происходит, глядя вперёд прямым и честным взглядом. Несмотря на то, что «империя опять берёт своё», здесь петляет пластилиновый трамвай, «темнота заразительно верует в свет», идёт снег, ближе к земле становится дождём, и вот уже трамвай проносится мимо, скрывается из виду, стук его становится отдалённее, тише, а рядом, едва уловимо, как сердцебиение, остаётся:

> Ещё не поднимаясь над утратой,
> Не угадав взаимосвязь корней,
> Не делятся на памятные даты
> Ветра полей…

Казалось бы, здесь, в первой книге, речь автора ещё только обретает себя как голос, как звуковое тело, часто остывая на уровне мысли и повествования, но встречаются и такие точки кипения, которые относятся уже к особому состоянию не просто жизни, но языка. Этим рельефом или мерцанием, на мой взгляд, интересна любая поэтическая книга — она не может и не должна быть ровной (когда не поставлена такая цель изначально), сам по себе выдох — почти не бывает ровным, в нём всегда слышны и сердечные перебои, и паузы, и сомнения, и наконец, слова, которые ищешь, забываешь и находишь вновь, теперь уже самые точные. Они и есть, наверное, ответ на то, «как быть с неправильным собой». И тогда приходит смирение с тем, что не только ты можешь сказать о чём-то в стихах, но стихи могут говорить сами по себе:

> Говорящие словом бледны пред нашествием знака.
> Он велик и могуч и везде подменяет язык,
> И строка за строкой полегли в бесполезной атаке,
> Только слово не штык.

Язык — первоматерия для поэта. Язык, а не знак, для которого уже всё определено и объяснено, который используется всего лишь как удобный инструмент для достижения любой (как правило, неязыковой, непоэтической) цели. Именно такая «подмена» знаком языка и является болевой точкой для поэта, который никому ничего не должен (да и не может) объяснять, доказывать с помощью слова-штыка. Для поэта язык — способ открывания мира, если не сам мир. Стихам же предшествуют слух и тишина, поэтому поэзия — это особенность нашего слуха, вслушивания. А для этого нужно быть способным открывать мир каждый раз заново, т. е. не делать из языка кирпичи (круглой или треугольной формы), а бережно и осторожно обращаться с самим его веществом, обогащая его новыми качествами, раскрывая и разворачивая его ко всем сторонам света. И тогда поэт может услышать, заметить, записать и обратить наше внимание:

> Постойте, послушайте, выбелен звук
> Над вечным покоем Нерли.

В книге Сальникова, поверх всех неровностей её рельефа, есть абсолютный, очень ответственный голос поэта, для которого нет проблемы поиска себя, слепого перебирания языковых слоёв для обозначения своего присутствия, нет крика, небрежности, одышки. Скорее, наоборот, есть единственно возможная (та самая, «последняя») прямота и смирение с самим собой, и оттого — особая внимательность и чуткость, тонкость и чистота слуха, пусть не всегда ещё находящая верные слова, но вызывающая абсолютное доверие — «смех и печаль почти пустопорожни», «нам осталась свобода полёта, раскольничье, птичье…», «…Поэта не станет, Слово пребудет». Неровность книги в данном случае — пример именно проступания настоящего, своего, уже вполне осознающего себя голоса, но не поиска. Здесь уже есть ожидание и, как написал Роман Тягунов, — надежда получить ответ:

---

1. Андрей Сальников. «Приходил ко мне мало ли кто» Нижний Тагил, 2009

И часто нет ни памяти, ни дани—
Не через двести лет, а через год,
Ты знаешь, но опять же, между нами,
Наверно, нужен новый пароход.
Надежда на ответ, на белый звук,
на пароход из облаков:
Вот тебе и огонь, вот тебе и вода.
Слово-облако катится в жизнь.

В единственную, первую и последнюю жизнь, где у дома стоит судьба—сначала с распущенною косой, а потом с косой отточенной—но не спешит заходить в дом, в котором живёт поэт. В дом, вылепленный из звучаний и пауз, из сомнений и нечаянных прозрений, и наконец, из выдоха стихов. Этот дом не опустеет, даже если его покинет главный обитатель—поэт. Этот дом всегда будет населён, а заглянет—мало ли кто. Всё может запомниться, всё может остаться. Ведь есть такой дом, перед которым останавливается даже судьба:

Вот и тут покурил, помолчал,
И ушёл, и, как в воду, пропал.
Уходя, не накинул пальто.
Приходил ко мне мало ли кто.

На грани речи
(о стихах Александра Петрушкина)

Читать Петрушкина для меня—всё равно что ехать по плохой дороге. Трясёт, качает, какие-то скрипы, шорохи, мелкие камешки летят из-под колёс… Потом вдруг всё разваливается и из-за какого-нибудь ближайшего каменно-глинистого холма опять выкатывается очередная конструкция на качающихся колёсах. Как будто какие-то ожившие механизмы неведомого Кулибина вдруг вышли из-под земли и пришли в движение, рыхля глину, двигая камни, вращаясь на месте, сталкивая друг друга в ямы, разваливаясь и кренясь, ходят и голосят на все лады.

«Кто здесь главный? С кем я могу говорить?»—недоумевает Андрей Санников, растерянно озираясь среди этого тележечно-колёсного скрипа и стука. А главный здесь человек по имени Саша. Но он всегда за кадром. Папа Карло своей скромной лаборатории. Буратины соскакивают с его верстака буквально каждую минуту…

Кто-то бы сказал: «Да подожди ты, дай я тебе хоть рот прорежу!»—а в ответ: «Некогда, папа, некогда, как-нибудь так добегу!» Или: «…Ну как же ты без ног-то, на трёх с половиной колёсах жить будешь?!»—«Нормально, папа, отпусти, я пошёл…» Петрушкин отпускает всех, кто хочет и куда хочет. На квадратных колёсах, без рук, без глаз и голыми (говорящими!) брёвнами. Только настоящему папе Карло могут попадаться (причём везде!) *Только говорящие брёвна.*

пилили женщину пилили
на части две и три и три
пилы звенели после пили
в них наступившей тишине

…И он довольно улыбается и курит, глядя в окно монитора на своих резвящихся буратин…

Невольно задумываешься, а куда всё это ведёт? А это всё ведёт туда, где ещё не было речи, где ещё не было слова, т.е. Слова как Логоса.

Это, конечно, уже не тот свист и шелест, с которым дух носился над водами (когда не было слова—был звук!), но ещё дочеловеческое птичье гуление (слово, часто используемое А. Петрушкиным) обо всём на свете.

Птичий цвирк, только чуть отяжелённый какой-то древесностью, консистенцией глины, неровностью земли. Цвирк по происхождению, но не по содержанию и лёгкости. Часто возникает обман ожидания: вот-вот начнётся чистая внятица, голос, вот-вот механический соловей взлетит и запоёт. Но нет. И это уже не соловей, а какое-то четвероногое… и ты начинаешь думать, будто оно-то сейчас и будет говорить с тобой и вилять хвостом… но нет.

Перед тобой уже телега на трёх колёсах, поскрипывая и накреняясь, бежит в известном только ей направлении…

возьми слепое я возьми кусочек тела
не грому гласный улей в узлах чужих садов
нас столб произносил скорей чем неумело
мы покупали вишню для ослеплённых ртов

На грани. Всегда на грани. Не расслабиться, не выдохнуть, не отвлечься. Дорога вихляет так, что стоит большого труда ехать по ней и не свалиться в ближайшую яму… Но! Это не загаженный или залитый парфюмерией воздух, это не ровненький асфальт или шоссе с белеющей разметкой, это не освещённая лыжная трасса, а самая настоящая изнанка земли со всеми её корнями, подземными жителями, водами и пр. сущностями.

приветствуй мя земля
которой я живу
которой я умру
и досыта наемся
отеческих гробов
и костяных корней
родного языка с которого
не деться

Если это и можно назвать дорогой, то эта дорога для бесстрашных. Это горы, или гора, или только подножие горы. Но что самое важное—это природный ландшафт, ещё не тронутый цивилизацией, а потому абсолютно настоящий во всей своей живой дикости. Мне такой ландшафт интереснее и ближе обжитого, городского, без счёту раз исхоженного вдоль и поперёк.

и если видим нам горизонтальный снег
то город неуместен между нами

Этот дикий уголок природы способен удивлять, в отличие от всех привычных речевых ландшафтов, ты не всегда знаешь, как себя вести в нём, чтобы не запутаться, не потеряться.

Она — сказала «да»…
прикинь сказала смерть:
сегодня — холода,
а завтра замереть.

Запал. Анабиоз.
Гражданская война.
Воюем оловянных,
а завтра жизнь —
одна

Юнона на авось
переплывёт сюда…
она сказала смерть
прикинь, сказала, да…

Конечно, это не тропики и не бескрайний белый голос вечной мерзлоты. Это где-то в Челябинской области, около Карабаша… это где-то в Башкирии, где на зелёных холмах белеют коровьи бока, это где-то после моста через Каму в Перми… и наконец, во всём Кыштыме

где-то…
от всякой задыхающейся воли
ты жил в кыштыме между твёрдых жил

Это — где угодно. Везде, где можно говорить с Богом. А это единственно оправданный повод говорить.

конечная станция новый год Гомер Илиада
законы Дао отменены наличьем Урала
новый почти человек со-стоит из снега в снегу
— поговори со мной говорю ему
конечная станция нежный кастет в кармане
тонкие кости ветра из пустопорожней вербы
отсутствие времени и темноты тебя не обманет
— не
поговоришь со мной —
Бог говорит мне

Рельеф книги «Отведи меня домой», как и всегда у Петрушкина, совершенно неровный, непредсказуемый. Нет такого вида транспорта, на котором можно было бы пересечь эту местность. Только самому. Только босым и в кровь. Только вслепую, т. е. так, как это и написано.

Так что же всё уходит, брат,
мы переходим бродом ад,
И даже несмотря на то, что:
все пути на свете нас приводят к смерти

…важен путь. С каждым шагом деревянные механизмы А. Петрушкина продвигаются всё дальше, а может быть, выше, поэтому становятся не так чётко видны с земли, такой же неосвоенной, такой же мастерской, усыпанной гвоздями и опилками, но всё-таки переполненной жизни… Но есть среди всех этих речевых напластований такие, через которые смотрит Бог, прозрачно, слепо, просто. Смотрит прямо в темя.

Поправь меня — вокруг сплошная сила:
Схожу с ума за тех и за других,
Но мама спросит: где тебя носило?
Отвечу: там, где был язык прибит.

Исправь меня — дощатые снега
Лежат здесь на проваленных заборах.
По Цельсию — в мороз идёт страна,
И не словарь перед тобой, а морок…

Поправь меня — Кыштым не устоит,
Не вместит мой словарь и всё такое,
Мне дан небесный, чтобы говорить
С тобой, земное.

Петрушкину не свойственно доделывать, додумывать, вычищать, отряхивать своих лохматых деревянных птиц от застрявших в глазницах опилок. Пусть идут, летят… Как умеют. Они живые, как сама речь, они нелёгкие, но разве легко земле, по которой мы ходим? Они слепые, но они не врут. Они светлые, как чаячьи выкрики, потому что на них смотрит Бог.

и я стою — не навсегда
светло и слепо

Литературное Красноярье

Владимир Яранцев

«Вот и пойми, что за человек был Зазубрин!..»

Послесловие к новому изданию книги В. Зазубрина, с необходимыми подробностями его жизни и творчества, критическими и лирическими отступлениями

Критическое вступление

И радоваться бы выходу книги Владимира Зазубрина «Два мира» после большого перерыва, да не получается. Да и найдутся ли те, кому по сердцу будет переиздание пятой, сокращённой редакции романа, однобокое предисловие к нему и вопиющие опечатки в нём. Там его автор Б. Соколов нелицемерно восклицает: «Не пора ли вернуться к авторскому тексту—и авторской воле!»—заодно давая отповедь советским редакторам, которые «отредактировали, а вернее сказать—пригладили, причесали, обезболили…». Всё дело, оказывается, только в них. Как будто не существовали первые четыре редакции 1921–1928 гг., которые правил сам Зазубрин и к которым на самом-то деле и надо было «вернуться».

Тут Б. Соколову бы и вспомнить процитированное им предисловие Зазубрина к четвёртому изданию романа (1928 г.), где автор «Двух миров» писал о давнем своём желании переработать «сырое» первое издание и где в итоге решил спустя семь лет вернуться к нему: «Я не исправляю свою книгу, не искажаю текста первых записей, отдаю её читателю в том виде, как она была издана в 1921 году».

Вот издательству «Вече» и предложить бы вниманию читателей этот самый «авторский» и окончательный текст 1928 года. Вместо этого публикуется текст 1929–1930 гг., когда и с самим Зазубриным, и с Советским Союзом происходили самые настоящие катаклизмы, так что приходилось на ходу корректировать не только тексты, но и саму жизнь. Ни о чём этом в новой книге не сказано. Зато есть предисловие М. Горького, которое он писал к переизданию «Двух миров» в страшной спешке, извиняясь перед Зазубриным за «краткость» (архив А. М. Горького). А также попытки параллелей романа Зазубрина с произведениями А. Белого, М. Булгакова, А. Толстого, А Платонова, ради которых известный булгаковед забывает, что читателя необходимо ввести в курс дела. То есть объяснить, почему печатается именно эта редакция романа, а не другая.

Может быть, всё дело в книжной серии «Красные и белые», куда попали, к своему несчастью, и «Два мира» и потому вникать в тонкости различия редакций как будто и не к чему? Главное, соответствовать теме. Да и лишние четыре главы—около 50 страниц (минус отрывки из II-й и III-й частей, о которых лишь упоминает Б. Соколов), сэкономленных на пятой редакции, вещь тоже немаловажная. Эту «освободившуюся» площадь (видимо, лимит в 336 страниц нельзя было нарушить) решили занять другим шедевром Зазубрина—повестью «Щепка». Кстати, о существовании в книге «Щепки» читатель узнаёт, только открыв «Содержание»: на обложке значится название только романа.

Это то, что сразу же бросается в глаза при знакомстве с книгой. Поскольку о политике и взглядах данного издательства приходится судить прежде всего по послесловию к этому всё же не научному, а «литературно-художественному изданию», то сосредоточимся на тексте Б. Соколова. И заодно предложим читателю собственный взгляд на биографию Зазубрина, «Двух миров» и особенно «Щепки», о которой здесь не сказано почти ничего.

Зазубрин начинается

Итак, Владимир Яковлевич Зазубрин родился 6 июня (25 мая) 1895 года в слободе Заворонеж на Тамбовщине (здесь, слава Богу, Б. Соколов показал хорошую осведомлённость, ибо до недавнего времени все дружно писали—«г. Пенза»). Сызранский период жизни будущего писателя весьма интересен, так как именно здесь истоки раздвоения автора «Двух миров» на два мира и его дальнейших попыток стать исключительно красным. Начнём с того, что в Сызрани Зазубрин оказывается благодаря отцу, высланному вместе с семьёй из Пензы в 1907 году. Но отец вскоре «от революционной работы отошёл» (Г. Фёдоров), переквалифицировавшись в юриста—«частного поверенного», адвоката. А вот сын, наоборот, «пришёл» к ней, и это был первый опыт раздвоения: будучи учащимся реального училища, он увлёкся подпольной работой, быстро заслужив авторитет. Не зря «присланная из Петрограда» А. И. Никифорова, революционный деятель высокого ранга («жила в семье Ленина 21 день»), ещё в 1913 году отметила в нём организаторские способности, «энергию, предприимчивость, инициативу». Влияние этой молодой женщины, возможно, было решающим, содействуя образованности юноши (позднее в анкете он уверенно запишет, что знает немецкий язык, вряд ли преподававшийся в ремесленном училище) и развитию его чувств (сердечное «ты» в их переписке). Интересная деталь: решение перейти от белых к красным в декабре 1919 года Зазубрин принял, оказавшись в Канском уезде Красноярской губернии, куда была сослана А. Никифорова и где её друзья могли поручиться за него.

Это было позже, а в 1914 году Зазубрин обнаруживает в себе способности не только организаторские, но и литературные. Он пишет в большевистские газеты Самары и Казани (в самарском журнале «Заря Поволжья» он даже становится постоянным сотрудником), пишет листовки в Сызрани, готовит «экс» по революционному изъятию денег (40 тыс. руб.) у одного богача-артельщика. Вот-вот и Зазубрин станет «профессиональным революционером».

Но тут происходит катастрофа — арест апреля 1915 года после жандармских подозрений и обысков года предыдущего. Именно 1915, а не 1917 годом нужно датировать начало истории с «провокаторством» Зазубрина — его службой в охранке. Чтобы попытаться понять суть этих «тёмных страниц в биографии писателя» (Б. Соколов), отступим на 8 лет назад.

Сколько уже написано об этом роковом в жизни Зазубрина эпизоде, сколько доказательств и оправданий приведено зазубриноведами разных поколений! Но как же трудно отойти от гипноза схемы: «был» или «не был», «агент» или «не агент». Зазубрин жил в многомерном мире и в понятия «революционер» и «провокатор», «белый» и «красный» вкладывал не совсем то, к чему привыкли мы. На вопрос анкеты 1924 года «Если имеете желание учиться, то чему именно» из предлагаемого перечня «грамоте, наукам, искусствам, каким именно» Зазубрин выбирает «искусствам», всем, без выбора.

Ибо Зазубрин был человеком искусств в самом широком смысле этого слова. И его участие в истории с «агентом» было игрой, спектаклем. Увы или ах, но это так. Из уже цитированного письма Г. Фёдорова Н. Яновскому можно узнать о самом раннем случае соприкосновения Зазубрина с театром: «К 1907 году… написал свою комедию «Два». В ней вывел двух провокаторов, провоцирующих в поте лица и выдающих один другого, не подозревая, что оба они были, в сущности, «свои люди». Сестра рассказывала, как он, ученик реального училища, «любил пугать нас, появляясь в смастерённых им фантастических костюмах и загримированным. Грим накладывал так удачно, что даже я не сразу узнавала его».

А ещё он был художником. Картины, которые он «писал масляными красками» в те же юные времена, тоже несли немалый элемент театральности. Вот как их описывает Г. Фёдоров: «Ведут» (поле, виселица, ведут связанного революционера), «Перед казнью» (камера, смертник в кандалах), «Чёрная» (ночь, безлюдные улицы города, чёрная карета) и т. п.» Последняя, заметим, может иллюстрировать роман А. Белого «Петербург» со студентом Николаем Аполлоновичем, переодевающимся в красное домино, и террористом-одиночкой Александром Дудкиным и его бомбой в узелке. Совпадение романа А. Белого с образом мыслей и деятельностью Зазубрина тех лет поразительно. И идёт оно от общего для А. Белого и Зазубрина увлечения Достоевским, особенно самым его революционным романом «Бесы». «Достоевский, в частности, — пишет Г. Фёдоров, — имел на него огромное влияние… «Бесы» Достоевского он знал почти наизусть. Некоторые идеи Петра Степановича ему очень нравились. Особенно ему импонировала мысль связать всех одним общим преступлением. Эту меру он хотел провести по отношению к пришедшим в сызранскую партийную организацию маменькиным сынкам. Хотелось покрепче закрепить их за партией. Плюс к этому Зубцов глубоко уважал и преклонялся перед Нечаевым…»

Заметим, не традиционный Чернышевский с Рахметовым и Лопуховым, а мистический Достоевский с Верховенским и Нечаевым. Нам трудно сейчас понять, как и почему памфлетного Петрушу Верховенского и его зловещих прототипов вроде ученика М. Бакунина С. Нечаева Зазубрин воспринял всерьёз. Не чувствуя ужаса Достоевского перед теми, кто готов на любые преступления во имя призрачного всечеловеческого счастья. Наверное, надо ощутить всю меру провинциального застоя и обывательщины и всю притягательность радикальных идей, чтобы представить себе автора «первого советского романа» поклонником Нечаева.

Тогда, в 1910-е годы, когда ещё не пахло большими революциями, Гражданской войной, фашизмом и сталинизмом, Нечаев с его «Катехизисом революционера» казался небывало новым, настоящим героем, суперменом. Анархистские идеи о «разрыве с гражданским порядком, со всем образованным миром, со всеми законами, приличиями, общепринятыми порядками и нравственностью этого мира» могут действовать опьяняюще без оглядки на их последствия. Можно представить, как, конечно же, читавший эти строки «Катехизиса» примерял на себя облик безжалостного и жестокого революционера-робота: « 1. Революционер — человек обречённый. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени… 3. Революционер презирает всякое доктринёрство и отказался от мировой науки… Он знает только одну науку — науку разрушения… Для этого денно и нощно изучает науку людей, характеров, положений и всех условий настоящего общественного строя во всех возможных слоях. Цель же одна — наискорейшее разрушение (этого) поганого строя… 6. Суровый для себя, он должен быть суровым и для других. Все нежные, изнеживающие чувства родства, дружбы, любви, благодарности и даже самой чести должны быть задавлены в нём единою холодной страстью революционного дела… У него одна мысль, одна цель — беспощадное разрушение».

Если и можно вылепить из себя подобное чудовище, то только насилием над своими умом и психикой. Мечтать, воображать, даже репетировать — одно, сделать, то есть хладнокровно убивать и бросать бомбы — совсем другое.

Не потому ли Зазубрину со товарищи удалась только часть программы, менее жестокая и более близкая к искусству лицедейства. Тот план-сценарий, предусматривающий проникновение в местное жандармское отделение. Цель — «контрразведка»: Зазубрин, известный как «крупная величина» среди сызранских большевиков, соглашается

быть «секретным сотрудником жандармерии». Но только понарошку, так как давать сведения о работе организации, её мероприятиях (изготовление листовок, планы проведения митингов, собраний и т. д.), имена революционеров и сочувствующих им, местонахождение оружия, печатных станков, поддельных документов и т. д. он не собирался. Рассчитывал на три месяца, по истечении которых его, как не оправдавшего надежд тайной полиции, должны были выгнать.

Всё это Зазубрин объяснил позже, на товарищеском суде 20 апреля 1917 года. Тогда ему поверили даже хулители, например, секретарь суда В. Табенцкий, и оправдали. В 1937 году следователи НКВД были не столь доверчивы. Они использовали против Зазубрина переписку жандармских чинов, в которой подполковник Борецкий писал, что «Минин» — агентурная кличка Зазубрина — «оставлен на жительство в Сызрани благодаря обращению в департамент полиции с прошением о том, каковой факт, быть может, уже учтён местными партийными деятелями и поколебал доверие к Минину» (30 декабря 1916). Действительно, после обыска и ареста 6 апреля 1915 года Зазубрин сидел в местной тюрьме до 4 июня того же года, когда его после упомянутого прошения в департамент полиции не выпустили под надзор полиции на два года. Зная тот факт, что «производивший дознание полковник Шабельский предложил выслать Зазубрина за антиправительственную деятельность в одну из северных губерний под гласный надзор полиции на три года» (указ соч.) можно сделать только один вывод. А именно, что ослабевший и больной Зазубрин мог избежать ссылки только одним путём — прошением о помиловании или смягчении наказания. Полиция удовлетворила эту просьбу. Но даром ли? Скорее всего, мастера плести сети и заманивать в неё неопытных оппозиционеров, жандармы вынудили юношу (Зазубрину тогда едва исполнилось двадцать лет) подписать какой-то документ о сотрудничестве. Значит, Зазубрин числился агентом не с декабря 1916 или января 1917 года, а ещё с июня 1915? Но тогда никакой рев. организации в городе не было, она была разгромлена апрельскими арестами благодаря арестованному визитёру из Петрограда Муранову, у которого была книжка с адресами и явками. И только осенью 1916 года она была возрождена. Тогда-то, видимо, и состоялась настоящая «вербовка» и первые контакты с полковником Ивлевым, который «вёл» Минина. И даже платил ему сто рублей в месяц (все деньги передавались Зазубриным в партийную кассу).

Как бы то ни было, а Зазубрин-Минин никого не выдал, не провалил. Предателем и провокатором он не был. Фактическим. А что творилось в его душе? Затевая этот спектакль, где ему приходилось три месяца, а может, и больше, лицемерить, входя в роль платного агента и ненавистника большевиков, он руководствовался всё тем же «Катехизисом» С. Нечаева. То есть литературой, фикцией. «Уважая» и «преклоняясь» перед ним, Зазубрин, очевидно, готов был и притворяться, как учил заочный наставник: «С целью беспощадного разрушения революционер может и часто должен жить в обществе, притворяясь совсем не тем, что он есть. Революционер должен проникнуть всюду, во все низкие и средние сословия, в купеческую лавку, в церковь, в барский дом, в мир бюрократический, военный, в литературу, в III Отделение и даже в Зимний дворец» Среди «условий для начала деятельности отделения» не последнее место занимает «знакомство с полицией» во имя главного «дела» — «страшного, полного, повсеместного и беспощадного разрушения».

Это «нечаевство», мечтательный романтизм, театральность — спутницу непрошибаемой провинциальности — в 1937 году приняли за сознательное вредительство. Так же, как в 60–80-е — за «ошибку» юного революционера. Сам же Зазубрин на суде в 1917 году «разоблачил» себя как неисправимого романтика: «Мы жили среди рабочих страшно инертных и тёмных. Попытки создания кружков разбивались, как о каменную стену, о полнейший индифферентизм рабочих наших не только к вопросам политическим, но и экономическим. А работать так хотелось. Так много было сил, так велика была жажда борьбы». Ясно, что Зазубрин уже тогда был больше Артистом, человеком искусства, чем политиком, идеологом. История с жандармами была, можно сказать, художественной акцией, эпатажем. Напоминающим «скандалы с Колчаком» А. Сорокина.

Конечно, было и политическое прикрытие, «легенда», «поручение Комитета». Но что поклоннику «Бесов» и Нечаева бумаги и прочая бюрократия! Согласно «Катехизису», если в организации набирается 5–6 человек, то уже готов «замкнутый кружок». И ««механизм» организации и ход деятельности кружка есть секрет для всех». Глядя на снимок 1914 года, где Зазубрин изображён со своими друзьями по сызранскому РСДРП, невозможно отделаться от ощущения, что перед нами ядро такого «замкнутого кружка». Хитро прищурившийся (отмечают все биографы всех лет) Зазубрин в белоснежной косоворотке, щеголевато подпоясанной тонким ремешком. Распахнутый пиджак, руки в карманах, широко расставленные ноги. На идейного революционера-марксиста похож мало. Слева, плечо в плечо, Г. А. Фокеев с ухарским выражением простоватого лица. Сидящий Н. Д. Воздвиженский довершает троицу: в руках листок (листовка?), на декоративном пеньке большевистская газета «Заря Поволжья», где Зазубрин публиковался под псевдонимом «В. Ов» (или «В.ОВ») — говорящий символ и «подпись» к фото. От которого так и веет энергетикой подпольной борьбы, заговорщическим духом. Через год их в таком порядке и арестовали: Зазубрин, Воздвиженский, Ф. Коротаев, А. Ананьева…

Скоро грянет революция, которая не терпит игры, иллюзий и расплывчатости. Особенно Октябрьская. Дамоклов меч определённости, нерассуждающей твёрдости мировоззрения будет висеть над Зазубриным вплоть до 1920 года. До тех пор его будет бросать по волнам грандиозных событий, ход которых он, видимо, не в состоянии был предвидеть. Да и не он один. Вспомним

Ленина, который за несколько недель до февраля 1917 не допускал и мысли о ней, а весной 1919 готовился бежать из Москвы в страхе перед наступающими белыми.

«Ничей»

Синдром «двойного агента» — охранки и РСДРП — оказался стойким. Его обострению способствовало то, что, несмотря на судебное оправдание, зафиксированное во всех документах, протоколах, газетах, Зазубрину не доверяли, в том числе свои. Как пишет Г. Фёдоров, весной 1917 года «в комитете деликатно дали понять, что работать (в органах большевиков — В. Я.) он больше не мог, так как его фигура используется враждебными партиями для обливания грязью всей большевистской организации» (Г. Фёдоров). Можно представить чувства Зазубрина, революционера с пятилетним стажем, три раза сидевшего в тюрьмах, оставившего там часть своего здоровья, рисковавшего своей жизнью и репутацией в «жандармской» истории, снискавшего авторитет убеждённого большевика-партийца (иначе в мае 1917-го его, арестованного «за большевистскую агитацию и как «германского шпиона», не освободили бы из Симбирской тюрьмы по требованию митингующих рабочих). И вот награда, вот благодарность! Взял ли он на вооружение нечаевское бесчувствие революционера-робота или использовал опыт «двойной игры», умение «притворяться», но он не препятствовал своей мобилизации в армию Временного правительства в августе 1917 года, а затем командированию в Петроград, в Павловское юнкерское училище (сентябрь 1917 года). Ведь он был, как писал Г. Фёдоров, «ничьим, никому не нужным». Свободным художником, который вполне мог усомниться в своих большевистских убеждениях и социал-демократических идеях, о которых, по мнению А. Белоконь, он «имел весьма смутное представление». Дар организатора, трибуна, вожака в нём был, очевидно, сильнее мыслителя, аналитика, «книжника».

Его-то Зазубрин и использовал, когда вошёл в училищный ревком, сагитировавший таки за переход на сторону большевиков в ходе Октябрьской революции курсантов. Получив должность секретаря Госбанка, он мог бы сделать карьеру видного партийца, о чём свидетельствует совместная работа с такими известными фигурами, как Осинский и Пятаков. Но Зазубрину вновь не везёт. Что произошло в начале 1918 года, известно, наверное, только самым тайным архивам. Или всё тому же Г. Фёдорову, который пишет об этом случае как-то невнятно, глухо: «Но тут пошёл слух о *провокаторе Черномазове* (выделено нами. — В. Я.), и в январе 1918 года Зубцов уехал в Сызрань».

И вновь надо представить себе всю бурю чувств в душе полного сил, жаждущего борьбы Зазубрина, которому не повезло и в столице. Если уж ему не поверили Осинский и Пятаков, чего уж больше? В таком состоянии «ничейности» — «куда идти, к белым? Но они враги. К красным — они отказались от него…» (Г. Фёдоров) — он вновь оказывается в армии. Тоже как будто ничейной, «временной». Но, попав в Оренбургское военное училище (пехотное отделение), затем эвакуированное в Иркутск, Зазубрин определённо знал, на что шёл. Во второй половине 1918 года во всей Сибири уже хозяйничали чехи, явно не на стороне большевиков. Так что сохранить нейтралитет в этих неравных условиях бывший большевик уже не смог. И вот в июле 1919 года свершилось: на выпускнике Иркутского военного училища появились золотые погоны подпоручика колчаковской армии. Той армии, которая сражается с красными — армией большевиков. В ней-то он и должен был служить! Но у того нелогичного времени были свои сюрпризы и резоны, свой маскарад, который он так любил и в детстве. И долго ещё продолжался. Сам вид одетого в мундир офицера-белогвардейца должен был приводить его в азарт длящейся игры, абсурдной, кошмарной, атмосфера которой так чувствуется в романах Достоевского, А. Белого и в «Катехизисе» Нечаева. «Два мира» и «Щепка» — фиксация этого кошмара, рождённого в той же мере ужасной действительностью Гражданской войны и красного террора, в какой и произведениями любимых писателей. Безболезненно такие «подарки» судьбы и игры не проходят. Произведения Зазубрина — отражения не только реальной действительности, но и внутреннего мира будущего писателя, его состояния непрерывного маскарада. Слова, ключевого для Серебряного века и его кровавого «красного» заката.

И ещё одно, тоже очень важное. Он видел, знал, ощущал А. Колчака, личность поистине фантастическую, загадочную, мистическую, прожившего жизнь, будто сыгравшего роль в какой-то величественной трагедии. Полярный исследователь и герой русско-японской войны, адмирал Черноморского флота, присягавший Николаю II, а потом Керенскому, англоман и японофил, прагматик и мистик — он подлинный сын этого «театрального» века. Не боясь преувеличить, можно сказать, что Зазубрин, будучи курсантом училища, был в плену обаяния А. Колчака, этой столь родственной ему по духу натуре. Если бы он один! Достаточно вспомнить Г. Вяткина, блестящего поэта, прозаика, газетчика, ставшего спустя всего несколько лет сотрудником, автором и коллегой Зазубрина (уж не там ли, в «белом» Омске, они впервые увиделись?). Его «колчаковство» длилось как минимум до октября 1919 года, когда он пишет репортажи с Тобольского фронта и когда у Верховного Правителя был ещё шанс переломить ход войны.

Знаменательно и то, что взводный офицер учебной команды 15-го Михайловского стрелкового полка — так именовалась должность подпоручика В. Зубцова — лишь осенью, как неопределённо пишут биографы Зазубрина («в октябре», уверен Б. Соколов), переходит на сторону большевиков. То есть тогда, когда поражение адмирала стало очевидным. А если бы Колчак победил? Увы, слишком часто приходится, повествуя о жизни Зазубрина, писать в сослагательном, гадательном наклонении. Да и вся его судьба была, по сути, сплошным вопросом — себе самому и жизни, которая предлагала ему сюрпризы на каждом повороте.

Но вот как будто начинается настоящая биография Зазубрина. Наверняка так думал и сам он, наконец-то дождавшийся, как ему казалось, определённости. И возможности писать, что у него получалось лучше, чем жить.

Итак, В. Зубцов остался где-то там, в сумбурной эпохе революций и войн. Появляется Зазубрин, а вместе с ним — настоящая, взрослая жизнь. Начинается она в 1920-м, в 25 лет, когда он берётся за перо и пишет сразу не что-нибудь, а роман. Да ещё какой! Не похожий на дореволюционные романы и на романы вообще. Какие-то сцены, картины, массовки из стана белых и красных, с параллельной хроникой жизни, мнений и мучений подпоручика Барановского. За которым легко узнать самого Зазубрина, в очередной раз «переодевшегося» в рефлектирующего романтика с фамилией, указывающей на самого смирного животного. От Достоевского у Барановского, этого несомненного автобиографического героя, роль хроникёра событий, правда, только с «белой» стороны. Роль же соглядатая-проводника по кругам ада Гражданской войны уже явно от Данте и Вергилия. Дистанцируется Зазубрин тем самым от своего героя, оставляя его в прошлом, или облагораживает его, давая хоть какие-то надежды, сказать трудно. От реальности, того, что в борьбе двух миров победил «красный», деваться некуда. Потому и получилось, что Зазубрин победил и Зубцова, и Барановского.

Но где же он, этот победивший мир? Зазубрин воспринимает его только в массе. Отдельные лица и личности он ещё только учится различать. В. Кренц и Е. Медведев — первые красные, партизанские командиры Тасеевской партизанской «республики», «отчаянные головы» (В. Боровец), которых увидел он, колчаковский перебежчик. А тут ещё повезло — спас «от насилия трёх партизанских жён» в с. Таёжном. «Бойцы с Ангары», знавшие о его знакомстве с А. Никифоровой, плюс горячее заступничество Кренца и Медведева, сразу почему-то поверивших, что он «не контра», спасли его от гарантированного расстрела.

И Зазубрин постарался оправдать доверие. Следственная комиссия — знаменитые тасеевцы, командиры и герои, В. Яковенко, Н. Буда, Е. Рудаков, И. Шадрин, В. Емельяшин, М. Щекотуров, А. Дворяткин, П. Дюков, М. Прохоров — так же быстро поверила в него. Правда, новоиспечённого тасеевца направили не на фронт, а в агитационно-просветительский отдел. В партизанскую газету, возглавляемую бывшим священником И. Вашкориным — ещё одна странность того запутанного времени. Здесь на рубеже 1919–1920 годов Зазубрин в основном слушал и впитывал в себя, своё сознание литератора то, что вряд ли мог знать, находясь на той, «белой», стороне. Зазубрин учится — заново — быть большевиком. Пропагандистом-вожаком-организатором и просто сибиряком. Слившееся воедино колчаковско-партизанское двухлетие делало этот новый образ в чём-то даже утрированным. Вот каким впервые увидела его будущая жена Варя: «В огромной овчиной шубе с высоким воротником, в чёрной папахе с красной лентой, обросший чёрно-смоляной бородой». Это плакатный партизан и охотник-таёжник. Такой, каким, наверное, представлял его себе сам Зазубрин, снявший мундир белогвардейца.

Впрочем, вскоре Зазубрину вновь пришлось его надеть. Как пишет В. Боровец, «по легенде», как «бывший командир полиграфической роты при штабе генерал-лейтенанта Пепеляева, поручик Анатолий Дмитриевич Можейков, вместе с канскими чекистами, распутывая сети белогвардейского заговора, побывал в таёжном крае». В. Ов, Минин, Зубцов, теперь Можейков, потом Барановский. Вспомнил ли сам Зазубрин тогда свой «агентурный» опыт, или ему припомнили, был ли это способ проверки или своеобразный тест на лояльность под присмотром новых «жандармов» — чекистов, вновь остаётся только гадать. Но задание он успешно выполнил, «сдал удостоверение в ЧК», хотя и не распрощался с этим учреждением навсегда. Эта «красная жандармерия» отныне станет фигурировать почти во всех его произведениях. А в одном из них — «Щепке» — станет главным героем, воплощённом в человеке-ЧК Срубове. Да и «Два мира» не случайно заканчиваются пассажем о «железных мётлах чека и особых отделов».

Вообще, «Два мира» сотканы из самых разных влияний, полны самыми разными героями, самыми разными мыслями. Но главное, этот роман явился зеркалом души самого Зазубрина, отражая смятение того, кто за короткое время несколько раз менял не только одежды и мундиры, но и образ мыслей. Это роман того, кто хочет стать человеком твёрдых убеждений, кто хочет успокоить, угомонить, утихомирить свои мысли, свою жизнь. Женитьба в этом смысле — та же «терапевтическая» мера: семья способствует оседлости физической, литература — оседлости духовной.

Столь же успокоительным было и воздействие начальника политуправления 5-й армии Я. Л. Бермана. Если верить Ф. Тихменеву, именно его советы, указания, а может, и директивы повлекли за собой «сдвиг в сознании писателя, который повлёк за собой резкие изменения в художественной направленности его романа». А читал он такие «лекции» новообращённому большевику-писателю: «Смертельно борются два мира… Сначала класс, его судьбы и во вторую очередь судьбы личностей… Основное, главное, большое, сегодняшнее — борьба за полную победу Советской власти!» Чтобы осознать роль Я. Бермана в создании романа, достаточно сказать, что он «дал роману более общее и более эпическое название „Два мира“». Тогда как у Зазубрина первоначально было: «За землю чистую». Звучит столь же революционно (непримиримо-лозунговое «За!..»), сколько и общечеловечески-бесклассово.

И если сам начальник Пуарма втолковывал инструктору подива Зазубрину о «двух мирах», «классах», «победе Советской власти», значит, вчерашнего «перебежчика» надо было учить большевизму заново и ладом! Косвенно это подтверждает тот же Ф. Тихменев. «Барановский, по глубокому моему убеждению, уже был создан им до прихода в Канск». То есть поначалу мыслился «одномирный» автобиографический роман о судьбе белого

офицера, к которому затем были добавлены сцены из жизни тасеевцев, а пафос гуманистический, антивоенный «земли чистой» был скорректирован в пользу пафоса большевистского. Причём Зазубрин сам так горячо в это поверил, что вознегодовал, когда через год увидел питерское издание своего романа с подзаголовком «Исповедь бывшего колчаковского офицера»: «плюнули в душу», «гнусный заголовок», «мерзавцы», писал он позже. Действительно, «идейно колчаковцем» он «не был никогда». Но роль (В. Боровец: «рок судьбы»), вопреки себе, наверняка играл. И тут его пытаются вернуть в прошлое, когда он уже поверил в новый, очень красный образ большевика. Да и ЧК опять могло засомневаться.

Два мира. Два романа. Два автора

«Вот и пойми, что за человек был Зазубрин»,— удивляется Б. Соколов. Понять всё-таки можно, если говорить о Зазубрине во множественном числе. По крайней мере, в двойственном. Поэтому так подходит ему не только его «распиливающий» псевдоним, но и название его первого и главного произведения.

Принимая всё это во внимание, можно предположить, что существовал некий первоначальный текст «Двух миров» (вспомним «Тихий Дон»!). Исходным здесь мог быть автобиографический, «исповедальный» текст белогвардейца, служившего в рядах колчаковцев. «Красный» текст тогда легко опознаётся как поздний, выполняющий заданную схему «двух миров». Для того чтобы дать целостную картину романа, его полного текста и пропущенных в переиздании 2008 года глав, дадим своего рода конспект романа по главам. Это поможет и тем, кто не знаком с романом вообще, и позволит дать некоторые комментарии к нему.

Глава 1. «Коготь». Жестокости и зверства колчаковцев в деревне—опьянение свободой. О ней говорится в знаменитом воззвании Колчака: «Я не пойду по пути реакции и гибельному пути партийности… Главной целью ставлю …осуществить великие идеи свободы». Из подписи Верховного Правителя вырастает коготь, пронзающий череп изнасилованной учительницы, что приводит к аллегории, или, по В. Правдухину, «лубку». Усиливает впечатление фамилия главного карателя «Орлов» = когти. Довершает плакатность главы ещё одна аллегория: воззвание с благородными, «чистыми» словами втоптано в грязный пол. Сумасшествие обесчещенной учительницы подчёркивает всеобщее безумие.

Глава 2. «Мы офицеры». Трижды повторённое на малом фрагменте текста слово «контрреволюция» призвано заретушировать очевидные восторги выпускников адмиралом. Схема «двух миров» уже здесь становится тотальной: искренняя весёлость выпускников училища гасится «винтиками жестокого механизма армии», «мутными глазами с жирным блеском», «слюнявыми кончиками губ» посетителей шантана. Появляется и то, что мы назовём ВЗ-«метками», т. е. автобиографическими деталями в романе. Это воспоминания о Павловском военном училище, где учился сам автор.

Глава 3. «Молебен». Злодеяния орловцев можно толковать двояко—белые звери, нелюди. Но и ненастоящие белые, а те, которые символизируют некую запредельную жуткую, всеразрушающую силу (вспомним о «всеобщем разрушении» в «Катехизисе» С. Нечаева). Идеология, «белая идея» не могут быть источником ужаса. Здесь что-то другое, более глубинное, тёмное.

Глава 4. «Нежные пальчики». Антибольшевизм циничного спекулянта Вострикова слишком интеллектуален для такой мелкой личности: «красный ужас лишает людей рассудка», «неслыханная духовная прострация» и т. д. В тон ему «нежная» подруга Барановского Татьяна: «Торжество большевизма—это торжество отвратительного, хамского солдатского сапога». Трижды повторённое слово «баран» символизирует коммунизм, бескультурие, толпу. Авторский намёк на Барановского и его будущие симпатии к коммунистам? ВЗ-«метка»—портрет героя и автора: «большие чёрные глаза», «пухлые губы со жгутиком пушка под мясистым носом», «ямочка подбородка».

Глава 5. «Победят люди». Речь профессора перед выпускниками училища—предупреждение для слишком впечатлительных читателей. Война—это «картина всеобщего массового безумия», «зоологические страсти». Большевизм—«это какая-то роковая болезнь, которая таится в крови народов». Мысль слишком явно повторяет основную идею «Щепки», чтобы не признать её авторство Зазубрину. ВЗ-«метка»: упоминание обожаемого Достоевского, чьи мысли о «двух безднах», озвученные профессором, так удачно рифмуются с названием романа Зазубрина. Удивляешься, зачем автор так много места отводит антибольшевистским (и слишком правдивым!) речам профессора. Заметнее и сам Зазубрин, раздвоенный на «белое» и «красное». «Два мира»—это ипостаси сознания самого Зазубрина!

Глава 6. «Все пойдём». В партизанах села Пчелино (наст. Тасеево) говорит прежде всего месть за убитых «белыми бандитами» родных и близких. Это гнев народа, «мира», а не класса. Это слово повторено четырежды, что говорит о его значимости. «Силён Колчак, а *мир* сильней его. *Миром* мы не одного такого уберём. *Мир*—сила. *Мир* всё может». Мир №1—мир «человекоподобных зверей», мир №2—народ в целом. Очевидно влияние Л. Толстого, перекличка «Двух миров» и «Войны и мира». Это подчёркивается и обилием героев массы: Жарков, Суровцев, Воскресенский, Мотыгин, Чубуков, Кренц и т. д. Между красными и «миром» автор старается установить знак равенства.

Глава 7. «Папаня плясит и длазнится». Полный текст листовки атамана Красильникова, где содержится объяснение аморальности действий белых: «Безобразные факты, чинимые большевиками,—крушение поездов, убийство лиц администрации—всё это заставляет отвергнуть те общие моральные принципы, которые применимы к врагу на войне». Значит, «миры» одинаковы в своей аморальности: одна жестокость является ответом на предыдущую, вызывая последующую и т. д. «Миры» могут существовать только в «двоемирии»,

так как они питают друг друга. Орлов, например, «зверь» только в этой системе «двух миров». Вне их это образованный дворянин. Белые зверствуют также из привычки одобрения европейцев, для которых сибиряки — дикари. «Культурность» и «зверство» — ещё одно «двоемирие» в романе.

Глава 8. «Я надеюсь на вас». Портрет Колчака — зарисовка очевидца. Едва заметные детали: «сутуловатый», «морщинистое лицо», «старческое пришепётывание», «закашлялся» — говорят об огромной усталости этого пожилого «господина», взявшего на себя «тяжёлое бремя власти». Обычная житейская ситуация — старик просит помощи у молодых: «армия в тяжёлом положении», «я надеюсь на вас».

Глава 9. «Брат на брата». Мотовилов, друг и соратник Барановского, думает, почему «сибиряки, народ зажиточный… близко стоящий к помещику, собственнику, так враждебно настроены против белых». ВЗ-«метка»: «Барановский вспомнил, что у него на Волге остался 17-летний брат и мать, что брата, наверное, мобилизовали и что, возможно, он встретится с ним в бою». Ещё одно толкование названия романа: «Два мира» — это «два брата», родных, из одной семьи, но вынужденные стать «зверями», «братоубийцами».

Глава 10. «Долой войну». Боевое крещение Барановского. Он уличает себя в малодушии, с ужасом представляя, как «штыки вонзятся в живое мясо и, как водопроводные трубы, лопнут жилы, потоками хлынет на траву горячая красная кровь». Протест против войны, прежде всего биологический, телесный: «Всё тело его дрожало мелкой нервной дрожью, протестуя, крича всеми мускулами о том, что оно хочет ещё жить, что ему противно это поле, где смерть гуляет так свободно». Этот «толстовский» фрагмент соотносит фамилию Барановского с Болконским. Смерть символически укрупняется как «чудище», набрасывающееся на людей: «острыми стальными когтями рвало их беззащитные тела». «Коготь» уже принадлежность не Колчака, а войны, рвущей и белых, и красных. Не-военность Барановского, возмущённого расстрелом братающихся. Среди физиологических деталей чаще выделяются мозги: сошедший с ума китаец держит в руках содержимое черепа его расстрелянного собрата.

Глава 11. «Сын на отца». ВЗ-«метка»: подпоручик Бритоусов «4-й Уфимской стрелковой (дивизии) генерала Корнилова 15-го стрелкового Михайловского (полка). Т. е. место службы самого автора. Схватка сына (красный) с отцом (белый) на передовой линии фронта — лишь эпизод. ВЗ-«метка»: бой идёт на реке Тобол, где воевал сам Зазубрин. Комиссар Молов — «токарь петроградский», единственный выразитель «классовости», мира красных. ВЗ-«метка» — упоминание газеты «Красный стрелок», где он работал. Косность массы: «Может быть, не все шли охотно в бой, может быть, даже коммунисты, но каждый чувствовал на себе тяжесть силы, огромной, давящей, толкающей вперёд робкие ноги, силы всего многомиллионного коллектива…Огромное, неумолимое поступательное движение *колосса коллектива* (выделено нами. — В. Я.) втягивало в крутящийся водоворот борьбы…»

Глава 12. «Почему они злятся?». Гуманизм, невоенность Барановского: «искал в душе ответа на мучительный вопрос, почему люди с такой злобой бьют людей. Что-то связывало волю офицера, он никак не мог отдать приказание стрелять». Вновь «толстовство». Есть впечатление, что иные фрагменты романа — оправдание Зазубрина перед ЧК, защитная речь перед обвинителями.

Глава 13. «Во имя грядущего». Рабочий Вольнобаев говорит языком статей из «Красного стрелка». Следовательно, «Два мира» — это «Два текста», общечеловеческий и классовый. Именно этот рабочий произносит ключевые для пропагандистской части романа слова: «Два мира, товарищи, слились в смертельной схватке. Сомнений нет: победит новый. Мы, мы, товарищи». Но мы знаем, что есть и другие расшифровки «двоемирия». Эта — всего лишь в ряду прочих. Самая «плакатная» глава.

Глава 14. «Генералы и полковники — коммунисты». Мотовилов: «Обстановка этой войны — сплошной кошмар», — что многократно подтверждено самим автором. Даже такой твердокаменный воин, воплощение антибольшевизма это чувствует: «В этой войне не оружие играет первую роль, а что-то другое, какие-то непонятные для меня духовные причины. Все теперешние наши победы и поражения построены *на чём-то внутреннем, неуловимом* (выделено нами. — В. Я.)». Барановский же не имеет ненависти к большевикам. Белый офицер-лектор докладывает о том, как сильна Совдепия: даже полковники и генералы становятся членами РКП. Это аргументы и для перехода Зазубрина к красным, и тексты его лекций в партшколе дивизии.

Глава 15. «Яркие лоскутки». Расшифровка фамилии героя: «В голове мыслей не было, думать не хотелось, какое-то тупое равнодушие, *покорность скотины* (выделено нами. — В. Я.), которую гонят на убой, овладели офицером». Была «скотина» «красная», теперь «белая». Вывод: все, кто воюет, скотоподобны — пацифизм в духе Л. Толстого. Один из художественных приёмов и примеров одушевления оружия и боя: «Как верные псы зубами, защёлкали пулемёты и, высунув свои горящие языки, жадно лизали темноту ночи». Барановский благодаря автору всегда в стороне от боевых стычек.

Глава 16. «Всему миру или тебе?» Явная склонность Зазубрина к изображению запредельных жестокостей. Но только связанных с белыми — неубитого крестьянина в страхе перед белочехами, односельчане закапывают живым со словами: «Пострадай за мир!» Это уже не Достоевский, а достоевщина с её культом страдания как пути к вере и очищению. Эпизод в пользу пропаганды одного, «красного» «мира».

Глава 17. «Пили́, пили́». Листовка красных: «Колчак разделил нас, трудящихся, на два враждебных лагеря». Тем самым обнажается «листовочная» подоплёка названия. Тайга и партизаны заодно: она «расступается», давая им возможность ускользнуть от белых. Она же, скрывая прячущихся,

стреляет в гусар. Вновь перечисление фамилий. Вновь одушевление оружия: «Артиллерия стальными кулаками стучала по земле».

Глава 18. «Проспится—опять будет Барановский». Вновь «фамильное» слово: «Погонят, как баранов, на фронт». Зато охотится Барановский «весьма удачно». Хозяйка постояльцев: «Не похожи вы на белых»,—на красных—больше, «очень хорошие люди». Воспоминания о мирной жизни, о Волге—вз-«метка». Разделились на два лагеря-«мира»: «Правда на стороне красных»,—думает Барановский. Для Мотовилова правда только в силе: «Нужны царь и нагайка»; «Вы же форменный большевик»,—говорит он Барановскому, чей «большевизм», хмельной и спонтанный, в азарте спора.

Глава 19. «Ничего не произошло». «Н-ская дивизия обратила на себя внимание диктатора… Верховным Правителем было пожаловано Георгиевское знамя» и продлён срок стоянки в резерве. Вновь воспоминания о Волге. Рассуждения большевика Никифора наводят на мысль, что роман предназначен для чтения вслух, для лекций. Вновь невоенность Барановского, который хочет «избавиться от скверной роли… инструктора убийства». У него хранится указ (Троцкого) о перебежчиках. «Мучительные дни сомнений». И Зазубрину везло на такие ситуации, полные сомнений, тяжкого выбора.

Глава 20. «Не беспокойся, милочка». Листовка с откровенной антибольшевистской агитацией: прямо в романе взвешиваются аргументы «за» и «против», идёт борьба не только двух миров, но и двух точек зрения.

Глава 21. «Покатились вниз». Вновь «мистическое место». В «железном марше» наступающих красных—что-то «страшное и неотвратимое, как судьба, что-то *необъяснимое, но огромное и властное* (выделено нами.—В. Я.), вселявшее панику в ряды белых». Командует Мотовилов, Барановский всех обыгрывает в карты: «Ему всегда везло». Когда Мотовилов жестоко обходится с людьми, Барановского нет—автор постоянно устраивает ему алиби!

Глава 22. «Ага! Ага!». Об агитационном отделе Тасеевской республики (ТСФСР), о газете «Военные известия Северного таёжного фронта»—газетный «дискурс» открыто врывается в роман и вступает в диалог двух идеологий. У большевиков преобладают штампы: «крокодиловы слёзы», «идеал денежного мешка», «либерально-поповское кликушество», «мы не караси-идеалисты», «лицемерие достигает геркулесовых столбов».

Глава 23. «Злой старик». У Барановского тиф. Он «то в полном сознании, то бредил целыми сутками»—ещё одно алиби. На постое в храме ничего христианского: грязь, болезнь, пьянство, блуд. «Вся церковь металась *в безумии бреда* (выделено нами.—В. Я.)». Бог превращается в «бога лжи, насилия, обмана».

Глава 24. «Опять старик». Из сорока человек в батальоне Мотовилова остаются двадцать девять—точность явно автобиографическая. Больной Барановский уже «наполовину нездешний». Мотовилов показывает себя настоящим разбойником.

Глава 25. «У нас мало патронов». Очередная отъявленная жестокость: белых раздели и отпустили бежать по морозу и снегу. Партизан констатирует смерть: «Готовы, как мух сварило». Жестикова узнают как насильника сестры партизана. Подробности его избиения. Сжигают живым. Поп Воскресенский, перешедший к красным, по просьбе крестьян вновь надевает ризу. Народ по-прежнему верит Богу, а не красным.

Глава 26. «Это». Картины «красного» гнева. Партизан носит гимнастёрку, сшитую из ризы,—то ли кощунство, то ли дикарство. Внутренний мир готовящегося к казни гусара изображается с сочувствием. И расстреливают его не люди, а «дохи» (синекдоха). «Сейчас,—думает он,—случится Это»,—местоимение чего-то, что пострашнее смерти.

Глава 27. «Сегодня мы все равны». Главы романа всё больше похожи на самостоятельные новеллы. От партизанских «дох»—к полковнику Орлову и оргии в его доме, где заводчик Веревкин гадает, отчего погибло дело Колчака. Палач Красильников для него—«идеал русского офицера», так как не казнит, а «рисует картину Страшного Суда». Вновь множество фамилий. Массовое раздевание как новое, половое равенство. Разрушение морали по заветам Нечаева: разврат = анархия = помешательство.

Глава 28. «Уфимский стрелька». «Новелла» о том, как и почему два белогвардейца перешли к красным.

Глава 29. «Ни черта». «Во время свержения Советской власти» был «такой подъём, такое единение… Казалось, что проклятой революции пришёл совсем конец. Мы, юнкера…»—рассказ такой искренний, что воспринимается как автобиографический. Тут же об «интересной» казни студента-большевика с кровавыми подробностями. Психологизм белых. Гибель эпизодических героев главы. Мастерство описаний всего кровавого неоспоримо: «Голова поручика расцвела алым цветком кровавой ранки».

Глава 30. «Вилы». Белых крестьяне села Медвежье и убивают по-крестьянски: вилами. С врагом борется не класс, не красные, а народ, «мир».

Глава 31. «Костёр потух». Пока Барановский был вне романа (пять глав подряд), Мотовилов берёт власть в отряде. Законы тайги в действии: подпоручик избивает полковника, мужики зарубили топором целую роту и т. д. И хочется к красным, и нельзя: отец семейства расстреливает жену и малых сыновей. Самая, пожалуй, страшная сцена романа: поедание воронами детских мозгов (тёплые, «как сейчас с плиты»). Боишься за автора, его психику. Появляется слово «зазубринка»—это ущербинки на клюве «чугунной птицы». «Зазубрин», значит, «ущербный»?

Глава 32. «Мы—обломки старого». Жуткий вагон: «смрад заживо гниющих тел и экскрементов». Рагимов: «Пойдём к тем, чья берёт», т. е. к красным. Мотовилов: «Теперь не стоит много думать». Белые понятны по-человечески, красные—только плакатно, схематически, их легко отделить от «мира», народа. Барановский их оправдывает: они «люди

нового мира… мы—обломки старого… должны погибнуть». Из гуманизма готов думать схемами.

Глава 33. «Лучше я сам себя». «Жирных вшей» на теле случайной любовницы Мотовилова и его презрения к Барановскому: «Красные хороши, но перебежать открыто… боятся… живые трупы… мягкотелые нытики»—хватает для самоубийства: «Сгусток мозга и крови прилип к стене».

Глава 34. «Есть у нас легенды, сказки». Внутренний монолог Колчака. Телеграфный стиль как отражение путаницы мыслей, бреда, ужаса. «Белая» смерть («видел её не раз») и «красная, страшная». Он «ввязался», а каждый думает не о России, а о себе. Колчак—трагический герой. В нём есть что-то от Барановского, и наоборот.

Глава 35. «Везём пожар». Вместо церковной соборности—«красная», Интернационал. Суровцев: кровью страну залили только белые, они во всём виноваты. Теперь, после победы над белыми, *всё можно*, в том числе и мировая революция. Да и народ теперь не «мир», а грандиозное «мы».

Глава 36. «Кровь кровью». Люди в больничном бараке умирали тысячами—«и в яму». Молов и Барановский лежат под одним одеялом и спорят. Но кажется, что это Зазубрин спорит сам с собой. Молов—это Мотовилов, если убрать середину («-тови-»). Барановский Молову: «у вас тоже зверь кровожадный», «довольно крови», «всё человечество» просит, как у Достоевского. Молов: чтоб не мешали «строить новое, прекрасное», «я за чека, за её очистительную железную метлу». Красные отличаются от белых, но в худшую сторону: «уничтожить все классы, создать общество бесклассовое», иначе «вы—гнилые людишки». «Мы всё возьмём сами. Мы пришли и разберёмся в созданных вами культурных ценностях, мы переоценим их и возьмём лишь то, что действительно ценно. Всё остальное в помойку». Всё это звучит в тифозном бараке. Бредят все: и белые, и красные. Автор всем даёт слово. Здесь и два мира, и два автора.

Роман с Троцким

Итак, предположение, что существовал всё-таки первоначальный текст, написанный от лица Барановского—интеллигента, случайно оказавшегося на войне и быстро обнаружившего свой пацифизм, не лишено резонов. Жестокости, порой весьма натуралистические, должны возбудить все силы, человеческие и нечеловеческие, к тому, чтобы покончить с ними, очиститься от них. Первое, «санитарное» название романа «За землю чистую» говорит о необходимости чистки, прежде всего духовной, и главного «санитара»—Мессии. Им и должен был быть, очевидно, в первоначальном замысле Зазубрина, Барановский. Но после идеологической «правки» пришлось свести его роль до «лишнего человека». «Сильный человек» Мотовилов—это оберег Барановского, его ангел-хранитель, которого автору пришлась убить, согласно схеме «двух миров». Следы замысла, где Барановский осуществляет жертвенную миссию, остаются в его фамилии: на войну он идёт как на заклание. Чем больше жестокостей в романе, тем больнее его душе. Апогея эта «жертвенная» боль, теперь уже авторская, достигнет в «Щепке», отзовётся эхом в «Общежитии».

Переделка экзистенциально-гуманистического, толстовско-достоевского романа о Барановском в роман идеолого-пропагандистский исказила его идею. Заставила думать о нём как о романе-«скотобойне», от которого тошнит (Б. Пильняк), о сплошном «кровавом сгустке» вместо «жизни, вселенной, действительности» (А. Воронский), о «кровяной колбасе» (А. Курс). Ибо «2-й», революционный «мир» воплощает в романе только месть, насилие над насилием. Если же развивать образ мыслей Барановского, то получался бы совсем другой роман, вроде «Тихого Дона» или «Чураевых». Отрывки из II и III частей «Двух миров» доказывают это. Такими «частями» оказались «Общежитие» и особенно «Щепка». Линию Мотовилов—Молов продолжает Срубов, такова семантика их образов и «говорящих» фамилий: было «мотовилить» и «молоть», теперь и вовсе «срубать». А как иначе, Барановского при нём уже нет.

После «Двух миров» Владимир Зубцов стал Владимиром Зазубриным. Вместо зубов появились зазубрины-ущербинки. Прежде чем «пилить» души читателей своим жестоким романом, он «перепилил» свою. Как партизаны из 17-й главы, которым, чтобы уйти от белых надо было за сутки сделать просеку в тайге. Зазубрин этим романом сделал большую «просеку» в своей душе. Пусть и писал он его и в своё оправдание, для канской ЧК. В итоге Барановский получился «ущербным», безвольным, «тряпичным», «гнилым», а роман—огромное «армейское» посвящение: 5-й армии, её дивизиям, бойцам, вождям и, естественно, «недремлющему оку». И, главное, из названия произведения исчезло указание—«Часть 1», стоявшее в первом издании 1921 года. Значит, ужасы первой части—не самоцель, а теза, за которой должна быть антитеза, за «адом»—«чистилище» и «рай». За Фёдором и Иваном Карамазовыми—кроткий Алёша Карамазов.

Вместо этого получился одинокий «военный» роман, где «политработник» часто был с „„художником“ не в ладу». В том же предисловии 1923 года к «Двум мирам», откуда взята эта цитата, Зазубрин соглашается с критиками, что книга «до известной степени сырая», «не вполне переделана». Через пять лет, в предисловии к 4-му изданию романа Зазубрин уже категорически заявляет, что «нельзя исправить записей, сделанных по свежей памяти и по рассказам очевидцев… Я не исправляю книгу, не искажаю текста первых записей… Для меня теперь эта книга—материал, только ступень к новым работам». И заканчивает многоточием: «Может быть, переделывая, я испорчу эту книгу, может быть, у меня никогда не будет времени для такой работы…» (13 февраля 1928). Так и оказалось: через три месяца его снимут с должности, он вновь, как в 1917–1918 гг., станет «ничьим», никому не нужным, кроме А. Горького. Начнётся последний акт трагедии его жизни…

Но тогда, в 1928-м, писатель, видимо, смирившийся с тем, что «Два мира» уже не будут никогда дописаны, предваряет текст сводкой критических

отзывов В. Правдухина, Б. Пильняка, А. Воронского. Отразив, очевидно, колебания Зазубрина, как будто ещё не расставшегося с мыслью «переделать» роман, но и допускающего, что и в таком виде она интересна «низовому читателю». Впрочем, сомнения, колебания, неуравновешенность и непредсказуемость поступков были всегда свойственны писателю. Готовому и к тому, чтобы оставить художественное творчество вообще, как это произошло в 1924–1930 годы.

А вот это уже к вопросу об «авторском тексте» и об «авторской воле» при переиздании «Двух миров»-2008. Необходимо наконец восстановить купюры, сделанные редакторами романа после 1928 года и не восстановленные в данном издании. Касаются они главным образом имени Л. Троцкого, заклеймённого как главный «враг народа». Между тем роман вышел с посвящением 5-й армии и создавался в годы, когда Троцкий был наркомвоенмором, главным после Ленина идеологом и даже литератором. Изъятие имени Троцкого представляет нам облик Зазубрина неполным, недостаточным. И то, что имя главного начальника всех красноармейцев встречается в романе так часто, говорит о многом. Зазубрину в те опасные годы надо было целиком стать «своим», полностью оправданным, очищенным от «белогвардейщины». Эту задачу он выполнил: не зря в 1921 году его приняли в партию «без прохождения кандидатского стажа» и он был назначен «начальником и лектором дивизионной партшколы» (Г. Фёдоров). И крёстному отцу книги Я. Берману, а также «охранному имени» Троцкого за это отдельное спасибо.

Итак, **купюра №1** (все купюры выделяются в тексте курсивом). В главе 5 меньшевик «кричал» на проводах выпускников: «Вы идёте на борьбу с комиссародержавием! *Вы обнажаете свой меч против двуединой монархии Ленина и Троцкого, этих предателей рабочего класса»* (с. 59 издания 1928 г.). Имя главного советского «иудушки» недопустимо рядом с Лениным, оно ещё страшнее невычеркнутого «комиссародержавия».

Купюра №2. В той же главе просто удалена фамилия: «Человек-тигр—вот тип, который приобрёл во многих странах преобладающее значение, захватил власть (вспомним *Троцкого*, Дзержинского)» (с. 63).

Купюра №3, самая большая. Глава 7. Вычеркнут весь эпизод с собакой французского офицера только из-за ненавистной фамилии. Хотя назвать животное именем «врага»—только в унижение ему. Редакторы рассудили иначе. *«—Троцкий, Троцкий, иди сюда! Поди сюда!—позвал француз свою собаку.—Поди сюда, Троцкий, скверный пёс! Поди сюда, скверное животное! Пудель вилял хвостом, прыгал на задних лапах.—Троцкий, ты не убежишь к своим в тайгу? Нет, Троцкий? Собака тёрлась о сапоги, визжала, мешала офицеру»* (с. 84). Это происходит после жуткой расправы над крестьянами села Медвежье и, видимо, призвано дать заключительный штрих в картину казни. Ибо назвать пуделя Троцким, «скверным животным»,—всё равно, что его казнить.

Купюра №4. Глава 14. Полковник-лектор выступает перед колчаковцами, рассказывая о порядках в Совдепии: «Командиры-евреи, конечно, есть, их даже очень много. *Не забывайте, господа, что одним из главных творцов, организаторов Красной армии является еврей»* (с. 139). Хоть имя и не названо, ясно, о ком идёт речь. Антисемитизм белогвардейцев общеизвестен, и Зазубрин пишет об этом, не скрывая. Крамола, видимо, в том, что советский читатель не должен был знать после 1928 года, что организатором Красной армии был еврей, да ещё и Троцкий.

Купюра №5, самая забавная. Глава 18. Сразу в четырёх местах имя Троцкого заменено на имя Тухачевского. Фрагмент текста оказался слишком большим и значимым, чтобы его удалить, и хитроумные редакторы нашли удачный выход. «—Господа, новость. М-цы вчера чуть было самого *Троцкого* не поймали,—закричал офицер Петин». Чуть ниже: «Вчера прибежал один красноармеец к М-цам, ну и сказал им, что *Троцкий* в Михайловке… а *Троцкий* у них под носом на автомобиле проскочил». И ещё: «А М-цы жалеют, что не пришлось им с самого *Троцкого* обмундирование содрать» (с. 172). Действительно, Тухачевский был бы здесь уместнее, являясь командующим 5-й армией. Почему Зазубрин использовал имя наркома, в Сибири не бывавшего? Чтобы подчеркнуть популярность его имени, о котором ходят легенды, по обе стороны фронта? Сразу вспоминается эпизод из «Войны и мира» с Наполеоном, которого чуть не поймали казаки. О немалом влиянии этого романа Толстого мы уже не раз говорили.

Купюра №6. Глава 19. Ещё два изъятия фамилии. «У меня даже хранится указ *Троцкого*»,—говорит Барановский, мечтающий перебежать к красным. А далее редакторам пришлось изменить единственное число на множественное. Восстанавливаем оригинал: «…где *он говорит*, чтобы всех белых перебежчиков принимали» (с. 191). На той же странице романа ещё одно изъятие имени наркома, уже более значимое: «А ты думаешь, красные-то меня так и примут с распростёртыми объятиями? *Как же. Троцкий-то пишет хорошо, а как масса красноармейцев думает?*». Тут слышны авторские симпатии, выраженные таким близким ему героем. Уж Троцкий-то его, белого офицера, точно бы понял. А вот другие? К огромному облегчению Зубцова, они тоже «поняли».

Купюра №7. Глава 20. Редакторы не остановились перед правкой документа—листовки красильниковцев. «Два мира: мир справедливости и мир измены и хулиганства, мир антихриста и мир шляпных торговцев». На самом деле последние слова читаются иначе: «…мир *шляпного торговца Лейбы Троцкого-Бронштейна»* (с. 197). Это самое, пожалуй, значимое искажение. Ибо в схеме «двух миров» теряется важный оппозиционный элемент: «Колчак—Троцкий». Зазубрин, разочаровавшись в Колчаке, выбрал Троцкого, а не каких-то там «шляпных торговцев». И это дорого стоило ему в конце 20-х годов.

Купюра №8, последняя. В той же 20-й главе редакторы не просто изъяли имя Троцкого из

листовки, но изменили конфигурацию текста. В главе была таблица с заголовком «Что большевики обещали и что дали». Первая, левая колонка «Обещали» превращена в предложение: «Что большевики обещали: мир, волю, хлеб…» В тексте 1928 года была вторая, правая колонка таблицы «Дали». В ней против каждого из обещаний стояло «данное»: «Мир» — «*Гражданскую войну. Натравили рабочих на крестьян*»; «Волю» — «*Двуединую монархию Ленина и Троцкого*»; «Хлеб» — «*Голод*» (с. 197). Таким образом, из-за одной только крамольной фамилии из текста был убран его важный элемент. То, что сам Зазубрин сохранил до 1928 года. И то, что, увы, не восстановили через восемьдесят лет.

Опять «Ничей»

Между тем даже это куцее переиздание романа в 2008 году можно, оказывается, сравнить и с «Петербургом» А. Белого (всего лишь по сходству принципов озаглавливания — фразами из текста и «использованием песенных текстов» обоими писателями — не густо), и с «Белой гвардией» и «Днями Турбиных» М. Булгакова. В «булгаковском» случае сходство всё же неочевидное: Мышлаевский и Рагимов из «Двух миров» — офицеры белые, но сочувствуют красным по-разному. Это видно из тех же отрывков, которые Б. Соколов приводит в доказательство своего тезиса.

Так, Мышлаевский говорит о том, что отныне не хочет иметь дела с «мерзавцами генералами» (царской и белой армий). Рагимов же длинно исповедуется в своей беспринципности: «Пойдём к тем, чья берёт», а «Родина и революция — просто красивая ложь».

Так ли уж «недискуссионно» (Б. Соколов) сходство этих двух персонажей и их образа мыслей? К тому же они люди разных «эпох»: первый из конца 1918 года, второй — конца 1919-го, т. е. начала и конца Гражданской войны. Вряд ли эти различия только «интонационны»: Рагимов уже прошёл через ад разгрома колчаковского воинства, и в нём говорит не «циническая» или «эпатажная» «житейская философия», как считает Б. Соколов, а этот жуткий разгромный опыт. В отличие от Мышлаевского, у которого ещё, видимо, всё впереди. И поэтому он «мягче» («декларативней»).

Параллель Зазубрин — Булгаков, «Два мира» — «Белая гвардия» («Дни Турбиных»), конечно, возможна и даже интересна. Особенно польстили бы Зазубрину слова Б. Соколова о «заметном воздействии романа Зазубрина на творчество Булгакова» и что в 1922–1924 годы, время работы над «Белой гвардией», Булгаков «уже тогда мог познакомиться с произведениями Зазубрина». Допустим. Но предположение Б. Соколова, что этот сугубо «южный» человек и писатель, «вероятно, был знаком с отрывками» из второй и третьей частей «Двух миров», которые печатались *только* в «Сибирских огнях» 1922 года, выглядит фантастичным, как проза самого Булгакова. В доказательство приводится одна фраза генерала Хлудова из пьесы «Бег» (1929 г.), обращённая к «призраку повешенного» в сопоставлении с авторским описанием Зазубриным гибели Барановского, в котором нет и не может быть ни тени иронии, пусть и трагической.

Не стоит и говорить, насколько разными были быт и бытие этих двух писателей. О Зазубрине можно сказать, что он вновь, как и в 1917–18 годах, оказался «Ничьим». К тому же не в бурлящей быстро созревающими талантами Москве, как Булгаков, а в глухо-провинциальном Канске-Енисейском. Работать, творить, писать, однако, хотелось не меньше, чем в столице. Легко воспламеняющийся, впечатлительный, он работал под стать новым темпам жизни, т. е. невероятно много. В уездной газете «Красная звезда» он был всем: корректором, метранпажем, выпускающим и, наконец, автором. Выздоровевший от тифа, молодожён, переполненный впечатлениями от недавней войны, собравший немало документальных материалов, просящихся в большое произведение, Зазубрин оказался в своей стихии — двуединой деятельности литератора-газетчика и большевика-организатора, «художника» и «политработника». Он и сам сознавал, что это крайности (см. предисловие к «Двум мирам»-1928), что совместить организаторство и искусство можно только с ущербом в ту или другую сторону. Единственным компромиссом могла быть только творческая работа в газете, в жанре беллетризованного очерка, когда реальный факт (иных в газете и быть не могло) нужно описать по-своему, своеобычному. Свобода — только в свободе стиля, в языке.

Зазубрину остаётся искать факты поострее и поярче, как в «Двух мирах», чтобы, изображая их, оттачивать свой стиль, тренировать перо. То, что Зазубрин мог, так сказать, «стесняться» такой откровенной подёнщины, свидетельствует «зашифрованность» подписей к статьям. «Передовые и публицистические, — писал авторитетный исследователь сибирской литературы В. П. Трушкин, — он подписывал инициалами «В. З.», а художественные очерки и зарисовки, в том числе главы из романа «Два мира», имели подпись «В. В.». Ещё одна его придумка — подпись «В. Ничей», с которой газета «Красный стрелок» выходила с 26 июля по 13 ноября 1921 года, или даже «врид («временно исполняющий должность») редактора Ничей». Этот же псевдоним Зазубрин использовал и для отдельных своих статей.

Вот оно, его судьбоносное слово-имя. Вектор жизненной линии, результирующий вечные «за» и «против», «плюсы» и «минусы». А в результате — ноль, бег на месте. С одной стороны, неудержимо влечёт к себе литература, когда роман о Гражданской войне уже давно сидит внутри, надо только сесть и записать его. С другой стороны, он не может отказаться от идеологической и партийной работы, как это было когда-то в Сызрани, в далёкие уже времена «нечаевского» революционного романтизма, увлекательного, но опасного. Значит, опять «ничей»?

При всём-то внешнем благополучии. Одна за другой выходят статьи и очерки с партийными и литературными названиями: «Наш долг», «На Востоке», «Гниль», «Накопление сил», «Чехи и чехи», «Редкий экземпляр», «Красноармеец», «О том,

кого уже нет» — и это только лучшее. В том же 1921 году его принимают в партию «без прохождения кандидатского стажа» — случай исключительный для бывшего белогвардейца. Он становится начальником и лектором дивизионной партийной школы, лектором армейской партшколы. Но где перспективы? Пусть и редактор, но заштатной уездной газеты. Пусть и пишет много, но всё будто не о том: о «шкурниках», проникших в среду красноармейцев («Белая ворона»), о групповой читке газет на улице («У газеты»), о часовом в заплатанной шинели «(«Красноармеец»). Или о новом американском тракторе, который совершил «сельскохозяйственную революцию», угробив зелёный луг — украшение города. А. Ансон, редактор газеты, заказывал что-нибудь повеселее, фельетон, а вышло нечто «тяжеловатое». Но так жалко было испорченного луга и так злило «бестолковое усердие» хозяйственников, что «смеяться он уже не мог» (Ф. Тихменев). Хотя и любил весёлые фельетоны.

Эта неразбериха и путаница эмоций: когда негодовать, а когда смеяться — характерна для Зазубрина той, слишком «быстрой» эпохи. «У некоторых это (от примирения с фактами разгильдяйства к смеху. — В. Я.) быстрый процесс, но — не у меня», — сказал по поводу этого «тракторного» фельетона Зазубрин, свидетельствует Ф. Тихменев. Не увидел ли он в этом бестолковом «фордзоне», крушащем всё подряд, революционную деятельность, не сравнивал ли с собой и своим романом «Два мира»? Ведь он тоже, как тот трактор, который «добросовестно поставил на ребро мощные пласты дёрна» — т. е. «целой чередой» факты Гражданской войны, один другого страшнее. Но так, что «никакая борона… не смогла потом… выровнять вздыбленную почву» — никакой правкой и переделкой невозможно всё это «выровнять» в настоящий роман.

Зазубрин мог вспомнить этот злополучный трактор уже в 1923 году, когда читал разгромный отзыв именитого Бориса Пильняка, трактором проехавшегося по его «Двум мирам»: «Романа в сущности нет, как нет ни фабулы, ни завязки, ни персонажей, как нет ни Красной армии, ни её бойцов, ни дивизии, ни души, ни мозга… Содержанием романа является баталия. На первых пятидесяти страницах я насчитал 27 боёв и 141 смерть». Страшный отзыв. Страшнее сцен закапывания живьём и раздевания белогвардейцев в зимнюю стужу. И это восьмикратно повторённое «ни». Только бои и смерть. И ни души.

Может, поэтому Зазубрин так гневался, когда на устных чтениях романа его пытались благодарить, и он тут же осаживал «любезника»: «Оставьте эту слащавую манеру играть в любезность!» А тут ещё случай с бараном. Один чересчур угодливый кладовщик, снабжавший пайком «ответработников» подряд два раза, якобы случайно выдаёт ему лучшие, «передние» части этого барана. Зазубрин так «взбеленился», вспоминает Ф. Тихменев, что не только отчитал «подхалима», но и на ближайшем общегородском собрании поднял вопрос: «Откуда начинается баран?» Невольно удивишься: чем так разгневал («с пылающим от негодования лицом, возбуждённый, горячий, со страстной, волевой убеждённостью гипнотизёра он захватил и увлёк собрание») Зазубрина этот, возможно, недалёкий, а может, просто симпатизировавший известному в Канске писателю и партийцу человек? Зачем так сразу обвинять в аморальности, лакействе, говорить высокие слова об «очищении земли от микробов раболепства», стрелять из пушки по воробьям? Возбудимость чувств, страстность характера, «нетерпимость к человеческим порокам» — слишком простое объяснение для такой сложной натуры, как Зазубрин. Чуткого к любым, даже случайным символам и совпадениям, его могло задеть далековато-нечаянное сравнение этого барана с главным героем «Двух миров» Барановским. Который жертвует себя большевикам, но никак не может перейти к красным, стать красным. И героя автобиографического, с которого роман начинался, согласно тому же Ф. Тихменеву. И вот кладовщик без всякой задней мысли, конечно, суёт ему этого несчастного барана. Да ещё и «лучшие части» его. Нет ничего мучительнее нечаянной символики, путающей эмоции, горячащей воображение и душу.

Да, было, безусловно, было нечто нездоровое в его романе, о чём писали и проницательный А. Воронский, и поверхностный А. Курс. Юношеское *увлечение* «архискверным» (В. Ленин) Достоевским и явно нездоровым Нечаевым Гражданская война превратила во *влечение*. Обострила и обнажила его страсть к изображению страданий человеческих. Она же упростила, огрубила, схематизировала их литературный показ. Ф. Тихменев во фрагментах статьи, не включённых во второй том «Литературного наследства Сибири» (т. II, Новосибирск, 1972, посвящённый Зазубрину), парадоксально выводит эту черту творчества Зазубрина из его особенной любви к человеку: «*Он по-горьковски глубоко и страстно любил Человека и не мог быть равнодушным к его судьбе. Вот почему в 1919-м и 1920-м годах он проявлял столь жадный и как бы «нездоровый» даже интерес к жертвам революции. Этот интерес был и в дальнейшей его жизни неотступным спутником его писательского ремесла*». Таков уж был Зазубрин, наследник раннего Горького и позднего Л. Андреева. И верным учеником Достоевского, как бы ни отрицали это поздние советские исследователи его творчества. Тем более что между человеком просто и Человеком с большой буквы есть большая разница. На «чистой» земле должен вырасти Чистый Человек, но лишь пройдя через страдания. Порой нечеловеческие.

Таким человеком, возможно, хотел стать и сам Зазубрин и внутренне, и внешне. Ф. Тихменев отмечает, что «*Владимир Яковлевич не курил (и, добавим, не пил вина и крепкого чаю, оберегая больное сердце)*». А работой своей был так увлечён, одухотворён, преображён, что «*временами он весь день не отрывался от письменного стола*», и «*все, и прежде всего женщины, стали отмечать, что у писателя очень интересная и привлекательная внешность*».

Здоровая внешность при влечении к «нездоровому», кровавое «нездоровое» творчество при «фанатическом и воинственном его стремлении ко всему здоровому» (Ф. Тихменев «О литературных «зазубринках», 1928) — не слишком ли разнонаправленные векторы для того, чтобы быть цельной личностью?

Не слишком ли реальным было его выстраданное псевдоим Ничей, чем слишком явное, откровенно плакатное Зазубрин? Эта реальность промежутка, очевидно, пугала, заставляла уходить в партийство, организаторство, забываться в чтении лекций, где всё правильно, всё по Ленину, Троцкому, Бухарину.

А люди разбитых судеб, ставшие «ничьими» задолго до того, как умерли физически, продолжали интересовать. Потому-то, наверное, таким живым получился очерк о бароне Унгерне, что тема иллюзорного существования при не вполне определённом наборе жизненных, биографических фактов была близка самому Зазубрину. Этот интерес выдаёт уже само название очерка «О том, кого уже нет (Унгерн)». В то время как Зазубрин имел возможность «четверть часа» беседовать с живым Унгерном. Зная, что тот вскоре будет расстрелян. А если бы зимой 1919-го, когда он сам решился-таки перейти к красным, его также бы присудили к расстрелу? Времени у партизан выяснять все тонкости его биографии не было. Ему просто повезло. После разгрома Колчака Унгерн превратился в преступника. Победи Колчак, он был бы героем. Всё относительно.

Вот и расспрашивает Зазубрин того, кто ещё живёт иллюзией своей правоты, будучи вскоре расстрелянным. Только в таком «относительном» состоянии можно приравнять Конфуция и Ленина — две безбожные религии. Террор? «Это обычай Востока. У китайца, у монгола враг глава семьи неотделим от членов семьи. Убить одного мало восточному человеку, надо всех». Построить на этом «жёлтом» обычае «кочевую» монархию от Китая до Каспийского моря («белые никуда не годятся») — как это окарикатуривает утопизм белых, которые хотели победить за счёт жестокости. Тот утопизм, которым был увлечён Барановский в беседе «под одеялом» с Моловым.

Но это и удел совсем не слабых личностей, которой наша критика продолжает считать Барановского. И вот в этом утописте и убийце Унгерне вдруг проглядывают черты, симпатичные Зазубрину. Это чувствуешь, когда читаешь: «Сильный, с огромной инициативой, несомненный организатор, сорви-голова и палач». А ведь ещё сызранская А. Никифорова писала о Зазубрине как о талантливом организаторе, а Ф. Тихменев — о его инициативности, способности гипнотизировать и аудиторию слушателей, и политначальников Пятой армии «идеей печатать ещё не существующий роман». И только «палач» несовместимо с Зазубриным. Это казнящее слово он отдаст Срубову из «Щепки», которого оно сведёт с ума, погубит, убьёт. А она, эта измучившая самого Зазубрина повесть, уже роилась в его голове. Унгерн только подхлёстывал.

Новые надежды. Итин

Пока Зазубрин сидел в Канске, всё больше начиная томиться добровольным, можно сказать, заключением и двойственностью своего поприща — политработник? писатель? — литература в молодой Совдепии набирала ход. Летом 1921 года появляется журнал «Красная новь». Его редактор Александр Воронский уже в первых номерах печатал сибиряков: Вс. Иванов, Вяч. Шишков, И. Ерошин. Зазубрин, как автор «первого советского романа», замеченного Лениным, с участием которого, кстати, создавалась «Красная новь», просто обязан был оказаться в числе авторов журнала. Но тут вновь, как это часто уже бывало с Зазубриным, начинаются загадки. Ни в 1921-м, ни в 1922-м ни «Двух миров», ни других его произведений в «Красной нови» не появляется. Зато абсолютным рекордсменом становится Всеволод Иванов: подряд в №№ 1 и 2 («Партизаны», «Алтайские сказки») — 1921-й; в № 1 (5) и 3 (7) («Бронепоезд 14–69», «Голубые пески») — 1922-й. Тут же близкий Зазубрину по духу и слогу Б. Пильняк с «отрывками из романа «Голый год» в № 3 за 1922-й и в том же номере будущий главный поэт «Сибогней» И. Ерошин, да ещё рядом с самим Есениным.

Хотел ли и Зазубрин оказаться в этой компании, был ли он достоин такой чести? То, что хотелось, сомнений нет: всю жизнь Зазубрин стремился только к литературе. И повторить судьбу своего ровесника Вс. Иванова, приглашённого в Москву самим Горьким и обласканного и «Серапионами» и «Красной новью», безусловно, мог. Но вот был ли «достоин»? Судя по не совсем приязненному, правда, позднему отзыву главы журнала А. Воронского, пока — нет. Тем не менее биограф Зазубрина Г. Фёдоров пишет, что в 1922 году он «демобилизуется из Красной армии, для того чтобы заняться чисто литературной работой». И вдруг: «Принимается в число сотрудников «Красной нови». В другом месте уточняет: «С этой целью («чтобы заняться литературной работой») командируется в Москву… А. Воронский принимает Зубцова (?) в число сотрудников в «Красную новь». И вдруг, без всяких объяснений: «Вернулся в Сибирь и отдался литературной работе».

Что могло случиться в Москве и почему он не стал вторым Вс. Ивановым, осевшим в столице? Суть случившегося, наверное, в «недозрелости» молодого писателя. Кто бы ни читал «Два мира», а затем и «Щепку», в один голос заявляли, что вещи нуждаются в доработке. Скорее всего, бывшему начальнику и лектору партшколы было поставлено условие: получится у вас, Владимир Яковлевич, произведение, где количество мяса, крови, мозгов и галлюцинаций будет сведено к минимуму, мы вас напечатаем и утвердим сотрудников нашего престижного журнала. То же, что он привёз тогда, А. Воронскому, видимо, не подошло.

Можно представить, что творилось в душе Зазубрина, в очередной раз почувствовавшего «ничейное» состояние: из армии демобилизовался, в «Красную новь» то ли приняли, то ли нет, «Два мира», *в целом*, хвалят, но продолжение печатать

не хотят. В том, что отрывки из этого продолжения у Зазубрина к 1922 году уже были написаны и предназначались для «Красной нови», можно не сомневаться. С чем-то же надо было ехать в столицу, что-то же надо было предъявить редактору А. Воронскому. Эта предназначенность именно московскому журналу подтверждает содержание отрывков II-й и III-й частей, опубликованных в другом журнале — в «Сибирских огнях» (далее «СО»). Гражданская война окончена, жители села Медвежье учатся жить по-новому, «коммунией». А получается курьёз: председатель волревкома Черняков решил, что новая власть отменяет деньги. В порыве энтузиазма он так «художественно» рвёт на глазах сельчан «пачку радужных», что зажигает всю толпу, «сотнями рук» топчущую свои разорванные «колчаковки» и «керенки». Сцена всеобщей истерии, когда «новая жизнь» без денег вдруг обретает старый лозунг: «Христос воскресе! Новая жизнь! Коммуния!», написана блестяще. Хотя и напоминает финал «Исповеди» М. Горького и массовые сцены из «Тайги» В. Шишкова.

Хочет жить по-новому и второй, «старый» мир. Вернее, такие, как Барановский. Теперь он живёт и работает в полутора верстах от Медвежьего на лесосеке вместе с партией военнопленных. Все они обречены. Они, совсем по Горькому, «бывшие люди». «Всё равно, где ни работай, клеймо бывшего останется… Нас не расстреляли, но заклеймили на всю жизнь», — пишет в своей записной книжке Барановский в бараке-«мертвецкой» от имени всех этих бедолаг. От прежнего Барановского-«Мессии» из 1-й части, мечтавшего о примирении враждебных «миров», остаются только эти записки. Узнав о заговоре пленных («они опять затевают что-то скверное»), он пишет «заявление в чека», но не отправляет его, боясь стать доносчиком. Так он и гибнет: с твёрдым желанием прекратить борьбу белых и красных и с «залохмаченным» от долгого ношения в кармане пакетом с доносом на белых в ЧК. Жертва двойственности, имеющей корни не столько политические (борьба «двух миров»), сколько внутренние, душевные. Всё та же коллизия, которой страдал и сам Зазубрин: «Ведь никто теперь не поверит, что у белых я был случайным человеком, был чужой у них. А теперь я вдвойне чужой и тем и другим». Это пишет не только обречённый Барановский, но и Зазубрин, уже написавший «Два мира» — роман-оправдание, роман-исповедь. Роман-обращение к Л. Троцкому и в ЧК, которая одна только и может дать освобождение от раздвоенности, от Барановского, мучающего Зазубрина напоминанием о его собственном прошлом.

Потому «двумирного» героя автор убивает, а идея обращения в ЧК, к ЧК остаётся. Возможно, уже тогда у Зазубрина и начинает созревать замысел «Щепки» — повести (романа?) о тех, кто освобождает человека от двойственности, прививая спасительное одномирие. Возможно, что это подсказали ему в Москве, прочитав отрывки из «Двух миров», в каждой главе которых обязательно есть чекист, расследующий «дело Чернякова» и диверсии военнопленных. И даже в отрывках из III-й части под названием «Чудо», напечатанных в № 5 «СО» за 1922 год, чувствуется, что без ЧК вряд ли обойдётся. Уверовавшая в коммуну Дуня подговаривает своего жениха, бывшего партизана Петра Быстрова, поджечь церковный храм. Но благодаря хитрости о. Мефодия эта акция производит обратный эффект: сельчане ещё больше уверовали в Бога и его «чудо» (на самом деле поп выдал пронесённый им из дома подлинник сгоревшей иконы за «неопалимую») и возненавидели коммунистов. Безумная шалость молодых безбожников, желание освободиться — от родителей и нравственных запретов — превращается в диверсию. Но против самих себя. Враги, ещё уцелевшие остатки «белого» мира, активизировались, народ на их стороне. Чудо действительно произошло, но не церковное, а политическое, чудо возрождения разгромленного врага.

В III-й части власть красных как будто сильна. Зазубрин описывает, как порядок на пожаре обеспечивают их грозные отряды: «…Штыки красноармейцев холодны и бесстрастны. Блестят. Полк в полной боевой готовности. Медвежинцы уже знали силу железа. Ещё раз попасть в неумолимые тиски не хотят». Выходит, должны были тут, в этой части романа, быть антибольшевистские мятежи! Они и были на самом деле в 1921–1922 годах. Вся Сибирь тогда превратилась в Вандею: победив Колчака, вчерашние партизаны повернули оружие против большевиков с их грабительской продразвёрсткой. Западно-Сибирское восстание, алтайские, красноярские выступления противников новой власти едва успевали подавлять. Остановить их можно было только новой гражданской войной, теперь уже с крестьянством. В уже цитированной книге В. Боровца приводятся факты таких крестьянских восстаний, названных большевиками «белобандитскими», «белокулацкими». Есть и цифры: «За три месяца бойцами кавдивизиона арестовано около 600 бандитов. Из них 169 преданы суду ревтрибунала». И хоть об участии Зазубрина в подавлении этих восстаний свидетельств нет, ясно, что он, мобилизованный в 1920 году, вряд ли этого миновал. Ради лояльности новому режиму.

Но на этом бурная история тасеевцев не заканчивается. В начале 30-х годов они вновь руководят народными восстаниями на этот раз против коллективизации. А в 1937-м легендарных партизанских командиров 1919–1920 годов, которые приняли перебежчика Зазубрина, поверили ему, поддержали — одного за другим расстреляли. Был среди них и Пётр Быстров, являвшийся, как мы помним, персонажем «Чуда». И в том же году, что и Быстров, был расстрелян и сам Зазубрин. Припомнили, возможно, ему и дружбу с тасеевцами, оказавшимися «контрреволюционерами», «антисоветчиками», «террористами». И умирал он от пули чекиста заодно с ними. Поразительный сюжет! Спасители, они стали одновременно и нечаянными обвинителями. Судьба Барановского, носившего донос на соратников ради приобретения новых (или старых, как посмотреть) единомышленников-красных, всё-таки сбылась. Но через долгих 17 лет.

И думал, наверное, приговорённый к расстрелу Зазубрин в московской тюрьме, что не лучше ли ему было быть убитым чекистами в начале 1920 года, чем длить мучительные отношения дружбы-вражды с коммунистической властью, так не похожей на ту, что мечталась ему в 1914-м или в 1917-м…

Но вернёмся в год 1922-й. Как пишет В. Боровец, Зазубрин «в Иркутске написал главы из II-й и III-й частей романа, но понял, что «Два мира»—завершённое произведение, и продолжать не стал». Причин отказа от продолжения, однако, было несколько. Во-первых, они, скорее всего, не «показались» «Красной нови», отчего писатель и вернулся в Сибирь. Во-вторых, Зазубрин коснулся запретного—темы контрреволюционных мятежей, о чём ему, как видно, посоветовали молчать. Как молчали о Кронштадском или Антоновском мятежах долгие годы. Ну и наконец, в-третьих, Зазубрина уже окрылил новый замысел произведения о чекистах. Которые становились в стране всё более главной, правящей силой и у которых было, чувствовал Зазубрин, большое будущее и в психологию которых ему надо было во что бы то ни стало проникнуть. Иначе как понять новую власть, новую страну, её людей, а главное—себя, так много пережившего и так нуждавшегося в осмыслении своей судьбы, своего «Я».

И тут в решающем 1922-м явилась новая надежда. Она была сродни оправданию в суде его мнимой службы агентом у жандармов. Сродни уходу из армии Колчака и благополучному укоренению в стане красных. Сродни неожиданной удаче недоделанного-недописанного романа «Два мира». Этой надеждой стали «СО» из неведомого ему Новониколаевска, организованные неведомыми ему В. Правдухиным, Л. Сейфуллиной, М. Басовым и другими. Журнал, каких в каждом городе возникало по нескольку: «Сибирский рассвет», «Сибирские записки», «Красные зори», «Искусство», «Творчество»… И которых ждал столь же быстрый конец. Почему он решил послать свои отрывки из продолжения «Двух миров» именно в этот? Потому ли, что «СО» появились в новой «красной» столице Сибири, убедили ли его пламенные призывы горячих литературных сердец В. Правдухина и Л. Сейфуллиной, оповестившие о новом журнале чуть ли не весь сибирский край? Вспоминая в 1927 году, в пятилетие журнала о том, как «ночами в библиотеке Сибгосиздата на заседаниях «тройки энтузиастов» рождались «СО», Сейфуллина писала: «Тогда же прочитали мы—Правдухин, Басов и я—роман Зазубрина «Два мира». Немедленно начались поиски автора по Сибири. Зазубрин и теперь не представляет себе, насколько ценным было для ночных дежурных сибгосиздатовской тройки того периода его ответное письмо».

Оно, к сожалению, как и многое из тех лихорадочных лет, не сохранилось. Но можно предположить, что в нём Зазубрин представлял редакции те самые отрывки из II-й и III-й частей «Двух миров», которые и были вскоре напечатаны. С той же оперативностью разыскивали и Вивиана Итина, которого «хорошо запомнил» Правдухин, будучи в жюри на конкурсе поэтов в Челябинске. Между тем в биографиях В. Итина сообщается, что жил он в те годы в Канске. Причём не простым человеком. Его дочь Л. Итина свидетельствует: «В Канске в исполкоме отец был единственным человеком с высшим образованием, поэтому его обязанности были разнообразны: он был завагитпропом, завполитпросветом, завуроста, редактором газеты и председателем товарищеского дисциплинарного суда». Там же и в том же 1922 году он издаёт свою самую известную книгу «Страна Гонгури», начатую ещё до революции.

Как ни странно, биографы Итина ни словом не упоминают о Зазубрине! Хотя жили они в одном городке, издали известные книги, стали чуть позже ведущими сотрудниками «СО». Бывали слишком часто в разъездах, «держали дистанцию»? Слишком уж разными они были людьми в жизни и творчестве. Итин родился в Уфе в семье известного адвоката, учился в Психоневрологическом институте, возглавляемом В. М. Бехтеревым, затем на юридическом факультете Петроградского университета. Политикой не интересовался: «Я мало думаю о настоящей жизни… Комиссар, большевик, контрреволюционер. Это всё пусто»,—писал он своей знакомой, в будущем известной писательнице Л. Рейснер. Во время белочешского мятежа в 1918 году «поступил в американскую миссию, которая через Сибирь и Японию направлялась в США» (Л. Итина). О дальнейшей метаморфозе в жизни поэта-романтика нам предлагают судить по автобиографическому роману «Ананасы под берёзой»: «Гелий первый бросился в хаос первоначальной власти. Случайность: полтора года юридического факультета сделали его членом революционного трибунала. Очень скоро коммунистические отряды были разбиты и уходили в тайгу. С одним из них ушёл Гелий».

В 1920 году Итин заведует отделом юстиции в Красноярске, вступает в партию, женится, работает в газете «Красноярский рабочий», командируется в Канск, издаёт «Страну Гонгури». Которая так разительно отличается от «Двух миров» своим пристрастием к самой изощрённой фантастике. «Аэлита» А. Толстого, помеченная тем же годом, не идёт ни в какой сравнение с этой «поэмой в прозе» (А. Бритиков). Если роман Зазубрина использовали в идеологических, агитационных целях, то фантастику Итина обвиняли в аполитичности. В ней тоже есть два мира, но они другие: узкий «мир» камеры, откуда партизана Гелия колчаковцы должны повести на расстрел, и широкий мир его фантазии о победившем коммунизме. И лишь позже, уже в «СО», Итин напишет пьесу-плакат «Власть» и рассказ-памфлет «Урамбо». Так что встретились они по-настоящему только на страницах «СО».

Можно даже сказать, как бы ни слишком красиво это звучало, что познакомил их именно этот журнал. Причём встык: именно так были помещены в № 3 «СО» «Солнце сердца» Итина и новые части «Двух миров». Поэма о душе, которую разожгла новыми мечтами и фантазиями революция,

и II-я часть романа о «новых хозяевах» жизни, бросающих «под колёса» (названия глав) и врагов, и друзей. Лирический герой Итина «в дремучем лесу в снегах и вьюгах зим ужасных» видит, как «Солнце Сердца бьётся / В тьме степей и смерти льдов», как «в едва мерцающей дали / Сияет высшая свобода». Эта расширившаяся до размеров Солнца душа героя диктует ему грандиозные планы: «Мы сдвинем Азию на юг!.. Мы — в стихшем сердце урагана / Бродило будущих лавин».

В этом революционном порыве больше, однако, романтического эгоизма, чем чувства коллективизма рядового бойца революции. Больше «реакционного» Гумилёва, чем «революционного» Блока «Двенадцати». «Привычное алое знамя / Лишь отблеск сиявших нам грёз». Революция для Итина оказывается лишь тенью мечтаний души. Откровеннее не напишешь. Вполне в духе студента Психоневрологического института и автора «Страны Гонгури». Да и само название поэмы так явно указывает на Гумилёва, что сами собой в памяти всплывает строка из его стихотворения «Орёл»: «…И властно превратила сердце в Солнце». Наконец, рецензия в «СО» на последнюю книгу Гумилёва «Огненный столп» не оставляет сомнений в его симпатиях поэзии расстрелянного красными поэта. «Его смерть и для революционной России останется глубокой трагедией», — имел смелость написать Итин в № 4 журнала.

Зазубрин стихов не писал ни до, ни после революции. Это был исключительно человек прозы, реалистичной, суровой, где даже образы, аллегории, символы имели прозаический подтекст. Ведь и Достоевский, Л. Толстой, Л. Андреев, самые очевидные его кумиры, стихов тоже не писали. В продолжении «Двух миров» чудо если и происходит, то ненастоящее, подложное, подлежащее ведению и контролю ЧК. Итин же в своей поэме пишет: «Сквозь бури, морозы и пламя / Я душу, как чудо, пронёс». Чудо здесь — сам Итин, его солнечное сердце. Что может быть более чуждым Зазубрину, так нечудесно мучившемуся раздвоением души и всей душой жаждавшем цельности?

Тем не менее они ещё раз заочно встретились в 1922 году на страницах № 5 «СО». Но на этот раз сердце Итина, как видно, дрогнуло перед авторитетом автора романа «Два мира». В стихах «Я люблю борьбу и чем трудней, тем больше…» перед нами новый Итин, наступивший на горло собственному романтизму и с новым солнцем в груди. Ибо стихотворение посвящено Зазубрину и несёт на себе явный отблеск его новой прозы, где всякое двумирие ликвидируется с помощью ЧК. «Террор ясен и убить так просто. / В наших душах нам нужней ЧК — / Пулей маузера, в подвалах мозга, / Пригвоздить ревущие века».

Это стихотворение того, кто, несомненно, читал или слушал в исполнении автора будущую «Щепку». И это стихотворение того, кто, проникшись философией этой повести, понял, что «нужно пальцы чувствовать — на горле / Своего второго „я“». Гумилёв уступает место Зазубрину, романтика «Орла» — «романтике» ЧК, подчиняющей душу Ей, Революции, вплоть до своей погибели. С тех пор Итин уже не пишет стихов в духе «Страны Гонгури», постепенно переходя на прозу, а потом и целиком на очерки.

Критическое отступление

Вот что можно было рассказать о Зазубрине времён Канска и «Двух миров». И что скрывается за скупыми официальными строками послесловия Б. Соколова: «Работал в газете уездного революционного комитета и укома партии «Красная Звезда», в партшколе и политотделе Первой Сибирской дивизии, читал лекции канским педагогам, выступал перед красноармейцами». Из такой скудной информации вряд ли можно понять, «что за человек был Зазубрин». Зато можно понять, какими текстами и контекстами мыслит Б. Соколов, вступая на зыбкую почву параллелей прозы Зазубрина не только с М. Булгаковым, но и с А. Толстым («Хождение по мукам») и даже А. Платоновым. В связи с его «Чевенгуром» автор послесловия вспоминает очерк «Неезжеными дорогами», пересказывает его, сравнивает Рогова, «героя» очерка, с чевенгурцем Чепурным, цитирует, чтобы, видимо, поскорее перейти от незнакомой ему сибирской жизни Зазубрина к родной, московской.

Отсюда ясно, почему Б. Соколов хотя бы не упомянул о «Бледной правде» и особенно «Общежитии», вызвавшей в 1923–24 годах такой большой скандал и в Москве, и в Новониколаевске. Ничего не сказал о Союзе сибирских писателей — детище Зазубрина и, главное, что именно при его редакторстве «Сибирские огни» и сибирская литература поднялись на высокий литературный уровень. И вновь можно объяснить это скромными задачами неакадемического издательства «Вече», его серии «Красные и белые» и автора предисловия Б. Соколова, которому не до подробностей. Но, раз уж в книге вместе с «Двумя мирами» опубликована и «Щепка», дополним предисловие к книге рассказом об этой повести Зазубрина, о которой автор вспомнил лишь в самом конце. Вернее, о её ненайденной рукописи. «Но, может, ещё отыщется…» — надеется Б. Соколов, обрывая свой текст. Как будто то, что мы имеем на сегодняшний день, — машинопись повести, обнаруженная исследователем из Томска Р. И. Колесниковой и опубликованная впервые в «Сибирских огнях» в 1989 году, — не заслуживает такого пристального внимания, как «Два мира», потрясших М. Булгакова и А. Платонова. Надеемся, конечно, и мы. А пока обратимся к опубликованному, в том числе и в данной книге, тексту.

Симптом «Щепки»

Для Зазубрина же эта жестокая «Щепка» стала роковой. Она не отпускала его как минимум десятилетие. Он переписывал её несколько раз, предлагал и в «СО», и в «Красную новь», давал читать чуть ли не каждому известному литератору и даже, как говорят, Дзержинскому. Но до публикации она дойдёт только в 1989 году. Когда актуальным станет разоблачение не только Сталина и сталинизма, но и Ленина, пороков, грехов, преступлений всей советской власти. Поэтому

так легко тогда это непростое, «авторское» произведение подверстали к другим, «полочным», запрещённым в советское время: «Окаянные дни», «Повесть непогашенной луны», «Приглашение на казнь», «Чевенгур» и «Котлован», «Солнце мёртвых», «Собачье сердце» вместе с мемуарами Деникина, Краснова, Туркула и др.

Каким бы ни было справедливым такое однозначное, антибольшевистское прочтение «Щепки», оно всё же не учитывает главного — личности Зазубрина, его биографии, той ситуации, в которой он оказался в год её написания — 1922-й. А она была такова. Во-первых, Зазубрин планировал, и самым серьёзным образом, продолжение романа «Два мира», который должен был вырасти, может быть, в эпопею. Запрет на изображение «белокулацких» мятежей поставил на этих планах крест. Во-вторых, приглашение работать в Москве, в «Красной нови», обязывало, пусть и подсознательно, писать «по-московски», как это удавалось сибирякам Вс. Иванову и Вяч. Шишкову. То есть образней, словарно богаче и пластичней, так, чтобы А. Воронский, ценивший превыше всего «художественность», мог его напечатать. Нужен был поиск новых тем, героев, стиля. Но чем больше он искал новизны и оригинальности, тем больше видел, что выйти из круга проблем своего понимания и видения революции и новой власти, осознания себя и своего «Я» в ней не может. И это в-третьих. «Щепка» вольно или невольно оказывалась продолжением «Двух миров», с автобиографической темой Барановского-«Мессии», пророка пацифизма и нечаянной жертвы противостояния этих слишком больших для «маленького человека» миров.

Так, в «Щепку» перешла тема «двух миров», двух текстов, двух авторов. Один текст — исповедь чекиста Срубова о своей главной любви — к Революции, доводящей его до сумасшествия. Второй текст — «белогвардейский», где вчерашние палачи оказались в роли жертв, в число которых может попасть любой. Прежняя схема переворачивается, классовая правота красных, которую в «Двух мирах» ему приходилось доказывать ценой искажения главной идеи романа, теперь подвергается сомнению. К казнимым у Срубова и его подельников ненависти нет. Он только и делает, что доказывает: белые офицеры и их единомышленники — препятствие к лучшей жизни, мусор истории, «бывшие люди». Чтобы доказать это, надо что-то изменить в себе, переделаться, утерять человеческие дух и плоть. Стать щепкой, деревом. Потому и повесть эта — об опыте самопеределки — заканчивается трагически.

Но только для Срубова, для его «текста». Остальные превращение пережили безболезненно. Отсюда нечеловеческая суть их фамилий-ярлыков и их владельцев: Соломин-высохшая трава, Мудыня-человеческий низ, Худоногов-ущерб-порок-вырождение, Алексей Боже-юродивый-маргинал (антипод житийного Алексия, человека Божьего), Непомнящих-беспамятный, самая подходящая фамилия для подручных террора, не помнящих своего родства. Эта расстрельная пятёрка чекистов как-то сразу напоминает пятёрки революционеров-террористов из «Бесов» и «Катехизиса» С. Нечаева, о полуанархической юности Зазубрина. Неужто сбылись его провинциальные «нечаевские» мечты о том, что «революционер — человек обречённый, без чувств, собственности, имени». О том, что главное в революции — «наискорейшее беспощадное разрушение». А как быть с «Бесами» Достоевского, где эта нечаевщина отождествлена с бесовщиной, бесчеловечием, безумием? Революция и провокация, идеальное устройство человечества и средства его достижения — простая схема «красные-белые», выходила на какой-то другой, более сложный уровень. Тот, где нужна эрудиция учёного и литератора, титанов духа и мысли, вроде Достоевского.

Если в «Двух мирах» Зазубрин с этим благодаря агитационной схеме-подпорке справился, то в «Щепке» он просто-напросто запутался. Герой и антигерой, палач и жертва, революция и контрреволюция — распределить по полочкам эти понятия оказалось непосильным. И автор вместе со своим героем дал слабину, применил запрещённый приём — психическое расстройство. То, что позволяет избежать прямых оценок.

Что говорить о Зазубрине, если даже такой искушённый критик, как Валериан Правдухин, не смог всё «разложить по полочкам» в «Щепке». Он прочитал совсем другой текст совсем другого автора: «Зазубрин художнически побеждает мещанство, индивидуализм, выжимая из нас оставшийся хлам мистических и идеалистических понятий в наших душах о нужности ненужных, остывших уже идей». И это «идеи» не какие-нибудь, а великие понятия гуманизма, восходящие не столько к Канту и Достоевскому, сколько к Богу и самим основам существования человека. Критик же называет их «историческими занозами», которые надо извлечь во имя «героического подвига переустройства человечества». Срубов не мог этого сделать, потому и погиб. Но свой «тяжёлый революционный подвиг» он совершил, показав, как необходимы революционеру «великое самоограничение личности и коллективная дисциплинированность». Похоже, Правдухин поддался обаянию Зазубрина и ужасов его вдохновения, как и Итин. Той «заразе», «болезни» чекизма, которой мучался сам Зазубрин.

Но была у критика и другая, конкретная цель — подготовить «Щепку» к печати благодаря такому «оправдательному» предисловию. И не только в «СО», но и в Москве. Об этом пишет сам Зазубрин в письме Феоктисту Березовскому в марте 1923 года: «Правдухин запалил её («Щепку») в Москву». Ясно, что именно тогда или чуть ранее решалась судьба «Щепки», отвергнутой в «СО» и в московских журналах. Скорее всего, именно под влиянием «Щепки» А. Воронский и написал, что Зазубрин не пишет, а галлюцинирует. Ибо вся повесть читается как сплошная галлюцинация человека, оказавшегося под влиянием ложной идеи. Метафоры, образы, символы кажутся здесь только вспомогательными средствами создания этой большой галлюцинации под названием «Щепка».

Любивший делить повествование на озаглавленные главки Зазубрин оставил здесь одни «голые» римские цифры. Признак того, что написанное не поддаётся поименованию, всё спонтанно и непредсказуемо, как во сне.

Все писавшие о «Щепке» согласны в том, что **глава I**—самая кровавая, шокирующая. Она столь же похожа на реальность, сколько и на сон. То же и с метафорами, которые в этом новом измерении пространства и времени готовы поменяться местами с неметафорическим миром. Ибо прежняя удобная схема: плохие белые и хорошие красные—перевёрнута и спутана. То же происходит и с мирами воображаемым и наличным. В первой главе количество метафор на единицу текста превышает норму, по крайней мере, для прозы Зазубрина. В первом же предложении: «На дворе *затопали стальные ноги грузовиков*». Также «затопали» у Зазубрина и последующие образы: спрятались «*за дымную занавесочку*» табачного дыма; «*жирной волосатой змеёй* выгнулась из широкого рукава рука с крестом»; «на серых стенах *серый пот*»; «*листьями опавшими* шелестели по полу слова молитв»; «бритое румяное лицо *куклы из окна парикмахерской*»; «глаза с *колющими токами зрачков»;* «на огоньке *огненные волдыри ламп»;* «страх туго набил *стальные обручи на грудные клетки»;* «у павших *нет языков, полны рты горячего песку»;* «голос у него *сырой, гнетущий—земля»;* «шум автомобилей *похож на стук комьев мёрзлой земли* в железную дверь подвала». Эта перешифрованная на новый, метафорический код реальность начинает жить по своим законам. Рождаются развёрнутые сравнения, вытесняющие сравниваемое: так, *«узкий снежный двор»* превращается для расстрельщиков-палачей в *«накалённый добела металлический зал»*, который, «вращаясь», сбросил людей «в люк другого подвала».

Галлюцинирующий код задан, писателю уже не выйти из «вращающегося зала» своего «раскалённого добела» повествования. И вот уже «второй подвал без нар» похож «на изогнутую печатную букву Г», в «крючке» которой—мрак, в «хвосте—день, а «сверху навалилась пустобрюхая глыба потолка»; вместо конвоиров—видны только их оружие и звёзды—«железа… больше, чем людей», а их «курки», добавляет зачем-то Зазубрин,—«чёрные знаки вопросов». По тому же закону вытеснения «высшая мера насилия» мерещится Срубову не в расстреле, а в раздевании приговорённых.

Срубов галлюцинирует, а его помощники расстреливают, отволакивая трупы с помощью накинутых на ноги петель. Ибо они, помощники, уже «переделанные», в их фамилиях имена не существительные, а осуществлённые. «Срубов»—фамилия глагольная, в ней (и в нём) ещё идёт процесс, он ещё живой. Расстрелы-убийства для него понятны, только если превратить их в метафоры, иначе сознание не срабатывает (не «срубает»; может быть, и «Срубов» от «срабатывать»?). И ещё одна лазейка—думать, что убивать не людей, а «туши мяса». Как придумал себе Соломин, который в деревне колол скотину «завсегда с лаской». Эта заповедь палачей: «расстреливать белогвардейцев так же необходимо, как резать скот»—вновь отсылает к Барановскому. Но уже перевёрнуто, профанно. Ибо чекисты валят гекатомбы жертвенного «скота» ради всё того же «всеобщего разрушения» автоматически. Ради ужаса и извращения реальности. Дурная бесконечность казней делает средство целью, уничтожая цель. «После четвёртой пятёрки Срубов перестал различать лица, фигуры приговорённых, слышать их крики, стоны». Затуманиваются и смысл и цель. «Машина, завод механический» расстрелов заслоняет видимость цели, вытесняет её, как метафора—реальность. И в конце концов завладевает человеком. Обычный, привычный, он расчеловечивается, становится пешкой, винтиком в «стихийном беге механизма». Отработанный, использованный, он оказывается щепкой—куском сухого дерева, отколышем, уносимым потоком в никуда, в безумие, в смерть.

Но всё это—только часть той сложной мозаичной картины, которую представляет собой «Щепка». Слишком было бы удобно, гладко думать о Срубове в параметрах этой схемы «винтик—щепка». Есть у него ещё заветное—«Она», Революция, хозяйка расстрельной машины, искажённая до неузнаваемости Вечная Женственность, София Владимира Соловьёва, Блока и символистов. Её можно любить только платонически, она же любовь понимает и принимает не абстрактно, а только телесно. Парадокс Блока, который любил свою Любовь Дмитриевну духовно, но женился на ней самым земным образом. Был повенчан мужем, а как мужчина был с «незнакомками»-проститутками. Вопиющая путаница символистов перешла по наследству к ранним большевикам. Срубов молится на Неё, верит в Её чистоту и непогрешимость и пачкает руки кровью, губит себя духовно и физически. И вот трупы в сознании чекиста-модерниста превращаются в «берёзы белоствольные», их вяжут в плоты «из пяти брёвен», «на каждом пять чекистов», река превращается в лаву из вулкана, которой Срубов «выброшен на недосягаемую высоту». Убийство спутано с жертвой, любовь—со страстью-похотью, трупы—с берёзами. Это мир без щепок, но с целесообразностью, здесь всё идёт в дело. И вдруг—щепка. Отщепенец Сруб<u>ов</u>, срубающий врагов революции, Её врагов, становится Сруб<u>ленным</u>, отрубком.

Эта первая глава является в повести главной, определяющей. Она слишком явно, заметно отделена от последующих. Которые описывают жизнь Срубова вне расстрельной машины—в конторе, дома, в театре, на собрании. То есть вне той «целесообразности», плотской, почти интимной принадлежности к Её хозяйству, которая так пугала и возвышала его в первой главе.

Здесь путаница заметнее. Она растёт, ветвится, как паутина, мешает мысли, чувства. В **главе II** её олицетворяет, а вернее, стимулирует выпиваемый героем спирт. В метафорические ряды выстраивается всё подряд, в том числе «белая сорочка Маркса» на кабинетном портрете и Её рубашка, усеянная паразитами (врагами революции,

расстреливаемыми им); дом купца Иннокентия Пшеницына с вывеской «Вино. Гастрономия. Бакалея» и этот же дом — с новой вывеской «Губернская Чрезвычайная Комиссия», где в подвалах теперь вместо сыров, колбас и др. — «колбасы рук и ног». Это сопоставления без выводов. Путаница их и не предполагает.

В **главе III** она наконец названа своим именем: «Мысли комками, лоскутами, узлами, обрывками. Путаница. Ничего не разберёшь. Ванька пьёт, сам пьёт. Почему им нельзя? (Ну да, престиж Чека. Они почти открыто. Да. Потом, вообще, имеет ли права Она? А, Она? И вот взаимоотношения, роль, кровь. Хаос. Хаос)». Путаница в голове отражается в путанице дел. Письма от доносчиков, анонимов, доброжелателей — грязь, навевающая мысль, что он «а-с-с-е-н-и-з-а-т-о-р», имеющий дело «только с отбросами». И вдруг — письмо отца: откажется «будущее человечество от «счастья», на крови людской созданного». Думать не даёт и Ян Пепел, руководитель «агентурного отдела» с его чёткой формулой: «Я есть рабочий, ви есть интеллигент. У меня есть ненависть, у вас философий». Осведомитель, предающий «брата своей жены», белый полковник Крутнев, объявляющий себя «преданнейшим идейным коммунистом». Путаница, рождённая абсурдом. Срубов только констатирует факты, способность анализировать атрофирована.

Глава IV. Уход жены — без всяких метафор. Так же, как слово «палач», от которого не спрятаться «куда-нибудь под кровать». Она — «мещанка». Роли распределены. А как же сын, «маленький Юрка»? Он общий, «обоим родной». Как такое может быть? Ещё один симптом роковой путаницы.

Глава V. Симптомы путаницы ширятся. Большевистское красное знамя — «ошибка», оно должно быть серым, по цвету «будней, голода, нищеты». От «красно-серых» будней Срубов бежит в театр, на балет, чтобы услышать шепоток: «Губпалач». А затем рассуждать про себя об уважении к палачам: они «делают огромную черновую, чёрную, грязную работу». И апофеоз: сон об «огромной машине», превращающей мясо в «красные черви» из мясорубки и в «кровавое тесто». Черви становятся коровами с человеческими головами, одну, с девичьей косой, он убивает. Итог — появляется двойник из зеркала, который его «караулит». Раздвоение как предвестие сумасшествия.

Глава VI. Отец Срубова: «Большевизм — временное болезненное явление, припадок бешенства, в который впало большинство русского народа». Ика Кац — тот, кем был бы Срубов без души (щепкой). Не зря в его гимназическом, университетском друге и расстрельщике отца поселилось «*деревянное*» (выделено нами — В. Я.) безразличие. Освобождение 112 человек крестьян — безликой толпы как одного «стоголового пахучего зверя». В компенсацию за убитого Кацем отца. «Революция — не развёрстка, не расстрелы, не Чека», это «братство трудящихся», «это жизнь» — чеканит Срубов. Без таких «компенсаций» — безумие и смерть.

Глава VII. Приговор «жидкоусому» («не любил слабых, легко сдающихся»). Оправдание белого, ранившего его на фронте в плечо («открытое лицо, уверенный взгляд расположили»). Приговор коллеге — следователю, насиловавшему подследственную. Действует то эмоционально, то рационально. Новое определение революции: «организованность, планомерность, расчёт», она — «завод механический». И это противоречит «жизни» и «братству». Путаница, неустойчивость сознания растут.

Глава VIII. «Диво» (сон?) Срубова: Белый и Красный ткут серую «паутину будней» — заговор и его раскрытие. Всё это — «путаница паутины», отнимающая уже «третий год» его жизни. Чем больше Срубов думает над террором, записывает «мысли» о нём, тем больше запутывается: «автомат-расстреливатель», «газы, кислоты, электричество» как способы быстрого уничтожения людей для него уже не террор. И это самый тяжёлый симптом его болезненной путаницы и вытекающего из неё сумасшествия. В этот «теоретический» день «для него нет людей»: он всем подписывает расстрелы. Его лицо «неподвижно-каменное, мертвенно-бледное приводит в ужас» просителей. Это лик самого террора, дошедшего до своего крайнего предела.

Глава IX. Разоблачение заговора (распутывание «Белой» паутины) — решение задачи, математический «расчёт»: тридцать две «пятёрки» врагов. Расстрельные списки подписаны. Чувствует себя «на огромной высоте» чего-то надчеловеческого, надморального. Но всё же боится потерять меру, точку дозволенного. Её определяет «трёхгранная пирамидка» в его мозгу. Она «железной твёрдости и чистоты. Её состав — исключительно критикующие электроны. Волосы прижал поплотнее к черепу, чтобы не выскочила драгоценная пирамидка». Вспоминаются одновременно гоголевские «Записки сумасшедшего» и «Органчик» в голове градоначальника Брудастого М. Салтыкова-Щедрина. Сам Зазубрин, выходит, хотел удержаться на «точке» оправдания своего героя и жестокой сатиры на него (опасность превращения). Симптом щепки — подпись, напоминающая «кусок перекрученной *деревянной стружки*», нацепленной на кол».

Глава X. Записки Срубова — «последняя вспышка гаснущего рассудка». Всё сделали правильно (о расстрелах). Но беспокоят мысли о тленности человека, невозможности его бессмертия. «Умерли они — умрёшь и ты». Срубов понимает, что не может «без философии». В этом его смертный приговор.

Глава XI. Болезнь путаницы переходит в агонию: «клиника для нервнобольных», «смещение с должности», «длительный запой». Побег с допроса, встреча с двойником, топор, щепки. Этот акт расправы с двойником из зеркала — попытка освободиться от своей «чекистской» ипостаси расстрельщика. С этого момента он становится жертвой: Кац подписывает постановление об аресте. Но и сам он подписывает приговор Ей — «любовнице великой и жадной», которой «отдал лучшие годы жизни», которая взяла его «душу, кровь и силы и нищего, обобранного отшвырнула». Он стал щепкой-отщепенцем, оторванным

от революционной плоти. Но и человеком, не одеревеневшим до конца палачом.

Финал повести столь же глубоко двойствен, сколько и определение щепки—образа жертвы и палача. Она—Революция, с большой буквы, использовавшая ещё одного «любовника», не довольна и сыта, а наоборот, изранена, окровавлена, оборвана. Её «брюхо»-чрево «пухло… от материнства (и) от голода». Ей одинаково тошнотворны заговоры и саботажи. Она «зоркими гневными глазами» смотрит на мир. Она и «баба», и Революция, и «теория» и «практика», ей нужны и террор, и любовь—жизнь и душа человеческие. Сам Зазубрин раздвоил её в заголовке: «Повесть о Ней и о Ней». Но так и не пришёл к единству: его Срубов молился сразу двум богиням и потому сам раздвоился. Трагедия чекиста сошлась с трагедией народа, разделённого на два мира.

«Щепкой» Зазубрин не покончил с «двоемирием» первого романа, а только усилил его. Барановский, который мог уцелеть в III-й части романа и попасть на службу в ЧК, мог стать и Срубовым. Но и его как «интеллигента» всё равно ждала бы смерть. Барановский-Срубов—две ипостаси одного героя, жаждущего всемирной чистоты и нового человечества, но никак и ничем не могущего оправдать террора. «Ассенизатор» не тождествен «палачу». Как робкий «баран» не равен кровавому «срубателю». Потому и путаница, потому и сумасшествие.

Но куда больше созвучий в другом ряду фамилий: Зу<u>б</u>цов—Зазу<u>б</u>рин—Сру<u>б</u>ов. Революционер-агент-белый-красный-партизан-чекист. Как созвучны все эти ипостаси одного человека и по смыслу и по звуку: <u>зуб</u>-<u>зазубр</u>-<u>сруб</u>, то, что чревато раной, кровью, насилием. И это повторяющееся -<u>уб</u>-, будто из страшного глагола *«убивать»*. И только ли других? Зазубрин—человек, терзающий прежде всего самого себя, на своей душе оставляющий зазубрины, в очередном произведении переходящий от пилы к топору, чтобы рубить голову двойника, приверженца то ли общечеловеческих ценностей, то ли красного террора. Понимал ли, знал ли сам, какого из двойников рубил?..

Слово о Доме

Отступление лирическое

Канск… Город, который сделал Зубцова Зазубриным. Скорее, городок, мало чем отличавшийся от других таких же купеческо-мещанских в Сибири и России. Количеством жителей, не дотягивавшим и до 20 тысяч, архитектурой—в центре каменный (два десятка домов), далее—сплошь деревянный (тысячи полтора изб)—вполне мог напомнить ему родную поволжскую Сызрань. Единственное отличие: населения и размеров городу добавляло его «дорожное» происхождение. Как народился он «у брацкого перевозу» в 1636 году в ранге казацкого острога, так и прирастал потом Московским трактом, а затем Транссибом. Не зря главной улицей была и оставалась Московская, на которой были «лучше магазины… разные учреждения… церкви».

В этом же процитированном справочнике начала XX века констатировалось, что город «будущности не имеет никакой». Несмотря на усилия властей, строивших не что-нибудь, а гимназии, училища, школы. Но «будущность» Канска попрежнему измерялась его неторопливой историей, навеки отпечатавшейся в его улицах, длинных и больших, как сибирские дороги. Одна из них так и называлась—Большая. На ней и стоял дом, в котором Зазубрин, тогда ещё Зубцов, нашёл свою большую судьбу и будущность.

Сейчас дом заброшен и пуст: догнивают пол и кровля, всюду какой-то свалявшийся безликий сор, а затхлость и тлен гонят из всех шести комнат избы скорее на свежий воздух. Настолько, что трудно представить, каким он был 90 лет назад. Когда в дверь постучался новоиспечённый красный партизан Владимир Зубцов с ордером на жительство.

Этим домом владела трудовая семья Теряевых, исключительно женская: мать Анна Романовна (отец умер ещё в 1908 году) и шесть её дочерей. «Таких домов, как наш,—писала спустя годы сестра жены Зазубрина Мария Прокопьевна,—в то время в Канске было немного: просторный, светлый, сделанный точно на заказ для нашей многодетной семьи». Её дочь И. И. Липилина сохранила в памяти обстановку дома в годы его расцвета. Вот этот наивно-нетленный текст, который грех править или сокращать: «На окнах массивные ставни, на болтах, которые продевались внутрь. Кровати застилались светлыми покрывалами, на полу—чистые сибирские половики (х/б), плетёные и шерстяные очень красивые дорожки в широкую яркую полоску. Был большой обеденный стол (овал) с толстенными резными ножками, венские стулья; у стены, перед столом, буфет большой и красивый. В нём 2 сервиза—столовый, фаянсовый… и очень хрупкий отличный чайный, светло-зелёного фарфора, оба русские. На столе скатерть (почти до пола концы). К ним (скатерти менялись) комплект тканевых крахмальных салфеток. На столе всегда «кипел» самовар, который стоял на медном подносе… Бабушкин дом славился хлебосольством и истинно русским гостеприимством. В этой большой комнате зимой устраивалась ёлка.

Маленькая комната была очень простая и всегда в «рабочем беспорядке», тогда как в большой был идеальный порядок и чистота, но она была холодная, а бабушкина комната—тёплая. В большой топилась печка-голландка и ничего не грела, обшита была чёрным листовым железом. К бабушкиной комнате, по всей вероятности, примыкала кухня с отличной русской печкой, где «царила» бабушка, которая умела стряпать пироги величиной с квадратный метр, вкусные-превкусные, жарила дичь (Вл. Як. охотился и дядя Коля), где она солила рыжики и грузди, а привозили мы их возами, так тогда их много было в Перевозе (село было за Каном); мариновали бруснику, сушили черёмуху—ягоды все собирали сами. Перед окнами дома (во дворе) были цветочные клумбы, устроенные тётей Нюрой и мною. В центре росли «марьины корни», т. е. немахровые пионы. Далее цветы, выращиваемые рассадой, это—душистый

табак, левкой, львиный зев и т. п. Таких клумб было несколько. Во дворе росли деревья, помнится, это были тополя.

Напротив ворот зимою бабушка сооружала горку, и мы катались с неё на санках.

Двор был узенький, т. к. был отгорожен огород, в него «открывался» сеновал, а далее шли стайки, т. е. помещения для коровы, отдельно от птицы, отдельно для лошади. Было 2 собаки: бабушкина Мурзя и дяди Коли охотничий сеттер. Моро. Во дворе ещё был флигель (комната и кухня), маленький…»

Партизанское начальство Зазубрина знало, куда направлять своего интеллигентного (не колебались ведь надеть на него форму белогвардейца при засылке к врагу!) соратника. В «малинник», если говорить просто. И потому он, к тому же ещё больной, был просто обречён на женское внимание, уход и, конечно, на женитьбу. Ибо атмосфера в доме стояла не только уютно-женская, но и литературная. Мария Прокопьевна пишет даже о литературном кружке, который в 1914–15 гг. «у нас дома образовался». А как иначе, если и старшие, начиная с Анны, были учительницами, а «мы, младшие, учась, уже давали уроки». В кружке «обсуждали русскую классику, литературные новинки. Потом решили выпустить свой «журнал». Его активным редактором и «издателем» был — внимание! — «Миша Ошаров — ученик реального училища. Тот самый М. Ошаров, который начнёт активно публиковаться в «Сибирских огнях» (далее «СО») в 30-е гг. и прославится романом «Большой аргиш». Вместе с В. Итиным и П. Петровым, автором романов «Борель» и «Золото», а также Ф. Тихменевым и А. Ансоном они составят небольшую фракцию «канцев» в «СО» 20–30-х гг. Зазубрин был обречён не только на женитьбу, но и на «СО»!

Было, видимо, в городе что-то такое, побуждающее к творчеству, стимулирующее. Быть может, от Тунгусского метеорита и его младшего собрата, упавшего в 11 верстах от Канска того же 30 июня 1908 г. за 15 минут до основного. Местный журналист Адрианов описывал со слов очевидцев это происшествие: «Падение сопровождалось страшным гулом и оглушительным ударом, который будто бы был слышен на расстоянии 40 вёрст по прямой линии». Т. е. в Канске слышали определённо, и не только, наверное, слышали. Метеорит был раскалён, его пытались «выкапывать». Он «почти весь врезался в землю — торчит лишь верхушка, он представляет (собой) каменную массу беловатого цвета, достигшую величины 6 кубических сажен». Тунгусское тело, хоть и упало намного севернее Канска, но, по планетным меркам, совсем рядом. Ещё интереснее, что в Канске в октябре 1921 г. побывала экспедиция Л. А. Кулика по пути в Ванавару. Руководитель её беседовал с очевидцами «младшего» метеорита, сохранились документы. Зазубрин вполне мог видеть легендарного исследователя таинственного явления, может, и говорить с ним. А так бы хотелось этого — ещё одной канской загадки Зазубрина, который испытал в этом, на первый взгляд, обычном городке настоящий творческий взрыв. А как по-другому назовёшь этот феномен: «Два мира», «Щепка», «Бледная правда», «Общежитие» — вся главная проза, за исключением романа «Горы», написана здесь за два года канской жизни. Да и «Горы» создавались по следам впечатлений от другого мистического места — Алтая. И только в Новониколаевске-Новосибирске, городе ретивых администраторов и партийцев, не писалось. Только говорилось и «огнелюбилось».

Ещё одним канским чудом можно назвать явление Г. И. Усольцевой. Кстати, напечатавшей в первом же альманахе «У братского перевоза» цитированную статью Ю. Р. Кисловского о метеорите. О жизни Зазубрина она знала не меньше специалистов из родного писателю Поволжья (Г. Фёдоров, А. Белоконь) или не ставшего ему родным Новосибирска (Л. Баландин, Н. Яновский).

Я приехал в Канск летом этого года и увидел её, нет, не наяву (она умерла в 1997 г.), а в видеофильме, снятом местными авторами Г. Малашиным и С. Щегловым. Уже внешний её вид: «фирменная» худощавость завсегдатая библиотек и архивов, огромные очки истового книгочея, сияющее лицо посвящённого в какие-то «гуманитарные» тайны — говорил об особом подвижничестве, который бывает только в провинциях. Она не была телегеничной — говорила, почти не глядя в камеру, чуть запинаясь. И к счастью! Кто меньше знает и любит своё знание, тот больше рисуется на экране. И в её нетелегеничной речи я находил крупицы важных деталей и наблюдений, дающихся только кропотливой работой и подлинной эрудицией. «Осмысление судьбы Яковенко (главы тасеевских партизан) отразилось в «Бледной правде»…»; «машинопись «Щепки» найдена в редакции журнала «Красная новь»…»; «название «Щепка» Зазубрин мог взять из романа Достоевского «Бесы», из монолога Верховенского-старшего…».

Невольно согласишься с мыслью В. Астафьева, что «Зазубрину повезло дважды: с домом Теряевых и людьми Канска, восстановившими повороты его жизни». Астафьев появляется во второй части фильма и тоже говорит невероятности. Например, о том, что Зазубрин заболел тифом ещё в колчаковской армии и его «выбросили» в Канске лечиться. Следовательно, додумываем мы, Зазубрину пришлось стать красным, чтобы выжить. В доме Зазубрина — Теряевых он побывал в 1994 году, отметив, какие изменения повлекло за собой нахождение в нём канской Семенной инспекции — прорубили стену, что-то где-то перегородили фанерой, убрали надворные постройки.

На экране сотрудницы инспекции. Белые халаты, быстрые ответы на «зазубринские» вопросы. И никакого пиетета перед славой писателя. Пробирки против «Двух миров», семена — и загадка творчества писателя, вдруг ставшего сибиряком, партизаном, канцем. И несгибаемый, как вердикт инспектора очередному сорту, аргумент: дайте другое помещение, и мы хоть сейчас…

Дом, существо хоть и не живое, но и он без живых людей, пусть и не знающих его истории, старится быстрее. После того как неуместную

тут инспекцию всё-таки переселили, он стал катастрофически ветшать. Сор и пыль внутри него кажутся отмирающей плотью дома. Мне, бродившему по его комнатам, стало так тошно, так неприбранно, что я вдруг попросил смотрителей дома, открывших доступ в его пустоты,— соседку старушку и её сына — позволить слазить на чердак. Я походил по мощным брёвнам его подкрышных перекрытий (чердака как такового не было) и без каких-то внятных впечатлений, опасаясь за хрупкий настил веранды, спустился вниз. Было чувство некой обкраденности, будто из памяти, из литературы, из жизни разом изъяли роман «Два мира». Который, как утверждала неказистая мемориальная доска, был написан всё-таки здесь.

Между тем ещё 9 лет назад, стараниями того же В. Астафьева, было наконец-то обнародовано постановление мэра Канска об организации на Краснопартизанской, 105 (бывшей Большой) «Дома-музея В. Я. Зазубрина — филиала Канского краеведческого музея». В пункте № 3 документа значилось: «Городскому отделу культуры заказать сметную документацию на реставрацию дома Теряевых под Дом-музей в филиале института «Сибирская реставрация» до 20 апреля 2000 года»

Давно минуло 20 апреля нулевого года и ещё 9 лет. Каков результат? Газета «Канские ведомости» 4 февраля 2009 года сообщает об очередной акции канской интеллигенции по спасению дома — обращении А. Андреева, И. Матвеева, Б. Мосензона, Н. Телешуна и др. к министру культуры Красноярского края Г. Рукше. И о том, что написать письмо в защиту дома готовы депутаты Канского городского совета. Письма, наверное, ещё будут, и не одно. А дом постепенно уходит. С такой земли и из такой эпохи, где потеряли память о временах не таких уж древних. Пишет же автор газетной статьи Л. Цевун, что ей позвонила женщина, поинтересовавшаяся, «а что это за писатель, в школе его не проходят». Хорошо хоть интересуются. Даже под гнётом агрессивно-бескультурного тв или, наоборот, всеядного Интернета, в океане которого информация о Зазубрине — затерянный крохотный островок для заблудившихся редких странников.

Без инициативы снизу, без просвещения одичавших в джунглях масс-культуры не обойтись. Зазубринские чтения, о которых писала журналистка в самом конце статьи с названием, подпорченным масскультовым слэнгом — «Как можно прославить бренд Зазубрина» — один из таких первых шагов. Директора музея С. А. Концевого, главного хранителя Г. П. Павлюковскую, сотрудников музея, пытающихся «раскрутить бренд писателя», грешно назвать донкихотами. И то, что чтения не состоялись в запланированном марте этого года, не трагедия. Но может стать её первым актом. Ибо поистине трагически звучат слова, поставленные Л. Цевун в «географический» центр статьи, прямо над фотографией Зазубрина: «Специалисты говорят, что если срочные меры не принять, вскоре реставрировать уже будет нечего».

Мудрое лицо Зазубрина — высокий лоб, прищуренные глаза, «философская» борода — глядит на нас укоризненно-понимающе: измельчали и одичали, упростили свои культурные запроса до нуля. И пустой дом Зазубрина, по сути, руины — и есть «лицо» нашего отношения не только к Зазубрину, но и к литературе вообще. И как-то поновому читаешь теперь финал первой главы «Двух миров» «Коготь» о разорении карателями-красильниковцами Орлова деревенской школы. Это групповое изнасилование «молоденькой учительницы с белокурой головой и большими голубыми глазами». «Что вам надо, господа?» А «господа» валят её на пол, топчут сапогами подушку в белоснежной наволочке, разоряют сундучок с вещами, смеясь, выбрасывают её бельё. Очнувшись, она видит лохмотья своего платья, окурки, «зелёную зловонную слюну». И листок бумаги — документ, где Верховный Правитель обещает «установление законности и правопорядка».

Я не хочу сравнивать поруганную учительницу (вспомним: все сёстры Варвары, жены Зазубрина, были так или иначе учительницами) и разорение «господами» обстановки дома (вспомним описание его убранства) с гибнущим ныне домом Зазубрина, а воззвание Колчака — с невыполненным (и невыполнимым?) постановлением 2000 года. Но ведь было в таланте Зазубрина и нечто пророческое. То, что видно в его трагической «Щепке», предупреждающей о кровавом всевластии чк, и в романе «Горы», показывающем чуждость коллективизации исконно кержацкому и «инородческому» краю. И в рассказе «Общежитие», почти все обитатели которого, люди партийные, заражены сифилисом. Дом, гибнущий от погрязшей в пороке власти,— сумасшедше-смелая метафора любой власти, забывающей о подлинной культуре человеческого «общежития». И которую я не смею употреблять по отношению к современности.

«Общежитие»

Увлечённый своим канским творчеством, Зазубрин не знал или не обращал внимания на идеологические подвижки в Москве. А там уже нависали тучи: в новорождённом журнале пролетписателей «На посту» тройка «неистовых ревнителей» Г. Лелевич — Л. Авербах — С. Родов уже открыто писали о «необходимости партийно-государственного руководства литературой». А. Воронский, лидер «попутчиков», ввязываясь в многолетнюю борьбу, отвечал на это словами об «огромной опасности» для самого существования литературы деятельности «напостовцев», во имя «классового искусства» отрицавших культуру прошлого, имевших «заслуги перед пролетариатом, но не перед искусством» (С. Есенин). Ещё можно было разномыслить — создавать новые лит. группы, журналы, издательства: «леф», «лкц», «Круг» и т. д., провозглашать приоритет «литературы факта» или «универсальности поэтической техники» и издавать произведения Пильняка («Третья столица») и Замятина («На куличках»). И это было продолжением «революции духа», в которую ещё верили романтики с февраля 1917 года. Ещё был Л. Троцкий, который спасал и того и другого от запретов, и они сами поддерживали друг друга:

заступничество Пильняка способствовало освобождению Замятина из-под ареста в августе 1922-го; их дружба была скреплена такими, например, обращениями младшего к старшему: «Замутий родной, князь обезьянский».

У Зазубрина такой лит. дружбы не было. А как только кандидаты в друзья появлялись, то быстро исчезали. Сначала Березовский, потом Правдухин. В конце 1923-го он с Сейфуллиной уже сидел на чемоданах, навсегда уезжая из Новониколаевска и уходя из созданных ими «СО». Как открыт и создан был ими Зазубрин — новый, образца 1923 года, с трилогией «Щепка» — «Бледная правда» — «Общежитие». Где уже не было того пафоса «двух миров», их противостояния с заведомой победой одного из них. В этой трилогии, наоборот, «красный» мир стал отступать, обнаруживая своё одиночество («Бледная правда»), душевную («Щепка») и телесную («Общежитие») ущербность. Казалось, что здесь, в Сибири, были все условия для творчества. Без «ихней» лит. толкотни и сумбура, скандаловвойн и запретов-арестов. Тихо, хорошо, первоначально. Можно на расстоянии разглядеть лидеров столичной литературы со всеми «за» и «против» и создавать свою, «зазубринскую» литературу, свой, «зазубринский» журнал.

Но спокойствия не получилось. «Общежитие», написанное по следам скандала с жильём при первом приезде Зазубрина в Новониколаевск, несло на себе отпечаток литературного единомыслия с Пильняком и Замятиным. «Половая» тема, столь популярная в начале 20-х и столь громко прозвучавшая у Пильняка, встретилась у Зазубрина, пусть и неявно, с замятинской темой кошмарного общежития в «Едином государстве», принимающего со временем характер всеобщей болезни, меняющей сознание человека. Рассказ зазубрина, однако, чужд усложнённости композиционной, как у Пильняка, и культурологически-философской, как у Замятина. Свободен он и от политической остроты, как в «Щепке», и от уголовности, как в «Бледной правде».

Мир «Общежития» замкнут почти сценически. Как в классическом театре с его правилами «трёх единств». Почти всё тут происходит в стенах дома, в его комнатах. И на первом плане — сексуальная жизнь их обитателей: кто с кем спит, в какие пары соединяются они по ночам, какие отношения между мужьями и жёнами, любовниками и любовницами и как им быть, если их посетила любовь. То, что участниками событий, фигурами этой мозаики-«пазла» являются работники Губисполкома, которыми «занят» дом «вдовы статского советника Обкладовой», кажется, и неважно. Важно то, что секс является частью быта — грязного, пахучего, косного, убивающего любовь и всякие чистые человеческие отношения. Эта ключевая для Зазубрина тема чистоты на всех уровнях существования человека продолжает его предыдущее творчество. Ибо в «Общежитии» есть персонаж, выбивающийся из размеренно-хроникального повествования, — доктор-венеролог Зильберштейн. Он мечтает исключить семью и свободные половые отношения из-за опасности распространения сифилиса. Всё должно быть учитываемо, распределяемо по-государственному. Всплывает проблематика романа Замятина «Мы»: это и обозначение глав «страничками» (в «Мы» — «записи-конспекты»), это и знаменитый «Lex sexualis» о праве каждого «нумера» на любой другой. С «нумеров» и начинается «Общежитие».

Страничка первая. В пьесе это называется экспозицией, описанием места действия и действующих лиц. Дом № 35 состоит их пяти комнат, кухни и коридора. От хозяйки в доме остались мебель, в том числе «широкая кровать», и «едва уловимый запах залежавшегося старого платья, нафталина, ладана». Эта «залежалость» отпечатана на каждом из жильцов в прямом смысле: автор начинает рассказ ночью, описывая героев в лежачем положении, в кровати, после актов постельной безрадостной любви. Эту ритуальность любви подчёркивают полные имена-отчества-фамилии персонажей и то, что владелица комнаты № 1 и «№ 1» среди прочих героев Зинаида Иосифовна Спинек сама является завзагсом, «советской поп-бабой», т. е. той, что обязана записывать имена своих клиентов полностью. Так даже в постели судьба одинокой Спинек трагикомично переплетается с её профессией. Обитатель комнаты № 3, завхоз Губпартшколы Вениамин Иннокентьевич Скурихин, относится к своей жене Анне Петровне в постели тоже «профессионально»: «дисциплинированный, аккуратный, чистоплотный», он пользует её «по гигиене», и только. Жене такая «хозяйственная» любовь приносит только аборты (в год «не менее трёх») и слёзы: «Господи, пошли моему мужу сильную любовницу!» В комнате № 4 — Вишняковых — все чувства заслоняет и вытесняет вата: «грязная», она лезет клочьями из одеяла и заменяет сон, который «приходит медленно, медленно начинает наталкивать в череп грязную вату». В голове жильца комнаты № 2, тов. Русакова, не Бухарин с его «Историческим материализмом», а соседка, Анна Петровна Скурихина, которая когда-то ухаживала за ним «во время его долгой болезни» — тифа. Этот лирично-нетипичный лектор Губпартшколы — вз-метка, указывающая на историю женитьбы Зазубрина в конце 1919 года. У владельца комнаты № 5, доктора-венеролога Лазаря Исааковича Зильберштейна, в голове — половой вопрос, и он, пока жена Берта Людвиговна спит, работает с анкетами больных. В глазах его «сухие огоньки мысли». Он единственная надежда общежитских на выход из комнат-тупиков.

Страничка вторая. Тон обречённости, монотонного перечисления продолжает тему зависимости человека от его неустроенного общежитского быта. Жёны Вишнякова, Скурихина, Зильберштейна и кухарка Паша — и рабыни, и жертвы этого быта: «Каждый день печка, плита, корыто и утюг выжигают, выпаривают со щёк женщин румянец, тусклят краски глаз». Спинек и Зильберштейн заняты книгами: загсовая регистрирует «чужие радости и горе», развивая у Зинаиды Иосифовны чувство скуки и неинтересности жизни, будущая книга Лазаря Исааковича должна спасти человечество, доказывая необходимость «полного уничтожения

семьи», искусственного оплодотворения, «отбора здоровых женщин», производимого учёными, решающими «вопросы зачатий и рождений». «Ненависть к семье и семейной жизни» звучит в лекции Вишнякова о коммунизме: о «грядущем обществе» он говорит как о бессемейном. Скурихин: «Чепуховый это вопрос, ненужный». Федя Русаков заканчивает лекцию об историческом материализме мыслями об Анне Петровне, «объяснении» с ней. О «постройке большой, красивой, просторной жизни» только говорят и только «на лекциях, на докладах, на собраниях».

Страничка третья. Будни дома №35. Скурихин получает согласие у Спинек на ночные посещения: она «привыкла, что сильный мужчина всегда сменяет слабого, сильнейший сильного». И тут же ложится с женой Зильберштейна, пока её муж на прогулке. Русаков смотрит «влюблёнными глазами» на жену Скурихина. Вишняков пишет о пагубности брака для любви, которая при «длительной совместной жизни в одной комнате, спанье в одной постели быстро испарится»; это «насилие и скотство», «жалкое машинное производство», от которого рождаются «чахлый ползающие создания». За то, что органы для продолжения рода используются как «орудия разврата и наслаждения», «природа жестоко покарала нас за это рядом страшных и гадких болезней». Выходит, разврат — от семейной жизни, и только внебрачные связи, любовь — гарантия от венерических болезней.

Страничка четвёртая. Доктор Зильберштейн жене: «Я сейчас произведу над тобой опыт, который решит судьбу всего человечества», — т. е. искусственное оплодотворение. Не зная о её беременности от Скурихина. В контраст — платоническая связь Русакова и Анны Петровны, достигающая эпистолярной фазы: она хочет видеть его только нежным и светлым воспоминанием-лекарством, когда «мне станет душно среди людской пошлости, мелочности, подлости, когда душа затоскует о человеке»; он требует «разойтись с мужем» для отношений совсем не платонических. Ещё один контраст: между серым бытом этих общежитских людей и дореволюционным стилем их писем.

Страничка пятая. Скурихин, Вишняков, Русаков, Спинек, Зильберштейн вне общежития — «нужные люди» (лекции, доклады, статьи, дежурства). Ночью, «если никуда не вызывают», «каждый делает, что хочет и как хочет». И начинается путаница, лабиринты: некрасивый Вишняков окрыляет Спинек мыслью о ребёнке, и она, ранее сказавшая «да» Скурихину, теперь отказывает ему, и Скурихин со злости насилует Пашу. Доктор Зильберштейн в плену иллюзий: счастлив, что опыт (искусственного оплодотворения) якобы удался. Но это «опыт» Скурихина.

Страничка шестая. Вишняков вновь у Спинек: «белая радость в груди» у него, которая означает и цвет свежего снега и её «рук, шеи, лица», «квадратиков клавиш» её пианино. С женой — «механическая близость». Спинек не верит в любовь Вишнякова: «так все и всегда говорят». Она — снег, только у снега «белый холод», а у неё «белый жар упругого тела женщины». Это метафора и самой Спинек, и её любви, холодной к чувствам, для которых она остыла, и «жаркой» в телесных утехах, которые не зависят от личности очередного партнёра. Потому и быстро тает, как первый снег: «не хочет выделять Вишнякова… он уйдёт, как и все. Будет больно. Не надо». Пугающая Вишнякова пустота её глаз говорит о той же механической близости: Скурихин, Вишняков — всё равно.

Страничка седьмая. Любовное письмо Вишнякова к Спинек — попытка оправдать теорию о бессемейном, не брачном счастье мужчины и женщины. Это лирика, стихи в прозе. Сравнение их любви с зимой — так же «белы, крепки, чисты будут наши тела и горячи, как снега». Троекратно повторённое: «Снежинки — дни наших встреч» — означает: во-первых, чем их больше, тем быстрее они «забелят осеннее, прошлое», во-вторых, это олицетворение их любви как «белого на чёрном», в-третьих, результат любви: растают снежинки, появится «новое, живое, маленькое существо». Во втором его письме появляется известный по классической литературе — Достоевскому, Чернышевскому, Толстому, Куприну — мотив спасения проститутки дворянином, разночинцем, революционером, народнический и модернистский (Л. Андреев): «Тело твоё оскорблённое беру как святыню», но «хочу, чтобы любовь моя была так же чиста, как чисты ты и тело твоё, очищенное огнём жажды материнства». Также — тема беременной Революции из «Щепки», оплодотворённая вне семьи женщина как спасение человечества. Но искусственное: отсюда оттенок искусственности в свиданиях со Спинек, теоретичности, будто он выполняет задание Зильберштейна.

Страничка восьмая. Вновь классические «смыслы»: опера «Травиата» идёт в городе — и с Травиатой, падшей женщиной, сравнивает себя Спинек. Потому и пишет Вишнякову «сложное» письмо. Сначала в нём о «зловещем свете» из пустого пространства (он «скоро гаснет», не оставляя ничего), потом о теле «бесплодной женщины», в котором «скопляется слишком много сил», которые «гасят её сознание», так что она «не знает и не помнит, что делало тело». Сознанию нужно «завершение, и не вниз, а вверх» и деторождение. Она и хочет от Вишнякова ребёнка, и «боится» Вишнякова, с которым придёт «перелом всей жизни». В итоге — неясность, колебания, путаница.

Страничка девятая. Осмотр Зильберштейном Спинек, предложение «иметь ребёнка без мужчины», её отказ: «Хоть очень добродетельно, но и очень скучно». Но Зильберштейн по-прежнему уверен, что его «открытие перевернёт мир». Мечты об их «гениальном ребёнке», так как «мать — музыкант, отец — талантливый оратор и журналист». вз-метка? Деление на счастливых: Вишняков, Спинек, Берта Людвиговна, Зильберштейн, Паша, Скурихин — и несчастливых: Анна Петровна, Федя Русаков и Вера Николаевна. Но «пахнет» здесь «по-старому: ночными горшками, нафталином, грязным бельём, ладаном».

Страничка последняя. Спинек обнаруживает на себе пятна сифилиса, «как тёмные воронки и тёмные пятна… в сугробах тающего снега». Если

«у нас и у всех сифилис», говорит Вишняков, значит, источник заразы — Спинек? Зильберштейн укрепляется в своих идеях: «О, вы придёте ко мне». И все идут: «Вечером на лекции, на доклады, на собрания и… на уколы в Зильберштейну». Общежитие становится и лазаретом, и кладбищем: «могильной плитой на дверях общежития» вывеска — «Доктор Лазарь Исаакович Зильберштейн, кожные и венерические». Скурихин Вишнякову: «Мы с тобой попали в этот процентик («на амортизацию») при работе по перестройке общества». У Спинек — новый гость, «управдел Губисполкома». Только Федя Русаков со своей девушкой как «румяное пятнышко» на гнилом «яблоке» общежития.

Отрывок. Вишняков на лекции признаётся, что заражён сифилисом. «Кошмарное наследие» «старого буржуазного общества», венерические болезни — «зло социальное, явление социального характера». Он хочет рассказать, как заразился, но «аудитория не понимает», «она здорова». А Вишняков «похож на искривлённое графическое изображение процента».

«Живой» Зазубрин

Итак, рассказ о залежалом быте людей, живущих в «залежалом» бывшем купеческом доме, заканчивается оптимистично. Заражённые старым миром (сифилис — его олицетворение) ходят на уколы, лечатся, а в аудиториях сидит здоровая молодёжь, которая идёт на смену всему старому и больному, которая устремлена к новому и здоровому. Зазубрин, по сути, похоронил это общежитие, назвав вывеску кабинета Зильберштейна «могильной плитой». Ибо у общежития не будет потомства: доктор всем беременным сделал аборты.

И сам Зазубрин этим рассказом будто сбросил с себя и своего творчества старое, то, что ещё было «заражено» старым сифилисным бытом. Казалось, что после «Общежития» начнётся новый Зазубрин, что он будет писать о Русаковых и Комиссаровых (девушка Феди), о той молодёжи финала рассказа, «молодняке», который слушает больного Вишнякова и не понимает его. Вишняков и Скурихин — герои, ещё связанные со старым миром или стоят между старым и новым, чуждые и тому и другому.

В этом смысле они — родные братья «заклёванной белой вороны» Аверьянова из «Бледной правды». Особенно Вишняков, в котором это отщепенство более очевидно. Скурихин более призмлён, ущербен. Не зря его фамилия помечена «ущербным» суффиксом -их-, как у Гаврюхина и Ползухиной из той же «Бледной правды». А главное, эти два рассказа объединяет образ писателя-хроникёра, свидетеля событий. Это беллетрист Зуев и журналист Вишняков. Один пишет о хищениях в Упродторге и трагедии Аверьянова, ужасаясь его судьбе. Другой озабочен судьбой Спинек, пишет ей литературные письма, так что его можно считать отчасти автором и «страничек»-глав рассказа, хроники событий из жизни пяти комнат общежития и их обитателей. К тому же *Зуев* фонетически и автобиографически совпадает с *Зубцов*. Вишняков как лектор партшколы тоже в какой-то мере Зазубрин, хотя в нём больше Русакова, единственного, кто остался чист, не заражён сифилисом.

Это раздвоение на героя плотского и платонического указывает больше на литературность «Общежития». Вернее, на то, что условность героев-типов не противоречит подлинности их, живущих своей стихийной жизнью. А не просто «взаимодействующих», механически соединяющихся в пары, согласно инстинкту.

Не всё, однако, у Зазубрина в этой повести «срослось»: некоторые персонажи так и остались функциями каких-то идей, условно-живыми героями. Эталон «нежной любви» Русаков слишком быстро рвёт со своим идеализмом, демонстрируя скурихинскую самцовость в требовании к Анне уйти от мужа. Повлиял ли здесь Бухарин и его «Исторический материализм», который он так усердно изучает, остаётся предполагать. Более очевиден Троцкий и его связь с доктором Зильберштейном (ещё одним персонажем-функцией): настоящая фамилия Троцкого — Бронштейн (сходство фамилий бесспорное) и он тоже мечтал облагодетельствовать человечество перманентной революцией. Кстати, в том же 1923 году Троцкий попытался навести порядок в молодой советской литературе, внести ясность, систематизировать хаос в книге «Литература и революция». Так же, как доктор Зильберштейн пытался систематизировать половые влечения и болезни.

И вновь Канск 1923 года. Зазубрин готов вырваться хоть куда, просить хоть кого, лишь бы покинуть места, где всё напоминает о войне, о Колчаке, о партизанстве, о «двух мирах». Оставить всё это в прошлом. Остаться наедине со «Щепкой». Шагнуть с ней в новую жизнь, в новую литературу. Об этом говорят, вопиют (пусть и между строк) его письма этого года. Вернее, те, что до нас дошли.

Их всего два. Самое известное — письмо Феоктисту Березовскому, уцелевшее от целой переписки двух писателей. Опубликованное в «Литературном наследстве Сибири» (далее — «лнс»), хоть и с купюрами, оно даёт достаточно много для понимания канской жизни Зазубрина. Датировано письмо 23 марта, и чувствуется, что его автору необходим собеседник, чтобы выговориться, высказать всё, что на душе. Этим собеседником оказался Березовский — известный не только в Сибири писатель, революционер-подпольщик, человек, приверженный пролетарской литературе, осторожно-недоверчивый к «попутчикам», запальчивый и временами резкий, как сам Зазубрин. Отсюда и резкости зазубринского письма. Начиная с «Красной нови», которая печатает «белиберду водянистую», то есть «Аэлиту» А. Толстого. Похоже на укор фантастике как жанру в целом. Рикошетом это задевает и «Страну Гонгури» Итина, где «водянистости» (фантазирования) в избытке. Есть тут и личная обида Зазубрина на московский журнал, так невежливо с ним поступивший. Отчего и нашёл благодарного собеседника в Березовском, ещё с прошлого 1922 года конфликтующем с «со», но в редакции которых ещё числился. Под его же влиянием Зазубрин наверняка написал

и такую кощунственную для будущего редактора журнала вещь: «до осени, полагаю, «Сибирские огни» умрут». Редакторы «ЛНС» дают справедливый, но не совсем точный комментарий-сноску к этим словам: Зазубрин в тот момент ещё не знал литературу Сибири и был оторван от её литературных центров». Тем не менее, «СО», в которых эти «литературные центры» активно печатались, читал и мнение о журнале успел составить. По нашей версии, не очень лестное. Но не без надежд на будущее (одна Сейфуллина могла оправдать существование журнала).

Березовский мог не только поддерживать, но усиливать отрицательное мнение о журнале. Стоит только познакомиться с его нервозной полемикой с «СО» 1922–1924 годов. Начав с газет «Трудовой путь» и «Большевик», он перенёс споры в Москву, на страницы такого радикально-пролетарского журнала, как «На посту». Там, кстати, одним из редакторов был Семён Родов, через три года оказавшийся в Новосибирске на беду Зазубрину. Подытоживая в №5 «На посту» за 1924 год споры в статье «К истории современных нравов» (а не «К истории моего участия в «Сибогнях»», как указано в «ЛНС»), Березовский обнаруживает, что ни на йоту не отступил от своих обвинений годичной давности. Заявляя, что подвергался «травле и инсинуациям» на страницах сибирской периодики, он вновь называет Правдухина «реставратором буржуазно-народнических идей». Именно этот критик, став «фактическим руководителем журнала», «настаивал на помещении» в «СО» «хорошо написанной, но идеологически контрреволюционной повести». (О том, что это «Щепка», думаю, нет надобности говорить). С поддержкой сибирскими газетами Правдухина совпало, пишет далее Березовский, «окружение редакции «Сибогней» так называемыми «попутчиками» с определённой народнической идеологией (Драверт, Грошин, Вяткин, Изонги и др.), и выяснилось моё одиночество и бессилие в борьбе с Правдухиным». Реакционные вещи народников Правдухин легко протаскивал («Сибирь сторонушка кандальная» Ерошина, «Провинциальный бульвар» Мартынова, статьи самого Правдухина), а произведения коммунистов браковал (Устюгова, Арсенова, Березовского).

Но и это далеко не конец статьи. В интригу противостояния Ф. Б. и В. П. будет втянут и Зазубрин. Вот как это было. «Положение Правдухина в редакции «Сибогней» и литературный курс самого журнала (якобы оправданный товарищем Троцким) не были секретом в Сибири. В Новониколаевском литкружке (насчитывающем около тридцати писателей) и в среде писателей-сибиряков других городов журнал получил определённо прохладную аттестацию… Журнал не выходил четыре месяца из-за отсутствия материала. Под давлением товарищей коммунистов я решил выручить редакцию из беды. Дал рассказ «Бабий заговор» с условием, что Правдухин больше не будет печататься в «Сибогнях». Тов. Зазубрин это условие принял. А затем… затем мы с «нашим Валерианом Правдухиным» появились рядом в 5–6 номере «Сибогней». Когда я обратился к руководителям журнала — Басову и Зазубрину — с вопросом: что это значит? — мне ответили: «Нам нужно было получить ваше имя. Ну а цель оправдывает средства». Невозможно представить себе Зазубрина в роли обманщика, живущего по иезуитскому принципу. Тогда остаётся предположить другое — ложь Березовского, готового на всё ради блага пролетарской литературы.

Но это будет позже, примерно через полгода. А мы вернёмся к письму. Зазубрин в нём пишет и о своей жизни в Канске: «Живу неважно. Особенно тяжело — идейное одиночество, культурная оторванность». А бедность такая, что нашумевшим «Шоколадом», повестью А. Тарасова-Родионова, не полакомишься: нет денег, «чтобы выписать». О чём говорить, если некие «части тела вываливаются из рваных штанов, а сын у меня бегает совсем без штанов». Но причём тут и деньги, и штаны, если у него есть главное сокровище — «Щепка», к которой он то и дело возвращается в письме. Проверил он её и на Березовском. И, очевидно, получил такие замечания, что пришлось уверить своего строгого корреспондента: «Я искренне хотел написать вещь революционную, полезную революции». Посылал Зазубрин повесть и в Иркутск чекисту Я. Берману, «куратору» «Двух миров», но тот ничего не ответил. И это, несомненно, взволновало и насторожило его. Он предположил даже, что чекист мог разгласить содержание его письма («А откуда вы знакомы с содержанием моего письма к нему?»).

Значит, дело было не в деталях, а в целом, если чекистский чин «не ответил» и «разгласил». Думается, что от таких «чужих» чтений «Щепки» пользы не было никому. Можно даже представить, что Срубов в одном варианте повести не писал «записок о терроре», в другом не сходил с ума, в третьем не страдал от своего палачества. Неустойчив Зазубрин и в отношении «Щепки» и её судьбы вообще: то она его «тревожит», то он надеется, «что в Москве она так же провалится, как и в Сибири». То убеждён: «Буду переделывать непременно, если бы даже её и напечатала Москва».

Как же сроднился он со своим Срубовым за эти долгие годы, как должен был влезть в его шкуру, чтобы вновь и вновь идти с ним в расстрельный подвал, читать письма, адресованные обоим, вести эти жуткие «записки»… В какие-то моменты грань между Срубовым и Зазубриным могла исчезать, и в некоторых эпизодах мог действовать уже не Срубов, а Зазубрин: разговор с женой, эпизоды с матерью, речь перед освобождёнными ЧК крестьянами, так похожая на его речь на Первом съезде писателей Сибири в 1926 году. Разгадка ясна: Зазубрин продолжал творить свою биографию, как делал биографию Барановского и Срубова.

В литературе делать это было легче. В реальности Зазубрин аттестует себя иначе: «Я человек всё-таки подозрительный, недоверчивый (бит неоднократно и жестоко)». И к приглашению Березовского переехать на родину «СО» отнёсся крайне осторожно: «Надо сначала «понюхать», разузнать, что может дать мне Новониколаевск, а тогда уже и ехать». Но, скорее всего, это была

подозрительность радости: «неважное» житьё в захолустном Канске слишком уж соблазнительно было сменить на «безбедное место» в столице Сибири. Зазубрин напускает на себя строгость, внутренне же, несомненно, рад.

Письмо это уникально тем, что даёт «живого» Зазубрина в один из самых трудных и малоизвестных годов его жизни. Но уже при публикации письма в «лнс» по скобкам и многоточиям было видно, что оно сокращено, что «живость» притушена, сглажена.

Честь восстановить купюры, показать наконец-то полностью «живого» писателя принадлежит Е. Н. Проскуриной, ещё в 1994 году опубликовавшей оригинал письма, хранящегося в ЦГАЛИ. Вернув изъятые публикатором фрагменты — их, кстати, не так уж и много — можно обнаружить, что Зазубрин выражался порой крепко и не очень цензурно (что в частных письмах, вообще-то, позволительно).

Итак, **купюра №1**. «…Считаю просто *б…ством* (в «лнс» «б…») такое скоропечение, каким занимается Вс. Иванов». — Выше мы уже писали о необычайно частом появлении Вс. Иванова на страницах «Красной нови».

Купюра №2. *«Теперь о «враге» Березовском. С чего вы взяли, что я считаю Вас заклятым врагом? Я, правда, изматерил Вас из душеньки в душеньку, когда узнал, что я писатель не Ваш, не советский. Вот и всё. Но вообще, чтобы злиться на Вас упорно и считать врагом — нет. Я человек вспыльчивый, но не злопамятный. Ещё не понравился мне Ваш, помоему, недисциплинированный поступок с (Фокой с боку)* (угловые скобки публикатора. — В. Я.). *Разве можно быть человеком редколлегии «Сибирских огней» и писать против них? Что же ещё сказать о своей «враждебности» к Вам? Не понравилось мне в 20-м году, что у Вас в кабинете висит портрет близкой вам женщины в слишком жирной* (подчёркнуто автором. — В. Я.) *золотой раме. Вот и всё. Окончательно всё!»* — И как рука поднялась вычеркнуть отрывок такой важности!

Зазубрин здесь даёт отповедь самому, пожалуй, яростному критику «со» тех лет, который всех — Правдухина, Сейфуллину, И. Ерошина, К. Урманова зачислил в несоветские, мелкобуржуазные, насаждающие народничество и т. д. писатели. В этом списке, приведённом В. Трушкиным, не хватает Зазубрина, горячо отстаивавшего, как мы видим, свою «советскость». Чувствуется и крутой нрав будущего руководителя «со», склонного и порицать, и прощать самые непорядочные поступки своих коллег. Хотя, что такое «советский писатель», Зазубрин вряд ли отчётливо знал. В отличие от Березовского, приятеля радикальных «напостовцев».

И ещё одна важная подробность: оказывается, они были знакомы ещё с 1920 года, когда Зазубрин ещё только осваивается в роли политработника 5-й Армии, а Березовский, на 18 лет старше его, уже имеет солидный стаж большевизма, включая работу подпольщика.

И наконец, **купюра №3**. «…У меня некие *срамные* части тела вываливаются из рваных штанов». — Явная перестраховка публикатора, лишающая образ Зазубрина ещё одной «живинки». Хотя уже по характеру купюры — между «некие» и «части тела» — можно легко догадаться, что это за «части».

К счастью, существует целое письмо того же года, но неопубликованное, которое дополняет картину жизни Зазубрина в Канске предотъездного периода. Адресовано оно В. Д. Вегману, ветерану революции, политкаторжанину, соратнику Ленина, Троцкого и Луначарского, ведавшему в «со» историко-революционной частью журнала, а вскоре ставшему авторитетнейшим его сотрудником. Его квартира в Новониколаевске-Новосибирске на ул. Советской, 3, была местом постоянных литературных встреч и собраний, где читались все самые интересные и спорные материалы, будущие публикации «со». «Щепка» там была тоже прочитана и, как вспоминает Вегман в своих «Юбилейных заметках» (1927 г.), забракована. Интересный нюанс — Вегман заменил Березовского в редколлегии: «Журнал не закрыли, но освободили редколлегию от Березовского. Вместо него ввели меня, а Березовский переехал в Москву», тщетно продолжая «настраивать партийные круги против сибирского журнала» («Юбилейные заметки»).

Всё это надо учитывать, знакомясь с письмом, где Зазубрин обретает нового, менее радикального и более предсказуемого покровителя. С которым ему предстоит сотрудничать, а затем переписываться несколько лет. Итак, вот это письмо.

Канск, 9 августа 1923 (19 9 / VIII 23).

Дорогой т. Вегман, не сердитесь на меня, что я затянул дело с рассказом на данный Вами сюжет. Я пожалел этот ценный материал для рассказа. Я хочу использовать его для более крупной вещи. Для №4 «Сиб. огней» я дам другой рассказ — «Зелёное море». Рассказ таёжный, с сибирским колоритом. Вот. А теперь разрешите мне обратиться к Вам с просьбой. Дело в том, т. Вегман, что у нас вообще мало людей в партии, смотрящих на литературу как на нечто серьёзное. Вас я знаю как горячего и искреннего бойца на литературном фронте. Как к соратнику обращаюсь к Вам за защитой. Итак, к делу. В Новониколаевском Сиббюро Ц.К.Р.К.П. отнеслись совершенно равнодушно к моей судьбе. Мне не представили даже такого пустяка, как комната в общежитии. Сказали, что я никакого отношения к Сиббюро не имею и потому не могу пользоваться комнатой в общежитии. Безвыходное положение, создавшееся с квартирой, вынудило меня временно выехать из Новониколаевска. В Канске есть квартира, но есть и Уком РХШ *(нрзб)*, который положительно мешает мне работать. Они запрягли меня в качестве лектора на курсы по переподготовке работников просвещения (в течение месяца 12 лекций прочёл), редкое собрание ячейки проходило без моего доклада. И теперь, наконец, назначили меня для усиления работы Р.К.С.М. Это значит тоже не менее 15-ти выступлений в месяц. Прямо невыносимо. Я не отказываюсь от партработы, но ведь они меня обращают в какого-то инструктора. Мне нужно

сейчас максимум напряжения, чтобы кончить роман и *(нрзб)* рассказ к очередному номеру «Сиб. огней». Т. Вегман, неужели я не имею права на то, чтобы уделять литературе времени больше, чему-либо другому (так в тексте — В. Я.) Разве литературная работа не партийная? Зачем у нас кричат о специализации, а специализироваться не дают, мешают? Т. Вегман, попросите, чтобы из Сиббюро прислали мне охранительную грамоту, забронировали бы меня хоть на месяц от усиленной партработы. Если это Вас не затруднит, то пожалуйста. Буду очень благодарен.

Мой адрес — Канск, Енисейская губ., Большая, 15/5.

С товарищеским приветом, В. Зазубрин.

Письмо, сам его тон, лексика, ритмика уже иные, более нейтральные. Видимо, знакомство Зазубрина и Вегмана пока ещё не было близким. Однако это не мешало Вегману поделиться неким «сюжетом» и «ценным материалом» с Зазубриным. И вот новость: оказывается, Зазубрин готовил в журнал рассказ, до сих пор, кажется, неведомый зазубриноведению даже по названию. Какова его судьба, неизвестно. Впрочем, Зазубрин не раз менял свои литературные планы, стоит вспомнить хотя бы историю с «монгольским» романом «Золотой баран».

Возможно, на эти планы повлияла неудавшаяся попытка поселиться в Новониколаевском общежитии. Не тогда ли возник у Зазубрина замысел одноимённого рассказа, на который теперь можно взглянуть под углом зрения личных обстоятельств писателя, столь неласково принятого на месте его новой работы? Но всё же самое главное в этом письме — крайняя точка терпения, которого уже не хватало для каторжной и, как видно, опостылевшей Зазубрину «партработы». Это «хоть на месяц» — настоящий вопль вопиющего в пустыне Канска, ещё недавно такого родного. Жить где угодно, в каком угодно общежитии, только бы снять наконец с себя ярмо.

И вот свершилось: инструктор Канской партшколы Зазубрин получил предписание-командировку Сиббюро приступить к работе в Сибкрайиздате с 10 октября 1923 года в должности «председателя и секретаря «Сибирских огней». Он едет в Новониколаевск, на этот раз надолго. Начиналась очередная по счёту полоса кочевой жизни Владимира Зазубрина.

Критический финал

Вот какое «послесловие» можно было бы написать к новому изданию произведений Владимира Зазубрина. И это только меньшая часть жизни и творчества писателя. А что было, если бы здесь же, в этой же книге, при участии Б. Соколова были опубликованы, например, «Горы»? При его-то небрежно-оскорбительной реплике в адрес романа: «написал бездарный роман о коллективизации», да ещё переврав его название: «Горы и люди». К сведению автора высокоумного предисловия — это название романа Ю. Либединского аж 1947 года. Завзятого РАППовца, весьма далёкого от Зазубрина, его творчества (хотя однажды, в 1923 году, и опубликованного по какому-то недоразумению в «Сибирских огнях»). А эти грубые опечатки, явно не вычитывавшего свой текст автора («назначен в, в штаб…», «будучи прирожденнымй оратором…»). Видимо, была не менее страшная спешка, чем у Горького при написании предисловия к «Двум мирам» Пятого издания.

Давайте всё-таки не будем торопиться, переиздавая почти забытые книги таких изрядно подзабытых, особенно для новых поколений, писателей, как Зазубрин. Не проникнутся ли и они тогда тем же духом небрежности и односторонности в отношении этого писателя удивительной и трудной судьбы, что и автор данного послесловия? Ну а он и его произведения будут жить, читаться, переиздаваться, несмотря ни на что. А издательству «Вече» спасибо за лишний повод вспомнить нечужого нам, почти родного, и совсем не маленького сибирского писателя — Владимира Зазубрина.

Айрат Бик-Булатов

Блог поэта[1]

Больше всего стали раздражать грубость и хамство, которые легализуются не только в блатной среде, но и в среде интеллектуалов. У нас хамская политика; хамский юмор — в стиле «Наша Раша» и «Камеди клаб»; хамство в поэзии — слэмовая стилистика и обсценная лексика.

Для части интеллектуалов это маска, которая уже становится лицом. Так, модно стало при упоминании о таких деятелях подчёркивать, что они — часть интеллектуальной элиты: кандидат наук Стиллавин (телеведущий, партнёр покойного Бачинского), кандидат наук Роман Трахтенберг, кандидат наук Шиш Брянский, кандидат наук Псой Короленко, кандидат наук Данила Давыдов.

Хамство оправдывается как некий род интеллектуальной игры… мол, а там-то, внутри — двойное дно! Запрятанная искренность. Не выпяченная интеллигентность. Смотрите-де, вы думали, хам, а он — кандидат наук[2]! На самом же деле хамство остаётся просто хамством. Маска превращается в лицо.

В сериале «Апостол» герой — бывший интеллигентнейший учитель истории и географии, в силу обстоятельств в годы войны втянутый в шпионскую деятельность, — вынужден играть роль своего недавно погибшего брата-близнеца, вора в законе и криминального авторитета. И вот этот прежде учитель вступает в намеренную стычку для укрепления своего «авторитета» в коллективе, где знали братца. Он избивает одного из соучеников по военной школе и тут же — как интеллигент — рефлектирует: «А не перегнул ли я палку?..» — и сам себе отвечает: «Нет! Я прав! Я прав! Здесь уважают силу…» Ещё через серию — он откровенно хамит НКВД-шнику, пославшему его на это задание, и заканчивает словами: «Вора к себе домой пустил — а теперь удивляешься, гражданин начальник!» Маска стала лицом.

Вот так оно и с нашими новыми интеллигентами получается. Только не вынужденно. Шарики не превращаются в Шариковых, а совершенно добровольно становятся Швондерами! И ещё «легализуют» (узаконивают) хамство, полагая, что умный поймёт, что в глубине-то… Это ещё из XIX века, из Чернышевского, — первого хама в тогдашней журналистике, которым так умиляется Бердяев, — «в жизни-то такой аскетичный и скромный человек» — ну, прям, кандидат наук!

Тимур Кибиров при ближайшем знакомстве оказался весьма интеллигентным, вежливым человеком, но самое главное — поэтом, ощущающим миссию поэтскую. Поэзия — для того, чтобы мир сделался лучше. Поэзия — залог сохранения русской культуры. Поэзия — самое важное занятие на свете. Об этом он неожиданно говорил. Неожиданно — потому что сам поэт-иронист, игрун со смыслами. Шутник. И вот — говорит, как поэт! После Пригова — сильное впечатление на меня из живущих… при этом трезв: «На Западе поэзия давно уже стала маргинальным занятием. Русская, к сожалению, тоже, кажется, идёт к этому, только медленнее… Но на Западе с этим научились работать. Есть инфраструктура. Все крупные университеты считают за правило поддерживать какого-нибудь поэта…» Итак, поэзия на Западе — маргинальная, студийно-тусовочная, интеллектуальный изыск, не влияющий на жизнь общества и на людей, но подчёркивающий своеобразие менталитета авторов стихопоэм… Никакой высокой миссии, но поэзия жива, её поддерживают и в этом виде. В России же раньше поэзия всегда — искусство высшей задачи! Всё это зафиксировано в знаменитой формуле Евтушенко: поэт в России больше, чем поэт.

При этом сама поэтика Кибирова, по мне, не дотягивает до его «философии поэзии». Именно за счёт «трикстерства» — пересмешничанья он так же работает на десакрализацию поэзии, а значит — на снижение задачи. В этом смысле — Пригов, просто констатировавший, что «время великих поэтов прошло», — честнее и вернее Кибирова. В поэзии своей — воплощая свою же (приговскую) конструкторскую философию поэзии как игры с мифами и дискурсами в искусстве.

Но, конечно, Кибиров нечестен бессознательно, не ведая о своей нечестности… он, к сожалению, как и Иртеньев, — привязан к иронизму. И даже в Перми — просили его прочесть что-то лирическое, он сначала замялся, а потом прочёл опять же пересмешничанье…

Ироническая поэзия — это публицистика всегда. Она копается внизу, она разговаривает с людьми, а к Богу не идёт. А подлинная поэзия должна возвышать! Должна возносить дух!

Недавно читал лекцию по Достоевскому, когда готовился, выписывал цитаты. Удивлялся, насколько совпадаю с Фёдмихалычем… Он там говорит,

---

1. Блог относится к 2008 году. Некоторые мои оценки, возможно, тональность, с которой я хотел это высказать, теперь я бы изменил, но не общий настрой. Соглашаюсь на публикацию этого текста как есть, тем не менее прошу помнить, что первоначально не предназначался он для публикации в бумажных изданиях и был именно открытым блогом, из которого уже редакторы отобрали предложенные вам отрывки.
2. По поводу «кандидатства наук» — я ни в коем случае не сомневаюсь, что все перечисленные достойно получили свои степени. Необходимая, кажется, ремарка.

что «лучшими людьми» делаются — адвокаты всякие, бизнесмены и т. д., и по недоразумению сами они начинают осознавать себя лучшими людьми. А дальше говорит: беда-то в том, что подлинного величия не осталось! Нет ничего по-настоящему великого в современном мире. И вот в поэзии тоже — не осталось подлинно великого. Исчезла присущая прежде стихам глубина… и стала поэзия мелкотравчатая и впрямь маргинальным занятием. И вот в Перми собрались такие мелкотравчатые маргиналы, неплохие текстовики… И тут-то и сбрендили перед Багаутдиновым[3] — таким же поверхностным, но с подачей! Поэты нынешние делятся на две части: «слэмовские» — текст может быть и не очень сильным, даже вовсе никаким, главное — прорычать, завести публику. И «текстовые» — текст можно и промямлить, главное, чтобы там ощущалась явно поэтическая техника… Глубины нет ни у тех, ни у других. На пермском турнирце[4] казанские доминировали, потому что и тексты были достаточно сильны, и — все мы, часто выступающие со сцены, научились подать свои стихи! Мы работаем с публикой, общаемся с ней, работаем на неё!..

И вот четвертьфинал: Багаутдинов выбил мальчика из Бийска Ч….ова, который пишет в своём блоге, ничтоже сумняшеся, что, не дрогнув, вырезал бы всех албанцев… но оставим это на его больной совести. Мальчик проиграл и тихо-надменно благородно оскорблён. Подлетают утешать возмущённые екатеринбургские поэтики: «Мы не согласны, несправедливо, у того — пустые стихи… да что здесь: не театральный же фестиваль!» Полуфинал — против Багаутдинова московский неплохой автор Ш…цкий, но голосование — опять за Айрата! По ощущению, текстик москвич выбрал не самый удачный. Тут уже вовсе: гул в зале!

И вот же профессиональное — из них же самих, текстовиков, жюри — голосует не за текст, а за формат! За подачу! Одного текста не хватает!

А почему не хватает? Выступал бы какой-нибудь Пастернак — ему бы хватило с его гнусненьким чтеньицем, я уверен… А потому — что нынешнему тексту и впрямь не хватает. Не хватает глубины, духа, так, чтобы в пот прошибало, потрясало…

Формат, подача — суррогат, меленькое замещение прежнего *духа стиха.* Того, о чём Гумилёв сказал зацитаченную мною фразу: «У каждого поэта должен быть Бог в душе, иначе это не поэт, а гимнаст».

И вот сбрендили гимнасты перед гимнастом же Багаутдиновым из-за того, что он умеет подать свои стихи сценично и из-за того — выигрывает, потому что идёт эмоция. А от нынешних стихов, которые лишь для тех, кто в стихах «сечёт фишку», никакой эмоции не идёт! Никакого шевеления внутри не происходит, ни истинного, ни хотя бы ложного.

Во спасение — последний стишок Багаутдинов прочёл издевательски матерный, и победу присудили второстепенному пермяку. Радостные екатеринбуржцы бросились обнимать викторианца. Но победка глупая. Если бы Багаутдинов прочёл стишок без мата, то, безусловно, выиграл бы, судя по принципу судейства. В восьмёрку финалистов отобрали — чтобы никому не обидно — от каждого города. 2 казанца, 2 москвича, 2 екатеринбуржца, пермяк, алтаец… То есть не текстовый, а географический принцип. Из Казани попала любимица местной тусовки, впрочем, действительно талантливый поэт Алёна Каримова и какой-нибудь ещё казанец (из нас шести — выбрали Багаутдинова). В полуфинале Каримову выгнали, чтобы финал не был полностью казанским. По законам жанра, победить должен был всё же не пермяк (хозяин), а гость… но и так раздражавший всех Багаутдинов прочёл матерное…

Совершенно чудесный поэт Алексей Решетов, родом из Перми. Жалко, что умер в 2002-м. Совершенно! Совершенно чудесный, настоящий, духовидец-поэт!

Интересно, в связи с моими рассуждениями о поэтике Кибирова, размышление Шубинского о собственно поэте Л. Аронзоне, с тою же, кстати, евтушенковской цитатой, но употреблённой здесь в противоположном моему смысле. Я вспоминал об этой фразе, говоря, что «поэт в России больше», и имел ввиду: больше, чем стихотворец, рифмач. Но он есть поэт высшей духовной задачи. Шубинский же — в буквальном евтушенковском смысле и негативно, как увидите по цитате… То есть зачастую поэты стремились быть «больше» — стремились быть политиками, публицистами и т. д. А если «больше» берётся в этом смысле — то подлинной поэзии-то и меньше на самом деле остаётся! Ха! Получилось, я написал предисловие к цитате, которую только собираюсь озвучить. И вам пока даже непонятно, при чём здесь Кибиров. Зато — если эту логику брать, можно принимать даже Рубинштейна, который-то и стремился быть не «больше», а просто «поэтом».

Но поэтом-то он не стал. Потому что, отказавшись быть «больше» в смысле евтушенковском, он, не заметив, отказался быть «больше» в смысле духовидческом, в том, в каком я эту фразу употребил. Вот то-то и оно с темой величия… Попробуй-ка назови себя великим поэтом, тут же на тебя перестанут серьёзно смотреть, увидя в этом нескромность, бахвальство, глупость, бесстыдство, признак графомании, евтушенковское «больше, чем поэт» — взятие на себя несвойственных поэту ролей и т. д.

И боятся теперь не только назвать, но и осознать себя великими поэтами… А без осознания величия — откуда взяться великим?.. Скромное осознание своего величия. И вот и получается то, о чём Достоевский причитал: нет великих людей!

---

3. Айрат Багаутдинов (не путать с Маратом Багаутдиновым, ижевским поэтом) — организатор первых казанских слэм-турниров, поэт и литературтрегер, особенно активно участвовавший в литературных событиях России в 2007–2009 годах, публикации в журналах «Арион», «Волга» и др. Несмотря на юный возраст (1988 г. р.), приобретший уже определённую литературную известность в основном выступлениями на поэтических слэмах в Москве, Нижнем Новгороде. Казани и других городах.

4. Один из многочисленных в последнее время поэтических фестивалей-конкурсов для поэтов. Означенный «Турнир поэтов» прошёл в Перми в конце марта 2008 года в здании местного отделения Союза писателей.

Величие только об руку со скромностью. Скромность и смирение—вот качества подлинного величия, осознающего себя.

Скромность—не есть отречение от самого себя, от того, что Господом тебе ниспослано. Скромно нести свой ярем.

Перед злополучной цитатой, которую всё ещё не привёл,—в последний раз о Евтушенко. Как-то он посвятил стих Луговому, в котором описывал могилу писателя… а через несколько лет—перепосвятил другому.

Наконец, цитата: «Аронзон был поэтом—и никогда «больше, чем поэтом». Бродский—смолоду его соперник, или, вернее, стилистический оппонент—рядом с ним кажется очень земным, посюсторонним, очень социальным, погружённым в язык, в быт. Цветаева писала, что Гёте, конечно, более великий поэт, чем Гёльдерлин, но Гёльдерлин поэт более высокий. Ему доступны горные вершины, но он всегда на вершине, а великий Гёте обречён спускаться в равнину, к людям… это можно отнести к Иосифу Бродскому и Леониду Аронзону».

Ну вот—теперь поднимитесь к моим рассуждениям о Кибирове.

Всё же параллель с Кибировым не совсем точна… Когда великий спускается в равнины—это великий спускается. У Кибирова же—снижение, но без величия…

Аронзон поэт хороший. Радуюсь, читая, хотя от Решетова впечатление сильнее, правда, и он тоже не весь совершенен, но кто же—весь? При этом—во многих стихах такой бесхитростно прекрасный…

С тех пор как поэзия современная в большинстве провозгласила… как это тогда в Казани Рубинштейн высказался: «Мы не инженеры человеческих душ, мы вообще душами не занимаемся, мы занимаемся словами, писанием слов. Складыванием и т. п.». Но раз так—такие-то нужны самим себе лишь! Поэзия начала отрицать искусство в самой себе. (Ха! искусство—слово, напоминающее о смирении).

Поэтов слушают те, кто способен ловить кайф от того, как собраны, сложены слова, и, говоря уже словами Н. Искренко: «Меня никогда не полюбит рабочий, он не знает, за что меня можно конкретно любить»… ну, или вроде этого…

Для Есенина главным критерием стиха было—«живое—не живое», Гумилёв говорил: «У каждого поэта должен быть Бог в душе, иначе это не поэт, а гимнаст». Ахматова в «Реквиеме» сказала, что будет голосом от имени тысяч женщин, стоявших в бесконечных очередях на морозе на Лубянке… Нынешние—не будут ничьим голосом перед Богом. И вот—поэзия ушла от людей, но и люди ушли от поэзии. Ибо такая поэзия им больше не нужна. А та, прежняя, была нужна. Куда ушли от поэзии? Кто-то в запой. А кто—в другие виды искусств, в кино, в частности, которое всё же продолжает разговаривать с человеком. Поэзия в большей степени, чем остальные виды искусств, перестала разговаривать. Ей теперь нет дела.

Хуже всего, что те, «которым нет дела», сейчас и определяют поэтическое пространство: журналы, фестивали, тусовки… поэзия зафилологизирована. Есть и другое, но оно чаще—маргинальное… либо советские мастодонты, которых теперь печатают за имя, несмотря ни на что.

И вот—молодой поэт хочет реализации. И он видит—другого пути нет: журналы, фестивали, поэтические сейшны… надо в «высшую лигу»! И стремится туда! А хорошо сказал Каспаров про политику, почему не надо сейчас участвовать в выборах: не надо играть на их поле, да, там подтасуют, но зачем идти туда, чтобы после плакать: «У, подтасовали… нет честных выборов!»—надо создавать своё поле политики и играть на нём! И вот они выбрали улицу, правда, пока силёнок мало и народу мало выходит…

С поэзией тоже—надо создавать иное поле! Раз уж я до сих пор веду с душами разговор по душам… Меня не интересуют «высшая лига» и их поэтические журналы, это, конечно, на некоторое время тешит самолюбие, но это труха и хлам. Надо возвратить поэзии величие. Ощущение Божьего призвания (о, смирение перед Господом моим!). У меня мысль через другие искусства—вот попытка с хором, вот с театром, может, если б было классное кино на поэтическом материале! Нужны единомышленники, которые помогли бы! И единомышленники-мастера и с определённым статусом. Поэту подлинному нужно идти туда, куда ушёл от него бывший читатель, после того как мейнстримовая поэзия демонстративно от него отказалась! Думаю—визуальное искусство, но не ради феньки, а чтобы был духовный прорыв и соучастность! Может, сейчас время Маяковского… Цирк-поэзия! Мейерхольд—режиссёр Маяковского! Потом уже—когда поэзия вернётся к человекам—настанет время Пастернака. Чтобы говорить личностными интонациями, тихо и лишь с тобой. Поэзии нужна личность сейчас, способная у людей переломить отношение к поэзии как к чему-то, очень далёкому от меня, моих переживаний, моих духовных надежд… И в самих поэтах разбудить—«Бога в душе»!

Галина Кудрявская

Путь страдающей души

Начать хочу с того, что я не критик и не литературовед, и это не рецензия, а, скорее, просто отклик. Уверена, что глубокую, талантливую книгу автор и читатель—оба—проживают.

Уже несколько месяцев у меня на рабочем столе—книга смоленского поэта *Владимира Макаренкова «Ворота во мгле»*. Книга—осмысление жизни и самого себя в ней. Книга исповедальная, трудная, трагически-светлая, какой и должна быть осмысленная человеческая жизнь.

Беру её в руки часто, открываю то на той, то на другой странице и живу вместе с автором эту нашу нелепую, изломанную и прекрасную жизнь, в которой многое от нас не зависит. Но зависит главное—возможность не принимать зла, не соглашаться с ним, не участвовать в нём.

Как трудно принять этот мир—величественный, могучий, но жестоко искажённый «человеческим вирусом», как трудно принять возможность иной, чистой, жизни лишь за пределами земной. И так хочется рая уже здесь, на земле, и так одиноко и горько душе.

Кому из нас не знакомо это чувство, когда всё вокруг кажется «кошмарным сном», и хочется проснуться, освободиться от наваждения, очиститься и изменить эту нашу кривую жизнь, этот больной мир. И вдруг понимаешь, принимаешь, как озарение, что можешь изменить в окружающем так мало, но так много—в самом себе.

Я прозрел, веет время в моих волосах,
И Господь мне, как родственник, мил…
(«Слезинка»)

Но одного прозрения мало, нужно стучаться до боли, до крови в эту вдруг открывшуюся тебе дверь, стучаться с верой, что она вновь откроется. Но не хватает твоих слабых усилий, и тогда рождаются такие горькие строки:

О, если бы, кому судьбу
Вручал я, дверь открыл,—
Прочёл бы на кровавом лбу:
«Стучался. Верил. Был».
(«Дверь»)

В этом, удивительной силы, стихотворении звучит нота неуслышанности, недослышанности Творцом, хотя дано ли нам это знать, посильно ли нашей душе то, чего мы так жаждем? И если доверять Богу, то, оглянувшись на свою жизнь, увидишь, сколько же тебе было дано. И дано не по твоему достоинству, а по Божию милосердию

И сам автор понимает, как много ему отпущено, поэтому и звучат у него такие слова:

И пусть мои стихотворенья—
Лишь слёзы в чаше бытия,
К разгадке тайны вдохновенья
Причастен всё же был и я.
(«Причастие»)

Да, лирический герой сборника был и остаётся причастным к этой великой тайне, живя в странестороне, где всё так не устроено для жизни, но «в стороне, где кроткий Бог без дорог прожить помог».

Книга «Ворота во мгле» достаточно противоречива, как противоречива сама человеческая душа, которая жаждет одновременно горней жизни, но и в земной, дольней, хочет быть признанной так, чтобы замечен миром был её уход.

Всё верится: в день похорон
Поднимется ветер, и дождик прольётся
И грянет раскатистый гром.
(«Надежда»)

Слаба душа, хочется ей земного признания, хотя она отчётливо понимает, что «…вечное тому дано, кто в темноте идёт на свет».

Книга «Ворота во мгле» философски-духовна, она о предстоянии человеческой души перед жизнью и смертью, а в конечном итоге—перед Богом, она о свободе, о праве выбора, о выстраданности этого права, она озарена мыслью и чувством. Для В.Макаренкова жизнь—Бытие, в котором Бог «слезами отмеривает сдачу за счастливые дни».

За судьбой лирического героя просвечивает судьба автора, переживающего борения собственной души со злом, которому он порой (на мой взгляд) ошибочно предписывает несвойственную ему силу вползать в дома и души без нашего на то согласия. Так в стихотворении «Они» есть строки:

И не спасут ни стены, ни замок,
Ни мысленная страстная молитва.
Вперёд тебя в квартиру между ног
Скользнёт незнамо что, сверкнув, как бритва.

С этими строками я никак не могу согласиться: всё же зло не приходит к нам без нашей на то воли (да и не об этом ли вся книга?). Не имею в виду несчастья, болезни и смерть, случающиеся с нами (хотя и они, в конечном итоге, не всегда зло). Я говорю о духовном зле, именно о нём ведёт речь автор. Тут без человеческой воли не обойтись, иначе нет смысла быть ей, этой самой воле. Человек—не кукла, а Бог и сатана—не кукловоды. Правда, тут борьба уже до крови, но ты или принимаешь зло, или отвергаешь его, ты ответственен за это.

И в стихотворении «Сомнение» лирический герой восклицает: «А я всё никак не пойму, кто со мной в игре, Бог или дьявол?» Так и хочется воскликнуть в ответ: не играй, коли не знаешь, с кем. Да и Бог с нами не играет, а с дьяволом игры опасны.

И ещё, на мой взгляд, не прописано, недоказательно стихотворение «Кольцо». Если бы оно не стояло в начале книги, о нём можно было бы и не говорить, но, видимо, для автора оно значимо. В нём лирический герой кается перед Богом: «что обручальное кольцо он предпочёл божественной дороге». А дальше речь идёт о Парнасе—«предпочитал жену стихотворенью». Но Господь благословил человека на брак дважды в Ветхом и Новом Заветах, так что достойное супружество для Него дороже сомнительных строк. Если же речь идёт о зарытом в землю таланте, то Парнас здесь ни при чём, талант можно приумножить и в супружестве и погубить в холостяцкой жизни. Об иночестве в стихотворении речь не шла, да инокам уже не до стихов, у них—«иная» жизнь.

В книге «Ворота во мгле» Владимир Макаренков уделяет особое место размышлениям о роли поэта, эта тема для него остра, достаточно трагична, она—болевая точка души. Ибо поэту много дано, но не всегда он может достойно понести Божий дар.

Да, истинный поэт всегда, в той или иной степени, прозорливец и пророк. И это—нелёгкий крест, оттого и бежит «ошеломлённая душа» то в алкоголь, то в упоение славой, то в утешение бытом. Живой душе трудно удержаться на высоте своего дара, своего предназначения, она—живая, она иной раз может и упасть. Но главное—научиться после каждого падения снова с помощью Божьей взлетать, что и происходит с лирическим героем Владимира Макаренкова. Книга полна поэтических свидетельств таких падений и взлётов.

> Я знаю то, чего не знаешь ты
> И не узнаешь никогда, читатель.
> *(«Космический излом»)*

Споткнулся на самомнении лирический герой, упал, и тут же горестно произнесли уста: «что ж я поверил, что душою вечен?»А дальше, пытаясь подняться, взлететь, бьётся живая душа.

> Душа телесное ярмо
> Пытаясь сбросить, бьётся в небо.
> *(«Зачем же я явилась в мир…»)*

> Мир смертный для души бессмертной плох.
> *(«Вот наступила новая эпоха…»)*

Все противоречия рядом: гордыня и смирение, отчаяние и вера, падения и взлёты. И во всём этом тоже бьётся всё та же живая душа.

> И как ты бьёшься—хорошо ли, плохо—
> Судить не сможешь сам, как генерал.
> Но если смог ты обойтись без Бога,
> Ты главное сраженье—проиграл.
> *(«Проигрыш»)*

Так отвечают себе и читателю автор и лирический герой на вопрос, как достучаться до Бога. И тогда возникают уже такие высокие строки:

> Дай мне страдание и боль,
> Пообещав, уже не струшу,—
> Судьбу исполню, а не роль
> И приведу на суд Твой душу.
> *(«О, как же втайне я боюсь…»)*

Какие ответственные слова, уже вполне выстраданные душой. Душой, знающей и любовь, и потери…

Вся книга В.Макаренкова пронизана любовью к Богу, Родине, близким людям,но пронизана и чувством вины перед всеми, кто любим. Она наполнена страданием по потерянным родным. И надеждой на встречу в вечности. Но самой трагичной нотой звучит в ней боль по утраченному сыну. Родители не должны хоронить детей.

> Потерял я любимого сына,
> Утешенья мне нет на земле.
> ………………………………
> Если я на земле этой лишний,
> Забери меня к сыну домой.
> *(«Молитва ко Господу»)*

А на сердце моём—неизбывна вина:

> Я живой, а ребёнок мой умер.
> *(«Вина»)*

> Матушка
> Богородица,
> Сына в обитель прими.
> Матушка Богородица,
> Нежно его обними.
> *(«Молитва Богородице»)*

Строки, пронзающие болью любое сердце… Я уповаю, что, излив своё страдание в этих непосильных словах, осиротевший отец нашёл утешение.

> Мы в другом измерении живы,
> Сняты копии с наших сердец.
> ………………………………
> Я приду и скажу тебе: «Здравствуй!»
> И закончим земной разговор.
> *(«Александру»)*

Душа лирического героя жива надеждой на встречу в иной, вечной, жизни со всеми, кого любил на земле. И перед этой встречей он судит себя всех судей строже: «Да, всё, что я прожил—нелепо!» И понимает, что «Не отыскать земную правду, минуя вышние врата»

Есть одни такие врата, «ворота во мгле», во мгле нашей сумеречной неправедной жизни, где добро так перемешано со злом, что их не отделить.В те врата душа, заглядывавшая в них ещё при земной жизни, уходит каждая в свой срок, чтобы окончательно познать Истину, встретиться с Богом.

Такова, как я чувствую, главная мысль книги Владимира Макаренкова, его понимание смысла жизни и смерти. И я сострадательно прошла с ним путь осмысления этого, путь страдающей души…

Алефтина Иванищева

Рыжий кот, Ванька и Налим

Всё плохо

В безбрежном, как океан, небе трепетало радостное солнышко. Оно посылало свои лучи на землю, на рыхлый весенний снег. И снег съёживался, темнел, но не сдавался: хлюпал под ногами прохожих, обдавал их брызгами из-под колёс машин, в которых сидели беззаботные водители; снег таял, собирался в ручейки и весело журчал. На голых деревьях восторженно гомонили воробьи.

По дороге, опустив голову, шёл мальчик. В глазах притаились слёзы. «Трое на одного… Гады!»

Он остановился и со злостью топнул. Мокрый снег радостно хлюпнул и брызнул в разные стороны.

— С ума сошёл?!—отпрянула в сторону девочка в светлой куртке.

Налим, Пескарь и Владик

Это случилось полчаса назад. После уроков Ваня Дубровин, который учился в четвёртом классе, шёл с третьеклассником Артёмом. Жили они рядом и часто ходили домой вместе. Недалеко от школы они увидели Пашу, Лёню и Владика. Паша был второгодником; Ваня даже подозревал, что тот оставался не один раз. У Паши, по кличке Налим, широкое и плоское, как недопечённый блин, лицо и маленькие невыразительные глазки. У Владика смуглое лицо и большие тёмные глаза, руки он всегда держит в карманах. Самый маленький из них, Лёня, весь какой-то остренький: худенькое личико с остреньким подбородком, остренький носик, которым он часто шмыгает, маленькие, глубоко посаженные глазки, которые впиваются в собеседника, как буравчики. У Лёни кличка Пескарь.

И вот сейчас Ваня и Артём хотели пройти мимо Налима и его компании, однако те перегородили им дорогу. Владик подскочил к ним и крикнул:

— Деньги есть?

— Подожди, не трезвонь,—оттолкнул его Паша.

Он повернулся к Ване и Артёму, которые уже поняли, что ничего хорошего от этой встречи ждать не надо. Если на уроках Паше приходилось напрягать свои мозги и долго думать над задачей или над спряжением глаголов, то после уроков разборки с теми, кто не так посмотрел, не то сказал, не так сделал, были быстрые и жёсткие. Прячась от взора взрослых, эти мальчишки покуривали, учились забористо сквернословить, отнимали деньги у слабых школьников. И вот теперь они обступили Ваню и Артёма.

— Деньги сами отдадите или помочь?—с тихой угрозой процедил сквозь зубы Налим, затем, не спуская с них глаз, плюнул себе под ноги.

Артём поспешно полез в карман и забормотал:

— У меня мало денег, всего несколько рублей. Мама на мороженое дала.

И высыпал в Пашину широкую ладонь мелочь.

— Всё, больше ничего нет,—Артём торопливо вывернул карманы куртки.

— Иди, завтра принесёшь,—милостиво разрешил Паша.

— Ну, ладно, Ваня, я пошёл,—сказал третьеклассник, однако не уходил, переминался с ноги на ногу.

— Что тебе сказали? Иди!—пропищал Лёня.

Артём сорвался с места и поспешно удалился прочь. Ваня остался один. «Скажу им, что денег нет. Не полезут же они по карманам»,—подумал он и почувствовал себя немного спокойнее.

— А ты чего ждёшь? Деньги давай.

— Налим, врежь ему,—подал голос стоявший чуть поодаль Владик.

— Нет у меня денег,—ответил Ваня тихим голосом.

— Не верь ему, врежь,—опять послышался нетерпеливый голос Владика.

— Заткнись,—грубо оборвал его Паша и повернулся к Дубровину,—а ты сам отдашь или всё-таки помочь?

Тот ответил нерешительно:

— Я же сказал, нет денег.

Налим неожиданно оказался сзади и вывернул Ванины руки назад, а Лёня подскочил и стал шарить в карманах. Вскоре он завопил:

— Пацаны! Мы живём! Вот это да!

И помахал в воздухе крупной купюрой. Ваня, дёрнувшись, отчаянно крикнул ему:

— Отдай, это Виолеттке на сок!

— Перебьётся твоя Виолеттка,—сказал Паша и так толкнул Ваню, что тот не удержался и упал на мокрый снег.

Владик хихикнул, суетливо подскочил и пнул его. Ботинок скользнул по плечу и ударил в ухо.

В небе трепетало радостное солнышко, спеша обогреть северную землю после долгой зимы. Шустрые воробьи, охваченные безудержным весельем, перелетали с дерева на дерево, оглушая всё вокруг своим чириканьем. Прохожие, замедляя шаги, улыбались небу, воробьям, друг другу. И только Ваня Дубровин шёл по дороге, опустив голову. Под ногами надоедливо чавкала слякоть. Мама, не успел Ваня переступить порог дома, спросила:

— Купил сок?

Ваня, понурившись и не решаясь пройти дальше, едва прошептал:

— Нет, деньги потерял.

Папа с сарказмом произнёс:

— Можешь, сынок, ещё потерять, папа заработает.

Потом подошёл ближе, нагнулся к опухшему уху, которое тихонечко саднило, и спросил:

— Это что?

— Упал.

Папа проговорил задумчиво:

— Упал и потерял деньги. Нет, не так. Потерял деньги, а потом упал. Впрочем, это неважно. Главное, ухо побито и денег нет. Всё ясно.

Татьяна Николаевна собралась идти, но, услышав эти слова, резко развернулась и спросила у сына жёстким голосом:

— Кто тебя побил? Не молчи, всё равно узнаю. Рассказывай!

И Ваня рассказал.

На другой день Татьяна Николаевна налетела на школу, как ураган, который сметает на своём пути всё. На её пути оказались директор школы, участковый, и родители, которых срочно вызвали, и те самые мальчишки. Всех она построила, всем дала наставления, всем указала, всех научила. Выяснилось: воспитательная работа в школе не ведётся, участковый за порядком не смотрит, родители своих детей не воспитывают.

Владик и Лёня плакали и клялись, что больше так не будут делать. И только Паша смотрел в окно директорского кабинета с безучастным видом.

С этих пор в школу Ване ходить не хотелось. Он понимал, что Паша со своей компанией не оставит его в покое.

Необычное имя

Дубровину Ване десять лет. Он небольшого роста, худенький. Внешность у него самая обыкновенная: каштановые волосы, серые глаза, прямой нос. И имя у него тоже обыкновенное — Ваня.

Зимой у него родилась сестрёнка. Родители задолго до её рождения думали, как её назвать. Они хотели, чтобы имя было необычное, очень редкое. После долгих споров решили: девочка будет Виолеттой. Виолетта — имя необычное и, самое главное, в посёлке ни у кого нет такого имени.

Виолетта оказалась очень капризной и неспокойной. Она кричала по ночам и никому не давала спать. Громким голосом она требовала молоко, заботу и внимание. Её раздражали мокрые пелёнки и шум. Папа и мама ходили на цыпочках и шикали друг на друга, а особенно на Ваню. Им казалось, что он громко говорит, что он топает, как слон, что он вообще часто мелькает перед глазами. Теперь Ваня обычно сидел в своей комнате один. А мама без конца готовила смеси, носила дочурку на руках, напевала ей песенки и сюсюкала. Папа стирал пелёнки и непрерывно тряс коляску, в которой спала маленькая капризуля. Когда приходили бабушка и дедушка, все садились вокруг Виолетты и любовались ею. Растягивая губы в улыбке, они начинали одни и те же разговоры о том, какая у них умная девочка, какая красавица, как она улыбнулась, как пыталась перевернуться. И мама всегда с гордостью добавляла:

— Ни у кого в посёлке нет такого имени — Виолетта.

Ваня затыкал уши и уходил в свою комнату. «Подумаешь, Виолеттка-пистолетка», — думал он. А вот ему дали самое обыкновенное имя — Ваня. И даже не интересуются им.

Не так давно мама, тщательно разглаживая распашонки, спросила у Вани:

— Ты почему дома, а не в школе?

— Так у меня каникулы, — ответил сын, не отрывая глаз от телевизора.

Мама со стуком поставила утюг на гладильную доску и воскликнула удивлённым голосом:

— Какие каникулы?

— Весенние, — ответил сын и улыбнулся.

— Ничего смешного не вижу, — почему-то обиделась Татьяна Николаевна, — как можно чему-то научиться, если в школе сплошные каникулы.

— Ты ничего не понимаешь, — сказал Ваня с упрёком, встал с кресла и пошёл в свою комнату, не взглянув на маму.

Если бы мама знала, если бы она хотела знать, как Ване не хочется ходить в школу, если бы она знала, что происходит, если бы она изъявила желание хоть немного поговорить со своим сыном! Но маме не до старшего сына. У неё — маленькая дочка.

Виолетта росла, не отпуская от себя родителей, и в семье на Ваню перестали обращать внимание. Как-то раз у него не получалась задача, и он решил, как в старые добрые времена, обратиться за помощью к отцу:

— Папа, смотри, я не могу решить задачу. Здесь же надо разделить, но никак не делится.

— Тогда умножь, — сказал папа, задумчиво качая коляску, и даже не заглянул в учебник. С появлением в доме маленькой дочурки папа часто был задумчивым.

Однажды в гости пришла бабушка и сразу же кинулась к малышке, сидевшей у мамы на коленях:

— Как тут наша Виолетточка? Иди ко мне, баба Тася по тебе соскучилась.

Татьяна Николаевна сказала ей:

— А мы сейчас расскажем нашей бабе Тасе, что наша Виолетта …

Ваня, сидевший рядом, буркнул:

— Всё Виолетта да Виолетта. А Ваня?

Мама удивлённо повернулась к нему:

— Что ты сказал? При чём тут Ваня? — и добавила: — Иди почитай что-нибудь.

Затем продолжала:

— А наша Виолеттка…

— Виолеттка-пистолетка, — прошептал угрюмо Ваня и поплёлся в комнату.

Мама, услышав это, насторожилась и спросила:

— Что ты сейчас сказал? Про какую пистолетку?

Бабушка, не расслышав Ванины слова, махнула рукой:

— Им, мальчишкам, только пистолеты да автоматы. Не обращай внимания, — и продолжала сладким голосом: — Ну, что там наша Виолетточка натворила?

Рыжий кот

Ваня открыл глаза. Возле него, на краю кровати, сидел кот. Самый обыкновенный рыжий кот, только левая лапка белая, вроде как белый носочек на ней. И смотрел он тоже обыкновенно, как все коты, наклонив голову, жмуря свои изумрудные миндалевидные глаза. Откуда он взялся? Мама не раз говорила о том, что мыши совсем обнаглели и надо бы завести кота. Но говорить одно, а делать—другое. С тех пор, как родилась у Вани сестрёнка, Татьяна Николаевна не всегда была последовательной в своих словах и делах. «Полное отсутствие логики»,—так говорил Борис Сергеевич, Ванин папа.

Кот потянулся, зевнул во всю свою розовую кошачью пасть и, вытянувшись на постели, закрыл свои зелёные глаза. И Ваня тоже невольно потянулся, закрыл глаза и провалился в сон. Он не видел, что кот тут же ухмыльнулся довольно и спрыгнул с кровати.

Будильник трещал настойчиво. Ване не нравилось хамство этого будильника, который каждое утро яростно бушевал. И он грубо шлёпнул по металлической кнопке. Будильник от возмущения захлебнулся и замолчал.

Ванины ощущения были где-то между дрёмой и реальностью. И вдруг мальчик почувствовал, как в груди появился совсем маленький тёплый комочек, стал медленно расти, сладкой тревогой заполняя всё тело. И вдруг он вспомнил про кота, быстро открыл глаза и посмотрел на одеяло. Кота на кровати не было. Не было его и под кроватью. Его нигде не было. Но он же был! И опять всё было плохо. Мальчик решил не вставать с постели. «В школу ходить не буду, есть не буду, вставать с постели не буду. Пусть все забудут про меня. Меня нет. Нет и всё»,—думал он.

Дверь скрипнула и тихонько отворилась. Но никто не появился. Ване пришлось оторвать голову от подушки, чтобы посмотреть, кто же всё-таки там. Там сидел кот. Весь рыжий-рыжий, а глаза изумрудные.

—Мама! Мама! Я есть хочу!—закричал Ваня и вскочил с постели.—Только побыстрее, я опаздываю в школу!

В комнату заглянула удивлённая мать.

—Ты почему…—начала она и замолчала, увидев кота.

—А это что такое?

—Это не что, а кто,—буркнул Ваня, весь съёжившись.

Хорошее настроение, взмыв к потолку, улетучилось. Мать внимательно посмотрела на сына и проговорила уставшим голосом:

—Ладно, об этом поговорим позже. Собирайся в школу.

Паша ищет встречи

До звонка оставалось немного времени. В классе было несколько одноклассников и учительница, которая что-то писала на доске. Ваня тихо поздоровался и проскользнул на своё место. В кабинет, громко топая ботинками, забежал Вова, русые волосы всклокочены, рубашка навыпуск, и весело крикнул:

—Ванька, здорово!

Ваня улыбнулся:

—Привет.

Радостно улыбаясь, зашёл Тимур.

—Здравствуйте, Анна Ивановна!—громко сказал он.

Он всегда улыбался так, словно школа для него огромный торт, а сам он именинник. Сияющая улыбка не сходила с его лица даже тогда, когда он получал очередную двойку: он радовался всему, что его окружало. Тимур протопал к своему месту, шлёпнул сумку на стол и стал доставать учебники. Каждый учебник он с громким стуком бросал на стол. От доски повернулась Анна Ивановна и строго посмотрела на шумного ученика. Тот пробормотал: «Простите меня, пожалуйста». Вцепившись в спинку стула, он с грохотом отодвинул его от стола, затем схватил свой портфель и бросил на стул. После этого он, хватая учебники со стола, стал снова бросать их в портфель.

—Ванька, иди сюда,—услышал Ваня от двери и замер.

Он узнал этот голос, он узнал бы его из тысячи других голосов. Но голову не стал поворачивать, будто не слышал.

—Дубровин, слышишь?—снова раздалось от двери.

Анна Ивановна стояла и наблюдала за происходящим. Девочки сбились в жужжащую стайку, послышался шёпот:

—Вчера Паша Ваню искал. Смотрите, Ванька боится.

—Пашка сказал, что всё равно поймает его. Это из-за милиции.

Прозвенел звонок. В класс вбежал растрёпанный Вовка и сказал, обращаясь к Ване:

—Пашка сказал, чтобы ты вышел на перемене.

—Володя, разговоры прекращаем, начинается урок,—твёрдым голосом сказала учительница.

Урок был длинный, скучный. Запутанная задача, которую распутывали всем классом пол-урока. Затем нескончаемая череда цифр, которые нужно было делить, умножать. Ваня никак не мог сосредоточиться. Он думал о том, что дома его ждёт кот, такой рыжий, что если долго смотреть на него, глазам становится больно от яркого рыжего цвета. И никому он сейчас не может рассказать про этого кота: его близкий друг Петя болеет и в школу не ходит. Так размышлял Ваня и, когда услышал своё имя, вздрогнул.

—Ваня, о чём я только что спросила?

Ваня встал, опустив голову. И тут раздался спасительный звонок.

—Ладно,—вздохнула Анна Ивановна,—запишите задание на дом.

Все перемены Ваня просидел в классе, в коридор так и не вышел. Анна Ивановна пыталась заговорить с ним:

—Ваня, что случилось?

Но тот только буркнул:

—Ничего.

Уважать или бояться?

Закончились уроки. Ученики с шумом высыпали в коридор, узким говорливым ручейком стекали к раздевалке и оттуда расходились группами, покидали школу. Ваня не спеша собрал учебники, сменную обувь сунул в пакет и поплёлся к двери. Его толкали, обгоняли, что-то говорили, но он не обращал ни на кого внимания. Домой идти не хотелось. Но не оставаться же в школе? Хотя сейчас Ваня с удовольствием остался бы здесь жить, только бы не видеть этого Пашку.

На улице Ваня сразу же заметил их. Они стояли недалеко от школы и, поглядывая в сторону выхода, о чём-то переговаривались. Увидев его, оживились. Что делать? Если бы можно было провалиться сквозь землю, Ваня так и сделал бы. Пусть бы Пашка поискал его. И тут из школы вышла учительница. Ваня не знал, как её зовут, она учила первоклассников и жила недалеко от его дома. Ваня приободрился и пошёл тихонечко за ней. Искоса глянув на Пашу, он увидел, как тот показывает ему кулак. Вслед донеслось:

— Попадёшься ещё.

Учительница шла не торопясь, её нежданный провожатый тоже шёл не спеша. Весеннее солнце щедро поливало уставшую от снега землю своими тёплыми лучами. Вдруг недалеко от них остановилась машина, учительница села в неё и спокойно уехала. Это был крах. Ваня почувствовал, как у него из-под ног уходит земля.

— Эй, Ванька! Стой! — тут же услышал он.

Что делать? Бежать? Дядя Федя, мамин брат, угощая его какой-нибудь завалявшейся в кармане конфетой, всегда весело говорил: «Бьют — беги, дают — бери». Ваня продолжал идти. Сзади снова раздалось:

— Стой, а то хуже будет! Всё равно выловим!

Как будто хуже может быть: на улице только Ваня и известные всей школе хулиганы. Ваня остановился. Вразвалочку, держа руки в карманах, сильные и наглые, подошли мальчишки.

— Чего ты бегаешь от нас? — спросил Паша.

— Пацаны, а мне кажется, что он нас не любит, — пропищал Лёня.

— Пескарь, а тебе нужна его любовь? Нас не любить надо, а уважать, — грубо перебил его Налим.

Темноглазый Владик стоял в стороне, участия в разговоре не принимал и только иногда хихикал.

— Да брось ты — уважать. Нас должны бояться, — опять пропищал Пескарь.

Ваня, бросив взгляд на щуплого Лёню, не сдержал улыбки.

— Пацаны! Да он над нами смеётся! — возмутился широколицый Паша.

Раздался Лёнин писк:

— Да он нарывается! Надо его проучить!

Пашу не надо было уговаривать, он стиснул кулаки и двинулся в сторону Вани. Его губы сжались, маленькие глазки стали ещё меньше. Сквозь стиснутые зубы он выдавил:

— Ты зачем про нас ментам рассказал?

Вдруг он остановился и крикнул, глядя куда-то себе под ноги:

— А это кто?

Ваня опустил голову вниз и увидел рыжего кота. Тот сидел возле его ног и нахально разглядывал Пашу своими глазами, ставшими сине-зелёными. Снова раздался писк:

— Ты рыжих котов не видел? Двинь-ка этому Ваньке! Смотри, он опять смеётся над нами!

Кот степенно поднялся, не спеша обошёл вокруг Вани и сел на прежнее место. И тут Паша замахнулся. Ваня пригнулся, втянул голову в плечи. Сейчас его будут бить. «Ну и пусть бьют, пусть», — подумал он с отчаянной злостью. Пашин кулак резко двинулся вперёд и вдруг замер. Паша ещё сильнее замахнулся. Но рука опять остановилась. Паша снова и снова выбрасывал кулак вперёд, но тот словно натыкался на какую-то преграду. Удивлённый Лёня прошептал:

— Пашка, ты это чего?

— Отстань от него, он просто пугает, — решил Владик.

Ваня тоже ничего не понимал. И только кот, ни на кого не обращая внимания, усердно тёр белой лапкой свою рыжую мордочку.

Паша, потирая кулак, бросил приятелям:

— Пошли отсюда.

Пройдя немного, он оглянулся и процедил сквозь зубы:

— А ты ещё попадёшься.

Проезжавшая мимо машина забрызгала Ваню мокрым снегом, и он, счищая снег с курточки, стал ворчать без всякой злости: «Разъездились тут». Затем обратился к коту:

— Я так ничего и не понял. А ты?

Кот ответил:

— М-да.

Ване показалось, что тот ухмыльнулся.

Быстро и красиво

Ване очень хотелось рассказать про рыжего кота Пете, который несколько дней не ходил в школу, и вечером он отправился к своему другу.

Дверь открыл Петин младший брат, которому едва исполнилось три года. Ваня сказал ему:

— Привет, Косточка. Петя дома?

— Я не Косточка, я Константин, — отчётливо проговорил Костя. Так как он немного шепелявил, у него получилось «Кан-штан-тин».

Петя проговорил нетерпеливо:

— Зови быстро, мелюзга.

Однако малыш сложил руки на животе и, глядя на Ваню исподлобья, упрямо сказал:

— Не позову.

В коридор выглянул взъерошенный Петя, поправил очки, сидевшие на носу косо, и спросил:

— Кто там? А, это ты, Ванька, проходи.

И опять исчез. Ваня обошёл Костю, легонько толкнул сзади и засмеялся:

— И всё равно ты Косточка.

Оказавшись в комнате, Ваня удивлённо остановился: Петя энергично носился по комнате и сбрасывал на её середину всё, что попадало под руки. Вот полетели на пол со стола тетради, за ними учебники, ручки и карандаши, из-под кровати Петя выудил два носка, один чёрный, а другой в синюю и зелёную полоску, вскоре оттуда же

появилась рубаха, следом за которой недовольно взметнулась серая пыль.

Дверь распахнулась, появился Костя и, глядя на Ваню исподлобья, решительно заявил:
— Прошу заметить, косточка бывает только от мяса, а ещё бывает во фруктах. А я не мясо и не фрукты. Я мальчик по имени Кон-стан-тин. А если ты ещё раз…

Ваня весело перебил:
— Долго же ты думал.

Петя подскочил к брату и бесцеремонно вытолкал его из комнаты.
— Иди отсюда, уж больно ты разговорчивый стал.

И захлопнул за ним дверь, затем схватил пластиковый пакет, лежавший в углу, и в общую кучу посыпались игрушки.

Ваня наконец-то решил спросить:
— А что ты делаешь?
— Разве не видно, что убираюсь? Порядок навожу.
— А я думал, наоборот.
— Как это, наоборот? Беспорядок, что ли?

Ваня только кивнул.
— Чтобы навести порядок, сначала нужен беспорядок,— сказал его друг уверенно и сбросил со стола какие-то листочки. Затем, придирчиво оглядев комнату, облегчённо выдохнул:
— Вот теперь всё!

Сев на незаправленную постель, Петя поправил очки и с удовлетворением посмотрел на груду вещей среди комнаты. Однако чем больше он смотрел на неё, тем мрачнее становилось его лицо. Он задумчиво сдвинул тёмные брови к переносице, но ненадолго. В глазах весело запрыгали хитринки, и он нетерпеливо крикнул:
— Косточка, иди сюда!
— Я не Косточка,— тут же раздалось за дверью.
— Ну, хорошо, не Косточка, а Константин,— легко согласился Петя,— хочешь роботов?
— Хочу,— в дверь мгновенно просунулась светлая голова.
— Бери,— щедро махнул рукой Петя.
— Где брать? Ты думаешь, я здесь что-нибудь смогу найти?— удивлённо вздёрнул кверху светлые брови Костя.
— Захочешь — найдёшь,— коротко ответил добрый брат.

Костя протиснулся в комнату, постоял немного, затем спросил:
— А Бэтмана ты мне тоже отдаёшь?
— И Бэтмана отдаю.

Ваня что-то хотел сказать, но Петя прижал указательный палец к губам и едва помотал головой так, чтобы братишка не видел. Костя присел рядом с ворохом вещей, и вскоре у него в руках оказался Бэтман. С сияющим лицом он направился к двери, бережно неся в вытянутых руках человека-паука.

Петя встревоженно вскочил с кровати:
— Э, ты куда? Забирай всё.
— Спасибо, мне больше ничего не надо,— благодарно взглянул на старшего брата Костя.
— Я тебе дам спасибо. Забирай все игрушки, иначе ничего не получишь,— рассердился Петя.

Улыбка медленно сползла с Костиного лица. Он тихо вздохнул и снова склонился к Петиным вещам. Вскоре он ушёл, волоча за собой пакет с игрушками. Он не видел, как Петя победоносно улыбался.
— Ты зачем Бэтмана отдал?
— Подожди, так надо. Потом заберу.

Хлопнула входная дверь, и послышался весёлый голос Веры Сергеевны:
— Как вы тут без меня, мальчики, не подрались?
— Мама,— рванул Петя в коридор,— давай я помогу тебе снять пальто. Ты, наверно, устала. Снимай, снимай пальто. И сумку дай, тебе тяжело.
— Петя, у тебя температура?— тревожно спросила Вера Сергеевна.
— Ну, почему сразу температура?
— Тогда, может быть, ты Костю обидел?

В коридор выбежал весёлый Костя.
— Мама, мне Петя человека-паука подарил!
— Петя,— Вера Сергеевна схватилась за сердце,— что ты натворил? Сознайся сразу, не молчи.

Петя сделал обиженное лицо, снял очки и стал их протирать подолом своей футболки:
— А я не молчу. Ты, как зашла домой, слова не даёшь мне сказать. Просто я свои грязные вещи собрал в стирку.
— И всё?
— И всё. Иди забери их, они в моей комнате.

Петина мама с опаской вошла в комнату:
— И где же тут грязная одежда?
— Вот,— показал старший сын на сваленные в одну кучу вещи.

Вера Сергеевна помолчала немного, а затем с интересом спросила:
— Ты хочешь, чтобы я постирала твои учебники?
— Здесь не только учебники. Смотри получше. Вот носки лежат, а вот рубаха. Может быть, ещё что-нибудь найдёшь. Ты поройся, поройся в вещах, не стой.

Молодая женщина внимательно посмотрела на Петю, затем перевела взгляд на Костю. Тот только пожал плечами, это означало: ничем помочь не могу, выкручивайся сама. Прищурив глаза, она спросила у младшего сына, ткнув пальцем в ворох вещей:
— Ты Бэтмана сам взял?
— Сам.

На губах Веры Сергеевны появилась загадочная улыбка, она нагнулась и быстро собрала Петину одежду. Затем подошла к двери, оглянулась и весело подмигнула Ване, посмотрела на старшего сына и спросила:
— Скажи, а учебники и тетради папа будет собирать? Или учительницу позовёшь?

И вышла, не дождавшись ответа. Петя сгрёб в неровную стопку книги и тетради, положил их на стол, они сразу же разъехались в разные стороны. В коробочку мальчик побросал ручки и карандаши.
— Всё, убрался. Быстро и красиво,— окинув взглядом комнату, он остался доволен.
— А постель будешь заправлять?— спросил Ваня.
— Зачем? Всё равно скоро спать.

Раздался голос Веры Сергеевны:
— Петя, иди делать ингаляцию!

Ваня сказал:
— Ладно, я пошёл домой.

— Ты зачем приходил?
— В другой раз расскажу.

Немой и щенок

На первый урок Ваня опоздал. Анна Ивановна, едва взглянув на него, сказала:
— Проходи.
И продолжала урок:
— Открываем тетради, записываем дату.
В тишине раздался чей-то едва сдерживаемый смешок.
Нахмурившись, учительница спросила недовольным голосом:
— Сёма, это что за веселье?
— Анна Ивановна,— расхохотался Сёма,— Вова просил рассказать девочке из третьего класса, что она дура и он в неё влюблён.
Раздался дружный смех детей, сквозь который прорвался возмущённый голос Вовы:
— Чего гонишь? Не говорил я так!
Вдруг дверь распахнулась, зашла Светлана Павловна, завхоз школы, и, внимательно разглядывая каждого ученика, сердито спросила:
— Ребята, кто принёс в школу щенка?
Все дружно повернулись к Андрюше, а тот опустил голову, взглядом упёрся в стол. Анна Ивановна посмотрела на него и спросила:
— Андрей, твой щенок?
Андрюша продолжал молчать. И тут вскочила Света, отбросила со лба тёмные кудрявые волосы и закричала:
— Да, это он принёс! Я видела, он! Андрюшка, почему ты молчишь! Кто должен за тебя отвечать? Говори!
— Это правда?— понизила голос учительница.
— Да,— едва прошептал Андрюша, ещё больше пригибаясь к столу.
Снова заговорила Светлана Павловна, сердито размахивая руками:
— Зачем ты принёс в школу щенка? Надо было дома оставить или отдать кому-нибудь. И что мне теперь с ним делать? Вот он лежит прямо на снегу и мёрзнет. И замёрзнет так.
Продолжая громко ворчать, она вышла из кабинета. Учительница что-то хотела сказать, но, глядя на Андрюшу, думала о чём-то своём. Затем проговорила:
— Продолжаем урок.
На перемене Андрюша подошёл к Ване:
— Пошли со мной.
— Куда?
— Отнесём куда-нибудь щенка.
Схватив с вешалок свои куртки, мальчишки выскочили на улицу. Возле крыльца на снегу лежал крошечный щенок, дрожащий от холода, и жалобно скулил. Был он весь белый, и только на правом боку—два небольших бурых пятна. Ваня сбросил с себя куртку, завернул в неё щенка, и мальчики бросились к соседнему дому. Поднявшись на площадку первого этажа, остановились. Смотрят, одна дверь приоткрыта.
— Давай сюда,— предложил Ваня.
— Ты что? Здесь глухонемой живёт.
— Ну и что?
Коридор был завален всяким хламом: на полу лежали какие-то вещи, рядом с ними огромные сани; приткнувшись к стене, стоял открытый мешок с картофелем. Мальчишки прошли в кухню. На старом табурете сидел здоровый, неопрятно одетый мужик и чистил картофель. Грязные очистки падали прямо на пол. Вот он дочистил картофелину и бросил её в стоявшую на полу кастрюлю. Оттуда с шумом плеснула вода на давно не мытый пол.
Андрюша набрал больше воздуха в лёгкие и крикнул:
— Здравствуйте!
— Ты чего? Он же глухой.
Мальчики переминались с ноги на ногу, не знали, что предпринять. Глухонемой поднял голову; увидев нежданных гостей, бросил нечищеную картофелину в кастрюлю и подошёл к ним. Ваня протянул ему щенка. Тот взял его, положил себе на широкую ладонь и замычал, довольно улыбаясь:
— М-м-м.
Андрюша дёрнул Ваню за рукав и показал глазами на дверь. Они попятились к выходу и, пока немой с диким восторгом рассматривал щенка на своей ладони, поспешно выскочили на улицу.

Рыжее чудо

На урок они всё-таки не успели. Пришлось топтаться у двери и мямлить, пытаясь объяснить, почему опоздали. Выслушав их сбивчивое оправдание, Анна Ивановна разрешила им пройти на свои места.
Шёл урок чтения. Весеннее солнце лукаво заглядывало в окно, не давало слушать монотонный голос учительницы и такие же монотонные рассказы детей. Ваня к уроку не был готов и теперь делал вид, что его здесь не было: смотрел куда-то в сторону, старался уменьшиться, скукожиться, на время вообще исчезнуть. Может быть, тогда Анна Ивановна не заметит его, не спросит. До конца урока оставалось совсем немного времени, когда послышалось:
— Дубровин, а ты готовил пересказ? Слушаем тебя.
У Вани был такой вид, словно он только что вынырнул из воды. По классу прокатился смешок.
— Ты готов к уроку?— нетерпеливо спросила учительница.
— Д-да.
— Хорошо, рассказывай.
И тут дружно раздалось:
— О-о-о!
Ваня недоумённо поднял голову, и его охватила радость. За спиной учительницы, прямо на подоконнике, сидел красновато-рыжий кот. По его шерстинкам пробегали золотистые искорки, а изумрудные миндалевидные глаза смотрели на ребят с интересом. Кот был такой красивый, что все дети невольно залюбовались им. А Света восхищённо воскликнула:
— Какое рыжее чудо!
Анна Ивановна повернулась к окну и сердито крикнула:
— А это что такое?
Ваня радостно крикнул:
— Это рыжий кот!

— Не понимаю, чему ты радуешься. Я так устала от ваших щенков и котов. Уберите его! — с раздражением сказала она.
— У-у-у, — пронеслось недовольное по классу.
— Не надо! — пискнула с первой парты худенькая черноволосая Фаина. — Он такой красивый.
— Ну, хорошо, тогда я это сделаю сама.

Анна Ивановна решительно поднялась с места, повернулась к окну и замерла: кота не было. Ничего не понимая, она услышала за спиной:
— Здорово!
— Как это он?
— Когда? Ты видел?
— Нет. А ты?

На столе возле Вани сидел кот и смотрел на Анну Ивановну невинными глазами: «М-р-р. Что случилось? Отчего такой шум? Просто я решил проведать своего приятеля. Стоит ли из-за этого, м-р-р, так волноваться?»

Дверь приоткрылась, и в класс протиснулся Виктор Михайлович, директор школы. Он обвёл глазами притихших учеников и остановил свой взгляд на учительнице. Послышался его недовольный голос:
— Анна Ивановна, что происходит? Почему у вас такой шум?

Анна Ивановна, отводя глаза от директора, пробормотала:
— Понимаете, рыжий кот…

Лицо Виктора Михайловича от изумления вытянулось:
— Какой кот?
— Рыжий. Он мешает мне вести урок. Дубровин, где кот?

Ваня, весело улыбаясь, только пожал плечами.
— Прошу Вас, Виктор Михайлович, не беспокойтесь, я его сейчас поймаю.

И учительница принялась искать кота: она бродила по всему классу, заглядывала под столы, даже в шкаф заглянула.
— А, — раздалось торжествующе, — вот он!

Она стала подкрадываться к магнитофону, стоявшему на подоконнике, из-за которого было видно что-то рыжее, по всей видимости, хвост кота. Ей даже показалось, что он шевелится. Ребята замерли. Ваня весь подался вперёд. Фая пискнула. Вова громко шептал: «Брысь, брысь», — и при этом махал руками, как будто кот мог его увидеть. Анна Ивановна старалась идти тихо, на носочках. Вот она подошла к окну и быстро схватила что-то рыжее. И тут все увидели, что в её руке болтается оранжевый шарфик.
— Анна Ивановна, Вы здоровы? — сочувственно спросил Виктор Михайлович.
— Да, я здорова, — каким-то чужим голосом произнесла она, продолжая держать шарфик в вытянутой руке.
— Может, Вам домой пойти?
— Может, мне домой пойти.
— Хорошо, идите.
— Хорошо, пойду.

Громко прозвенел школьный звонок. Анна Ивановна вздрогнула, посмотрела на ребят и сказала:
— Ребята, урок закончен. Можете идти домой.

А он горячий!

Шумная толпа четвероклассников высыпала на крыльцо школы и сразу затихла: на крыльце стояли Паша и его верные дружки. Паша, обращаясь к Ване, стал тыкать пальцем то в одного, то в другого:
— А сегодня кто будет спасать тебя? Может быть, он? А может быть, он?
— Паша, ты снова в милицию захотел? — спросила с вызовом Света.
— Да чихал я на ментов, нашла, чем пугать.

Сбоку подал голос Владик:
— Налим, смотри, опять рыжий кот!

Возле Вани сидел кот. Он не сводил с Паши своих зелёных глаз с голубоватым переливом, его шерсть стала золотисто-огненной, по ней пробегали красные искорки и чуть слышно потрескивали.
— Пескарь, убери его, — небрежно махнул рукой предводитель.
— Не трогай! — крикнула Света.

Но Пескарь уже схватил кота и в тот же миг издал громкий жалобный писк. Тут же подскочил Владик:
— Да ты чего визжишь, как девчонка! Смотри, как надо. Я его сейчас, хи-хи, за хвост.

И он поймал кота за хвост, но тут же крикнул:
— Ай! Да он горячий!

На лице у него появилась смущённая кривая улыбка, на глаза набежали слёзы.
— Какие вы нежные, — произнёс ничего не понявший Паша, — смотрите, как я его из шкуры вытрясать буду. Светка, это тебе на воротник!

Никто не рассмеялся. Все стояли и с интересом наблюдали, что же будет дальше. Паша схватил кота обеими руками за шею и завопил:
— А-а-а-а!

Его лицо исказилось от боли и ужаса, но он продолжал держать кота и при этом громко кричал. Со всех сторон раздалось:
— Отпусти кота!
— Руки разожми!

Наконец, Паша отпустил кота, разжал пальцы, и все увидели: на ладонях крупные волдыри, какие бывают от ожогов. Дверь школы открылась, вышла полная молодая женщина с первоклассником за руку. Она остановилась, быстро оценила обстановку и возмущённо сказала, обращаясь к ребятам, окружившим Пашу:
— Что вам от него надо, хулиганы? Нигде от вас прохода нет. Бить, наверно, собрались? Только бы кулаками размахивали, двоечники.

И обратилась к Паше, подталкивая его в спину и загораживая от остальных:
— Пойдём, мальчик, я тебя провожу. Не бойся их, я завтра с директором школы поговорю.

И пришлось Паше идти с этой неожиданной спасительницей. Уходя, он сказал Ване с угрозой:
— Ты, Ванька, ещё попадёшься.
— Дубровин, почему у тебя кот обжигается? — спросила Света, вытаращив тёмные глаза.

Ваня растерянно сказал:
— Да не обжигается он. Вот, смотрите.

Он взял кота на руки и погладил. Подошла Настя и, не отводя от Вани голубых ясных глаз, попросила:

— А можно мне погладить?
— Конечно, можно.

Настя стала гладить кота и приговаривать тихим ласковым голосом:
— Котик, рыженький, красивенький. Откуда же ты такой взялся?

Тут всем захотелось потрогать кота, погладить. Ребята гладили кота, и каждый чувствовал тепло, которое согревало детские ладони и горячими волнами расходилось по всему телу. И светлее становились лица детей, а улыбки радостнее и добрее.

Нет, не Васька и не Рыжик

Заботливая мама левой рукой придерживала малышку на коленях, а правой пыталась сунуть ей в рот ложечку с кашей, при этом она приговаривала нежным голосом:
— Ешь, моя маленькая, манную кашку. Кашка сладенькая, девочка поест кашку и вырастит большая-пребольшая, больше мамы, больше папы.

Малышка есть кашу не хотела, дула на ложечку, оттуда слипшиеся комочки разлетались в разные стороны. Ваня смеялся, наблюдая за несмышлёной сестрёнкой, и она отвечала ему радостной беззубой улыбкой и снова усердно принималась дуть на кашу. Пухлой ручонкой она дотянулась до тарелки, схватила кашу и, тоненько повизгивая от восторга, стала размазывать её по столу.

Ваня допил остатки компота и спросил:
— Мама, я схожу до Пети?

Но Татьяна Николаевна после тщетных попыток накормить маленькую дочурку была не в духе, сердито проговорила:
— Не кажется ли тебе, что ты в последнее время очень много гуляешь на улице? А как же с домашними заданиями? Я вижу, ты учёбу совсем забросил. Вот пусть папа сходит в школу, узнает, как ты учишься. Марш в комнату, пока не сделаешь уроки, не выходи!

Спорить с мамой было бессмысленно. Ваня поплёлся в комнату, сел за стол, открыл учебник по чтению и стал бубнить.

Кот лежал в кресле, положив голову на лапы. В ярких рыжих шерстинках играли золотистые искорки: то волнами пробегали по всему туловищу, то рассыпались в разные стороны. В прищуренных глазах, смотревших на Ваню, мелькал голубовато-зелёный свет. По комнате расплывалось раскатистое мягкое мурлыканье.

Ваня посмотрел на кота, залюбовался им. Сам не заметил, как заговорил вслух:
— Интересно, как же его зовут? Не может же он без имени? У нас Виолеттка ещё не родилась, а имя уже придумали. Да ещё какое! Родичи все книги перерыли, пока откопали такое имя, что сразу не выговоришь и не запомнишь. А бабушка? Она это имя записала на листочек и по нему учила. Смех, да и только. Как же всё-таки кота назвать? Может быть, Васька? А что, всех котов зовут Васьками. Кис-кис, Вася, Вася,— позвал он кота.

Тот фыркнул, отвернулся.
— Да, кличка Вася тебе, конечно, не подходит,— проговорил Ваня, задумчиво разглядывая кота,— ты весь рыжий.

И громко пропел фальшивым голосом:
— Рыжий-рыжий, конопатый! Убил дедушку лопатой!

Кот поднял удивлённую мордочку и стал смотреть на Ваню, не мигая, своими зелёными глазами. Он был чрезвычайно поражён. Сколько он прожил на свете, а прожил он много лет, но такого ещё не слышал. Какой дедушка? Какая лопата? И за что убивать старика?
— Раз ты рыжий, будешь Рыжиком,— заявил мальчик.

Кот уткнулся мордочкой в лапы, лапками прикрыл уши, этого вынести он не мог. Раздалось приглушённое: «Сразу бы уж сыроежкой называл». Ваня не обратил на слова никакого внимания, протянул руки к коту и позвал:
— Рыжик, иди ко мне.

Кот поднял голову и посмотрел на него. Послышался чей-то мягкий голос:
— Тимофей.
— Рыжик, Рыжик, иди сюда,— снова позвал Ваня.
— Да Тимофей я! М-р-р, мяу!— возмущённо крикнул кто-то рокочущим голосом.
— Кто это говорит? Какой ещё Тимофей? Какое дурацкое имя. Лучше уж Васька.

Кот спрыгнул с кресла, плавной поступью подошёл к столу и запрыгнул на него. Теперь он сидел прямо перед Ваней и смотрел на него в упор. Глаза сделались тёмно-синими, а шерсть вспыхнула огнём. И тут Ваня увидел, как кот открывает свою пасть и оттуда доносится:
— М-р-р на тебя-яу, бестолкового. Да никакой я не Васька, я Тимофей.
— Ты разговариваешь? Но такого не может быть! Такое только в сказках бывает! Или во сне.
— Скажи м-м-мне, ты сейчас спишь?
— Н-нет, не сплю,— ответил Ваня, украдкой ущипнув себя, и от внезапной боли поморщился.

После короткого молчания Ваня, словно опомнившись, неуверенно спросил:
— Разве коты умеют разговаривать?

Кот молчал и, казалось, ухмылялся. Ваня слышал от папы про слуховые галлюцинации. Теперь он точно знал, как это бывает: ты слышишь чьи-то голоса, а на самом деле их нет. Просто тебе кажется, что они есть. Ваня бросился из комнаты и закричал:
— Мама, как называется такая болезнь, когда слуховые галлюцинации?

Мама укладывала малышку в кроватку, долго укрывала её одеялком, разглаживала его, подтыкала со всех сторон, что-то нашёптывала маленькой и только после этого ответила:
— Шизофрения. А тебе зачем знать?
— Ты, мама, самое главное, не беспокойся,— сказал сын и, взяв свою маму за руку, тихо добавил.— Просто у меня шизофрения.

Татьяна Николаевна, раскрыв широко глаза, удивлённо спросила:
— С чего ты взял?
— Ты мне сначала скажи, коты могут разговаривать?
— Конечно, не могут,— заявила она категорично.

У Вани мама всегда говорила так: решительно, твёрдо, категорично. Она никогда не сомневалась в своей правоте. И домочадцам приходилось ей

уступать. Впрочем, Борис Сергеевич как-то раз сказал сыну: «Ты, Иван, слушай маму, не спорь с ней, но делай так, как считаешь нужным». Сколько бесполезных споров избежал Ваня благодаря совету своего отца!

— Мама, я знаю, что не могут. А я слышу голос кота. Значит, у меня шизофрения?—спросил Ваня дрожащим умирающим голосом.

— Опять кот. Где он?—раздражённо сказала мама.

— В комнате.

Татьяна Николаевна решительно встала и направилась в комнату. Кот, развалившись в кресле, спал. Всё его туловище выражало умиротворённость и тихое недоумение. М-р-р. Какой голос? О чём вы говорите? Я всё это время спал и ничего не слышал. Татьяна Николаевна обеспокоенно дотронулась до Ваниного лба и сказала:

— Сынок, ты слишком много сидишь за уроками. Учишь, учишь, от учебников тебя не оторвать. Нельзя так много заниматься, нужно больше отдыхать! Что это за школа? Сплошные уроки и домашние задания. И вообще, каникулы у вас бывают? Пусть папа сходит в школу и всё выяснит. А сейчас ты уберёшь все учебники и пойдёшь гулять на улицу.

— А стихотворение? Я ещё не выучил.

Послышался громкий плач малышки. Мама, поспешив на этот плач, бросила на ходу:

— Какое стихотворение? Сейчас же собирайся на улицу!

Ни мама, ни Ваня не видели, как за ними всё это время наблюдал кот и насмешливо улыбался.

Ваня остался стоять посреди комнаты, растерянно разведя руки в стороны. Немного помолчав, он с недоумением пробормотал:

— Значит, я шизофреник. И как же мне жить дальше?

— Мр-р, ты такой же шизофреник, как и я-у тигр-р саблезубый.

— Вот,—подскочил Ваня от неожиданности,—опять слышу голос.

— Ты что, говорящих котов не видел? Мяу!

— Говорящих котов?—изумлённый мальчик подошёл к стулу и шлёпнулся на него.—Нет, не видел.

— Мяу-укни,—приказным тоном сказал кот.

— Что?!—удивился мальчик.

Тимофей нетерпеливо стукнул рыжей лапкой по столу.

— Какой же ты бываешь бестолковый. Мяукни, говорю. Вот так, мя-я-у.

— Ну, мяу-мяу.

Рыжий кот поморщился:

— Отвр-ратительно мяукаешь, голосовые связки никуда не годятся. Ты и м-мышей ловить, наверрно, не умеешь. Я вот о чём хочу спросить: если ты можешь м-мяукать, почему я не могу говорить?

И тут Ваня поверил. Он радостно подпрыгнул и закричал:

— Вот здорово! У меня есть говорящий кот!

— А вот тут ты ошибаешься, я не твой кот. Я вообще, мр-р, ничей.

— Такого быть не может! У каждого кота есть свой хозяин.

— У меня хозяина нет.

— А дом? Ты откуда?

— Мой дом—это степь. Ты знаешь, что такое степь? Степь—это даль неоглядная, это жаркий ветер, пробегающий волнами по сухой ковыли, это в голубом небе яркое солнце и падающая сверху звонкая радостная песня жаворонка. Вот что такое степь. М-р-р, мяу.

Ваня смотрел на кота, слушал его мягкий мурлыкающий голос, словно заворожённый смотрел в его глаза, из которых струился изумрудный свет, и мысленный взор уносил мальчика в степи, где он ни разу не был.

Кот замолчал. Ваня тоже молчал, потрясённый услышанным. Затем он прервал молчание.

— Теперь ты живёшь здесь, на севере?—спросил он кота.

— Нет, м-р-моё место на степном кургане. А здесь я потому, что ты позвал м-меня.

— Я? Я тебя не звал.

— Я всегда там-м-р-р, где кого-то обижают, кому-то плохо.

— Значит, ты не останешься со мной?

— Нет. Но я буду с тобой до тех пор-м-р, пока тебе нужен.

— Ты мне всегда будешь нужен. Я тебя не отпущу.

Кот прыгнул Ване на колени, свернулся калачиком и закрыл глаза. Мальчик осторожно водил рукой по жёлто-оранжевой шерсти и чувствовал тепло этого чудесного кота. Откуда он взялся, этот волшебный кот? Из какой сказки? Возможно ли такое? Он появился тогда, когда Ване было плохо и казалось, никто не может ему помочь. Но кот здесь, и Ваня знает: всё будет хорошо.

А ночью Ване снилась степь, опалённая зноем. Ласковый ветерок нежно касался тонких стебельков, и они легонько склонялись. Местами виднелись яркие островки степных цветов. Их душистый запах цветов и трав поднимался вверх, к высокому ясному небу.

Мальчик или робот?

По дороге в школу Ваня увидел впереди знакомую фигуру. Это был Петя со своим братишкой Костей. Ваня догнал их и оживлённо спросил у друга:

— Привет. Ты в школу?

— Здорово,—обрадовался Петя,—Костю в садик уведу и потом в школу.

— Ты так долго болел, а мне столько надо рассказать тебе. Косточка, как дела?

— Я не Косточка и не Костя. И вообще не мальчик. Я робот.

— Робот так робот, всё равно рассказывай, как дела.

— Я не робот, я мальчик. А Лиза думает, что я робот. Я ей сказал, что я не робот, а мальчик. Я обиделся на неё и не разговариваю с ней. А вообще-то я робот.

— И чего ты такой невесёлый?

— Мне грустно, потому что Лиза не любит меня. Она дружит с Сашей, он робот, а не мальчик.

— А ты кто, робот или мальчик?

— Я же сказал, что я вообще-то робот. Но это Лиза думает, что я на самом деле мальчик.

Петя и Ваня, переглянувшись, рассмеялись.

— Почему вы смеётесь? Ничего смешного тут нет.

Петя дружелюбно подтолкнул младшего братишку и сказал:

— Топай, разговорчивый ты мой, тут недалеко.

Они проводили Костю взглядом. Тот шёл не спеша и бормотал себе под нос: «Я не мальчик, я робот. Сейчас подойду к Лизе и скажу, пусть она не дружит с этим Сашей. Она думает, что он робот, а он просто мальчик».

Урок рисования

— О чём ты хотел мне рассказать?—повернулся Петя к Ване.

Тут издалека раздалось:

— Мальчики, подождите меня!

К ним бежала одноклассница. Руками она придерживала лямки от ранца, весело хлопающего её по спине. Тёмные кудри выбились из-под вязаной шапочки и тоже весело подпрыгивали: вверх-вниз, вверх-вниз. Подбежав, Света затараторила:

— Петя, Ваня рассказал тебе про рыжего кота? Он весь рыжий-рыжий, как солнышко.

— Я что-то рыжее солнышко никогда не видел,— ответил Петя.

Однако Свету непросто было смутить.

— Ну, не рыжее, а оранжевое. Петя, ты представляешь, кот появился прямо на уроке. Он такой красивый, как… как яркое солнышко с золотыми лучами. А глаза у него зелёные-презелёные. Так и светятся. Анна Ивановна хотела его найти, но не смогла. Директор стоит, глаза выпучил, а Анна Ивановна ищет, ищет, потом нашла, думала, что это кот, а это был Фаинкин шарфик. Все так смеялись. Потом Налим хотел Ваню побить, а кот оказался горячим. Налим обжёгся. А Пескарь так пищал, как девчонка. Ванина мама приходила в школу из-за Налима. Теперь директор каждый день ходит во все классы и говорит, что драться нехорошо.

Петя даже не пытался понять, о чём трещит эта девчонка, он с ней учился четыре года и знал, что Свету не переговорить, не переслушать. Поэтому лучше молчать. Так они дошли до школы.

Только начался урок рисования, как раздался унылый голос Вовы:

— А у меня нет простого карандаша. Я не буду рисовать.

— Возьми мой,—повернулся к нему Тимур с карандашом в руке.

— А у меня альбома нет. Я не буду рисовать,—снова раздался тот же унылый голос.

— Вот тебе альбомный лист,—подошла Мария Ивановна и положила на стол альбомный лист.

— У меня фломастеров нет,—отодвинул лист Вова.

Сёма подвинул ему свои фломастеры:

— Бери.

— А что мы будем рисовать?—спросил Тимур, с грохотом высыпав на стол цветные карандаши.

— Тема нашего урока «Моё любимое домашнее животное». У каждого из вас дома живут кошка или собака. В своём рисунке вы должны отразить их характер. После того, как вы их нарисуете, вы можете показать классу свой рисунок и рассказать, за что вы любите своих домашних питомцев.

— А хомячков можно рисовать?—спросила Настя.

— Конечно, можно,—ответила учительница.

Руку поднял белобрысый Серёжа:

— А можно Вас спросить?

— Спрашивай,—улыбнулась Мария Ивановна.

— А если нет ни кошки, ни собаки, можно папу нарисовать?

Класс так развеселился, что прошло немало времени, пока все успокоились. И только Ваня ничего не замечал, он увлечённо рисовал. Его оранжевый карандаш мелькал по листу, оставляя за собой следы, которые превращались в важного рыжего кота.

Через некоторое время опять раздался капризный голос Вовы:

— У меня не получается. Не хочу рисовать, не буду.

Но Мария Ивановна ничего не успела ответить, потому что встал со своего места Сёма и громко спросил:

— Мария Ивановна, почему в сказках Иван всегда дурак? У нас в классе тоже есть Ванька-дурак.

Он весело хихикнул и посмотрел на Дубровина.

Света, сидевшая впереди, повернулась и громким шёпотом сказала:

— Ваня, не обращай на него внимания, он сам ку-ку,—она покрутила указательным пальцем у виска.

Мария Ивановна сказала:

— Сёма, я с тобой согласна. Действительно, в сказках Ивана называют дураком. Только скажи мне, пожалуйста, кто борется с врагами и выходит из всех схваток победителем? Кто победил Змея Горыныча? Кто сумел добыть Жар-птицу? Кто рассмешил царевну Несмеяну? Иван-дурак, над которым смеются его родные братья, которого боятся богачи и гонят от себя. У Ивана доброе сердце. Он храбрый и поэтому всегда побеждает зло. Кстати, Васнецову очень нравился этот сказочный персонаж.

Мария Ивановна раскрыла большую книгу с красочными иллюстрациями.

— Посмотрите на репродукции его картин «Иван-царевич на Сером Волке», «Ковёр-самолёт». С какой любовью художник изобразил этого сказочного героя! О человеке судят не по его имени, а по его поступкам.

Ваня жадно рассматривал картины. Вот Иван-царевич мчится через непролазную чащу на Сером Волке, царевна положила свою голову ему на плечо. Ваня тоже мог бы вот так на Сером Волке. И чтобы рядом сидела… Он оглядел класс, остановил взгляд на Свете, она симпатичная, только много болтает, как сорока. Вот Настя спокойная, весёлая, не такая болтливая, как Света, а глаза у неё такие голубые, такие ясные. Сейчас она смотрит на Ваню и улыбается, будто понимает, о чём он думает. Ваня тоже улыбнулся ей.

Драка

После уроков Анна Ивановна сказала:

— Ваня, не забудь остаться, ты дежурный по классу.

Петя шепнул: «Я подожду тебя».

Ваня быстро протёр доску, вынес воду и выскочил на улицу. На крыльце было несколько первоклассников, робко смотревших на моросящий

дождь. Пети не было. Ваня в нерешительности остановился. Не мог уйти его друг просто так. Тут к Ване подошла маленькая девочка, видимо, первоклассница, и потянула его за рукав:
— А я знаю, ты Ваня из четвёртого класса. У тебя есть красивый кот. Если познакомишь меня с котом, я тебе скажу, где твой друг. Ты же Петю ищешь?

У Вани от предчувствия недоброго всё в груди замерло. Он вспомнил, как на перемене Пашка с дружками о чём-то шептался, поглядывая на него. Дубровин схватил первоклассницу за руку:
— Быстро говори, где он?

Первоклассница, дёргая свою руку, упрямо ответила:
— Познакомь меня с котом, тогда скажу.

Подошёл темноглазый мальчуган и, махнув рукой в сторону, сказал:
— Они там, за школой.

Ваня бросил портфель на крыльцо и рванул под дождь. Вслед донеслось тоненькое:
— Мы покараулим твой портфель.

Добежав до угла школы, Ваня услышал голоса мальчишек. Один из них настойчиво и громко требовал:
— Зови его.

Другой голос, Петин, тихо, но решительно говорил:
— Не позову.
— Зови, а то получишь!
— Врежь ему, Пашка!
— Всё равно не позову.

Дубровин Ваня подошёл к углу и увидел такую картину: спиной к забору, сколоченному из широких досок, стоял Петя, его сумка валялась рядом. Струи дождя заливали очки, Петя снял их и сунул в карман. Без очков его глаза стали беззащитными. Стоявший в стороне Владик подошёл к сумке, пнул её, оттуда вывалились учебники с тетрадками и сразу же попали под дождь. Владик оглянулся по сторонам и, не заметив Ваню, отошёл в сторону. В это время Паша схватил Петю за грудки и прижал к забору. К ним подскочил Лёня и стал забегать то с одной, то с другой стороны, пытаясь стукнуть прижатого к забору мальчика. Издалека послышался голос Владика:
— Пашка, ты его сильнее, сильнее прижми! А ты, Пескарь, ногами его, ногами пинай, да посильнее!

Тут Петя увидел Ваню и закричал:
— Ванька, беги!

Но Ванины ноги будто приросли к земле. Паша резко обернулся к нему и издал радостный вопль:
— О! А мы тут заждались тебя. Иди сюда, не бойся!
— А я и не боюсь,— сказал Ваня тихо, продолжая стоять на месте.
— Что ты сказал?— Паша приложил ладошку к уху. Его друзья расхохотались.
— Я не боюсь,— громче сказал Дубровин,— отпустите Петю, он только что болел. Ему нельзя под дождём.
— Петю? Да Петя нам и не нужен,— сказал Паша и стукнул Петю в плечо,— кандыляй отсюда, и больше не попадайся мне не глаза. Иди, иди, лечись, не кашляй.
— Нет, не пойду,— остался стоять у забора Ванин преданный друг. Тонкие струи дождя бежали по его мокрому лицу.
— Врежь ему, Налим, врежь,— опять подал голос Владик.

Паша замахнулся, но перед ним неожиданно появился Ваня и схватил его за руку.
— Не смей его бить,— произнёс он отчётливо.
— Пашка, врежь им обоим,— опять послышался голос Владика.

Паша видел перед собой Ванины серые, усыпанные тёмными крапинками глаза. И была в них такая твёрдая решительность, что он медлил.

Тут подскочил Пескарь и пнул Петю заляпанным грязью ботинком. Завязалась драка. Паша бил сильно и со злостью. При этом он грязно ругался. А Ваня дрался молча, падал несколько раз, но упрямо вставал и снова бросался на своего врага. Петя, оттолкнув Пескаря, пытался помочь другу, но тот выдохнул: «Не лезь!»

Из-за угла здания показались директор школы и несколько четвероклассников. Виктор Михайлович бросился к мальчишкам, катавшимся по земле, и крикнул:
— Оставь его, хулиган! Прекрати сейчас же!

И схватил за воротник куртки того, кто был сверху. Это был Ваня, он крепко прижимал Пашу к мокрой земле. Виктор Михайлович сразу же отпустил его и, повернувшись, собрался уходить. Раздался взволнованный голос Анны Ивановны, затем появилась она сама.
— Где они? Что с ними?
— Всё в порядке, Анна Ивановна, пойдёмте отсюда.
— А мальчики? Они же дерутся!
— Дерутся? Нет, вам показалось. Идёмте, идёмте, вы уже промокли.

И никто не заметил, как на крыше соседнего дома мелькнуло что-то рыжее.

Прощание с котом

Чем ближе подходили к дому, тем мрачнее становился Ваня. Ребята это заметили и тоже притихли. Настя тихо спросила:
— Может, не надо к тебе идти?

Ваня молчал. Девочки переглянулись, дёрнули Андрея за рукав и остановились. Света сказала:
— Ладно, Ваня, мы к тебе в следующий раз придём.
— Нет, пойдём сейчас,— решительно заявил Ваня.

Дверь открыла Татьяна Николаевна. Она медленно проговорила:
— Ваня, ты почему…

Тут она заметила, что её сын съёжился от этих слов, и продолжала уже другим тоном, мягче:
— Ты почему раньше не приглашал ребят? Я не знала, что у тебя столько друзей.

Ваня с такой благодарностью взглянул на свою мать, что она с тревогой подумала о том, что мало времени уделяет своему сыну. А он повернулся к одноклассникам и весело сказал:
— Ну, чего вы стоите, проходите!

Комната была небольшая. У окна стоял письменный стол, заваленный учебниками и тетрадками. Рядом с ним на стене висела полка, на которой дружно уживались книги и игрушки. Вдоль стены

справа от стола находилась узкая кровать, аккуратно застеленная синим покрывалом. Сразу у входа притулился кожаный диванчик, возле которого уютно устроилось старое мягкое кресло.

Петя стал распоряжаться:

— Андрей, ты садись сюда, на диван. А девчонки …

Света бесцеремонно перебила его:

— Нет, мы сядем на диван.

Она сорвалась с места и шлёпнулась на небольшой диван, затем похлопала ладонью рядом с собой:

— Настя, садись.

— Тогда ты, Андрей, садись на стул. А я, пожалуй, сяду сюда,— сказал Петя и тронулся в сторону кресла.

— Не садись!— закричала Света.

Петя испуганно отшатнулся.

— Не садись,— повторила Света,— туда кот сядет.

Тимофей как будто ждал этого приглашения, запрыгнул в кресло и замер. Пете и Ване пришлось сесть на кровать. Все молчали и смотрели на кота. Вдруг по его рыжим шерстинкам пробежали золотисто-огненные искорки и едва слышно защёлкали. Настя прошептала:

— Ваня, у тебя кот волшебный?

Ваня тихо ответил:

— Да.

Посыпались вопросы:

— А он говорит?

— Он всё понимает?

И тут раздался мягкий голос:

— И мр-р-говорю, и понимаю.

Ребята, переглядываясь, оживлённо заговорили:

— Это кот сказал?

— Вот это да! Как в сказке!

— Ваня, он будет жить у тебя?

И тут снова все услышали мягкий голос:

— Нет, мя-я-у, не останусь.

— А как же я?— спросил Ваня с растерянным видом.

— Ты сам можешь пр-ротивостоять любому злу. Я тебе больше не нужен.

— А если…

— Никаких «если». У тебя есть друзья, которые помогут тебе в трудную минуту-мр-р.

— Конечно, Ваня, ты только нам скажи!— сказала Света.

— У тебя есть родители, которые любят тебя, но им-мр-р сейчас трудно, и ты сам должен им помочь. Мр-мяу.

— Как я могу им помочь?— удивился Ваня.

— Когда они в последний м-р-раз ходили на охоту за мышами? Или по кр-рышам лазали в своё-м-мр удовольствие?

— Какая охота? Какая крыша? Какая мыша, тьфу, мыши?

В разговор опять вмешалась Света:

— Ваня, какой ты недогадливый! Твои родители когда-нибудь отдыхают? В гости к кому-нибудь ходят или в дк на концерты?

— А Виолеттка?

— Ты сам можешь посидеть с ней.

— Конечно могу,— проговорил неуверенно мальчик.

— Если ты хочешь, чтобы помогли тебе, то помогай сам-мр-р, мяу,— сказал кот.

Неугомонная Света воскликнула:

— Дубровин, какой у тебя умный кот!

Андрей, молчавший до сих пор, с восторгом сказал:

— И всё-таки здорово ты Пашку проучил!

— Теперь не будет приставать к слабым,— ответила за него Света.

Петя, рассмеявшись, сказал:

— А Виктор Михайлович прибежал за Ваньку заступиться, а Ваньку самого надо от Налима оттаскивать.

— Он так разошёлся, прямо во вкус вошёл. Так бы и перебил всех,— добавил Андрей.

— Анна Ивановна ничего понять не может. Мальчишки-то дерутся, а Виктор Михайлович говорит, что всё в порядке,— сказала Света.

Мальчишки весело рассмеялись.

— То оранжевый шарфик, то драка. Тут точно можно с ума сойти!— воскликнула Света и повернулась к Насте:

— Настя, а помнишь… Настя, ты почему плачешь?

— Ребята, а где кот?— спросил Петя.

Рыжего кота не было. Никто, кроме Вани и Насти, не видел, как Тимофей стукнул белой лапкой об кресло, в котором сидел, и вихрем взметнулись из-под лапки золотые и красные искорки. Они кружили всё быстрее и быстрее, щёлканье становилось всё громче, пока наконец всё не исчезло.

Эпилог

По дороге, раскисшей от талого снега и дождей, шёл мальчик. Его ботинки издавали беззаботное: «Хлюп-хлюп! Хлюп-хлюп!».

Неожиданно с неба, затянутого серыми облаками, посыпали снежные хлопья. Они касались земли и исчезали. Снежная пелена отгородила Ваню от всего мира. Были только снег и он. Мальчик, подняв голову, любовался снежинками, устремившимся вниз, к земле, навстречу своей гибели. Но не было печали, было торжественное ликование.

И вдруг ослепительный луч солнца ворвался в это царство снежинок, и в радостном танце взвилась весёлая карусель из жёлтых и золотых красок.

Синяя тетрадь

«Вот эта синяя тетрадь
С моими детскими стихами».
Ахматова

Мастерская публицистики Е. В. Тимченко

Космонавты — представители одной из самых сложных, мужественных и опасных профессий — по странному стечению обстоятельств поголовно чтут традиции и верят в приметы. Одна из них, состоящая в том, чтобы за сутки до полёта обязательно посмотреть советский фильм «Белое солнце пустыни», соблюдается уже почти тридцать лет. Почему космонавты полюбили именно этот историко-революционный фильм?

Яна Герасимёнок, 9 класс

Космос — дело тонкое!

или Что роднит космонавтов с красноармейцем Суховым

Великая вещь — традиция! Уходя корнями в незапамятные времена, она может соблюдаться и исполняться на протяжении многих лет, каким бы тёмным ни казался современникам её смысл. Традиции, сохраняющиеся десятилетиями, а то и веками, нередко появляются случайно или очень странным образом, а порой причины их возникновения так и остаются тайной.

Очевидцы рассказывают, что традиция смотреть «Белое солнце пустыни» перед полётом в космос связана с трагической страницей в истории отечественной космонавтики: 30 июня 1971 года при возвращении на Землю погиб экипаж космического корабля в составе Добровольского, Волкова и Пацаева. Следующий полёт на «Союзе-12» прошёл благополучно, и при этом выяснилось, что перед полётом космонавты смотрели фильм «Белое солнце пустыни». Следующие экипажи тоже смотрели эту картину — и летали в космос без проблем.

Но когда смотришь фильм, убеждаешься, что дело тут не только в «талисмане на счастье» и задабривании госпожи Удачи. Жизненная ситуация красногвардейца Фёдора Сухова не так далека от космонавтики, как это кажется на первый взгляд. Один, в далёкой безжизненной пустыне, за много километров от Родины, главный герой скучает по России, по своей любимой и мечтает поскорей добраться до родных мест. Сыпучие пески и обжигающее «белое солнце» напоминают безвоздушный бездонный космос, где выживет не любой, а только человек с хорошей подготовкой. Но отважный Сухов отнюдь не кажется зрителям задыхающимся от жары, отчаявшимся человеком. От кадра к кадру не оставляет нас его обворожительная жизнерадостная улыбка. Фильм пропитан юмором и оптимизмом, и немудрено, что за столько лет он практически весь разобран на цитаты и афоризмы. Не отчаиваться и сохранять бодрость духа даже в самых сложных и безвыходных ситуациях — вот чему лично меня, в первую очередь, учит фильм «Белое солнце пустыни». Смею предположить, что именно на это он и настраивает космонавтов, летящих в космос, чьё задание и чья жизненная обстановка представляются куда более трудными и опасными, чем наши житейские проблемы.

Настя Ясеницкая, 9 класс

Фильм «Белое солнце пустыни» — шедевр отечественной кинематографии. Всё в нём наполнено светлым юмором и житейской мудростью, и это разительно отличает его от того, что мы имеем сейчас. Картина необычна своей почти детской, не наигранной наивностью, которая заставляет суровых взрослых так же по-детски улыбаться. Известен факт, что перед каждым полётом космонавты смотрят «Белое солнце пустыни». Какой же символический смысл имеет эта традиция, и что связывает красноармейца Сухова и космонавтов?

В первую очередь, главного героя фильма и космонавтов объединяет место действия. Бескрайние песчаные просторы имеют явное сходство с космосом. Пустыня говорит об оторванности героев от остального мира. Усиливает это ощущение бесконечное море, подступающее к пескам, что окончательно создаёт настроение изолированности и безвыходности.

Красноармеец Сухов Фёдор Иванович — борец за счастье трудового народа, человек, обладающий качествами, важными для космонавта. У него на первом месте — долг. В первую очередь — моральный. Сухов — образ вечно идущего героя, хранящего в сердце память о доме. Чем не идеализированный образ космонавта? На протяжении всего фильма Сухов находится в безвыходном положении, в экстремальных условиях. Несмотря на ироническое настроение фильма, они не становятся менее страшными. При этом он почти никогда не теряет самообладания и уверенности в себе. Главный герой, в каком бы он ни был состоянии, никогда не теряет надежды. Это наглядный пример поведения, помогающий сориентироваться в безнадёжных, на первый взгляд, ситуациях и взять правильный курс.

И, наконец, главная цель, к которой стремятся и красноармеец Сухов, и космонавты — это возвращение домой. Мысль о родине и о любимой ни на минуту не покидает главного героя, и в минуты

покоя он пишет трогательные письма своей «дорогой Екатерине Матвеевне». Дом — это то, ради чего нельзя сдаваться, это главная мысль и идея. Возвращение кажется нереальным — так далека берёзовая Русь от жаркой пустыни и так огромно пространство между космонавтами и маленьким голубым шариком. Поражает, что красноармеец Сухов принимает потери со спокойствием фаталиста. Может быть, и это качество является для космонавта немаловажным.

«Белое солнце пустыни» играет роль своеобразного светоча надежды. Картина наполнена неискоренимым оптимизмом. В этом маленьком космосе существует непреложный закон: «Всё будет правильно». И люди, и события двигаются в этом чётко установленном направлении. Фильм внушает надежду на справедливый исход событий. А значит, красноармеец Сухов Иван Фёдорович вернётся домой. И приземление космонавтов пройдёт успешно.

Саша Радионова, 6 класс

Бескрайняя пустыня. Бескрайнее чёрное, с белыми точками звёзд, небо. И то, и другое — место, где легко потеряться и никогда не вернуться домой. Представляете, как нелегко быть оторванными от дома, от любимых людей? Что может утешить жену, у которой муж пропал в очередной «чёрной дыре»?

Космонавты смотрят этот фильм именно потому, что главный герой Сухов справился со всеми заданиями и вернулся домой живым. Так и космонавт мечтает вернуться, пойти на родную улицу, зайти в свой дом и, наконец, обнять свою терпеливую, вечно ждущую жену.

Лида Ка Ю Тин, 6 класс

По моему мнению, космонавтов и Сухова объединяет трезвая оценка ситуации. Приведу пример. Почему из всех претендентов в первый космический полёт выбрали именно Гагарина? Рассказывают, был такой случай. После тренировки на центрифуге Королёв спросил космонавтов: «Как себя чувствуете?» Все с натянутыми улыбками бодро ответили: «Всё хорошо! Чувствуем себя нормально!» Только Гагарин сказал: «Спасибо, бывало и получше».

В фильме Сухов тоже не терял самообладания. Помните, он не паниковал даже тогда, когда в цистерну из-под нефти начали стрелять, а потом собирались её поджечь. Он реагировал на всё адекватно, как космонавт.

Алексей Дорохин, 7 класс,
гимназия № 10, Красноярск

Как умирают камни

Здравствуйте, я камень! Точнее не просто камень, а небольшая скала, лежащая у берегов Австралии, на Большом Барьерном рифе. Вокруг меня тысячи кораллов, самых разных форм и расцветок! Вокруг летают рыбки, качаются актинии! Я очень люблю смотреть на море. Но, к сожалению, я всего лишь камень, я не умею летать и даже не выделяюсь среди других камней! Совсем скоро меня полностью закроют кораллы, на мне поселятся разноцветные рыбы, и уже никто не подумает, что здесь лежал камень. Кораллы будут расти и расти, а скоро здесь вырастет новая земля, на ней поселятся люди и… Всё. Ведь именно так умирают камни.

Ермаковский литературный лицей

Отвечая Виктору Драгунскому…

Что я люблю и чего не люблю

Юля Васильева

…Я очень люблю своих родных и близких. Люблю своих питомцев — собак, кошек, попугаев, рыб. Люблю читать книги и учиться. Мне нравится кататься на коньках. Я люблю часами лежать в ванне. Люблю отдыхать на природе. Когда я вырасту, у меня будет полный дом животных. Я хочу стать зоологом. Ещё я люблю танцевать, кататься на лошади, рисовать. Я очень люблю играть в лапту. Ещё я люблю помечтать…

Я очень не люблю, когда много крови. Не люблю лежать в больнице, особенно под капельницей. Не люблю уколы. Не люблю спать, играть в волейбол. Не люблю жир. Не люблю жаб.

Володя Шевченко

…Я не люблю парное молоко. Не люблю горячее молоко с мёдом. Не люблю проигрывать в футбол.

Дима Парницкий

…Я люблю играть на компьютере, люблю папу. Люблю историю, природоведение и литературу. Буду любить физику, химию и алгебру. Люблю смотреть фантастику. Люблю братьев — Сашу и Жорика. Люблю Бога. Люблю муравьёв. Люблю читать мифы и легенды. Люблю кружки и, когда я один, помечтать.

Не люблю, когда надо мной издеваются, но так как это происходит каждый день, приходится терпеть. Не люблю, когда учитель уходит, тогда все кричат и не дают сосредоточиться. Не люблю, когда один дома, потому что очень скучно и нечего делать.

Кирилл Ощепков

…Люблю сидеть в землянке! Люблю вареники с картошкой в масле. Люблю лазать по деревьям.

Миша Волков

…Я люблю смотреть фильмы, особенно русские. Люблю котов и собак. Особенно очень больших. Люблю уединение. Люблю старые фотографии.

Я люблю уроки литературы, люблю лицей. Люблю читать фантастику и фэнтези.

Люблю зарыться головой в подушки, сплю я почти весь под одеялом. Люблю купаться. Люблю

ездить в горы, но не в Ергаки, а туда, где никто из вас не был! Люблю запах краски. Люблю лес. Люблю копчёное мясо медведя. Люблю кислые щи.

Не люблю, когда люди моего возраста мной командуют. Не люблю рептилий и земноводных. Не люблю казённой еды, кроме сосисок и пельменей.

Люда Кузнецова

…Я люблю вертеться у зеркала и делать себе причёски. Люблю рисовать, люблю вышивать узоры и вязать крючком. Люблю играть со своим котом Снежком. Ещё мне нравится решать примеры по математике. И, естественно, как все дети, я люблю сладкое. Люблю кататься на велосипеде на высокой скорости. Люблю, как пахнут мандарины. И мне нравится, когда выходишь на улицу в октябре и видишь, что на земле лежит тонкий слой чистого снега. Но больше всего я люблю свою семью.

Я не люблю проигрывать. Мне не нравится, когда надо мной смеются. Не люблю решать задачи, не люблю свёклу. Ненавижу стоять в очереди в магазине. Не люблю писать сочинения по русскому языку. Мне не нравится, когда в доме делают ремонт, а мне говорят, что я ещё мала для помощи. Не люблю, когда в чае слишком много сахара. Не люблю дежурить в классе, подметать пол и мыть доску.

Что может художник, или Мир на кончике пера…

…Художник может изобразить всё, что угодно,— от маленького котёнка, сидящего на крыше дома, до злого великана. У художника очень развито воображение. Об этом говорится в грустном рассказе о девочке Наде, которая ушла из жизни в 16 лет. Она говорила, что видит на листе бумаги контур рисунка и просто обводит его. Она—гений.

Миша Волков

…Иногда бывает такое: смотришь вокруг и видишь, что всё не так хорошо, как пишут в газетах и показывают в новостях. И тогда понимаешь, что есть одно средство—перо. Ты рисуешь и радуешься справедливости, которая есть в рисунке, но нет в жестоком мире. И ты создаёшь свой необычно прекрасный мир. Почти как миф. Это только твой мир. Мир на кончике пера. Такого мира нет нигде ни у кого. Там красиво, там нет власти, там вечная ночь, которая светит и темнеет. А почему ночь? Да потому что ночью мы почти ничего не делаем, а только спим. И наш сон—неправда, но ты этому рад, как никто на свете.

Алеся Кирюшенко

…Создавая портрет, художник остаётся как бы один на один с изображением человека или животного. Он не просто повторяет чей-то облик, вглядываясь в черты своего героя, он размышляет о нём, то есть раскрывает его образ.

Кирилл Ощепков

…Я ещё не художник, но с раннего детства люблю рисовать. Настоящий художник может не только нарисовать картину, но и передать в ней чувство, нежность, мысль. Потому что некоторые люди в самой обычной вещи видят искусство. Некоторые картины даже смотрят на тебя, когда ты ходишь из стороны в сторону.

Юля Марченко, 7 класс

Я

1.

я переверну весь мир.
я куплю очки и буду прятать глаза.
я окончу школу и стану психологом
  или журналистом.
я больше не буду расстраивать маму.
я буду нравиться людям.
я переверну мнение о себе.
я не буду циничной эгоисткой.
я буду счастлива.
скоро.
осталось совсем чуть-чуть.
я научусь чувствовать.
я переверну себя.
я смогу.
я полюблю себя.
я смогу.

2.

я чувствую глупость, глядя в учебник алгебры.
чувствую, что сделала много ошибок.
я начну жить правильно, оставив вредные привычки.
я чувствую.
ребёнок, я называю себя «уже не ребёнком».
я не люблю
чувства маленького ребёнка,
который захотел себе новую игрушку.
не люблю в себе
избалованного
ребёнка-эгоиста.
я научусь чувствовать.
я познаю любовь без подделок
и страх. и боль. и радость.
я чувствую.

стр. 6 **Астраханцев Александр Иванович**
Красноярск, 1938 г. р.

Закончил Новосибирский инженерно-строительный институт и Литературный институт имени Горького. Автор семи книг прозы. Публиковался в различных журналах и сборниках. Член Союза российских писателей. Председатель Правления Красноярского регионального отделения Литературного фонда РФ.

стр. 227 **Бик-Булатов Айрат Шамилевич**
Казань, 1980 г. р.

Родился в Казани. В 2002 окончил факультет журналистики Казанского государственного университета. Кандидат филологических наук. Автор самиздатовских сборников «Чёрно-белое», «Ржавчина» (совместно с О. Балтусовой), книги стихов «Юрод нашего времени» (Таткнигоиздат, 2001). С 1997 по 2001 редактор русскоязычного приложения журнала «Ялкын». С 2003 редактор отдела публицистики журнала «Квадратное колесо».

стр. 133 **Валеев Марат**
Тура, 1951 г. р.

Родился в г. Краснотурьинск Свердловской области. Рос и учился в с. Пятерыжск на Иртыше в целинном Казахстане, куда попал вместе с родителями ещё в дошкольном возрасте. Закончил школу, успел поработать бетонщиком на заводе ЖБИ, призвался в СА. Служил в стройбате в 1969–1971 годах, строил военные объекты в Пермской, Костромской, Саратовской областях. Вернулся в Казахстан, работал сварщиком в тракторной бригаде. В профессиональной журналистике с 1972 года. Работал в газетах Павлодарской области «Ленинское знамя» (Железинка), «Вперёд» (Экибастуз), «Звезда Прииртышья» (Павлодар). Закончил факультет журналистики КазГУ (Алма-Ата). В 1989 году приглашён в газету «Советская Эвенкия» на севере Красноярского края. Сейчас — редактор этой газеты, но под другим названием — «Эвенкийская жизнь». Без отрыва от основной работы, а порой и прямо на ней, написал и опубликовал несколько сотен иронических, юмористических рассказов и миниатюр, фельетонов. Член Союза российских писателей, автор нескольких сборников.

стр. 94 **Васильев Алексей Алексеевич**
Северодвинск

Родился в г. Северодвинск, закончил исторический факультет Поморского Государственного Университета им. М.В. Ломоносова, имеет несколько публикаций в различных альманахах, журналах («Азимут», «Мир ПК» и др.), сборниках («Сингулярность», изд-во «ЭКСМО», соавтор сборника Никитин Ю. А., и др.). В настоящее время возглавляет фирму, занимающуюся разработкой программного обеспечения.

стр. 89 **Виленская Евгения Маушевна**
Красноярск, 1940 г. р.

Родилась в Вильнюсе. Училась в Москве, в музыкальной школе им. Гнесиных. Работала концертмейстером в музыкальных театрах и педагогом в музыкальных школах, параллельно окончила филологический факультет. Была корреспондентом нескольких газет, делала передачи на телевидении. В Красноярске руководила газетой «Гаскала», затем создала и стала главным редактором «Вестника национального согласия». Автор книги стихов «Созвучия».

стр. 100 **Войлоков Вячеслав**
Лос-Анджелес, 1960 г. р.

Родился в Москве. Окончил Московский электротехнический институт связи. Работал инженером в проектных институтах Москвы, учился в аспирантуре. В 1994 г. уехал в США. Публиковался в американских и российских периодических изданиях — в газетах «Панорама», «Новое русское слово», в журналах «Урал», «Новый журнал», в литературных альманахах.

стр. 74 **Дадаева Алина Николаевна**
Ташкент, 1989 г. р.

Родилась городе Джизаке (Республика Узбекистан). Студентка третьего курса факультета журналистики Национального университета Узбекистана (ТашГУ). Корреспондент республиканского издания «Бизнес-вестник Востока». Стихотворения публиковала в местных газетах. В 2007 году — публикация в сборнике молодых поэтов «Вдохновение», изданном при содействии Посольства РФ в Узбекистане, Росзарубежцентра (Представительство Россотрудничества) и Республиканского русского культурного центра. В 2009 году — в альманахе «Под крылом Пегаса», изданном литературным объединением «Под крылом Пегаса» при общественном клубе-музее А. А. Ахматовой «Мангалочий дворик». Автор сборника стихов «Предчувствие».

стр. 44 **Дьячков Александр**
Екатеринбург, 1982 г. р.

Родился в Усть-Каменогорске (Казахстан). Выпускник Литературного института им. А. М. Горького. Стихи печатались в журналах: «Урал», «Сибирские огни», «Волга XXI век», «Нева», «Арион» «Юность», «Слово», «Братина», «Московский парнас», «Фома», «Простори» (Болгария); газетах: «Труд 7», «Литературной газете». Автор двух поэтических сборников: «Некий беззаконный человек», Екатеринбург: Издательство Ново-Тихвинского женского монастыря, 2007. «Разговор» (коллективный сборник), М.: Издательство Литературного института им. А. М. Горького, 2009. Участник литературной группы «Разговор».

стр. 188 Евдокимов Александр
Харьков, 1971 г. р.

По специальности — архитектор. Писать стихи начал в перестроечные годы как тексты песен. В качестве композитора и поэта сотрудничает с московскими рок-группами «Запрещённые Барабанщики» и «Ботаника». Публикации в бумажных изданиях отсутствуют. Широко представлен на таких интернет-ресурсах как «Стихи.ру», журнал «Самиздат», «Термитник поэзии» и др.

стр. 96 Егоров Александр Афанасьевич
Владивосток, 1936 г. р.

Родился в с. Тимофеевка Венгеровского района Новосибирской области в семье вольного пимоката. Член Союза российских писателей. Автор 13 книг, в том числе «Волчьи гоны», «Под сводом несвободы», «Мы», «Числа», «По стерне», «Родова», «Треугольник».

стр. 40 Ермолаева Светлана
Железногорск

Родилась в г. Красноярск-26 (ныне Железногорск), окончила Московский энергетический институт. Лауреат Красноярского краевого фестиваля «Король поэтов» 2004 года. Автор пяти поэтических сборников. Член Союза российских писателей.

стр. 70 Замшев Максим Адольфович
Москва, 1972 г. р.

Родился в Москве. В 1989 году окончил среднюю школу и поступил в музыкальное училище имени Гнесиных. В 1990 году с первого курса училища ушёл в армию. Участник последнего советского военного парада. В 1992 демобилизовался и продолжил учёбу в Музыкальном училище имени Гнесиных. В эти же годы всерьёз увлекается литературным творчеством, становится одним из основателей поэтического объединения «Железный век». В 1996 году поступил в Литературный институт имени А. М. Горького, где учился в семинаре Владимира Фирсова. С 2000 года работает в Московской городской организации Союза писателей России. В настоящее время занимает должность заместителя Генерального директора. С 2004 главный редактор журнала «Российский колокол». С 2005 — секретарь Исполкома Международного Сообщества писательских Союзов. Имеет более 1000 публикаций в разных жанрах в России и за рубежом. Произведения Максима Замшева переведены на болгарский, сербский, французский, турецкий, испанский и непальский языки. В 2008 году указом Президента РФ Максим Замшев награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством Второй степени».

стр. 124 Зырянов Михаил Юрьевич
Енисейск, 1984 г. р.

Родился в г. Енисейске. Лауреат Молодёжной премии Красноярского края и стипендий им. В. П. Астафьева и А. П. Степанова. Аспирант кафедры философии и социологии Красноярского государственного педагогического университета им. В. П. Астафьева. Член Союза российских писателей.

стр. 232 Иванищева Алефтина Ивановна
Туруханск

Родилась и выросла в Хакасии. В 1986 году закончила факультет русского языка и литературы Новокузнецкого педагогического института. Работает учителем начальной школы и педагогом дополнительного образования в ЦДЮТ «Аист», руководит литературно-художественным клубом «Карандаш». Автор сказок и рассказов для детей.

стр. 13 Иослович Илья Вениаминович
Хайфа, 1937 г. р.

Родился в Москве. Окончил мех-мат МГУ в 1960 г. по специальности механика. Работал в различных НИИ. В 1957–1958 гг. участвовал в литобъединении МГУ на Ленинских Горах (Д. Сухарев, Н. Горбаневская, Ю. Манин, О. Дмитриев, В. Костров, Ю. Чаповский, Б. Пуцыло, М. Гусев, руководитель — Н. Старшинов). Публикации с 1958 года. Стихи были включены в машинописный журнал «Синтаксис» № 4, 1960, который не вышел из-за ареста составителя А. Гинзбурга. В 1991 г. переехал в Израиль. Профессор технического университета.

стр. 112 Коль Людмила
Хельсинки

Автор нескольких книг, изданных в России. Её произведения печатались в российских литературных журналах и альманахах, а также в русских зарубежных изданиях. Является издателем и главным редактором известного историко-культурного и литературного журнала «LiteraruS-Литературное слово», который выходит на 3-х языках: русском, финском, шведском. В 2010 году к печати готовится новая книга писательницы «У меня в кармане дождь», куда вошли две опубликованные ранее в журналах повести и роман «Земля от пустыни Син».

стр. 90 Крюков Владимир Михайлович
Томская область, 1949 г. р.

Родился на севере Томской области. Родители: со стороны матери — ссыльные крестьяне, со стороны отца — алтайские староверы, сами сбежавшие от притеснений. Поступил в Томский университет на историко-филологический, откуда в январе 1969-го отчислен за недонесение на товарища — издателя рукописного журнала. Работал учителем в сельской восьмилетке, калымил в летнюю пору. Был восстановлен в университете, доучился. Из районной газеты в 80-м погнали за чтение сам- и тамиздата. Затем — сторож, учитель словесности в школе зоны строгого режима. В перестроечные годы работал в газете речников «На вахте», в городской газете «Томский вестник», в правозащитных организациях. В 1989 году в общей кассете книжечка «С открытым окном». В 1994-м самодельный сборник «Созерцание облаков». В 1999 году — книга стихов и прозы «Линия ветра».

В 2005-м книга стихотворений «В области сердца» с предисловием А. Кушнера. В 2007-м — стихи и дневниковые заметы в книге «Жизнь пунктиром». Всё издано в Томске. В соавторстве с профессором А. М. Сагалаевым написал биографическую книгу «Потанин, последний энциклопедист Сибири» (Томск, 2004). Публикации в журналах России «Звезда», «Знамя», «День и ночь», в русскоязычных альманахах Германии «Эдита» и «Пилигрим». Член Союза российских писателей.

стр. 230 Кудрявская Галина Борисовна
Омск

Родилась в городе Исилькуль Омской области. Закончила Омский медицинский институт. Автор стихотворных сборников: «Чистый свет» (1987), «Терпение» (1991), «Предстояние» (1996), «Печаль моя, заступница…» (2004), «Свет осени» (2005); сборника стихов и прозы «Аз есмь» (2000) и двух прозаических книг: «Варварин дом» (2004) и «Сияние дня» (2007). Лауреат премии администрации Омской области им. Л. Н. Мартынова. Публиковалась в журналах и альманахах: «Арион» (Москва), «Дети Ра» (Москва), «День и ночь» (Красноярск), «Голоса Сибири» (Кемерово), «Земля Сибирь» (Новосибирск), «Литературный Омск» (Омск), «Москва» (Москва), «Сибирские огни» (Новосибирск), «Складчина» (Омск), «Семья и школа» (Москва), «Флорида» (США), «Хозяин» (Москва). В коллективных сборниках: «Паруса» (1986), «Омская зима» (1987), «Эхо войны» (2005), «Формула времени» (2005). Член Союза российских писателей.

стр. 189 Кутенков Борис
Москва, 1989 г. р.

Родился в Москве. В настоящее время — студент Литературного института им. А. М. Горького (семинар поэзии, 4 курс). Работает корреспондентом районной газеты. Стихотворения и статьи публиковались в «Литературной газете», журналах «Наш Современник», «Юность», «Студенческий Меридиан», газете «Литературная Россия». Участник 9-го Форума молодых писателей в Липках (октябрь 2009). В 2009 г. в издательстве при ЦУНБ им. Некрасова вышел первый персональный сборник Бориса «Пазлы расстояний».

стр. 62 Лайдинен Наталья Валерьевна
Москва, 1976 г. р.

Родилась в Петрозаводске. Во время учёбы в школе сотрудничала с журналами «Kipina» и «Carelia», местными газетами, Международной Детской Телерадиостудией «ICS». Выпускница МГИМО, факультет международной журналистики. Кандидат социологических наук. Член Московской городской организации Союза Писателей России. Член Союза журналистов Москвы. Автор десятков статей в российской прессе на социальные и культурные темы. Публиковала стихи во многих альманахах и сборниках в России и за рубежом. Стихи переведены на несколько иностранных языков. В 2010 году композиторами Сергеем Световым и Виталием Масловым на стихи поэтессы написаны песенные циклы в жанрах классического романса и музыкального перформанса.

стр. 191 Липатов Денис Вячеславович
Нижний Новгород, 1978 г. р.

Родился в Нижнем Новгороде. Участник форумов молодых писателей в Липках, форумов молодых писателей Поволжья. Участник поэтической группы «Сибирский тракт». Публикации (проза): журналы «Нева», «Луч», альманахи «Новые писатели», «Времена перемен», «Земляки», Берега».

стр. 88 Манфановская Евгения
Москва, 1936 г. р.

Поэтесса. Член союза писателей России. Автор четырёх стихотворных сборников. Стихи звучали на телевидении и радио, печатались в центральных газетах, журналах, литературных альманахах.

стр. 193 Миронова Елена
Нижний Тагил, 1976 г. р.

Родилась в Нижнем Тагиле. Лауреат премии «Серебряный стрелец-2008», печаталась в журналах «Урал», «Уральский следопыт», в Литературной газете, в коллективных сборниках и альманахах. Лауреат независимой поэтической премии «П» (большая премия, сезон 2010 г.)

стр. 46 Мухамадиев Ринат Сафиевич
Москва, 1948 г. р.

Родился в деревне Малые Кирмени Мамадышского района Республики Татарстан. Окончил Казанский госуниверситет. Защитил диссертацию в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова. Работал редактором Казанского телевидения, заместителем главного редактора журнала «Казан утлары», директором Татарского книжного издательства, более десяти лет руководил Союзом писателей Татарстана, работал заместителем председателя Международного сообщества писательских союзов. Главный редактор Федеральной просветительской газеты «Татарский мир». Был избран Народным депутатом Российской Федерации. Возглавлял Постоянную комиссию по культурному и природному наследию народов России. Под его руководством были подготовлены и приняты федеральные законы, касающиеся судьбы отечественной культуры, литературы и искусства, в том числе «Закон о языках народов Российской Федерации», «Закон об интеллектуальной собственности и смежных профессиях» и другие. Автор более тридцати книг, изданных на татарском, русском и на других языках мира. Лауреат Государственной Премии Татарстана им. Г. Тукая, международной премии Турции, премии стран Азии и Африки «Лотос», премии им. А. П. Платонова и международной премии им. М. А. Шолохова.

стр. 196 **Оболикшта Елена**
Екатеринбург, 1985 г. р.

Родилась в г. Новоуральске Свердловской области. Публиковалась в журнале «Урал», «Дети Ра», «Новые облака» (Эстония), «Транзит-Урал», «День и ночь». Лауреат II межрегионального фестиваля «Глубина». Автор книги стихотворений «Эльмира и свинцовые шары».

стр. 75 **Окороков Александр Васильевич**
1958 г. р.

Родился в Свердловске (ныне Екатеринбург). Окончил Московский институт инженеров землеустройства. Работал ведущим архитектором в тресте «Мособлстройреставрация». Занимался подводной археологией, принимал участие в испытаниях различных подводных дыхательных аппаратов. С 1985 по 1995 год возглавлял ряд общественных и государственных структур, связанных с изучением подводного мира. Работал на Чёрном, Каспийском, Белом, Балтийском морях, островах Арктики, внутренних водоёмах России. В 1993 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 2001 году — докторскую. Автор более 300 научных и научно-популярных работ в отечественных и зарубежных изданиях, в том числе 25 книг, монографий и методических пособий. Темы исследований: подводная археология, история мореплавания, российская военная эмиграция, локальные войны 2-й пол. XX в., советское военное сотрудничество с зарубежными странами, пропаганда, информационно-психологическая война. Действительный член Русского географического Общества РАН, Академии военных наук, член-корреспондент Международного комитета по подводному культурному наследию (International Committee on the Underwater Cultural Heritage), член научного комитета Конфедерации подводной деятельности России (КПДР).

стр. 66 **Панченко Вера Иосифовна**
Рига

Родилась в Читинской области. Окончила Читинский государственный педагогический институт. Работала журналистом. Переводила стихи латышских поэтов. Автор шести поэтических сборников. Член Союза писателей Латвии и Союза российских писателей.

стр. 127 **Песковская Мария**
Красноярск

Окончила экономический факультет КГУ. Работала экономистом, рекламным менеджером, копирайтером, журналистом. В 2008 году в издательстве «Астрель» вышла книга Марии Песковской «Там, где два моря».

стр. 187 **Петрушкин (Вронников) Александр**
Кыштым, 1972 г. р.

Поэт, организатор литературного процесса, родился в г. Челябинске. Жил в Озёрске, Лесном, Екатеринбурге. Учредитель Литературно-художественного фонда «Антология». Инициатор издания журнала актуальной уральской литературы «Транзит-Урал». Издатель книжных серий «24 страницы современной классики», «V — Новая поэзия», «Антология реальной литературы». Организатор конкурса молодых литераторов «Стилисты Добра», фестиваля литературы Урала и Сибири «Новый транзит» и фестиваля нестоличной поэзии им. Виктора Толокнова. Куратор поэтического семинара «Северная зона». Лауреат 1-й степени регионального фестиваля литературных объединений «Глубина» (2007). Шорт-лист литературного конкурса «Tamizdat», шорт-лист премии «ЛитературРентген» (г. Екатеринбург) в номинации «Фиксаж» (2005, 2006), лауреат премии «ЛитературРентген» (г. Екатеринбург) в номинации «Фиксаж» (2007), как лучший нестоличный издатель поэтических книг.

стр. 38 **Подгорнов Сергей Елизарович**
Анжеро-Судженск, 1956 г. р.

Родился в г. Анжеро-Судженске, Кемеровской области. В 1973 г. после окончания средней школы № 11 уехал в г. Владивосток. В 1978 году окончил Дальневосточный государственный университет, отделение океанологии. Специальность: инженер-океанолог. Работал в конструкторском бюро в отделе траловых орудий лова. Неоднократно бывал в морях на судах промысловой разведки. В 1987 г. вернулся в г. Анжеро-Судженск. Автор двух стихотворных сборников. Публикации в журналах «Дальний Восток», «День и ночь», «Огни Кузбасса». Член Союза писателей России.

стр. 184 **Рубина Дина Ильинична**
Израиль, 1953 г. р.

Прозаик, автор многих книг прозы, среди которых 7 романов, множество повестей, рассказов и эссе, переведённых на 23 языка. Лауреат российских и зарубежных литературных премий, в том числе премии «Большая книга» — за роман «На солнечной стороне улицы». По произведениям Рубиной неоднократно снимались фильмы: «На Верхней Масловке», «Двойная фамилия», «Любка», «На солнечной стороне улицы». Живёт под Иерусалимом.

стр. 195 **Свищёв Михаил**
Москва, 1969 г. р.

Журналист. Окончил Литературный институт им. М. Горького. Стихи публиковались в журналах «Новая юность», «Наш современник», «День и ночь» и других. Член Союза писателей России.

стр. 42 **Ставер Сергей Петрович**
Назарово, 1949 г. р.

Родился в 1949 году на станции Крутояр Красноярского края. После школы служил в армии. По профессии художник-оформитель. Автор девяти поэтических сборников, участник Всероссийских литературных чтений имени В. П. Астафьева. Печатался в литературных журналах: «Сибирские

Афины» (Томск), «Сибирские огни» (Новосибирск), «Енисей», «День и ночь» (Красноярск), в журналах Санкт-Петербурга, альманахе «Новый Енисейский литератор». Член Союза российских писателей.

стр. 184 **Таир Ольга**
Москва

По образованию математик, преподаватель компьютерной графики, ведёт колонку литературных рецензий и колонку о кино в журнале о современном искусстве «Контрабанда».

стр. 35 **Третьяков Анатолий Иванович**
Красноярск, 1939 г. р.

Родился в г. Минусинске. Закончил Красноярское речное училище. Служил в армии, работал судовым механиком, помощником машиниста тепловоза, литсотрудником в газетах. Учился на сценарном факультете ВГИКа, в Литинституте им. А. М. Горького. С 1979 г.—член Союза писателей. Печатался во многих коллективных сборниках Москвы и других городов России. Выпустил 7 книжек стихов. Автор слов торжественной песни—гимна г. Красноярска. Лауреат губернаторской премии Красноярского края, приуроченной к 200-летию А. С. Пушкина.

стр. 37 **Туров Борис Дмитриевич**
Дивногорск, 1938 г. р.

Родился в селе Устьянске Абанского района Красноярского края. С малых лет работал на колхозных полях и лесосеках. После службы в армии поступил на художественно-графический факультет Красноярского пединститута. Работал преподавателем в сельской школе, в Норильске. Жил на острове Большая Чайка в Карском море. Затем снова работал художником в Красноярске. Печатался в городских и краевых газетах, журналах, альманахе «Новый Енисейский литератор». Автор четырёх стихотворных сборников. Член Союза писателей России.

стр. 92 **Хомутов Сергей Адольфович**
Рыбинск, 1950 г. р.

Родился в г. Рыбинск в семье рабочих. Окончил Литинститут (1987). Работал на предприятиях Рыбинска, в многотиражной, районной и областной газетах, директором издательства «Рыбинское подворье», главным редактором журнала «Русь». Печатается с 1966 г. в газете «Рыбинская правда». Автор десяти книг стихов. Член СП СССР (1987).

стр. 67 **Ширшов Павел Викторович**
Подмосковье, 1960 г. р.

Родился в Ташкенте. После окончания средней школы и профессионального училища служил в служил в 101-ом мотострелковом полку, который 27 декабря 1979 года в составе 5-ой гвардейской дивизии вошёл в Афганистан. Рядовой, разведчик. Представлялся к медали «За Отвагу». После службы работал на заводе. В 1988 году организовал военно-патриотический клуб для работы с трудными подростками, в котором проработал до 1992 года. В 1995 году закончил исторический факультет Ташкентского педагогического института. Журналист, работал редактором в одном из проектов медиа-холдинга РосБизнесКонсалтинг. Эксперт по бытовой электронике. Печатался на многочисленных Интернет-ресурсах современной русской прозы и в сборнике МСПС.

стр. 150 **Шлёнский Александр Васильевич**
Красноярск, 1955 г. р.

Родился на Урале. После окончания школы проходил службу на Западной Украине и в Забайкалье. После службы поступил в Институт Цветных Металлов. Учился в музыкальном училище по классу гитары. Сменил много профессий. Приходилось работать в механизации экскаваторщиком, грейдеристом, а также в тайге на вздымке (добыча живицы), проводником в пассажирских поездах и сопроводителем грузов в товарняках. Работал на речном флоте мотористом на Волге, Вятке, Каме, затем после окончания школы комсостава ходил по сибирским рекам штурманом. Занимался изготовлением музыкальных инструментов. Фанатичный таёжник, охотился в сердце Саян и провёл там значительную часть своей жизни. Последнее время работает в строительстве. Публиковался в журнале «День и ночь».

стр. 132 **Щедровицкий Дмитрий Владимирович**
Москва, 1953 г. р.

Теолог, поэт, переводчик. Публикации в журналах «Новый мир», «Христианин», «Православная община»; в «Литературной газете». Автор двух поэтических сборников.

стр. 153 **Эшли Марина**
Канада, 1965 г. р.

Закончила МФТИ. Работала научным сотрудником кардиологического центра РАМН в Москве. Победитель нескольких литературных конкурсов. Автор повестей, вышедших отдельной книгой на украинском языке.

стр. 199 **Яранцев Владимир Николаевич**
Новосибирск, 1958 г. р.

Родился в г. Калинине. Выпускник Новосибирского университета, кандидат филологических наук. Работал учителем, журналистом, преподавателем. Есть ряд научных публикаций по «серебряному веку» и В. В. Набокову. Работает в журнале «Сибирские огни». Публикации в журналах «День и ночь», «Сибирские Афины» и др.; в «Литературной газете».

Как подписаться?

Журнал выходит шесть раз в год. В отдельных случаях возможен выпуск сдвоенных номеров. Полный комплект журнала за 2010 год стоит 1080 рублей. Возможна подписка на отдельные номера. Стоимость одного номера (252 страницы) — 180 рублей. Номера журнала доставляются подписчику по мере выхода в течение срока подписки. Подписка производится по России, странам Ближнего и Дальнего Зарубежья. Издания доставляются по почте.

Чтобы оформить подписку необходимо заполнить квитанцию и перечислить в любом отделении Сбербанка на территории РФ стоимость заказа на расчётный счёт ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“». Оплату можно произвести наличным расчётом в офисе журнала.

Где купить?

Свежие номера журнала «День и ночь» продаются в магазинах «*Книжный дворик*» по адресам:

в Красноярске:
ул. Железнодорожников, 19
ул. Новосибирская, 48

И в *книжных киосках* по адресам:

в Красноярске:
ул. Тотмина, 8а
ул. Тотмина, 35а
ул. Словцова, 12
Академгородок, стр. 1
ул. Киренского, 13

в Емельяново:
ул. Московская, 179.

По вопросам приобретения журнала обращайтесь по т. 8 (391) 240 10 65, e-mail: disksid@mail.ru

Извещение

ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“» ИНН 2463042749 КПП 246301001
р/сч № 40702810500600000186 в Красноярском филиале
ОАО «Банк Москвы» кор/сч 30101810900000000967; БИК 040407967

Ф.И.О.: ______________________________

Адрес для доставки: ______________________________

____

Назначение платежа:	Сумма

Кассир

С условиями приема указанной в платёжном документе суммы, в т. ч. суммы взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.

______________________ (подпись плательщика)   ______________________ (дата платежа)

Извещение

ООО «Редакция литературного журнала для семейного чтения „День и ночь“» ИНН 2463042749 КПП 246301001
р/сч № 40702810500600000186 в Красноярском филиале
ОАО «Банк Москвы» кор/сч 30101810900000000967; БИК 040407967

Ф.И.О.: ______________________________

Адрес для доставки: ______________________________

____

Назначение платежа:	Сумма

Кассир

С условиями приема указанной в платёжном документе суммы, в т. ч. суммы взимаемой платы за услуги банка, ознакомлен и согласен.

______________________ (подпись плательщика)   ______________________ (дата платежа)

Зорий Яхнин